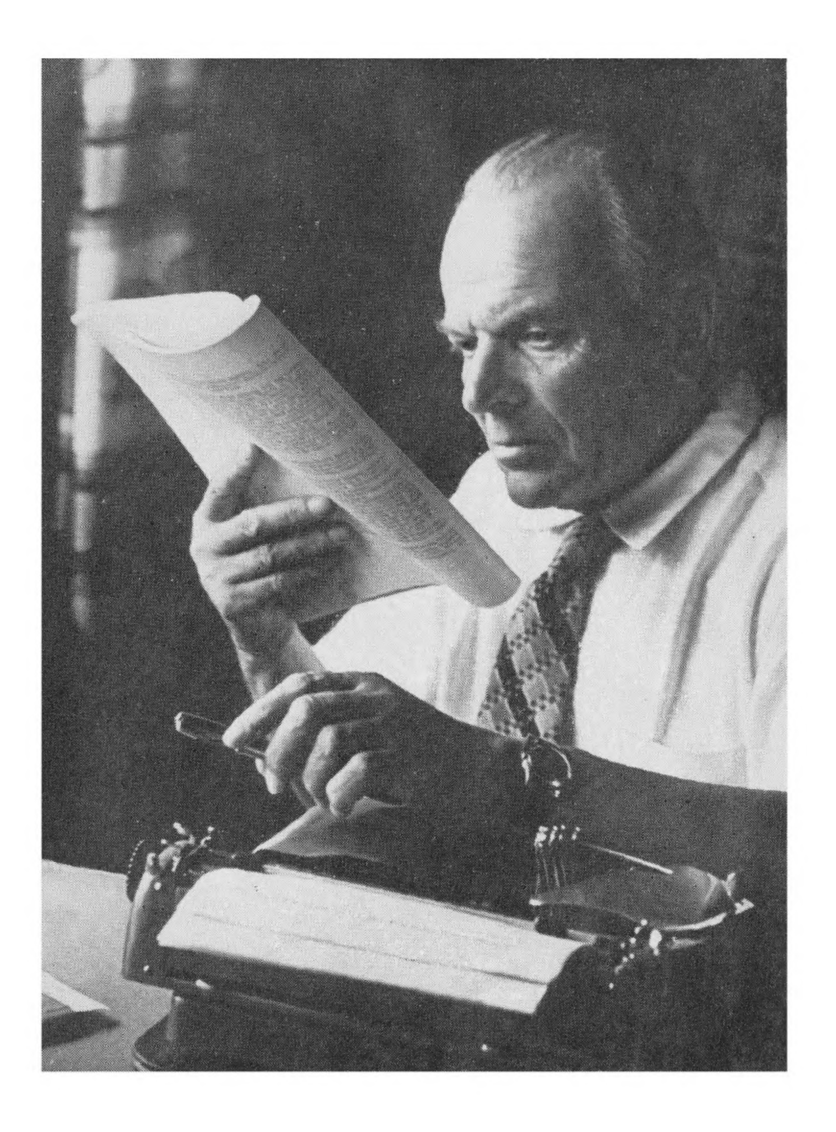
Константин

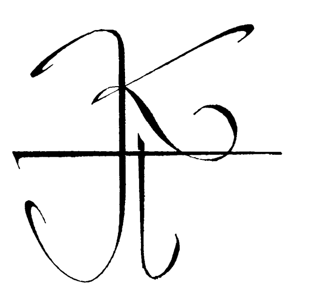
Паустовский

1

1

Константин Паустовский







СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

•

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

•



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Г2
П21

Вступительная статья
Г. Трефиловой

Примечания
Л. Левицкого

Художник
Е. Гольдин

П $\frac{70302-323}{028(01)-81}$ подписное 4702010200

ТВОРЧЕСТВО КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО

Имя Константина Георгиевича Паустовского (1892—1968) широко известно. Притягательность его рассказов, повестей и романов не убывает с течением лет. В статьях, ученых трудах и мемуарах воссоздается облик этого замечательного художника, ревностного защитника сокровищ мировой культуры и славы ее творцов, знатока родной природы За страницами его прозы — своеобразие личности, неповторимость времени.

1

Между первой из найденных ранних публикаций К. Паустовского, небольшим этюдом «На воде» (1912), и последними работами прославленного писателя пролегла более чем полувековая историческая полоса.

Основные факты жизни писателя изложены им в авторском предисловии к первому Собранию сочинений («Несколько отрывочных мыслей»)[1]. Более полно и детально, преобразив со свойственным ему изяществом и блеском бытовые заурядные эпизоды в законченные новеллы и повествовательные циклы, писатель запечатлел памятные картины пережитого в целом ряде произведений автобиографического характера, особенно в самой большой из поздних его книг — в «Повести о жизни». Она охватывает почти три-

---

[1] См. в этом томе, с. 38.

дцатилетний период — с конца 90-х годов XIX века до начала 20-х годов XX века и состоит из шести частей: «Далекие годы» (1946), «Беспокойная юность» (1954), «Начало неведомого века» (1956), «Время больших ожиданий» (1958), «Бросок на юг» (1959—1960), «Книга скитаний» (1963).

Литературные вкусы и умонастроения раннего Паустовского формировались в общественной обстановке периода реакции начала XX века и той пестрой литературной жизни, когда — по воспоминаниям писателя — «религиозная философия, богоискательство, символизм, призыв к возрождению эллинской философии — все это существовало рядом с передовой революционной мыслью и пыталось завладеть умами».

Еще в школьные годы К. Паустовский, подобно многим начинающим литераторам, пытался найти себя в поэтическом творчестве. На память о своих стихотворных опытах писатель сохранил в автобиографических повестях несколько строк. Судя по немногим приведенным отрывкам («И опалами блещет печаль о любимом Саади на страницах медлительных дней...»), эти стихи его были проникнуты витавшим в воздухе ароматом поэтики Бальмонта и Северянина, с ее нарядностью, звучностью и внутренней незначительностью.

Позднее Паустовский без всякого снисхождения осудил свои стихотворные опыты за пышность, нарядность, нагромождение красивостей.

Время, отданное «студии стиха», писатель не считал, однако, потерянным напрасно. Преисполненное прекраснодушных порывов и молодого энтузиазма, это было еще и время первого выбора — первого из серии тех мужественных решений, которые предстояли К. Паустовскому в ближайшие годы. Иначе он не рискнул бы послать старательно переписанную тетрадку собственных поэтических сочинений И. А. Бунину, который осудил подражательность стихов молодого автора, но, различивши в них признаки одаренности, посоветовал ему обратиться к прозе.

Вступление в литературу было отложено, хотя полного отречения от поэзии все же не состоялось. Дух и музыка стиха были для Константина Паустовского не темой и не реминисценцией эрудита. Преклонение перед поэтами всех времен вошло в его плоть и кровь; строки любимых авторов он отбирал так же тщательно, как герой его романа «Коллекционер» (1930), просеивал «все впечатленья бытия», как в «Золотой розе» (1964) Жан Шамет неустанно извлекал считанные, но драгоценные крупицы золота из серой пыли ювелирных мастерских. Не открывшись Паустовскому как призвание, поэзия ввела в его книги только ей свойственные обычаи, даро-

вала иные из своих свобод, обязав и к некоторым строгим ограничениям,— словом, пересоздала его прозу как прозу лирическую [1], что имело далеко идущие художественно-литературные последствия.

Колорит раннего творчества молодого писателя и некоторые особенности позднейшего времени обусловила бросающаяся в глаза книжность юноши Паустовского. Его герои, как правило, характеризуются через их отношение к книгам, картинам, музыкальным пьесам. Они читают Диккенса и Роденбаха, Лермонтова и Гофмана, Гончарова и Метерлинка, Франса и Бабеля, Пруста и Гамсуна, Фаррера и Ренье, они по памяти цитируют любимые автором стихи Пушкина и Батюшкова, Фета и Беранже, Блока и Мея, Волошина и Киплинга. Да и сам писатель видит этих героев похожими то на портреты Ренуара (Хатидже в повести «Романтики»), то на выходцев из романа Стивенсона (старик Эрнест в рассказе «Пневматическая дверь»), то на чеховского Вершинина (дядя Коля в «Повести о жизни»). Любая страна, любая местность или город предстают в произведениях писателя уже преломленными через призму тех или иных историко-культурных представлений. Такова в его изображении даже Колхида в одноименной повести. Несомненная самобытность Колхиды Паустовского, создавшая традицию соответствующих представлений об этой стране, обнаруживает сложную природу: страна становится и «пламенной Колхидой» Пушкина, и Колхидой Гиппократа, и Колхидой аргонавтов.

Свойственным Паустовскому пониманием живой связи поколений, в том числе и поколений «мастеровых литературы», объясняются некоторые особенности его как новеллиста. Истоки таких образцов прозы писателя, как главы из «Повести о жизни» — «Ночной дилижанс», «Вода из реки Лимпопо», «Старик в станционном буфете» и другие, с их особой щеголеватой законченностью, эффектностью, игрой и блеском формы,— едва ли следует искать в традиции русского рассказа. Новелла Паустовского несомненно впитала в себя опыт зарубежной, в частности французской, литературы.

Паустовский — художник длительного идейного и творческого становления. И это во многом объясняется тем, что в пору юности он был не столько участником, сколько «заинтересованным сви-

---

[1] См.: Т. Хмельницкая. Лирика в прозе. Автобиографические повести Паустовского.— В ее кн. «Голоса времени». М.— Л., «Советский писатель», 1963.

детелем» эпохи широких общественных движений и революционных преобразований.

С 1921 года, побродив и поездив по разным городам России, пережив войну, сменив несколько профессий, Паустовский начинает более регулярно выступать в печати, становится газетчиком, проходит школу журналистики. В насыщенной и разнообразной репортерской деятельности — он пишет заметки, корреспонденции, маленькие рассказы, наброски, зарисовки, небольшие статьи,— а еще более в создаваемых одновременно крупных вещах, особенно в книге «Романтики» (написаны в 1916—1923 гг., напечатаны в 1935 г.), уже проступают эстетические интересы и симпатии автора.

О ком и как пишет Паустовский в статьях и книгах начальной поры своего творчества? Чья жизнь и судьбы привлекают его внимание? Это — Максим Горький, «большой человек», «великий скиталец», вырвавшийся из чадной, пьяной, пахнущей сапожным варом и сивушной отрыжкой России («Большой человек»). Это Эдуард Деккер, «Многострадальный», голландский писатель и революционер, порвавший с фарисейским обществом на родине, чтобы встать на сторону угнетенного народа Явы («Приговоренные к перу»). Это грузинский художник Нико Пиросманишвили, нищий и гениальный самоучка, вынужденный писать картины за обед в духане, за ночлег, за то, чтобы не умереть с голоду на раскаленных мостовых окраин, и признанный лишь после смерти («Грузинский художник»). Каждый из них — борец и протестант прежде всего. Они выковывают себя в непрерывных столкновениях со средой. Фанатически преданные большой идее — идее искусства или свободы,— они противопоставлены всем окружающим и со всеми вступают в бой.

Преимущественное право на гениальность и протестантизм, а в особенности резкое противопоставление героя враждебной или заурядной среде, были в творчестве Паустовского связаны с романтической концепцией действительности. В первый период творчества писателя наблюдается огромный и ничем не компенсируемый разрыв между впечатлениями его реального существования и преломлением их в творческой фантазии. В самом деле: житейски сложная, полная нелегкого, черного труда биография Паустовского-репетитора, санитара, репортера, кондуктора трамвая и просто безработного, отделена непроходимой пропастью от бытия героев его первых книг (Берг, Максимов, Батурин), переживающих исключительно утонченные муки творчества, эгоцентрических и освобожденных от треволнений низменной жизни.

Писатель стремится «подтянуть» повествователя «Романтиков»

к трагическим и героическим фигурам. Для этого оказывается необходимым резко поделить мир на две неравные части, воздвигнув между ними будто бы непроходимую преграду, по одну сторону которой — гении, по другую — обыватели. Любимые персонажи писателя особо отмечены необыкновенными, исключительными качествами. Если это журналисты, то это фанатики, «приговоренные к перу». Если моряки, то каждый из них обязательно человек либо феноменальной памяти («Слава капитана Миронова»), либо редкого, необыкновенного мужества и благородства («Рапорт капитана Хагера»), либо небывало богатого жизненного опыта и затейливой выдумки. Это эксцентрики, подобные капитану Кравченко в «Блистающих облаках» (1928) да и самому Батурину (там же) с его богемным существованием, неопределенностью занятий, странными, «гриновскими» снами. Таковы же действующие лица «Романтиков» — молодой писатель Максимов и группа его друзей. Откровенно противопоставившие себя устойчивому «мещанскому» прозябанию, они горды своей причастностью к высоким материям искусства, довольны неустроенностью и «скитальчеством» (излюбленное слово раннего Паустовского), попытками «создать свой мир — необычный и чуждый всему окружающему — царапающемуся, жалкому и смешно неразумному». С закрытыми глазами идут они мимо скучной для них реальности, и ничто не прикрепляет их к эпохе. Их беседы и споры отвлеченно литературны, их порывы неопределенны, их творчество дается ценою лишений, несчастий, разбитых жизней и смертей. Иным — согласно традиционным романтическим представлениям — оно быть не может. Оттого-то Максимов так жаждет потрясений, почти радуется им: «Часто я спрашиваю себя — достаточно ли я страдал, чтобы быть писателем»,— рассуждает он сам с собою. Оттого безрадостна любовь Наташи, нелепа гибель художника Винклера, так странно сталкиваются судьбы двух героинь, влюбленных в Максимова.

Типу романтического героя соответствует и тип романтической героини. Галерею женских образов Паустовского начинают Хатидже и Наташа. Одна — мягкая и всепрощающая, сдержанная и целомудренная; другая — порывистая, увлекающаяся, страстная, но обе женственны, обаятельны и равно прекрасны. Обаяние, простота, одухотворенность — непременные качества романтизированного женского образа Паустовского, которому он остался верен на протяжении всего своего творчества.

Сравнительно небольшому количеству бытовых женских образов — натруженных и несчастных «баб», горемычных беженок трудных военных лет и разрухи, «замученных проституток» (см. «Романтики»), какой-нибудь «бестолковой и скупой старухи» «в ста-

рой паневе, с жилистыми сизыми ногами, измазанными грязью, с бабьими непонятными слезами на глазах» — сопутствует в творчестве писателя образ Женщины с большой буквы, всегда поставленной на некоторое возвышение. Она чиста даже в пороке (Валя в «Блистающих облаках») и неизменно прекрасна даже в болезни и смерти (Христя и Анфиса в «Золотой розе»). Ее обязательные внешние признаки: бледное, как бы от скрытого волнения, лицо, золотистые легкие волосы, неожиданно темнеющие глаза, девичье стройное тело и тонкие руки. Она вносит в жизнь «легкий, приятный беспорядок», подобно Мари в «Северной повести», она прихотлива, беспечна, порою взбалмошна, с точки зрения скучной добропорядочности и мещанской респектабельности,— как поэтичная певунья «тетя Надя» в книге «Далекие годы». Она не может быть некрасива и непоэтична, потому что автор всегда смотрит на нее глазами влюбленного, и всякая хоть сколько-нибудь снижающая подробность уже отвергается, ибо не отвечает принципам изображения и авторского видения героини.

Романтически-приподнятые женские образы Паустовского могут варьироваться, но у всех у них есть одно высшее назначение — одаривать ожиданием счастья, облагораживать обаянием улыбки, голоса, самого присутствия, благоуханием юности, неизвестности и тайны. Поэтому и любовь, изображаемая Паустовским,— обычно еще не самая любовь, а только ее зарождение, ее предчувствие. Она появляется незаметно, внезапно и навсегда, ее робкое мерцание озаряет все вокруг особым, немного фантастическим, чудесным светом («Снег» и «Бриз», 1944, «Дождливый рассвет», 1945).

Поэтому и сама женщина, какую бы видимость реальности ни придавал ей автор впоследствии (ср. Невская в «Колхиде», 1934),— всегда, хоть немного, та «бабочка с острова Борнео», неуловимую прелесть которой — неуловимую, быть может, оттого, что она лишена четко очерченной индивидуальности и бытовой характеристики,— так хорошо почувствовал и запомнил Паустовский-гимназист и с таким изяществом и тактом нарисовал потом Паустовский-художник (см. главу «Вода из реки Лимпопо» в первой книге «Повести о жизни»).

Возвращаясь к первому этапу творчества писателя, следует заметить, что вместе с романтической концепцией действительности Паустовский вольно или невольно заимствует и ее «реквизит», она определяет его стилистические пристрастия. Критика 30-х годов находила в первых шагах Паустовского сходство с творческим развитием Эдуарда Багрицкого: каждый по-своему, один более, другой

менее искусно, отдали дань литературным реминисценциям, вызывали призраки бригантин и каравелл, модернизированных креолок и отважных капитанов. Но Багрицкий прошел эту полосу несколько раньше и уже искал новых поэтических путей, тогда как Паустовский был еще долго подвержен влиянию романтических образцов.

Наиболее устойчивым, заметным и на многие годы оставившим свои приметы было влияние на Паустовского творчества и — еще более — личности Александра Грина.

Проблема, далеко не безразличная Паустовскому,— о месте мечтателя в действительности — делала Грина не только одним из его учителей, но и одним из его героев. Поэтому он так много пишет о Грине и в «Черном море» (1935), и в этапной для него самого пьесе «Простые сердца» (1940), и особенно в статьях разных лет, неизменно сочувственных и элегических по тональности, проникнутых любовью и уважением к памяти этого на редкость последовательного романтика.

Мощь и свобода неудержимых взлетов раскрепощенного воображения — что всегда составляло одну из прерогатив романтического видения мира — вызывали восхищение Паустовского. Он был твердо убежден в огромной силе воздействия мира воображаемого на мир действительный, в ценности воссоздающей фантазии как основы художественного творчества. «Мы знаем,— говорил он,— что корабли Магеллана обошли вокруг света, а адмирал Нельсон был убит в Трафальгарском бою. Но с такой же достоверностью мы знаем, что существовал принц Гамлет, а леди Макбет не могла отмыть со своих рук кровавые пятна».

Мечты о небывалом, томление по недосягаемым краям не раз проявляли себя в творчестве самого Паустовского яркими вспышками, оставив свой след в «экзотических» пристрастиях героев писателя: в образе жизни, фантастических проектах, даже в «гринландских» именах его капитанов, репортеров, художников — Гарт, Берг, Чоп, Метт. «Золоченые нити экзотики», по собственному выражению К. Паустовского, вплетены в легендарную сюжетную канву «Золотой розы» и сообщили специфически экспрессивную окраску его социальным новеллам-«памфлетам» 20-х годов — «Черные сети» (1926), «Королева голландская» (1925), «Кофейная гавань» (1926); они же помогают создать атмосферу галантной старины в его более поздних изысканно-стилизованных новеллах о музыкантах: «Старый повар» (1940), «Ручьи, где плещется форель» (1939), «Корзина с еловыми шишками» (1954) и придают неповторимый колорит его импровизированным портретам «изгнанников, скитальцев и поэтов».

Чувствовал ли Константин Паустовский, что в его тогдашних поисках, в ориентации то на один, то на другой литературный стиль угадывались и незрелость метода, и неопределившееся мировоззрение?

В те годы — и даже позднее — ощущение человека, плывущего по воле событий, еще долго не покидало Паустовского. Следы идейных, творческих исканий писателя на различных этапах его развития можно обнаружить в целом ряде рассказов, так или иначе — пусть отдаленно — соотносимых с автобиографией. Они безусловно содержат скрытые элементы поэтической декларации художника.

В рассматриваемый период такой декларацией можно считать рассказ «Этикетки для колониальных товаров» (1925). Судьба его героя, талантливого гравера Иосифа Шифрина, задавленного нуждой, нищетой и убожеством еврейского местечкового быта, оказывается трагичной потому, что в борьбе с этим бытом он ушел в мечту, создал себе вторую, воображаемую действительность — действительность ярких, экзотических этикеток. Он оказался отчужденным не только от ненавистного ему мира, но и от страданий своих близких. Потеряв сначала жену, убитую нуждой и болезнями, он вскоре теряет и маленькую дочь, умершую от лихорадки в гибельных для нее местах, куда переехал Шифрин, чтобы хоть немного приблизиться к стране своей мечты. И вот — почти выбившись из сил, страшным напряжением таланта, ума, воли, устремленных к иллюзорной цели,— он наконец на пути к этой выдуманной обетованной земле. Но, оставшись совсем один, он вдруг осознает, что источники его стремительного и безрассудного движения были здесь — на этой земле, в этих родных, единственно близких ему людях. С их утратой мечта лишается почвы, движение к ней замедляется, теряет смысл. Иллюзии героя терпят крах, и, обессиленный, опустошенный, без веры, без цели и сил, он остается около единственной ценности — около дорогой могилы ребенка.

Таким образом, Паустовский подходит к развенчанию романтического индивидуализма, хотя и не может еще отрешиться от него полностью.

Последней попыткой влить новое вино в старые мехи был роман Паустовского «Блистающие облака». Писатель стремится укоренить своих героев в советской действительности, занять их наспех придуманными поисками будто бы необычайно ценных чертежей летчика Нелидова, сообщить роману динамичность при помощи изощренного, нарочито и не очень умело формалистически усложненного авантюрного сюжета. Но никакие усилия не спасают ни романа в целом, ни его героев. Он весь распадается на отдельные отрывки в духе «Романтиков».

Постепенно Паустовской убеждается в необходимости порвать с тем, что А. Блок назвал когда-то «книжным отношением с миром», которое теперь, как никогда раньше, делает трагизм героя мелодраматической натяжкой и неудобной позой, его кровь — клюквенным соком, его борьбу — взмахами картонного меча.

В сущности, Паустовский лишь к концу 20-х годов подходит к выводу, который был уже непреложен для большинства писателей старшего поколения. В условиях советской действительности этих лет — в битве крестьян и рабочих за жизнь, за будущее людей, великих своей коллективностью и единством воли,— стало ясно, что эстетика романтического индивидуализма и формирующаяся идеология новой социалистической реальности не вмещают друг друга. Пореволюционная эпоха поставила писателя в новые отношения с новым социалистическим миром. Она вынудила Паустовского пересмотреть свою концепцию героя и среды.

Так завершается первый период развития Паустовского, так на последних страницах «Блистающих облаков» умирает в его творчестве *старая романтика.*

2

Паустовский второго периода, оказавшегося коротким, но ярким и памятным, почти неузнаваем. Теперь он типичный представитель тех неутомимых журналистов, мобильных и вездесущих, которые во многом определили лицо советской литературы первой половины 30-х годов, поставили ее вплотную перед конкретным материалом социалистического строительства, придали ей экспрессию, соответствующую бурному темпу самой эпохи.

Где-то в стороне и позади остаются прежние, казавшиеся неразрешенными проблемы и еще недавно незыблемые литературные авторитеты. Неопределенность настроений и порывов сменяется целеустремленностью и четкостью решения ближайших практических задач. П. Павленко, М. Лоскутов, М. Кольцов, М. Шагинян — вот новые литературные союзники Паустовского; боевой очерк 30-х годов — таково его писательское оружие. Где только не побывал он в то время, на все откликаясь сразу, непосредственно и, как никогда, оперативно: Соликамск, Астрахань, Калмыкия, Кавказ. Юг, Север и Восток — весь огромный фронт социалистического наступления советского человека на старую Россию, на непокоренную природу раскинулся перед ним. Картина была захватывающей и величественной. Она потрясала каждого своей динамикой и размахом.

Понимая острую необходимость для себя как для писателя проникнуть в существо происходящего, определить свое отношение к действительности и место в ней, Паустовский дисциплинирует и укрощает свою фантазию, стремится строго держать ее на поводу факта и заставляет ее взлетать с любой площадки — будь то вопрос о заготовке леса или об организации работы в рыболовецкой бригаде, об иностранном туризме или о создании химкомбината в Березниках.

С «высот поэзии» бросившись в «будни великих строек», он открывает новый период своего творчества полосой очерков, публикуемых в 1930—1932 гг. в «Правде», в журналах «30 дней», «Наши достижения» и др. Один за другим появляются: «Строительство социалистических городов», «Колхозная академия», «Разговор о рыбе», «Погоня за растениями» и т. д.

В первых очерках Паустовского нет главных действующих лиц, сюжет основан на движении «предмета», на вариациях основной темы, а новый герой писателя еще плохо виден: он дробится на десятки частных, где-то встреченных людей, его еще заслоняют машины и вещи.

Но чем дальше, тем все более свойственна писателю возрастающая тенденция от установки на факт к установке на образ и затем на характер. Некоторые впечатления будят мысль и творческую фантазию, рождают замыслы новых книг. Инженер Высоких из очерка «Подводные ветры» превращается в «Кара-Бугазе» (1932) в инженера Хоробрых, в обобщенный образ человека неукротимой энергии, типичного «покорителя пустыни», увлеченного ею как делом своих рук.

Конец «Подводных ветров» оказался эскизом «Кара-Бугаза», а «Кара-Бугаз» и вслед за ним «Колхида» стали наивысшим достижением второго периода в творчестве Паустовского и в то же время его завершением. Оба произведения породили обширную литературу отзывов и рецензий, были тепло приняты критикой и читателями. Н. Крупская, П. Павленко и другие приветствовали появление «Кара-Бугаза»; рецензенты в один голос противопоставляли это произведение, посвященное вопросам развития окраин, «колониальным романам» Киплинга и Бенуа.

История создания повести увлекательно рассказана самим автором в «Золотой розе». Казалось бы, совершенно непоэтичный исходный предмет — разработка залежей глауберовой соли в неприветливом пустынном заливе Каспия — раскрылся во множестве сложнейших связей, перспектив и сверхзадач. Воображение автора соединило в прочном сюжетном узле самоотверженность патриотических усилий нескольких поколений русских ученых, ожесточе-

ние классовой схватки, бросившей сюда на голодную смерть десятки жертв еще хорошо памятной белогвардейской расправы (глава «Кара-Ада» — «Черный остров»), ярость большевистского наступления на бесплодие иссушенных земель, на дикий допотопный быт местных кочевых племен. Горькая соль Кара-Бугаза словно впитала в себя пот и слезы бывшей там солдатской каторги, где многие годы изнывал крепостной живописец, народный певец Украины Тарас Шевченко.

Резкие перемещения во времени, свободные переходы от истории к современности, от современности к прогностике, умелый, в изобразительном плане тяготеющий к смелым экспериментам советской кинематографии 20-х годов монтаж вставных новелл, эмоционального авторского рассказа, сухих научных выкладок и стилизованных под архаику документов (Паустовский гордился тем, что сочиненные им письма и рапорт лейтенанта Жеребцова многие приняли за архивный подлинник) — все это задает повести бурный, вовлекающий в свое движение темп, характерный для мироощущения тех лет.

Неподатливость исходного материала и эта сила всеобщей устремленности в будущее потребовали от писателя той особого рода дерзости и веры в себя, примером которой остались в нашей литературе созданные Маяковским рекламные плакаты РОСТА, а в дальнейшем широкие, горьковского размаха, организаторские начинания — поездки писательских «бригад» на стройки Турксиба и Магнитки, в районы бывших восточных окраин (Л. Леонов, Н. Тихонов, В. Луговской, П. Павленко и др.); публикации журнала «Наши достижения», где вместе с К. Паустовским сотрудничали замечательные писатели-документалисты И. Катаев, Б. Галин, Б. Агапов, М Ильин с его «Рассказом о великом плане»; подготовительные работы к «Истории фабрик и заводов». «Никогда еще искусство слова не служило так усердно и так успешно делу познания жизни. Это особенно хорошо видишь на очерках...»,— писал Горький в статье «О литературе», а один из авторов «Наших достижений» (1934, № 5, с. 114) утверждал: «...есть писатели, признание и популярность которых прочно и целиком покоятся на их очерковой практике — К. Паустовский, В. Ставский, С. Третьяков».

Соратники К. Паустовского в эту пору — пионеры «производственной темы» в советской прозе, а ближайшие соседи «Кара-Бугаза» — такие этапные книги, как «Не переводя дыхания» и «День второй» И. Эренбурга, «Большой конвейер» М. Ильина, «Время, вперед!» В. Катаева, «Гидроцентраль» М. Шагинян и «Соть» Л. Леонова, несколько позднее — «Жень-Шень» М. Пришвина. В то же время одним из первых К. Паустовский в самой их изначальной, за-

чаточной форме предугадал некоторые направления не только современного ему, но и последующего литературного развития: в частности, соединение художественных задач с задачами научно-популярными стало одним из предвестников их будущего трудного, конфликтного, но неизбежного союза. «...Я думаю,— писал в газете «Правда» С. Маршак (20 января 1936 г.),— что научно-художественной книжке положено основание. Это сделали и М. Ильин, и Борис Житков, и К. Паустовский, и другие...»

С несколько иной точки зрения интересна оценка повести К. Паустовского, данная в одном из писем (декабрь 1933 г.) Роменом Ролланом. Для него важен обозначенный в повести момент перехода писателя-интеллигента от апологии «преображения» действительности к идее практического ее переустройства, момент принципиальный в творчестве художников-«попутчиков», которые формировались в дореволюционное время.

Наконец, в повести Паустовского так же, как затем и в «Колхиде», нашли прибежище мысли, ставшие актуальными чуть ли не полвека спустя,— об ограниченности природных ресурсов на земле, о необходимости сохранения культурно-бытовых памятников прошлого, об охране окружающей среды. Нужные слова — еще вон когда! — прозвучали, как ранний сигнал грядущей опасности: «Все мы ходим по краю пропасти и не подозреваем об этом. Вы знаете, что за последние десять лет сожжено каменного угля столько же, сколько его было израсходовано за весь исторический период существования человечества. Через сто — полтораста лет запасы угля иссякнут. Белый уголь может покрыть только шестьдесят процентов потребности мирового хозяйства в энергии. Шаги катастрофы можно услышать без особого напряжения. Для этого даже не нужно абсолютного слуха...»

Насыщенность «Кара-Бугаза» разносторонней и глубоко осмысленной проблематикой объяснялась не только удачной композицией, журналистским опытом и увлеченностью автора своей темой. За всем этим скрывалось самое главное: в «Кара-Бугазе» определилось новое в мировоззрении писателя, была найдена та твердая позиция по отношению к действительности, отсутствие которой долго препятствовало творческому самоопределению художника. Повесть отразила понимание автором советской современности как эпохи созидания новых, невиданных форм жизни, ощущение выстраданной поколениями лучших людей России социалистической Родины как единого коллектива людей, призванных воплотить вековую мечту человечества об идеальном обществе.

В методологическом плане это была целая революция, оказавшаяся для Паустовского в высшей степени благотворной. Если

раньше Паустовский-повествователь видел действительность враждебной своему герою, то теперь художник ищет и находит в ней и в окружающих людях родственные и близкие ему черты. Эпоха оказалась значительно шире его прежних представлений о ней. Так же как приняла она в себя мятущегося героя К. Федина, Л. Леонова, И. Эренбурга, Б. Лавренева, позднее М. Пришвина, так теперь она свободно поглотила и романтического героя Паустовского со всем своеобразием его индивидуальности. Он утратил право на позу гордого одиночки, но получил возможность жить, действовать и развиваться.

Разные стадии этого взаимопроникновения и взаимоприятия «поэта и мира» нашли у Паустовского отражение в цикле произведений об искусстве. Вначале переключение художника из привычного романтического плана в план трезвой будничной действительности воспринималось не без драматизма и ломки, не без ореола подвижничества и жертвенности. В рассказе «Пятый день» (1931) поиски нового стиля завершаются чувством неудовлетворенности, непонятости и гибелью талантливого архитектора Берга.

Образ художника и место искусства в обществе — сквозная тема в книгах Константина Паустовского. Она составляет часть более широкого комплекса лейтмотивов, затрагивающих вопросы творческой способности как проявления человеческой природы. Для Паустовского судьба таланта — мерило гуманистического потенциала общества и — шире — мерило социальной справедливости: ее нет, если ничтожно значение духовного богатства в утвердившейся системе человеческих ценностей.

Но как непременное, ненарушимое условие предполагается и ответный порыв художника: полнота самоотдачи, бескорыстие творческого процесса, подлинность его результатов,— то, что характеризует, например, личность композитора Чайковского в «Повести о лесах».

Так, сострадая герою и восхищаясь его феерически ярким, самобытным талантом в повести «Орест Кипренский» (1937), Паустовский в то же время не снимает с художника его субъективной вины за профанацию и растрату дарования в конце жизни, за недостаток характера, за профессионально-нравственную уязвимость.

Предметом основного внимания писателя остаются, однако, прежде всего те ситуации противостояния или неравного поединка, где герой предстает как жертва окружающих условий. В его общественно-политическом звучании этот мотив оказывает у Паустовского воздействие на выбор ситуаций и моментов национальной жизни России в повестях, затрагивающих историческую тематику. Он назревает еще в главах о подвиге и казни лейтенанта

Шмидта в «Черном море», присутствует в трактовке образа прапорщика Павла Бестужева в «Северных рассказах» (1938), а ранее — в повести «Судьба Шарля Лонсевиля» (1933).

Не менее драматическое развитие этот мотив приобретает в соотнесении с фигурами таких пролагателей новых путей национального искусства, как поручик Лермонтов и Тарас Шевченко в одноименных повестях 1940-го и 1939 годов, Пушкин в пьесе «Наш современник» (1949), Эдгар По в «Равнине под снегом» (1949).

Столь же фатален исход «поединка» в повести «Исаак Левитан» (1938), где и яркое небо будто навечно застлано тяжелыми свинцовыми облаками, где природа печальна потому, что печален человек, где Москва, обернувшаяся неласковой мачехой для талантливого мальчика-сироты, окутана синей мглой затяжного ненастья, а бесприютные пространства великой Волги мертвы, словно «преддверия хмурого ада». Какая в этой повести происходит изнурительная борьба за солнце на картинах живописца, за проблеск радости сквозь уныние и безнадежность! И чем больше света отвоевано для искусства, тем все меньше остается его для самого Левитана, как будто прозрачная мартовская голубизна и осеннее золото русской равнины, перенесенные им на полотно, не заимствуют свой избыток у окружающей природы, а выпивают, вычерпывают его из души художника. И она угасает, ищет насильственного конца, идет навстречу ранней гибели...

Самый этот тон глубокой и мужественной скорби близок звучанию родственных тем в уже написанных и только еще издававшихся в год столетия со дня смерти Пушкина произведениях советских исторических романистов — «Одеты камнем» и «Радищев» Ольги Форш, книгах Тынянова о Кюхельбекере, Грибоедове и Пушкине,— о героях и мучениках русской культуры в эпоху, осененную именем и памятью великого национального поэта, о губительности произвола, оборвавшего столько жизней замечательных поэтов, писателей, художников, столько надежд России, да и не только России...

Мотив несогласованности художника с его временем исчезает там, где повествование относится уже к советской действительности. Здесь общая тенденция от тридцатых годов к последующим, от «Морской прививки» (1935) к «Потерянному дню» (1937), «Дыму отечества» (1944), «Повести о лесах»,— постепенное снятие нестерпимых напряжений и нарастание творческого подъема благодаря осознанию общности судеб и духовного родства художника с обыкновенными людьми,— в особенности, когда речь идет о работе больших и широко признанных исполнительских талантов: певца Пирогова в рассказе «Во глубине России» (1950) или пианиста

Рихтера в рассказе «Избушка в лесу» (1960). Необходимость профессионально-творческого уединения не истолковывается более как синоним непременной изоляции художника-индивидуалиста, но приводит к пониманию сложной связи с народной аудиторией, которой должны быть отданы «плоды любимых дум» и находки ремесла.

В то самое время, когда, опираясь в своих положительных выводах на материал «Кара-Бугаза», а потом и «Колхиды», критика приветствует их основное направление и актуальность, в то время, когда жанр «очерковой повести» признается основным жанром Паустовского, а проблема так называемой «второй природы», т. е. природы, преобразованной трудом советского человека, закрепляется за писателем как основная, в творчестве Паустовского намечается новая направленность. Обозначились признаки его последующего отхода от начальной «прозы созидания» с ее сугубо инструментальным производственным пафосом индустриализма и покорения природы, а когда писатель позже к этой теме возвращался («Повесть о лесах», 1948; «Героический юго-восток», 1952—1956, и др.), то уже с менее радикальной, но и более разносторонней программой.

Писатель начинает интенсивно осваивать новые для него темы, жанры и способы повествования. Чтение лоций, которыми он одно время очень увлекался, вдохновляет его на цикл вольной эссеистики «Черное море» (1936). Он выступает и как драматург, сказочник («Теплый хлеб», 1945; «Стальное колечко», 1946; «Растрепанный воробей», 1948, и др.), и как публицист. Его портреты писателей (Малышкина, Грина, Бунина, Андерсена и многих других), его статьи о творчестве, о родном языке, о нуждах литературы и основах социальной нравственности — это как бы фрагменты его «большой прозы».

Он ищет способы стать понятным для всех и не боится рамок «юношеской», «краеведческой», «научно-популярной», «биографической» беллетристики; его специфический, условно-романтический театр (пьесы «Простые сердца», 1940; «Поручик Лермонтов», 1941; «Северянка», «Держимся, адмирал Нахимов!», «Ленинградская ночь», 1943; «Талые воды», 1947; «Наш современник», 1949) не гнушается и маленьких одноактных постановок, которые можно разыгрывать в детских драмкружках, на подмостках народных клубов и на занятиях сельской самодеятельности.

Но наиболее перспективной точкой роста оказался в творчестве писателя так называемый «мещорский цикл». Опыт ассоциативно-поэтического обогащения «нагого факта», сухой научной информации, пристального или беглого личного наблюдения лежит в

основе всей серии знаменитых «очерковых повестей» К. Паустовского. Метод «вживления» рассказчика и героев в определенную географическую среду, со всеми ее историческими, геологическими, почвенно-климатическими и культурными достопримечательностями, все чаще возвращает писателя из «фарсистанских» дальних стран к себе домой. Оказалось, что ближайшее окружение могло дать воображению художника не меньше пищи, чем самые красочные редкости любой из четырех частей света. И что все дело было в *искусстве видеть мир,* как называется в «Золотой розе» одна из глав.

Приобщение писателя к истокам родного языка и глубинного национально-патриотического восприятия намного приблизило его к широкой, поистине народной читательской аудитории, дало силу и жизненность его повести о земле и людях средней полосы России «Мещорская сторона» (1939), равно как связанным с этим произведением духовно и территориально лучшим лирико-психологическим рассказам и очеркам Паустовского 30—60-х годов («Михайловские рощи», «Желтый свет», «Ленька с Малого озера», «Жильцы старого дома», «Телеграмма», «Кордон 273», «Наедине с осенью», «Старик в потертой шинели» и другие).

Чем далее, тем более действительность интересует Паустовского как художника не с точки зрения преобразования природы в единоборстве с ней человека, но с точки зрения преобразования природы самого человека. Писатель ищет в современности возможность наибольшего развертывания конструктивных, положительных начал человеческой личности и достижения ее максимальной гармонии со средой. Наша эпоха, пишет он,— «эпоха созидания новых человеческих отношений и новой жизни,— полноценной в каждой своей секунде». Своей основной задачей он считает утверждение этого нового, «более совершенного строя отношений», нового гуманизма социалистического общества.

Проблема поисков наивысших проявлений «человеческой сущности человека» затронута уже в «Кара-Бугазе» (образы людей пустыни («Дело вдовы На̲чар») и в «Колхиде» (тип отношений между героями, вся атмосфера книги, характер ее конфликтов). Она делается решительно преобладающей в новеллистике 30-х годов и в последующем творчестве.

3

В лучших произведениях позднего периода Константин Паустовский остался приверженцем лирико-романтического отношения к действительности. В «Повести о лесах» (1948), «Дыме отече-

ства» (М., 1964; написано в 1944 г.), «Золотой розе» и «Повести о жизни» художественный метод Паустовского окончательно определился и остался в основном неизменным.

Настоящее и прошлое нашей действительности, полной борьбы, самоотверженности, а иногда — трагизма и лишений, писатель рассматривает теперь преимущественно с точки зрения тех ее элементов, которые принадлежат миру желаемого будущего.

Нравственно-философская основа миросозерцания писателя — вечное «непокорство» идеала, требующего реализации в изменчивом и конфликтном земном бытии. Здесь и его сила, и его слабость. Слабость — в том, что как только он покидает почву воображаемого и желанного, так все подвохи «суровой правды жизни» становятся у него на пути, как зло, избежать которого куда легче, нежели одолеть. Сила — в неутомимости призыва к человеку и человечности.

Романтический ключ сообщает прозе Паустовского характерные для нее легкость и яркость. Она отталкивается от повседневной «деловитости», она не может поступиться своей праздничностью, которую автор стремится донести до читателя в чистом, нерасплесканном виде.

Писатель уводит нас в простор полей, продутых свежим ветром, в сумрак влажных, тенистых лесов Мещоры. Его мир — это жизнь, какой она бывает, какой может быть и более всего — какой быть должна. Это храм невраждебной природы, искусства и красоты, где мирно и дружелюбно соседствуют века, народы, культура, где каждая травинка растет для умножения прекрасного.

Закономерно, что новое мироощущение в основном формируется у Паустовского ближе ко второй половине 30-х годов. Он не был одинок в разведке своей темы: она рождена самой обстановкой в литературе и жизни страны тех лет — настроением бодрости и уверенности в будущем, сознанием неизбежного торжества, полной и окончательной победы социализма.

В рассказах и повестях Паустовского человек раскрывается преимущественно в сфере эмоциональной и выступает не в его производственном, профессиональном, собственно «общественном» качестве, но, напротив, предстает в своих «личных» отношениях с миром. Именно они становятся предметом художественного анализа писателя, через них он исследует и утверждает закономерности нового общества.

В этом смысле примечателен маленький сборник рассказов К. Паустовского «Летние дни» (1939), «книга, которую не заметили», как назвал свою рецензию о ней в «Литературной газете» критик А. Роскин.

Несколько миниатюрных новелл с самыми непритязательными, преимущественно юмористическими сюжетами («Барсучий нос», «Кот-ворюга», «Резиновая лодка») уводят нас от масштабной панорамы вздыбленной промышленной и социальной нови «Кара-Бугаза» — к загородному житью-бытью приезжих друзей, чередующих работу с рыбной ловлей, взаимным общением, неторопливым шутливым и лирическим созерцанием подробностей их сельского окружения в том расположении к нему, которое заставляет вспомнить сочувственные деревенские картины Пушкина, Тургенева, Аксакова (кому К. Паустовский посвятил позже свои «Рыболовные заметки», 1948). Творческие интересы писателя начинают пересекаться с упрочивающейся традицией природоведческих, охотничьих, этнографических, фенологических и краеведческих очерков, зачинателями которой в советской литературе можно считать В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Михаила Пришвина.

Новое самоопределение Паустовского по отношению к объекту изображения и к его оценке вносит большие изменения не только в проблематику, но и в структуру его произведений. Это изменение реализуется в основном в трех направлениях. Во-первых, радикально меняются отношения повествователя и героев, героев и среды, в связи с чем определяется характер типичных для новеллы Паустовского сюжетных ситуаций. Во-вторых, становится иным самый тип героя и вместе с этим постепенно находит свое решение проблема изображения характера. Наконец, в-третьих, совершенно по-новому, глубоко осмысленно и программно начинает звучать тема природы.

Итак, прежде всего изменяется в творчестве Паустовского точка зрения повествователя (или автобиографического героя). Не «я и среда», но «среда и я» — такой принцип становится организующим для его произведений. Если Максимов поставлен в «Романтиках» над остальными действующими лицами, то писатель Леонтьев в «Повести о лесах» подчеркнуто отвергает попытки окружающих защитить его во время лесного пожара, уберечь от опасности ради его профессии, ради его творчества. «Я такой же, как все»,— говорит он.

Только эта общность со всеми дает автобиографическому герою Паустовского возможность приблизиться к жизни простых людей, вникнуть в истинную сущность человеческих отношений, характерных для «начала неведомого века».

Рассказы и повести последнего периода творчества Паустовского вводят читателя в народную жизнь: «Повесть о лесах» и «Ме-

щорская сторона», «Летние дни», десятки других небольших рассказов свидетельствуют о том, каким душевно щедрым и бескорыстным писатель хочет видеть и показать своего современника. Этот современник входит в его произведения образами людей, встреченных писателем на перепутьях разных дорог, где-то «во глубине России», в «маленьких городах со смешными и милыми именами: Петушки, Спас-Клепики, Крапивна, Железный Гусь».

Мир героев Паустовского — это мир простых безвестных тружеников и умельцев, любовно украшающих родную землю. Это люди доброжелательные, глубоко мирные, очень «домашние», понятные и близкие, люди труда, с их устоявшимся бытом и его знакомыми подробностями. У них обыкновенные, с детства слышанные каждым имена и фамилии: студент Коля Евсеев, садовод Николай Никитич, лесной объездчик Баулин, художник Петров, писатель Леонтьев, фельдшерица Варвара Яковлевна, учитель Иван Лукич по прозвищу Патагонец. Это они сажают леса и цветы, строят плотины и уничтожают овраги, меняют географию страны, много учатся, читают, размышляют, спорят.

Осмысленное существование, благородные общественные жизненные цели соответственно формируют их внутреннее существо, их душевный склад, черты их характера. Сердца их открыты навстречу друг другу, склонны к дружбе, к привязанности, им враждебны жестокость и пошлость, они бережны и чутки к чужому горю. Поэтому и самое горе — смерть близкого человека, временная неудача, какое-нибудь жизненное потрясение переносятся легче; разделенное сочувствием друзей, горе не оставляет незаживающих ран: оно только углубляет и очищает душу, делает ее восприимчивее и строже. Мир оказывается так полон хороших симпатичных людей, что в нем нельзя, невозможно долго оставаться страдающим, одиноким, лишенным дружеского участия и сердечной теплоты.

Неутомимые, неустанные художественные разыскания писателя фиксируют в этой «устойчивой жизни» все новые и новые проявления будущего, «великолепного мира свободы, справедливости и культуры».

По глубокому убеждению Паустовского, сущность отношений между людьми, наличие или отсутствие в них элементов идеала, для опытного глаза делается ясной очень скоро. Не обязательны особые обстоятельства, чрезвычайные события, драматическая напряженность. Они могут быть и могут не быть — само по себе это мало интересует писателя. Скорее напротив — он их избегает. Его внимание приковано к тому, что может казаться незначительным, несущественным. Именно в этих «как будто пустяках» и стоящих

за ними нравственных принципах Паустовский находит большие общественные закономерности.

Знаменателен написанный еще в 1928 году рассказ «Ценный груз». Простая игрушка — что-то неосновательное и несерьезное для любого уважающего себя моряка, привыкшего иметь дело с более солидным грузом,— приобретает большое политическое значение, не говоря уже о чисто человеческом смысле игрушки, которая всегда хоть немного возвращает каждому его лучшее, «детское». А несуразный, казавшийся нелепым и смешным «чудак» — игрушечник становится глубоко располагающим к себе человеком и оказывается достойным и полномочным представителем своей великой страны.

Особо глубокого смысла исполнены в рассказах Паустовского проявления такта, внимания, признательности, знаки любви, маленькие подарки, сюрпризы — все то, что подтверждает простодушную мысль старика Коркия в повести «Колхида»: «Теперь нет уже богатых и меньшевиков... и человек должен быть ласковым с другим человеком».

Нужно заметить, впрочем, что утверждаемый Паустовским тип отношений между людьми необходим и обязателен только как закон нового, социалистического мира и действителен только в его границах. Поэтому когда умение «быть ласковым», доброжелательство, бережность не только по отношению к человеку, но и к животным, к растениям становится темой многих рассказов писателя, это не значит, что гуманность его приобретает абстрактный и всеобъемлющий характер. В жизненных случаях, положенных в основу рассказов «Заячьи лапы» (1937), «Подарок» и «Сивый мерин» (1940), «Нет ли у вас молока?» (1944). «Старик в потертой шинели» (1956), и других, подразумевается свой, советский мир. Недаром боец Тулиген, проявляющий трогательную заботу о старой черепахе («Старая черепаха», 1942) и отучивший двух девочек-школьниц от жестокого обращения с животными, в то же время — солдат, снайпер, прямое назначение которого на войне — убивать фашиста, убивать врага. Но, хотя Паустовский легко решает для себя проблему воинствующего гуманизма, не случайно и то, что его объект — Тулиген — гуманист и воспитатель, человек мягкий и деликатный, а не Тулиген — суровый воин-мститель.

Таков типичный для Паустовского поворот темы, такова особенность его метода.

Общество будущего, «того будущего, куда народ стремится всей силой своих надежд», начинается для Паустовского сегодня, сейчас и начинается там, где любовь к женщине, бережное отношение к ребенку, преклонение перед красотой и талантом, благого-

вение перед юностью становятся величинами, безусловно принимаемыми в расчет. Один из лучших рассказов — именно с таким подтекстом — о маленькой худенькой девочке Маше в розовом платье, которая появилась в пустынном саду Тихона Петровича, как робкий луч солнца, и, сама того не ведая, внесла с собой душу, свет, жизнь («Маша»).

Поиски максимальной гармонии в отношении человека к человеку накладывают свою печать на характер конфликтов, обычных для новеллы Паустовского. Паустовский не выдерживает конфликтного напряжения долго, он спешит разрядить обстановку и торопится к развязке, если и не счастливой вполне (как любимые им праздничные апофеозы — ср. «Колхиду» и «Северную повесть»), то перспективной или примиряющей («Роза ветров», «Телеграмма», «Старик в потертой шинели»).

Это легко увидеть и в его новеллистике военного периода. В нашей жизни и литературе период войны воспринимается как совершенно особый. Воззвания, стихи, повести, страстная и гневная публицистика — все подчинилось в то время одной всепоглощающей идее — идее священной ненависти к врагу, идее предельного напряжения сил ради победы. На этом фоне рассказы Паустовского, несмотря на внешние тематические изменения, на появление среди его героев солдат, командиров, санитарок, медсестер, партизан, сохранились как безмятежный, почти идиллический островок мира среди военного пожара.

В годы новой всенародной беды писатель по-своему искал в буднях фронта и тыла, чем поддержать в человеке мужество жить и бороться. Он неизменно пытался напомнить читателю о реальностях того желанного мира, где возможны похожие и непохожие друг на друга «счастливые семьи», где люди обладают талантом приносить радость любимым и не стыдятся добрых порывов сердца.

В тревожном напряжении 1943 года и в победном, но еще оглушенном, контуженном войной 1945 году написаны две нежнейшие лирические акварели К. Паустовского — его новеллы «Снег» и «Дождливый рассвет».

И там и там — родные «русские городки, где с крыльца видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах», где неукоснительны сезонные перемены в хозяйском саду и ближней роще, где зимой так приятно расчистить от снега дорожку к беседке, а летом «открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам». И там и там офицер-фронтовик, после перенесенных недавно ран и лишений, на краткое время приобщается к размеренности «простодушного уюта» в обветшалом деревянном домишке со скрипучей дворовой калиткой, старинным ко-

локольцем на дверях и жилым теплом скромного семейного крова. Негаданная встреча помогает двум людям найти друг в друге что-то знакомое, как будто уже виденное прежде.

Испытания и пережитые опасности с годами лишь обострили у писателя чувство ценности иных «незамысловатых вещей» и «веками мучившую людей мысль о необратимости каждой минуты».

Не от иллюзий неведенья и не от заповедей «красивой неправды», а от горчайшего опыта собственного прошлого исходил Паустовский, стараясь напомнить о минутах просвета и передышки, о близких людях, о клочке неба, завидневшемся из окопа, о кратком затишье,— о чем разливалась тогда на солдатских привалах гармонь, наигрывая «старинный вальс «Осенний сон» (М. Исаковский), и пел Марк Бернес в кинофильме «Два бойца», о чем была и «Землянка» А. Суркова, и стихи и пьесы К. Симонова. К. Паустовский поступал так же, как работники фронтовых концертных бригад, когда на торопливо сколоченных эстрадах-времянках, часто под открытым небом они исполняли ноктюрны Шопена, пели о любви Онегина и Татьяны, о сердечных неурядицах Марицы и Сильвы.

4

Изменение основной направленности писательского внимания Паустовского в годы зрелости определяет эволюцию жанра и характера в творчестве писателя. Уже в первых набросках, зарисовках, отрывках Паустовский отличался способностью запомнить и живо изобразить чем-то поразивший его случай, происшествие, ситуацию.

В ранние годы, мечтая о «большой форме», о масштабном сюжетном романе («Блистающие облака» относятся к попыткам такого рода), он пренебрегал этой своей особенностью. Однако вскоре его субъективные желания пришли в столкновение с характером дарования, и несколько лет спустя Паустовский признается: «Сюжетно строить вещь для меня всегда мучительно». В сущности, уже во времена «Романтиков» он, еще неосознанно, еще только стремясь наиболее точно выразить свое мироощущение, искал, как теперь видно, контуры масштабной лирико-прозаической формы с характерной для нее ослабленной линией сквозного действия и усиленно акцентированным присутствием личности повествователя. Он бился над своей творческой задачей долгие годы, то отступаясь от нее, то находя более или менее удовлетворительные варианты ее решения в ряде последующих книг: «Блистающие облака», «Коллекционер», «Дым отечества» и других. Архитектоника его больших произведений оказывается тем более стройной, чем более она тяго-

теет к «цикличности»,— когда основой, ядром повествования остается новелла и когда ряд новелл, объединенных общей мыслью и пафосом повествователя, образует крепко спаянный цикл. Такой цикличностью отмечены и «Черное море», и «Мещорская сторона», и, наконец, «Повесть о жизни»,— особенно интересный опыт построения достаточно монументального романа из отдельных повестей, также подразделяющихся на относительно самостоятельные рассказы, имеющие свой объект изображения, свою цель и часто — своего героя. Эта обманчивая простота, незамысловатость композиции обязывает, однако, с особым вниманием отнестись и к произведению в целом, и к единственному сквозному его герою — к самой фигуре повествователя.

Книга создавалась много лет спустя после описанных в ней событий, на волне того интереса к революционным истокам формирования национально-патриотического и гражданского сознания советских людей, который получил особо широкое развитие в нашей литературе после Великой Отечественной войны.

Всеохватным чувством словно бы второго рождения народа и еще неизбытой радости отчасти объясняется, по-видимому, в тот период обращение советских писателей — Ф. Гладкова, В. Кожевникова, В. Смирнова, М. Пришвина, К. Федина — к начальным страницам собственной жизни, к ранним детским впечатлениям, к важнейшим урокам долгой работы в литературе.

Повесть Паустовского — одна из позднейших в этом ряду и одна из первых в другом: в ряду литературных и житейских воспоминаний, в которых прошлое оценивается с высот, открывавшихся нам накануне вступления страны в новую полосу истории — период зрелого социализма. Это мемуары К. Чуковского, Н. Тихонова, Ю. Либединского, В. Лидина, И. Эренбурга, В. Каверина, В. Кетлинской, М. Шагинян. Тогда же, в 1945 году, К. Паустовский задумывает свою «Золотую розу» — художественное исследование психологии искусства, его природы. Этого рода книги впоследствии также были значительно преумножены в нашей литературе.

В автобиографическом цикле Паустовский, пожалуй, меньше, чем кто-либо другой, стремится доподлинно рассказать о своей жизни и больше всего — о виденном в жизни. По этой причине искушенный автор, давно уже ставший уверенным «режиссером» наших читательских эмоций, властной рукой мастера выбирает, компонует, соотносит факты былого в соответствии с замыслом повествования: человеческая песчинка, взрослеющий мечтатель, юная «демографическая единица» неблагополучной Российской империи, с еще не определившимся в ней уделом, ввергается в самумы и смерчи грозного исторического времени. Кажущаяся статичность и

малое внимание к процессу созревания героя проистекают в «Повести о жизни» из того, что «Костик», автобиографический прототип К. Паустовского, не рассматривается автором как главное действующее лицо, это в большой степени позиция наблюдателя-рассказчика, будущего художника, со всей страстью и жаждой познания отдающегося на волю могучего «потока жизни», как назвал он позднее одну из своих статей. Поэтому как действующее лицо он остается большей частью в тени.

Действительно, разве о нем и ради него написаны «Розовые олеандры», «Брянские леса», «Пустынная Таврида» и другие главы? Разве не дядя Юзя, бродяга, искатель приключений, никогда не знавший покоя, но зато знавший, что такое врожденное чувство справедливости, герой «Шариков из бузины»? Точно так же не автору посвящена новелла «Вода из реки Лимпопо» — об учителе Черпунове. «Дедушка мой Максим Григорьевич», «Великий трагик Кин», «Преподаватели гуманитарных наук» — уже сами заглавия называют героев.

Но эта «тень» рассказчика незаметно вырастает, постепенно раскрывая богатейшую содержательность образа самого повествователя, превращая весь цикл повестей в один из протяженных и емких «романов воспитания» XX века.

Константин Паустовский пишет художественное произведение, а не подробную биографическую анкету; он подчиняет отбор впечатлений, их трактовку собственным представлениям о целях творчества. Оттого он так равнодушен к хронологии, к строгой последовательности событий и так неравнодушен к лирическим размышлениям и воспоминаниям, прямо не связанным с действием и, как иногда кажется, более близким к новеллам «Золотой розы». Таковы, например, главы «Рассказ ни о чем», «О записных книжках и «памяти», «Материалы к истории московских особняков», «О фиринке, водопроводе и мелких опасностях».

До- и пореволюционная русская действительность, воссоздаваемая Паустовским через призму личного опыта героя, оценивается им с точки зрения заложенных в ней элементов будущего. Главное во всей автобиографической книге Паустовского — это сопоставление и столкновение двух отношений к жизни и двух ее толкований. С одной стороны, жизнь — как радость, как счастье и творчество, как непрерывное духовное обогащение, с другой — как неизменные отношения господина и раба, как мещанское прозябание, как вечный страх и унизительная зависимость от стихии, от власти слепого случая, от социальных катастроф, от тысячи условностей и предрассудков. Непоколебимая вера юности автора — вера в торжество радости и победу разума, можно даже сказать, своего

рода «философия счастья» — обусловливает общий эмоциональный тон книги, то упоение жизнью, которое переполняет ее, несмотря на все тяжелое и безобразное, чему находится еще место на земле и о чем невозможно не говорить. Невыразимый ужас ожидания еврейского погрома, вопль целого города, «обращенный к остаткам человеческой совести» («Крик среди ночи»), трупы женщин и детей на дорогах войны и полные мрачного библейского величия проклятия войне в стенах костелов и синагог («Две тысячи томов», «Местечко Кобрин»), картина принижающего человеческое достоинство религиозного фанатизма («Поездка в Ченстохов»), бессилие и беспомощность перед эпидемией черной оспы — над всем этим и рядом с этим, повсюду — проявление добра и красоты, человечности и труда.

Два разных мироощущения сталкиваются Паустовским не как абстрактное противопоставление полярных и взаимоисключающих сил и не как неизбежная в старом романтизме антитеза героя и толпы, личности и среды, но в тех житейских соотношениях, которые автор наблюдает сам, которые он видит не только в себе, но и в окружающих. Отсюда неизбежная «многогеройность» и «эпизодичность» повести, все новые и новые осуществления авторского замысла: «искать каждый проблеск человечности в окружающих, как бы они ни казались нам чуждыми и неинтересными» (глава «Гостиница «Великобритания»). Отсюда и ощутимое деление персонажей на друзей и врагов, на тех, кто воспитал и сохранил в себе творческое и свободное отношение к миру и владеет его действительным богатством, и на тех, чьи «богатства» мнимы — на собственников, случайных людей, хищников и их жертв. Водораздел между теми и другими — не прямая, а сложная, извилистая, причудливая линия; бывает, что она разделяет родных людей навсегда и безвозвратно, бывает и так, что те, кто вчера еще не знал друг друга, случайно встретившись, оказываются по одну ее сторону. Так расходятся в повести пути автора с его близкими — с братьями и матерью. Щемящая нота жалости к ней слышится на протяжении всей книги: душевная слепота матери, скованной ложными понятиями о «приличиях», «благопристойности», «интеллигентности», ее неудачно и несчастливо сложившаяся жизнь печалит автора не меньше, чем слепота и вынужденная узость интересов его сестры: они ничем не защищены от случайностей жизни и бессильны перед миром жадных собственников, авантюристов, разъяренных мещан, перед миром, путь которого «к справедливости, свободе и счастью был временами поистине страшен».

Еще в первых частях цикла Паустовский познакомил читателей с настроениями близкого ему круга художественной и служи-

лой «средней интеллигенции» в эпоху между двух революций. Благоговейная память о демократических традициях 60—80-х годов, об идеалах «разумного, доброго, вечного», преклонение перед величием гениев русской и мировой литературы, скрытый конфликт робкой мещанской респектабельности с отвлеченной, но неистребимой мечтательностью — такова была атмосфера среды, с детства окружавшей писателя.

Но уже с гимназических лет судьба Паустовского, интеллигента и разночинца, узнавшего бедность, сиротство и суровость борьбы за кусок хлеба, столкнула его с широчайшими прослойками городского неимущего люда, заставила почувствовать родство и солидарность с ними, близко к сердцу принять их интересы.

И с каждой новой частью автобиографического цикла все с большим правом входят в него вереницы представителей «низов» общества — матросов, горничных, рыночных торговцев, нищих слепцов, балагул-возчиков, типографских рабочих, разночинцев, инородцев, бродячих музыкантов, циркачей, рыбаков.

Он любил художников и писателей, которые всматривались в эту среду, с ее широчайшим диапазоном от пушкинского Германна до купринского Желткова, от судебных крючков, отысканных еще Гоголем в капищах уездных и губернских присутствий, до канцеляристов, писцов, статистиков и капельмейстеров Чехова-юмориста. Он чтил ее самоотверженных защитников, ставших на сторону угнетенных, он избирал героями своих книг ее одаренных детей (а ведь ими были и Левитан, и Грин, и Пиросманишвили). Ее знатоков — Куприна, Гиляровского — глубоко уважал. А литературными учителями — при всей широте своего литературного кругозора — назвал в одной из устных бесед таких несхожих друг с другом и с ним самим, но зато социально близких ему писателей, как Горький, Пришвин, Бабель и Багрицкий.

О себе он говорил: «Да, я принадлежу к этой «гуще народа». Я чувствую себя своим среди этих мастеровых, крестьян, рабочих, солдат, среди того великого простонародья, из которого вышли и Глеб Успенский, и Лесков, и Никитин, и Горький, и тысячи талантливых наших людей».

Характерно, что и в рассказах, и в повестях зрелого периода его творчества он остался в основном верен тому же кругу героев: ведь это они или их дети стали органической частью массы советских трудящихся — агрономов, актеров, гидрологов, строителей, включив и тех из них, кто заново осел в деревне, будь то медработники, библиотекари, учителя, промысловики, лесоводы. С ними писатель охотнее всего общался, их непритязательный жизненный уклад — его неторопливый ритм, нецеремонные манеры, обстоя-

тельные чаепития, немудрящее, но обжитое хозяйство — считал для себя наиболее благотворным. В их домах ему лучше всего работалось и жилось.

Смолоду он хотел создавать свои книги для этих людей. И когда он понял, что Россию ожидают «невиданные перемены», он был нищ, как его народ, и, как он, баснословно богат. В этом было его счастье — в совпадении интересов тех прослоек, к которым он принадлежал, с целями надвигающегося общественного переворота и с индивидуальными творческими планами писателя.

«Повесть о жизни» и другие произведения позднего периода создают весьма отчетливое представление о том, как именно автор решил для себя проблему положительного героя.

Поставленный лицом к лицу со своим современником, наблюдая его в труде, в творчестве, в тяге к знанию, к искусству, Паустовский увидел широкую народную основу талантливости и героизма. «Героизм — явление народное,— писал он.— Народ создает героев так же, как создает замечательные легенды, сказы, песни. Он создает героев, любит их и преклоняется перед ними потому, что в героях справедливо видит образ будущего человека».

На собственном житейском и писательском опыте убеждается Паустовский, что стена, отделяющая «замечательного» человека от «толпы», разрушена. Гуманизм и душевное богатство народа оказываются почвой талантов и питающей их средой. Писатель называет Мещору «родиной талантов» и вспоминает в «Повести о лесах» «знаменитых уроженцев среднерусской области».

В рассказах Паустовского простые люди из народа — мальчик Ленька с Малого озера, деревенская девочка Аннушка, впоследствии ставшая известной артисткой, застенчивый стекольный мастер — мечтательны, талантливы, чутки ко всему прекрасному. В свою очередь, каждый герой — «замечательная личность» — есть только наиболее концентрированное выражение лучших народных черт, их носитель, что и позволяет ему «с наибольшей полнотой выразить свое время и свой народ». Целью писателя делается отыскание в каждом отдельном простом человеке его «потенциальной способности быть гениальным», а в каждом герое — его человеческого, его народного. Растет по-горьковски сочувственный интерес Паустовского к «замечательным людям», кто бы они ни были, вне зависимости от размеров их славы. «Собирательность» и многоликость героя обязала писателя использовать специфические способы изображения характера. Он прибегает к однолинейному сюжетному повествованию, где судьба героя прослеживается с начала и до конца, он обращается к формам «воспоминаний», рецензии, вступительной статьи: «Молодость» — о Багрицком, «Малышкин.

(Памяти писателя)», «Константин Симонов», «Алексей Толстой», «Жизнь Грина» и т. д., он создает и разрабатывает самостоятельный жанр своеобразного романтического портрета.

Характеры в новеллах и последних повестях Паустовского — это чаще всего сжатые портреты, основные принципы создания которых неоднократно декларированы автором и осуществлены на практике. Паустовский достигает краткости своих портретов и единства впечатления, извлекая из каждой личности ее высшие человеческие и творческие потенции и отбрасывая все прочее. Характеризуя в одном из творческих портретов некоторые особенности Пришвина-художника, писатель очень верно формулирует также и собственные принципы изображения героя: «Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет у каждого в сердце, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый».

Благодаря сосредоточенности Паустовского на «самом заветном» в его героях, отпадает необходимость их подробного и детализированного изображения. Портрет приобретает сжатость, не теряя выразительности. Таким способом писатель достигает своей цели: разнообразие портретируемых им индивидуальностей в совокупности с чертами самого повествователя создает в читательском представлении собирательный образ положительного героя в творчестве Паустовского.

5

Повествователь в зрелом творчестве Паустовского приобретает значение типического лица не только в области его отношений с окружающими, но и в том, как он проявляет себя, будучи поставлен лицом к лицу с природой. Паустовскому всегда, с детства, было свойственно обостренное чувство природы, поэтому она нередко присутствует на страницах ранних произведений.

Если в 20-х годах было заметно его тяготение к экзотическому пейзажу с характерной для такого пейзажа экспрессией и яркостью красок, то с 30-х годов, когда Паустовский начинает смотреть на природу не глазами романтика-отщепенца, а глазами своего современника, она входит в его книги как их неотъемлемая часть. Она почти целиком вытесняет интерьер, либо полностью поглощая его (ср. главу «Мой дом» в повести «Мещорская сторона»), либо так или иначе — особенной игрой солнечного света, палым листом бульвара, весенним ливнем или букетом цветов — подавая о себе весть даже среди асфальта улиц и камня городских домов (ср. рас-

сказ «Грач в троллейбусе», 1953, и аналогичный эпизод с цветами в «Повести о жизни»).

Художник, плохо знакомый с природой,— непонятное для Паустовского, странное и смешное существо. По его убеждению, «нельзя писать книги и не знать, какие травы растут на лесных полянах и на болотах; где восходит Сириус, чем отличаются листья берез от листьев осин, улетают ли на зиму синицы, когда цветет рожь и какие ветры приносят дожди или засуху, пасмурность или яркое небо. Нельзя писать книги и не знать, что такое предрассветный ветер или глухая ночь под открытым небом в октябре. Писательство несовместимо с изнеженностью, с комнатной скукой, с пренебрежением к природе. У писателя должны быть руки не только покрытые мозолями от пера, но и потрескавшиеся от речной воды».

Утверждение пейзажа становится одним из краеугольных камней эстетики Паустовского, приобретая сознательный и программный характер.

В очерках, пейзажных набросках, многочисленных рассказах, связанных с поэзией среднерусской природы, постепенно вырисовываются, проясняются и приобретают законченность шедевра — если вспомнить, как в рассказе «Наедине с осенью» (1963) толкует это слово сам писатель,— черты возлюбленной «ойкумены» К. Паустовского — «скромной земли под неярким небом», в мягкой смене времен года, в насыщенной жизнью и красотой протяженности каждого из «потерянных» дней, в чередовании лугов и перелесков, таинственных речушек, песчаных косогоров и плакучих ив над тихими заводями. Там, в этой общности человека с его природным окружением, К. Паустовский обрел наконец одну из надежнейших опор своего творчества. Захватывающий размах и щемящая красота просторов России, «ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям», вызывают у писателя чувства, неотрывные от гордости за свой обновленный революцией край. Гражданское Отечество и культурно-историческая Родина совмещаются в этом волшебном пункте в единый патриотический образ социалистической Отчизны. Ничего нет для писателя желанней, чем из любого земного далека, пусть хотя бы мысленно, вновь и вновь возвращаться сюда ради встреч с застенчивыми светловолосыми ребятами, вездесущими мальчишками-рыболовами, охотничьими привалами, шалашами пасечников, избушками лесников, рассказами бывалых дедов, смешливыми языкатыми колхозницами, с хозяйственным ладом деревенского дома и с непременной дворовой живностью. Какая-нибудь приветливая или, напротив, отчаянно свирепая дворняга, надменный красавец петух, бородатая озорница коза и многочисленные мелкие представители

коварного семейства кошачьих то и дело привносят в повествование частичку тепла, остро подмеченный штрих неповторимой индивидуальности, неистребимый комический элемент.

И все это — в привольном раздолье лесов и полей, напоенных прохладой и влагой. Образы, связанные с животворностью водной среды, играют в книгах Паустовского особую роль. Беды засушливых земель переживаются им как острое мучение, трудные заботы гидрологов и оросителей — как подвиг («Героический юго-восток», 1952—1956). В ненависти своей к пустыне, насылающей на человека исчадия зноя и пыльных бурь, писатель признавался не раз. Тяга его к стихии воды с юности питалась многолетними впечатлениями причерноморских акваторий, она привела его к Балтике и карельским озерам, сделала «бардом» заболоченной Пры, патриотом Таруски, энтузиастом комариных мещорских мшар, восторженным созерцателем зловещих грозовых спектаклей и увлеченным классификатором любых небесных водяных даров, будь то снегопад и метельный занос или изморось, туман, пушистый иней, тонкая наледь или роскошное изобилие всякого рода дождей — обложных, моросящих, ливневых, грибных и затяжных «осенних мелких дождичков», едва копошащихся в палой листве. Зелень, живность и щедрое на «метеорологические осадки» небо умеренных широт, не знающих ни полярных, ни тропических крайностей, позволяют писателю породнить любимые рязанские или костромские края с дубравами Приднепровья и с подножием синих Карпат:

«Страна эта прекрасна. Она закутана в светлый туман. Кажется, что этот туман возникает над ее мягкими холмами от дыхания первых трав, цветов и листьев, от распаханной земли и поднявшихся зеленей.

Маленькие радуги дрожат над шумящими мельничными колесами, брызжут водой на черные прибрежные ветлы.

Холмы сменяют друг друга, бегут от горизонта до горизонта. Они похожи на огромные волны из зелени и света. Небо такое чистое и плотное, что невольно хочется назвать его по-старинному — небосводом. Солнце отливает желтизной. И с каждым вздохом втягиваешь целебный настой из сосновой коры и снега, что еще не всюду растаял на вершинах гор».

Если принять во внимание, что этим пейзажем начинается один из военных рассказов 1944 года («Стеклянные бусы»), то что уж говорить о восторженном, ненасытном удивлении многообразными проявлениями круговорота природной жизни, о чувстве слиянности с нею во всем творчестве К. Паустовского. Это чувство со временем накапливается, возрастает, находит все более совершенное художественное воплощение.

В последнее десятилетие жизни писателя стойкая радость преисполненных ликования рассказов, пейзажных зарисовок и путевых впечатлений осложняется отголосками мирских тревог, что, составляя достаточно характерную черту сегодняшней жизненной реальности, накладывает заметную печать на литературу наших дней. Так, в спокойном, величавом завершении «Виллы Боргезе» (1956) летучие тени тягостных впечатлений пытаются, но все же не могут возобладать над торжествующим «ощущением ясности и счастья». И неоглядные дали развернутой в пространстве красочной перспективы «Ильинского омута» (1964) утоляют обостренное сознание пережитых невзгод, желание вместить в себя как образ прекрасного целого этот уголок земли «в его ошеломляющем и таинственном разнообразии». Тот, кому открылась эта удивительная гармония, приобщен к стройному ладу народной души, вкусившей «состояние глубочайшего мира». Сходные мотивы и чувства запечатлены и в лирико-патетическом строе последней поэмы А. Твардовского «За далью — даль».

Чрезвычайно интересно и важно, как свое отношение к природе Паустовский сверяет с народным опытом и чувством. Он не раз возвращается к мысли о том, что «образность и волшебность (по словам Тургенева) русского языка неуловимым образом связаны с природой, с бормотанием родников, криком журавлиных стай, с угасающими закатами, отдаленной песней девушек в лугах и тянущим издалека дымком от костра...».

Становится понятным, почему, почти затаив дыхание, писатель прислушивается к голосам деревенских детей, хорошо знающих неисчерпаемое богатство «разнотравья», почему с глубоким вниманием относится к словам ворчливого бакенщика, раскрывающего городским пионерам с детства знакомый для него мир природы, почему возникает в «Золотой розе» глава «Алмазный язык», где с таким сочувствием вспоминаются замечательные, подхваченные у народа словарные находки поэтов.

* * *

От «Романтиков» к «Повести о жизни» — таков путь творческого развития Паустовского. За долгие годы многосложного жизненного и литературного опыта его писательский почерк — не без ошибок, спорных экспериментов — приобрел твердость и уверенность. Время, большой творческий труд способствовали обогащению и шлифовке его таланта.

Стало привычным находить в тщательно отделанных произведениях писателя уравновешенность мысли и чувства, отточенность

языка и то «легкое дыхание», которое сам К. Паустовский в новелле «Умолкнувший звук» (1967) почитал выражением тончайшего соответствия между «вздохами» жизнетворящих изначальных стихий и благодетельным ритмом поэтически организованной речи.

Имя К. Паустовского постепенно приобретает некоторый оттенок легендарности. В воспоминаниях близких людей, случайных спутников, товарищей по работе воспроизводятся в его человеческом облике черты благородства и глубокой интеллигентности, оттеняемые иногда чувством юмора, или достоинствами превосходного рассказчика-импровизатора, или смешными причудами заядлого рыболова.

Известен К. Паустовский — пейзажист, различающий неприметные переливы красок, и лирик, способный выразить неуловимые движения души; доброжелательный педагог, учтивейший собеседник, любитель деревенского уединения.

Но те, кто хорошо знал его в жизни, помнят и другое: его стойкость, независимость и силу характера, порой — непредвиденную, но справедливую жесткость оценок и суждений. Говорят и о «не знающей устали энергии» писателя, о его нерасторжимой связи со своим временем, об остроте и принципиальности его позиции гражданина и публициста.

Литературная деятельность К. Паустовского была движима беспредельной преданностью искусству и вдохновлялась так остро необходимой в определенные исторические периоды масштабной идеей, понятой как собственная индивидуальная жизненная программа,— идеей культуро-творческой работы художника, обращенной к каждому читателю.

Принести в дар народной аудитории личные способности, сокровища памяти, ювелирное владение словом, высокий профессионализм талантливого рассказчика: он знает, что значит в новелле «точка, поставленная вовремя», и первые фразы повествовательного зачина, и трудное искусство заглавий, и яркий финал-завершение. Он знает цену неожиданного сравнения, точной комической детали, кружевного плетения вольных ассоциаций.

Просеять и выбрать самые прекрасные слова народного языка и лучшие строки мировой поэзии; воссоздать несколькими штрихами неповторимое лицо земель, морей и городов; «перезнакомить» современников друг с другом, дать им почувствовать свою историю, научить раскованности воображения и смелости быть талантливым.

Показать землю как детище многовековой культурной деятельности поколений, торжествующей наперекор свирепым силам хаоса и вандализма.

Помочь увидеть и понять бесконечность проявлений органиче-

ской и неорганической жизни как возвышенное, вдохновляющее зрелище, неповторимое в подробностях любого часа и дня.

Пробудить беспокойство за убывающее плодородие земель, размытые склоны брошенных карьеров, обезображенные неумелым хозяйствованием ландшафты, сведенные леса, обмелевшие реки.

Научить хоть по складам разбирать сложнейшую партитуру, доступную нашим органам чувств, чтобы осознать все разнообразие запахов, звуков и ощущений, всю роскошь красок на полотнах художников и на «стендах» самой природы. Такова лишь часть задач его малой энциклопедии «наук, искусств и ремесел».

Он многое знал и не уставал открывать «новые области красоты». За широту интересов и научную дотошность друзья называли его в шутку «доктор Пауст»; «...источники поэзии и прозы,— говорил он,— заключаются в познании и в могучем человеческом воображении».

Зоркая наблюдательность Паустовского, интеллектуальная и эмоциональная отзывчивость, изобретательная фантазия высвечивают под блестящим и радужным поверхностным слоем его прозы глубины сложнейшей проблематики века: интеллигенция и революция, художник и общество, природа и цивилизация. По отношению к многовековому культурному наследию прошлого и способам его сохранения во всех социальных потрясениях XX века он чувствовал себя так же, как один из его героев, ученый-литературовед Швейцер: «Я сторож. Даже не сторож — я часовой» (роман «Дым отечества»). Как немногие из писателей, Паустовский богат литературными наследниками, испытавшими влияние его личности и таланта. Можно сказать, что «из Паустовского» вышел в советской литературе мощный поток последующей лирической прозы; в разной мере и в разных отношениях ему наследуют С. Антонов, Ю. Яковлев, В. Солоухин, Ю. Нагибин, Ю. Казаков, Р. Погодин, В. Конецкий и другие.

Никогда не прекращавшаяся работа духа, щедрость творческой самоотдачи были тем главным, на чем основано нравственное влияние личности К. Паустовского при его жизни и эстетическое воздействие книг, оставленных писателем нам в наследство.

Долгое становление Паустовского-художника увенчалось в конце концов признанием его творчества в широких читательских кругах и в более узкой среде его приверженцев, последователей, учеников.

Но такая судьба в искусстве уготована только подлинным и самобытным его мастерам.

Галина Трефилова

НЕСКОЛЬКО ОТРЫВОЧНЫХ МЫСЛЕЙ

Вместо предисловия

Обычно писатель знает себя лучше, чем критики и литературоведы. Вот почему я согласился на предложение издательства написать краткое предисловие к своему Собранию сочинений.

Но, с другой стороны, возможность говорить о себе у писателя ограничена. Он связан многими трудностями, в первую очередь — неловкостью давать оценку собственным книгам.

Кроме того, ждать от автора объяснения собственных вещей — дело бесполезное. Чехов в таких случаях говорил: «Читайте мои книги, у меня же там все написано». Я с охотой могу повторить эти чеховские слова.

Поэтому я выскажу лишь некоторые соображения относительно своего творчества и вкратце передам свою биографию. Подробно рассказывать ее нет смысла. Вся моя жизнь с раннего детства до начала тридцатых годов описана в шести книгах автобиографической «Повести о жизни», которая включена в это Собрание. Работу над «Повестью о жизни» я продолжаю и сейчас.

Родился я в Москве 31 мая 1892 года в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика.

Отец мой происходил из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось, около Белой Церкви. Там жили мой дед — бывший николаевский солдат — и бабка-турчанка.

Несмотря на профессию статистика, требующую трезвого взгляда на вещи, отец был неисправимым мечтателем и протестантом. Из-за этих своих качеств он не засижи-

вался подолгу на одном месте. После Москвы служил в Вильно, Пскове и, наконец, осел, более или менее прочно, в Киеве.

Моя мать — дочь служащего на сахарном заводе — была женщиной властной и суровой.

Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, спорили, благоговейно любили театр.

Учился я в 1-й киевской классической гимназии.

Когда я был в шестом классе, семья наша распалась. С тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и ученье. Перебивался я довольно тяжелым трудом — так называемым репетиторством.

В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале «Огни». Это было, насколько я помню, в 1911 году.

После окончания гимназии я два года пробыл в Киевском университете, а затем перевелся в Московский университет и переехал в Москву.

В начале мировой войны я работал вожатым и кондуктором на московском трамвае, потом — санитаром на тыловом и полевом санитарных поездах.

Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии.

В отряде из попавшегося мне обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день убиты на разных фронтах оба мои брата. Я вернулся к матери — она в то время жила в Москве, но долго высидеть на месте не смог и снова начал свою скитальческую жизнь: уехал в Екатеринослав и работал там на металлургическом заводе Брянского общества, потом переехал в Юзовку на Новороссийский завод, а оттуда в Таганрог на котельный завод Нев-Вильдэ. Осенью 1916 года ушел с котельного завода в рыбачью артель на Азовском море.

В свободное время я начал писать в Таганроге свой первый роман — «Романтики».

Потом переехал в Москву, где меня застала Февральская революция, и начал работать журналистом.

Мое становление человека и писателя происходило при Советской власти и определило весь мой дальнейший жизненный путь.

В Москве я пережил Октябрьскую революцию, стал

свидетелем многих событий 1917—1919 годов, несколько раз слышал Ленина и жил напряженной жизнью газетных редакций.

Но вскоре меня «завертело». Я уехал к матери (она снова перебралась на Украину), пережил в Киеве несколько переворотов, из Киева уехал в Одессу. Там я впервые попал в среду молодых писателей — Ильфа, Бабеля, Багрицкого, Шенгели, Льва Славина.

Но мне не давала покоя «муза дальних странствий», и я, пробыв два года в Одессе, переехал в Сухум, потом — в Батум и Тифлис. Из Тифлиса я ездил в Армению и даже попал в северную Персию.

В 1923 году вернулся в Москву, где несколько лет проработал редактором РОСТА. В то время я уже начал печататься.

Первой моей «настоящей» книгой был сборник рассказов «Встречные корабли» (1928).

Летом 1932 года я начал работать над книгой «Кара-Бугаз». История написания «Кара-Бугаза» и некоторых других книг изложена довольно подробно в повести «Золотая роза». Поэтому здесь я на этом останавливаться не буду.

После выхода в свет «Кара-Бугаза» я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной, всепоглощающей, порой мучительной, но всегда любимой работой.

Ездил я по-прежнему много, даже больше, чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, жил в Мещоре, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, в Крыму, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе — в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском.

Во время Великой Отечественной войны я работал военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест. После окончания войны я опять много путешествовал. В течение 50-х и в начале 60-х годов я посетил Чехословакию, жил в Болгарии в совершенно сказочных рыбачьих городках Несебре (Мессемерия) и Созополе, объехал Польшу от Кракова до Гданьска, плавал вокруг Европы, побывал в Стамбуле, Афинах, Роттердаме, Стокгольме, в Италии (Рим, Турин, Милан, Неаполь, Итальян-

ские Альпы), повидал Францию, в частности Прованс, Англию, где был в Оксфорде и шекспировском Страдфорде. В 1965 году из-за своей упорной астмы я довольно долго прожил на острове Капри — огромной скале, сплошь заросшей душистыми травами, смолистой средиземноморской сосной — пинией и водопадами (вернее, цветопадами) алой тропической бугенвилии,— на Капри, погруженном в теплую и прозрачную воду Средиземного моря.

Впечатления от этих многочисленных поездок, от встреч с самыми разными и — в каждом отдельном случае — посвоему интересными людьми легли в основу многих моих рассказов и путевых очерков («Живописная Болгария», «Амфора», «Третья встреча», «Толпа на набережной», «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша» и др.), которые читатель тоже найдет в этом Собрании сочинений.

Написал я за свою жизнь немало, но меня не покидает ощущение, что мне нужно сделать еще очень много и что глубоко постигать некоторые стороны и явления жизни и говорить о них писатель научается только в зрелом возрасте.

В юности я пережил увлечение экзотикой.

Желание необыкновенного преследовало меня с детства.

В скучной киевской квартире, где прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой собственного мальчишеского воображения.

Ветер этот приносил запах тисовых лесов, пену атлантического прибоя, раскаты тропической грозы, звон эоловой арфы.

Но пестрый мир экзотики существовал только в моей фантазии. Я никогда не видел ни темных тисовых лесов (за исключением нескольких тисовых деревьев в Никитском ботаническом саду), ни Атлантического океана, ни тропиков и ни разу не слышал эоловой арфы. Я даже не знал, как она выглядит. Гораздо позже из записок путешественника Миклухо-Маклая я узнал об этом. Маклай построил из бамбуковых стволов эолову арфу около своей хижины на Новой Гвинее. Ветер свирепо завывал в полых стволах бамбука, отпугивал суеверных туземцев, и они не мешали Маклаю работать.

Моей любимой наукой в гимназии была география. Она бесстрастно подтверждала, что на земле есть необыкновенные страны. Я знал, что тогдашняя наша скудная и не-

устроенная жизнь не даст мне возможности увидеть их. Моя мечта была явно несбыточна. Но от этого она не умирала.

Мое состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и — тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе.

С годами я ушел от экзотики, от ее нарядности, пряности, приподнятости и безразличия к простому и незаметному человеку. Но еще долго в моих повестях и рассказах попадались ее застрявшие невзначай золоченые нити.

Часто мы ошибочно соединяем в одно целое два разных понятия — то, что мы называем экзотикой, и то, что называем романтикой. Мы подменяем романтику чистой экзотикой, забывая о том, что эта последняя является лишь одной из внешних оболочек романтики и лишена самостоятельного содержания.

Сама по себе экзотика оторвана от жизни, тогда как романтика уходит в нее всеми корнями и питается всеми ее драгоценными соками. Я ушел от экзотики, но я не ушел от романтики, и никогда от нее не уйду — от очистительного ее огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного ее непокоя.

Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от нее в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной трудовой жизни.

Разумеется, экзотику можно найти в «Романтиках», «Блистающих облаках» и во многих моих ранних романтических рассказах. Мне не казалось нужным переделывать эти вещи позднее. На них лежит печать своего времени, моего тогдашнего мироощущения. Поэтому они публикуются здесь в том виде, в каком появились на свет. Лишь кое-где пришлось исправить явные ошибки и стилистические погрешности.

Не без внутреннего сопротивления я порвал с чистой экзотикой и написал об этом рассказ под названием «Морская прививка».

В этом разрыве последним толчком было посещение Московского планетария. Его только что открыли. Строитель планетария архитектор Синявский повел меня на первый

показ искусственного звездного неба. Я был, как и все, захвачен этим зрелищем.

Мы вышли из планетария поздним вечером. Стоял сухой октябрь. На улицах пахло палым листом. И вдруг как бы впервые я увидел у себя над головой огромное, живое, кипящее звездами небо. Дым легких облаков пролетал в вышине, но не застилал звезд. Казалось, черный воздух осени усиливал пылание небесного свода.

И вот — почти все, написанное мною до этого вечера, представилось мне таким же искусственным, как небо планетария — бетонный купол с фальшивыми созвездиями. Вначале оно поражало, но в нем не было глубины, воздуха, объема, слияния с мировым пространством.

После того вечера я уничтожил некоторые наиболее нарядные и искусственные свои рассказы.

Однако потом на протяжении своей дальнейшей жизни я убедился в банальной истине, что ничто — даже самая малость — не проходит для нас даром. Юношеская приверженность моя к экзотике в какой-то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем.

С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены. От этого мой внутренний мир становился богаче.

Это легкое вмешательство вымысла помогло мне в работе над «Кара-Бугазом», «Колхидой», «Черным морем» и другими повестями и рассказами.

С экзотикой было покончено. Ее сменило стремление к правде и простоте.

Но сравнительно недавно экзотика заставила меня еще раз задуматься над ее сущностью. Случилось это во время плавания вокруг Европы.

Наш теплоход отошел из Одессы и двое суток пересекал пасмурную от облачного неба синеватую пустыню Черного моря. Пенистый след ложился за кормой и как бы тянул на буксире стаю чаек с поджатыми красными лапами.

Мгла лежала на горизонте. Только на подходе к Босфору она просветлела, и за ней проступили дикие, покрытые черными лесами Анатолийские горы.

Теплоход, круто разворачиваясь, вошел в Босфор.

Перед нами открылась картина, похожая на старинную пышную декорацию приморской страны. Кое-где на этой декорации облетела позолота, кое-где ее подправили свежими красками. Вся эта путаница гор, древних башен, минаретов, скал, аркад, замков, маяков, оливковых рощ, парусов, диких роз, вековых кипарисов, мачт и рей показалась мне в огне заката нарочитым и подчеркнуто праздничным зрелищем, придуманным неутомимым и веселым художником.

Десятки пестрых, как попугаи, фелюг — карминных, желтых, зеленых, белых, синих и черных с золотыми ободами по бортам — шли, пеня воду, навстречу нашему теплоходу.

Мы стали на якорь против игрушечного городка. Вечером в домах загорелись огни. Они светили неярко, пробиваясь сквозь зелень.

Я увидел с палубы узкую улицу, уходящую в горы. Ее во всю длину перекрывал глухой, почти черный навес из виноградных лоз, растянутых на жердях. Большие зрелые кисти винограда висели низко над улицей. Под ними шел ослик с фонариком на шее. Фонарик был электрический и светил очень сильно.

Этот городок был преддверием Стамбула. С террасы маленькой кофейни, висевшей над водой, доносилась тягучая музыка. Девушки-турчанки в светлых платьях, облокотившись о перила, смотрели на пролив. Их лица, различимые в бинокль, казались очень бледными. С берега пахло олеандрами. В меркнущем небе слабо сиял полумесяц — такой же, как на куполах бесчисленных маленьких мечетей.

Мне все это казалось каким-то нереальным и напомнило вымыслы юности. Но вместе с тем это была действительность.

Я, наконец, поверил, что передо мной легендарный Босфор, что это именно я стою на палубе и что рядом в сумраке тонут древнейшие области земли — Малая Азия, мифическая Троя, Геллеспонт.

Чем больше я воочию знакомился с тем, что недавно еще существовало только в моем воображении в виде экзотических картин, тем яснее становилось, что этот мир, перенесенный из области фантазии в область познания, гораздо интереснее, значительнее и, я бы сказал, сказочнее, чем были мои выдумки о нем.

С тех пор сознание этой реальности не покидало меня

на всем пути — в лиловом Эгейском море, где тянулось по горизонту торжественное шествие розовых островов, в Акрополе, как бы построенном из старого воска, изъеденного пчелами, в Мессинском проливе с его ослепляющей голубизной воздуха, в Риме, где на простой и суровой гробнице Рафаэля в Пантеоне лежала высохшая гвоздика, в Атлантике, в кипучем Париже и в Ла-Манше, когда сквозь туман звонили навстречу кораблю старинные колокола на плавучих бакенах,— всюду и везде...

Мне кажется, что одной из характерных черт моей прозы является ее романтическая настроенность.

Это, конечно, свойство характера. Требовать от любого человека, в частности от писателя, чтобы он отказался от этой настроенности,— нелепо. Такое требование можно объяснить только невежеством.

Романтическая настроенность не противоречит острому интересу к «грубой» жизни и любви к ней. Во всех областях действительности и человеческой деятельности, за редкими исключениями, заложены зерна романтики.

Их можно не заметить и растоптать или, наоборот, дать им возможность разрастись, украсить и облагородить своим цветением внутренний мир человека.

Романтичность свойственна всему, в частности науке и познанию. Чем больше знает человек, тем полнее он воспринимает действительность, тем теснее его окружает поэзия и тем он счастливее.

Наоборот, невежество делает человека равнодушным к миру, а равнодушие растет медленно, но необратимо, как раковая опухоль. Жизнь в сознании равнодушного быстро вянет, сереет, огромные пласты ее отмирают, и в конце концов равнодушный человек остается наедине со своим невежеством и своим жалким благополучием.

Истинное счастье — это прежде всего удел знающих, удел ищущих и мечтателей. И меня очень радует то обстоятельство, что после некоторых споров, бурно протекавших в критике еще совсем недавно, романтика опять заняла свое законное место в жизни нашей литературы.

В этом введении к своим книгам я пытаюсь проследить свой собственный путь, сделать его более ясным (в частности, и для себя), определить те явления, какие привели к рождению той или иной моей книги.

Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и чистота этих побуждений находятся в прямом отношении или к признанию писателя со стороны народа, или к безразличию и даже прямому отрицанию всего им сделанного.

Желание все знать, видеть, путешествовать, быть участником разнообразных событий и столкновений человеческих страстей вылилось у меня в мечту о некоей необыкновенной профессии. Она обязательно должна была быть связана с этой кипучей жизнью.

Но есть ли на свете такая профессия? Чем больше я думал об этом, тем быстрее одна профессия отпадала вслед за другой. В них не было полной свободы. Они не охватывали жизнь целиком в ее стремительном развитии и разнообразии.

Одно время я всерьез думал стать моряком. Но вскоре мечта о писательстве вытеснила все остальные.

Писательство соединяло в себе все привлекательные профессии мира. Оно было независимым, мужественным и благородным делом.

Однако тогда я еще не знал, что писательство — это и труд, тяжкий и расточительный, что даже одна-единственная крупица правды, утаенная писателем от людей,— преступление перед собственной совестью, за которое он неизбежно ответит.

Страдания и радости всех людей становятся уделом писателя. Он должен обладать талантом собственного ви́дения мира, непреклонностью в борьбе, лирической силой и общностью жизни с природой, не говоря уже о многих других качествах, хотя бы о простой психологической выносливости.

Решение пришло. Будущее стало ясным. Избранный путь оказался прекрасен, хотя и очень труден. И ни разу за долгие годы у меня не возникло искушение изменить ему.

Моя писательская жизнь, как я уже говорил, началась с желания все знать и все видеть. И, очевидно, на этом она и окончится.

Поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг.

Почти в каждой повести и каждом моем рассказе видны следы скитаний.

Сначала был юг. С ним связаны «Романтики», «Блистающие облака», «Кара-Бугаз», «Колхида», «Черное море» и ряд рассказов, в том числе «Этикетки для колониальных товаров», «Потерянный день», «Парусный мастер», «Синева» и некоторые другие.

Первая моя поездка на север — в Ленинград, Карелию и на Кольский полуостров — просто ошеломила меня.

Я узнал пленительную власть севера. Первая же белая ночь над Невой дала мне больше для познания русской поэзии, чем десятки книг и многие часы размышлений над ними.

Оказалось, что понятие «север» означает не только тихую прелесть природы, но почему-то еще и стихи «Подруга дней моих суровых...», написанные Пушкиным в глуши псковских лесов, грозные соборы Новгорода и Пскова, величавый и стройный Ленинград, Неву за окнами Эрмитажа, песни сказителей, спокойные глаза северянок, черную хвою, слюдяной блеск озер, белую пену черемухи, запах коры, звон пил лесорубов, шелест страниц, перечитываемых ночью, когда заря уже проступает над Финским заливом и в памяти поют слова Блока:

...Руку
Одна заря закинула к другой,
И, сестры двух небес, прядут они —
То розовый, то голубой туман,
И в море утопающая туча
В предсмертном гневе мечет из очей
То красные, то синие огни.

Можно исписать много страниц этими неясными приметами, создающими явственный облик севера. Я был захвачен севером сильнее, чем югом.

Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыроватой ночи, когда каждая капля росы и отражение костра в луговом озерке вызывают такую внезапную, сокровенную, такую застенчивую и глубокую любовь к России, что от нее глухо колотится сердце. И хочется жить сотни лет, чтобы смотреть на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту.

Север вызвал к жизни такие книги, как «Судьба Шарля Лонсевиля», «Озерный фронт», «Северная повесть», и такие рассказы, как «Колотый сахар» и «Беглые встречи».

Но самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России. Произошло оно довольно поздно, когда мне было уже под тридцать лет. Конечно, и до этого я бывал в Средней России, но всегда мимоходом и наспех.

Так иногда бывает: увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на косогоре — и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть даже во сне, но полюбил всем сердцем.

Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки.

С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля.

Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску — на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу.

С этим кустом и с пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь.

Я снова здесь в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный...

Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещорском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.

Средней России — и только ей — я обязан большинством написанных мною вещей. Перечисление их займет много места. Я упомяну только главные: «Мещорская сторона», «Исаак Левитан», «Повесть о лесах», цикл рассказов «Летние дни», «Старый челн», «Ночь в октябре», «Те-

леграмма», «Дождливый рассвет», «Кордон 273», «Во глубине России», «Наедине с осенью», «Ильинский омут».

В Мещорском краю я прикоснулся к чистейшим истокам народного русского языка. Не буду здесь говорить об этом, чтобы не повторяться. Свое отношение к русскому языку и мысли о нем я высказал в книге «Золотая роза» (в главе «Алмазный язык»).

Возможно, читателям этой статьи покажется странным то обстоятельство, что автор останавливается главным образом на внешней среде, в которой происходит действие его произведений, но почти ничего не говорит о своих героях.

Я не могу дать своим героям беспристрастной оценки. Поэтому говорить мне о них трудно. Пусть оценку даст им читатель.

Я могу лишь сказать, что всегда жил со своими героями одной жизнью, всегда стремился открыть в них добрые черты, показать их сущность, их незаметное порой своеобразие. Не мне судить, удалось ли мне это.

Я всегда был с любимыми своими героями во всех обстоятельствах их жизни — в горе и счастье, в борьбе и тревогах, победах и неудачах. И с той же силой, с какой любил все подлинно человеческое в самом незаметном и незавидном герое, ненавидел людскую накипь, тупость и невежество.

Каждая моя книга — это собрание многих людей разных возрастов, национальностей, занятий, характеров и поступков. Поэтому меня несколько удивляет упрек некоторых критиков, что я бегло и неохотно пишу о людях. Очевидно, за беглость принимают сжатые характеристики людей.

Ну что ж, все это легко проверить. Для этого можно взять любую книгу хотя бы из автобиографического цикла и посмотреть, кого мы встретим на ее страницах.

Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей. Я пытался найти общие черты их характеров — те черты, что выдвинули их в ряды лучших представителей человечества.

Кроме отдельных книг о Левитане, Кипренском, Тарасе Шевченко, у меня есть главы романов и повестей, рассказы и очерки, посвященные Ленину, Горькому, Чайковскому, Чехову, лейтенанту Шмидту, Виктору Гюго, Блоку, Пушкину, Христиану Андерсену, Мопассану, Пришвину,

Григу, Гайдару, Шарлю де Костеру, Флоберу, Багрицкому, Мультатули, Лермонтову, Моцарту, Гоголю, Эдгару По, Врубелю, Диккенсу, Грину и Малышкину.

Но все же чаще и охотнее всего я пишу о людях простых и безвестных — о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях — своих закадычных друзьях.

В своей работе я многим обязан поэтам, писателям, художникам и ученым разных времен и народов. Я не буду перечислять здесь их имена, от безвестного автора «Слова о полку Игореве» и Микеланджело до Стендаля и Чехова. Имен этих очень много.

Но больше всего я обязан самой жизни, простой и значительной. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть.

Напоследок хочу повторить, что мое становление писателя и человека произошло при советском строе.

Моя страна, мой народ и создание им нового, подлинно социалистического общества — вот то высшее, чему я служил, служу и буду служить каждым написанным словом.

К. Паустовский



РОМАН

I. ЖИЗНЬ

СТАРЫЙ ОСКАР

Была привычная горечь в этих разговорах со старым композитором в темном кафе.

Старик был еще строен для своих шестидесяти лет. Когда бывал пьян, то плакал, поносил свою службу — он был учителем немецкого языка в гимназии — и пытался незаметно засунуть в рукава исписанные нотами манжеты.

Он написал фантастическую оперу. Ни один театр не соглашался ее поставить, хотя старик уверял, что она не хуже вагнеровского «Тристана».

— Посмотрите на мои пальцы! — вскрикивал он и жалко тряс головой.— Это пальцы для клавиш и струн. О Генрих Гейне, Генрих Гейне, зачем он умер так рано! Я люблю старую западную жизнь, этих людей, которые умели смеяться и понимали музыку. Я люблю даже всех вас, хотя в гимназии вы издевались над Новалисом. Сотни раз я говорил вам: «Не пристраивайтесь к жизни. Скитайтесь, будьте бродягами, пишите стихи, любите женщин, но обходите за два квартала солидных людей».

Мы молча пили кислое вино и курили. Южный город шумел под белыми сентябрьскими звездами.

Пришел Сташевский — уверенный и насмешливый. Старик устало улыбнулся и замолчал.

— Блеск и величие жизни! — сказал вдруг Сташевский, пуская густые клубы дыма.— Блеск и величие жизни,— повторил он и замолчал. Говорил он отрывисто. Связь между его словами была неуловима для человека, плохо знавшего его.

— Оскар! — восторженно выкрикнул он.— Оскар, напишите оперу, чтоб в каждой ноте ревела жизнь. Понима-

ете, жизнь дурашливая, крикливая, как клетка с попугаями. Ну что, разве плохая тема? К черту ваших жен в ситцевых капотах! Задушите канареек и уезжайте в Вену. Это город для вас. Пейте там, плачьтесь на судьбу проституткам, шляйтесь по рынкам, возвращайтесь в свою комнату на рассвете, когда пахнет цветами и капустой,— и вы напишете великолепную оперу.

У Оскара задрожали руки.

— Он пьян,— сказал я тихо и отодвинул стакан Сташевского.

— Сидеть здесь глупо. Сосать настоянный на клопах коньяк и хныкать о загубленной жизни. Подходит смерть, и жаловаться на бога не приходится.

Он стукнул кулаком по столу.

Лакеи насторожились. Далекая зарница загорелась и погасла над морем.

Оскар вдруг заторопился и снял очки.

— Не кричите, Сташевский,— сказал он и оглянулся.— Помолчите, ради бога, десять минут. Не перебивайте, я сейчас расскажу вам о хорошей жизни.

Глаза его сузились, заблестели. Голос стал глух и слегка задрожал. Медленно пустело кафе.

— Да... еще мальчишкой,— тихо, будто припоминая, сказал Оскар,— у меня была одна мысль — создать такую музыку, чтобы кружилась голова. С детства у меня были длинные пальцы, пискливый голос и дерзкие мысли. Вырос я среди амбаров, где на три вершка лежала белая пыль и до потолка были навалены мешки с житом. Мой отец держал хлебную ссыпку. У нас в доме стояли конторки, и мои братья горбились над пудовыми гроссбухами, вписывая туда сотни и тысячи цифр. Бухгалтерия! Копейка должна сойтись с копейкой. Поэтому бухгалтера обычно такой мелочной народ.

Потом классическая гимназия, двойки, детские пороки, потные руки, замазанные чернилами. Я любил слизывать их языком,— они очень кислые и стягивают кожу.

Мать с тощим узлом волос на затылке, в башмаках с резинками, всегда с таким лицом, будто она выпила полынной настойки. Да, собственно, радоваться было нечему. Братья ходили в плотных коричневых парах, на коленях у них висели мешки, из их комнаты воняло прелыми носками и креозотом,— у старшего была чахотка. Я их ненавидел.

Отец был солиден, молчалив и зол. Он носил очки и острые усы, как у любимого кайзера. Я ведь немец из колонистов, из этого рыжего, крепкого и злого кулачья! Из меня отец хотел сделать коммерсанта.

— Я хотел бы музыки, отец!

— Музыки? Болван! Ты хочешь учить барышень и играть танцы на маскарадах? Ты хочешь быть тапером, скотина!

Я был слаб и часто плакал. У меня уже тогда дрожала голова. Отец донял меня. Но я все же выбрал лучшее занятие, чем коммерция. Я стал учителем.

Потом случился брак. Как, почему — видит бог, не знаю. Жена — анемичная «фрейлен» из богатого дома. Она привезла в мою комнату розовую пудру, канарейку Мицци и запах женского пота. До сих пор я дрожу от отвращения. А эти нудные гости и родственники, обеды в столовой, где вечно какой-то желтый свет и нестерпимо пахнет луком из кухни.

Женившись, я сделал необычайное открытие. Это покажет вам, как я был еще глуп. Я понял, что семейная жизнь приспособлена к тому, чтоб ходили гости, чтоб обедать на клеенке, добродетельно тискать рыхлую женщину и сейчас же после «любви» ссориться из-за больших расходов.

Но ночи были мои. Ночью я вставал, зажигал лампу и писал, усталый от классной вони, от сотен склонений и спряжений. Да... По ночам я писал. Мне не хватало нотной бумаги. Это было как чудо. Я слышал — не смейтесь! — я отчетливо слышал, как облака звучали над землей, фаготы высвистывали бешеный танец и хлопали от ветра старые знамена. Я писал и слышал, как расцветала под моими пальцами легенда об иной жизни, где солнечные дали открываются одна за другой. Я населял веселыми толпами матросов и цыганок черные гавани. Выстрелы пистолетов сливались в барабанную дробь, и колокола качались и гремели во славу средневековых песен. Я понял, что значит восторг. Вы знаете это слово — восторг? — крикнул он и встал.— Я писал обо всем: о горечи любви и величии непередаваемого, о боге и вечной жажде перемен.

Он сел и надолго замолчал.

— Потом...— сказал он упавшим голосом.— Э-э, да что потом... Директора театров, рецензенты, обиженное молчание жены, черствая булка за столом, переводные экзамены, тошнота.

Он поморщился, отыскивая в кармане папиросу.

— Вы знаете, что мне говорили? «Ваша музыка слишком фантастична и беспорядочна. Ваша музыка напыщенна. Поставить оперу трудно». Были, правда редко, любезные отказы. Обычно же отказывают по-хамски. Кое-что я играл на концертах, но это было мучительно. С утра оттирать на сюртуке пятна, завязывать галстук, уходить на концерт раздраженным и слушать жидкие хлопки. Стыдно! В газетах писали: «глуховатость тонов, отсутствие музыкальной механики». Вы слышите,— механики! Талант — как горчица к шницелю, а выше всего — «звуковая механика».

Были добродушные насмешки друзей. Они злее, чем самые злые насмешки родных. Тот же сонный покой и скука в глазах жены, дрянное вино, дешевые рестораны и несколько вас, молодых,— вот и все, что осталось.

Я побежденный, но я не сдамся, ибо я — победитель.

Широко шумел ветер, разбрасывая по столикам листья каштанов, уже тронутые ржавчиной.

Мы вышли молча. Шумели ночь и море, и девушки, не знавшие любви, шепотом звали за собой. Под ногами шуршала листва.

О ТВОРЧЕСТВЕ

Я проснулся от гула в печной трубе. В саду слонялся сонный день, кутался в дым, тускло светился в подмерзших лужах.

Была такая тишина, будто весь город спит. Я сел к столу и написал несколько строк. Я толком не знал, о чем я буду писать. Обо всем. Об этой осени, о том, что кровь туго бьется в сердце и мокрый песок в саду пахнет зимой.

Мать никогда не знает, каким будет ее ребенок. И я знаю только одно — я хочу писать. Я слушаю, как далеко и сердито трубит пароход в открытом море, я слушаю свист ветра в голых сучьях за окном. Мои руки зябнут. Я прислоняюсь спиной к теплой печке и, кутаясь в легкое пальто, пишу обо всем, что мне приходит в голову.

Все, что я пишу,— баловство. Так говорит Сташевский. Но из этого тумана рождаются иногда простые и свежие образы. Я знаю это, и слова Сташевского проскальзывают мимо, не задевая сердца. Я могу писать обо всем, что мне хочется. Почему рассказ должен быть не меньше двух

страниц? Пусть он будет в одну строчку — от этого он не станет хуже.

Туман стоит зеленой морской водой, рыжая осень осыпается в переулках, и глаза женщин темнеют от любви к крошечным детям.

Я пишу о сером и теплом вечере, когда от пасмурной воды еще сочится запоздалое тепло и запах подводных трав, о капризах детей с изумленными глазами. Все это небрежные слова, наброски, но эти образы преследуют меня.

Я пишу о теплом женском дыхании, сумраке приморских кафе, о Шелли, о снежной музыке Грига, о желтых берегах Эллады и смерти Байрона. Судорожно, словно боясь опоздать, я бросаю эти мазки из слов.

В лабораториях университета я наблюдал процесс кристаллизации. Из мутного раствора слагаются тонкие плоскости и растет прозрачный и твердый кристалл, преломляющий солнце. То же и со мной сейчас.

Каждое утро меня будит гомон воробьев. Я чувствую, как еще по-мальчишески молодо мое тело.

Алексей спит долго, зарывшись головой в подушку.

Мы все трое студенты. Мы вместе сдаем зачеты и работаем в вечерней газете. По вечерам Алексей считает строчки, а по утрам идет браниться из-за гонорара. Чаще всего он пишет обширные фельетоны о вещах злободневных — краже Джоконды, полетах Блерио и постройке Амурской дороги. Газетная работа выхолостила его слова, отбила углы, и он одинаково легко пишет передовицы, рецензии и рассказы о прелестях бродячей жизни. Вдвоем мы сочиняем длиннейший роман с продолжением — «Бутылка джина в Одессе». Все это печатает старый, страдающий астмой издатель Днестропуло, прижимистый бритый старик.

Он терпит. Лишь изредка, перечитывая сотое продолжение, он кричит, притворно раздражаясь, в пространство:

— Что будет с этого романа в конце концов?! Что, я спрашиваю? Они далеко пойдут, эти молодые люди,— прямо в арестантские роты!

Нас связывает эта жизнь. Мы болтаемся большей частью без дела, просиживаем дни в трактирах, научились по цвету дыма отличать английский уголь от антрацита, а по оснастке — шхуны от баркантин и трамбаки от барков. Их изъеденные червем кузова полощутся в крепком рас-

соле порта. Особенно хорошо и просторно бывает в дождь, когда дым прилипает к влажному молу и в камбузах беспечные коки варят крепкий кофе.

По вечерам бульвары розовеют от пыли и заката. Исполинской медалью светит луна, и надрываются скрипки под полосатой парусиной баров.

Ночь, как тихий фонарщик, зажигает огни, ветер гуляет по черному пебу, и оскорбленпо кричат пьяницы, вышвырнутые из кабаков.

Я много пишу. Меня волнуют самые звуки слов.

СМЕРТЬ ОСКАРА

Утром ко мне пришел Сташевский: умер старый Оскар.

Старику не везло — незадолго до смерти он потерял в трамвае единственную партитуру своей оперы. Он был потрясен и пил запоем несколько дней.

Мы пошли к Оскару. На сырой лестнице было темно и пахло мышами. Желтели стены, выкрашенные масляной краской, захватанные грязными пальцами.

В квартире стоял запах уксуса и нашатырного спирта. В передней на подзеркальнике спал жирный кот.

Оскар лежал на письменном столе в вицмундире, с новеньким орденом на груди. Лицо у него пожелтело, лишилось той нервности, что делала его привлекательным при жизни. Горели три свечи. Я взглянул на их желтые язычки и вспомнил почему-то вокзалы поздней ночью, когда пассажиры спят на темных скамьях и диванах, а за широкими окнами наливается сизая холодная заря.

Сташевский, бледный, с перекошенным лицом, долго смотрел на Оскара, и брезгливая усмешка подергивала его губы.

— Да, брат ты мой,— сказал оп медленно.— Не люблю эти сентиментальные таланты. Слякоть!

На стене висели портреты Бетховена, Грига, Моцарта, Баха.

Мы принесли цветы. Белые и упругие, лежали они около рук Оскара, пергаментных и сухих. Только теперь я заметил, какие это были тонкие руки.

Было слышно, как на кухне кто-то выговаривал кухарке. Болела голова, ломило в висках, и хотелось поскорее уйти. Сташевский подошел к окну, перелистал пыльные

ноты, посмотрел на портрет Баха па выгоревших обоях. Мы поцеловали Оскара в большой выпуклый лоб и вышли.

Ветер сыпал в глаза пыль, шелуху подсолнухов и сено. Преследовал запах уксуса и сладковатый смрад тлепия.

— Пакость,— сказал Сташевский, помолчал и сплюнул.— Какая пакость!

Хоронили Оскара на следующий день. Все было будпично и бедно. За гробом шла жена в дешевом трауре, черный креп блестел на ее шляпе, как слюда, шел его брат — пемец с веселыми глазами, старухи — любительницы похорон, гимназисты и факельщики в брюках с серебряными лампасами, в рыжих чудовищных сапогах. В стороне шли его ученики — Сташевский, Алексей, я и художник Винклер, тоненький, как девушка.

Сухощавый пастор, в элегантном пальто с бархатным воротником, раскрыл молитвенпик и прочел по-немецки песколько длинных и скучных молитв. Пасмурное небо сулило дождь.

Битый кирпич стучал о крышку гроба.

Когда могилу засыпали, сразу стало легко.

— Ну что ж,— сказал Сташевский,— стоило жить, чтобы так умереть.

Родные ушли. Винклер написал на сосновом кресте синим карандашом:

Quid aeternis minorem
Consiliis animum fatigas?

Зачем вечными замыслами ты томишь слишком слабую душу?

Темнело. Город рокотал вдали трамваями, гудками пароходов, грохотом ломовых дрог — прекрасными звуками жизни.

ЖУЧОК

Комната, улицы и пустые дворы пахли осенней листвой, и море шумело, как далекая память.

Осенью нам повезло — у Алексея завелись деньги. Мы втроем — Алексей, Сташевский и я — решили пойти в море со знакомым «рыбалкой». Он был черен и худ, как портовый босяк. Звали его Жучок. Баркас его — одномач-

тогая байда — совсем обветшал,— просмоленный парус весь цветился заплатами.

Жучок жил па Кривой косе. Ехали к нему степью. На бахчах желтыми горами лежали перезревшие тыквы. Белая пыль дымила из-под копыт лошадей, над балками розовело ленивое солнце. Внизу лежало море, прозрачное, как расплавленное стекло.

Хата Жучка стояла на песке. В ней пахло мелом и хлебом. Тихое море шептало за плетеным тыном.

Жучок был бобыль. Поставили погнутый самоварчик. Дым уходил высоко в небо. Мы долго пили крепкий кирпичный чай. Оранжевый вечер дремал над песками. Далеко пели девушки старую песню:

Ой, в Ерусалиме рано зазвонили,—
Молода дывчина сына спородила.

В хате Жучка, среди бумажных пионов, икон и гравюр неуклюжих кораблей, мы долго обсуждали плаванье.

Решили идти на Малую россыпь, к плавучему маяку — брандвахте.

Жучка мы знали и уважали давно. На косе он слыл за дурачка. За глаза его звали обидным прозвищем «Забродня». Не любили его за молчаливость, за довольство малым, за то, что на «рыскливой» и старой байде он решался выходить на несколько дней в открытое море.

Была давняя вражда между «бережными» рыбалками, осторожными и богатыми, и теми беспутными, «рисковыми», которые выходили ловить на самую «глыбь». Много «рисковых» гибло каждую осень во время ловли белуги. Улов они продавали за гроши грекам-скупщикам и пропивали заработок в дощатых кабаках.

Жучок был рисковой.

В прошлом году на Илью неожиданно задула трамонтана, ветер мчался глубокими порывами, крутил воду и нес полосы черных дождей. Рыбаки стали спешно уходить домой. Шли густо, парус за парусом. Один баркас перевернуло. Все шли своим путем, только Жучок, рискуя потопить свою ветхую байду, как-то извернулся, подошел и подобрал людей. Возвратился он мокрый, посиневший, с трясущимися от холода руками. Развесил сети на тонях и поплелся домой, словно ничего не случилось, словно не спас двоих людей. Старые «бережные» рыбаки, морщини-

стые, с запеченными от солнца лицами и хитрыми глазами, еще долго говорили по косе:

— Дурной человек, бог его знает. Хоть бы по трешке с них взял.

С утра задула низовка. Море пенилось и шумело в красных берегах. Хлопали темные паруса. День, отлитый из желтого стекла, стоял над бахчами.

Шхуна клюнула осмоленным носом и тяжело пошла в море. Дождь брызг бил в лицо, высоко качались борта, плакали чайки, и громыхала по дну якорная цепь. Казалось, звенело все — и ветер, и чайки, и волны.

Я лежал на носу, на кубрике, вдыхал запах рыбы, шедший от бортов и сетей, и сознание дикой свободы наполняло меня. Я лежал, курил и ждал, когда солнце сядет в волнах и туманах там, далеко, у диких берегов Тавриды. Там — в вечерней мути — седая Керчь, обрывы Киммерии, поросшие чабрецом, одинокие маяки на песчаных побережьях, а дальше — в солнце и дыму — нарядные порты, яркие лица женщин, океанские пароходы, пестрые иностранные флаги, запах богатых земель и преддверье Архипелага.

— Кидай бакан! — закричал Жучок.

Черный флаг бакана замотался на волне. Далеко полетел ржавый якорь на мокрой цепи.

Быстро постукивая деревянными поплавками о полированный борт, бежала в воду черная сеть. В сером небе горел зеленый огонь плавучего маяка. Ужинали в трюме. Мы жадно ели слегка зачерствелый белый хлеб. С жареной рыбы капало масло, маслины жгли десны.

Я выглянул за борт, где в черной воде сжимался и разжимался огонь маяка, прислушался и сказал:

— Великая меланхолия моря.

Жучок покрутил головой и засмеялся:

— Чудно́!

После ужина Жучок вытащил из каюты пыльный фонарь, зажег и повесил на мачту. Робкий свет мигнул в суровом небе.

Наползали тучи. Вода пошла чернью. Медленно гасли в ней белые зерна звезд. Шхуна дергалась на дребезжащей цепи. На борту ее белела корявая надпись: «Господи, храни в море плавающих».

Среди ночи я проснулся. Не было вокруг ни моря, ни неба, ни шхуны. Глухая тьма качалась над нами, и кровь внятно звенела в ушах. На носу мигал огонек папиросы. Жучок не спал.

Я пробрался к нему, закутался в пальто и лег рядом.

— Сколько времени? — спросил он сиплым голосом.

— Половина второго.

— Через час ломать будем. Как только зачнет сереть.

Мигнул маяк, и шхуна качнулась на черных цепях.

— Недужный я стал, должно к старости,— негромко пожаловался Жучок.— Грудь заложило. Всю ночь не спится, куришь, свою думку думаешь... Люди про меня брешут — штундист, духобор, Евангелие читает. Евангелие у меня древнейшее. Тут по степу один человек ходил — ни монах, ни странник,— не поймешь, что он такое. Он мне Евангелие продал. Да... Прочел я в нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом; ибо ваше есть царствие божие». А где оно? На море, вот где. Иной раз задумаешься — есть ли оно, царствие небесное, райский край? А как глянешь на море, небо над ним ясное, воздух легкий,— думаешь, есть. А может, есть еще и получше моря. Царствие божие далеко, а бога, брат, не видать... Матрос один на косу воротился из флота,— на бога, говорит, рыбачки́, теперь не надейтесь, бог теперь в пенсне, вроде, говорит, как профессор, боится руки об вас замарать.

— Да,— сказал Жучок и сплюнул.— Рассказывают всякое. Брала меня раньше злоба на людей: что́ они из себя сделали — смотреть страшно. Живу я по-своему. Думок много. Боюсь, до смерти всего не передумаешь. А на людей сердиться — пустое дело, себя только портить.

К полудню сорвался ветер. Маяк закрыло холстом дождя. С плеском и гулом проносились шквалы. Мы натянули рва́ные клеенчатые плащи. Шли по ветру в соседний порт,— домой пути не было. К полудню шквалы уже неслись сплошными стенами, мы мчались в воздушных коридорах между ними, и тучи легли темным дымом на сизую воду. Мокрый ветер бил в лицо, синие рыбы блестели и прыгали в трюме, и соль саднила на лопнувших губах. Шхуна тяжело оседала, по корме хлестала жидкая пена.

— К вечеру дойдем,— успокоительно сипел Жучок и вытирал реденькие усы.

Стыли мокрые ноги. В сумерки море и ветер кричали тысячами голосов. Гул стремительных шквалов стал страшен. Мы попали в полосу шторма. Казалось, что солнце погасло навсегда и не вернется на неуютную землю. Ветры точно сорвались с чугунных цепей. Беспомощные, молчаливые и мокрые, мы всматривались набрякшими глазами в ночную тьму, искали огонь маяка — тусклый дотлевающий фитиль, береговой фонарь.

Но его не было, и только ветер мчал мимо нас, взбивая воду, тусклые обрывки тумана. Сотни поездов гудели под небом на невиданных скоростях. Тяжелые струи дождя слепили глаза.

Ветром сорвало кливер. Я полез на бак, поскользнулся на чешуе и разбил руку.

И в ту же минуту ветер обрушил на меня мутный водопад соли, водорослей и тьмы. Меня бросило о палубу, ударило плечом о толстый проволочный борт.

«А-а-ах!» — закричал радостно и взволнованно ветер.

Я хотел обругать его, но он воткнул мне в глотку мое ругательство, и я подавился им, как клубком шерсти,— даже заболело горло. Море ходило головами, мылило шхуну пеной.

Я залез в конуру на баке, «каюту», и закурил. Дергало разбитое плечо. Зябли мокрые ноги, плохо закрывались опухшие и разъеденные солью веки. Я смотрел сквозь выбитую дверцу назад, на корму. Все так же стоял там Жучок, крепко расставив ноги, с мокрым измученным лицом. Все так же мутью и пенистыми столбами ходила волна, и я знал, что ни одного рыбачьего паруса, ни одной птицы не было в этом одичалом просторе.

— Огонь! — закричал снаружи Алексей.

Через час огонь маяка сверкал, синий и равнодушный, у борта шхуны, и сильно пахло рыбой и влагой. Шторм был позади.

Осень у моря, черная осень, как девушка, вымокшая под дождем, блестела лиловыми глазами. Ветер шуршал по палубе ворохом желтых листьев, и музыка из приморского «поплавка» рассказывала короткую повесть об огнях, зажженных высоко над морем, о дожде, пахнущем винной пробкой, о хохоте женщин, выпивших горячего вина.

Мы трое, взявшись за руки, прокричали «ура» и спрыгнули на берег.

САНТУРИНСКОЕ ВИНО

Мы остановились в дрянной портовой гостинице. В соседнем номере жили цыгане из хора со своими растрепанными женами. Встречаясь с нами, цыганки смотрели зазывающими глазами и бренчали монистами. Иногда они плясали и пели, и тогда казалось, что гостиница рушится от землетрясения под бешеный грохот бубна.

По ночам бывали облавы на проституток. За них вступались пароходные кочегары, спавшие в коридоре. Ругань и гром не стихали до утра.

Мы решили жить в этом городе, пока хватит денег.

Вечером я ждал в греческой кофейне Алексея и Сташевского. Стены кофейни были выкрашены в канареечный цвет, греки играли в кости. На окне сидел белый кот, мылся и презрительно щурил глаза на греков.

Алексей и Сташевский пришли с шумом, зацепили соседний столик и привели с собой серого человека в мятой шляпе.

— Вот он сидит, наш поэт, познакомься.

— Это новый, недавно нашли — бывший ссыльный, эсер. Теперь служит в пароходной конторе. Садись, выпьем!

Они были уже с ним на «ты».

Пышная гречанка с подвязанной щекой принесла две бутылки сантуринского. Эсер Семен Иванович бледно улыбнулся, положил мятую шляпу на окно и сел. Кот потрогал шляпу лапой, обиделся и ушел за стойку.

Очевидно продолжая начатое, они сразу же шумно заспорили.

— Русская литература прошлого века,— закричал Сташевский,— верное средство нажить мигрень! Мямлят о том, что можно сказать в двух словах. Дайте мне Достоевского, я сокращу его на три четверти, выкину воду, и он зацветет по-новому. Что вы мне бормочете про Гончарова. Согласен, может быть, все это очень хорошо, но не могу я его читать, не могу. Нет у него терпкости, не кружит он голову. Сердце молчит, понимаете, сердце не колотится.

— Ну, Максимов,— сказал мне Алексей,— налегай на вино, Сташевский завел волынку на три часа.

— А шуму вокруг них на тысячи рублей! — кричал Сташевский Семену Ивановичу.— И профессорского гла-

денького шуму, и торжественного, и слезливого, и бахвального. Что Гейне, что Верхарн, что Гюго — соплей перешибем! От нас земляной дух, от нас навоз, Христос, справедливость. Мы покажем человечеству путь к истине. Мы — с колтуном в мозгах, с хулиганами, безграмотные лодыри, мы — мессия! Правда, блеснули два-три. За них я и выпью, за Лермонтова, Баратынского, Пушкина. Их вспомнишь — будто бы солнце взошло над этим болотом. Их убили, облизали, пригладили каждый волосок, подобрали все шерстинки с сюртука и не нарадуются на дорогих покойничков! Только в России были кликуши в литературе. «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колена». На писателей мы смотрим, как на педагогов. Они нас учат, дурачков,— и на том спасибо. У нас нет людей. У нас нет человека со страстью, смелостью, смехом, простого пленительного человека. Мы все сидим по коробочкам. У нас, видите ли, дорогие товарищи, все эсдеки, эсеры, толстовцы, народники. Все спешат втиснуть себя в ящик с этикеткой и сосать свою принципиальную лапу. Из действительно великих и гневных идей мы выкраиваем свое — великую идею на русский лад и говорим о ней, говорим до тошноты, до того, что самим противно, до подлости. Вот страна грязи, тоски и варваров.

Семен Иванович покраснел.

— Я, собственно, не совсем с вами согласен, хотя, признаться, давно уже отошел от литературы, больше вращался в кругах партийных, и, правду сказать, лучшие люди там редко уживались.

— «Собственно — не признавали, признаться — не уживались»,— медленно повторил Сташевский и яростно посмотрел на Семена Ивановича.— Эх вы, ре-вол-лю-ционер! Вам бы в швальне штаны шить!

— Все это самооплевыванье,— вмешался Алексей.— Довольно! Ты мне надоел. Заладил одну пластинку и крутит, крутит, даже в ушах звенит.

— Арестант! — ответил Сташевский и залпом выпил свой стакан.

От сантуринского кружилась голова. Хотелось говорить без умолку. Девушка за соседним столиком пустила к потолку воздушный шар — красный и большой. Дым качался над нами, и дружно хохотали греки. Я встал.

— Вы прекрасны,— сказал я девушке. Ее спутник повернулся ко мне вместе со стулом.— Но вы совсем не знае-

те, как жить. Сейчас я расскажу вам, одну минуту, вот только налью вина.

— Ура! — крикнул некстати старый грек

Спутник девушки пожал плечами и отвернулся.

— Довольно философии! — закричал Алексей.— Пей! Залей свои туманные мозги, пока они не разгорелись. Смейся же ты, клюквенный экстракт, чертов революционер! Кто вам сказал, что надо думать? Это совсем не обязательно. Это не продлит вашу жизнь ни на минуту.

Старый грек в котелке и широких брюках подошел к нам и захихикал. Нос у него был кверху широкий, как клюв. Он хлопнул меня по плечу.

— Видал ма́стику? Видал мастику? — Он завертел перед носом зеленой бутылкой.— Кала мера! Пей!

Маслянистая мастика жгла горло. Ночь шумела ветром и прибоем. Красный воздушный шар сморщился и упал. В углу угрожающе двигали стульями вертлявые юноши в панамах.

— Эй вы, венизелосцы, уймитесь! — крикнул им Алексей, выждал, пока они притихли, и запел:

Наша жизнь коротка,
Все уносит с собой.
Наша юность, друзья,
Пронесется стрелой.

Греки звенели в такт песне пустыми стаканами. Их потные лбы отражали, как тусклые рефлекторы, свет медной лампы. Под самой лампой сидел лысый шкипер, голова его сверкала исполинским бильярдным шаром.

Табачный туман метался по комнате под ударами ветра и рвался, как истлевшая шаль. Мы все качались в такт. Качались лампы, и окна, и акации за ними, и таверна была похожа на каюту старого корабля.

Я встал, подошел к столику, где сидела девушка, и поставил около нее свой стакан:

— Давайте меняться!

Она взглянула на меня с изумлением. Я взял ее стакан и залпом выпил. Ночь ходила размахами, как маятник. Когда маятник падал — коротко и стремительно шумел ветер, когда подымался — занавески на окне улетали на улицу.

Девушка пристально посмотрела мне в глаза. Ее спутник совсем раскис.

— Какой вы глупый и милый,— сказала она, провела кончиками пальцев по моим рукам и сжала ладони.— Ну, успокойтесь, не качайтесь и смотрите прямо на меня. Вот так. Теперь-то вы узнали меня или нет?

— Хатидже! — крикнул я и засмеялся.— Екатерина Владимировна! Пять лет я не видел вас. Откуда?

— Какой вы глупый,— повторила девушка, не выпуская моих рук.— Сейчас я уйду, у меня разболелась голова. Нет, не провожайте. Завтра я буду днем на Приморском бульваре. Приходите, мы вспомним старое.

— Ура! — крикнул теперь уже кстати толстый грек и уронил котелок.

Мы прокричали «ура» — три, четыре, пять раз, и котелок катался кругами по комнате. Хатидже ушла.

— Пью за старого Оскара! — вдруг закричал Сташевский.— За старого пьяницу Оскара.

Меня словно ножом полоснуло по сердцу.

Старый, пьяный Оскар. Ведь он любил нас.

Пили за Оскара, за благополучное возвращение Жучка, за Вилюйскую область, куда был сослан Семен Иванович, за гениального размазню Винклера...

— Максимов, сыпь речь, пусть пиндосы слушают!

По канареечным стенам стекали капли пота, лампа светила в дыму, как полуночное солнце. Я начал.

— Берите жизнь с весельем! — крикнул я и постучал бутылкой о бутылку.— Отдавайте ее с еще большим весельем. Бросайтесь в прекрасные и сомнительные приключения, как в холодную воду. Позор и величие — это одно и то же. Это переживается одинаково. Вы, греки, не нашли золотого руна. Я пью за всех, кто любит искать, но редко находит. Я пью за мастику, за девушек, за папашу Днестропуло, за кефаль, и, наконец, я пью за человечность, которая сопутствует любящим, и за любовь, рожденную вдохновением.

Греки вскочили, заорали, и сквозь десятки жилистых рук я увидел негодующее лицо хозяйки. Котелок снова начал описывать широкие круги. «Ура, Днестропуло, ура, Днестропуло!» — кричал маленький серый грек и подбрасывал в воздух костяшки домино.

— В чем дело? Провэрыть! — хрипло вопил, выкатив глаза, грузин с серебряным поясом.— Зачем на нас указывает? Провэрыть!

Накрашенная девушка, рыжая, как лиса, обняла меня сзади и поцеловала в щеку.

— Брррраво, Мирка! — задохся толстый грек, хлопнул руками по лоснящимся коленям и завизжал от хохота.— Ни черта не понимаешь, целуешь. Брраво!

Из угла гнусаво и нахально засвистела флейта-пикколо. Играл на ней чахлый и свирепый турок. Танец ввинтился в толпу и заставил всех замолчать.

Ха-ха, хотта, хотта!
Ха-ха, хотта, хотта!

Комната закружилась, столики отлетели к стенам, и кот помчался из-за стойки в окно, приседая и вытянув хвост. Я танцевал с Миркой. Она дышала на меня луком и страстью. Ее невозможно красные губы ловили жалкие остатки воздуха, рыжие волосы пахли пачулями.

Ха-ха, хотта, хотта!
Ха-ха, хотта, хотта!

Нас вышвырнули в пять часов утра. Желтое мерцание ламп и рассвет сразу же бросили в сон.

— Подстроэно, провэрыть! — кричал на пороге неистовый грузин.

— Плывем ночевать!

— Плывем!

В порту били склянки двойным мелодичным ударом: там-там... там-там...

Черт его знает, может, и вправду все было подстроено. Но хорошо!

НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД

Я открыл окно. В комнату ударил ветер. Внизу лежал незнакомый город. Солнце высоко стояло над крышами. После шторма земля пахла особенно крепко.

Я вытащил из-под графина расписание пароходных рейсов — лист желтой глянцевой бумаги — и написал на обороте:

«Быть бродягой, подбирать все, что попадется на дороге,— туман, лица людей с морщинами страданий и болезней, стихи, никем не читаемые,— и думать об этом с наслаждением, находить образы, непривычные, как во сне, и начать вторую жизнь вот на этих листах бумаги. Создать свой мир — необычный и чуждый всему окружающему, царапающемуся, жалкому и смешно неразумному. «Склонись

к зеркалу души своей, и ты испытаешь наслаждение. Душа твоя, окрыленная любовью, смирится и вознесется к далеким вершинам, где правда светоносными руками сорвет покрывало с твоего разума».

Я могу думать об этом персидском изречении часами, находя в нем все новую глубину.

Я помногу думаю о случайном. Вот маленький эскиз маслом. Он лежит у меня в бумажнике. Внизу черная надпись: «Гогену — Винклер».

Гоген.

Я начинаю думать о жизни этого человека.

Мать Гогена была испанка с синими волосами — правнучка флибустьера, умершего от жажды в мексиканской пустыне. Звон медных лат, вино и золото — легендарное, чудовищное золото и сифилис перечеркнули прошлое ее католической семьи. Она отдала сына в иезуитскую школу. Он изучал латынь и гимны, знакомился с непорочным зачатием и перевоплощением крови Христовой в бургундское вино. В сухощавых патерах, в их сутанах, пахнущих ладаном и духами, было нечто от его жестоких предков. Аббаты были конквистадорами великой империи святого Петра.

Из школы он вышел атеистом. Одно время он был моряком. Невнятным голосом предков звали его безграничные пространства. Красные полотна тропических вечеров, их грубая и пышная позолота, дыхание невыдуманной экзотики, как трещина в стекле, прошли через его память. Разве легко носить всю жизнь тоску о почти призрачном, дальнем и жажду выразить все это в новых красках.

Гоген принадлежал первобытным странам — этот парижанин с кофейным загаром и желтыми белками неспокойных глаз.

Все чересчур обыденное — службу в банке, куда он перешел с корабля, семью, маленький дом с зелеными жалюзи в тихом квартале Парижа, воскресные прогулки по реке,— все это он внезапно и легко променял на жизнь нищего художника. Грязная наволочка, небритые щеки, расклейка афиш на бульварах и первые, еще темные картины. Таково начало карьеры.

Он ненавидел бога и культуру. В ней было нечто плоское и неживое. Жить в городе и не знать даже карты звездного неба — это уж слишком! Так он сказал перед бегством из Парижа. Он бежал на острова Таити, к Вели-

кому океану,— он, созданный для великого. Бежал и был смертельно и навсегда ранен этими широтами.

Солнце растапливало краски на его картинах. Сок красок, блестящий и радостный цвет, лился с холстов. Черная синева, песок, коричневый, как тело ребенка, девушки с острыми сосками, тяжелые стены прибоев. Золото в лимонах, в мимозах, в вечерах и на бедрах женщин.

Он писал, и лихорадка трясла его за руку. Он остановился, взглянул на свои холсты, на эти гигантские перья птиц, и впервые поверил в библейскую повесть о днях творения. Молчаливый невиданный мир, перегруженный густыми мазками, жадно смотрел на него, на его слишком слабое для гения тело.

Он умер, и девушка-таитянка — его жена — закрыла ему волосами глаза. Был период ветров, белые облака неслись над островами. Казалось, что Гоген только уснул.

Дикари плакали. Умер прекрасный белый, с таким гневом защищавший их жизнь, их залитый зарею остров от другого белого — в круглых очках, с его политическими системами, абортами, водкой и бухгалтерией.

Перед смертью Гоген испугался нашествия людей с Запада. Они ползли приветливо и спокойно, перебирая в кармане серьги и бусы. Вожделение сочилось из них трипперным ядом, девушки стали закрывать дешевеньким ситцем оранжевые груди, и на островах, где молились раковине и морской воде, затрещали ремингтоны. На свою вторую родину Гоген не хотел пускать ни одного европейца. Он объявил неравную войну Европе. И этого бунтаря, богохульника, пинавшего ногой распятье, хоронили аббаты со всей гнусавой пышностью католических обрядов, признав его верным сыном церкви.

Так окончил Гоген — человек с хмурыми глазами и грудью матроса, с руками, пахнущими смолой и красками, и душою ребенка, измученного вечными думами о возрождении детства человечества.

В теплых, затянутых бледными коврами залах щукинского особняка в Москве я видел его полотна. Я видел подпись:

Paul Gauguin.

Я помню его автопортрет. Спокойно и сурово глядели глаза, блестящие и темные, на угловатом лице. А за окнами шел мягкий и тихий московский снег, ложился на ветки и карнизы церквей.

Полузабытые гении, поднявшиеся до грани сверхчеловеческого, цельные в своей непоследовательности, необычные, капризные, как дети. Я люблю вспоминать о них, перебирать их имена. Думы о них трогательны, как молитвы.

Я вспоминаю многих скитальцев, поэтов. Нищета, чашка жидкого кофе, радость величайших достижений и неутолимая тоска, от которой у менее сильных ржавеет сердце. Их удел — плевки в глаза и странные книги, волнующие одиноких людей.

Каждый хранит в себе возможность быть гениальным. Но тяжел путь. Я хорошо знаю дрожь души. Она приходит неожиданно, то в оживленном разговоре, то во время ночной задумчивости или в тихом утре заспанного порта. Тогда я боюсь судьбы этих людей.

ХАТИДЖЕ

В конце сада молоком было налито море. Падали листья. В сумерки в сером небе зашипели калильные фонари и скромные огни зажглись на пароходах. Вечер был сизый, печальный и очень сырой.

Я ждал в саду Хатидже. Я знал ее еще девочкой. Было это на севере, в городке над Окой, где мороз скрипел под ногами, как новая кожа. Оранжевое солнце лежало на вощеных полах, потрескивали фитили ламп, на солнечных полосах спали кошки, и на катке смеялась Хатидже. Щеки ее пылали. Она была гимназисткой шестого класса, я был в седьмом. Я приехал на каникулы к бабушке. У меня на руке был вытатуирован якорь, и я много врал о пароходах, моряках и Александрии. И вот вчера в ресторане — эта странная встреча. Я узнал под вуалью ее глаза, узнал смех и голос.

А теперь? У меня в кармане осталось три рубля. Алексей сидит в участке за буйство, Сташевский пишет в засаленном номере неизвестно для кого монографию о гениальности и фанатизме. У него стиль Пшибышевского. Недавно он написал очерк об Артуре Рембо. О Рембо там не было ни слова. Он писал о слоновой болезни, о преимуществах американских винчестеров, простреливающих Библию с десяти шагов, восхвалял авантюризм и нагло утверждал, что в горах Ливана сохранился готический собор, построенный крестоносцами, перед которым Notre Dame [1] в

Париже — детская игрушка. При чем тут был Рембо — неизвестно.

Хатидже пришла лишь к вечеру. От ее волос шел запах ветра. Мы долго ходили по сырым дорожкам.

— Как я жила? После гимназии я жила в Париже. Родные послали меня учиться в Сорбонну. Что делать дальше — не знаю. Вчера в кофейне вы обещали меня научить, как жить.

Она засмеялась.

— Я здесь гощу у родных. Буду много читать, переводить Франса и ходить к морю. В общем, хорошо, что я вас встретила.

Она помолчала.

— Мать у меня недавно умерла,— сказала она спокойно.— Помните сад около собора и каток? Вы рассказывали замечательные вещи. В Париже я встретила одного эмигранта, серба. У него были ваши глаза и нос. Я бывала в том кафе, где он сидел по вечерам, и думала о вас, о забывшем меня Максимове. Когда вы уехали, началась оттепель, дороги развезло, от лошадей шел пар, а я все думала о вас и о море. С кем вы тогда приезжали?

— Со Сташевским и Алексеем. Они сейчас здесь.

— А помните, как мы катались на розвальнях? Сташевский бежал за санями и перекидывал их от одного тротуара к другому,— он ведь очень сильный.

— Это не он, это Алексей.

— Помните, перед вашим отъездом мы сидели в саду над рекой, с веток падал снег, и мы грели друг другу руки.

— Почему вас зовут татаркой?

— Бабушка у меня из Бахчисарая. Я росла среди татар. Моих приятелей звали Амет, Айше и Усейн. Амет мне и теперь еще присылает письма на листах магнолии. Все они звали меня Хатидже — моим именем по-татарски. Это за мной и осталось, хоть я и русская и волосы у меня как солома.

Она усмехнулась и заговорила обо мне.

— Я встречала потом очень много людей. У всех мужчин есть какой-то угол. Ударишься об него, станет больно. У вас этого нет. Вы другой. Каждый чувствует это в вас. Люди редко смотрят. Они или уставятся, или скользят, а вы смотрите просто и спокойно, будто ищете то, чего не

---

[1] Собор Парижской богоматери.

видят другие. У вас был тогда глухой голос и застенчивая улыбка,— вы мало изменились.

— Нет, я стал взрослее, а взрослых я сам не люблю. Я бы много дал, чтобы опять быть мальчишкой, бегать на коньках.

Мы вышли из сада. Сырая ночь спустилась на город. За оградами синим пуншем разгоралось море. Язычки газовых фонарей склонялись к югу. Начинался северный ветер.

— Поздней осенью редко бывают такие вечера,— тихо сказала Хатидже.

Наши шаги отдавались среди каменных оград.

— Что это за странный свет?

Я видел в ночном блеске ее глаза.

— Это, должно быть, зодиакальный свет, Хатидже.

Свет поднялся низким куполом над морем, он то разгорался, то потухал, и море то покрывалось приглушенным блеском, то уходило в черноту, в туман.

— Вы знаете, когда зодиакальный свет был виден в последний раз?

— Когда, Максимов?

— В ту ночь, когда Данте встретил Беатриче.

— Какой вы выдумщик.

Она засмеялась и взяла меня за руку. Сквозь перчатку я чувствовал теплоту ее пальцев. Мы шли по чугунному мосту. Он легко лежал над щелями портовых спусков. Веретена огней убегали к черной воде. О такой ночи писал Упстлер, о камне мостов, потерявшем весомость, о воде заливов и небе, прозрачном, как вода. Звезды дрожат и преломляются в этих холодных небесных водах.

— Хорошо,— сказал я Хатидже.— Сырая ночь, милая земля и вы — такая далекая и такая родная. Как все это странно.

Я говорил еще много, мне казалось, что это говорю не я, теперешний, а тот, другой во мне, по которому я тосковал все эти годы. Словно я ждал прихода этой ночи, стелющей над городом свои млечные покровы из сверкающей манны.

Мы прошли краем порта. Синий свет отражался на отмелях. Сонно плескала вода.

Когда мы прощались у белого маленького дома, расплавленное море в упор смотрело в глаза. Среди ветвей сверкала голубая Вега.

УЛИЧНЫЙ СКРИПАЧ

Приехал Винклер. Он привез с собой деньги и пренебрежение к нашему плаванию. Он был молчаливее, чем всегда. Мы обрадовались и решили остаться еще на неделю. В первый же день Винклер поссорился со Сташевским.

— Если бы я был художником,— сказал за чаем Сташевский,— я написал бы изумительные вещи, не то что ты. Например, желтую пароходную трубу, черное небо, и больше ни черта! Не правда ли, эффектно? А ты решаешь какие-то световые задачи. Ну, да черт с тобой! Пиши, брат, трудись. Выдумывай новое, настоящее мне уже надоело.

— Ты чудак и слеп, как щенок. Слепому тоже надоела темнота. Постоянно возишься со своим петушиным «я». Все ему надоело. Лорд Байрон из Сквиры. Сам ты надоел себе, а не земля и небо. Тебе надо проветрить мозги.

— Вы это о чем? — спросил Алексей.— Сошлись тут поэты, бальмонты. Винклеру обязательно надо добраться до сути — почему надоело, кому надоело, когда надоело...

В соседнем номере заиграл старый арфист. Гулко и торжественно лилась по коридору неаполитанская песня.

— Итальянец играет,— сказал Алексей и подмигнул.— Чудак старик. Всем кланяется, за номер не платит, на свадьбах играет на арфе и на скрипке. Чем только жив человек?

Старческая тоска по bella Italia[1] подымалась к чердакам, где жены матросов переставали стирать белье, разгибали спины и отирали пот скользкими мыльными руками. Тоска по солнечным дворикам и шумному говору, может быть, великая, как Рим, тоска по теплому мрамору и освежающим фонтанам. Старик тряс головой. Он никому не делал зла, перед всеми он снимал зеленую фетровую шляпу. Ему было очень горько в чужой стране.

— Тащи его сюда, Алексей,— сказал Сташевский.— Купи водки и тащи.

Старик пришел со скрипкой. Лак ее был темен. Солнце тихо сверкало на золотистом грифе. Старик тер ладонью проволочную щетину на щеках и был в меру торжествен и в меру печален. Он сел спиной к свету и выпил рюмку водки. Бахрома свисала с его синих, толстых, как кожа, брюк, и красный шарф был замотан вокруг сизой шеи.

---

[1] Прекрасная Италия *(ит.)*.

— Моцарт? — спросил старик сорвавшимся голосом и взял скрипку.— Моцарт?

Я кивнул головой.

Мелодия Моцарта тонка, как говор старой Вены. Язычки свечей дрожат на красных клавикордах. Как шепот около исповедален, внезапно затихают струны. Торжественные напевы, глаза венецианских мадонн, осенние огни в воде каналов — обо всем этом, старом, как прабабушкины кружева, рассказывала скрипка.

«А мы? — подумал я.— Мы забыли дружескую моцартовскую жизнь. Где Бах? Где Гайдн? Наши глаза выцветают в невеселом труде. Наш удел — нищета и бесцельное шатание среди людей. Наши лучшие минуты приходят тогда, когда мы плачем о прекрасных днях, прошедших мимо».

Я бросил папиросу за окно.

«А если и у меня в жизни ничего не останется, кроме этих слез?»

Старик замолчал. Я налил ему еще водки. Сухие руки его тряслись, он расплескал рюмку.

— Эх,— сказал Сташевский.— Старика бы Оскара сюда. Ведь это о нем играли.

Итальянец опять заиграл какой-то скачущий танец. Если есть веселье в желчном блеске белков, веселье пьяных тряпичников, беззубых нищих и шарманщиков с искусственной гортанью, то оно гремело в этой пляске. Даже цыганки стихли, прислушались и потом сорвались бешеным треском бубнов:

Эх, раз, еще раз,
Еще много, много раз!

ПАРОХОДНЫЕ ДЫМЫ

Сквозь стекла сочится мокрое утро. Звон церквей дребезжит над крышами. Мелкий дождь сыплется через исполинское небесное сито.

Со времени встречи с Хатидже случилось много нового. Алексей и Винклер уехали. Я остался один со Сташевским. Он заболел. Как-то утром он взял шлюпку около агентства и поехал в море один. Возвратился домой промокший, раздраженный, с нехорошим румянцем и воспаленными глазами. Врач нашел воспаление легких.

Мы перенесли его из прежнего номера в комнату наверху, тихую и солнечную. За окнами лежала площадь с голыми акациями. Высокими струями поднимались к небу редкие пароходные дымы. Я спал на полу. По утрам бывало холодно.

Арфиста мы прозвали Гарибальди. Я ходил с ним обедать, изредка заходил к Хатидже.

В городе уже устоялась зимняя тишина. Порт был пуст, и я был рад этому — ничто не мешало одиночеству. В трактирах это одиночество было особенно легким — среди красных обоев, пара, белых чайников, гула зеленого утра за дверью. Иногда в воздухе кружился снег. Пахло сосной и мокрыми палубами.

Я писал. Но об этом после. Я, кажется, полюбил Хатидже. Я боялся сказать это самому себе,— ведь невозможно полюбить меня, пустого бездельника, мальчишку. Я знал, что пленительное несчастье подкрадывалось ко мне, и радость слонялась со мной по ветреным улицам.

Как она пришла — любовь, над которой я привык смеяться?

Как-то все смешалось: пустые сады, солнце над морем, синяя вода, красные кузова шхун, радость дышать соленым туманом, и над всем этим — крепнущая любовь к Хатидже.

Каждый день, каждое слово, поворот головы и движения были новыми и уверенными. Был смысл, и была цель в жизни. Волновало сознание, что впереди ждут новые встречи и штормы. Жить бы так без конца!

Был я со своей любовью, были резкие смеющиеся губы Хатидже, Гарибальди — трактирный Моцарт — и худой, как мальчишка, Сташевский.

Город спал в пасмурном небе, в коротком солнце, в запахе рыбы. Загорались и потухали огни, звучали по тротуарам наши шаги, и в церквах звонили так осторожно, будто слепой перебирал четки.

ГОРОДА ИЗ ЛИСТЬЕВ КАШТАНА

Тогда я много писал. Писал обо всем, что приходило в голову.

...Я сидел на бульваре и смотрел, как играла девочка. Совсем «капельная», как говорит Алексей. Она посапы-

вала и собирала гладкие морские камни. Из них она складывала дома, строила город, из сухих листьев каштана были сделаны площади, из раковин — дворцы. Девочка громко дышала от волнения и разговаривала сама с собой. В домах жили люди. Они ходили по извилистым улицам, их иногда перебрасывало ветром с одной площади на другую, и это было очень смешно: тогда девочка хлопала в ладоши и смеялась.

Потом пришел, прихрамывая, Жулик. Он был серый, как пакля. На носу у него волосы были расчесаны пробором, язык небрежно свисал. Он пришел, обнюхал дворцы, сел на площадь и раздавил людей.

— Куда ты сел, Жулик? — закричала девочка.

Жулик замотал нечесаным хвостом, и люди с домами полетели по воздуху. Город был разрушен до основания. Девочка рассердилась и ударила Жулика. Он встал, забрался под скамейку и сел спиной к девочке.

Девочка долго стояла, растопырив руки, смотрела испуганными глазами на опущенные уши Жулика и вдруг заплакала. Она схватила Жулика на руки и поцеловала в мокрый нос. Жулик взвизгнул, вырвался и долго носился по клумбам, хрипло лая на воробьев. Опустился туман, и гудки пароходов дрожали, как военные трубы.

Я не потерял еще способности верить в города из каштановых листьев, дворцы из ракушек и плакать вместе с женщиной, незаслуженно обиженной шестимесячным крысоловом.

Я полюбил этих маленьких людей с их слезами о глупом Жулике. Я *хотел бы многому научиться* у них.

Я сидел с Гарибальди в трактире. Было рано и пусто. За стойкой сердитый хозяин читал газету. Пришел разносчик-итальянец. Он таскал в ящике со стеклянной крышкой фальшивые камни, камни из лавы, раковины и кораллы.

Я купил у него раковину за сорок копеек. Она была покрыта твердой розовой пеной. Гарибальди приложил ее к уху.

— Море,— сказал он и улыбнулся. Даже небритая его щетина засветилась.

Я тоже послушал. В раковине шумел отдаленный прибой.

— Ее взяли из моря,— объяснил Гарибальди.— Она скучает по морю и все шумит, как волна.

Мы долго курили и думали. Я думал о раковине. Человека тоже взяли от иной жизни и поселили в этом сером чистилище. Каждый томится по своему морю, которое помнит сердце. Я часто прислушиваюсь к себе, и, когда кругом очень тихо, я слышу — неясным пением подымается тоска.

АПЕЛЬСИННАЯ КОРКА

Чаще всего я писал по ночам. Я зажигал свечу, закрывал ее толстой книгой и писал, прислушиваясь к ночным шумам. Часы внизу хрипло били два, потом три. Я слушал тишину, шорох мышей, иногда засыпал за столом и просыпался от протяжного крика парохода. Сквозь дремоту я думал: это — «Неожиданный», или «Батум», или «Афродита» — и засыпал снова. Иногда я подходил к окну и смотрел вниз. Было видно, как поворачивали и уплывали огни — уходил пароход. Огни прыгали в смоляной воде, ветер хлопал черными флагами.

Часто я не мог уснуть до рассвета, думая о Хатидже. Я видел ее на улицах, среди садов и оград, освещенных заходящим солнцем. Пахло грозой и степными цветами. Ложился я поздно,— крепкий, родниковый сон был легок.

Мы живем, как живут тысячи,— в кругу обедов, болезней, службы, смертей и чада. Мы боимся ярких слов. Пафос пугает нас больше, чем револьверный выстрел. Но иногда в этот привычный мир входит тоска и раскалывает сердце. Тогда я думаю о белых ночах — не затасканных вдоль и поперек ночах Петербурга, а об иных, совсем особенных ночах, когда огни полощутся столбами в широких и туманных заливах. Они должны быть, эти ночи, когда в белом молоке едва видны зеленые звезды, сырые паруса обвисают на мачтах, губы женщин становятся влажными, а гавани и города погружаются в великое безмолвие, одеваются в серебряную седую печаль.

Я не люблю писать об этом, потому что это вызывает громкий смех или усмешку упитанных, довольных своей карьерой людей, потому что слишком многие не знают настоящей печали.

Недавно Сташевский сказал мне:

— Ты весь в своем, в выдуманном. Увидишь апельсинную корку — и уже думаешь о небе цвета этой корки, которого никогда не увидишь. Чудак!

Хатидже сказала мне вчера:

— Вы совсем мальчик. Все вас тянет куда-то, в Америку, в Египет, на Новую Землю.

Я ответил нескладно:

— Странствия — лучшее занятие в мире. Когда бродишь — растешь, растешь стремительно, и все, что видел, откладывается даже на внешности. Людей, которые много ездили, я узнаю сразу из тысячи. Скитания очищают, переплетают встречи, века, книги и любовь. Они роднят нас с небом. Если мы получили еще недоказанное счастье родиться, то надо хотя бы увидеть землю.

Горячий песок чужих берегов оставляет глубокие следы на ладонях, теплые волны смывают вязкую слизь повседневной жизни. Своя тоска у каждого дня. Вот сегодня я хочу увидеть серые дни в Балтике, когда занавесью лежит туман по хвойным берегам и в море выходят рыбачьи барки с красной полосой, нашитой на парус. В прибрежных лесах растет по полянам вереск, и сырые дымы больших кораблей идут к песчаным берегам Дании — родине Ола Гансона.

Может быть, этого нет, но я увижу все это, потому что уже давно я стремлюсь замечать скрытое и создавать задуманное.

СВЕЧИ И ЛАМПЫ

Керосин, электричество и ацетилен,— писал я как-то ночью,— изгнали свечи восемнадцатого века. Когда глаза жжет свет, когда электрические лампы надоедают, как хроническая болезнь, начинаешь тосковать по свечам и запаху воска.

Тесные венецианские часовни, запах каналов, напевы Чимарозо и чугунные фонари над стертыми порогами — это век свечей.

Тронутые воздушными красками, словно напудренные голубой пудрой наивные плафоны Ватто, серебряный блеск тяжелых подсвечников в Сан-Суси, красноватый отблеск люстр в окнах Версаля, когда у чугунных решеток стоят

вычурные кареты и дождь сечет косыми струями плащи лакеев, пышные магические иллюминации восемнадцатого века, сальные огарки в притонах Марселя, где к палубам линейных кораблей привинчены медные пушки и матросы заматывают шеи клетчатыми шарфами,— все это насыщено неярким светом восковых свечей.

Свет ламп и свечей заливает страницы книг наших писателей и поэтов.

Мопассан писал при свете красного абажура, густом, как кровь и страсть, писал в те часы, когда его уже подстерегало безумие.

Верлен писал в кафе при жалком свете газовых рожков, на обороте залитых кофе счетов, и из его как будто бы наивных стихов сочится ядовитый светильный газ.

Бодлер знал только черный колпак над лампой. Колпак просвечивал коричневым светом, как желчь. Опухшее лицо луны вызывало брезгливость. Париж дышал сточными трубами, и путаница символов рождала тоску по скромному закату в деревне, в резеде, в полях. Кружились легкие вальсы, но плясали их не девушки в шляпах с длинными лентами, а старухи в грязных полосатых чулках.

Чехов писал за простым письменным столом, светила лампа с зеленым абажуром, пальцы его холодели от спокойной жалости к людям. Мохнатые зимы, бубенцы, смешная нелепость старой России и — как стон скрытой тоски — песни цыганок у Яра — «Не вечерняя заря...»

Достоевский писал при кухонной лампочке с треснутым стеклом, прикрытым листом обгорелой газеты. Смрадные ночи, безденежье, жестокие женщины, загнившая человеческая душа рождали петербургскую истеричную тоску.

Артур Рембо любил писать в тесной каюте при краденой свече на полях книги со скабрезными стихами. Свеча была воткнута в бутылку. Рембо мечтал о том, чтобы омыть всю землю в пузырящемся сидре.

Уайльд любил сверкающие лампы и камины, золотые, как цветок подсолнечника в его петлице, в туманный и весенний лондонский день.

Келлерман писал за грубо сколоченным деревянным столом при свете очага в рыбачьей хибарке, когда тихо шипела на жаровне рыба, мерцал за окном маяк и гремел океан.

Роса и пчелы Метерлинка в утреннем блеске каналов,

сотни торговых флагов во мгле и закатах антверпенского порта — в стихах Верхарна.

Осеннее солнце Булонского леса в дни великой революции, когда женщины носили кольца с профилем Марата, пышное солнце на страницах Анатоля Франса.

ПРАЗДНИЧНАЯ ТИШИНА

Я проснулся среди ночи. Было слышно, как тяжело ворочалось море. Сташевский бредил.

— Максимов, зачем он стягивает одеяло? — испуганно позвал он.— Пускай уйдет этот горбатый.

Я укрыл его своим пальто. Дыхание у него было прерывистое. Лицо горело красными пятнами, глаза сухо блестели.

— Жарко! — крикнул он, сел на постели и сбросил одеяло.— Открой окна, Максимов. Слышишь, открой!

Я пошел к Гарибальди и разбудил его. Он долго кряхтел, искал в темноте ботинки и что-то шептал по-итальянски.

— Мама! — вдруг громко позвал Сташевский.— Максимов! — вскрикнул он упавшим голосом и заплакал. — Не уходи, слышишь, не уходи. Сядь здесь, зажги лампу. Темно, трудно дышать.

Худая грудь его и руки были бледны и прозрачны. Я осторожно уложил его, снова пригладил спутанные волосы. Гарибальди влез на стул и зажег настенную лампу.

Сташевский стих, глядя на меня широко и горестно, и крупные слезы расползались по подушке серыми пятнами.

— Ты не уйдешь?

— Я пойду за доктором. Гарибальди посидит с тобой.

— Ну ладно. Скверно мне,— хрипло и трудно прошептал он и закрыл глаза.

Редкие капли дождя ударяли о стекла. Глухо ворочалось море.

— Пить!

Старик подал ему стакан. Он пил торопливо, разливая воду по груди и по простыне. Снова начался бред.

— Уберите горбатого! — опять вскрикнул он и протянул руку.

Гарибальди растерянно взглянул на меня.

Я оделся и вышел. Блестящие от дождя улицы были

пустынны. Ветер ровно дул вдоль них, стряхивая с деревьев тяжелые капли. Во дворах пели петухи, накликая дождь.

Когда я нашел доктора, уже светало. Грязный свет нехотя сползал с рыхлых туч и, потягиваясь, брел по мокрому городу. Ветки акаций стали чернее, полил дождь. Воздух был наполнен монотонным плеском.

Доктор был заспанный, седой. С его бороды падали на пальто крупные капли дождя. Он быстро шел и ворчал,— нигде не было извозчика.

Когда мы пришли, Сташевский лежал тихо, в крупном поту. Я вошел, и сонная теплота и сухость комнаты жаром ударили в голову. Я сидел на стуле и спал наяву, пока доктор грелся у круглой железной печки. Потом он осмотрел Сташевского.

— Прекрасно,— сказал он и посмотрел на меня с укором.— Был кризис, теперь все прошло. Начинается поправка.

Он закурил и сел к столу писать рецепт. Писал он долго, что-то думал, глядя на стену, спросил, сколько Сташевскому лет.

— Двадцать четыре года.

— Да. Молод. Ну что же, это хорошо.

— Который час? — спросил Сташевский.— Когда ни проснешься, всегда горит лампа и никогда нет солнца.

— Скоро пять. Спи.

Зеленоватый сок утра волнами хлороформа вливался в комнату, сон бродил по ней, лампа гасла, и у меня тяжело слипались глаза. Как песня великана, пела за окном сирена. Доктор ушел.

Гарибальди взял меня за локоть.

— Что говорил синьор? Как?

— Все хорошо, Гарибальди.

— О-о, все хорошо,— повторил он, отвернулся, вытащил из кармана черный дырявый платок и ушел в коридор. Голова его тряслась.

Сташевский уснул. Я хотел пойти за Гарибальди, но сон связал меня. Я лег на пол, и высокие волны подняли меня к потолку, где напевал сверчок.

Проснулся я поздно. Солнце било в окна, небо было позимнему чисто, и торжественно гремел гарибальдийский гимн.

Старик играл. Сташевский устало улыбался.

EVVIVA GARIBALDI![1]

С утра в городе тихо, а в порту пусто, как вымело. Солнце бродит высоко в небе. Сегодня праздник. Бледные столбы пыли стоят в нашей комнате. Я читаю Сташевскому Коран. Он пахнет высохшими цветами, на колени сыплется легкая книжная пыль.

Сташевский лежит, закрыв глаза, потом спрашивает:

— Ты давно видел Хатидже?

— Вчера.

Он снова замолкает. После болезни он может часами слушать шум дождя, мяуканье сирен, гудки паровозов, смотреть за окно, где не спеша проползает туман или страшно высоко стоит облако, залитое теплым светом.

— Хорошо! — говорит он и вздыхает.— Боже мой, как хорошо!

Иногда он просит:

— Максимов, расскажи, что на улице.

Я рассказываю обо всем, что вижу за окнами, но пестрые мысли скачут в моей голове, и люди преображаются в персонажей из сказок. Коробки с сапожной мазью у чистильщиков становятся исполинскими и яркими. Мальчишки-папиросники воскрешают перебранки на улицах греческих городков, а при взгляде на сизых торговок зеленью я вспоминаю рассказы Мопассана.

ЛЮБОВЬ

Сташевский засыпает, и я ухожу. Я спускаюсь по портовым спускам, где на стенах зеленеет сырость. Ребристые цинковые склады становятся теплыми от солнца. Тонкий лед примерзает к бортам пароходов, и матросы курят на палубе и насвистывают песни.

Я жду — может быть, встречу Хатидже. Робость сковывает мою волю, я жду случайной встречи. Несколько дней я ее не видел. Несколько дней на душе саднит, как тонкая трещина, боль о том, что вот уходит время, просторные дни сменяются, как перевернутые страницы, и я не вижу Хатидже.

Я прохожу по переулкам около ее дома. Лед хрустит под ногами. Мороз крупной солью лежит в пустых водоемах. На подмерзшей земле я ищу узкие следы ее ног. Она

[1] Да здравствует Гарибальди! *(ит.)*

видела эти зеленые ставни, черные деревья, ограды холодных садов. Я тихо касаюсь рукой их шершавых камней.

Проходят девушки, но нет ни одной, равной ей.

Скептики! В те дни я много думал о любви. Млеют городские барышни. Петушатся мужчины. Лунные ночи делают свое дело, и жирный свадебный обед освещает любовь. Жених моет потные ноги, невеста пудрит подмышки. Похоть, похожая на обжорство, на храп и на привычку по утрам очищать желудок, вступает в свои права. Розовый лимонад мутнеет. В нем плавают мухи, и первый ребенок — последыш случайной любви — пускает в этот лимонад свои вязкие слюни.

В одно обыденное утро жена замечает желтые подтяжки мужа, куриную синеву его ног, дурной запах изо рта, смешанный с запахом одеколона, а муж видит нездоровые и мятые груди жены, космы волос, слышит ее плачущий голос. Начинается надоедливый до зевоты конец.

Тогда тяжесть жизни, лишенной иллюзий, вызывает в самом потайном уголке души первую человеческую боль о том, чего не было, но что должно было быть.

Эта мысль приходит всегда, когда уже поздно и возможности к иному захлопнуты.

Еще гимназистом я ездил с отцом в Карачай, и мы подымались на склоны Эльбруса. Над альпийскими пастбищами разгоралось утро. Была роса, резкая прозрачность, я вспомнил тогда одиночество Пушкина в этих местах:

Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

С ледниковых полей тянуло льдом и слабым запахом фиалок. Дали были открыты на сотни верст. Долины лежали внизу, как позеленевшие бронзовые чаши, налитые синей водой. В великой горной тишине стояло жаркое и близкое солнце.

Теперь второй раз я испытал это чувство — будто ветер выдул из меня старую душу, и вместо нее — горное солнце и воздух ледниковых полей.

Ветер приносит слабый запах фиалок, как в то далекое утро.

Любовь — как горные перевалы: видно на сотни верст. Не каждому дано дойти и погрузить свои руки в холодные и чистые ручьи Эльбруса.

Я не могу передать боль и радость этой любви, когда

ждешь неизбежных потрясений, когда утро гремит сотнями корабельных гудков и исполинское солнце пролетает над зимними днями. Я опускаю глаза, чтобы встречные женщины не подумали, что я люблю их всех.

Любовь созрела и цветет, и зеленые морские дни — как дни из сказок.

Я боюсь возвращаться в гостиницу,— Сташевский посмотрит и обо всем догадается. Я не уеду отсюда. Я буду голодать с Гарибальди, проводить ночи в ночлежке и слоняться по улицам, под этим небом дни и ночи. Я смотрю на прохожих глазами, темными от сдержанного восторга. Что со мной, я сам не могу понять, но мне почему-то страшно.

ЦВЕТЫ

Вот как случилось это маленькое событие.

Гарибальди пришел взволнованный и принес цветы — белые астры и левкои и записку на мое имя. Запахом осени наполнилась комната.

— Откуда это, Гарибальди? — спросил Сташевский.

Гарибальди таинственно рассказал, что он встретил на улице девушку, она спрашивала его о больном. Потом она вошла в магазин «Ницца», купила цветы и сказала, чтобы их поставили в теплую воду около постели больного.

— Хатидже,— сказал Сташевский.— Славная девушка.— И он прикоснулся к цветам.

Я взял маленькую записку.

«Почему вы не приходите, Максимов? Мне нужно спросить вас о многом. Ведь вы еще не скоро уедете?»

Гарибальди снова зашептал:

— Она спросила меня: «Когда можно прийти к ним?» Я сказал: «Синьорина может прийти вечером, я сыграю для неё на скрипке».

— Молодец, старик. Ну и что же?

— «Хорошо»,— сказала она, попрощалась и протянула мне свою руку.

И теперь рука у него еще пахнет, так пахнет...

Вечером в нашем номере стало даже уютно.

Гарибальди надел синие брюки Сташевского, почистил рыжие ботинки, поскреб свою табачную щетину и стал по-

хож на старого прожженного боцмана с грязных итальянских буксиров.

Хатидже вошла в номер, тотчас смущенно засмеялась, вытащила из меховой муфты печенье, шоколад и неразрезанный томик стихов.

— Это книжка Блока,— сказала она Сташевскому.— Мне казалось, что вы должны его любить.

Я пошел за Гарибальди.

Когда я проходил мимо свинцового, мутного зеркала, я заметил, что тоже смеюсь, и подумал: «Ей было немного страшно идти сюда, но теперь все прошло».

Гарибальди долго настраивал скрипку, потом вздохнул и пошел со мной.

Когда мы вошли, я заметил, что Хатидже была еще больше взволнована. Голос ее стал низким, грудным. Гарибальди бережно взял ее руку, поцеловал, опустил, как драгоценность, и засмеялся, сморщив свое старое доброе лицо.

Потом он играл старинные галантные мелодии, которые напевала Венеция времен Карло Гольдони и Гоцци. Хатидже была поражена.

— Ведь он — талантливый музыкант,— сказала она Сташевскому.— Чем он живет?

— Играет по дворам, на свадьбах, в портовых тавернах для иностранных матросов.

Вошел Семен Иванович с бутылкой коньяка, и Гарибальди встретил его бравурным маршем.

Не было рюмок, и мы пили коньяк из чайных стаканов.

Сташевский предложил длинный тост за Блока. Это дало ему повод сделать несколько горьких упреков по нашему с Винклером адресу: «Шалопаи, влюбленные в слова мальчишки, из которых все равно ничего не выйдет. Умеют только издеваться над всем, в том числе и над старшим товарищем».

Заговорили о Париже. Хатидже почему-то вспомнила парижскую осень, когда над мансардами тихо шумят дожди, город отражается в мокром, черном, как сажа, асфальте и по вечерам надо зажигать камин.

— В эти вечера охватывала такая тоска по России! Я боялась, что никогда не вернусь.

Она замолчала, опустила глаза и медленно стала перебирать мои пальцы.

— А теперь, Максимов, спой наш гимн,— попросил Сташевский.

Гарибальди глухо взял отрывистую мелодию:

Нам жизнь от таверны до моря,
От моря до новых портов.
Мы любим бессонные зори,
Мы любим разгул кабаков
И топим налипшее горе
У залитых водкой столов.

— Что это? — прошептала Хатидже, но струны снова отрывисто захохотали:

Эй, бубны, эй, чертовы скрипки!
Держитесь, чтоб в трюм не упасть!
Так волны по осени зыбки,
Ладони изрезала снасть.
Ловите любовь и улыбки,
Приливам и бурям смеясь!

И снова быстрая, ускользающая мелодия взмыла и стихла.

— Что это? — спросила Хатидже и наклонилась ко мне.

— Это наш гимн,— ответил Сташевский,— гимн пяти.

— Как пяти? Четырех.

Гимн пяти. Он принял Хатидже в нашу бродячую банду. Хатидже поняла, покраснела и взглянула на меня умоляющими глазами.

— Сташевский устал,— сказала она и поднялась.— Мы много шумели.

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Я пошел проводить Хатидже. В порту били склянки — была полночь. Изредка ветер трепал гроздья звезд.

Мы долго шли молча. Большая Медведица косо висела над степью. На каменных плитах тротуаров стояли лужи дождевой воды. На рынке под белыми низкими сводами горели фонари.

— Максимов,— вдруг громко сказала Хатидже и взяла меня за руку.

— Что, Хатидже?

Ее рука заметно дрожала.

— Ничего. Это так... Это сейчас пройдет.

Остро сверкали огни на мостовой, звезды падали брыз-

гами в ледяные лужи, пахло зимними свежими садами. Я взял ее руку, снял перчатку и долго грел пальцы своим дыханием.

— Максимов, знаете, что спросил меня Сташевский?

— Что, Хатидже?

Она замолчала, остановилась и глухо боролась с чем-то большим и непонятным.

— Он спросил меня, люблю ли я вас.

Голос ее сорвался. В свете звезд я увидел, как побледнело ее лицо.

— Я сказала — да. И даже давно.

Медведица метнулась и упала в море. Звезды припали к садам и запутались в черных ветвях. Перекрестки шумели ветром. Хатидже вздрагивала и перебирала мои пальцы.

— Я так боялась...

Она подняла вуаль и взглянула в мои глаза.

— Мой мальчик! Как я люблю! Как мне страшно! А теперь идите домой. Я дойду одна. Мне надо побыть одной. Я совсем сошла с ума. Ведь это все правда,— прошептала она и наклонилась ко мне.— Это не снится.

Она засмеялась и поцеловала меня сильно: как юная женщина.

Я шел домой. Я заблудился. Я шел с непокрытой головой, лицо у меня горело, сердце билось жадно и гулко, губы были соленые, будто в крови. Море шумело то справа, то слева. Я прислонялся к мокрым акациям. Земля качалась, и золотой каруселью неслось вокруг меня, позванивая и вздрагивая, небо.

— Я пьян! — шептал я и гладил холодные, спутанные волосы. Я долго искал то место, где мы расстались, но не мог найти. Я находил десятки таких мест и терялся. Где-то в переулке я подошел к кадке с дождевой водой и намочил лоб. Стало легче, но тотчас легкий и пьяный туман снова закутал голову.

— Дурак! — говорил я себе и смеялся.— Ты сошел с ума!

На мосту я встретил моряка. Он шел нетвердо и бормотал несвязные песни. Я спросил его, который час. Он отошел и издали крикнул:

— Четыре часа, и проваливай к дьяволу!

Я шел по мосту. Настил дрожал. Ночь подернулась тусклой синевой, стал угадываться залив. Должно быть,

светало. Вега пылала ярким огнем, и ватными шарами догорали фонари на молах.

Я остановился на мосту, сжал мокрые перила и позвал в ночь, в ветер и море: «Хатидже!» Запел первый пароходный гудок, охрипший от сна. Я поднял голову, и горький ветер обдул воспаленное лицо.

Я снова заблудился. Что за дьявольщина! Море шумело то справа, то слева. Тот же пьяный моряк шел сзади, спотыкался и кричал:

— Четыре часа — детское время. Выпьем английской горькой, братишка. Я капитан Шевченко с «Трувора», чтоб мне домой не дойти.

Я пошел с ним в ночной трактир и пил английскую водку. Утро шумело за окнами. Порт густо дымил. Приходили корабли из Ливерпуля и уходили в Трапезунд. Радость спала на душе, свернувшись теплым пушистым котенком, горланили матросы, и жизнь звенела, как лед у причалов.

Капитан рассказал много занятных историй, но я их не помню. Запомнилась только замечательная брань, синева и крепчайшая английская водка.

Капитан пел, засыпая:

За юных женщин, прекрасных женщин,
Хотя бы раз любивших нас.

Я пришел домой утром. На душе было чисто, будто я омыл ее водой со снегом.

В комнате было холодно.

Темными лапами висели за окнами ветки акаций.

Внизу на старых часах пробило пять. Пять медленных разбитых ударов.

Тихо кружилась голова.

— Отчего это так хорошо, отчего? — спрашивал я едва слышно. Мне жутко вспомнить все до конца.

Я снова выхожу. Я иду по бульвару. Легкой водяной пылью ложится туман на влажную землю. Листья истлели, их не отличишь от земли. Медленно вырастают тени — это женщины несут на рынок корзины с овощами.

Я закурил. Около спуска ночной сторож попросил папиросу. Спичка загорелась в сыром воздухе мутным оранжевым ореолом. У сторожа было красное мокрое лицо и обвисшие усы.

Я купил коробку папирос у мальчишки в дырявой ка-

цавейке и дал ему золотой. Это были мои последние деньги. Я думал о прекрасных книгах, о тысяче услуг, которые я готов сделать всем, каждому, ради этой поверившей в меня девушки.

«Хатидже»,— медленно подумал я и закрыл глаза, уже скованные сном. Я вернулся в номер. Солнце горело на спущенных шторах. Крепкий сон быстро согрел меня. Чем-то громадным было пронизано все это молчаливое утро.

ВИНКЛЕР

Неожиданно приехал Винклер. Он осунулся, на щеках появились черные впадины. Рассказывал, что Алексей пьянствует и много пишет в газетах.

Днем мы пошли в Приморский сад. Гравий трещал под ногами, наши следы наливались водой.

— Люблю я море,— сказал Винклер, остановившись на берегу. Волны шумели у каменных ступеней, покрывали их пеной и водорослями.— Даже таким люблю, мертвым, свинцовым.

Дождь постукивал по скамейкам, по деревянным перилам террасы. Мокрые воробьи прятались в кустах, черные, изъеденные холодом клумбы блестели от влаги. Мы сели в обветшалой беседке. Сморщенный дикий виноград висел у белых колонн.

— Хандра у меня,— сказал Винклер и посмотрел на море.— Дрянная хандра, будто бы целый месяц я ночевал в кабаках и надышался блевотиной. Все время сверлит в голове, как штопором. И болит затылок.

Я промолчал.

— Дурацкий ум,— сказал он, раздражаясь, и оборвал черный стебель винограда.— Я смотрю на все и осуждаю, как прокурор. Мне все не нравится. По утрам я встаю и тотчас же наливаюсь ненавистью. Мне скучно. На днях была такая история. Ты знаешь Федора? Он недавно пришел ко мне — у него заболел мальчик. Если бы ты его видел, этого мальчика. Ему два года, он очень веселый. Голова у него вся в золотом пуху.

— Да, так вот,— сказал Винклер и вздрогнул, как будто ледяная капля попала ему за шиворот.— Да, так вот — третьего дня этот мальчик умер от воспаления легких. В комнате было очень холодно, не было денег на дрова.

Он всю ночь дрожал, а утром, когда было уже поздно, Федор прибежал ко мне. Я отдал все деньги, я бросился к Алексею, Алексей пошел в редакцию и обобрал Днестропуло — но было поздно. Мы метались, звали докторов, я даже молился первый раз в жизни. Алексей матерился и проклинал всех и все. Как-то вдруг мы поняли, что этот мальчик дороже всего на свете, что его воробьиная душа выше всего, чем мы жили. Тогда я понял такие простые вещи, как материнство и смерть. Понял, какая бездна печали заложена в этом дурацком человеческом сердце.

Он умер, а я всю ночь просидел в портовом притоне, слушал и смотрел, как матросы мучают женщин. Я был пьян. Я сидел за столом и говорил немке-бандерше о том, как пахнут волосы у маленьких детей. Бандерша позвала парня с простуженной шеей — голова у него была скривлена — и сказала:

— Выкинь эту заразу.

Я разбил в кровь прыщеватую рожу парня. Поранил бутылкой бандершу. За меня вступились матросы. Полиция опоздала. Девицы визжали и цеплялись за руки. Бандерша рвала волосы, как на еврейских похоронах, а мне казалось, что я кому-то обдуманно и жестоко мщу. Дома я развел черную краску и измазал все свои картины. Что это за идиотское занятие вообще — писать картины. Все стало пресным, ничего я не вижу впереди. Потом вот приехал сюда.

Зеленые волны пенились в дожде и брызгали в лицо соленой пылью. Я сказал:

— Нужна большая сила. Она есть у каждого. Я узнал ее недавно. Она все решит.

— Какая сила?

— Простое слово, Винклер. Любовь.

Винклер посмотрел на море зорко и напряженно, будто бы что-то искал. Дождь прошел.

— Да...— сказал он и резко повернулся ко мне.— Да... Ну что ж, посмотрим.

Вечером мы зашли к Хатидже.

Мы сидели втроем на диване и болтали. С Винклера сошла его обычная угрюмость. В столовой тихо стучали часы, на столе у Хатидже лежали французские книги и журналы. Пришел маленький котенок, влез на диван. Я гладил его, Хатидже перебирала мои пальцы, положив руку сверху, смеялась, говорила с Винклером, и глаза ее

сияли. Котенок лизал мою ладонь, потом свернулся и замурлыкал. Хатидже задумалась.

Когда мы уходили, Винклер остановился около деревянной калитки и сказал:

— Дай-ка твою руку.

И он крепко пожал ее.

У нас в номере было шумно. За стеной горланили цыгане, пришел Семен Иванович, Гарибальди, и мы пили впятером чай с острой молдаванской брынзой.

СКАНДАЛ В ЛИТЕРАТУРНОМ КРУЖКЕ

Было это на третий день после того, как Сташевский начал выходить. Хатидже принесла нам билеты на диспут в литературном кружке. Я со Сташевским поехал на извозчике. Сташевский радовался всему: и черному небу, и запаху дождевой воды, и огням на мокром асфальте.

В кружке было душно и тесно. На эстраде у зеленого стола стояли пыльные пальмы. Мы медленно двигались в тесном коридоре.

Винклер все пытался вспомнить стихи Саши Черного:

Если сам я угрюм, как голландская сажа
(Улыбнись, улыбнись на сравненье мое!)...

Сташевский говорил, что Хатидже похожа на портреты Ренуара. Он был прав. После болезни он слегка поглупел.

Щебетали, наклоняясь вперед, девицы в белых и цветных кофточках.

— Курсавки!—свирепо сказал Сташевский.—Не люблю.

Толстые дамы страдали в тесных корсетах и мило кивали. Их мужья потели, мечтая о курилке. В толпу густо были вкраплены гимназистки с невинными глазками и учительницы в синих платьях, будто сделанных из древесной коры. Кто-то скверно и намеренно громко говорил по-французски. Подымались чванные лорнеты, и девицы под обстрелом уничтожающих взглядов втягивали животы и выбрасывали в сторону носки, мучительно пытаясь создать стиль изящной женщины из журнала «Пробуждение».

— Нужно признать,— сказал Сташевский,— разнообразное и изысканное общество. Париж в Чухломе.

Худой лектор в длиннополом сюртуке позвонил в колокольчик. На пальцах его поблескивали серебряные перст-

ни с черепами. Звонок вызвал усиленное кашлянье и шелест развернутых программ.

Лектор аккуратно разложил на пюпитре листки из блокнота и начал читать, поглаживая реденькую бородку. Он грассировал, делал плавные жесты, словно плыл по тихой заводи, и ударял серебряными перстнями по пюпитру.

...Всеобъемлющий гений Пушкина. Кто не читал, не восторгался его красотами, его психологической глубиной. Бунт Лермонтова. Мелькали имена: Герцен, Некрасов, Достоевский, Гаршин, Толстой. Они будили общественную совесть, они — яркие представители русской интеллигенции, дети великого народа. Их подвиг — подвиг учительства, пророчества, призыва ко Христу. Такая литература не может не быть дана великому народу.

Лектору похлопали.

— Жеваная резина,— сказал Винклер.

Потом вышел некто изможденный, с черной бородой, и мутным голосом говорил о Христе и антихристе, о народе-богоносце, о мудрости, обитающей в наших сердцах, о душе Достоевского и воплях из подполья.

Снова похлопали.

— Может быть, кто-либо желает высказаться?

— Максимов, устрой скандал. Покрой эту банду,— прошептал Винклер.

Я встал и попросил слова. Лектор сделал снисходительный жест, лорнеты защелкали и выжидательно остановились на мне.

— Мне искренне жаль двух предыдущих докладчиков,— сказал я, поднявшись к столу.— Их попытки выдавить из своих мозгов крупицу мысли заранее обречены на неудачу. Их кропотливая подготовка по Скабичевскому пошла впустую. В лучшем случае милые гимназистки напишут на основе этих речей сочинения на тему о байронизме в произведениях (именно в произведениях) Пушкина или что-нибудь в этом роде... Мы слышали снотворный урок словесности и нестрашные завывания из могилы. Густое, как сироп, облипшее мозги убожество, копеечная культурность, мелкие зубы пошлости, слюнтяйское сюсюканье — вот содержание этих речей, вполне подходящих к аудитории.

Лысины и лорнеты тревожно задвигались.

— Футурист! — сказал сзади испуганный голос.

— Я не футурист и не думаю увеселять вас руганью.

Лектор прав в одном. Надо воскресить у вас память о Пушкине. Надо воскресить память о нем среди вас, как иногда бывает очень полезно напомнить убийце об убитом. Вы, ваши отцы и деды травили Пушкина. Среди вас он захлебывался от скуки, от отвращения, вы его убили рукой Дантеса. Наши писатели — дети великого народа,— кажется, так здесь говорилось. Значит, вы — промотавшиеся отцы, которых проклял Лермонтов. Если вы отцы, то вы заслуживаете плетей и каторги за истязание малолетних.

Что вы позволили сделать со своими детьми? Пушкин убит, Лермонтов убит. Новиков пришел из Сибири пьяным мужиком. Рылеева вешали, он сорвался, и его повесили снова. Гоголь сжег себя и сошел с ума. Труп Полежаева изгрызли крысы. Гаршин бросился в пролет вонючей петербургской лестницы. Герцен скитался по чужим краям. Достоевский бился в падучей, потому что вы дали ему попробовать каторги.

Вы предали их своими назойливыми буднями, пьяными праздниками, холуйством и нытьем.

Какое вам дело до Пушкина! Когда в немногих строках раскрывается одна из самых трагических и страшных историй в жизни человечества — его строгая и прекрасная смерть,— вас тянет выпить стакан чаю с лимоном. А сколько прекрасных писателей, поэтов, искателей и художников задушены в темных углах вашей критикой, ибо критика всегда ваша, она при вас состоит кормилицей и нянькой, она бережет вас от дурной пищи и пичкает овсянкой из затасканных мыслей. Как йоркшир, она съедает молодые и сочные корни.

Ненависть к вам — к этой тошнотворной человеческой пыли — завещали и Пушкин, и Гейне, и Лермонтов. Вы признали их, но с какой радостью они ударили бы вас по лицу, как кулаком, этим признанием.

В зале сильно шумели.

— Вы продаете свою свободу, своих жен и детей за гроши. Вы преете в душных и смрадных домах, мучаете детей в замызганных школах, трясетесь над своим добром, над своими тюфяками, над своим спокойствием. Вы умираете от водянок и параличей, вас хоронят, устраивают поминки, вашу жизнь заедают салом, и безутешные вдовы наваливают на ваши трупы каменные глыбы с жалостными эпитафиями.

Вы ненавидите любящих, вы ненавидите радостных людей, вы ворчите на них в трамваях и ждете повода, чтобы затеять собачью свалку.

— Неправда! — крикнул кто-то.

От тихого бешенства у меня заледенело сердце.

— Человеческие подонки! — сказал я медленно и подошел к краю эстрады.

В зале стояла мертвая тишина.

Я кончил и спустился в зал. Тотчас же на меня обрушился свист, шипенье, крики, топот ног. Надрываясь, бился колокольчик, и кто-то истерично кричал:

— Безобразие! Нахальство!

Председатель метался за столом, зеленое сукно сползло, и под ним открылись во всем убожестве ободранные ломберные столы.

— Выпейте воды,— сказала в коридоре Хатидже и подала мне стакан. Она была бледна. Дрожащей рукой она поправила прядь волос у меня на лбу.

— Пойдем отсюда. Скорей! — попросила она и сжала мои руки.

Винклер и Сташевский были слегка встревожены. А крики и звон колокольчика все нарастали

ОТЪЕЗД

Пароход отвалил поздней ночью. Он долго прокашливался и гудел, дрожа всем корпусом. Бегали по сходням и кричали грузчики. Дрожали фонари на пристани, и в их неверном свете то появлялось, то исчезало хмурое лицо Гарибальди и его красный мокрый шарф.

— Вы бы ушли,— крикнул ему с палубы Винклер.— Простудитесь.

Старик жалко улыбнулся и махнул рукой.

Разбитым эхом смолкал в переулках гудок парохода.

Мы уезжали. Хатидже провожала нас до Старониколаевской косы. С утра в день отъезда перепадал дождь, дул норд, капли стучали по окнам, по заржавленным вывескам. В глазах у встречных стоял холодный блеск.

— Прекрасная серая даль,— сказал мне утром Винклер, стоя у окна.— Смотри, какой переход от свинцового зимнего горизонта к нагромождениям домов и желтому морю. Пойдем пошатаемся напоследок.

Мы вышли. Винклер рассказывал про свои работы. Среди них есть этюд «Серебряное». Осеннее солнце светит будто сквозь чад свечей, и в этом солнце дымится город. Другой этюд «Ночь» — черная вода, небо, черные контуры парохода и только один красный огонь. Винклера больше всего занимает отражение огня в воде. Есть еще голова старика на фоне скучного пыльного неба.

— Этот старик, должно быть, Гарибальди? — спросила Хатидже неуверенно.

— Вы нервничаете, Хатидже,— сказал Винклер.

— Мне грустно,— призналась Хатидже.— Поэтому я и хочу проводить вас до Староніколаевской косы.

За заставой нас охватили жгучие ветры, открылись синие дождливые дали. Над безграничными протяжениями полей низко неслись тучи.

Ночью сквозь шорох дождя пароход прокричал четыре раза. Тяжело плеснули по воде канаты, и задрожала палуба. Мигнули огни на пристани, взмахнул старой шляпой Гарибальди, и тотчас же поднялся над городом и берегами красный огонь маяка. Потом маяк затянулся ночной мутью, ушел за край земли, и только крупная соленая зыбь неумолчно била в железные борта парохода.

Тренькал звонок в машине. Хатидже подняла воротник и прислонилась к моему плечу. Винклер сидел и молчал. Сташевский ушел в каюту.

Наше молчание было наполнено множеством мыслей. Когда Винклер закуривал, огонь спички вырывал из темноты багровый круг палубы, канаты, мокрые поручни и слезы на глазах Хатидже. Пар хрипло рвался из пароходной трубы.

Утром из заспанных и бесконечных вод встало воспаленное солнце, и мрачно загорелись под ним стекла капитанской рубки. От палубы шел пар, и море искрилось и синело до горизонта. Мы подходили к Староніколаевской косе.

Вдали был желтый песчаный берег, белые рыбачьи хатки, и за ними, по ту сторону косы, снова расстилалось налитое тяжелой синевой море.

Хатидже сошла. Ветер растрепал ее волосы, обдувал платье, солнце слепило глаза.

Пароход отвалил. Дым сносило в сторону. Он ложился на воду темной дорогой. Пищали и кувыркались чайки.

Хатидже остановилась в самом конце пристани. За ней

стояли дряхлый пристанский сторож и две женщины с корзинами рыбы. Желтела ослепительная полоска косы.

Из своего города я тотчас же написал Хатидже:

«Сквозь облака падал белый свет, и море было в теплом тумане. Навстречу нам шла шхуна,— должно быть, в Тамань.

Мы пили чай в каюте, в тепле. Плескала вода за стеклами, тянулась пустыня моря. За кормой осталась коса. Я часто смотрел туда и думал о вас.

Прошли мимо плавучего маяка. Старый пароход, выкрашенный в белый цвет, с широкими красными полосами, стонал на ржавых цепях. Человек в рваной синей фуфайке облокотился на борт и долго смотрел нам вслед.

Жадность, ненасытная жажда тянет меня к жизни. Я могу без конца говорить вам о каждой минуте, о каждом из прожитых дней. Я нахожу во всем, что вижу, чудесный «вкус и запах», постоянную прелесть.

Только что мы два часа говорили о керченской сельди, о бычках, о том, как сула идет в донские гирла, о браконьерах, коптильнях и рыбачьих артелях. Я почему-то вспомнил стакан крепчайшего кофе в грязном портовом кабаке, то утро, когда я пил английскую водку с капитаном Шевченко, пряные турецкие папиросы и груды мокрой синеватой камсы. И я не знаю, почему, но стало так хорошо жить, двигаться, ощущать на своем лице прикосновение солнца, ветра и женских губ.

За столом в кают-компании сидят персы с добрыми глазами, морщат лица, гортанно смеются и пьют чай с изюмом.

Как щедра жизнь, как полон каждый день. Вы это знаете лучше многих».

Через неделю я лежал в своей холодной комнате и перечитывал письмо Хатидже. В конце была приписка:

«Вы пишете о жажде к жизни. То же теперь и со мной, только я не умею об этом писать. Я очень и очень неблагодарна судьбе за каждую минуту, когда я не вижу вас.

На Старониколаевской косе я пила чай в доме рыбачки. На оконцах стояли сухие травы, пахло мелом, смолой, было тепло, и за дверью на песках едва слышно шуршало море. И рыбачка спросила меня: «Что это, должно, суженого провожала?»

II. НАЧАЛА И КОНЦЫ

ОДИНОЧЕСТВО

Я смотрю с Москворецкого моста на черные промоины реки. В дыму золотеют кремлевские купола.

Вот она — Москва. Синяя от трактирных вывесок, запутанная в переулках, крикливая от мороза и дымная от костров. С угрюмых площадей Замоскворечья глядит Азия, монотонные закаты пылают в окнах мезонинов, кричат извозчики, благовестят к вечерне. Как теплая горница с цветистыми печами, дымит Москва окраин. Гоголь понуро смотрит на Москву, ежась от холода, жестокие сказки видятся его бронзовым глазам. Румянец, золото и дым горят под солнцем, и полозья скрипят, как в деревне.

Я один. Где-то далеко — осень и город у моря, Хатидже, тоненький Винклер, брань Сташевского и хитрые глаза Алексея. Я вспоминаю, как там, в осеннем нежарком солнце, дымил пароход у пристани на Староииколаевской косе. Дул ветер. Далекий и милый ветер.

А теперь одна только открытка.

«Пришла зима. Я часто думаю о Москве, о многотысячном городе, где вы бродите один и смотрите на все чужое, чего не вижу я. Вы зябнете там, в Москве, а у меня здесь зябнет сердце. Каждая маленькая буква, написанная вами, согревает меня. Котенок спит у меня на столе. Он перевернулся на спину и размазал несколько слов. Я его ударила, а он потерся о мою щеку пушистой мордой».

Ломая спички и обжигая пальцы, я поднимаюсь по темной лестнице на четвертый этаж. Ложусь, не раздеваясь, слышу, как кто-то дышит за перегородкой, и, закрыв глаза, думаю: зачем я здесь?

Как-то утром там, у моря, я взглянул на вокзальные часы и подумал: «Надо уехать. Тогда станет острее моя тоска по Хатидже, она мне поможет писать». Часто я спрашиваю себя — достаточно ли я страдал, чтобы быть писателем. Мне нужна была затерянность среди сотен тысяч.

Я всюду искал страдание. Оно мне было нужно больше радости. Я бродил у московских застав, на Стромынке, в Лефортове, в Хамовниках. Сизый снег лежал на Воробьевых горах, ветер сверлил воздух над пустырями, мосты над рекой висели тяжелыми дугами. Все было неприветливо. Вместо человеческих лиц были треухи, вместо тел — лоснящиеся салопы. Это вызывало печаль, но от нее я рос, и новые крепкие мысли все чаще приходили мне в голову.

Каждый день я повторял себе — сегодня я мог бы уехать, но я не уеду, потому что хочу закончить начатое. Здесь, в одиночестве, я много пишу.

Все короче и нахмуреннее дни. Все чаще горит ночь напролет лампа в моем окне, потрескивает отопление, и все крепче дурманят меня мои образы. Одиночество не тяготит меня. Но временами мне надо двигаться, повторять про себя имя Хатидже, с кем-нибудь говорить. Тогда я много курю, вглядываюсь в девичьи глаза, жадно перелистываю книги. Потом иду в соседний трактир с канарейками. В гомоне, звоне чайников, в пару и духоте я забываю тревогу, слушаю дребезжащую машину, визг дверей и говорю себе едва слышно: «Нет, очевидно, я немного сумасшедший».

Я пишу, превращаясь в книги, я отдаю себя всем. Я верю, что вечность дышит со страниц книги, туманит мне голову, и, закрыв глаза, я чувствую, как ветер из сада холодит лицо, засыпает снегом исписанные листки, как когда-то присыпали чернила песком. Писать мучительно.

Спустя год на полях своей книги я прочту сотни пометок о моей глупости, сентиментальности и жалких потугах моего ума. На страницах книги, у себя в мозгу я найду эти мимоходом брошенные обсосанные окурки. Временами я ненавижу всех. Когда я думаю плохо о людях, я не могу писать. Желчь скребется в душе, как запертая собака. Я стараюсь забыть, я отмахиваюсь от мысли, что я тоже человек.

Студнем висит над головой опухшее небо. За окнами все то же: засаленные, как селедочная бумага, подолы

женских юбок, клячи в комьях навоза, гнилой пар из сотен ртов, треухи, немытые лица, желтый больничный свет. Даже башни Кремля — белой величавой Мекки — тонут в гнилостном зеленоватом тумане.

Хатидже пишет, что над морем уже яркое февральское небо. Часто бывают туманы,— значит, будет ранняя и жаркая весна.

«Я жду вас,— пишет она,— должно быть, вы больны или очень устали. Приезжайте скорей. На несколько дней приезжал Винклер. Говорит — тоска. Мне его очень жаль. Он часто приходил ко мне с Гарибальди».

ГАЗЕТА

Деньги кончились. Я начал голодать, скитаясь по дешевым трактирам и студенческим столовкам. К вечеру у меня ныла голова и трудно было писать. Все выходило нудно, глупо. Я рвал написанное. Дни проходили без всякого смысла.

Шла весна. Снег поплыл по улицам потоками мочи и навоза. Блестели мокрые крыши. По вечерам розовело Замоскворечье и отчаянно кричали в садах галки. Ночи судорожно зевали зелеными вспышками огней, бежавших по трамвайным проводам.

Я вспомнил об одном приятеле Алексея, старом литераторе, и пошел к нему. Алексей в письме к литератору просил достать мне работу. Это был чахоточный и очень серьезный человек.

— Хотите пропасть? — спросил он меня и улыбнулся одними глазами.— Ну что ж, пропадайте.

— Почему?

— Такая наша газетная работа. Затянет.

Через день я начал работать. Я перестал голодать, но писать было все же трудно, может быть от усталости, может быть потому, что я искал нужного мне конца книги,— конца, в котором было бы только несколько крепких, спокойных фраз.

Мне давали странные и любопытные поручения. В Художественном театре шел «Живой труп» Толстого. В день премьеры редакция получила письмо. Автор его, какой-то Никифоров, писал, что с «Живым трупом» произошла чу-

довищная ошибка, что написал эту пьесу он, несколько лет тому назад, и послал Толстому на отзыв. После смерти Толстого рукопись нашли в его бумагах и приписали Толстому. Черновики рукописи сохранились.

Литературная Москва заволновалась. Мне поручили расследовать это дело.

Я поехал к Никифорову. Он жил за Бородинским мостом, на набережной, в деревянном угрюмом доме. Был ледоход, река валила мутным валом, на Пресне дымили фабрики.

Никифоров — сухой старик с воспаленными глазами и копной серых волос — встал с продавленной кушетки и поднял воротник пиджака. Я рассказал ему, зачем пришел. Руки у него затряслись. Он быстро закартавил:

— Простите, живу я плохо, негде вас посадить. Я бывший артист. Я написал «Живой труп», но произошла ужасная ошибка. Теперь я тоже живой труп. Моя пьеса прославила Толстого, а я живу как нищий. Я робкий человек, я боялся напомнить Толстому о пьесе, она пролежала у него три года. Ведь эта пьеса моя, там люди, которых я знал, там женщины, с которыми я был близок.

Он заплакал.

— Но чем вы можете доказать, что эта пьеса ваша?

— Чем? — Он полез под кушетку и, сморкаясь, вытащил солдатский сундучок.— Вот чем! Вот — черновик рукописи. Кроме того, я скажу вам адрес героини. Она жива, она тут недалеко под Москвой, в Пушкине. Расспросите ее, она все расскажет.

Я записал адрес. Потом взял рукопись. Это была точная копия «Живого трупа». Чернила на листах линованной бумаги блестели. Я незаметно послюнил палец, прижал его к первой строчке, и она отпечаталась на моем пальце, как снимок. Все было ясно,— «Живой труп» был переписан недавно.

— Это старая рукопись?

— Ей четыре года.

Старик плакал. Я скомкал разговор, попрощался и выскочил из комнаты. Он явно врет. Но тогда почему же он плачет? Адрес героини запутал меня совершенно.

В тот же вечер я поехал в Пушкино. Была черная весна, похожая на осень, подмерзшая листва хрустела под ногами, свежий воздух резал легкие. Я посмотрел на адрес: «Пушкино, аптека, спросить Наталию Викторовну».

В аптеке было пусто, полутемно. Вышла бледная женщина. Рыжеватые волосы ее были гладко зачесаны, глаза — пустые, недоверчивые.

— Вы ко мне?

— Да. Меня направил Никифоров. Я хочу поговорить с вами о «Живом трупе».

Она долго смотрела на меня, глаза ее почернели, потом истерично крикнула:

— Уйдите! Оставьте меня в покое! Как вы смеете! Довольно с меня Толстого.

Она опустилась па стул у прилавка, забилась. Из задней компаты выбежал толстый маленький аптекарь. Он суетился, совал ей что-то пюхать, охал и качал головой.

— Как неосторожно! Боже мой, как неосторожно,— говорил он и с укором смотрел на меня.— Как вы ее нашли? Кто вы такой? Ай-ай-ай, как скверно вышло! Вы лучше уйдите. Она совсем не может вспоминать об этом.

До самой Москвы лицо мое горело от стыда. В вагоне я открыл окно и высунулся. Поезд шел по закруглениям в лесу, пар цеплялся за деревья. В лесных чащах лежала ночь, было глухо и одиноко. Не верилось, что в двадцати верстах Москва.

В Москве я сказал редактору:

— Увольте меня, но таких поручений я больше брать не буду.

Он посмотрел на меня и пожал плечами.

— Настоящий журналист не должен отказываться ни от каких поручений. Это закон. Или да, или нет.

— Нет,— ответил я.

— Ума не приложу, что мне с вами делать.

Я ушел.

Литератор был прав. Газета меня затянула. Горячечная жизнь редакции билась часто, как пульс Москвы — города астраханских базаров и лондонского Сити. Я изучал журналистов как особую разновидность людей. Это были комки нервов, один кричащий нерв — начиная от пронырливых и задорных репортеров и кончая раздраженными и хмурыми редакторами.

Кокаинисты, пьяницы, весельчаки, потерявшие веру во все, они ощущали жизнь как веселящий газ. Обыденность жизни, внушавшая другим скуку, ежедневпая необходимость заводить часы на новые сутки была для них не страшна, наоборот — приятна. Она возбуждала. Каждый

день вставал, как громадный вопросительный знак, и только им одним было дано отыскать гвоздь этого дня, его стержень, стереть вечером до нового утра этот исполинский вопросительный знак.

Среди них попадались необычайные рассказчики — резкие, обрывистые, говорившие началами фраз, лепившие сюжет из одних мазков, отбрасывая связи и подробности.

Были непролазные неудачники, над которыми полагалось смеяться. Были присяжные поверенные, блиставшие пустым красноречием, старые народники, маклера, поэты, вечные студенты, нищие московские чудаки, любители соловьиного пения, надменные короли-фельетонисты,— собрание совершенно несхожих людей, связанных товариществом, работой, богемством и всегда выделявших себя над плотной массой служилого люда... Жизнь страны преломлялась в их мозгах сотней забавных или печальных анекдотов.

После десяти лет работы они теряли вкус к жизни, верстали, как автоматы, газетные страницы, дымили крепким табаком и скептически посматривали на газетную молодежь, гонявшуюся за сенсациями.

Только это слово — сенсация — действовало на всех одинаково. Это был взрыв бомбы, подымавший на ноги редакционные муравейники и выводивший из величавого недовольства редакторов. Охрипшие репортеры, треск машинок, истерический звон телефонов, сияющие глаза — вот она, сенсация!

Тогда над Москвой стояла густая, как запах духов, певучая экстравагантность стихов Северянина. Трагическое его лицо плыло по Кузнецкому мосту рядом с желтой и тревожной кофтой Маяковского.

Читал свои рассказы Бунин. Его глухой, без интонаций, голос усыплял. Сюртук был застегнут на все пуговицы, пергаментные руки были брезгливы и сухи, но за всем этим вдруг расцветала жаркая Иудея и русский язык сверкал, как только что найденный клад золотых монет.

С наигранной и пышной восторженностью шаманил Бальмонт. Внезапно стихи его теряли костяк, плыли словесным туманом. За ними открывалась выхолощенность души. Маленький дряблый человек становился на дамские каблуки и, не замечая собственного уродства, играл роль соблазнителя.

Процветали теософы. Люди играли грошовыми идеями, как величайшими открытиями, от общения с ними тошнило, как от патоки. Женоподобные нарумяненные мужчины не стыдились ходить по улицам,— был их век.

Было тоскливо и тревожно. Я каждый день ждал событий, чего-то нового. Оно должно было случиться, должно было проветрить застоявшуюся Москву и всю Россию.

ВОТ ОНА, МОСКВА!

Ночь была совсем морская — горьковатая, как рассол. Я видел за синими квадратами окон северные звезды. Я прижимался лбом к холодному окну и смотрел в снежные пропасти улиц, где качались, жужжа, калильные фонари. Занималась заря над крышами Замоскворечья. Меня лихорадило. Сухо было во рту, и ломило ноги.

Я боялся, что зимние ночи своими морозными ветрами и полярным мраком лягут на торопливые строчки, и будет мало солнца в моей почти законченной книге.

Я проклинал эти ночи, и дневную усталость, и четыре фабричные трубы за Каменным мостом. При взгляде на них словно сморщивалась моя мысль. Подолгу, ничего не видя, я сидел у стола в каком-то оцепенении.

Но этой ночью я писал легко и спокойно. Я уснул ранним утром, когда по Арбату прогромыхал, светя огнями, первый трамвай.

Разбудил меня Семенов — наш газетный художественный критик. Мягкий, влюбленный в Москву, он за последние дни все чаще сидел у меня, пил чай с коньяком и читал стихи Эренбурга.

— У Эренбурга есть изумительные вещи! — говорил он, словно оправдываясь, и вытаскивал из кармана книжку.— Вот послушайте:

Как много нежного и милого
В словах «Арбат», «Дорогомилово».

Или вот это:

Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме
И о мамином теплом платке,
О столовой с буфетом, с большими часами
И о белом щенке.

Ведь это же редкие вещи, как вы не понимаете! Вам нужна всякая чертовщина — драки, тропическая жара, кругосветные рейсы. А мы попроще. Сядем с ногами на диван, самовар шумит, читаем Лескова — и хорошо. А то пойдем в Художественный, пожалеем трех сестер. Или пошляемся по трактирам, попьем чайку с тверскими извозчиками. Хорошо еще под Москвой — в Архангельском, Останкине,— там прелесть вековая. Ничего этого вы не знаете. Хотите, поедем в Нескучный сад?

— Едем.

У Калужских ворот было шумно. Дрались в лошадином навозе воробьи. Ветер гнал прошлогоднюю сухую листву, низко лежало над улицами серенькое, помаргивающее небо.

Нескучный сад был весь точно выткан черным узором ветвей и позолотой листвы, пережившей зиму. В окнах дворца светилось небо, за Хамовниками дымно лежала Москва, яркие пятна Спасителя.

— Вот вам Москва,— радостно сказал Семенов.— Есть в этом городе великая правда. Здесь, в Москве, чувствуется вся хлебная Россия, крепкий запах берез, бескрайность и сиротство нас, русских. К Москве, как и ко всей стране, я чувствую свою сыновность, как к старенькой няньке. Помню, во Франции я жил в маленьком бретонском городке. Как-то утром я проснулся и в зеленом тумане увидел тяжелый океан. Я испугался, и у меня была одна мысль — скорее уехать домой в Россию, в осень, в лесные поляны, заросшие вереском и дикой гвоздикой.

Мы медленно шли обратно. У заставы зашли в трактир Гусева. Внизу гудели извозчики. Наверху, в «дворянских комнатах», гремела машина:

Шумел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке,
А на стенах высот кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.

Дребезжали стекла. Напрягая голос, я рассказал Семенову о книге, которую пишу. Называться она будет просто — «Жизнь».

Жизнь каждого — безвестного и великого, безграмотного и утонченного — всегда таит саднящую тоску о другом, более радостном существовании. Так рождается тоска по раю, по стране обетованной, грезы поэтов, системы фило-

софов, переливающееся из одной эпохи в другую томление по недосягаемым краям. «О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!..»

— Сюжета я в этом не вижу,— сказал Семенов.— Очевидно, это только канва. Ну что же, пишите. Это прекрасно — писать. Люблю я эти трактирные разговоры,— сказал он неожиданно и рассмеялся.

Возвратились мы вечером. В уютных переулках Арбата мягко горели звезды. Ровный шум наплывал с бульваров.

Квартира Семенова была на шестом этаже, как в маяке. В тесном кабинете были навалены книги, рукописи, гравюры.

Семенов перелистывал толстый веленевый том, сидя па вытертом турецком диване. Его сестра Наташа, молодая артистка, читала вполголоса стихи Волошина. На улице было холодно. В соседней комнате старая нянька готовила чай и старалась не шуметь.

— Расскажите что-нибудь,— попросила Наташа, перебирая узорчатый платок.— То, о чем я только что читала. Ведь это ваше, южное?

Я рассказал о степях, о курганах, могильниках, о легендах, которые я слышал с раннего детства в своих краях, об осени, когда красной ботвой и пеплом полыни запутаны степные тропки и море лижет пустынные пески.

— Там я всегда вспоминаю пушкинские стихи: «Земли полуденной священные края...».

Я рассказал о Таганроге, городе белых акаций, сонном и чистом, на берегу бледного моря. В его душных садах всегда греет жаркое солнце, в игрушечной гавани около набережных, поросших одуванчиками, стоит на ржавых цепях разоруженный клипер «Запорожец».

Я вспомнил Мариуполь с большим, пустующим портом, кривыми тавернами и пляжем, заросшим татаркой, пепельно-серую Керчь, пустые берега лермонтовской Тамани, красоту овеянных запахом моря севастопольских улиц, пенистые прибои у Херсонеса и Бахчисарай, весь в усыпляющем звоне фонтанов.

Я говорил о блеске и жадности Одессы, самого бесцеремонного города в России. Я вспомнил Днепр у Екатерино-

слава, весь в широких косах, необыкновенную киевскую осень и, наконец, Туркестан, могилу Тимура на выжженных взгорьях, страну раскаленных песков, где особая тишина пустыни и широкие заунывные закаты.

Я рассказал о выжженных берегах Каспийского моря. Там, в забытом людьми городке, мы играли дни и ночи в железку, слепли от солнца и пили скверный коньяк, чтобы не заболеть лихорадкой.

Глаза у Наташи заблестели.

— Неужели вы все это видели? Ведь этого хватит на целую жизнь.

Я засмеялся:

— Земной шар не так уж велик.

За чаем пришел Роговин, высокий, в сером костюме, «невинный», по словам Семенова, и талантливый человек, сотрудник одной из больших газет. Он был из духовных, прожил нищее детство, с невероятным трудом попал в газету. Здесь он быстро стал известен своими блестящими рецензиями. Веселый, привязчивый, как ребенок, он был своим человеком в кружке Семенова.

— Встретил я этого идиота,— сказал он, садясь за стол.— Поэта этого К. Челку носит, как провинциальная девица. Говорит, что пишет новый роман. Называться он будет «Губы дружбы». Спрашивает меня, оригинальное ли это название. Я обозлился и сказал, что оно вызывает у меня представление о губошлепах. Он моментально со мной согласился. Графоманы, бездарь захватили журналы, тащат за собой сюсюкающих мальчиков, задирают нос, говорят нараспев, как дамы с болонками, ходят развинченные, хлипкие, пишут дешевую ерунду.

— Плюньте вы на этих кретинов,— лениво посоветовал Семенов.— Налейте лучше рому в чай.

— Наташа у вас сегодня что-то очень сурова,— сказал Роговин и дернул за ухо Бобку, белого песика с черным пятном на носу.— Что это с вами?

— Ничего,— ответила Наташа.— Максимов рассказывал тут о своем бродяжничестве.

— Вы его только послушайте. У меня на море морская болезнь, а у него — черт знает что: и фрегаты, и жемчуга, и летучий голландец.

Наташа покраснела.

Пришла подруга Наташи, Нина, светловолосая полная девушка.

Ее дед сидел в заваленных пряжей амбарах Черкасского переулка и при свете лампады у кованых киотов считал купоны и ассигнации. Ее отец ворочал делами широко и смело, председательствовал на промышленных съездах, был благодушен, неутомим, издавал свою газету и одевался, как англичанин.

Нина курила, любила подолгу смотреть в глаза, носила серый шелк.

Она предложила нам билеты в театр. Мы шумно спустились на улицу и после отчаянного торга с извозчиками,— Роговин обвинял их в том, что они нанюхались кокаину,— пошли пешком. Извозчики неслись за нами, обгоняя друг друга, хлестали лошадей и наперебой кричали:

— Ваша светлость, пожалуйте!

Роговин сдался, и мы сели. Я ехал вместе с Наташей. У Никитских ворот, в ярком свете фонарей я взглянул на ее тонкий профиль.

С этого вечера я полюбил Москву.

ОКРАИНЫ

До встречи с Хатидже я ничего не боялся. Мне нечего было терять. Я жил ожиданием. Чувства прошлого у меня не было.

Теперь временами мне страшно. Я боюсь потерять Хатидже. Я боюсь ее хрупкости. Жизнь проходит слишком быстро. Я боюсь, что у меня не хватит сил создать себя, что я слишком беден для любви. Я боюсь повседневной работы, и лица многих людей уже не годятся для встреч,— они разламывают день надвое, мешают мне думать.

Весной начинается тоска. Она тянет меня в дождливые дни бродить по улицам, где я не могу встретить ни одного знакомого. В Садовниках, на Щипке, в Марьиной роще, кроме тощих баб и множества детей, я никого не встречаю. Мне никого не надо. Я становлюсь больным в своем одиночестве.

Давно уже я привык встречать тоску, как неизбежное, и бросил попытки искать ее причины, ее начала и концы. Боль приходит, как сон. Когда тоска — хорошо писать. Когда не пишешь, ищешь боли. Перерождается душевная ткань, гранулирует, как рана.

Роговин стал очень молчалив. Семенов часто пьет. Наташа возбуждена и радостна. Их радость, запой и молчаливость — от этой тоски, которой нет имени.

Это нечто большее, чем тоска. Она бьет в сердце, как сырой стремительный ветер. Человек перерастает себя. Будущее бродит в нем началом свежести, блеска, совершенно особого восприятия мира.

Иногда я ощущаю на самом пределе сознательного сотни непередаваемых вещей, желаний, образов. Ум не в силах понять и охватить это. Сквозь его бесплодие и вялость я все чаще слышу требовательные упругие толчки новой воли.

По утрам я часто уезжаю на пароходе по Москве-реке на Воробьевы горы. На маленьких пароходах бывает всегда пусто — ездят только мальчишки, молочницы и огородники из Хамовников и Живодерной слободки.

Однажды я позвонил в редакцию и сказал, что болен. Я целый день слонялся по городу, шел переулками, чтобы никого не встретить. Над водой стоял дым. У Бабьегородской плотины прачки полоскали белье, синька и мыло плыли замысловатыми узорами. На Болоте я взял билет и сел, дожидаясь парохода. Я читал Уайльда. Голуби топтались под ногами. Пахло нефтью, сеном и яблоками. В розовом дыму сверкала и звонила Москва. Синие тени ползли от облаков. Пестрая шаль города выцветала, загоралась и играла солнцем. Вдруг зашумели голуби, и кто-то закрыл мне рукой глаза:

— Наташа, бросьте!

— Почему вы узнали?

— По перчатке и потому, что вы — единственная, кого я знаю в Москве.

— Я шла по Кадашевской набережной и увидела вас. Голуби окружали вас стаей и чего-то ждали. Вы их кормили?

— Нет.

— Куда вы едете?

— На Воробьевы горы.

— Едем. У меня сегодня нет репетиции.

На палубе она рассказала о своем театре. Каждое лето они уезжают всей труппой в Евпаторию, там у них клочок земли и хибарка из камня с брезентовым верхом. Они ловят рыбу, грузят на пароходы соль, загорают.

Я часто видел теперь Наташу, но никогда не мог отде-

латься от легкого смущения. Глаза у нее были подведены, блестели, тугие серые чулки обтягивали высокие ноги, она часто улыбалась и трогала меня за руку.

— Вы ни разу не были в нашем театре?

— Нет.

— Завтра пойдемте. Приходите вечером, я принесу вам билет.

Пароход жалобпо свистнул и заработал винтом. Со дна взрывами подымалась черная грязь. Мальчишки на берегу заулюлюкали и стали кидать в рулевого щепками.

— Я вам покажу, байстрюки,— свирепо крикнул рулевой.

За Стрелкой вышли на реку, десятки лодок ринулись к пароходу — покачаться на волнах. Голые мальчишки хватались за борта. Пароходик отчаянно свистел, рулевой ругался, от воды шел гам, смех, крики.

— Я единственная, кого вы знаете,— сказала Наташа, и в глазах ее сверкнуло солнце.— Это пе похоже на вас. По-моему, вы авантюрист. Я люблю говорить с вами. Неужели там, у моря, у вас нет ни одной знакомой женщины? Море, штормы, портовые города, все это прекрасная обстановка для любви.

— У моря есть.

— Поэтому в Москве вы ни на кого пе смотрите? Правда?

— Если хотите, правда.

— Я единственная, кого вы знаете в Москве, но вместе с тем я — не единственная; любопытно, правда? — сказала она, помолчав, и засмеялась.— Какая у вас книга?

Она взяла книгу, быстро перелистала и бросила за борт. Рулевой оглянулся. Мальчишки с гамом бросились ловить книгу, один схватил ее в рот и поплыл за пароходом. Черный огородник с решетом посмотрел на Наташу и сказал весело:

— Ну, нравная. Книга-то чем виновата?

— Зачем вы бросили?

— Так... Загадала,— если потонет, то да, если мальчишки поймают, то пет.

— Кидай, оголец! — кричал рулевой мальчишке. Пароход замедлил ход. Пассажиры висели на бортах.— Кидай, докинешь!

Мальчишка изловчился и бросил. Книга упала у самого борта и медленно пошла ко дну.

— Потопла, царствие небесное,— сказал огородник.— Чудеса с этим пароходом ездить. Всегда какой-нибудь случай. Вчера бабу с молоком перевернули, сейчас книжку утопили.

— Максимов,— сказала Наташа и отвернулась от меня.— Не сердитесь. Последние дни я делаю много глупостей. Я сегодня же достану вам такую книгу. Это вышло так... я сама не знаю.

— Пустое.

В книге было последнее письмо Хатидже. Я его еще не прочел.

Река потемнела от зелени, стихла. Слева пошел суглинок. Пароход круто завернул и причалил у маленькой пристани.

На пристани стоял рыжий веселый пес и лаял на пароход, на реку, на всех нас.

Я пошел купаться. Наташа села на берегу, на поваленном дереве. В синеве плыли тугие облака. В купальне было пусто, тепло, сопливый вихрастый мальчишка удил рыбу.

Я доплыл до другого берега, прицепился к пароходу, потом нырнул.

— Максимов, довольно! — крикнула мне с берега Наташа.

Солнце било ей в лицо, она закрыла ладонью глаза. Мальчишка обиделся за меня.

— Хотите, он до Москвы и обратно доплывет, вот он какой. Я его знаю.

— Откуда?

— А может, я с им прошлый раз вместе плавал. Он достал до самого дна, ей-богу, крючок мне отцепил.

Тело горело, я быстро оделся, вышел из купальни и перепрыгнул на берег.

— Вы как бронзовый,— сказала Наташа и дотронулась до моей руки.— Руки холодные.

— Хорошо, по чертовски хочется есть.

Мальчишка почтительно шел следом. Он сказал:

— Тут на горе столовая есть с пивом.

Мы поднялись по ветхой деревянной лестнице на гору, в ресторан. Столики стояли па траве, под чахлыми березами. Половой махнул по столику мятой салфеткой, вытер этой же салфеткой пот с лица, зацыкал на мохнатую собаку и принес нам пожарских котлет и пива.

С реки дул слабый ветер. Листва берез мелко дрожала, солнечные зайчики бегали по дорожкам, по столикам, по лицу Наташи.

Она оперлась подбородком на руки и смотрела вниз, на реку.

— Новодевичий монастырь,— сказала она.— Вот бы меня туда запереть, чтобы не сходила с ума. Вы еще сердитесь?

Она опять тронула мою руку. Собачка стала на задние лапы и взвыла от нетерпения. Я бросил ей кусок хлеба.

— Люська, пошла вон! — страшно крикнул половой.

Люська изогнулась и поползла на брюхе под стол. Под столом она благодарно вылизала мои ботинки и стала лизать ноги Наташи.

Наташа засмеялась и вздрогнула. Нервные слезы стояли у нее на глазах.

— Вы устали? Надо ехать в город.

— Сейчас поедем. Домой приду — опять сидит Роговин. Он милый, веселый человек, но он все время болтает. Отвратительная журналистская привычка. Шумит, поет, хохочет, рассказывает анекдоты, а мне тишины хочется. Я не могу думать, я не могу даже глупо помечтать о разговорах с капитанами на палубе. Вы меня заразили своими морскими рассказами. Мне постоянно снится старый порт, будто я ламповщица, зажигаю на пристанях масляные фонари, шкипера угощают меня черным вином и целуют в затылок.

— Вас угощают не черным вином,— сказал я серьезно,— а вином с острова Тутуита на Тихом океане. Это самое крепкое вино, оно пахнет девичьей грудью. У моряков есть поверье, что приворожить женщину можно только этим вином.

— Ну, разве вы не сумасшедший? — сказала Наташа.— Может быть, меня уже напоили вином с островов Тутуита. Любопытный разговор за бутылкой кислого трехгорного пива.

Налетел ветер, тень покрыла сад и реку, в далеком солнце тихо сверкала Москва. Мы спустились к пристани и сели на пароход в Дорогомилово. У Бородинского моста мы сошли. Над Арбатом стояла вечерняя пыль, скрежетали трамваи.

Когда мы прощались, Наташа сказала:

— Вечером вы придете ко мне за билетом и книгой. В книге у вас ничего не было?

— Нет.

— Ну, слава богу! Никогда не кладите в книги письма любимых женщин,— сказала она и рассмеялась.— Прощайте!

ЗАПИСКА

Я окончил свою книгу. Стало скучно, я постарел на десять лет. Хотелось еще писать, заставить людей смеяться, любить, делать глупости и бродить по стране. Они умерли в ту минуту, когда я дописал последнюю строку и поставил точку. Я стал ненужен себе. Я долго сидел на окне, курил, ходил по комнате.

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга пенатов святых, друга Авроры златой?

Я решил пойти к Семенову, взять его с собой и пошататься по трактирам. Неожиданно мне принесли письмо от Наташи.

«Вы долго не были у нас,— должно быть, сердитесь за то, что случилось на пароходе. Я знаю, что вы пишете что-то хорошее (так говорит брат), но неужели вы не можете оторваться на два часа? Мне сегодня очень скучно. Я готова реветь, как деревенская баба.

Вечером я играю только в первом акте. Если вам не трудно, зайдите за мной в театр. У меня есть одна блестящая мысль».

Я зашел в какую-то кондитерскую на Большой Никитской и выпил крепкого кофе. В зеркале я увидел себя. Я сильно побледнел, загар сошел, руки стали тоньше и темнее глаза. Всю крепость свою я отдал «Жизни». И только там, в кафе, я впервые понял, как я устал.

Я старался не думать о письме Наташи. Что я скажу ей? Когда я дописывал последние главы, я ведь думал о ней.

«Жизнь хороша,— снова подумал я, входя в театр.— Я принимаю все — и любовь Наташи, и мою любовь к Хатидже. Меня одинаково волнуют и любящие глаза Наташи, и моя печаль по девушке, что ждет меня там, у моря».

В фойе было пусто. Я сел на вытертый бархатный диван. Со сцены доносились голоса. Люстры под потолком были затянуты желтой марлей.

«Она спешит жить»,— подумал я о Наташе и закурил.

Тянулся заглушенный спектакль. Послышались быстрые шаги. Отбросив папиросу, я встал навстречу Наташе. В эту минуту я безнадежно и радостно понял, что мне не уйти от того, что надвигалось на меня еще смутно, неясно.

Наташа протянула мне обе руки и заглянула в глаза.

— Вы так мне нужны,— сказала она, садясь рядом со мной.— Все, что я писала вам, это не то. Я еду на три дня в Архангельск. У меня эта неделя свободна, и я хочу выкинуть очередную глупость. Поедем со мной. В час ночи идет поезд. Мы пробудем там два-три дня. Я знаю, что вы не подумаете ничего дурного. Вы по-мужскому чистый человек. С вами я могу говорить обо всем.

— Едемте,— ответил я.

— К часу ночи я буду ждать вас в Ярославском вокзале,— сказала Наташа, когда мы вышли.— Сейчас на душе у меня тихо, точно я — невеста. Со мной этого никогда еще не было. Это так хорошо, что я теряюсь и готова плакать. Вы подумайте, Максимов. Мы будем одни в северном полярном городе, среди незнакомых людей. Я расскажу вам много хорошего.

Она легко вскочила в трамвай, оглянулась. Я пошел к Арбату. Зеленое небо тлело над древней Москвой. У себя в комнате я выпил вина и уснул.

Мне приснились улицы, нагретые солнцем, белые улицы и католические мертвые монастыри. Бледное, страшное, далекое небо глядело на город, на меня. Я ждал у ворот монастыря Наташу. Она была за оградой. Громко капала вода около каменного колодца, со стен душно свешивалась сирень. Зазвонили колокола, я вошел в ограду, в темный собор. Дымили тоненькие свечи, летали голуби, лицо Наташи было смуглым и бледным, как серебро на черных иконах.

Была очень длинная служба. Священники говорили шепотом и лишь изредка восклицали гнусаво и торжест-

венно: «Amen!» Ресницы Наташи дрожали; с них капали на чугунные плиты редкие слезы.

Она наклонила голову, и седой низенький священник надел ей золотой венец.

— И ныне и присно и во веки веков.

— На веки веков я люблю тебя,— сказала Наташа и обняла мои плечи.

Она засмеялась, и я увидел, что это не Наташа, а Хатидже. Стены собора стали прозрачными. От странного свиста у меня закружилась голова — то свистели крыльями тысячи чаек, летевших к морю.

— Идем,— сказала Хатидже.— Тебя ждет Жучок. Он поймал рыбу с синими плавниками. Он помолодел на двадцать лет.

Я проснулся. Было холодно, я дрожал, закутался в пальто. По Арбату мчались пустые трамваи. Москва засыпала.

На вокзале за столиком в буфете меня ждала Наташа.

— У вас жар,— сказала она и начала быстро снимать перчатку.— Дайте ваш лоб. Ну да, вас лихорадит.

— Это от сна,— ответил я.— Я спал, и мне приснился странный сон.

Я рассказал ей сон, но не сказал о Хатидже.

— И ныне и присно и во веки веков,— сказал я и посмотрел в ее потемневшие зрачки.

— Не рассказывайте мне таких снов, слышите!

НОРВЕЖСКИЙ КАПИТАН

В Архангельске нас встретили серые тяжелые ветры. Размерзалось Белое море. Океан был еще во льдах. Запахом рыбы и леса тянуло с набережных, тусклые фонари терялись в полярной ночи, старинными стенами белели на площадях соборы и низкие дома.

— Хорошо! — сказала Наташа.— И говор у людей какой-то особенный, морозный. Вы не сердитесь, что я затянула вас сюда? Мне так хорошо, будто я во сне.

Ветер нес редкие капли талого дождя. Дряхлый извозчик придержал лошаденку, пожевал губами и спросил:

— А вы, милые, московские?

— Московские.

— Должно, по торговым делам?

Я засмеялся.

— Да, дедушка, по торговым.

— Дела ноне серьезные. С лесом или с рыбой, к примеру. И жена-красавица с вами ездит. Это, милые, днем с огнем не сыскать, чтобы душа в душу.

Он засмеялся дребезжащим смешком и затряс головой.

— Ноне не-е-ет! Лад совсем уж не тот. Да. Сына моего молодуха вот бросила, за помором ушла в Кандалакшу. На кой ей ляд тот помор?

— Ну, давай вам Христос,— сказал он неожиданно, стащил меховую шапку и перекрестился.

В гостинице светло горели лампочки. Бесшумно бегали по красным коврикам коридорные. Наташа выбрала себе небольшую комнату в конце коридора. Туда внесли ее ручной портплед. Мне отвели большую теплую комнату с побуревшими видами Соловецкого монастыря, старомодными глубокими креслами и синей кафельной печью. На круглом шатком столе лежал прошлогодний календарь и стояла высохшая чернильница.

За дощатой стеной кто-то говорил на незнакомом языке. Коридорный, скромно стоя у двери, рассказывал, что это капитан-норвежец, зазимовавший в порту.

— Как здесь все странно,— сказал я Наташе, садясь на старый ковер у ее ног.— Рядом со мной в комнате норвежец-капитан, а на стенах старые гравюры — виды Соловков, соборов, деревянных церквей. Разве не странно, что мы сразу стали так близки, что вы здесь со мной, что каждую минуту я чувствую здесь, рядом, ваше дыханье, ваш голос? Я люблю и буду потом, в памяти, любить все, что вокруг,— и соборы, и пустую гостиницу, и норвежского капитана с золотыми шевронами, и вот эти старые пожелтевшие фарфоровые чашки, и себя, и все то, к чему вы хоть раз прикасались.

— Максимов, родной,— сказала Наташа и тревожно взглянула мне в глаза.— Я забыла свои капризы. Вы ведь знаете все. Говорите.

— Может быть, все это я выдумал, как в детстве выдумывал тысячи историй, волновавших меня до слез. Не знаю. Я знаю только одно, Наташа, знаю крепко, что сейчас я люблю себя только за то, что вы сказали мне в Москве: «Я хочу чувствовать на себе ваши глаза, вашу силу, слышать ваш голос, жить тем, чем живете вы». А может быть,— продолжал я тихо,— я уйду завтра же. Я ничего не знаю. Вы не должны мучиться.

— Если бы вы знали,— с болью сказала Наташа,— как я ждала и боялась этой минуты, как мне было тяжело там, в Москве, когда вы еще ничего не подозревали. Я плакала дни и ночи, как глупая беспомощная девчонка. Я рвалась к вам и боялась вас встретить. Я даже ненавидела вас. Господи, я совсем обессилела, я была совсем больна и презирала себя за это. Я поняла тогда, что вся моя вздорная гордость, и театр, и прежняя жизнь с ее вечной тоской — все так пустяково и жалко перед тем, что случилось. Все это ушло, и осталась одна любовь к вам, тревога за вашу усталость, боязнь за вас. В тот вечер, когда я сказала вам об Архангельске, я не могла играть. Я просила свою старую няньку дать мне снотворного, чтобы хоть на минутку уснуть и во сне неясно, радостно видеть, что вы любите меня. Я подошла к той черте, за которой или что-то жуткое, бесповоротное, или счастье. Но его еще нет, Максимов.

— Почему? — спросил я и встал.

— Почему? — повторила она и тоже встала.— Вы помните, я бросила в реку вашу книгу. В ней было письмо от той, кого вы любите. Я это знаю. У вас не дрогнула даже бровь. Это испугало меня. Или правда, что у вас началось настоящее, или...— она надолго замолчала,— или у вас холод в душе, и вы идете за каждой женщиной. Я не знаю...

Она подошла к окну. У меня что-то оборвалось на сердце. Отвращение к себе ударило в голову. Я сел на диван. Зеленая полночь исчезла, я услышал крик Наташи и потерял сознание.

Обморок был короткий. Когда я открыл глаза, в ушах звенели десятки телеграфных столбов. Наташа стояла около меня на коленях, тяжело дышала. Грудь у меня была открыта, на сердце лежал холодный мокрый компресс.

Наташа положила руку мне на лоб.

— Прошло, все прошло? — спросила она звенящим высоким голосом.— Что я наделала! Ну, как теперь?

— Хорошо... Немного болит сердце. У меня это бывает.

— И все я, я, я... Простите меня. Я не знала. Я сделала вам очень больно.

В этот же вечер я написал письмо Хатидже:

«C'est un emploi difficile d'être fiancée d'un poète» [1].

---

[1] Это трудное занятие — быть невестой поэта *(фр.)*.

Я должен рассказать вам все. Меня сорвало с якоря. Все, что было во мне постоянного, растаяло, как снег. Я в холодном Архангельске с чудесной девушкой. Ее зовут Наташа. Она любит меня, она перепутала все мои пути, смешала все карты и сказала мне о любви так просто. Я не могу и не смею бороться с этим. Я люблю вас и ее, и я ничего не понимаю в этой жизни. Это признание стоит мне многого. Я не знал и до сих пор не знаю себя. Все понятия о добре и зле смешались. Я не умею и не могу в них разобраться. Есть только одно — сегодняшний день, который больше никогда не придет, и жизнь прекрасная, мучительная и в конце концов непонятная».

Над Двиной поблескивало небо, холодное и прозрачное, как тонкий лед. Отсвечивали деревянные тротуары.

Мы шли с Наташей и норвежцем-капитаном Сигурдом Торбьерсеном среди запаха ворвани, пустых бочек и сырых сосновых палуб, слушая тихий, словно спросонья, перезвон стареньких колоколен. У набережной стоял черной громадой «Глиттертинд» — угольщик Торбьерсена. Из трубы камбуза вился легкий дымок. Матрос в рыжей фуфайке с гладко выскобленным, покрасневшим от ветра лицом вынул изо рта трубку, что-то хрипло крикнул Торбьерсену и протянул Наташе заскорузлую руку.

В каюте было тепло, топилась чугунная печка, и толстые стекла двойных иллюминаторов густо запотели. Мы пили кофе за некрашеным столом. Косое солнце било в лицо дымными стрелами. Торбьерсен рассказывал Наташе о ловле трески на Ньюфаундлендской отмели, о Бергене, о фиордах, о своем маленьком домике с желтыми жалюзи. Когда капитан возвращается из плавания, его сын подымает на флагштоке над домом норвежский флаг.

Потом Торбьерсен порылся в ящике с книгами, вытащил синий томик и протянул его Наташе. На заглавном листе я прочел:

«Knut Hamsun. Pan».

Торбьерсен сел к столу и четким прямым почерком, словно он вписывал широту и долготу в судовой журнал, написал на книге по-французски: «Натали Семеновой от капитана «Глиттертинда» Сигурда Торбьерсена из Бергена на память о встрече».

ЛИХОРАДКА

В Москву мы возвращались ночью. Меня знобило, я лежал на верхней полке, укрывшись пальто. Из окна тянуло холодом, болело сердце, из головы не выходили строки Тютчева:

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Наташа тихо спала внизу. Один только раз она вскочила и потрогала рукой мой лоб. Я закрыл глаза, притворился спящим, потом забылся, и хотелось так лежать дни, недели, качаться в вагоне, чтобы вечно неслись за окнами белые крупные звезды, чтобы глухо гремел по просекам раскачавшийся поезд.

Но пришла Москва, как возмездие,— серая, низенькая. Крапал дождь, стучал по крышам вагонов. Паровоз уперся в тупик. Заскрежетал первый трамвай и провел в душе тупую борозду.

— Мне нездоровится,— сказал я Наташе на вокзале.— Я позвоню вам вечером. Голова трещит, как жестянка, от этих проклятых мостовых.

— Зачем так говорить? — сказала с легкой укоризной Наташа и внимательно посмотрела мне в глаза.— Ну зачем?

Она грустно улыбнулась. Я помог ей сесть на извозчика, поцеловал руку. Извозчик отъехал, она оглянулась, и мне показалось, что на глазах у нее слезы.

У себя в комнате я с раздражением открыл окна, вымылся холодной водой и лег. Все тело разламывало, было сухо и приятно. Всю ночь я не спал, забылся только к утру.

Днем мне принесли телеграмму от Хатидже. Я распечатал ее и читал медленно, слово за словом.

«Получила письмо из Архангельска. Тяжело, но спокойно. Кроме тебя, никого нет. Посылаю письмо. *Хатидже»*.

«Кроме тебя, никого нет...» Первое «ты», печальное, какое-то материнское «ты». Сразу стало все ясно — над всей моей жизнью пройдет эта любовь, как материнская

ласка, когда жизни не жаль, даже любовь к другой кажется не страшной, и ее встречают понимающей улыбкой.

«Она не любит меня,— подумал я о Хатидже.— Это что-то большее. Ему нет имени на человеческом языке».

Я оторвал клочок бумаги от телеграммы и, стараясь твердо держать карандаш, написал:

«На днях еду к тебе. Жди. Не хочу писать, все расскажу».

Я встал и принял хину. С шестого этажа был виден воспаленный закат, самое страшное время для лихорадящих. Сырость пропитывала тело, хотелось горячего чаю, теплых, проветренных комнат.

На странице раскрытой книги, забытой на столе, я медленно прочел:

«Сумерки Тонкина, такие тяжелые вследствие рассеянных солнечных лучей и горячего дождя, нависли какой-то тайной, тайной азиатской — тревожной и злой».

«Что за чепуха! — подумал я.— Почему «вследствие» и почему «какой-то». Чья это книга?»

Я посмотрел на обложку — Клод Фаррер, потом снова прочел, но уже по-своему:

«Сумерки Тонкина, такие тяжелые из-за рассеянных солнечных лучей и горячего дождя, нависли азиатской тайной — тревожной и злой».

Нет, не то. Я сел к столу и наново написал всю фразу:

«Сумерки Тонкина — горячий дождь — банный воздух — приглушенное солнце — тревожные китайские кварталы — дрожащее от страха малокровное сердце Фаррера».

Когда у меня лихорадка, я часами могу думать о сущих пустяках, возиться с копеечными мыслями, отыскивать в них их первобытную значительность и чистоту. Так было и в этот раз.

Нет. Нет. Он пишет без красок. Так нельзя. Я второй раз переписал всю фразу:

«Тяжелые сумерки Тонкина — горячий дождь над зеленой рекой — чад китайских кварталов — апельсинное солнце — лихорадка — дрожащее от тревоги малокровное сердце Фаррера».

Довольно возиться с ерундой! Вот она откуда лихорадка — из Тонкина, из смертоносной, как яд, мокрой Азии. Врачи недаром говорят, что лихорадка у меня азиатская.

Я вышел на улицу. «Какой я дурак,— подумал я о

себе.— Фаррер пишет о сумерках. Какие же в сумерках краски! Нужен горячий дождь, просыхающие мостовые, серая широкая река, огни, обширные, как вселенная, китайские кварталы, слепленные из дикой глины, бумаги, бамбука, жести. Нужны желтые люди, кубовые ткани и кубовое небо. Вот и все».

Я дошел до Страстной площади. Розовые стены монастыря светили теплым огнем на Пушкина, озлащали молодые липы. На Тверской стоял весенний гомон, мчались рысаки, шуршали шинами автомобили.

Я зашел к Филиппову, долго пил черный кофе и читал в газетах объявления о ташкентском хлопке, пряже, банкирских конторах. Сбивчивые мысли преследовали меня.

Я прочел объявление о цейлонском чае. Зеленые города Цейлона.

Когда я был мальчишкой, в наш порт пришел серый пароход из Индии. Он стал на рейде и поднял желтый флаг,— на борту были больные. С парохода свезли трупы матроса и китайца-поваренка. Они умерли от желтой лихорадки. Я побежал на пристань, но боялся смотреть на них. Я все смотрел на воду, где косыми колоннами просвечивал зеленый солнечный свет.

«Вот она — лихорадка»,— подумал я и вспомнил, что в детстве я все лодки из дощечек, и пароходы, и людей, и небо красил в желтый цвет. Может быть, потому, что вырос я в каменистых желтых местах и часто ездил к бабушке в заросшие бурьяном желтые степи, где пыль со шляхов ветер подымал до самого неба.

От ветра хлопали ставни, сыпалась с крыш черепица, в саду сгорала зелень, солнце светило через серое сито, губы лопались и покрывались коркой.

Я боялся воробьиных ночей, когда небо струилось молниями, будто черные птицы били в испуге сотнями фосфорящихся крыльев. Зарницы ручьями низвергались на землю, воробьи падали в пыль, открывали клювы, пищали и умирали от жажды. Воробьиная ночь проносилась без капли дождя. Утром помятая степь дымила гарью и часто колотилось сердце. Колонисты качали головами: «суховей». Зерно высыпалось из колосьев, посвистывали суслики, а я весь день качал из колодца солоноватую воду и поливал сад.

Я ушел от Филиппова. Начался второй приступ лихорадки — бросало в жар, туманилось в глазах.

О чем я думаю? Все это не то. Мне надо что-то решить, ехать туда, на юг, к Хатидже.

Любить лучше издали, но любить необходимо, иначе — крышка. Вот так скитаться и всюду — в поездах, на пароходах, улицах, в полудни и на рассветах — думать о прекрасных вещах, ненаписанных книгах, бороться, погибать, растрачивать себя.

Я остановился. Надо зайти куда-нибудь в кафе и обдумать это.

Я зашел. Это было на Ямской, около Брестского вокзала. Стояли голубые сумерки, пахло цветочными рынками.

«Здесь — мой дом, первое пристанище в чужом городе,— подумал я, садясь за столик.— Кафе — это сборище тех, кому тесно и уныло дома. Это — Гарибальди и Сташевский, Хатидже и я, Роговин — все люди, связанные жизнью в один узел».

Одно вино напоминает о Риме времен Гоголя, другое — о синих гусарах Наполеона, медовых рейнских городах, гитарах и жженке, третье — о темном море, где крепко ругаются матросы и от ливней чернеют паруса.

Разболелась голова. Я встал и пошел домой.

«Эх, если бы сейчас осень! — подумал я с укором.— Я бы снова начал писать». Осенью крепнут от холодного воздуха мысли, уверенно стучит сердце. Земля пахнет березовой корой, перепадают скромные дожди, вся страна стоит, как чаша, налитая золотым вином, синим небом, яркостью. Сменяются дни, и кажется — заденешь, и день зазвенит, как стекло, и журавли снимутся на зимовку в те страны, имени которых не знаешь.

ЛОДЫРИ

Прошла неделя. Я получил письмо от Хатидже. Письмо было из Севастополя.

«После твоего письма мне трудно было оставаться на старых местах. Я совершенно спокойна. Во всем огромном мире, среди миллионов людей — мы одни. Кроме тебя, у меня никого нет, и я знаю, что ты вернешься. Очевидно, все, что ты делаешь,— нужно. В твоей жизни будет много потрясений, любви, горя, ты должен пройти через все, но всегда, когда ты захочешь, я буду около тебя.

Я жду тебя и много работаю. Но стоит только подумать, что ты не приедешь, и этот прекрасный город кажется мне ловушкой!»

Всю неделю я не выходил. Не отвечал на стук в дверь, никого не хотел видеть.

Вечером пришел Роговин. Он долго стучал, потом заглянул в замочную скважину.

— Ключом заперто изнутри,— сказал он вслух самому себе и снова стал колотить в дверь.

Я встал и открыл.

— Ну и здорово вы спите. Накурили черт знает как. Откройте окна и бросьте киснуть. Едем сейчас в Братовщину, к Семенову. Он туда переехал па дачу, сегодня справляет новоселье.

Я согласился. Мимо окон трамвая неслись, шумя листвой, свежие бульвары, узкая лента Тверской, черный Пушкин. В пустом дачном вагоне кондуктора светили нам в глаза фонарями, поезд гремел по Сокольнической роще, свистел на закруглениях.

— Вы знаете,— сказал Роговин,— Наташа велела вас привезти.

— Ну и что же?

— Так... Ничего. Ей-богу, так нельзя. Вы заперлись, как зверь. Что вы, боитесь людей? У вас будет бледная немочь, как у офицерской свояченицы.

— Я работаю.

— Так работать нельзя.

Он встал, открыл окно и сказал:

— Я бы хотел о многом написать, да вот — не получается. Семенов пишет о художниках, иконах, кустарпых кружевах, а у самого тоска — настоящей книги хочется. Не умеем мы, понимаете, сжать руку в кулак, ударить — раз — и готово! Слоняемся вокруг настоящей темы, около пастоящих слов. Лодыри мы. Сам пишешь, а на уме мысль — как бы увильнуть. Конечпо, ни черта не выходит. Куда там писать, если побриться лень. Когда пишешь, нужпа чистота. Нужно, чтобы было тихо в комнате, свежо, чтобы квартирная хозяйка не лезла с разговорами, чтобы не воняло из кухни, чтобы были чистые и обязательно холодные руки. Понимаете? Надо быть выбритым и чувствовать свои бицепсы. Надо быть крепким, как циркач, как после купанья в море. Вот. А у меня этого нет. Чтобы из

русского человека вышел хороший писатель, нужно привить ему английский спортсменский дух, погонять его по морозу, подвести под опасность раз двадцать, пока не привыкнет, бить его боксом, пока из него не выбьешь весь студень. Вот!

Он еще долго говорил о том, как надо писать.

— Семенов, к примеру. Голова всегда болит, в лице — ни кровинки, вместо крови у него лампадное масло. На писательство он смотрит как на священнодействие. Чепуха. Кому он нужен, этот византийский туман?

Он надел кепку, встал и заговорил возбужденно:

— Так же нельзя, поймите. Писать — как ледяной водой обливаться. Первое время жутко, потом привыкнешь.

— Почему же вы так не пишете?

— Я лодырь. Если бы само писалось, было бы здорово. Встал утром — лежит на столе свеженькая глава, пришел вечером — опять свеженькая глава. А я бы только давал указания — надо так, мол, и так. А вот еще одпа русская манера писать,— говорил он, когда мы садились в Братовщине на единственного извозчика,— писать на клочках, потом все растеривать.

— Вези, брат, вези,— сказал оп извозчику.— Успеешь поторговаться. И это,— опять обратился оп ко мне,— в нищей юродивой стране, где каждую мысль падо беречь, как крупицу золота.

В лесу было черно, фыркала лошадь. За деревьями проревел и промчался огненной струей окон сибирский экспресс.

РЕКА СЕРЕБРЯНКА

Около дачи при фонарях играли в крокет. Женский голос крикнул: «Игорь, не загоняй шары!» Над соснами стояли северные звезды.

Встретил нас крошечный кадет с фонарем — Игорь.

— Мой крестник,— сказал Роговин.

Игорь шаркнул ногой, голова у него торчала ежом, в глазах был восторг.

— Я разбойник! — крикнул он и побежал на площадку.— Мы с Наташей разбойники. Всех о кол убиваем.

— Как вам не совестно,— сказала мне Наташа.— Вы ведете себя, как старый бобыль,— прокурились насквозь, прячетесь,— нехорошо. Знакомьтесь. Нину вы знаете.

А это ваш брат — журналист, редактор «Синего журнала» — Любимов. Это тоже журналист, вы, кажется, знакомы, Серединский, а это мой крестный сын — Игорь. Вы ему расскажите про море, только пострашней и поинтересней. Миша сидит на даче, пишет. Ну, довольно. Сдавайтесь. Идем на веранду.

На веранде сели за чай, пришел Семенов. Бабочки бились около свечей, падали на стол.

— Первый раз в жизни проигрываю,— сказал Любимов.— Всегда иду ва-банк, и всегда везет, даже когда ставлю собственную голову.

— Когда же это ты ставил? — спросил Серединский.

— В Питере два года назад.

— Питер весьма неромантичный город,— сказал Серединский,— там тесно таким авантюристам, как ты.

— Дело было так. Приехал немец-укротитель Баер с труппой молодых африканских львов. Я пошел его интервьюировать. Баер говорит — львы злые страшно, плохо прирученные, молодые, работать с ними трудно. Потом пошли рассказы — будто его дедушку и бабушку, отца и мать и всех братьев и сестер разорвали львы. Когда лев бросается, стрелять нельзя — можно попасть в публику. Поэтому у укротителя в револьвере только одна боевая пуля, остальные заряды холостые. Он стреляет холостыми, если же видит, что не помогает, видит, что крышка, то последнюю боевую пулю — в себя. Баер показал мне револьвер, я взял его, повертел и спрятал в карман. «В чем дело?» — «Дело в том, говорю, что я не укротитель, но я войду в клетку с вашими лопоухими львами и просижу пять минут». Баер обалдел. Я вышел, привел фотографа, дал Баеру расписку, что в случае смерти вся вина на мне, вошел в клетку и сел на стул.

— Ну и что? — спросил Игорь.

— Что? Ничего. Львы подвинулись, высунули языки и смотрели на меня с удивлением.

— И ты просидел все пять минут? — спросил Серединский.

— Не пять, а семь.

— Почему?

— Потому что дурак фотограф. Он непременно хотел снять одного льва в профиль, говорит — редкий профиль, а тот все не садился, все анфас и анфас. Да ты что, не веришь? Я тебе завтра карточку покажу.

Игорь захохотал.

— Какой вы врун, Любимов,— сказала Нина.

— Нина Борисовна,— сказал торжественно Любимов,— я не вру. Я на этих львах карьеру сделал. После этого меня пригласили редактировать «Синий журнал».

— Это у вас,— спросила Нина,— был всероссийский конкурс на лучшую гримасу?

— У меня.

— А это у вас,— спросил Роговин,— была фотография картошки с лицом Горемыкина?

— У меня — всё у меня. У меня и не это было. У меня была фотография грудного ребенка с окладистой бородой и болонки с ослиными ушами.

Игорь снова захохотал.

— Иди спать, Игорь,— сказал строго Семенов.— Нахохочешься, потом ночью будешь плакать.

Игорь покраснел, шаркнул ногой, сказал «покойной ночи» и ушел в комнату. За дверью он еще раз прыснул.

После чая пошли по узкой дороге к реке Серебрянке.

— «Дул свирепый зунд прямо в Трапезунд»,— запел Серединский и вскрикнул:

Ах, мичман молодой
С русой головой
Покидал красавицу Одессу!

Дальше не знаю. Вот черт! Нет у меня памяти на эти песенки.

— Я знаю,— сказала со смехом Наташа:

Запомни фразу, лихой моряк:
Любить двух сразу нельзя никак.

— В горелки! — закричал диким голосом Любимов.— Роговин, расставляй всех. Я горю.

Первыми бежали Серединский и Наташа. Серединский бросился в лес, ломал кусты, ухал, кричал, изодрал о ветки лицо.

Потом бежал я с Ниной. Я далеко обогнал ее, она добежала ко мне, задыхаясь упала мне на руки, и сквозь тонкую ткань я почувствовал ее горячее бедро, ее дыхание обдало мне щеку. Подбежала Наташа.

— Нина, я схватила тебя, ты вырвалась. Это неправильно. Ступай гори.

— Я и так вся горю,— сказала Нина.— Довольно. Я не могу больше.

— Ну, сядь па пень и сиди. Отдышись.

Наташа взяла меня за руку, стиснула пальцы так, что хрустнули кости. Я вскрикнул.

— Твердая рука,— сказала она шепотом.— Мальчишеская слабая рука. Вам больно. Какой же вы моряк после этого?

Я отнял руку.

— Трудно бегать в темноте. Довольно! — крикнул я.— Роговин! Довольно.

— Ну, ладно,— ответил Роговип.— Отставить. Пойдем дальше.

Рука у меня ныла. Я закурил, зажег спичку. Увидел глубокую ранку от ногтя. Из нее сочилась кровь. Я перевязал ранку платком.

Я шел с Семеновым, он говорил мне что-то о Розанове, но я ничего не слышал, отвечал некстати, краснел в темноте. Надо подбить Роговина сейчас же уехать. Кажется, есть двухчасовой поезд.

Около реки сели на берегу. Сосны стояли над самой водой, вода журчала о корни, над лесом мигнула зарница. Все молчали.

— Вы, кажется, поранили руку? — спросила Наташа.

— Да. Я, кажется, запачкал кровью и вас.

— Как кровью?

— Так, очень просто.

— Посмотрим,— сказал Семенов и зажег спичку.— Смотри, Наташа, у тебя вся ладонь в крови. Здорово налетели,— сказал он мне.— Смотрите, весь платок мокрый. Должно быть, напоролись на сучок. Вы не шутите с такими вещами. Надо перевязать как следует.

— Доигрались,— сказал Серединский.— Я себе всю рожу изодрал. Максимов истекает кровью. Какой дурак играет ночью в горелки?

Наташа подошла ко мне.

— Давайте я перевяжу.

— Не надо,— сказал я резко.— Ради бога, не надо. Почему вы все всполошились? Пустяковая царапина.

Мигнула во все небо зарница, и глухо проворчал гром. В реке тяжело плеснула рыба. Сразу стихло, потемнело.

— Будет дождь. Пойдемте, а то захватит в темноте.

Снова мигнула зарница, явственней прогремел длинный гром, лес зашумел,— подул ветер.

— Роговин,— спросил я,— сейчас нет поезда на Москву?

— Есть.

— Да вы что, с ума сошли? — крикнула Нина.— Ночью под дождем ехать в Москву, да еще с окровавленной рукой.

— Я вас не пущу,— сказал Семенов.— Все ночуют у нас. На даче тесно, мы там оставим Любимова с Игорем и нянюшкой, а сами пойдем на сеновал, там тепло и сухо.

На обратном пути Наташа не сказала ни слова. Роговин шумно дышал, говорил, что слышит запах дождя. Зарницы были зловещи, верхушки сосен шумели, гром гремел над самой головой.

— Хорошо! — крикнул Роговин.— Ночью гроза в лесу. Слышите, как пахнет сосной, вот здорово. «Нас венчали не в церкви, не с попом, не с венцами»,— запел он низким тенором.

Упало несколько капель, потом стихло, стало тепло и душно. На даче на веранде Наташа молча перевязала мне руку. Рука распухла, йод прожег ее насквозь. Я промолчал. Наташа подняла на меня холодные темные глаза.

— Вы ждете, чтобы я крикнул?

— Нет... Я думаю, что вы засорили рану.

— Очевидно, ногти не всегда бывают стерильными.

Она отвернулась.

— Как все это нелепо,— сказала она.— Нелепо и неинтересно. Вы болтаете глупости, я тоже; не нужно это. Зачем?

Шел шумный дождь, плескал по лужам у крыльца. Далеко за лесом мигали голубые зарницы.

НОЧНАЯ ВСТРЕЧА

Семенов перетащил на сеновал ковер, и мы по очереди перебегали под дождем. На сеновале было темно, тепло, над самой головой барабанил дождь. В окно были видны далекий огонь семафора, лес, звезды среди разорванных туч.

Рука набрякла, сильно ныла, хотелось лежать на сене, не вставая, сутки, недели. Дождь полил с новой силой.

Серединский тихо запел:

Мы никогда друг друга не любили
И разошлись, как в море корабли.

— В затрепанном романсе — и вдруг такой точный образ,— сказал я Семенову.— «Мы разошлись, как в море корабли». Вы знаете, как корабли расходятся ночью? Это очень тоскливо. Вы видите только бледные огни, они проплывают мимо, и неизвестно — кто там, куда они идут. Все долго смотрят, и лица становятся печальнее, строже. Матросы говорят: от ночной встречи заходится сердце. Один капитан рассказал мне чудесную историю о такой вот встрече.

— Расскажите,— попросил Роговин.— Под дождь хорошо слушать.

— Начало простое. Он полюбил. Это не была обычная морская любовь, двухдневная любовь в порту. Она была замужем. По его словам, она была прекрасна.

— Вы понимаете,— говорил он,— я весь дрожал, когда первый раз увидел ее у себя на палубе грузового, засаленного парохода. Мы стояли в Батуме. Мы только что возвратились из Владивостока. Она пришла ко мне и сказала:

— Я узнала, что вы вечером идете в Сухум. Возьмите меня, капитан. До завтрашнего утра нет пароходов, а мне надо попасть в Сухум возможно скорее... Ради бога, возьмите меня. Я заплачу за проезд.

— На грузовых пароходах мы денег не берем,— ответил он.— По вашему лицу я вижу, что вам нужно в Сухум до зарезу. У нас нет кают, но ночью я стою на вахте до самого Сухума и смогу вам предоставить свою койку.

Она смутилась и покраснела.

— Ничего,— ответил он.— Там ключ внутри.

— Капитан, я вовсе не считаю вас... Но мне стыдно занимать вашу койку. Вы отходите в восемь часов, в Сухуме вы будете завтра в полдень,— неужели у вас вахта длится шестнадцать часов.

Теперь покраснеть пришлось капитану. Она знала толк в морских порядках.

— Пустое! — пробормотал он.— Я рад уступить вам каюту. Даже больше,— я счастлив, что эта чертова конура хоть раз в жизни пригодится для молодой женщины.

Он понял, что сказал пошлость, опять покраснел и замолчал.

Через час она приехала на пароход. Кроме маленького чемодана, у нее ничего не было. Из осторожных расспро-

сов выяснилось, что муж ее — инженер, сейчас он в Сухуме. Боцман Гнедюк говорил матросам шепотом: «Ну, прямо королева африканская, прямо королева». Кочегары вылезли из машины и, черные как черти, смотрели на нее. Помощник Ермоленко побледнел от потрясения и пошел в каюту выпить водки.

— Понимаете,— говорил капитан,— было такое чувство, будто в преисподнюю спустилась Элеонора Дузе (он ее видел однажды в Одессе).

Вышли из Батума. За Зеленым Мысом упала ночь, на море был штиль,— гудела машина, команда залезла в кубрик. В это время на мостик поднялась она.

— Можно мне побыть здесь? — спросила она капитана.

— Пожалуйста.

— Я вам не помешаю?

— Нет, что вы! Видите,— спокойно, как в комнате.

Она долго молчала. Потом сказала:

— Вы не сердитесь на меня, но я вас обманула. Мне захотелось проехать до Сухума на грузовом пароходе, чтобы быть одной, никого не видеть. Это каприз, и я очень недостойно солгала вам.

— Но вы и здесь не одна.

— Вы не в счет,— ответила она.— Я узнала, что вы идете в Сухум, от вас же,— вы сказали об этом пароходному агенту в кафе. Я сидела в тени за столиком, услышала и подумала: «Вот капитан с открытым лицом, он возьмет меня до Сухума, он, должно быть, застенчивый человек и не откажет мне». Я оказалась права.

Они долго молчали.

— Два румба на вест,— сказал капитан штурвальному.

— Есть! Два румба на вест.

— Так держать!

— Есть! Так держать!

Потом, уступая осторожным, но настойчивым расспросам, он рассказал ей свою жизнь. Гардемарином его выгнали из морского корпуса за пощечину офицеру. Он прошел тяжелую школу: плавал юнгой на греческих дрянных катерах, матросом на русских и французских парусниках, потом офицером на английском угольщике, где капитаном был моряк-писатель Стюард, приохотивший его к книгам. Он читал запоем, изучал Азию и даже написал книгу об Индо-Китае — нечто среднее между руководством для пла-

вания у его берегов и очерками о быте, тайфунах, контрабанде, малайцах и опиуме.

— Вы странный моряк,— сказала она.— Вы соединили две лучшие профессии в мире — морскую и писательскую. Скажите, вы любили кого-нибудь?

— Кажется, нет,— ответил он и смешался.— Все время, знаете, плаваешь, женщин видишь только на берегу.

— Вам сам бог велел. Вы холостой, всегда в одиночестве. А вот я окружена мужчинами, замужем, а тоже еще не любила.

Они проговорили всю ночь. Из ее слов он понял, что она одинока, далека от мужа. Ему казалось, что теплота ее слов, низкий голос прикасаются к нему, как легкий мех. Она ушла в каюту только перед Сухумом.

В Сухуме стали на якорь. Он помог ей спуститься в шлюпку.

Шла зеленая, веселая зыбь. Белый город, пальмы и горы качались над шумным рейдом.

— Я хочу вас увидеть еще,— сказала она, прощаясь.

Через час отошли из Сухума. Он вошел в свою каюту. Там стоял свежий, неуловимый запах духов, подушка на койке была слегка примята,— она спала на ней. На столе на перевернутой морской карте было написано:

«Спасибо, капитан. Мне очень не хочется сходить в Сухуме. Я бы плавала с вами год-два, потому что у вас открытая душа, с вами я говорила, как с близким. Вы — чудесный товарищ. Прощайте».

Получить такую записку, когда знаешь, что любишь, любишь единственно, неизлечимо,— удар. У него мелькнула мысль — повернуть пароход и идти обратно в Сухум, но он переломил себя. Из Одессы пароход пошел снова в Батум. Капитан ликовал. Но около Тараханкута была ночная встреча, мимо прошел, сияя огнями, «Поллукс» — из Батума в Одессу, и у капитана сжалось сердце. Иногда ночные встречи рождают плохие предчувствия. Он следил за огнями, пока они не упали на край земли, в морскую мглу.

В Сухуме он ее не нашел. В Батуме тоже. Из Батума он пошел во Владивосток, оттуда в Мариуполь и только через год опять попал в Одессу.

В Одессе в управлении пароходства ему передали пачку писем. Среди них он нашел узкий конверт со знакомым почерком. Он заперся в каюте и прочел письмо. Солнце зашипело и погасло в море, пол каюты качался, как в шторм.

Она писала:

«Я порвала с мужем. Через два дня после вашего ухода из Сухума я села на «Поллукс» и бросилась в Одессу за вами. Что так случится — вы могли понять уже тогда на мостике. Эта любовь пришла, как шквал, сразу, а если сразу,— значит, на всю жизнь. Я не могу рассказать вам даже тысячной доли того, что я передумала о вас. Я боялась писать вам. Я не знаю — любите ли вы меня. Если да, то ответьте мне в Москву (был приписан адрес). Я буду ждать месяц, два месяца... нет — три... Если нет — не отвечайте. Какая радость у меня на сердце, если бы вы знали. Я свободна, свободна, свободна, и я люблю вас — моего милого застенчивого капитана».

Он бросился в Москву — ее там не было. Он узнал, что она ждала полгода и уехала в Америку, к сестре. Он добился рейса в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он оставил пароход, объехал всю страну, оттуда вернулся в Батум. По пути в Батум во время ночных встреч с ним бывали обмороки — ему казалось, что она по-прежнему ищет его и они будут расходиться всю жизнь. Я познакомился с ним в Батуме. Он приходил на пристань к каждому пароходу и часто бывал пьян...

— Это все? — спросила Наташа.

— Все.

— Жаль... А вы не знаете, что теперь с этим капитаном?

— В прошлом году он бросился с «Трувора» в море между Керчью и Феодосией во время ночной встречи. Его не успели подобрать, и он утонул.

Все молчали. О крышу постукивал дождь.

— Эх,— сказал Роговин.— Растревожили вы меня. А тут еще это ненастье. Вот тоска.

Наташа взяла мою больную руку, потрогала бинт — он был сухой — и сказала:

— Какая я дура, дура, дура... Как вы должны меня ненавидеть.

— Чудно,— сказал после долгого молчания Семенов.— Дождь идет такой московский, ручной — шумит себе и шумит. Кругом Россия — и вдруг такой рассказ. Не наш у вас темперамент, Максимов, чертовщиной от вас несет.

ВЕЧНЫЙ ГОРОД

Началось душное лето. Дни стояли серые от зноя, вечера были багровы и туманны. Я решил ехать к морю, к Хатидже и взял в редакции отпуск.

За день до отъезда ко мне пришел Семенов. Мы поехали с ним вечером в Нескучный сад. После города здесь было свежо, в Москву возвращаться не хотелось, и мы провели ночь в саду, в Елисаветинском павильоне, спрятавшись от сторожей. Над Москвой горело зарево, на реке свистели катера, был слышен смех женщин, скрип уключин. Иногда по Окружному мосту гремел поезд. Вечер был влажный, в зеленой черноте светились звезды.

Мы уснули в широких нишах павильона и проснулись на рассвете. Чистая, как жидкое зеркало, спала река. Выкупались и пошли вдоль берега к Крымскому мосту.

— Ничем нельзя убить Москву,— сказал мне по дороге Семенов.— Уничтожить ее сущность, ее душу — нельзя. Тысячи потрясений ничего с ней не сделают. Каждое новое потрясение наложит на облик Москвы еще одну черту, но не убьет ее. Так и будут жить рядом Кремль и подземные железные дороги, Борис Годунов и Станиславский, вокзалы и старые липы Замоскворечья, футуристы и общества любителей соловьиного пения. Москва — подобно Риму и Парижу — вечный город. Она переживет поколения, эпохи и идеи, как Париж пережил величайшие ломки, казни и подъемы. Около статуи Дантона я всегда вспоминал Мими и Флобера, всегда думал о вечном прибое и отливе творчества в стенах Парижа. Вы представьте — собор Богоматери и восстание коммунаров, Гюго и Пикассо.

То же и с Москвой. Сквозь пожары и революции, великие войны и колокольный звон, бунты и покаяния, сквозь море народных движений, приниженность и скуку — она пройдет, как монолит, и сохранит свой облик — во сто крат более прекрасный. На перевале веков, культур он

станет особенно четок — этот облик Москвы, вечного города, которому будет молиться вся Россия, все человечество. Мы идем к небывалой эпохе возрождения.

Я сказал, что меня с давних пор тревожит мысль о гибели европейской культуры. Прекратится творчество. Не о чем будет писать, никто не сможет сказать новое и весомое слово. Погаснут фонари, опустеют дороги, стекла в домах будут лопаться от стужи, и только страх за свою, теперь уже никчемную, жизнь будет владеть лучшими умами. Выживет ли тогда Москва?

— Это абсурд,— сказал убежденно Семенов.— Этого не может быть.

Я пояснил свою мысль. Умирают не только люди, но и народы и все человечество. Это — биологический закон. Человечество может дряхлеть, терять молодость, впадать в младенчество, у него перестанет свертываться кровь. Я не могу себе сейчас представить те чудовищные формы, в которые выльется это умирание, но мне кажется, что скоро человечество свихнется. Легенды о кончине мира родились именно тогда, когда гибли великие культуры Эллады, Рима, чудесные статуи и медно звенящие стихи.

— Слушайте,— сказал Семенов.— Вам надо полечиться. Вы уже договорились до конца мира. Или вы много пьете, или переутомились. Купайтесь почаще.

— Дело в том, что завтра я могу развить перед вами совершенно противоположные взгляды.

— Чудак,— протянул Семенов.— Вам, очевидно, нравится самый ход мыслей, а не истина. Вы думаете образами и никогда не стараетесь оправдать их логикой. Что получилось бы, если бы Кант, например, решил свои отвлеченные мысли передать в форме романа? Редкая чепуха!

ОБРУЧЕНИЕ

Вечером, накануне отъезда, я зашел к Семенову попрощаться. Дома никого не было.

Старуха нянька Никитишна посмотрела на меня ласково поверх очков и сказала:

— Соколик мой. Давно тебя не видала. Я и то Наташу спрашиваю: чтой-то матросик наш глаз не кажет?

— Почему вы меня матросом прозвали?

— Знак у тебя этот на руке, якорь. Племянник у меня в городе Кронштадте служил,— вот у него такой знак был на груди. Заместо креста так у него якорь, у безбожника. Ну, посиди.

Я прошел в кабинет Семенова и лег на диван. В громадном небе горела одна только звезда, закат едва был виден за Кремлем. Я наугад взял книгу с полки, открыл ее и прочел:

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я вспомнил, что завтра еду в Севастополь, к морю, к Хатидже. Вспомнил ночь в белом городе, когда был болен Сташевский, и Москва показалась мне сном. Легкий ветер бродил по комнате, в церквах тихо звонили.

Проснулся я оттого, что кто-то упорно смотрел мне в лицо. Перед диваном на коленях стояла Наташа. Она оперлась подбородком на руки, лица ее в темноте не было видно.

— Это правда, что вы завтра уезжаете? — спросила она и встала.

— Да, правда. Когда вы пришли?

— Недавно. Я открыла дверь своим ключом, вошла и увидела вас. Я даже испугалась.

— А где Семенов?

— На даче. Он приедет завтра.

Она подошла к окну и села на подоконник. Я встал.

— Куда вы едете?

— В Севастополь.

— Значит, туда, к ней. Нет, нет, я что-то не то говорю. Но зачем так рано, сейчас только конец мая...

Я хотел зажечь лампу.

— Не надо,— резко сказала она.

Я смотрел на нее в квадрате окна, и как тогда, в театре, от близости женской молодости у меня закружилась голова.

— Максимов,— сказала Наташа, и я вздрогнул, так глух был ее голос.— Максимов, родной, вы всегда так мучаете людей? Даже в Архангельске я не сказала вам всего. Теперь знайте...

Она опять замолкла. Потом рассмеялась:

— Как вы рассказывали, помните — от ночных встреч заходится сердце. Матросы умеют говорить лучше нас. Я натворила много глупостей. Есть вещи, которые надо выжечь, как проказу, а вот — не можем, цепляемся за них, калечим жизнь.

— Какие вещи?

— Гордость, например. Правда, достойное чувство? Или застенчивость. Или обиду. Да мало ли дурацких чувств? Вы окончили книгу?

— Окончил.

— Эту книгу,— медленно и спокойно сказала Наташа,— во всем мире — вы слышите? — во всем мире должна была бы знать только я. Больше никто. Никто.

— Почему?

— Потому что она моя! — крикнула Наташа и встала.— Потому что вы прекрасно знаете все, но вы боитесь. Может быть, то, что идет на нас, так громадно, что его надо бояться; может быть, вы правы, но я этого не хочу знать.

Она села на диван, заплакала, потом пересилила себя и долго сидела молча.

— Никто не видел моих слез, кроме вас и старухи няньки. Никто, даже брат. Трудно угадывать вас. С вами у меня пропадает всякая гордость. Это такая боль, будто бы вырывают душу. Зачем вы такой? Ну зачем? Сколько дней я думала о той, о девушке у моря, о том, что было там. Вы любите ее, Максимов?

Я промолчал.

— Я это знаю. Ей вы отдали все, а для меня у вас не осталось даже слов. Ну скажите же что-нибудь. Скажите, что это пустяковый случай, что я — взбалмошная девчонка и мне никогда не надо встречаться с вами. Скажите, Максимов, родной, и уйдите. Может быть, я переживу все это.

— Я не могу и не хочу сказать «нет»,— ответил я и взял ее за руку.— Есть вы, и есть она. Вдали от нее я медленно умираю от духовного истощения, от странного одиночества. В жизни нас двое. Мы крепко держим друг друга за руки. А вы...— я остановился.— Вы смяли душу, от вас кружится голова. Когда я вижу вас, у меня замирает сердце. Кровь отливает от лица, и ту боль, которую вы причиняете мне, я ношу в себе, как незалечимую рану...

— Наташа,— сказал я тихо и так же, как тогда в Архангельске, почувствовал, что что-то оборвалось в душе далеким криком.— До сих пор вы не знаете, люблю ли я вас. Я люблю подсознательно. Всю жизнь я буду тосковать по вас. Но жить с вами рядом, делить жизнь во всей ее повседневности мы никогда не будем.

— Почему? — шепотом спросила Наташа.

— Тогда я убью себя. Вы возьмете меня всего, все мои силы. Я не буду таким, каким я стал теперь. Такие люди, как вы и я, не должны жить рядом.

Она крепко обняла меня за плечи, притянула к себе. Я чувствовал ее судорожное дыхание.

— Неужели это может быть, неужели правда? — Она громко засмеялась.— Значит, пришло настоящее, как у меня. Мы оба знали это давно.— Она наклонилась и поцеловала меня в губы.

Ночь рванулась, понеслась далеким гулом.

— Только вам,— прошептала она, и глаза ее блеснули от радости,— только вам я могу отдать все, себя, свою жизнь. Как это нестерпимо хорошо. Я хочу, чтобы у меня был ребенок от вас, маленький мальчишка. Когда вы уйдете от меня, я буду знать, что это ваш и мой сын, что в нем мы оба, и мне будет легче.

В тумане и тишине встало над Москвой это первое утро. Близость женщины была мучительна, терпка, прекрасна.

На рассвете мы вышли на Пятницкую. Мостовые потемнели от росы. На Балчуге я нанял машину. Шофер дремал, надвинув кепку на нос.

— На Арбат, а оттуда в Царицыно,— сказал я ему.— Мы должны быть там к севастопольскому поезду.

С Арбата машина мягко понеслась к мостам вдоль умытых бульваров, трубя на безлюдных перекрестках. Белым золотом пронесся Кремль, умчалась молочная река. Болото с острым запахом овощей, дворы Замоскворечья, виадуки, трактиры. Серпуховское шоссе. В полях ударило ветром.

В Царицыне поезд стоял минуту. Наташа обняла меня, глаза у нее были полны слез, она не могла сказать ни слова. Она стояла на платформе, глядела вслед поезду, вся в солнце, в сером английском плаще.

Я уснул без снов и проснулся только в Орле.

ЮЖНЫЙ ПОЕЗД

За Харьковом пошли степи. В душном вагоне бегали зайчики от зеркал, золотыми столбами ходила пыль.

Утром поезд долго стоял в Синельникове. В просторном зале было светло и скучно, высохли от зноя искусственные пальмы, запылились графины с желтоватой водой.

Цокотали говорливые бабы с молоком, вишнями, сайками. Бегали с чайниками пассажиры третьего класса.

В вагоне проводник спросил меня:

— Не вы будете Максимов?

— Я.

— Телеграмма вам из Москвы. Послали вдогонку за поездом.

Я взял телеграмму, влез на верхнюю полку и распечатал. Телеграмма была от Наташи.

«В конце июня буду Евпатории вместе своими. Сообщите ваш крымский адрес. Приеду. Страшно одиноко. *Наташа*».

«Что со мной? Так все запуталось, я ничего не понимаю, надо обдумать, а думать не хочется, и на душе такая неожиданная легкость. Жизнь связала нас троих неразрывно, крепко... А может быть, двоих?»

Я высунулся в окно. Поезд мчался, звеня сцеплениями, шумели листвой переезды.

Я вышел на площадку, открыл дверь и долго смотрел на грохочущую степь. Поезд нес запыленные вагоны к синему утру, прибоям, к воде, зеленой, как спелый виноград. Я почему-то поверил, что этим зрелым, блистающим летом меня ждет незаслуженное счастье.

В Симферополе кто-то потянул меня за ногу.

— Винклер! Родной! Откуда?

— Встречать тебя приехал. Хатидже послала. Я тоже сейчас живу в Севастополе. Ну, вставай. В Бахчисарае слезем.

— Почему в Бахчисарае?

— Там Хатидже ждет. Да ты, брат, совсем стал взрослый, возмужал. Ну, рассказывай.

Он улыбнулся. На темном лице сверкнули яркие зубы. Я вспомнил, что в гимназии мы звали его «потомок Пушкина».

БАХЧИСАРАЙ

В Бахчисарае на вокзале Хатидже не было. Мы взяли извозчика и поехали в город. Солнце накалило шоссе. У оград сидели и гнусаво молились нищие — татары в цветном тряпье.

Бахчисарай лежал, как груда черепицы, в желтом ущелье, в садах. Сочилась вода в фонтанах, и небо опрокинулось черной чашей.

Около городской стены, в кривой уличке, среди пыльного плюща я увидел Хатидже. Она быстро шла к вокзалу, вся в белом. Ее волосы золотились под солнцем, лицо посмуглело и темно-зеленые радостные были глаза. Извозчик остановился. Хатидже улыбнулась и протянула мне руку.

— Я проспала,— сказала она, и голос ее показался мне совсем новым и низким.— Хозяйка обещала разбудить меня и забыла. Мне захотелось встретить тебя в Бахчисарае. Тут так много солнца, прямо слепнешь от света, и нет людей. Едем в гостиницу.

Весь день мы были вместе. Я рассказал ей все о Москве, кроме последней ночи. Она на минуту стала серьезной, но потом взглянула на меня и улыбнулась.

В пустой деревянной гостинице я умылся во дворе под холодным фонтаном. Солнце жгло мою голову, вода струилась, в каплях синело небо. С улицы раздавался протяжный вопль продавца.

Третьего дня я был на Пятницкой, три недели назад — в Архангельске, сейчас — в Бахчисарае, среди солнца, гор, воды. Я ощутил внятную радость скитаний.

Из гостиницы мы пошли в кофейню. Балкон ее висел над обрывом. По скатертям дул теплый ветер, внизу на плоских крышах ходили козы.

Хозяин — очень черный и, очевидно, храбрый человек — пил кофе маленькими глотками и беседовал с двумя библейскими старцами. Ленивые торговцы заглядывали в двери, скалили зубы, и пот блестел на их коричневых морщинах. От мокрого пола пахло весной. Дрожащий воздух подымался ввысь над ущельем, и сонный дым папирос был крепок до синевы.

Сны и радость бродили по узеньким улицам и балконам кофеен, как неторопливые, седые водоносы. Храпели

на солнце мохнатые псы, и крошечный мальчик притащил хозяину на руках молодого барашка.

За нами, не отставая, бродил равнодушный проводник-татарин и приставал, обещая показать Чуфут-Кале и пушкинский фонтан слез. Он уныло сидел на пороге кофейни, терпеливо дожидался, курил и поплевывал на мостовую.

Меня клонило в сон от неба, от жаркого отблеска гор, от монотонной воркотни воды.

— Наши все разбрелись,— сказал мне Винклер.— Алексей уехал в Киев, Сташевский — в Юзовку, он устроился практикантом на заводе. Гарибальди умер. Я, как видишь, здесь. Должно быть, никогда больше не соберемся вместе. Вот и Хатидже променяла нас на Севастополь.

Днем мы ездили в Чуфут-Кале. В твердой траве прятались коричневые ящерицы. Среди камней и диких лиловых цветов паслись овцы. Старик пастух стоял, опершись на посох, и внимательно смотрел на нас. На бесплодных горах, залитых светом и ветром, были только мы, пастух, овцы и полуденная горная тишина.

Среди развалин мы сели отдохнуть. Были видны Яйла и синий туман над морем.

— Вот древность,— сказал Винклер, бросая с обрыва камни.— Каждый куст можжевельника — и тот почти тысячелетний.

Хатидже поймала маленькую ящерицу и держала ее на ладони. Ящерица дрожала и судорожно высовывала тонкий язычок.

— Воздух древности,— сказал Винклер, лежа и глядя на небо.— Я не люблю истории, копилки фактов. В гимназии я по истории не вылезал из троек. Прошлое надо почувствовать. Ни горы, ни небо, ни вот эти камни, ни пастухи не изменились за последние сотни лет. Черное море осталось таким же, каким было во времена Византии и Митридата. Надо уйти в горы, ночевать у костра, пить козье молоко, прислушиваться к крикам орлов. Тогда вы узнаете не профессорскую сущность истории, а замечательное ощущение древности. Мифы оживут и станут такими же близкими, как близки нам Чехов и Франс. Я, как язычник, верю в приметы, сказки, в миф о рождении Афродиты, в рассказы моряков о господней рыбе и плаче дельфинов. Это вам пе Платонов, не Кареев и

не Сеньобос. Великое искусство — понять вот эту самую древность.

Тусклая жара заливала горы и улицы Чуфут-Кале, населенные ласточками и крошечными горными мышами.

Переночевали мы в гостинице. Темнота брызгала десятками звезд на постель, с гор дул ветер, немолчно бормотали фонтаны. Утром мы уехали в Севастополь.

За Инкерманом я вышел с Хатидже на площадку. В густой зелени грохотали туннели.

— Ты мало рассказал мне о Москве,— сказала Хатидже.— Меня это пугает. Ты что-то скрываешь от меня. У меня так светло на душе. Эти два тихих дня так напомнили мне прошлую осень и Староииколаевскую косу. Почему-то я вспомнила старика Гарибальди, и мне стало его жалко до слез. Я вспомнила ту мертвую ночь, когда мы шли из парка мимо кофеен, где начались желтые фонари. Помнишь? А теперь я думаю о Москве, и мне кажется, что там, в этих переулках у Арбата, у той, кого ты зовешь Наташей, ты оставил часть своей души.

— Я расскажу тебе все. Ты увидишь, что это проходит.

Ветер трепал ее волосы. Прогремел туннель, у самого полотна уже плескались волны. Зеленый залив высоко промчался в окне, па воде серели броненосцы, кувыркались чайки, в легкие ударил соленый запах моря.

— Я не буду больше вспоминать об этом.

Севастополь встретил нас жаром, желтым камнем, бронзовыми памятниками и морем — самым праздничным и пенистым из всех морей.

СМЕРТЬ ВИНКЛЕРА

Севастополь — это огни эскадры, бухты, как жидкий малахит, моряки в белом (в сумерки они кажутся неграми — так темен загар), много молодых женщин, торговок цветами и адмиралтейских якорей. В маленьких улицах весь день и ночь налито ровное тепло, и пахнет крепким, как спирт, запахом юга.

Вечера в Севастополе — это «хораи». Слово это Винклер услышал от знакомого моряка-подводника, и оно ему очень понравилось. По-японски «хораи» — это те несколько минут, когда день ушел, а ночь еще не началась,

когда все до сердцевины пропитано последним светом дня и вместе с тем уже наливается густой голубизною ночи. Бывает такая ткань, она отливает двумя красками — золотой и синей. Вечера в Севастополе были из этой ткани, опущенной, как воздушный занавес, вокруг этого белого города. Ночь подымалась в морской тишине, огни из желтых становились серебряными. Наступали «хораи», и звенящие медные трубы на кораблях провожали туманную зарю.

Засыпали птицы, пустел базар, женский смех наполнял приморские улицы, и входили на рейд забрызганные свежей водой стальные теплые миноносцы.

Хатидже снимала комнату у вдовы морского врача на Соборной. Я снял комнату по соседству.

Винклер жил у приятеля — художника Лавинского.

На третий день Винклер привел Лавинского ко мне. Лавинский был рыж и угрюм. Начинались «хораи». Над водой пылала огнями эскадра.

— Пойдем на Корабельную, в матросскую пивную,— предложил Винклер.— Там у меня приятели. Есть боцман, рыжий, как Лавинский.

Пивная была в сухом саду, на вольном воздухе. Над столами висели круглые бумажные фонари. В остывающих камнях свиристели цикады. Девушка в лиловых чулках, с зелеными порочными глазами принесла нам коньяку и сельтерской, толкнула меня тугой грудью. Над бухтой проревел пароходный гудок.

— Начало! — сказал Винклер и налил доверху стакан.

В доме, где был буфет, задыхались от хохота женщины,— должно быть, толстые и потные, и пьяненький тенор пел:

Красотки, красотки, красотки мои...

К нам подошла высокая девушка в короткой юбке. Она наклонилась и нежно пустила в лицо Винклеру дым папиросы. Винклер рассердился.

— Брось! — прикрикнул он.— Позови лучше Настю.

— Сама до тебя придет,— сказала сипло девушка.— Симпатичные мужчины, а скупятся девушку угостить.

Она ушла, покачиваясь, в дом. Винклер долго смотрел ей вслед.

— Животное,— сказал он и выплеснул свой коньяк в траву.

От духоты тупела голова. За соседним столиком посмеивались крепкие, как лошади, английские матросы. Они гортанно восклицали, разглядывали нас, пили медленно, сдвигая с каждым глотком на затылки мягкие шляпы и кепки. Пот капал с их сизых щек, и мокрые лица блестели под фонарем начищенной медью. Пришла девушка. Матросы схватили ее за локти, подбросили и посадили рядом с собой. Один вытащил из-за пазухи коробку раскисших шоколадных конфет и угостил девушку и нас.

Винклер быстро пьянел. Он закурил, долго ловил папиросой огонь спички и сказал в сторону англичан:

— Ливерпульцы, знаменитые корабельные воры. Ну, как ваши лондонские кабаки?

Англичане даже не обернулись в нашу сторону.

— Презирают,— сказал Винклер и весело посмотрел на меня.— В этих кабаках — любовь среди чавкания, мясной отрыжки и пароходного дыма. Выйдешь, а с неба капает, как с гигантской губки, намоченной в Темзе. Даже дождь в Лондоне пахнет падалью.

— Вершины любви, понимаешь,— сказал он и допил свой стакан.— Я алкоголиком стал по твоей вине. Любить женщин под жестяными фонарями на мокрых прилавках — вот. Потом изучать на лицах все пороки и все болезни континента и колоний. Утром, когда задымятся предместья,— как это, Вайтчепель, кажется (англичане зашумели,— «О, Вайтчепель»,— радостно сказал один из них и оглянулся на нас),— поднять воротник пиджака, задрожать, как принято, от сырости, выйти на мост и через лес мачт смотреть на оловянную воду, на кружева Вестминстерского аббатства и думать, что где-то есть веселая и вымытая начисто жизнь, что где-то так свежо и жарко, что борта осклизлых пароходов бывают теплыми от солнца.

Он помолчал.

— А потом рыдать слезами пресловутых небритых бродяг из дамских романов. Рыдать о чистоте, о старой Англии с ее почтовыми рожками, о Моне, о гениальных глазах человека, увидевшего красоту даже в этих туманах.

— О... мать,— сказал он тихо и стал лить коньяк в стакан. Он держал бутылку вверх донышком и заливал стол.

— Не пей больше.

— Где Настя? — крикнул Винклер девушке, сидевшей с англичанами, и повернулся к ней всем корпусом.

— С англичанами.

Винклер отвернулся и быстро выпил стакан. Он подавился вином, лицо его посинело.

— Рублевый бордель,— сказал он зло.— Посмотришь Настю, Максимов, тебе надо. Лицо! Беато Анджелико задрожал бы, как щенок, перед таким лицом.

— С английской матросней, говоришь? — переспросил он девушку и рассмеялся. Он наклонился ко мне, взял меня за плечо и забормотал, дыша в лицо перегаром и тоской.

— Ты слушай, тебе надо знать. Понимаешь, лицо Хатидже.— Он встал, качнулся и схватил меня за руку.— Лицо Хатидже! — крикнул он на весь сад.— Как это может быть? У самой рублевой...

— Молчи! — крикнул я и рванул его. Он тяжело упал на стул.— Молчи, скотина!

Я ударил его по руке.

— Оставь, мне больно.

Он всхлипнул. Лавинский налил в стакан сельтерской и силой влил ему в рот.

— Шпарь прямо в лицо из сифона,— хрипло попросил Винклер.

— Надо его увести,— сказал, морщась, Лавинский.— Последние дни все пьет и пьет и разводит какие-то сантименты. С ним будет истерика. Ну, пойдем.

Мы встали и подняли его. В это время из дома вышла девушка. Винклер вырвался и медленно, вдавливая ноги в землю, пошел к ней навстречу. Она отступила и прижалась к стене.

— Та-ак,— сказал Винклер и остановился. Англичане обернулись.— Та-ак,— повторил Винклер.

Я посмотрел на девушку и вздрогнул: черные тяжелые ресницы, светлые легкие волосы, лицо Хатидже.

— Уговор ты забыла? — спросил Винклер.— Мой день сегодня, мой. А ты с английской матросней, проклятая.

— Ну что?! — звонко крикнула Настя и толкнула Винклера в грудь.— Ну что?! Котом хочешь быть, так на, получай! — И она швырнула ему в лицо измятую бумажку.

Винклер застонал и наотмашь ударил ее кулаком по лицу.

— Ну, бей, бей! — хрипло взвизгнула Настя и схватилась за стену.

Я бросился к Винклеру, но меня опередил английский матрос со шрамом во всю щеку. Он схватил Винклера за руки, вывернул их назад, дал подножку и швырнул на землю. Англичане встали.

— Стоп! — крикнул Лавинский и взял матроса за руку.

Тот посмотрел на него и, тяжело дыша, отошел к своим. Настя убежала. В доме поднялся крик и плач. В окно испуганно кричала хозяйка:

— Пускай идут ко всем чертям, босяки! Что это за мода бить девочек?

Я поднял Винклера за руку и, держа сзади за плечи, чтобы он не упал, вытолкал на улицу. Губы у него тряслись, он кашлял и мычал. Мы усадили его на извозчика, Лавинский сел с ним рядом.

Я пошел к понтонному мосту. Луна высоко стояла над Севастополем, плескали по воде канаты, и кто-то протяжно и долго вопил с берега:

— Эй, на «Ипполите», на «Ипполите», на «Ипполите»! Что вы все, подохли, что ли?

Спал я плохо, мешал слишком быстрый рассвет. Потом меня разбудили,— какой-то мальчишка принес письмо и ушел, не дождавшись ответа. Я посмотрел на часы, было половина восьмого.

Я вскрыл письмо и прочел:

«Я болен. Не говори ей ничего. Скажи, что я утонул у Херсонеса, потому что был пьян. Прощай. *Винклер*».

Я понял не мозгом, а внезапным душевным ознобом, что его уже нет. Небо обрушилось тяжким громом. Я вздрогнул, прислушался, но все было тихо, и только кровь противно скрипела в жилах.

— Что же это? — спросил я шепотом и снова прочел записку. Около подписи была приписка:

«Херсонес. Пять часов утра».

Я вышел. Сердце у меня оборвалось, в груди колотилась резкая боль. Я разбудил Хатидже.

— Хатидже,— сказал я глухо.— Винклер утонул.

Голос у меня осекся.

— Сегодня на рассвете...— добавил я шепотом.— Он купался в море у Херсонеса...

Я не мог пересилить себя, и душные слезы застлали глаза. Хатидже схватила мою руку, лицо ее закаменело, глаза были широко раскрыты, я увидел в них черный, остановившийся ужас.

ДНЕВНИК

Два дня я провел с Лавинским в Херсонесе. Вечером в первый день приехала Хатидже, но я услал ее обратно. На море разыгралась волна, и каждую минуту могло прибить труп Винклера. Несколько раз мы выезжали в море с рыбаками, волочили по дну сети, и меня угнетала явная глупость того, что мы делаем. Рыбаки говорили, что труп снесло подводным течением к маяку.

Видел Винклера в то утро только старый монах, сморщенный и красноглазый. Он рассказал, что Винклер пришел из города на рассвете. Прошел через сад к морю. Монашек полюбопытствовал, пошел за ним следом. Шла большая волна. Был он, по словам монаха, «не то нетрезвый, не то больной — с лица очень бледный». Он разделся и выплыл к скалам, лег на волнах, его подняло и ударило о скалу, потом подняло и ударило второй раз. Монашек побежал к братии, но было поздно. Монахи подобрали на берегу только платье.

— Одного не пойму,— шамкал сокрушенно монашек,— зачем его море держит, погода с тех пор все вот такая — крепкая, бьет и бьет...

На другой день упал мглистый штиль, потом неожиданно для лета напесло туман. Он стоял стеной у берега, моря не было видно даже в трех шагах, только что-то охало и шелестело на пляжах. Невнятно мычали сирены военных кораблей.

Я сидел у моря, бросал в туман камешки и думал — где Винклер? Почему он убил себя? Только теперь я начал понимать все, что случилось.

— Эх, Винклер, Винклер,— сказал я в туман.— Что угодно — самая подлая жизнь, в чахотке, чаде, каторге, без смеха, но не такая смерть.

Перед уходом из Херсонеса Лавинский неожиданно заказал панихиду. Ярко теплилась в моей руке тоненькая свеча, я мял ее и слушал старческие возгласы: «В месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Я слушал слова о светлых местах, где покоится Винклер, и думал, что велика была его печаль, неутоленная последним целованием.

Дома я до утра читал и перечитывал записки Винклера, оставшиеся на берегу вместе с платьем.

Он писал:

«У большинства людей тяжелые мертвые руки, а у нее они живут, плачут, ненавидят и любят.

Эти светлые дни рядом с ней, прохладные рассветы, ночи за бутылкой вина в думах о ней, жаркие ветры, россыпи звезд — все мелочи жизни: паруса, трамваи с нарядной толпой, смех детей и женщин, бронзовые лица моряков, книги, газеты, огни прожекторов, дожди в уснувших садах — все сверкает, точно вся жизнь оправлена в свет. Этим всем я обязан Хатидже, любящей другого. Она часто хмурит брови, когда думает о нем.

Вчера на Приморском бульваре была слышна музыка, и она по-детски зажмурила глаза, чтобы смахнуть слезы. Ей было стыдно, что Максимов ни слова не пишет.

Максимов мальчишка. Ему нужна мать, старший товарищ, иначе он натворит бед. Он бросается ко всему, как ночная моль на лампу, ходит по земле, как фокусник с дрессированной крысой. Он может любить сотни людей, несколько женщин сразу, и всегда искренне. Он мгновенно забывает вчерашний день. Он не любит «проклятых» вопросов. Но тянет к нему людей, а почему — не знаю.

Я думал о том, может ли она полюбить меня. Нет. Максимов сильнее. Он бывает порою суров, упрям, молчалив и застенчив, но есть в нем что-то редкое.

Он поэт. У него сложный подход к жизни. Я люблю его. Он и Хатидже — нераздельны. Они созданы друг для друга.

Матросская слободка. Дом Кондратьевой. Серый, с желтой вывеской. Я выследил девушку. Это порок, рожденный самой чистой любовью. Я боюсь думать, что это возможно с Хатидже. Нужно великое очищение, нужна мужская девственность.

Весь день проспал тяжелым пьяным сном. Спился целый мир линий и красок, какие-то нездешние вечера. Потом все сны задушила тоска. Я проснулся.

Со дня приезда Максимова ее не видел. Сегодня первый раз. Она светится радостью. Я был спокоен, шутил, а в мозгу билась каждая жилка. Один исход — разбить себе о камни голову.

Губы потрескались. Я слышал, как ржавым ножом соскабливали ржавчину с гвоздя. Это вполне соответствует моему настроению. Я стал идиотом.

Разве в той жизни, о которой пишут Золя, Достоевский, Успенский, могла быть Хатидже? Нет, тысячу раз нет. Значит, они врали.

Уйти нельзя. Оставаться здесь — невыразимо тягостно. Хотел сказать Максимову. Когда не пьян — я боюсь, когда пьян — я не скажу того, что нужно. Затея неудачная.

Я пережил страшную ночь. Три раза я вскакивал с диким криком, и мне казалось, что вот-вот у меня разорвется сердце.

К утру пришел мой сосед моряк и спросил меня, что со мной. «У меня случился маленький нарыв в сердечной сумке»,— ответил я ему. Он с сомнением посмотрел на меня и сказал, что надо бы обратиться к врачу.

Он предложил мне папиросу, поговорил и ушел.

У меня есть прекрасный врач, врач единственный — море. Великая соленая чаша, в которой я захлебнусь, как ребенок.

Я не увижу ее больше. Нужно это сделать так, чтобы знал только он один. Я боюсь, что раньше времени спячу с ума. Такой конец — самый бесславный и жалкий. Я не могу вынести мысли, что она увидит меня после смерти. В ее памяти я должен остаться живым, спокойным и чистым.

Если бы она пришла ко мне, обняла мои плечи, поцеловала глаза, выпила мои скупые слезы и сказала о том, что жизнь хороша, даже с ее неразделенной и неутоленной любовью,— я, может быть, остался бы.

Максимов, ты будешь читать это. Она не должна ничего знать,— слышишь? Это наше с тобой дело. Поверь, что душою я чист и люблю ее невыразимо, больше жизни, больше себя самого.

Прощай. Как бы мне хотелось выплакаться, чтобы растаяло в груди то железное ядро, которое сжало мне глотку. Как мне хотелось прийти к тебе и все рассказать. Может быть, ты нашел бы простой выход; может быть, я мог бы остаться жить. Я не знаю. Мне очень тяжело. У меня от горечи, от тоски, от томительных мыслей разрывается сердце».

Сегодня, сидя со мной в небольшом саду около дома, Хатидже закрыла книгу и сказала:

— Ты знаешь, что он утонул около тех камней, куда мы как-то выезжали на шлюпке. Ведь он был прекрасный пловец.

Она замолчала.

— Последние дни он так томился! Были дни, когда он метался, как подстреленный зверь, пил запоем. Как-то я его спросила — что с пим. Ты зпаешь, что он мне ответил? «Вы не должны были бы знать об этом. Я болен. У меня тяжелая наследственность. У моего отца был прогрессивный паралич». Он лгал. Я сказала ему об этом. «Если это не так, то тем хуже для меня»,— ответил он. Несколько дней он пытался смешать краски так, чтобы получился цвет расплавленного золота. Ему это не удавалось, и он приходил в неистовство. Порвал несколько начатых эскизов и бросил писать. «Лучше тех красок, которые мне дает бутылка, я в жизни не видел и никогда не увижу»,— несколько раз говорил он.

— Надо перечесть Шелли,— сказал я Хатидже.— Это — его любимый поэт. И он так же, как Шелли, утонул в море.

— Шелли не утонул,— возразила мне Хатидже, и вдруг странная тревога зазвучала в ее голосе.— Он покончил с собой!

ГОРЯЧИЕ ПОЛУДНИ

В июне из Москвы приехал Серединский. Из Севастополя он ехал в «свое имение» — клочок земли с хибаркой на рыбачьей косе, к северу от Евпатории, около Ак-Мечети. Он рассказывал, что там много солнца, моря и песка, и звал нас с собой. Мы провели вместе несколько дней, потом решили ехать к Серединскому.

Стояли особенные дни — синие и до конца прозрачные, освеженные ветром, будто бы мир был создан только сегодня. Над водой лежали тонкие облака. Такие облака предвещают засуху, недели иссушающей жары. Вода голубела на отмелях, в ней качались красные днища барок. Стальные носы броненосцев полоскала прозрачная крепкая волна.

Я почернел, загар отливал кофейным блеском, брови выгорели, как солома.

Память о Винклере растворялась в солнечных днях. Его образ стал новым, суровым и светлым.

Я долго не мог угадать — в чем была особенность этих дней в Севастополе. Жизнь в легком их шелесте наполняла душу еще не бывшим покоем, ощущением свежести, печали и одновременно силы.

Каждое утро мы втроем шли в купальни. После ночи вода была холодна, качалась стеклянными буграми, по дну бегали крабы, путались водоросли, полотнища флагов рвались под ветром, горячим и синим до боли. В пене, как розовый аравийский мыс, стояла Константиновская батарея.

Я отплывал далеко от берега, упругая вода ходила подо мной, я ложился на спину и пел несвязные чьи-то стихи. Часто я подплывал к пароходам. От них тянуло запахом масла и нагретой краски. Я качался на воде, прошитой слоистыми зелеными лучами, глядел на черную корму и ржавый громадный руль. Как стаи чертенят, ныряли за копейками черномазые мальчишки. Однажды ча-

хоточная девушка бросила мне полтинник и крикнула: «Ловите!» Я нырнул и поймал в воде медленно тонувшую монету. Когда я выплыл, она перегнулась через борт и смотрела на меня.

— Я боялась, что он утонет,— сказала она своему соседу, толстому юноше в пенсне.

Я изловчился, бросил полтинник и попал юноше в лицо.

Пенсне упало и разбилось. Мальчишки завыли от восторга, зашлепали по воде руками, пароход загудел, матросы начали гонять нас линьками. Сотни серебряных, как булавки, маленьких рыбок фиринок рвали в зеленой воде хлебные крошки.

Я поплыл к Серединскому. Между нами, сверкнув на солнце черной тушей, перевернулся дельфин.

Я видел, как далеко плыла Хатидже. Ее смуглые руки медленно и спокойно ложились на волну. И вдруг ярко блеснул синим огнем камень в ее кольце. Шумело море, хлопая суровыми парусами проходившей мимо барки.

Мы вышли и долго лежали на солнце. Я читал желтенькую книжечку «Универсальной библиотеки» Анри де Ренье, читал медленно, часто откладывал ее и втягивал в себя острый запах рассола.

Часто после купанья мы заходили в темное, пустое кафе, и мрачный хозяин-грек подавал нам в чашечках кофе со сдобными булочками. Моряки в белом, с золотыми кортиками, с крепкими лицами, улыбаясь, оглядывались на Хатидже.

Сквозь жалюзи в комнату врывались тонкие стрелы солнца, когда мне принесли письмо от Наташи.

«Больше месяца от вас нет ни слова. Неужели вы хотите, чтобы, кроме нашего «обручения», у меня не осталось ни одного воспоминания о вас?

Я узнала из письма Серединского, что утонул ваш друг, художник Винклер. Из этого же письма я узнала, что в Севастополе вы загорели, сильно возмужали, ваши дни проходят празднично и свободно. Я узнала, что Хатидже «необыкновенно изящная девушка, с волосами цвета темного золота».

Напишите мне несколько слов. Если бы вы знали, как одиноки и бессонны московские ночи, когда духота кутает город ватным одеялом. Несколько раз я ездила с братом

на лодке в Нескучный сад, и вчера мы даже провели ночь в том же месте, где вы прятались от сторожей. Там я лежала на траве, в старых липах, думала о вас всю ночь напролет до рассвета. Только любовь может диктовать такие сумасбродные вещи — проводить ночи в Нескучном саду. Утром мы возвращаемся в город. Брат молча гребет, и лицо у него становится грустным и задумчивым. Иногда он скажет несколько слов о вас, всегда очень хороших. Там, в Нескучном, я иногда плачу. Я долго думала — написать ли вам об этом. Но так глухо и тяжело бьется сердце, что я не могу не сказать вам этого.

Я приеду в Евпаторию в конце июня. Напишите мне, где вы будете, я хочу увидеть вас около моря».

Я сказал об этом письме Хатидже.

— Напиши, чтобы она приехала. Я не буду спокойна, пока ты не напишешь ей. Любить тебя — большое испытание. Громадное испытание, но я уже перенесла его.

В порту два раза оглушительно прокричал пароход. Пора было ехать. Под окном раздался условный свист Серединского.

— Пойдем,— сказала Хатидже.— Значит, так?

— Так,— ответил я, притянул ее к себе и поцеловал в глаза.

РЫБАЧИЙ ПОСЕЛОК

Утром отвалил от пристани, зарываясь носом в волну, небольшой катер «Гурзуф». Мы стояли на палубе.

Плакали дети, гортанно кричали татары, разносчики перебрасывали возле нас апельсины, зеркальными бликами ходило по морю солнце. На пристани неподвижно сидели рыболовы, и серебрилась вода на сером, источенном ветром граните.

«Гурзуф» оглушительно прокричал и, валясь на борта, обогнул Константиновскую батарею. Открылись берега в садах и пламени летнего неба. Хатидже бросила в море серебряную монету, и тотчас же около носа парохода понеслись вперегонки мокрые на солнце дельфины. Запутался в тенте теплый ветер, налетевший с юга.

Мы долго смеялись из-за каждого пустяка. Грек-капитан в грязной куртке курил самодельную папиросу и зор-

ко смотрел на берег. Ветер обвевал белые платья женщин, обнажал стройные ноги.

«Гурзуф» смело и упорно нырял, и пена шумела под кормой, разливая озера замысловатых кружев.

В небольшом доме Серединского для каждого нашлась комната. Обедали на балкончике. В окна лился синий свет, и ветер безнаказанно гулял по комнатам. Рыбачий поселок казался мертвым. За окнами лениво бродил по дачам татарин — продавец фруктов, предлагая свой товар.

Далеко на горизонте Чатыр-Даг, видный с севера, стоял, как золотой слиток, едва тронутый чернью.

— Идите чай пить! — крикнул нам снизу Серединский.— На днях пойдем на Чатыр-Даг. Я был у Ахмета: он подвезет нас до перевала.

Чай мы пили на прохладной каменной террасе. На море белел косой латинский парус. Около изгороди стоял маленький ишачок Оська, хлопал серыми пушистыми ушами и переступал с ноги на ногу. Увидев Хатидже, он подошел к ней, уткнул влажную морду в ее колени, потом восторженно завопил, прося хлеба.

Сосед Серединского, дед Спиридон, седой и шумливый старик с коричневым лицом, пьяница и балагур, принес бутылку собственного вина. Весь день он возился в винограднике, где ему помогали две девушки-татарки. По вечерам они бегали к Хатидже с черного хода — просили погадать по руке и тихо, чтобы не услышал дядька Спиридон, звали ее, бросая в окно камешки:

— Хатидже, ханым Хатидже!

Потом стали приходить старухи татарки, высохшие и безобразные, как смерть. Они приводили с собой переводчиц-внучек в шитых золотом шапочках. В Хатидже они чувствовали что-то свое, учили ее татарским словам. Старухи благоговейно слушали, что говорила им Хатидже, и только изредка вскрикивали от радости или от огорчения. Меня с Серединским на время изгоняли с верхнего этажа, и мы уходили в сад или на берег пить кофе.

Татарки приносили Хатидже абрикосы, персики, груши. Раз вечером кто-то бросил ей в окно шарф с черными цветами.

Однажды нас всех пригласили на татарскую свадьбу. В белом доме с низенькими цветистыми диванами по стенам на мужской половине было шумно и накурено. Сере-

динский пел свадебные песни. Выпили много молодого вина. Хозяин подарил нам старинный ятаган с золотой полустертой арабской надписью.

Потом мы, громко перекрикиваясь и покачиваясь, ездили на пароконном извозчике вокруг базара с отцом и братом невесты. На передней скамейке сидели два бледных, испуганных еврея-музыканта и торопливо играли бравурные марши. Встречные татары скалили зубы и подносили ладонь ко лбу и к груди, приезжие русские смотрели нам вслед с радостным изумлением.

На белой хате Спиридона было размашисто во всю стену написано черной краской: *«Vive la vie et la mer!»* [1]

— Это что у тебя? — спросил Серединский.

— Фамилие мое по-французски. Тут осенью один человек приехал из Одессы, с нас всех портреты писал. Так это он. «Дай, говорит, Спиридон, я на твоей бандуре фамилие твое напишу по-французски, будет твоя бандура заместо маяка, моряки на нее определяться станут».— «Пиши, кажу, пес с тобой». Хотел еще хату всю квитками расписать, да жена не дала. «И так, говорит, испоганил, незна що написано, может, это, говорит, французские матюки». Вы по-французски грамотный?

— Грамотный.

— А прочитайте.

— Спиридон Карпович Ярошенко,— прочел Серединский.

— Ну, значит, правильный человек.

А рыбаки пугали деда:

— Вывдимер написано у тебя. Выходит, что в Володимера перекрестил тебя грек, перевел в свою французскую веру.

— Да он, пиндос, кефалья душа, по глазам было видать, что листригон. Янаки его фамилия.

Наконец, третьи утверждали, что неведомый художник — сын очаковского булочника — приезжал на косу спасаться от воинской повинности.

Как-то на берегу я ловил на самоловы бычков, рядом лежала Хатидже и сидел дед Спиридон. Он чесал грудь и развивал тему о солнечных ваннах.

— Сраму в этом нет никакого, все богом сотворены, чего же его стыдиться. Солнце с человека лишний жир

---

[1] Да здравствует жизнь и море! *(фр.)*

вытапливает. А это что! Был я матросом второй статьи на «Иерусалиме», плавали мы на самый Дальний Восток, так там, в Азии, ходят, можно сказать, начисто голые и не срамятся. Привычка сказывается у людей. Народ все ровный, думаю — от воздуха это.

Я вспомнил, что Жучок мне тоже рассказывал про «Иерусалим».

— Дед, а на «Иерусалиме» не было с тобой Петра Жученко?

— Жучка? Да как же не было. Товарищ, можно сказать, вместе бедовали.

Пошли расспросы.

— Жучок! — кричал дед Спиридон.— Божий человек. Было у него дело с обезьяной. Купил он ее в Сингапуре. Не совсем она обезьяна, зверек такой, вроде кошки, умный, стерва, хвост, как у лисы. Цикавый зверек, всюду нос ткнет. У капитана с каюты сигару возьмет, принесет до матросов, положит, радуется. То на мачте сидит, с флагом играет, то у офицеров с карманов платки повытягивает и крутится по палубе, как одурелый. Пришли в Одессу. Дело было к зиме, а в Одессе снег, ветер, смотреть скучно. Зверек и затих. Сидит на планшире, трусится, глядит на снег, а сам плачет.

Потом зачал кашлять. Забился в каюту к механику, к отоплению, сидит и смотрит так, что капитан как-то зашел и говорит: «Эх, брат, ежели бы сейчас рейс в Сингапур, вот была бы радость. Чахотка у него, говорит, не может он пакости этой выносить».

А ветер зудит и зудит. Зверек потом и у отопления замерз, залез Жучку за пазуху, потрусился сутки, поплакал и помер. Жучок убивался, как по родному сыну, да и всем жалко было.

Пошли вторым рейсом в Сингапур, однако капитан запретил зверей покупать. «Хватит с нас и одного, говорит. И тот всю душу вымотал. Что вы, говорит, из животной делаете себе лялькy». Так и ходили без обезьяны. Был только старый петух Трубач, да и тот подох в Красном море — сомлел от жары.

Дни на косе шли под неторопливые рассказы Спиридона. Он научил Хатидже вязать сети. Вязала она вместе со Спиридоном и слушала часами его болтовню.

— Светлая женщина сестрица твоя,— сказал мне както Спиридон.— Справная женщипа, красавица.

— Угадал старик,— сказала мне Хатидже.— Мы живем как брат и сестра. Ты должен полюбить другую. Когда я увидела тебя в кабачке,— помнишь? — у меня потемнело в глазах, а потом как-то все переменилось. Я стала совсем другой. Это у меня после Винклера. Ты ничего мне не рассказал, но я все знаю. Будто он умер и взял меня прежнюю. Осталась только скучная девушка, и ты теперь не должен меня любить.

— Все проходит,— глупо сказал я, растерявшись.— Винклер умер, потому что у него хватило сил только на двадцать пять лет. Если бы не ты, что-нибудь другое свихнуло бы его, какой-нибудь пустяк, случай. Как ты узнала об этом?

— Из его записок. Ты забыл их в книге Анри де Ренье. Да,— тихо сказала она.— Да, но зачем же он ничего не сказал мне, как он смел не сказать, если я ему была так близка. Как я сама пе поняла?

— Не знаю, как ты,— ответил я,— но у меня каждый день замирает сердце от мысли, как хорошо жить.

— У меня это тоже пройдет. Дай мне подумать еще день-два. Мне ведь так хорошо, я вся почернела от солнца, здесь море страшно крепкое. Смотри, пароход.

Прибежал Серединский. Пришел Спиридон. В голубизне, где темный воздух дрожал, как флаг от ветра, медленно шел оранжевый пароход с белой трубой.

— Иностранец,— сказал Спиридон.— Со Скадовска подается до Константинополя.

Я повернулся, и надпись снова ударила в глаза: *«Vive la vie et la mer!»* Я показал на нее Хатидже.

— Хорошая у тебя фамилия, дед,— сказала она Спиридону.— Правильная фамилия.

Утром из Евпатории приехал на лошадях коротенький сизый грек, дядя Харито — скупщик рыбы. До полудня он торговался с рыбаками на берегу насчет будущего осеннего улова. Шел шумный подсчет долгов, много кричали о баламуте, султанке и кефали, о том, что нигде не достанешь хороших сетей, что великим постом Харито надул народ на рыбе, а теперь смотрит людям в лицо бесстыжими глазами.

— Чего гавкаешь? — кричал Харито самому горластому рыбаку Андрюхе.— Чего гавкаешь в зубы, я цену сам

знаю,— и он сердито вертел желтыми белками.— Спасибо, дурень нашелся у вас покупать. Что ты мне суешь — кефаль, кефаль. Ваша кефаль — никуда перед кинбурнской.

— Друг! — кричал вдохновенно Андрюха и бил себя пятерней в грудь.— Друг, надо же иметь на это дело понятие. Да разве там кефаль, на Кинбурне, спроси всех береговых! Там же худая тарань, самый низкий товар, верьте слову!

К полудню договорились и затихли.

— Третий год сюда езжу, и всегда скандал с этим дядей Харито,— сказал Серединский.— Главное, без толку. Ведь он для отвода глаз здесь мотается. Какие теперь рыбные дела, самое глухое время. Он контрабандист, у него в разных местах свои люди.

Было душно. Море отливало алюминием. Казалось, над горизонтом оно кипит — там стояла седая мгла. Солнце палило нещадно. Собаки лежали в тени, высунув языки, мокрые бока у них ходили ходуном. Вода была налита у берегов, как стекло,— ни одного всплеска.

После чая пришел с почты запыленный телеграфист и принес мне телеграмму:

«Субботу буду Ялте, гостиница «Мисхор». Если можете, приезжайте. *Наташа*».

— Какой у нас сегодня день? — спросил я Серединского.

— Суббота.

— Мне нужно поехать в Ялту. Завтра днем я вернусь.

Серединский сделал недовольное лицо.

— Какие у вас в Ялте дела? — сказал он сердито.— Не люблю я этих деловых телеграмм. Зачем вам ехать? Разве нельзя отложить? Пропадет наша поездка на Чатыр-Даг. Плюньте.

— Нельзя,— ответил я твердо и взглянул на Хатидже.— У меня там срочное дело, связанное с изданием книги. Вы с Хатидже поезжайте на Чатыр-Даг, а я приеду в понедельник утром через Алушту и найду вас в хижине Горного клуба. Идет?

— Ну ладно, черт с вами,— неохотно согласился Серединский.

— Идет! — сказала Хатидже беззаботно и внимательно посмотрела на меня.

Я порвал телеграмму и пошел в свою комнату.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МОНОЛОГ

Катер, накренившись на правый борт, быстро шел, гулко работая винтом. На пристани были еще видны Хатидже и высокий, как жердь, Серединский.

Я закурил и сел в тени под тентом, но тотчас же встал. Я был неспокоен. Около Ак-Мечети к борту подошла шлюпка с пассажирами, катер застопорил машину, и его стало размеренно качать на отлогих волнах. На юге засверкала первая, бледная, как пепел, звезда.

«Странная у меня жизнь»,— подумал я, стоя около машины и держась за поручни. Пришел матрос и поставил на бортах красный и зеленый огни.

— Хатидже! — позвал я, как тогда, на мосту, позвал в серую мглу повечерья, в ночь, в мглистые степи. Ради нее, дрожащей от малейшей несправедливости, от каждого незаметного укола жизни, я буду ласков с Наташей.— Хатидже! — спова позвал я и подумал о том, что сейчас она, должно быть, сидит при свечах на террасе, о лицо ее бьются ночные бабочки, и глаза у нее глубокие, грустные. Серединский шатается на набережной или болтает с Хатидже. Дядька Спиридон сидит на базаре в кофейне и играет в кости со своими приятелями, которых Серединский почему-то зовет «голубиными охотниками». Над морем уже ночная тишина, а в саду звенят, как рассыпанный бисер, цикады.

В густой тьме вспыхнули и разорвались ожерельем по черной воде огни Ялты. Катер протяжно засвистел. Вспыхнул и тотчас же погас свет Айтодорского маяка. Потом я спустился в маленькую тесную каюту, по которой первными бликами бегал свет керосиновой лампы, и посмотрел на себя в зеркало. Около него спал гимназист с бледным измученным лицом.

Когда я поднялся на палубу, катер качался на темной воде и медленно подтягивался к набережной. Из трубы вырывались редкие крупные искры. Было слышно, как шумел город.

Я сошел на берег и зорко осмотрел нарядную толпу на пристани. Наташи не было.

Я медленно пошел к городу. От наваленных на пристани бочек шел густой запах смолы. Я остановился около лотка с китайским фонарем и купил папирос.

— Ну, вот и вы,— сказал кто-то позади меня.

Я обернулся и в желтоватом свете фонаря увидел Наташу.

— Вы изменились,— сказала она и с изумлением взглянула на меня.— Загорели, словно выросли.

Мы медленно пошли к городу.

— Милый,— едва слышно прошептала она,— как я благодарна вам за то, что вы здесь. Скажите правду, вы не сердитесь на меня? Вы не сердитесь? — снова спросила Наташа и близко наклонилась ко мне. Ее волосы щекотали мою щеку, ее дыхание обжигало мои губы.

— Как я люблю,— глухо сказала она.— Хатидже ведь все знает, я уверена в этом.

Я остановился. Мы облокотились о парапет. Внизу сонно набегало море. Я взял ее руку, прижал тоненькие пальцы к губам.

— Зачем вы приехали? Я не буду говорить вам ни слова о любви. Хорошо?

— Хорошо,— громко сказала Наташа и больно сжала мою руку.— Хорошо. Вы будете молчать. Но я буду говорить о любви. Мне ведь можно.

До позднего вечера мы просидели на набережной. Наташа была как-то особенно возбуждена, нервна и временами задумчива.

Когда я провожал ее, она спросила меня дрогнувшим голосом:

— Можно мне вас проводить до Алушты? — и посмотрела на меня виноватыми глазами.

— Едем,— ответил я просто.— Завтра в семь часов утра отходит катер. Я буду ждать на молу.

В темноте мы попрощались. Над морем медленно взошел поздний месяц. Мои шаги отдавались среди сонных садов.

Когда начало светать, я быстро встал, оделся и подошел к окну. Густое море еще спало. На востоке, бросая на воду широкие блики, небо горело алой, еще бессветной зарей.

Я прошел в купальню. Вода была теплее воздуха, ходили в ней стаями бычки и серебряные фиринки. Я вздрагивал от холода. Первые червонные лучи солнца легким теплом упали на меня.

Я напился чаю в трактире около порта и пошел к молу. На корме катера неподвижно висел флаг. Матрос чистил медные поручни на мостике. На красную бочку, брошен-

ную на якорь среди гавани, садились чайки. Топкие розовые облака подымались над горами.

Я сел на чугунный причал. Было только шесть часов.

Незадолго до отхода катера пришла Наташа.

Море дрожало тысячами солнечных бликов, катер был почти пуст. Ехали несколько татар, одинокая дама с подведенными глазами и седоусый плотный моряк. Быстро уходила Ялта.

— Я поверила в то, что жизнь — фантастическая вещь,— сказала Наташа.— Вспомните вокзал в Архангельске, Торбьерсена с черной трубкой в зубах, ваши рассказы в Братовщине. Когда я впервые поверила в то, что мы живем в каком-то заманчивом круге неожиданных встреч, событий, переломов, душевных кризисов и перерождений, я почувствовала, какая тяжесть упала с моей души. Я попала в ваш водоворот, и теперь каждый день я жду неожиданностей. Может быть, завтра вы прогоните меня; или, может быть, завтра я стану прежней Наташей и буду издеваться над вами, как над своим рабом. Вы понимаете это? Жизнь потеряла свою реальность. Как гнилые звенья, выпали ее законы, и сила каждого дня владеет мною, бросает меня из одной крайности в другую. То же и с вами. Я теперь уже ничего не боюсь. Я могу теперь прийти с вами на Чатыр-Даг и поцеловать руки у Хатидже. Я могу ударить вас, крикнуть вам какое-нибудь страшное оскорбление.

Ее резко очерченные губы вздрогнули.

— Если мне попадется ваша рукопись «Жизнь», я сожгу ее. Вы слышите? Спрячьте ее получше!

— Зачем? — спросил я и в упор посмотрел в ее вызывающие глаза.

— Вы напишете другую. Обо мне,— повторила она громким шепотом.

— Смотрите,— она отстегнула жемчужную брошь на белом шелковом платье. Под тонкой ткапью вздрагивала смуглая девичья грудь.— Когда я тоскую о вас, я тогда хороша. Я люблю себя. И бешусь от сознания, что вы пе видите меня в эти минуты.

Она быстро встала и бросила жемчужную брошь в море.

— Вашему морю,— сказала опа, не оглядываясь.— Вашему родному Черному морю.

Она обернулась ко мне. Зайчики от волн играли на ее плаще.

— Ну что? — спросила она и с тревогой и вызовом посмотрела на меня.

— Если хотите,— ответил я медленно,— я напишу для вас пьесу, и там будет монолог в этом роде.

Я закурил и облокотился на борт. Мы долго молчали.

— Да, значит, так,— тихо, словно про себя, сказала Наташа и провела рукой по глазам.

В Алуште, когда мы сходили на берег, мне показалось, что ее слегка укачало.

Пока я посылал за лошадьми, мы выпили кофе в дощатой хибарке на набережной. За кофе Наташа вздрогнула всем телом.

— Я как будто впервые увидела вас,— сказала опа, опуская густую белую вуаль.

У дверей ждал извозчик на паре поджарых крымских лошадей.

Около перевала нас застали сумерки. Быстро падала ночь. Пахло горными травами, хвоей, тихо фыркали лошади.

Извозчик обернулся ко мне и сказал:

— Утром буду ждать у перевала. Я коней тут поставлю. Ладно?

— Ладно.

— Тут вода есть,— напоить коней можно. Сладкая вода.

— Кушать не хочешь? — снова спросил он.— Брынза есть, хлеб есть, вина две бутылки есть.

— Там, на перевале,— ответил я.

Становилось холодно. Наташа закуталась в плащ. Легкий ветер шумел в соснах.

Над Чатыр-Дагом тяжело лежала ночь, подернутая серо-голубым туманом. Ярко разгорались близкие звезды, и слышен был далекий, непрестанный скрип арбы.

Извозчик долго объяснял нам, как найти хижину Горного клуба, чертил кнутовищем по земле, брал меня и Наташу за руку и с жаром показывал пальцем в вечернюю мглу.

— Собьешься с дороги — тут пастухов много. Покричи — отзовутся. Будешь идти — бери правее. Смотри на землю — есть провалы. Кругом кусты, трава — не заметишь.

Наташа выпила вина, есть она не хотела.

— Максимов, вот что,— сказала она после долгого молчания прерывающимся голосом.— Я не пойду туда. Я вернусь. Я не могу идти. Я совсем больна, разве вы не видите?

— Наташа,— я поднял ее голову и посмотрел в глаза.— Все равно я не пущу вас. Из-за этой глупости на пароходе, из-за этих нелепых слов вы дрожите, вас лихорадит, вы сама не своя.

Она сдерживала слезы.

— Зачем же там... на пароходе? Это жжет меня, жжет вот здесь, в груди. Я ведь не хотела вам сказать ничего злого. Ведь вы знаете... Ради вас я коверкаю всю свою жизнь...

Я откинул ее голову и поцеловал в глаза, потом долго гладил волосы. Она прижалась ко мне, положила голову на колени и судорожно вздыхала.

— Значит, это неправда,— тихо сказала она, посмотрела на меня искоса и застенчиво улыбнулась.— Да, неправда? — Она засмеялась.— Ну хорошо, пойдем. Я только сбегаю к ключу и ополосну глаза.

Мы, тихо переговариваясь, пошли. Впереди белело первое плато. Потом начался крутой, опасный ночью подъем. Мы вспугивали каких-то горных птиц, и их крик, тревожный и дикий, тонул в медлительной горной тишине. Наташа шла позади меня. Кое-где я останавливался, подавал ей руку, и она карабкалась на выступы. Вековая тишина стояла под низким небом, и было слышно только, как осыпаются под ногами камни.

— Опасно идти в такую темь,— сказал я, медленно обходя провал.— Как бы не сорваться.

— Не сорвемся! Вам не холодно?

— Немного. Здесь уже разреженный воздух. Вы слышите, как пахнет травами?

— Оге-эй! — протяжно крикнул я, и стократное эхо внезапно покатилось по провалам и ущельям.

— Как жутко,— прошептала Наташа.

Мы были уже на первом плато. На краю обрыва мы сели. Наташа взяла мою руку и спрятала у себя на груди. Моя рука тихо вздрагивала от ее дыхания.

— Вы забудете меня, Наташа,— сказал я.— А я — я ничего не понимаю. Все больше и больше я думаю о том,

что ломаю себя, жгу с двух концов. Может быть, уже скоро придет тот час, когда я приду к вам, скажу о любви и буду просить ее, как милостыню, и вы прогоните меня.

— А сейчас? — спросила Наташа.

— Сейчас мне страшно. Меня тянет броситься в эту жизнь, не рассуждая, ни о чем не думая, броситься в любовь, как вот в эту пропасть. Когда я вижу вас, я люблю и вместе с тем стараюсь убить в себе эту мучительную, берущую всю мою волю любовь. Но Хатидже...— Я замолчал.

— Я — сумасшедший,— сказал я резко.— Я надсмеялся над всеми человеческими законами.

— Страшно? — вкрадчиво спросила Наташа и обняла мои плечи.— Смотрите, какая ночь в горах. Вы слышите, как пахнет полынь? И кто-то бросает на весы мою любовь и любовь другой. И моя чаша весов все опускается, опускается.

Она встала на колени, сбросила плащ и расстегнула смутно белевшее платье.

— Поцелуйте ее,— властно сказала она и коснулась груди концами пальцев.

Я целовал ее тело. Далеко в горах гулко и мощно сорвался обвал.

— Теперь вы перестанете мучиться. Теперь вы — мой. О, теперь вы не уйдете от меня, потому что от любви смешно и глупо бежать.

Я чувствовал усталость и свежесть.

— Оге-эй! — снова крикнул я протяжно и прислушался. Медленно угасая, прокричало эхо на Бабуганяйле.

Мы осторожно шли к хижине Горного клуба. Наташа держала меня за руку.

За густыми зарослями колючих кустов был слышен легкий звон. Я крикнул. Кто-то хрипло отозвался. Это были пастухи. Старый татарин отогнал мохнатых овчарок и долго на ломаном языке объяснял нам, как пройти к хижине Горного клуба. Молча, с изумлением посмотрел на Наташу и приложил ладонь ко лбу и к груди. Сбившись в темную груду, спала отара.

Когда мы вышли к хижине Горного клуба, была уже поздняя ночь. Я постучал в стекло.

— Кто там? — спросил за стеной Серединский.

— Я, Максимов,— откройте, надо согреть мою спутницу.

— Вы с кем?

— Увидите.

Furthermore Серединский долго вставал, что-то уронил, потом тихо отодвинул засов. Пахнуло теплом. В темноте он не узнал Наташу.

— Не кричите от неожиданности,— сказал я ему.— Это — Наташа.

Серединский опешил.

— Наташа, дорогая, сумасшедшая, ночью на Чатыр-Даге с этим шалопаем. Как вы не сорвались в пропасть? Когда вы приехали? Мы думали, что он уже не приедет. Завтра решили возвращаться.

— Где Хатидже? — спросил я.

— Спит. Не шумите. Она устала, горный воздух очень расслабляет. Ну, как в Москве?

— Потом наговоритесь. Надо вскипятить чай.

Мы тихо вошли в низкую комнату. От чугунной печки шел слабый красноватый свет. Пахло можжевельником. У стены на полу спала Хатидже. Лицо у нее было по-детски чисто и спокойно.

Наташа, кутаясь в плащ, села у очага на деревянную скамейку и долго, не слыша вопросов Серединского, смотрела на Хатидже. Потом она позвала меня.

Хатидже вдруг поднялась и стала на колени. Широкая турецкая шаль упала с ее плеч.

— Кто это? — спросила она.— Ты пришел? Я тебя так ждала. Ты, наверное, очень озяб.

— Хатидже,— сказал я.— Я не один. Со мной Наташа.

Хатидже быстро встала.

— Простите, тут так темно,— сказала она, поправляя волосы.— Почему вы не разбудили меня?

Хатидже подошла к Наташе и крепко пожала ее руку.

— У вас ледяные руки. Серединский, дайте вина. Здесь очень холодные ночи, в горах.

Мы выпили по стакану вина. Серединский вскипятил чайник на очаге. Мы пили чай с галетами. Наташа рассказывала о Москве. За запотевшими окнами дрожали звезды.

Потом мы легли на полу и в темноте, в смутном свете угасающих углей долго разговаривали. Хатидже укрыла Наташу своей шалью. Кричал сверчок, и снова в горах раскатисто сорвался обвал.

В туманный теплый день мы возвратились в рыбачий поселок.

— Как здесь чудесно,— сказала Наташа, не отпуская мою руку. Зайчики от воды загорелись в ее глазах.

— Что это?

— *«Vive la vie et la mer»,*— сказал Серединский.— Смотрите, Наталья Петровна.— Он показал на хату Спиридона.— Это вывеска наших мест. Правда, влипает в глаза? А это — дедушка наш, Спиридон Ярошенко, отставной боцман с клипера «Веста». Когда ты, дед, плавал на «Весте»?

— Еще до царя Александра Второго, в турецкую войну.

— Вот вам,— сказал Серединский,— мы окружены морем и простотой.

— Хорошо,— вздохнула Наташа.— От воздуха, что ли, слипаются глаза, или от полыни,— не знаю.

— Пойдемте,— взяла ее за руку Хатидже.— Пойдемте в дом, вы устали.

Хатидже увела Наташу к себе. Серединский накрывал на стол, я сидел со Спиридоном на ступеньках балкончика, и мы рассуждали о том, какие теперь пошли липовые шкипера-брандахлысты. Я плохо слушая Спиридона. Из комнаты Хатидже доносились голоса, плеск воды.

— Ты гляди на него,— говорил Спиридон и тыкал черным пальцем в белый с синим силуэт «Гурзуфа».— Ты гляди, куда у него нос задран. Шхуна не шхуна, бандура не бандура, одно слово — одесская работа, она под ветром закатывается, рыскливая собака. Под парусами на ней ходить немыслимо.

Из комнаты Хатидже долетали отдельные слова. Говорила Хатидже: «Знаю, конечно...»

Потом был слышен голос Наташи: «Значит, кончено... Понимаю, что страшно глупо... Больше мне не хотелось бы говорить... потом».

— И не надо,— сказала внятно Хатидже.— Разве может быть лучше? Пойдемте.

Они вышли. Мы сели за стол, Спиридон сел с нами.

Наташа смеялась больше всех. Смеялась нервно, слишком поспешно. Там все было решено, в комнате Хатидже. Я это знал теперь наверное. Хатидже была беззаботна. После смерти Винклера я первый раз видел ее такой. Серединский пел, рассказывал глупости, иногда кричал дико: «Эх, здорово!»

Один я был настороже. Казалось, все мы играем комедию и боимся посмотреть друг другу в лицо. Надо ре-

шить: или я остаюсь здесь, или завтра уезжаю с Наташей.

Но зачем? С Наташей жить нельзя. Месяц вместе — и потом конец. Есть люди, которые не выносят любви, похожей на часовой механизм, любви, что стучит ежедневно, размеренно и скоро надоедает. Через месяц ее уже надо заводить, потом пружина ослабевает, и заводить надо уже не раз в месяц, а каждый день. Нет, это страшно.

«К черту! — подумал я и раскрошил хлеб.— Довольно думать о том, чего решить нельзя. Обдумать — значит обойти по кругу, вернуться в то же место и начинать сначала. Пусть будет, что будет».

— Что с вами? — спросила Наташа.— Вы не сказали ни слова. И это здесь, в такое утро, когда глупеешь от солнца.

В это время на море лег двойной медленный гром.

— Эге,— сказал радостно Спиридон.— Эскадра на Тендре, боевая стрельба. Даст бог, постреляют, накличут дождик. Садочек совсем пропадает.

Весь день громыхала за горизонтом эскадра. Наташа уснула в качалке на полуслове.

— Устала,— сказала мне Хатидже.— Посмотри, так спят только очень счастливые люди.

Лицо Наташи побледнело. Она дышала ровно и спокойно. Длинные, загнутые, как у детей, ресницы темнили веки, губы были приоткрыты.

— Я полюбила ее,— сказала мне Хатидже и улыбнулась.— Не прячь глаза, я правда полюбила ее. Я знаю, что у тебя ничего не прошло, что ты думаешь только о ней. Теперь слушай. Я полюбила тебя еще давно, очень давно, раньше, чем мы встретились здесь, потом была твоя Москва, твои письма, недосказанность, смерть Винклера, и вот ты стал мне самым близким, самым нужным человеком. Вне тебя я не живу. Ты знаешь, я упрямая и ничего не делаю наполовину. Я полна забот и тревог о каждом твоем дне, я часто делаю хорошее людям только потому, что они любят тебя. Мне легче не жить, чем увидеть, как ты мучаешься.— Она отвернулась.— Я поняла, что у тебя в жизни будет много падений и подъемов, ты будешь еще много любить, мучиться: каждая любовь — это новое рождение себя,— но я всегда буду близка тебе, потому что у нас одна цель — твое творчество. Оно принадлежит всем. Все, что ты написал и напишешь, выше той боли, что ты

доставляешь мне. Я хочу, чтобы никто не мучился. Мое прошлое и будущее только в тебе. Теперь все ясно.

— Вот Наташа,— сказала она, и голос ее дрогнул.— Я смотрю на нее и на себя и думаю: мать и невеста. Мать и невеста...— повторила она и рассмеялась.— Обеим по двадцать четыре года. Но если ты бросишь писать, бросишь думать и расти как человек, я откажусь от тебя. Значит, так?

— Да. Мне стыдно. Ты так просто решаешь все, над чем я бьюсь очень долго.

— За один день я стала взрослой,— сказала Хатидже, и верхняя губа ее вздрогнула.— А теперь — довольно об этом.

Вечером мы сидели на берегу, на перевернутой шаланде.

— Помните вечер в Братовщине? — спросила Наташа.— Вы рассказали тогда об одной ночной встрече около Тараханкута.

Серединский вспомнил рассказ и тихо пропел:

И, расходясь сквозь сумерки и воды
В печальный путь, далеко от земли,
Мы поняли, что потеряли годы,
Что полюбить друг друга мы могли.

Низко горели звезды — одной ровной чертой. Они качались в прибое, тишина темнела над степью. Над водой она голубела, и Млечный Путь лежал, как белая арка в молчаливом море. В бухте был слышен осторожный плеск.

— Контрабанду сгружают,— прошептал Серединский.

— Сейчас уже полночь,— тихо сказала Хатидже.— Звезды в полночь замедляют свой бег, как говорит дед Спиридон. И слышно, как со сна вздыхают дельфины. Через пять часов вам уже уезжать.

Наташа нашла в темноте мою руку и сжала, как тогда в лесу во время горелок.

— Видите огни? — спросила она и коснулась дыханием моей щеки.— Видите четыре огня?

Я всмотрелся. Правда, огни.

— От Тендры идут к Севастополю. Должно быть, транспорт.

Огни долго мигали, потом утонули в море.

— А может быть, там человек, которого вы ждете всю жизнь? — спросил Серединский Хатидже.

— Нет, мы с ним на одном корабле. Наши огни не разойдутся.

Наташа засмеялась.

— Максимов, сознайтесь, что этого капитана не было, о котором вы рассказывали.

— Нет, был.

— Ну, не упрямьтесь. Если его не было, то тем лучше. Легче как-то, правда?

С берега дул бриз. Море изредка вздыхало во сне: прошумит по пескам, шум уйдет далеко на запад и восток — и снова тишина.

Мы вернулись в дом, согрели чай. Лица у всех при свече казались усталыми. Пламя свечи стояло неподвижно, за окном висела звездная тьма.

Хатидже долго смотрела на Наташу.

— Зачем вы уезжаете?

Наташа опустила лицо к столу, размешивала ложечкой сахар, неверный свет пробегал по ее рукам, опущенной голове, потом маленьким пламенем сверкнул в глазах.

— Хорошо с вами,— глухо сказала она.— Эта ночь — на всю жизнь.

По песку заскрипели тяжелые шаги. Среди бухты качался у самой воды желтый фонарь. Потом донеслось протяжно:

— Эй, на косе, давай шаланду!

Хатидже поцеловала Наташу. В темноте, смеясь и нащупывая борт, мы вошли в шаланду. Хатидже сказала:

— Я подожду вас здесь.

Отплыли, и ночь прильнула лицом к лицу. Потом вода почернела, в ней заплясал фонарь, запахло махоркой.

— Эй, на катере, приймить конец!

Поднялись на палубу, попрощались. Наташа поцеловала меня и Серединского, мне сказала шепотом:

— Теперь я еще отчаяннее люблю вас.

Глухо загудел мотор. На корме стояла Наташа. Ее закутало туманом.

Наташа что-то крикнула.

— Ничего не слышно! — закричал я, стоя на корме шаланды.

И тогда из морской темноты долетел ее заглушенный туманом голос:

— Скорее в Москву!

III. ВОЕННЫЕ БУДНИ

СТЕКЛЯННАЯ ОСЕНЬ

В половине июля в один из неподвижных знойных вечеров к нам прибежал рыбак Андрюха.

— Петр Андреич, война! — крикнул он, задыхаясь.— Слышите, голосят?

Мы прислушались. В домах и впрямь голосили рыбачки. Казалось, весь поселок наполнился неясным шумом, гулом, кашлем.

— Что ты мелешь?

— Урядник из Ак-Мечети приехал,— мобилизация!

Мы уже месяц не читали газет.

Весь вечер мы просидели у моря. Хатидже крепко держала меня за руку. Рыбаки не спали. Во всех домах горели огни, плакали дети, выли и лаяли в степь мохнатые встревоженные псы.

Сразу стало ясно, что жизнь скомкана, потеряны старые пути, и мы все — Хатидже, я, Наташа, Серединский — втянуты в один поток, имя которому — война и Россия.

Приковылял дед Спиридон, сел рядом и сказал:

— Так-то! Слыхали? Тараханкут затушили, значит, верно — война. На что только молодость вам дадена, зря теперь пропадет. Эх, а жили бы тут и жили. Нету людям покою, двадцать лет прожить не могут, чтобы крови не видать. Тьфу!

Ночь мы не спали, а утром уехали в Севастополь на ржавой паровой шаланде «Виктория», шедшей из Хорлов.

Дед Спиридон стоял на берегу без шапки, опирался трясущимися пальцами на палку, смотрел на нас не моргая, и по его щекам ползли слезы.

— До смерти буду вас ждать! — крикнул он разбитым сиплым голосом, когда мы отчалили на шлюпке.

В Севастополе мы попрощались с Хатидже и пересели на «Алексея»,— он шел в Одессу. Всю дорогу на «Виктории» Хатидже молчала, только перед тем как я вошел на залитый нечистотами, смятенный, голосящий пароход, она торопливо обняла меня.

Ночью подул холодный ветер. Мы забились в угол около жаркого, звенящего чугунными полами машинного отделения. Прошли мимо огни миноносца, и в сумрачном пепле потонули крымские берега.

— Сковырнулась жизнь,— сказал Серединский.

Лицо у него было помято и почернело от угольной пыли. Он поднял воротник пальто, втянул голову в плечи и долго, не мигая, смотрел, как за кормой тянется серый пенистый след.

— Куда мы, собственно, едем?

— В Москву.

— Ах да, в Москву. Конечно. Там ведь я должен являться. Мы едем через Одессу? — снова спросил он и пусто взглянул на меня.

— Да, я думаю.

Как сквозь сон помню душную Одессу, теплый свет на широких улицах, пыльную зелень акаций, неистовых газетчиков. Я пошел на Ланжерон попрощаться с морем. Желтый и дикий под закатным солнцем, горел северный берег залива.

Я долго смотрел на юг, где сумерки сеялись голубой небесной манной, туда, в сторону Крыма, где осталась Хатидже. Там — тишина. По асфальтовой аллее Александровского сада медленно проходили трамваи с потушенными огнями.

Через день мимо окон проплыл Киев в тумане, иглы небоскребов и тополей, слюдяной Днепр, песчаные мели и вербы.

— Скоро будем в России,— радостно сказал Серединский, стоя у окна.

Безлюдные раньше станции встречали нас воем баб, хрипом гармоник и гулом голосов. Ломились в вагоны мобилизованные. Пахло от них водкой, дегтем, дождями. В разговорах все чаще прорывалось короткое слово «война».

Ранним утром мы приехали в торжественную и взволнованную Москву. Необычайным военным оживлением были полны улицы, сновали ординарцы, на Тверской шумели толпы, по кольцу бульваров стояли двуколки, орудия, громыхали обозы, носились, ревя сиренами, военные автомобили.

По вечерам к Брестскому вокзалу мерно шли полки, и на площади у Триумфальных ворот, тускло освещенной фонарями, гремело протяжное «ура».

В Москве мы с Серединским поселились в Георгиевском переулке, на четвертом этаже. Из окон были видны Патриаршие пруды, розовые башни Кремля, сады в глубине московских дворов и золотеющие бульвары. Серединский был уже в форме прапорщика. Каждое утро он ездил на стрельбищное поле. Возвращался к вечеру запыленный, усталый.

Мы много говорили о войне, о Франции, о том, что стоит умереть ради Москвы и Парижа — двух вечных городов, двух родин.

Светились осенние дни, и на блеклой их голубизне золотилась листва опадавших лип. По вечерам в эту небывалую осень небо над Москвой сверкало купиной неяркого света, свежие ночи пахли листвой. Казалось, что весь город не спит, будто во всех домах шли приготовления к празднику. Я понял тогда, что великие несчастья ощущаются так же, как большие праздники.

Однажды мы с Серединским и Семеновым, поступившим в Союз городов, шли с Брестского вокзала по Грузинам в Кудрино. Семенов тревожился за Наташу — она застряла в Крыму. Около чугунной ограды Вдовьего дома Семенов остановился и вынул папиросу.

— Поднялась Россия,— сказал он, закуривая.— Что-то будет? Не верю я в это опьянение, не верю, что из крови и смерти родится прекрасное и кровью будет спасена культура. Мы подняли на плечи непосильную тяжесть и как бы не надорвались до смерти.

Ночью я проснулся от холода. За открытым окном горела белая звезда, грохотали запоздалые трамваи. Винный сок сочился из морозного сада.

Вспомнились слова Семенова. К чему это? К великой беде, как думал Семенов? Или к великим переменам? Глядя на спокойное созвездие, я долго слушал приглушенные гулы Москвы, и любовь к ней сжала мое сердце.

ПОЛЯ СРАЖЕНИЙ

Вскоре я уехал на фронт с летучим земским отрядом. Мы надолго застряли в Бресте.

«Я в Бресте,— писал я Хатидже.— Мы стоим на путях за городом. Падает снег, и впереди белым морем огня горит вокзал. Я пишу тебе в кавярне, где темно и пусто. Такая тихая ночь, что кажется, нет ни войны, ни прошлого, ни сегодняшнего дня. Я один. Мне трудно без тебя. В отряде много веселья и молодежи. В Москве много работал как санитар.

Здесь, среди солдат, длинных эшелонов, раненых и пленных, вблизи войны я начинаю понимать, как она тягостна. Я думаю о том, что в ста верстах отсюда лежат в глине, на загаженных полях наши орловские и курские мужики, люди со всей России, за спинами которых родная Москва, и стреляют в ночь и ветер, а там, за тысячу верст,— немцы, французы, бельгийцы, шотландцы, и за ними — Париж, Мюнхен, мертвый Брюгге. Я еще не понял этого, все это очень смутно, хотя мы и стараемся придать ему легкий и упрощенный смысл.

Завтра идем в Кельцы. Наш уполномоченный Козловский — поляк из шляхетской семьи. Он рассказывает невероятные истории, таращит глаза и клянется, что все это — правда. Сестры от него без ума. Сейчас он играет в банк на цифры со старшими санитарами.

Писать о том, что я передумал за эти дни, очень трудно. Не тревожься, скоро опять напишу. Привет морю. Я с ним прощался в Одессе».

Когда мы уходили из Бреста, над ржавыми полями шли снеговые тучи. Пахло мокрым кустарником и ветром, бороздившим лужи на дорогах.

Под Луковом поезд долго задержался на полустанке. Трещали шаги по гравию. В позлащенных дождями лесах громко падали крупные капли. Вспомнилась осень у моря, в сухом дыму, ветре и треске стручков желтой акации, осень в Москве, холодная и вяжущая, как антоновка.

А теперь — осень в польских полях. Дорожные распятья почернели от дождя. У каменной каплицы краснеют клены. Со стороны Бреста слышны тяжелые удары орудий — отзвуки пробной стрельбы.

К концу этого бесконечного дня мы проползли мимо Ивангорода. В окна вагонов взглянули зеленые верки крепости и многоводпая Висла с толпой ракит на берегах.

За мостом нависло небо. Поезд полз по обваленной, опутанной проволокой насыпи. Небольшими, залитыми водой окопами, как норами кротов, была изрыта до горизонта земля. Обугленные ракиты протягивали к дождливому небу черные исполинские руки. В воронках от снарядов плавали жестяные консервные коробки, в грязи валялись ржавые шрапнельные стаканы, обрывки синих шинелей, изогнутые штыки, ремни и медные гильзы. Опухшие одеревеневшие трупы лошадей подымали к небу все четыре ноги, как бы моля о пощаде.

Сизая темнота набегала с востока. На западе кровяной раной истлевал закат. На разрушенной станции в лесу еврейка-маркитантка в черной шали налила мне стакан жидкого чаю и шумно вздохнула.

— Ой, бились австрияки и с нашими. Мы сидели в погребе, а сверху все время «ура», и крик, и стрелянина. А лес был совсем синий от австрияцких шинелей. Костел горит и сейчас,— в склепах задохлось много народу.

В поезде зажгли свечи. Заиграл сигнал — садиться. Звенящий, плачущий, он врезался в осенний туман, как отзвук военных становищ.

Несколько дней мы простояли около Радома. В высоких липах около станции кричало воронье. Сестры готовили перевязочный материал, проходили эшелоны, на площадках крепко, по-хозяйски были увязаны двуколки, бегали с чайниками солдаты, и по платформе лениво шагали патрульные. Изредка проходили бесконечные санитарные поезда, выползали из теплушек раненые в бобриковых халатах — наши тульские рабочие, и татары, и косоглазые киргизы, и черные, высокие украинцы — и покупали у маркитанток колбасу, папиросы, хлеб.

БЕРНАРДИНСКИЙ КОСТЕЛ

Отряд стоял в горном местечке Хенцинах. Мы жили в каменном доме костельного кастеляна. Дуло из плохо пригнанных окон. Мы топили кафельные печи, томились от безделья, а Козловский резался в карты с офицерами из прожекторной роты.

Изредка среди ночи нас будили. При фонарях мы седлали лошадей, запрягали двуколки и по размытым дорогам, скользя и падая в вязкой глине, выезжали на позиции. Строчили пулеметы, и в ненастной ночи загорались ракеты. С железным визгом гудели над головой, то фыркая, то пронзительно распарывая небо, немецкие снаряды. Кусались лошади, спотыкались заспанные санитары. В вонючей от куриного помета халупе жужжал полевой телефон и выли раненые.

Под утро мы возвращались, качаясь в седлах и пытаясь вздремнуть. Пальцы ломило от мокрых поводьев. Раскатисто, точно зевая, катились запоздалые выстрелы.

Однажды Козловский послал меня в тыловой склад отряда — на «базу», в Кельцы. Я ехал верхом. С лесистых холмов стекала сырость, пахло мокрой хвоей. Подобрав выше колен забрызганные шинели, прямо по лужам плелись солдаты. Желто-черный флаг над халупой этапного коменданта облинял от дождя и мокро хлопал по древку, как бабий подол. Около халупы стояли пленные немцы в рыжих сапогах, низких, как ведра. Из-под стальных шлемов дождь стекал на щетину усов.

Когда я подъезжал к Келецкой заставе, к брошенному кирпичному заводу, где прятались солдаты с замученными, дешевыми проститутками, начался отдаленный бой. В частый гром очередей ворвался глухой удар, испуганно ахнула земля, солдат впереди меня оглянулся и перекрестился.

С трудом я вытащил застывшими пальцами смятую коробку папирос и закурил. Мокрая шерсть блестела на шее лошади. На вокзале мирно и успокоительно свистели паровозы.

В городе я узнал, что «база» ушла в Загнанск, за десять верст от Келец. Я подремал в уютном темном кафе около магистратуры, потом шагом поехал по улицам.

Я остановился около бернардинского костела, слез с седла и вошел под глухие серые своды.

Жизнь едва только начата, но как трудно будет ее окончить. Война дождевой полосой закрыла прошлое. До Хатидже, до Наташи, до Семенова — тысячи верст. Усталость булыжником давит плечи.

«Скорее бы мир»,— подумал я, опустился на колени и прижался лбом к черной спинке сиденья. Родная, нелепая

Москва. В городах разгромленной Польши, среди нищеты и слез, в сырых госпиталях, где умирают вдали от любимых, пришло ощущение, что все мы — беспомощные дети, потерявшие мать. Мы не спим по ночам, мрем от тифа, тоски и рваных ран, никем не пригретые, подчиненные чужой, калечащей воле.

«Что дальше? И долго ли? — думал я, чувствуя холод.— Вынесу ли я себя из этого испытания?»

Я вспомнил лицо с разорванным до ушей ртом, осколки человеческих костей, кровь, что слизывали с носилок собаки, вой беженцев, детские синие трупы, чуть присыпанные дорожным песком, грабежи, повешенных евреев, пряную вонь сгоревших местечек.

На паперти костела дождь стучал по ледяным лужам, и медленно падали съеденные зимой листья каштанов.

ЗАТИШЬЕ

В Загнанске я прожил почти всю зиму. На фронте было затишье.

Я часто ходил в горы и сидел на каменной скамье около костела и грубо размалеванной статуи Святой девы.

На чугунных могильных плитах ржавели надписи времен Сигизмунда-Августа и Александра Первого.

Изредка я писал за неструганым столом или лежал на походной койке и читал Тагора. Сестра Попова, похожая на цыганку, гортанно говорила:

— Он сумасшедший. На войне он читает Тагора и каждый день бреется.

Однажды ее вызвали к больной в соседнюю деревню. Я поехал с ней.

В халупе, где лежала больная девочка, рябая баба ставила в печку горшки с кислым варевом. Пахло холодным дымом из боровов и прелым тряпьем. Под лавками урчали сытые куры. Я зажег спичку.

— Где больная?

— Там, на лавке.

Попова подошла к ней.

— Странно,— сказала она.— Идите-ка сюда. Она, кажется, мертвая.

Глаза у девочки уже остекленели. Я поднял тряпье и взял ее руку. Рука была холодная.

— Тетка,— сказал я громко,— девочка-то твоя умерла.

Баба молчала.

— Дочка твоя умерла,— громко повторил я и осветил спичкой лицо с прилипшими волосами.

— Эге,— ответила баба и поправила волосы.— Еще днем померла.

— Что же ты не приберешь?

— Нема часу. Солдаты дали говядины, мужику надо борщ сварить. Пускай полежит.

— Как же это? — тихо спросила Попова.— Может быть, она не мать?

— Это твоя дочка?

— Эге, моя.— И женщина снова завозилась с горшками.

Я посмотрел на девочку, на опустившиеся плечи сестры, на солдата в папахе, который вошел и, нелепо вытянувшись, стоял у двери, и вспомнил смерть Винклера.

— Пойдем,— сказал я сестре.

Ночь ползла с холмов. По мокрым колеям прыгали огни фонарей,— бродили и ругались обозные солдаты. На обратном пути мы молчали.

По вечерам, когда день, желтый, как мокрая вата, затягивался туманом, я ложился на койку и читал «Гитанджали». За низеньким оконцем, шлепая по месиву снега и грязи, ходили солдаты.

— Ну и зима здесь, матери ее черт!

За стеной, в «команде», тренькала мандолина и надтреснутый тенор скучно пел:

В голове моей мозг иссыхает,
Кровью сердце мое залило...

— Полещук! — кричал со своей койки студент Вебель — начальник «базы».— Долго он будет скулить?

— Не могу знать,— оторопело отвечал из сеней Полещук.

— В карты в команде режутся?

— Никак нет.

— Смотри. Приду — опять карты порву.

Иногда, почему-то всегда вечером, из отряда приезжал обоз за продуктами. За стеной начиналась возня, кусались лошади, кричали и матерились солдаты, заезжали во двор, цепляя в темноте за ворота, и привозили новости: на позициях тихо, старшую сестру увезли в Москву, погода скаженная, и под Гербами поломали дышло.

Потом мокрый солдат приходил в халупу, становился у двери и, вытерев нос рукавом, вытаскивал из-за обшлага письма.

Прибегали сестры — Попова и Малеева, курсистка-медичка из Каширы, глупая и смешливая,— и мы садились пить чай.

Иногда шла с факелами, грохоча коваными колесами, артиллерия. Крупной рысью заезжали вперед темные фигуры в блестящих от дождя плащах, и щелкали нагайками ездовые.

В халупе ночевали проезжие офицеры: воспитанные артиллеристы, и простоватая пехота, и задерганные тыловики — начальники облезлых гуртов и обозов. По утрам к ним робко являлись потерявшие голос от страха солдаты «крестоносцы» и начинали один и тот же разговор:

— Где ты коров растерял, раззява? — кричал измученным голосом начальник гурта.— Подлые твои глаза, борода!

Борода мигала воспаленными глазками, мяла изорванную папаху и молчала.

— Чего молчишь, как колода?

— Дохнут с дождя, ваше благородие,— отвечала наконец борода сиплым шепотом.

— Дохнут? Где шкура? Знаешь приказ — шкуру с дохлой сдирать. Ну, черт с тобой, пошел вон!

Офицер жалобно отдувался и садился пить чай.

Я получил письмо от Алексея: «Узнал от одного из санитаров твоего отряда, что ты в Загнанске. Мой отряд стоит в Скаржиско. Приезжай. Мне вырваться трудно».

Ночью я думал о встрече с Алексеем и о Винклере. Его смерть я вспоминал теперь часто. Он умер на пороге войны. Ему не пришлось узнать ее тоскливые будни, ее скрежещущие бои, бесплодные мысли, увидеть города, превращенные в отхожие места, промокших до портянок солдат, вонючие раны и желтые выпученные глаза трупов.

ЗВЕЗДА НАД ГОРОДАМИ

За окном синело. Далеко прогремел один удар, потом второй. Вскоре удары слились в глухой гром.

— Не спите? — окликнул меня Вебель.

— Нет.

— Слышите, как разгорается? Опять немцы пошли в наступление.

Он закурил. Я натянул на голову шинель и попытался уснуть.

— Звезда над городами,— сказала во сне Попова.

Далекий гром перебивали короткие и веские удары.

— Тяжелая ввязалась,— пробормотал Вебель и сел на койке.— Надо сказать, чтобы взяли лошадей в хомуты. К утру, должно быть, все двуколки вызовут в Хенцины.

Я встал. За окном голубой парчой лежали снега. В тронутом янтарями небе празднично вычерчивались горы.

— Видите, я был прав,— сказал Вебель и вышел навстречу ординарцу, постучавшему в окно.

Через час я выехал с обозом двуколок в Хенцины. Ехали обе сестры. Раннее солнце розовым паром заволокло долины. Горные дороги были крепко сбиты морозом.

В дороге я спросил Попову:

— Что вам снилось ночью?

Попова покраснела.

— Разве я говорила во сне? — быстро спросила она.— Скажите, что я сказала, тогда я, может быть, вспомню.

— Вы сказали: «Звезда над городами».

— Ах да. Мне снилось, что я иду ночью по берегу озера с ксендзом и Козловским. Вдали был город, будто Москва, и над ним огромная звезда. Ксендз показал на эту звезду и сказал по-польски: «Вот звезда, которая восходит над всеми городами, обреченными на гибель». Мы всё шли и шли, и вдруг я увидела Кремль, и Арбат, и Пречистенку. Я заплакала во сне, а Козловский, чтобы утешить меня, дал мне букетик фиалок и сказал: «Не плачьте. Эти фиалки собрал шофер Махалин на том месте, где была Москва». Потом тысячи черных солдат с винтовками бежали мимо нас и спрашивали дорогу на Люблин. Офицер с разодранным в клочья лицом бешено проскакал на коне и крикнул, что надо стрелять по звезде.

— Пророческий сон,— сказал я, всматриваясь в снежные дали.

В Хенцинах мы напоили лошадей и на рысях пошли к Шевелям, где развернулась летучка. Навстречу дико скакали зарядные ящики, тупо дрожала земля, и к небу подымался желтый дым разрывов. В канавах у шоссе сидели солдаты в походном снаряжении и смотрели вперед, вдоль дороги, где горел фольварк.

Низкая шрапнель рвапула воздух и частым треском защелкала по шоссе.

— И-и-их ты! — вскрикнул впереди верховой солдат и пустил лошадь вскачь.

Снова резануло воздух. Глухой удар вырвался из леса.

— Дорогу обстреливают! — закричал Полещук и показал на синеватые холмы.— Гляди!

Там блеснуло два желтых огня, стремительно заныло небо, и нестерпимый пламень ударил в канаву позади двуколок.

— Пускай вскачь! — крикнул я санитарам и задержал коня, пропуская обоз.

Далеко, задыхаясь, строчили пулеметы. Снова небо обрушилось на голову. Снаряд пролетел с тяжелым храпом и ударил позади в канаву.

— Заметили!

Впереди был лес, и надо было проскакать несколько минут по открытому полю. На снегу лежали длинные лиловые тени.

«Где я видел такие тени?» — думал я, торопливо нахлестывая коня. Ветер свистел в ушах, я видел только мокрую лошадиную шею и в десятый раз повторял все одно и то же: «Где я видел такие длинные тени?»

Из-под копыт летел щебень.

— Антонов, не отставай!

Дым пахнул в лицо, осколок свистнул под ногами коня, подняв вихрь снега. Конь присел, вздрогнул широким крупом и скачком бросился в сторону. Слева у гнилого пня была разворочена красная глина, и из нее шел желтый пар.

В лесу обоз свернул с шоссе и пошел по кочковатой дороге. Снаряды ложились позади. Передняя дуколка с сестрами свернула в сторону и остановилась.

— Сюда, ваше благородие,— крикнул глухо Полещук и махнул рукой.— Сестрицу зацепило.

Я подъехал. Малеева крепко держала за руки Попову.

— Что, ранена?

— Ничего страшного,— со свистом сказала Попова и рванулась из пухлых рук Малеевой. Лицо у нее почернело.— Перевяжите скорей.

Я разрезал мокрое платье. Острая маленькая грудь была разорвана осколком ниже соска. Я туго и осторожно забинтовал ее. Малеева кусала губы, косынка у нее спол-

зла, русые волосы прилипли к потному лбу. Лес треснул от разрыва, и ветер захлопал по полотняным верхам двуколок. Попова легла, ее укрыли шинелью. Санитары крестились.

— Принесла холуйская сила,— сказал Полещук.— Солдат бьют и сестер бьют. Она, можно сказать, совсем дите.

Попову я не видел до позднего вечера. Небо грохотало и сотрясалось, и кровь капала с носилок на унавоженный снег, в лошадиную мочу и слякоть. Воняло потом, махоркой и ксероформом. Подожженные снарядами деревни чадили без огня, пропитанные сыростью. Раненые выли и собачьими глазами смотрели на окровавленные руки врачей. Бой затихал.

Ночью я провожал обоз раненых до Хенцин. В передней двуколке лежала Попова.

Было тихо и сыро. Слабо скрипели колеса. В стороне от дороги горели костры, меня качало в седле, и во сне я слышал, что Попова что-то бормочет.

— Молчите,— сказал я, согнав дремоту.— Вам нельзя говорить.

Над Хенцинами, разбросав веером хвост, качалась Большая Медведица. Я спал, шатаясь в седле.

ПАННА ГЕЛЕНА

В Загнанске нас ждал Козловский. Он собирался в Брест.

— Я возьму вас и санитара Щепкина,— сказал он мне.— Вы были в передряге, и вам надо рассеяться. На фронте все равно тихо.

Меня поразило это слово «рассеяться». Брест, мраморные столики кавярен, гулкий вокзал, московские газеты, лица юных сестер — это значит рассеяться. Разбросать свое внимание на тысячи спокойных мелочей, смотреть на отблески солнца в вокзальных стеклах, читать статьи о Художественном театре, выставках и книгах. Разбить на тысячу осколков свою напряженную мысль, запутанную войной.

Я согласился. Перед отъездом я поднялся к костелу. Внутри едва слышно служил ксендз. Стоя на мшистой паперти, я написал открытку Хатидже:

«Три месяца нет писем. Очевидно, они теряются по полевым конторам. Я даже не знаю, где ты. Я втянулся в суровую жизнь войны, и часто у меня бывает ощущение, точно вернулись времена «Войны и мира». Где-нибудь на широких шоссе во время отступления я встречу тебя и найду тогда смысл всего совершающегося, который я никак не могу найти сейчас. Здесь Алексей, я завтра его увижу. Еду на неделю в Брест».

Я подумал и написал вторую открытку Наташе:

«Я жду от вас писем. Мне очень трудно оставаться наедине с собой в здешние злые ночи. От канонады, грязи и бабьего плача всегда болит голова».

В Скаржиско на вокзале я встретил Алексея. Мы расцеловались. Он отодвинул меня, осмотрел и сказал:

— Ну вот, свиделись. Ты здорово подтянулся.

Тут же на вокзале мы столковались с Козловским о том, чтобы взять Алексея в наш отряд.

Козловский и Щепкин уехали, а я остался до утра в Скаржиско. Мы ходили с Алексеем в дощатое холодное кино, где Макс Линдер учился кататься на коньках, много говорили. Я рассказал ему о смерти Винклера.

— Да,— сказал он.— Глупо умер старик. А Сташевский тоже здесь, на фронте, под Ломжей. Георгия получил.

Ранним утром я уехал в Брест. За Радомом было солнечно, а около Бреста застал нас вечер, золотой от вагонных свечей и синий от ранней весны.

Козловского я разыскал в общежитии Союза городов. Он был возбужден: встретил знакомую сестру, бывшую артистку. Когда я вошел, он сидел и брился. Бородатый солдат — денщик при общежитии — чистил его сапоги.

— Друг мой,— сказал Козловский, тщательно разглядывая свой подбородок.— Почистите сапоги, и пойдем в гарнизонный клуб — там концерт. Я познакомлю вас с очаровательной женщиной. Когда-то я был в нее влюблен.

Он вытерся одеколоном и запел:

Голос твой — пенье задумчивой сказки,
Сладкая боль небывалой весны...

В клубе было темно и тесно. Звенели шпорами выхоленные кавалеристы, скромно стояли у стен серые прапорщики с вылинявшими погонами, гремел хриповатым басом седой вертлявый генерал.

Я сидел рядом с панной Геленой. Резкий запах ее духов не давал мне уснуть. Разбитое тело ломило в тепле. Козловский шепотом рассказывал невероятные истории о дрессированной кошке, которая носит приказы в окопы.

— Но кто над могилою едет...— пел басом бледный офицер,— знамена победно шумят...

Я дремал и видел полки призраков — солдат старой гвардии в снегах Москвы и впереди, среди шумящих по ветру знамен, корсиканца-императора.

И встанет к тебе, император,
Из гроба твой верный солдат.

Мне снилось, что я живу в старом Париже, встречаю императора и его маршалов, читаю желтоватые страницы Руссо, поглядывая из окон мансарды на Тюильри, озлащенный пышным закатом. Мне снились знамена с бронзовыми орлами на древке и старый камин, где горят сосновые щепки. Я мечтал при его огне об Адриенне Лекуврёр, маленькой артистке в розовом парике, отравленной неизвестным ядом. В ветхом камзоле я бродил по заросшим ромашкой предместьям, играл на пальце перстнем с профилем Робеспьера и гадал, в какие новые и великолепные одежды облачится завтра этот мятежный город.

— Бедный, как он устал,— сказала панна Гелена и тронула мою руку.— Проснитесь.

Я открыл глаза, вздрогнул от холода, и в ту же минуту на улице запела труба. В церквах зазвонили. Все встали и, теснясь и перекликаясь, двинулись к выходу. Эстрада опустела.

— Цеппелин,— сказал кто-то в толпе.

За стеной прогремел тяжелый гром, и еще тоньше задрожали трубы. Мы вышли. В спиртовом свете тающего снега темнели метлы вековых тополей. Без огней прошел, мягко прыгая на ухабах, автомобиль.

Потом бледная молния прорезала небо, и над нами звонко раскололась первая шрапнель. Через минуту со всех фортов запели и загудели снаряды, снова грузный гром потряс дома, и в стороне вокзала поднялось неяркое пламя.

В небе засуетились, мешая друг другу, прожекторы.

В общежитии я вышел на балкон и смотрел на светящиеся хвосты снарядов.

Весенняя тишина стояла между взрывами — сырая, черная, печальная.

Я чувствовал тугую неприятную усталость. Ворочаясь под шинелью, я услышал, как Козловский раздевался и пел вполголоса «Голубое письмо» Северянина:

И веют жасмины, и реют гобои,
И реют гобои, и льется луна.

БОЛЬШОЙ ФОНТАН

На третий день, когда я лежал на койке, пришел Козловский и сказал, что меня командируют в Одессу принять с завода новые двуколки. Поеду я со старшим санитаром, студентом Щепкиным.

— Вам придется выехать сегодня вечером,— строго сказал Козловский.— Через десять дней вы должны быть в отряде. Дело срочное. Щепкин вахлак, негр бамбула, но с ним вам будет хорошо.

К вечеру пришел Щепкин — рослый, упитанный, в потертой до дыр кожаной куртке. Он не торопясь выпил пять стаканов чаю, рассказал, как надо покупать швейцарский сыр, прокашлялся, запел «Хвала тебе, бог Гименей...», сбился и сказал:

— Ну, что же. Поедем, что ли?

— Едем.

— Пан Козловский! — крикнул он в комнату панны Гелены.— Прощай, старина. Что-то ты надолго окопался в тылу?

Мы попрощались и уехали.

На второй день за окнами пошли бесснежные степи. Был март. Бабы продавали на станциях топленое молоко и бублики.

В Одессу мы приехали к вечеру. Сырая весна пришла вместе с ночью, обдула теплым ветром выгоны и степь. С вокзала я послал телеграмму Хатидже в Севастополь и Семенову в Москву.

Ночевали в подворье Афонского монастыря около вокзала. Рано утром по улицам, затопленным нестерпимым одесским солнцем, мы прошли на бульвар к памятнику Ришелье. Голубые туманы залили порт и город. Был блеск солнечных морских миль над свежей водой, свет полуденных стран, хрустального неба и ветра, душистого, как ранний миндаль. В зеленой вымершей гавани стальным

утюгом серел броненосец «Синоп». Женщины продавали под акациями первые цветы. В порту качались у молов синие и белые шхуны, дымил желтой трубой одинокий транспорт. Улицы пахли морем и лимонами.

Щепкин был подавлен — он первый раз видел море.

— Да-а,— сказал он.— Вот это вещь. Да мы что — в России или нет? — И он нерешительно засмеялся.

В кафе Фанкони я рассказал ему о старой Одессе, о богатстве этого города, о греческих пиратах, выстроивших в городе дворцы, обильном торге и тех временах, когда набережные были засыпаны золотым житом, а объевшихся сизых голубей давили ломовые дроги.

Под тентом ходил средиземный ветер, яростно кричали за столиками на чудовищном одесском языке евреи в котелках.

Перебирая четки, ворковали греки. Женщины пылали карминными губами.

— Вот что,— сказал я Щепкину.— Я хочу два дня, пока не готовы двуколки, провести у моря. Я поеду на Фонтан, а вы уж тут как-нибудь один проскучаете.

Днем я получил телеграмму от Семенова:

«Сестра уехала на фронт южную Польшу думает найти вас. Свинство долго не писать. Семенов».

От Хатидже ответа не было.

На Фонтане я поселился в монастырской гостинице.

В гостинице не было ни души. Я снял комнату с окнами на маяк. Всю ночь шумел ветер в акациях, я просыпался, глядел на разметанное золото звезд за окном и думал, что война — это только мой бред, что за белыми стенами гостиницы, в тишине этой ночи, я далек от войны, я снова прежний, что мои глаза снова блестят и велика моя любовь к каждому дню.

Сумбурна жизнь, но все же полна ощутимого смысла. Вся она, с ее любовью, голодом, смехом, сражениями,— как непрерывные и внятные толчки к созданию самого себя.

Я подумал о любви ко мне Хатидже и Наташи, и она встала передо мной как бы в легкой памяти снежных далеких лет.

В тысячный раз я почувствовал, что самое прекрасное в жизни выше моих сил.

Галилейский бродяга говорил о терпении. Легче умирать, когда прекрасная Магдалина стирает рыжими воло-

сами грязь с исхудалых ног, но трудно умирать, уткнувшись лицом в липкий человеческий кал в окопах, залитых мочою, когда в голове киснет австрийская пуля. Трудно тогда умирать, и нельзя говорить о терпении.

Вечером я лежал на скрипучей кровати и читал. Жарко топилась печь,— вечер был очень холодный. С моря наносило туманы. Со стороны Одессы светили по мутному небу прожекторы.

Я укрылся шинелью, по временам откладывал книгу и думал. Думал об одинокой тоске чудаков, слоняющихся по земле с пустым футляром от скрипки — оправой от потерянной радости. Как много людей с околевающей душой, жалких в своем ребяческом величии! Я вспомнил Оскара, Гарибальди, Винклера, многих других безродных, брошенных. Имена их давным-давно стерлись на дешевых могильных крестах.

Они обладали душой богатой и горячей, но никто не дал им ни одной капли радости. Сердце пылилось, мозг работал, как ржавая машина, горечь пропитывала тело и напоминала о старости, о синих жилах на шее, о выпавших зубах.

Туман спустился и стучал редкими каплями по жестяному подоконнику. Всю ночь я пролежал без сна.

Утром я ушел пешком в город. Ржавые сады пылали над морем, гипсовые статуи около дач подымали к солнцу бледные лица.

В неприбранной комнате подворья я застал Щепкина. Он умывался. Вытираясь грязным полотенцем, он рассказал, что двуколки готовы и он их принял. На заводе получена телеграмма от Козловского: не задерживаться в Одессе, грузить двуколки и возвращаться в отряд.

Я прочел телеграмму и бросил ее в угол. Вечером мы уехали в Люблин, куда, как телеграфировал Козловский, был переброшен отряд.

ВАША СВЕЧА КОРОЧЕ

В Люблине отряд стоял в пустом дрожжевом заводе. Вокруг был заросший одуванчиками, мощенный каменными плитами двор. Из окон виднелись белые громады костелов и туман за рекой.

Козловский шумно обнял меня и Щепкипа.

— Для вас есть приятная новость,— сказал он мпе.— Алексей уже здесь. Он толковый парень и не дурак выпить. Сейчас он в городе, он жаждет вас увидеть.

Весь вечер болтали об Одессе, о том, что отряду дали двухнедельный отдых. Алексей пришел поздно.

— А-а,— сказал он радостно.— Приехал странствующий рыцарь.

Отрядом он был доволен. Не нравились ему только Люблин и поляки. Особенно он негодовал на то, что даже машинисты на паровозах носят стоячие воротнички.

— Обезьяны,— говорил он возмущенно.— Надепет кургузый пиджачишко, клетчатый галстук, пристегнет манишку, и он уже пан.

Ночью Козловский, Алексей, Щепкин и Вебель играли в преферанс и долго ссорились. Была страстная суббота. По городу горели огни, в костелах бренькали колокола.

Днем я купил у цветочниц несколько букетиков крупных фиалок — подарок сестрам. Попова попросила приколоть ей фиалки к белому переднику,— она еще не могла двигать рукой.

Мы пошли в бернардинский костел.

Алексей притих. Козловский опустился па одно колено и театрально молился. Торжественно и гнусаво пел старый ксендз с кружевными рукавами, и тихо вздыхала толпа.

Я стоял на паперти и всматривался в лица женщин, смутно надеясь увидеть Наташу. Может быть, она здесь, в Люблине.

— Кого вы ждете? — тронула меня за рукав Попова.— Наши уже давно вас ищут.

Десятками золотых пчел растекались по улицам свечи. Когда налетал ветер, Попова брала мою свечу и прикладывала к своей,— двойной огонь не загасал от ветра. Дома она сказала:

— Ваша свеча короче. Вы умрете раньше меня.

В тонкий туман, в белые пасхальные одежды закутался город. Мы бродили до вечера по извилистым средневековым улицам, по кварталу «гетто» с желтыми и голубыми домами. На порогах грелись рыжие кошки и сидели старые еврейки в пестрых шалях. За нами гамливой толпой бегали кудреватые дети, а старые реббе в черных картузиках с рыжими бородами и круглыми выпуклыми очками кри-

чали им — гей авек! — и хватали то одного, то другого за ухо.

В Саксонском саду в сумраке, в золотеющем тумане молодого месяца распускалась сирень. Оркестр играл негромко и печально.

— Какой мелодичный вечер,— тихо сказала Попова.— И рана у меня так слабо ноет, заживает. И сирень, и огни — так все хорошо, прямо до слез. Кто это выдумал войну? Кому это нужно!

ТРУПЫ В РЕКЕ

Уже месяц, как мы стояли на Сане, мутном и быстром. По ту сторону тянулся сосновый лес, желтый от брошенных окопов. День и ночь нашу халупу заносило пылью. Песок трещал на зубах и разъедал глаза.

По неровной насыпи проползали воинские поезда, медленно шли по деревянному мосту над шумящей рекой. Ночью ярко бродил по берегу сноп полевого прожектора.

Под горячим ветром в песках трепыхался наш изорванный заплатанный флаг Красного Креста.

Шли частые, спутанные и странные бои. Привозили молчаливых, сожженных ветром раненых, по ночам явственно громыхали орудия за Розвадовом и выли одичалые псы.

Изредка приезжал из Люблина, из «базы», Вебель с кипой газет, писем и ящиком папирос Габая «Ява» в зеленых коробках. В летучке начинался праздник. Мы зачитывались газетами и накуривались до одурения. Козловский переставал вздыхать, сестры оживали. Попова жила в Люблине у Вебеля,— у нее снова открылась рана.

Вечером мы ходили к желтому Сану и просиживали на берегу до поздней ночи. Немолчно шумела река, качая в мутной воде громадные звезды.

— Это к жаре и засушью,— говорил Щепкин.

Раскаленные пески, исполинское ржавое солнце, весь день дымившее над горелыми лесами, тепловатая вода в колодцах — все это измучило нас, мы замолкли, редко говорили друг с другом, ждали. Однажды сестры вернулись после купанья бледные, раздраженные: по Сану плыли раздутые смрадные трупы.

К ночи разгорелась канонада. Я ворочался на койке и слушал, как за Саном от края до края земли перекатывал-

ся железный гром. Было душно, кисло, около свечи густо жужжали мухи.

Я встал и вышел. Высоко в небесном колодце стоял месяц. Вода в Сане вздрагивала лунной рябью от ударов орудий. Небо розовело далеким пожаром. Я медленно пошел к мосту.

— Стой! Кто идет? — испуганно и негромко окликнул меня часовой.

Я отозвался.

— Господи, господи,— сказал часовой молодым голосом.— Когда-то будет конец?! Зло так за душу и берет. Нет тебе ни днем, ни ночью ни сна, ни покоя: то наступление, то отступление. Толчем землю на одном месте, как стадо. Для кого, для чего — никто толком объяснить не умеет. Поля дома небось не засеяны, бабы обрюхатились. Скотина пропадает.

Он стукнул прикладом о настил моста, поглядел на зарево и сказал:

— Горит... Кому от этого какая выгода, что Польшу изматерили, затоптали вконец. На этом поле колос расти не будет. Сказывают, германцы опять нажали, опять прорыв.

Я вернулся в халупу. На дворе около костра сидели Вебель и Алексей.

— Что вы шатаетесь по ночам,— сказал Вебель и вздрогнул.— Спали бы лучше! Слышите, как заводят. Не люблю я этой штуки, накличут беду.

— Тоска,— сказал Алексей и зевнул.— Бессонница. А надо бы выспаться: не сегодня-завтра попрем опять по ступицу в песках.

Вебель курил, и огонек папиросы поблескивал в его насмешливых острых глазах. В халупе глухо заорал уцелевший петух. Судорога канонады передергивала душную тишину.

Я пошел к двуколкам и лег на сене, прислушиваясь к орудийному бою. Поля тяжело дрожали.

МАКЕНЗЕН

Мы отступали. Около песчаных, разбитых обозами дорог горели несметные костры — становья беженцев. Разметав сверкающие хвосты, тосковали над черными польски-

ми полями забытые звезды. Дым костров мешался с болотным туманом.

Ночью мы качались в седлах, тяжело разлепляли глаза и останавливались, наезжая на передних.

— Стой! Сто-о-й!..

Часами стояли около мостов в заторах, ежась от сырости, поглядывая назад, где низким заревом горели в пыли деревни. С высоких придорожных распятий глядел на нас угловатый, обугленный Христос.

Через Люблин проходили ночью. Его извилистые улицы были запружены обозами. От канонады сотрясались старинные костелы. В домах плакали дети, метались женщины, на вокзале тревожно кричали паровозы. По белым карнизам зданий бегал красный свет факелов.

Шагом, по тротуарам, ругаясь и сбрасывая с дороги узлы с вещами и поминутно останавливаясь, мы добрались до пустынного переулка, где стояла «база». Пахло цветущей липой, многоголосо шумела отступающая армия.

Во дворе «базы», около каменного фонтана, навьючивали фурманки, был слышен резкий голос Вебеля. Я придержал коня и посмотрел в глубь переулка, в сумрак липовых садов. Далеко, золотясь в темной листве, всходила предрассветная луна.

Пока «база» сворачивалась и взволнованные санитары выводили лошадей, я поднялся наверх, в мезонин к Поповой.

— Как я благодарна этому отступлению,— сказала Попова.— Наконец-то! Я так измучилась здесь одна! Скажите, что это? Почему так уходят?

— Макензен,— ответил я и закурил папиросу от лампы с зеленым абажуром.— Немцы прорвали фронт..

— Какие-то вы все стали иные,— сказала она, вглядываясь в меня.— Постарели на десять лет.

— Ну, как вы? Как рана?

— Уже проходит. Здесь было так тихо, славно. Со мной жила только хозяйка — старая панна в наколке — и ее маленький племянник. Они ушли в дом ксендза, им стало страшно. Я боялась остаться одна, я думала, что вы не найдете нас в этой каше и пройдете мимо. Вебель тоже волновался.

За садами шли обозы — будто лилась по камням грохочущая горная река. Во дворе заиграла труба.

— Сбор. Идемте.

— Погасите лампу,— сказала Попова.— Как мне жаль эту комнату.

Я задул лампу. За открытым окном над верхушками деревьев мутно краснело небо, дул порывами горячий ветер. Он сорвал с подоконника и унес в сад какие-то старые письма.

СТРАНА ШОПЕНА

В Вышницы пришли под вечер. В клубах пыли, поднятой стадами, висел изорванный флаг коменданта. Бегала по дворам местечковая милиция — старые евреи с красными повязками на рукавах — и сгоняла женщин на окопные работы. Иссохшие поля были густо уставлены беженскими фурманками. Ревели, захлебываясь, дети, и тоскливо мычала скотина.

— Сгибла Польша,— сказал спокойно Козловский, когда мы сошли с коней.— Видели, около дороги из песка торчат детские ноги? А беженские свиньи раскапывают и едят эти трупы.

— Zginela Polska! — повторил он почему-то по-польски и махнул рукой.— Великая земля, взрастившая Шопена.

Ночью мы обходили фурманки. Почти на каждой были тифозные. Тяжелый смрад висел над полями, больные терли красные глаза, засыпанные сеном, и дико смотрели на огонь наших карманных фонариков. Дымили в черное небо жалкие костры. Около вычерпанных до дна колодцев мужики дрались из-за ведра жидкой глины.

Мы завели походные котлы и на рассвете начали раздавать беженцам похлебку.

До позднего утра вокруг котлов ревела и металась толпа, старухи, свистя и задыхаясь, пили похлебку из мисок, бабы, с тощими, выкрученными, как белье, грудями, совали плачущим детям в рот куски серого мяса.

Черные мужики бродили, что-то выискивая по полям. Низкий дым и запах горящего тряпья сочились из местечка.

Час спустя, когда мы сидели в тесной клетушке, а за перегородкой шушукались старые панны-хозяйки, пришел комендант и грубо сказал:

— На ночь поставьте часовых у двуколок. Иначе у вас снимут все колеса. Тут кругом разбой и грабеж. Видите, половина домов без крыш: тащат всё на костры. А эта

обозная сволочь забила все дороги, раскрала все на двадцать верст. Кругом армия, а у них тиф. Все колодцы вычерпали, все реки загадили.

Он закурил и сломал спичку.

— Каждый день встаешь зверем, дерешься, солдат вгоняешь в кровавый пот. Война. Она кому мать, а кому и... мать! — выкрикнул он с сердцем.

Вечером пришел приказ отходить к Бресту. С позиций шли глухие и непонятные слухи. Алексей ушел с тяжелым обозом вперед и должен был ждать нас в местечке Пищиц, в двадцати верстах от Бреста.

Ночью я несколько раз выходил курить на крыльцо. Около коновязи кусались лошади и ходили, поругиваясь, часовые. Верстах в десяти разгорался бой.

ЧУЖОЙ ОТРЯД

В Пищице мы Алексея не застали. Был вечер. Заспанный комендант порылся в записях, расспросил квартирьеров и сказал, что отряда такого не было и чтобы мы оставили его в покое.

— Вот что,— сказал мне Козловский.— Алексей, должно быть, пошел другой дорогой и завяз в песках. Там пески по ступицу. Вы останетесь здесь и будете его ждать. Если станет опасно, уходите в Брест и потом на Чевнавчицы.

— Ладно.

Он перекрестил меня и поцеловал.

— Не сидите только до последней минуты,— сказал он, садясь на коня.— Дело скверное. Уже рвут полотно.

Со стороны Лукова были слышны взрывы. Обоз тронулся. Заспанный квартирьер проводил меня в дом при костеле.

Шумел мокрый сад. Двери в доме стояли настежь, в комнатах не было ни души. Солдат достал мне свечу и принес чаю.

Я поставил коня в сенцах, закрыл ставни в низеньком зале и лег на пол, укрывшись шинелью. Конь с хрупом жевал овес и топтался по ветхому полу. В дальней комнате мяукал котенок.

Я прилепил свечу к полу, достал из полевой сумки «Дальний край» Зайцева и начал читать. Стенные часы долго шипели и пробили четырнадцать раз.

Я читал о Москве, об обществе «Козлорогов» и громко смеялся. Редко била артиллерия, и после каждого удара долго тренькали стекла.

Прошел час, другой. Квартирьер постучал в дверь и доложил, что на площади остановился отряд — может быть, тот, которого я дожидаюсь.

Я накинул шинель и вышел. Отряд был чужой. В темноте прошли сестра и мужчина в шинели. Мужчина остановился и попросил закурить. Это был врач, один погон у него болтался на ниточке.

— Вот сестра ищет Третий сибирский отряд,— сказал он, закуривая.— Вы, случайно, его не встречали?

— Я из этого отряда. Отряд прошел днем на Брест.

Сестра схватила меня за руку.

— Наташа? — тихо спросил я.— Неужели вы?

— Я, родной,— сказала она одними губами.— Доктор, вы не беспокойтесь, я найду отряд.

— Ну ладно,— сказал врач и усмехнулся.— Уж эти мне сестры!

Он позвал меня в свой отряд пить чай с ромом и ушел.

Наташа положила руки мне на плечи и долго вглядывалась в лицо. Светили звезды.

— Я совсем не вижу тебя,— тихо сказала она, первый раз говоря мне «ты», и прижалась головой к жесткой шинели.— Как я измучилась! На этой сумасшедшей войне я ради тебя раздала людям столько любви! Я искала тебя. Я надеялась, теряла надежду и была совсем больна, и вот теперь... мне надо рассказать тебе много, страшно много...

Она заплакала.

— Милый, родной,— говорила она, как в лихорадке.— Я стала совсем сумасшедшей. Вокруг болеют тифом, ненавидят, жгут деревни и бросают в колодцы трупы грудных детей, а над всем этим — моя любовь к тебе. Как же это случилось? Я ничего не понимаю.

Мы прошли в сад. Ветер шумел у заборов в мокрых кустах, гулко катились одинокие выстрелы. Мы ходили в темноте по заросшим дорожкам. Я рассказывал о войне, о том чувстве печального и прекрасного, которое тяготеет над каждым моим днем.

— Зачем ты пошел на войну? — резко сказала Наташа.— Она замучит тебя. Ты должен уехать отсюда какими хочешь путями. Дай мне слово. Через месяц я вернусь в Москву, и ты должен быть там. Будет уже осень, мы уе-

дем в деревню, ты станешь много читать и забудешь об этом ужасе. Надо сберечь себя, пока не кончится это дикое время. Тысячи других, мы все можем идти сюда, в грязь, в кровь, во всю эту злобу, но не ты. Не ты! — крикнула она и встала со скамейки.— Ты должен дать радость сотням людей. Потому так и любят тебя, любят, как я,— слепо, навек. Я не могу это передать. Дай мне слово, что ты уедешь отсюда.

— Хорошо.

— Как ты устал,— сказала она тихо и поцеловала меня.

В болотах кричали лягушки, огонь стих, с лип падали мокрые листья. На костельной паперти сидел и стонал глухой старик — костельный сторож.

— Дедушка,— спросила Наташа,— ты что?

— Все ушли в Брест,— ответил старик и сделал попытку встать.— Ксендз и все, родная панепка. Я остался сторожить костел. Старый я, не дойду, умру в дороге.

— Пойдем, дед,— сказал я, подымая его за локоть.— Завтра поедем в Брест, найдем ваших.

Старик снова заплакал.

— Дал бы бог. Хоть умереть со своими. А то — один. Герман близко. Хотел напиться — в колодце лежит убитый.

В отряде санитары накормили его и положили на фурманку.

Ночь я провел в чужом отряде. Было суетливо и шумно. Наташа не отходила от меня, часто смотрела мне в глаза, и губы ее дрожали.

К утру густо, вразброд, пошла через местечко истомленная пехота, и отряд снялся. Я попрощался с Наташей за околицей. Она погладила мои руки, хотела что-то сказать и промолчала.

Я шел обратно. Над шоссе взрывался черный дым фугасных снарядов, у колодца сгрудились пыльным сугробом солдаты и пили мутную воду из закопченных манерок. Они молча глядели на меня.

В полдень пришел с обозом охрипший, осунувшийся Алексей.

КОНЕЦ

Дни тянулись в безысходных и тяжелых боях. Гром за Бугом не смолкал, в Бресте взрывали крепостные форты, и по ночам раскатисто и страшно ухала земля. В се-

рых и пыльных деревнях валялись тифозные, шел повальный грабеж, сладковатый смрад конской падали перехватывал горло.

В полях желтели цветы горчицы. Закаты были пламенные и холодные.

В Бресте я узнал, что отряд Наташи ушел с Четвертой армией в Кобрин.

Дороги скрипели от беженских обозов, ночью дымно пылали тысячи костров, и штабные автомобили резали лучами белых фонарей пыльную мглу.

Каждый день привозили раненых — злых, обросших кровяной коркой и молчаливых. На расспросы они коротко и неохотно отвечали — «измена».

Это слово прокатилось по фронту, перекинулось в глубокий тыл, и там, в курных халупах и еврейских местечках, где стояли тысячи солдат и офицеров, началось глухое волнение. Ползли упрямые и страшные слухи. Имя Мясоедова шепотом повторялось всюду. Артиллерия отступала впереди обозов. На все вопросы артиллеристы отвечали: «Снарядов нет, измена, палками бейтесь с германцами».

Как-то ночью мы шли целиной, сбившись с пути, и искали выхода на Слонимское шоссе. Было темно и тихо. Над Брестом стояло исполинское зарево.

— Горит Брест,— сказал мне Вебель, ехавший со мной рядом.— Значит, конец.

— Что конец?

— Так... Разве вы не видите, что мы вошли в Россию. Может быть, так пойдем до Москвы.

Мы остановились и долго смотрели на зарево. Багровый дым клубом поднялся к небу.

— Форт взорвали,— сказал Козловский. Он подъехал к нам неслышно.

— Грозно,— сказал он, помолчав.— Что бы мне ни говорили, а в войне есть своя красота. Вот эта, там в Бресте. Это отчаяние. Снова идет Аттила, горят города, и трава не растет под копытами его лошадей. Как это верно.

— А Польша? — спросил я.

— Польша вернется. Польшу жгли и татары и шведы.

На севере началась канонада. Там была тьма, и только в полях страшно далеко грохотали обозы и были слышны протяжные крики. Санитары насторожились. До сих пор орудийный огонь шел позади нас, прихлопывая чугунным громом наши следы. Сейчас он громыхал на фланге.

— Не нравится мне этот огонь,— сказал Козловский.— Должно быть, опять прорвали. Немцы идут маршем.

К рассвету пришли в деревушку. Искали ее на карте и не нашли. Легли в стодоле на сене. Хозяин не хотел открывать стодол и смотрел на нас растерянно и злобно. Вебель приказал выломать замок.

В стодоле было сухо и тепло, под соломой пищали мыши. Всю ночь я ворочался, не спал. Когда кто-нибудь из наших выходил, за открытой дверью дымно розовело небо.

Я лежал и думал. Тысячепудовую тяжесть навалили на плечи, и я, как все, знал только одно — что война теребит саднящую злобу, что мы ходим, говорим, улыбаемся и скрываем друг от друга главное — сознание последнего, непоправимого несчастья.

Перепахали землю, и от нее потянуло нестерпимым смрадом. Что делается в душах солдат, заскорузлых от крови, горьких от гнева и крепкой махорки? Никто не знал. Толком не знали, наверно, и они сами.

Я вспомнил долгие ночи у простого дощатого стола, голос Наташи, севастопольский день, как хрустальный стакан, налитый синей водой. Я хотел так много сказать Наташе там, в Пищице, но спазмы сжали горло, и я молчал. Глаза у нее были тревожные, материнские.

Я накинул шинель и вышел. На востоке синело. Я сел на бревно около стодола.

— Боже мой, какая тоска! — сказал я, стиснул голову руками, взял комок сухой земли и растер его между пальцами.

В поле шуршала сухая трава. Ухнула земля, и громовой раскат пошел далеко на север, в черноту. Брест горел еще ярче и шире.

ЯБЛОЧНЫЙ САД

Мы всё еще отступаем. Небо пожелтело от пыли, и во рту перепойная горечь. Руки пахнут лошадиным потом,— я с трудом сворачиваю махорочные цигарки.

Идем по чахлым лесам и ржавым болотам. Артиллерия разворотила шоссе. Лошади поминутно спотыкаются в глубоких ямах.

Я подолгу смотрю вперед пустыми глазами. Больше версты бежала за мной сумасшедшая гродненская баба,

хватала за стремя и хотела поцеловать сапог. У нее умер ребенок, пала корова, а ее изнасиловали обозные солдаты. Я хлестнул коня и ускакал.

Редкие звезды заблестели на небе, как скупые мужские слезы. Мы шли шагом через Пружаны. За рекой в холодном пару кричали лягушки.

Ночевали мы в белом доме со стеклянным крылечком, с расстроенным роялем и глубокими мягкими креслами. Окна были открыты, из сада сладко и густо пахло яблоками.

— Совсем как у бабушки на каникулах,— говорил Козловский, дымя папиросой.— И герань, и яблоки, и лягушки квакают. Нет только гимназистки в коричневом платье, в которую полагалось влюбляться.

Мы с Щепкиным пошли в местечко. Щепкин спрашивал у всех евреев, стоявших у калиток, где здесь можно побриться. Веснушчатый юноша провел нас с заднего крыльца к старому парикмахеру.

— Вас順 оброть? — спросил он удивленно.— Я сам не знаю, что делать. Одни говорят — уходите, потому что будет бой и казаки подпалят местечко, другие говорят — сиди, куда ты пойдешь с малыми детьми?

— Оставайтесь,— уверенно сказал Щепкин.— Будет бой — в погреб полезете. А уйдете — все перемрете.

— Рива,— крикнул парикмахер в заднюю комнату.— Его благородие господин офицер говорит, чтобы мы да оставались.

Пришла грудастая еврейка с сизым лицом, и комната быстро наполнилась детьми, старухами, почтительными пожилыми евреями. Они волновались, кричали и показывали на парикмахера худыми желтыми пальцами.

— Мы все разом решили да не уходить,— перевел нам весь этот шум парикмахер. Потом он неожиданно рассердился и крикнул: — Дайте мне спокой! Что? Должен же я поброть господ офицеров. Ша, гей авек, гей авек.

Евреи стихли и ушли.

Пока парикмахер брил Щепкина при свете жестяной лампочки, деликатно придерживая его за нос табачными пальцами, я сел к колченогому столу и потянул к себе засаленный, разорванный «Огонек». Бились о стекло мухи за желтыми заштопанными занавесками.

В тусклом зеркале я тщательно рассмотрел себя — черное, с лихорадящими глазами лицо.

Ночью я лег с Вебелем в саду. В траву гулко падали яблоки. Во сне я ворочался и кого-то звал, кого — не помню. На рассвете я проснулся. В густую ночь сочился серый обыденный день. Между яблонями стоял туман. Я посмотрел на звезды, ставшие во сто крат ярче перед рассветом, вспомнил Хатидже, встречу с Наташей, и в горле застрял шерстяной раздутый комок.

«Где нет печали? — подумал я и закурил.— В жизни нет ничего выше любви, выше сродства людей».

Падали яблоки, и пели по местечку охрипшие петухи.

ЦВЕТУТ ПОЛЯ

Подходили к Ружанам. Долго брызгали грязью и чавкали копытами по лужам около кривых кузниц и опустошенных шинков. Долго сдавали раненых тыловому отряду. Пахнущий мылом пухлый комендант отвел нам халупу и предупредил, что он сейчас уходит на Слоним.

Через два часа, когда нас поили молоком набожная вдова-полька и ее застенчивая дочка — работница с кожевенной фабрики, пришел Козловский и приказал запрягать: немцы прорвались к северу и загибают во фланг.

— Беда,— говорили в темноте санитары, возясь около лошадей.— Не иначе как здесь измена. Что ж с им, картошкой, что ли, драться, с германцем?

— А убитых!..— добавил шепотом Полещук, наклонившись ко мне.— Так поля ими и цветут, ваше благородие. Ой, богатый будет урожай. Богатый урожай, так его и так!

— Не копаться! — крикнул Козловский и крепко выругался в пространство.

Дочка хозяйки села на переднюю двуколку показать дорогу до шоссе. Черная ночь легла на местечко, капал редкий дождь. Мы медленно начали спускаться в глубокий овраг. Лошади храпели, задирали морды, скользили и осторожно нащупывали дорогу.

— Одерживай, задние, не раскатывай! — хрипло кричал Козловский.— Что там? Брод? Не наезжай, ноги коням поломаешь! Занесла чертова сила в эту дыру!

Дождь стучал по парусиновым верхам двуколок. Лошади упорно трудились, тяжело дыша боками. За оврагом взмыла в небо и хлопнула, залив все неживым светом, боевая ракета.

— Чего пускают? — сказал Алексей.— Без толку пугаются, сволочи.

Глухо лаяла собака, запертая в хате. У околицы сидели темные кучи солдат, изредка звякали манерки, винтовки. В овраге ударил выстрел. Дочка хозяйки сошла.

— Ну, я как-нибудь добегу,— прошептала она дрожащим неуверенным голосом.— Да хранит вас матерь божья.

— Чего стали? Проезжайте,— сказал из темноты молодой возбужденный голос.

Мы пошли рысью. На дороге пахло березами, мокрой корой.

— Тихо что-то очень,— сказала мне из двуколки Попова.— Ничего не понимаю, что творится.

— Стой! — негромко крикнули впереди.— Кто едет?

Козловский ответил.

Ветер шумел в старых аракчеевских березах. Потом ночь разорвал тусклый блеск и тяжкий сыплющийся грохот, будто рухнуло многоэтажное здание.

— Мост взорвали.

Нервно и часто защелкали выстрелы сотнями расколотых орехов. Войска отходили, не успевая рыть окопы. В канаве у дороги негромко и испуганно перекликались солдаты: «Связь... связь... связь...»

Перед утром над мокрыми перелесками выползла рыжая луна. Свет ее задрожал в чернильной воде болот. Ветер гулко промчался по верхушкам берез и стряхнул за шиворот ледяные брызги. Стало холодно, неуютно.

Днем мы пришли в Слоним.

ПУСТЯКОВАЯ РАНА

Над серыми селами дотлевала заря. Я отстал от своих и медленно ехал по полевой дороге. Над немецкими окопами взвилась ракета — яркий фонарь. Потом другая, третья, потом поднялись и вспыхнули, осыпая белые хлопья, целые десятки их. Они осеребрили далекий лес и поля, затянутые осенней паутиной. Защелкали выстрелы. Ударило орудие с нашей стороны, и, разгораясь за перелесками, заговорила канонада.

Веселая и звонкая шрапнель лопнула над головой, град защелкал по дороге, и в ту же минуту я почувствовал мокрую теплоту в плече, наклонился к шее коня и медленно

сполз с седла. Подо мной была мягкая пыль, странная музыка играла в небе, плясали над лесом хлопья невиданных звезд.

«Должно быть, ранен»,— подумал я безразлично и потерял сознание.

Я пришел в себя в холодном стодоле. На ящике горела свеча. Я был обнажен до пояса, и незнакомая сестра окровавленной марлей вытирала мне грудь. В плече застряло что-то острое, я не мог вздохнуть и вдруг почувствовал, что у меня на спине около лопатки нет кожи, а обнаженная кость и горячее рваное мясо. Давили мокрые и теплые бинты.

— Снимите повязку,— грубо сказал я пожилой сестре.— Мне жарко.

Она с усмешкой посмотрела на меня и дала мне выпить из жестяной кружки мутной валерьянки. Я попробовал поднять здоровую правую руку, но колючий обруч стиснул грудь, захрустело в левом плече и оцарапало кость.

— Сидите тихо,— сказала сестра и накинула мне на плечи парусиновый халат.

Меня перевели в халупу. Ночью я полулежал на боку и тоскливо слушал канонаду. За черными платами полей металось по ветру зарево.

— Жгут все станции на Лунинец,— сказал в соседней комнате хриплый бас.

«Ранен,— думал я бессвязно.— Где наши? Надо им завтра дать знать».

Какая тоска. Хатидже, родная, милая... Давно, страшно давно уже не было писем. Слава богу, что жив.

Я забылся. Мне снилось, что ночью пришел Винклер и гладил мою раненую руку, что стекла расплавились от огня и во внезапной тишине монотонный голос служил панихиду. Пьяный хор разухабисто пел «Со святыми упокой». Мне снилось, что Алексей схватил меня за больное плечо и крикнул что-то о Наташе, и я скакал всю ночь по оврагам, задыхаясь от ужаса. На перекрестке, под черным распятием, я встретил старика, сдержал коня и спросил, как проехать на Брест. Он молчал. Я тронул его за плечо и увидел, что он был мертв: его закатившиеся белки были красными от зарева.

Я проснулся. В углах халупы шуршали тараканы. Я потрогал опухшую руку и тихо заплакал. Впервые за время войны я понял, как ненужно и глупо было все это.

Я кусал щетинистое солдатское одеяло и сквозь слезы видел пламя пожаров в черных ненавистных полях. Дряхлеет сердце. Странным далеким криком звенит душа, натянутая в струну.

— Боже,— тихо сказал я и дотронулся до обескровленной плети-руки.— Лишь бы вынести! Лишь бы донести до лет, что наступят после войны, все, что прожито, не расплескать. Кровью, горечью, ядом сукровицы, горячечным огнем выжечь из себя всякую память, все следы этих месяцев.

Снова начался бред.

В бреду я видел, как Наташа в синем коротком платье шла со мной по каменной набережной к морю. Впереди плавился в солнце, как глыба снега, океанский белый пароход. На пароходе звонили в колокол. Воздух был тонок и странен. Море качалось со свежим шумом, серебряные рыбы летали над гаванью, далекие плавания сверкнули нам в глаза, как оперение синих птиц, их крылья задевали мое больное плечо. Я вскрикивал от боли.

Весь день двуколку трясло по полевой дороге. Вечером меня перенесли в жаркий вагон санитарного поезда и вскоре увезли. Никого из наших я больше не видел.

Голубые огни вокзалов. Лица незнакомых врачей, запах масляной краски, грохот колес, тяжелые сны, горячий пот, стоны и снова печальные сны.

Потом помню сероватый вечер, речонку в полях, синий церковный купол и заросшие травой улицы дрянного городка в Тульской губернии.

ГОРОД В ПОЛЯХ

Лазарет был размещен в бывшем винном складе. Надтреснуто бренчали колокола убогих церквушек и скрипели, подымая пыль, крестьянские телеги. Вечерами за рекой, озерами подымался туман, пахло из-за околиц ржаными полями, покоем. В розовых далях заходило неторопливое, деревенское солнце. На Черкесской слободе пели бабы и я невольно откладывал в сторону растрепанный том «Русской мысли». Говорил я мало и неохотно. Я похудел, около губ протянулись две тонкие морщины. Часто болела голова.

Ночи были тягучие, ветреные, о стекла шумела сухая листва. Когда рана поджила, я стал ходить за город в кладбищенскую рощу. Я проходил мимо гостиного двора, голубых и желтых домишек с колоннами, через базар, где мужики продавали с телег яблоки-цыганки. В роще небо было позолочено листвой. Нежаркое солнце низко сияло над яблочными садами.

Со мной в палате лежали два прапорщика из сибирских приказчиков, такие же бездомные, как и я. Весь день они молча играли в шахматы и осыпали пеплом толстых самодельных папирос подушки и одеяла.

Я начал писать и со злобой бросил. Кому это нужно? Изорванные листы бумаги долго валялись среди листьев и сора под немытым окном.

Однажды мы втроем пошли на маскарад в общественное собрание. В зеленых трактирных сенях было кучами свалено платье. Наверху рявкал медью пожарный оркестр. Помню ситцевые платья девиц, их ситцевые круглые глазки, мамаш в черном стеклярусе, запах пота, гаснущие лампы и лихую «камаринскую», от которой ходуном ходили полы.

Я ушел. Болела голова. Я бродил по темным улицам и не находил себе места от тоски, потом прошел в рощу и просидел до утра на сырой деревянной скамейке. Я думал о чем-то умершем во мне, что, я знал, никогда не вернется. В полях лежала проклятая волчья тишина.

Утром, когда я вернулся в лазарет, на столе около лужицы от пролитого чая лежала телеграмма.

«Максимову»,— прочел я на ней, вскрыл ее и, плохо понимая, прочел размашистые писарские строчки:

«Наташа скончалась сыпного Несвиже около Минска. Есть письмо ваше имя. *Семенов*».

Ночью у меня был жар, и снова, как тогда в халупе, я шел с Наташей к белой громаде парохода, ветер дул нам в лицо, и синие птицы кувыркались над красными черепичными крышами.

— Умерла,— громко сказал я и добавил шепотом: — Приидите, последнее целование дадим. Теперь во всем мире осталось нас двое — Хатидже и я. Жизнь задушит нас.

— Задушит,— тихо повторял я, вздрагивая.

Дождь скучно стучал по черным стеклам.

Утром я выписался и уехал в Москву.

ВЕНОК ИЗ КЛЕНА

С Курского вокзала я проехал к Арбатским воротам и оттуда пошел на Ордынку к Семенову.

«Милая Москва,— думал я, глядя на яркие купола Спасителя, на Гоголя в золоте Пречистенского бульвара.— Милая, грустная Москва».

На влажном песке бульвара были оттиснуты узкие женские следы.

Я долго стоял около двери Семенова, потом позвонил. Открыла мне старуха нянька, охнула и заплакала. Ее седая голова задрожала. Стараясь не глядеть по сторонам, я прошел в кабинет. Семенова не было дома. На столе лежал конверт на мое имя. Я взял его, засунул за обшлаг шинели и вышел. Тяжело хлопнула дверь.

Цепляя шпорами за ступеньки, с мутной головой я спустился и пошел в сторону Сухаревки. Было холодно, солнечно, женщины уже кутались в легкие меха. Бульвары роняли последние листья.

Я добрел до Виндавского вокзала, сел в пустой дачный поезд и сошел в Павшине. Дали синели, замерзшие лужи хрустели под ногами, как стекло. По полям, ломая сухие стебли, я прошел в Архангельское.

Я долго бродил по заросшим аллеям парка, останавливался, гладил рукой красные стволы сосен, глядел сквозь ветви на яркую синеву неба. Солнце горело на желтых колоннах юсуповского дворца.

Дворцовый пруд тонко розовел на закате, был затянут коркой хрупкого льда. Я потрогал лед ногой, вынул шашку и острым блестящим клинком написал на льду «Наташа». Красные листья клена, медленно кружась, падали на пруд, ложились венком вокруг милого имени.

Что было потом, я плохо помню. Ясно помню только утро за Минском. Скупой рассвет синел на первом снегу, дремали на пригорке сосновые перелески. Поезд долго стоял на разъезде. Я вышел из холодного вагона, спрыгнул на снег, и за мной остались черные большие следы. Впереди горнист заиграл на трубе. Раздув перья, сидели на телеграфных проводах воробьи. За лесом я опять услышал глухой и далекий удар орудийного выстрела.

В этот миг я понял свое одиночество, недосказанную боль, накопленную в душе, всю тяготу этих серых шершавых дней, насильно втиснутых в жизнь.

«Это конец,— подумал я, ежась от холода.— Я распят на кресте этих проклятых военных будней, этих длинных антрактов перед глухим сумасшествием».

«Бежать! — подумал я с облегчением.— Увидеть тот грязный еврейский дом, где она умерла, и бежать».

«Моя любовь,— пишет она в письме,— такая большая, что я не в силах носить ее в себе. Я вся полна нетронутой нежностью. Пойми. Ведь ты можешь это понять».

Бежать туда, к Хатидже. Я сожму ее руки, я буду просить, чтобы она научила меня ничего не помнить. Свежие дожди и море смоют горечь этих дней. Ветры освежат воспаленную голову.

Поезд сильно дернуло. Пронзительно в ужасе и плаче запела труба. В гнилом тумане, в испарениях лошадиной мочи ползли по полям обшарпанные обозы.

СПУСТЯ НЕДЕЛЮ

Спустя неделю Хатидже приехала в маленький тульский городок, где лежал в лазарете Максимов. Максимова она не застала.

Она расспросила врача и двух застенчивых прапорщиков-сибиряков и, печальная, похудевшая, едва сдерживая слезы, побродила по кривым улицам, по грязи, засыпанной лимонными листьями, и пришла под вечер на вокзал к московскому поезду.

Поезд сильно запаздывал. Хатидже, дожидаясь, медленно пошла вдоль полотна к семафору. Ветер густо наваливал первый снег, было темно и дико. На Слободке лаяли охрипшие псы. Она вдруг вспомнила смерть Винклера — мертвая тоска сжала ей сердце и вернула силы.

«Максимов не умрет, он не смеет умирать — жизнь только начинается»,— подумала она и повернула к вокзалу.

Была ночь, ветер хлестал мокрым снегом, и городок мигал в кромешную тьму старческими слезящимися огнями.

Таганрог — Москва — Одесса
1916—1923



РОМАН

> Блистающие, или светящиеся, облака наблюдаются очень редко. Их часто принимают за ненормально яркие зори. Они слагаются из мельчайших частиц вулканической пыли, носящейся в воздухе после сильных катастрофических извержений.
>
> *Учебник метеорологии*

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ НОЧЬЮ

— Вставайте! — капитан потряс Батурина за плечо.— Скоро Пушкино!

Поезд гремел среди леса. Пар шипел в кустах, как мыльная пена.

Стояла ледяная и горькая осень. По ночам ветер шумно тряс над дощатыми крышами гроздьями стеклянных звезд. Огородные грядки были посыпаны крупной солью мороза. Пахло гарью и старым вином. А в полдень над горизонтом розовым мрамором блистали облака.

Капитан скрутил чудовищную папиросу из рыжего табака, пристально посмотрел на работницу в красном платочке, дремавшую в углу, и спросил ее деревянным голосом:

— Вы рожали?

— Как?

— Детей, говорю, рожали?

— Рожала.

— С болью?

— Да, с болью.

— Напрасно.

Батурин от изумления проснулся, даже привскочил. Свеча отчаянно мигала, умирая в жестяном фонаре. За окном мчались назад, ревя гудками, лязгая десятками колес, обезумевшая ночь, ветер, кусты и леса. Мосты звенели коротко и страшно. Путевые будки налетали с глухим гулом и проносились, затихая, к Москве.

— Вот это шпарит! — Капитан расставил покрепче ноги.— А с болью вы рожали, выходит, зря. От дикости. В Австралии не так рожают.

— Я знаю, что яйца пекут по-караимски,— пробормотал насмешливо Берг,— но чтобы рожали по-австралийски — что-то не слышал.

— Вы многого не слышали, к сожалению. За эту тему с вас рубль.

— Ну, рубль,— вяло согласился Берг.— Рассказывайте!

Капитан был неистощим. Рассказы сыпались из него, как пшено из лопнувшего мешка. Сначала Берг записывал их, потом бросил, изнемогая от их обилия, не в силах угнаться за веселым капитанским напором.

— Очень просто. Женщине впрыскивают в кровь особый состав, и она рожает во сне. Поняли? Мышцы сокращаются, ребенок выскакивает, все идет гладко. Ни один мускул не сдает. Этот способ практикуется только в Австралии, и то в виде опыта — в тюрьмах над арестантками.

Узнал я об этом в Брисбенской тюрьме. Меня засадили за забастовку моряков,— мы пустили на дно в Брисбене корыто со штрейкбрехерским грузом. В тюрьме я им показал. Надзиратель принес ведро кипятку, чтобы я вымыл пол в камере. Я спрашиваю:

— Будьте добры, скажите, что написано над воротами тюрьмы?

Он удивился.

— Брисбенская тюрьма его величества короля Англии.

— Так пускай король сам моет полы в своей тюрьме, я ему не обязан.

За это меня загнали в карцер. Я схватил дубовую табуретку и с восьми вечера до часу ночи лупил в дверь изо всех сил. А парень я, видите, здоровый. Тюрьмы там гулкие, с чугунными лестницами,— чувствуете, что поднялось. Тарарам, гром, крики. Но терпеливые, черти. Молчали. Только в час, когда я сделал передышку, пришел начальник тюрьмы.

— Как дела? — спросил он ласково.

— Благодарю вас, сэр.

— Вы намерены еще продолжать?

— Вот отдохну малость и начну снова.

Он пожал плечами и ушел. Я колотил с двух часов ночи до десяти утра. В десять утра меня вернули в мою камеру,— пол был начисто вымыт.

— Это не арестант, а дьявол,— говорили сторожа.— Из-за его джаз-банда арестантка номер восемнадцать родила на месяц раньше срока.

— Ребенок жив? — спросил я.

— Жив.

Я написал ей поздравление на клочке конверта и передал в лазарет.

«Простите, миледи,— писал я,— что из-за меня вам пришлось поторопиться».

Она была дочь мелкого фермера и сидела за убийство мужа. Тогда вот я и узнал об этом способе,— она родила во сне здоровую девочку. Я видел ее в саду при лазарете. Меня тоже потащили в лазарет: я симулировал падучую. Я испортил им много крови.

— Вот! — Капитан вытащил из кармана синюю толстенькую книжку.— Вот описание этого способа. Книга издана в Сиднее. Я перевожу ее на русский, Семашко издаст, и я заработаю на этом деле не меньше ста «червей».

Капитан начал развивать изумительные перспективы,— новый способ рожать приведет к неслыханному изобилию, женщины будут рожать каждый год, республика завоюет весь мир.

— Матери поставят вам памятник на вашей родине в Мариуполе,— сказал Берг.— Вашим именем будут называть детей. Вы будете богом женского плодородия, и бронзовые пеленки,— Берг вдохновился,— бронзовые пеленки будут обвивать пьедестал вашего памятника лавровым венком. В вашу честь Прокофьев напишет марш грудных детей,— торжественный марш под аккомпанемент сосок. Рыбий жир, чудесный рыбий жир будет переименован в жир капитана Кравченко.

Работница засмеялась. В черноте блеснули туманные огни джутовой фабрики. Проревел гудок.

— Ну, выметайтесь,— предложил капитан.— Приехали.

Дача стояла на краю леса, на отлете. Капитан каждый раз, когда подходил к ней, останавливался и спрашивал:

— Чувствуете — воздух?

Пахло колодезной водой и глухой осенью. Батурин растирал между пальцами желтые листья, и от пальцев шел запах горечи. Свежесть ветра, дождя и похолодевших рек пропитывала опадающую, почти невесомую листву. Осень умирала. Смерть ее была похожа на чуткий сон,— зима

изредка уже порошила по золотым деревьям и мокрой траве реденьким и осторожным снегом.

Осенняя свежесть продувала всю дачу, особенно капитанскую комнату, похожую на ящик от сигар.

Капитан любил плакаты пароходных компаний (Рояль — Мейль — Канада, Мессажери Маритим, Совторгфлота, Ллойд Триестино и многих других) и заклеил ими дощатые стены. Плакаты гипнотизировали белок. Распушив хвосты, они сидели на березе против капитанского окна и, вытаращив булавочные глаза, цепенели перед черными тушами кораблей и белыми маяками на канареечных берегах. Крапал дождь, и виденье экзотических стран застилало беличьи глазки синей пленкой слез и восторга.

По вечерам капитан возился над бесшумным примусом своей конструкции. Все у него было необыкновенное — и примус, и механический пробочник, отламывавший горлышки бутылок, и самодельный радиоприемник из коробки от папирос, и груды очень толстых книг, казавшихся старинными. Выбор книг говорил об устойчивых склонностях их громоздкого и простоватого хозяина,— там были лоции, мореходная астрономия, «Азбука коммунизма», Джек Лондон по-английски, много географических карт и Библия (убежденный безбожник, он читал Библию исключительно с целью уличить во лжи поповскую клику).

На книгах спала австралийская кошка Миссури с зелеными глазами. Он привез ее из Австралии как «подарок друзей». Миссури была худа и деликатна, не в пример вороватым и ленивым российским кошкам.

На стенах висело штук пять часов — капитан был любитель точных механизмов: барометров, секундомеров, хронометров и пишущих машинок. В отсутствие хозяина часы наполняли пустую дачу живым, очень тонким стуком, и сумрак сосновых комнат казался теплее и уютнее.

История капитанских плаваний, сиденья по тюрьмам и религиозных диспутов с патерами была так сложна, что даже он сам не мог привести ее в порядок.

Перед приездом в Москву капитан был начальником Мариупольского порта. Там он с обычной прямолинейностью вывел кого-то на чистую воду, установил суровые корабельные порядки, перегнул палку и был устранен за недостаток дипломатического такта. С тех пор он отказывался от сухопутных постов и ожидал назначения на пароход. Он знал, что капитанов в Союзе в двадцать раз больше,

чем пароходов, и потому не торопился,— только раз в неделю он ходил справляться в управление морского транспорта. В остальное время он писал статьи о своем прошлом (Батурин пристраивал их в морской газете), чинил точные механизмы и переводил книгу о безболезненных родах.

В этот вечер все трое — Берг, капитан и Батурин — собрались в капитанской комнате: капитан пропивал гонорар за статью об углублении Мариупольского порта. В статью он ухитрился ввернуть анекдот о дельфине-лоцмане. Этот престарелый дельфин вводил пароходы в порт Глазго и получал от портового начальства ежедневный паек — полпуда свежей рыбы.

— Как же он вводил? — заинтересовались в редакции.

— Плыл перед носом,— лаконически ответил капитан.

На бесшумном примусе сварили наловленных накануне Батуриным раков. Весь день раки дрались в ведре, злобно щелкали клешнями и хлопали хвостами. Миссури стояла на книгах, глаза ее метали зеленые брызги, она шипела, и хвост ее, похожий на круглую щетку, странно дрожал. Сейчас раки лежали успокоенные — оранжевые и пурпурные, чуть подернутые старой бронзой — на синем блюде. Водка была прозрачна, как лед, рюмки потели, и звон их соперничал со звоном точнейших часов, спешивших к далекому утру.

Ледяная ночь шумела листвой по крыше. Было слышно, как за две версты неслись поезда, изрыгая ржавое пламя. Звезды падали за стеклами окон, гонимые ветром. Уют наливался теплом,— из медного чайника со свистом вылетал пар. Миссури ходила около стульев и нежно мяукала, вся в ярком круге лампы-молнии, боясь ступить в тень под столом.

Батурин, выпив, любил говорить печально и значительно.

— Слышно, как уходит время,— сказал он, закуривая. Табачный дым обтекал сверкающее ламповое стекло, и он долго следил за ним.— Вот это тишина!

Берг тишины боялся. Боялся мертвых ночей и одиночества. Он был молчалив, спокоен. «Тихий еврейский мальчик»,— подумал о нем Батурин.

У Берга часто болело сердце. По ночам оно мотором гудело между ребер, и Берг затихал, не засыпая, прислушивался к предсмертной обморочной тоске. Из упрямства,

из мысли, что писатель должен пройти через все, он заставлял себя спать в полуразрушенном мезонине на сене. Ветер насвистывал в щели и ворошил сено, шагал по гулкой железной крыше, тупо стучал еловыми лапами в оконную раму. Но Берг терпел.

Утром этого дня он, как всегда, встал рано и пошел на Серебрянку купаться. В иссиня-черной воде струились по дну, как волосы, мертвые травы. Едкая роса капала с осин. Над ельником в тумане, как бы в дыму пожара, выползало косматое клюквенное солнце.

Берг быстро разделся, погладил голубоватую вялую кожу. Солнечное тепло не могло пробить мощную толщу сырости. Ледяной ветерок подымался от насквозь промокшей земли. Берг бросился в воду, вскрикнул и тотчас же выскочил. Он быстро и плохо вытерся и оделся. Сырые ноги зябли в рваных ботинках. В теле не было обычной бодрой теплоты, и быстрая боль внезапно дернула сердце. Берг согнулся и застонал. Если бы можно было пожаловаться — стало бы легче, но жаловаться некому и нельзя.

Кулак, стиснувший сердце, разжимался медленно: сперва Берг мог вздохнуть в четверть дыхания, потом в полдыхания, потом он осторожно выпрямился, вздохнул всей грудью и, боясь споткнуться о корни, пошел к даче.

«Надо кончать повесть,— подумал он.— Как бы не сковырнуться раньше времени».

Писал он на подоконнике, сидя боком на продавленном плетеном стуле. Цепной пес Цезарь, завидя Берга в окне, долго и обиженно лаял, а Берг смотрел на него и грыз карандаш.

— Берг работает,— говорил, просыпаясь, капитан и стучал в стенку Батурину.— Вставайте. Семь часов. Цезарь завыл.

Никогда Берг не писал так легко, как в этой комнате, засыпанной желтой листвой и сеном, под лай мохнатого пса. Солнце подымалось над Серебрянкой, небо накрывало леса хрустальным колпаком, и тишина рождалась в перелесках. Только сердце в такт бегу карандаша билось легко и быстро.

Сейчас Берг вспомнил об этом и улыбнулся.

— Вы чего? — сказал капитан и вдруг спросил: — Вы женщин любили?

Берг смешался и покраснел.

— Два раза...

— Ну?

— Что — ну?

— Рассказывайте. Ваша очередь.

Берг помедлил, повертел пустую рюмку. Неожиданно он понял, что вот сейчас расскажет самое главное, о чем даже думать позволял себе редко и неохотно. Он взглянул на Батурина,— поймет ли? Батурин был печален, лицо его покрылось нервной бледностью, в углах губ лежала горечь. Он внимательно посмотрел на Берга, усмехнулся.

— Ну, что же?

Берг вспыхнул.

— Ладно, вам же хуже,— невнятно сказал он.— Да, конечно любил. Двух. Одна была женщиной из книги — Настенька из «Идиота». Из-за нее я первый раз в жизни украл у отца два рубля на театр. К нам приехала труппа из Киева. Они ставили «Идиота». Настеньку играла Полевицкая. Я проплакал на галерке спектакль, потом спрятался в уборной, чтобы не уходить из театра, из уборной перебрался под лестницу. «Идиот» шел два дня подряд. Я просидел всю ночь и весь следующий день,— меня никто не заметил. На репетиции я слышал ее голос; потом капельдинер нашел меня и хотел вышвырнуть. Он обозвал меня «пархатым жиденком», я дал ему последний рубль, чтобы он не выгонял меня. Смешно.

Так я начал страдать из-за женщины и из-за литературы. Капельдинер толкнул меня в шею: сиди за вешалкой, байстрюк! Я просидел до спектакля и дрожал от страха, что меня накроет другой капельдинер, выгонит, и я больше не увижу Настеньку.

После спектакля я пошел к бабушке Мане,— домой я идти боялся. Я стонал при мысли, что в жизни никакой Настеньки нет и не было. Зачем так выдумывать,— я никак не мог понять! Зачем так мучить людей!

Берг задумался. Миссури вскочила к нему на колени, запела и начала тереться, закрывая от наслаждения глаза и прижимая ухо.

— В антракте выпьем,— предложил капитан.

Тонко посыпался звон рюмок. За стенами начался дождь, он рассеянно постукивал по желобу.

— Я пошел к бабушке Мане, занял три рубля и бежал в Одессу. Отец запорол бы меня. В Одессе меня подобрал поэт Бялик. У него была своя типография. Я работал у него мальчиком. Вот вам одна история.

Он помолчал.

— Первая была не настоящая женщина. Конечно, лучше бы ограничиться только ею. Вторая была настоящая, русская девушка, дочь профессора. Это было под Петербургом, на даче, на Неве. Я ходил за ней, как тень, как собачонка. Она говорила мне: «Милый вы, милый Берг, куда вы годитесь!» Я жалко улыбался в ответ, старался быть незаметнее. Я забыл сказать, что я гостил у профессора, отца девушки.

По ночам было светло,— я читал Пушкина, не зажигая лампы. Горы зелени тяжело висели над водой, вода была черная и чистая — такой воды я нигде не видел.

Как-то мы катались на лодке, я греб. Она откинула со лба мои волосы, пригладила и сказала:

— Устал, мальчик мой милый?

Мы тихо пристали, вышли. Белые ночи раздражают, пугают людей, я тогда как-то забыл об этом.

Проходили мимо купальни. На лодке сидел рыболов, я видел красный уголек его папиросы. Она вдруг сказала:

— Я пойду выкупаюсь, Берг. Подождите меня здесь.

— Я тоже буду купаться.

— Вы? — она искренне удивилась.— Вам ночью нельзя.

— Почему?

— Глупый вы мальчик. Да потому, что вы — цыпленок, еврей!

— Ладно,— ответил я, и у меня похолодело все — мозги, руки, даже живот.— Ладно, идите купайтесь.

Она ушла в купальню. Я быстро разделся и бросился в воду. От обиды я глотал слезы вместе с невской водой, быстро ослаб, меня понесло к середине реки. Я закричал,— мне показалось, что не река несет меня, а море, вспухшее море, и я не вижу берегов. «Все равно,— подумал я.— Пусть!»

Очнулся я на бонах спасательной станции. Меня растирал матрос. Над кущами садов уже розовела заря. Она стояла на коленях рядом с матросом, в купальном костюме, бледная, черные волосы прилипали к ее щекам.

— Берг, я же вам говорила! — крикнула она, когда я открыл глаза.— Вот видите, Берг!

Я сел. Матрос принес мне платье. Она побежала одеваться в купальню. Матрос сказал мне:

— С вашей комплекцией вы плавать опасаитесь. Грудь у вас узковата.

Я поблагодарил его, оделся и пошел пешком к Петербургу. Я слышал, как она звала меня:

— Берг, Берг, куда вы? Берг, сумасшедший!

Она бежала за мной. Я остановился.

— Что с вами, Берг, милый? — спросила она с большой, настоящей тревогой.— Куда вы?

— Оставьте меня,— ответил я глухо.— Я вас ненавижу!

Я отвернулся и пошел через сады к мостам. Она молчала. Я не оглядывался. Вот вам второй случай.

— Вы ненавидите ее и теперь? — спросил Батурин.

— Да, ненавижу.

Батурин усмехнулся. Берг взял папиросу, руки у него задрожали, и он неловко положил ее обратно. Батурин вспомнил, как Берг закаляет себя, его купанья на рассветах, его обдуманное упорство, и вслух подумал:

— Да, это хорошо. Это правильный вывод.

Капитан определил просто:

— Антисемитка!

Дождь звенел в желобе. Казалось, он звенит годы, столетья, так равномерен был этот привычный ночной звук. Оцепененье дождя и мурлыканье Миссури внезапно были нарушены ударом ветра. Он хлестнул по стене гибкими ветками берез, швырнул ворох листьев, капли торопливо застучали в стекла, и в лесу раскатился выстрел из дробовика. Залаял Цезарь. В печной трубе заворочалось мохнатое существо, которым пугают детей, и тяжко вздохнуло. Капитан прикрутил лампу.

— Кто-то мотается около дома,— сказал он, всматриваясь в окно.

Цезарь гремел цепью и хрипел от бешенства. Невидимые шаги трудно чавкали по грязи, потом в окно громко застучала мокрая рука.

— Эй, кто на дворе? — крикнул капитан и подошел к окну. Он нагнулся и рассматривал серое лицо за стеклом.

Человек в мягкой шляпе что-то неслышно говорил, губы его двигались. Ветки хлестали его по спине. Капитан открыл окно,— ворвался ветер, широкий гул леса. Лампа мигнула и потухла. Человек за окном спросил тонким мальчишеским голосом:

— Здесь живет Берг?

Берг бросился отворять. Незнакомец вошел, снял пальто и оказался худым, с легкой сединой в волосах. Его

желтые ботинки размокли, на них налипли лимонные листья. Он несколько раз извинился.

— Я больше трех часов искал вашу дачу. Спросить некого, пришел наугад, на огонь.

— Выпейте водки, согрейтесь,— приказал капитан.

— Я не пью.

— А вы так, смеху ради.

Незнакомец с внимательным изумлением взглянул на капитана и выпил.

Это был известный инженер Симбирцев, специалист по двигателям внутреннего сгорания. Берг несколько раз рассказывал о нем капитану. С инженером Берг познакомился в столовой «Дома Герцена», где собирались по вечерам бездомные поэты и праздные люди — любители чарльстона и фокстрота. Инженер был склонен к литературе, любил стихи, писал их изредка и печатал под псевдонимом.

Склонность к стихам Симбирцев тщательно скрывал от товарищей: о стихах он говорил только с немногими поэтами.

В разговоре с капитаном Берг назвал инженера «лириком». Капитан возмутился,— в его мозгу не укладывались два таких враждебных занятия, как моторы и поэзия. Берг же говорил, что, наоборот, в машинах и чертежах больше поэзии, чем в стихах Пастернака. Однажды он назвал океанские пароходы «архитектурными поэмами». Капитан фыркнул и обругал Берга.

— Такая поэма как вопрется в порт, так на версту завоняет всю воду нефтью. Эх вы, слюнтяй!

Поэтому к инженеру капитан отнесся недоброжелательно,— как может построить даже дрянной мотор человек, склонный к лирике?! Форменная чепуха!

Серые глаза и костюм цвета светлой стали, седеющие виски и неторопливый взгляд оценщика — таким инженер показался Батурину.

— Инженер огляделся.

— Далеко забрались. Даже не верится, что в тридцати верстах Москва. Я к вам по делу.— Он обернулся к капитану, потом взглянул на Батурина и Берга.

— Поговорим,— согласился капитан, накачивая примус. Его занимало, какие могут быть к нему дела у этого сухого европейского человека и к тому же — лирика.

Лирику капитан не любил. Под словом «лирика» он понимал ухаживание за кисейными барышнями, проник-

новенные речи адвокатов на суде, охи и ахи, восхищение природой, обмороки и не соответствующие мужчине разговоры, например о болонках.

При слове «лирика» ему вспоминался недавний неприятный случай в поезде. Напротив него сидела красивая дама в котиковом манто. Ехала она в Тайнинку. Было поздно, дама очень боялась и искала в вагоне попутчика. Капитан сказал ей:

— Тайнинка — место известное. Там вам голову оторвут и в глаза бросят.

Дама обиделась: «Какой грубиян!» — «Лирическая дама»,— подумал капитан. С тех пор каждый раз при слове «лирика» он вспоминал эту даму и придумывал ей имена: Лирика Густавовна, Лирика Панкратьевна, Лирика Ивановна. Эти имена назойливо лезли в голову, капитан злился и в конце концов возненавидел даму с дурацким именем и заодно всех лирических поэтов. Об этом он сказал Батурину.

— Ну, а Пушкин?

Капитан рассердился:

— Что вы берете меня на бас! Какой же Пушкин лирик!

Батурин махнул рукой и прекратил с капитаном разговоры о литературе.

— Алексей Николаевич,— спросил Берг Симбирцева,— как поэма?

— Работаю,— неохотно ответил Симбирцев.

«Работает,— ядовито подумал капитан.— Он работает!»

Капитан начал бешено накачивать примус, мысленно приговаривая при каждом свисте насоса: работай, работай, работай! Бесшумный примус не выдержал и загудел. Капитан озадаченно посмотрел на него, плюнул и сел к столу. Раздражение его прошло.

— Поговорим,— повторил он, закуривая.

Батурин и Берг понимали, что дело важное, иначе Симбирцев не приехал бы вечером к ним, зимникам, за тридцать верст от Москвы.

— Дело простое,— Симбирцев медленно помешал чай.— От Берга я знаю, что вы без работы,— он говорил, обращаясь к одному капитану.— И вы и вот... товарищ,— он посмотрел на Батурина.— Да, вы пишете очерки в газете, но это случайная работа. Берг вообще человек свободный, живет на двадцать рублей в месяц.

— Хорошенькая свобода,— пробормотал Берг.

Симбирцев помолчал, потом спросил неожиданно:

— Вы слышали о летчике Нелидове?

— Тот, что разбился в Чердынских лесах?

— Тот самый. Я хочу предложить вам одно дело, но оно требует большого предисловия. Пожалуй, проговорим до рассвета.— Он виновато улыбнулся.

— Ну что ж,— капитан повеселел. Любопытство его было неистощимо.— Валяйте. Мы и без вас просидели бы до утра вот за этим...

Он хотел щелкнуть пальцем по бутылке водки, но раздумал и щелкнул по красному панцирю гигантского рака.

Симбирцев начал говорить. Его ломающийся голос окреп.

Он нервно проводил рукой по волосам. Рассказ его разворачивался скачками; в провалах, словесных пропастях Батурин угадывал прекрасные подробности, отброшенные торопливой рукой. Синий дым табака рождал мысли о Гофмане. Дым скользил по плакатам, ветер шумел в снастях этих бумажных кораблей.

Только однажды капитан прервал рассказ инженера восклицаньем:

— Да, это человек!

Возглас этот сразу расширил рамки рассказа. Батурин вздрогнул, и гордость, почти до теплых слез, до дрожи, заволновалась в нем.

— Да, вот это человек,— прошептал он вслед за капитаном.

Он был ошеломлен, как от удара ослепительного метеора в их скромную Серебрянку.

Иная жизнь накатилась ритмическим прибоем. На минуту Батурин потерял нить рассказа. Ему почудилось, что капитан распахнул окно, и за ним был не черный лес и пахло не мокрой псиной от Цезаревой будки, а стояла затопленная ливнем чужая страна. Серебряный дым подымался к чистому и драгоценному небу. О. Генри мылся вместо Берга у колодца, капли стекали с его коричневых пальцев. Солнце пылало в воде.

В прихотливом нагромождении опасностей, встреч и трудных часов ночной работы открылись контуры необычайной истории — близкой нашему веку и вместе с тем далекой, как голос во сне.

Газетная заметка об этой истории не вызвала бы и тени того волнения, какое появилось на щетинистом лице капитана.

Батурин был тоже взволнован. В этом волнении он провел всю мягкую, полную зеленоватых закатов зиму, стоявшую на дворе в том году. Он понял, что история эта неизбежно зацепит его своим острым крылом и к прошлому возврата не будет.

— Не будет! — кричал он про себя и смеялся.

Искушенный читатель прочтет эту историю и пожмет плечами,— стоило ли так волноваться. Он скажет слова, способные погасить солнце: «Что же здесь особенного?» — и романтики стиснут зубы и отойдут в сторону.

ДНЕВНИК ЛЕТЧИКА

Вот рассказ Симбирцева.

— Значит, вы слышали о летчике Нелидове? Этой весной он разбился в Чердынских лесах во время агитполета по северу. Его нашли в тайге на четвертый день после падения. Он заблудился в тумане и отклонился далеко на север. Похоронили его в Чердыни.

Он помолчал.

— Нелидов — мой друг. Это была светлая и смелая голова. Он любил литературу не меньше своего летного дела. В кабине его самолета нашли книгу О. Генри с пометками и записями на полях. Некоторые из них я вам прочту. Но дело не в записях. Нелидов оставил дневник. Он не решался брать его в полеты. «Разобьешься — сгорит»,— говорил он и оставлял его у сестры — киноартистки.

Суть дела, ради которого я приехал, именно в этом дневнике. Дневник я видел еще при жизни Нелидова, мельком просматривал и кое-что даже выписал. С большой натяжкой этот научный и литературный труд можно назвать дневником. Это нечто совершенно новое в литературе, да и вообще в истории культурного человечества.

Капитан кашлянул.

— Как бы вам объяснить. Возьмем хотя бы план. Начинается дневник с исследования о сопротивлении воздуха при полете. Много выкладок, цифр, но все это неожиданно и очень кстати пересыпано мыслями из дневника Леонар-

до да Винчи, своими личными записями, теми чувствами, какие возникали у Нелидова при работе над этим специальным летным вопросом.

Он, конечно, исходил из положения Леонардо, простого и гениального, как закон тяготения. «Птица,— говорил да Винчи,— при полете опирается на воздух, делая его более густым там, где она летит». Нелидов дал ряд изумительных наблюдений над полетом птиц,— особенно много он пишет о журавлином полете. Здесь же Нелидов вставил короткий очерк о птицах в литературе — от иудейских голубей Майкова до голубей поэта Багрицкого, до чудесных его стихов о птицелове Диделе. Поначалу это кажется хаотичным, но через пять — десять страниц уже улавливаешь в обманчивом беспорядке записей облик человека, никогда не оглядывающегося назад.

От этой темы Нелидов переходит к проекту авиамотора. Он был летчиком группы «четыре тысячи пятьсот метров». Летчиков по выдержке и здоровому сердцу делят на несколько групп. Первая группа — тысяча пятьсот метров. В нее входят летчики, которым выше тысячи пятисот метров летать не разрешают. Группы, постепенно повышаясь, доходят до четырех тысяч пятисот метров, до группы «высотных летчиков», куда был причислен Нелидов.

Наилучшими он считал полеты «под потолок» — пока держит мотор. Естественно, что его занимал вопрос о высотных моторах. В этой области ему удалось сделать большое открытие.

«Разве у нас моторы? — говаривал он.— Это несгораемые кассы».

Обычно мотор в тысячу сил весит две тысячи кило,— Нелидов сконструировал тысячесильный мотор весом в пятьсот кило. Это значит, что самолет с его мотором может взять вчетверо больше горючего и вчетверо удлинить полет.

На высоте мотор страдает, как и человек, горной болезнью; он задыхается, и пульс его быстро падает. Мотору нужен заряд кислорода. И вот Нелидов придумал особый тип конденсатора, сгущающего разреженный воздух тех страшных высот, куда он подымался, и нагнетающего его в цилиндры для взрыва. Нагнетание производит турбинка, действующая от напора воздуха.

Все эти проекты и чертежи есть в дневнике. Вы понимаете, какая это ценность для нашего воздушного флота.

Высоты меняют людей. После высотных полетов Нелидов терял раздражавшую неврастеников жизнерадостность. Он сильно бледнел и смотрел на все окружающее так, будто видел его сквозь стекло,— прозрачно смотрел. Я бы назвал это состояние оцепенением высот. Я спросил его, что он чувствует вверху. Он дал мне дневник и отчеркнул ногтем страницу: «Прочти вот это».

Он писал:

«На высоте — сознанье, память, мысли — все обостряется. На высоте я один. Я ощущаю в себе центростремительную силу.

Высотные полеты делают людей индивидуалистами. Только на высоте четырех километров можно понять, что такое вот эта моя голова, дать ей настоящую цену. Любовь и ненависть, пережитые внизу, обжигают сердце.

На высоте я всегда кричу,— стараюсь перекричать мотор. Я кричу одну только строчку чьих-то стихов — «Земля, как мать, нежна к забытым божествам»,— и от возбужденья у меня холодеют руки.

Почему все это происходит — не знаю».

Был с ним один случай. Результаты его получились неожиданные. Во время полета он встретил дождь. Дождь шел полосой. Нелидов повернул аппарат и стал гонять как безумный вдоль водяной стены. Мотор грозно и недовольно ревел — ему не нравилась эта забава. Дождь стоял до самой земли совершенно бесшумный (на высоте дождь не шумит). Внизу лежали озера.

Нелидов летел на гидро. Он сел на одно из озер. Синий и золотой горизонт закачался в глазах. На берегу стояла деревня, в ней жили кустари — бывшие богомазы. Нелидов прожил там два дня, чинил мотор. Кустари подарили ему на прощанье ящичек. На нем была изображена лаковыми красками лубочная пестрая страна.

Нелидов вернулся в Москву, взял отпуск и уехал в эту деревню. Он исходил пешком весь кустарный район и написал монографию о кустарных промыслах — лаковых изделиях, кружевах, выделке замши и набойке. Он привез коллекцию набоек и подарил кустарному музею. Мотив петушка на тканях приводил его в восторг.

Работа о кустарных промыслах вписана в дневник. Он пишет с большим знанием дела. Он проследил до мельчай-

ших подробностей способы работы, выведал секреты прочных и ярких красок и изучил происхождение кустарного орнамента.

После этого Нелидов совершил два агитполета по северу. Между полетами был перерыв, и за время перерыва он ухитрился написать две прекрасные работы: о поэте Мее и о «сколачивании фразы». Последняя работа особенно интересна. Она состоит только из примеров, объяснения к ним скупы и отрывочны. Нелидов берет ряд рыхлых неуклюжих фраз из книг некоторых писателеи и «чистит» их, выбрасывает лишние слова, пригоняет и свинчивает с такой же тщательностью, как собирает мотор.

Он обдумывает каждое слово, и в результате фраза у него крепка, свежа, понятна. Освобожденная от столетней накипи, она получает первозданную ясность. Русский язык насыщается мерностью латинской речи, птичьим плачем китайской, полутонами французской. Нелидов раскрывает все великолепие языка. Язык становится его новой страстью.

О Мее Нелидов написал очерк, вернее, биографию этого почти выброшенного из памяти поэта. Мей кажется, в передаче Нелидова, гофманским персонажем. Нелидов прекрасно понимал недостатки Мея, но говорил, что ему можно все простить за эти вот строки:

Феб утомленный закинул свой щит златокованый за море,
И разливалась на мраморе
Вешним румянцем заря...

Меем Нелидов заинтересовался во время первого агитполета по северу.

Было это в Усолье, где Нелидов застрял из-за дождей. Самолет поставили на выгоне, накрыли брезентом, привязали к кольям и приставили для охраны бородатого милиционера. При виде Нелидова милиционер хрип и мигал красными глазками.

Городок поливали дожди. Каждую ночь Нелидов вставал, натягивал задубевший дождевик и шел проверять охрану. Охрана уныло бодрствовала.

Нелидову отвели комнату в почтово-телеграфной конторе — одном из лучших зданий города. В комнате пахло сургучом, штемпельной краской и водкой. Начальник конторы,— одинокий горбун и пьяница, сосед Нелидова по комнате,— при первой же встрече, когда Нелидов выско-

чил из кабинки и, оглушенный, жал руки представителям власти, потянул его за рукав и крикнул:

— Вы на земле одно ухо всегда завязывайте! Оно тогда в воздухе лучше слышать будет.

Нелидов взглянул с изумлением.

— Я это дело понимаю! — снова крикнул горбун.— В воздухе надо иметь слух острый, чтобы в моторе каждую пылинку было слыхать.

«А ведь верно,— подумал Нелидов и улыбнулся горбуну.— Пожалуй, попробую».

В честь Нелидова был устроен банкет в бывшей пивной. Вдоль стены протянули кумачовый плакат: «Привет первому воздушному гостю». Керосиновые лампы пылали на столах с водкой и закусками.

Нелидов чувствовал себя неловко,— очень он был тонок и молод среди грубоватых и небритых людей. Когда он вошел, свежий, в ловком френче, с орденом Красного Знамени, когда его мягкий пробор склонился перед председателем уисполкома, тискавшим его руку, кто-то из усольских дам ахнул. Кругом зашипели. «Гражданка Мизинина»,— сказал предостерегающе председатель и покраснел.

За столом Нелидов говорил мало. Ему все вспоминалась Ходынка, мокрая трава, серый «бенц», привезший его на аэродром, огни предутренней Москвы. Он, потупясь, слушал речь председателя.

— Спасибо, не забыли,— говорил тот, однообразно помахивая рукой.— Дорогой наш воздушный гость пусть не взыщет,— сторона наша зырянская, лесная — одни волки да сосны. Настоящих советских людей мы почитай что не видели. Советская власть делает все для трудящихся, Советская власть в лепешку расшибается — и вот результаты, товарищи! С нами, в волчьей нашей глуши, сидит советский летчик, кавалер пролетарских орденов. Не то важно, что прислали к нам самолет, а то, что показали нам нового человека — каков он должен быть. Пример берите, товарищи, чтобы каждый был с таким багажом в голове; рабочий, а культура на нем такая, что с кожей ее не сдерешь.

Нелидов покраснел и встал. Напряженный взгляд чьихто глаз остановился на нем, и стакан в сухой руке летчика дрогнул. Глядя только на эти глаза, на побледневшее девичье лицо, он начал говорить ответную речь.

Он говорил тихо. Говорил об авиации, о том, что он счастлив покрывать сотни верст над сплошными лесами,

чтобы доставить затерянным в глуши людям возможность радоваться вместе с ним человеческому гению, упорству, смелости.

Он сел. Тогда встала девушка с взволнованным лицом. В свете ламп ее волосы были совсем золотые. Она потупилась и очень тихо, но упрямо сказала:

— Возьмите меня в Москву,— я не боюсь. Я учиться хочу. Не могу я здесь оставаться.

— Наташа, сядь,— строго сказал председатель и, извиняясь, шепнул Нелидову: — Дочка моя. Все плачет — в Москву, в университет. Как вы прилетели — совсем спятила.

— Что же. На обратном пути залечу, возьму.

Наташа взглянула на Нелидова так, что он даже подумал: «Не язычники ли они, эти усольцы. Смотрят как на божка, даже страшно».

Банкет стал шумнее. Говорили о медведях, волках, ольхе, сплаве и охоте. В разгар банкета горбун-почтарь потребовал тишины и пьяно запел:

Графы и графини!
Счастье вам во всем.
Мне же лишь в графине,
И притом — в большом.

На него зашипели: «С ума спятил — петь про графов и графинь!» Почтарь сконфуженно умолк, спрятался. Когда возвращались с банкета, горбун, придерживая Нелидова за локоть, сказал:

— Поэта Мея читали? У меня есть книжка, я вам принесу. Был он нищий, несчастный человек, пьяница. Зимой замерзал, топил печи шкафом красного дерева, честное слово. Выйти было не в чем. А между тем великие богатства словесные носил в голове, великолепие языка неслыханное. Однажды па закате, так сказать, жизни подобрал его граф Кушелев, привез к себе на раут. Женщины-красавицы пристали к Мею, чтобы прочел экспромт. Он налил стакан водки, хватил, сказал вот то самое, что я пел,— «Графы и графини, счастье вам во всем», заплакал и ушел. Так и кончил белой горячкой, хотя и был немец.

Нелидов в Усолье плохо спал,— мешала полярная тьма, храп за стеной и тараканы. Самолет прочно завяз в глине. Приходилось ждать. Страдая от бессонницы, Нелидов начал читать Мея, в результате — работа об этом эклектике, действительно пышном и несчастном.

На обратном пути Нелидов залетел в Усолье, взял Наташу и доставил ее в Москву. Она и сейчас в Москве,— хорошая девушка, вузовка. Вскоре после этого Нелидов погиб.

— А дневник где? — строго спросил капитан.

— Дневник оставался у его сестры. Она уехала на юг,— Симбирцев насмешливо улыбнулся,— искать пропавшего мужа. Уже полгода о ней ничего неизвестно. Ее муж долго вертелся в Москве (он кинооператор, по происхождению американец), потом за неделю-две перед гибелью Нелидова он бросил жену и скрылся. Она уехала на юг вслед за ним, дневник увезла с собой. Так рассказывает Наташа. Нелидова — женщина взбалмошная, от нее можно ждать самых нелепых поступков. Возможно, что она найдет мужа и уедет с ним за границу, но дневник во что бы то ни стало надо отобрать.— Симбирцев будто жирной чертой подчеркнул это слово.— Он слишком ценен для того, чтобы мы могли выпустить его из своих рук.

— Кто это мы? — спросил Берг.

— Воздушный флот и русская литература.

Капитан засвистел: сильно сказано!

— Нелидову надо найти и дневник отобрать. Для этого нужны смелые, ни с чем не связанные люди, немного авантюристы.

— Я протестую,— капитан скрипнул стулом.

— Неважно. Обидеться вы успеете всегда. Я говорю о деле, а не о ваших чувствах. Проект мотора в пятьсот кило не валяется на улице, и ценность его для государства громадна. Государство, в лице одной из своих организаций, дает на поиски немного денег. Я в этом участвовать не могу, я болен. Это для вас.— Симбирцев кивнул на капитана.

— Второе — для Берга и товарища (Батурина,— подсказал Берг)... Батурина,— повторил Симбирцев.— Дневник этот — событие в литературе наших дней.

— Ясно!

Капитан поднялся исполинской тенью на стене и хлопнул по столу тяжелой лапой. Упали рюмки. Миссури проснулась и презрительно посмотрела на красное от волнения капитанское лицо.

— Ясно! Довольно лирики, и давайте говорить о деле. Мы согласны.

Батурин встал, налил водки. К окнам прильнул синий

туманный рассвет. Батурин выпил рюмку, вздрогнул и спросил:

— Поехали, капитан?

— Поехали! Будьте спокойны,— этот американский шаркун вспомнит у меня папу и маму.

«СТОЙ, Я ПОТЕРЯЛ СВОЮ ТРУБКУ!»

Берг условился с Симбирцевым встретиться во Дворце труда, в столовой. В сводчатой комнате было темно. За окнами с угрюмого неба падал редкий снег. Сухие цветы на столиках наивно выглядывали из розовой бумаги.

Берг сел боком к столу и начал писать. Он написал несколько строчек, погрыз карандаш и задумался. В голове гудела пустота, работать не хотелось. Все, что было написано, казалось напыщенным и жалким, как цветы в розовой бумаге: «Бывают дни, как с перепою,— насквозь мутные, вонючие, мучительные. Внезапно вылезает бахрома на рукавах, отстает подметка, течет из носу, замечаешь на лице серую щетину, пальцы пахнут табачищем. В такие дни страшнее всего встретиться с любимой женщиной, со школьным товарищем и с большим зеркалом. Неужели этот в зеркале, в мокром, обвисшем и пахнущем псиной пальто, это я, Берг,— это у меня нос покраснел от холода и руки вылезают из кургузых рукавов?».

Берг изорвал исписанный листок. «Ненавижу зиму,— подумал он.— Пропащее время!»

Настроение было окончательно испорчено. Берг вышел в темный, как труба, коридор и пошел бродить по всем этажам.

На чугунных лестницах сквозило. За стеклянными дверьми пылились тысячи дел и сидели стриженые машинистки, главбухи и секретари. Пахло пылью, нездоровым дыханьем, ализариновыми чернилами.

Берг поглядел с пятого этажа в окно. Серый снег шел теперь густо, как в театре, застилая Замоскворечье. На реке бабы полоскали в проруби белье, галопом мчались порожние ломовики, накручивая над головой вожжи. Прошел запотевший, забрызганный грязью трамвай А. Из трамвая вышел инженер с женщиной в короткой шубке; она быстро перебежала улицу.

Берг, прыгая через три ступеньки, помчался в столовую. Симбирцев был уже там. С ним сидела высокая девушка в светящихся изумительных чулках.

— Вот Наташа,— сказал Симбирцев Бергу.— Тащите стул, будем пить кофе.

Берг пошел за стулом. Ему казалось, что Наташа смотрит на его рваные калоши,— он покраснел, толкнул соседний столик, расплескал чашку кофе. Человек во френче посмотрел на него белыми злыми глазами. Берг пробормотал что-то невнятное, на что френч брезгливо ответил:

— Надо же ходить аккуратней.

«Удрать бы»,— подумал Берг, но удирать было поздно. Кофе он пить не мог,— несколько раз подносил кружку ко рту, но рука дико вздрагивала и пить, не рискуя облить себя, было невозможно. Единственное, что можно было сделать, не выдавая себя,— это закурить. Берг вороВато закурил.

— Вы что же не пьете? — спросила Наташа.

— Я горячий не пью.

Бергу показалось, что все заметили, как у него дрожат руки, и смотрят на него с презрительным недоумением.

— Наташа,— сказал Симбирцев,— расскажет многое, что вам необходимо знать, прежде чем начать поиски. Было бы хорошо собраться всем вместе.

— Да, конечно,— пробормотал Берг.

Наташа вынула из сумочки коробку папирос. Берг, стараясь изобразить рассеянность, хотел потушить папиросу в пепельнице, но опоздал.

— Будьте добры,— сказала она. Берг похолодел: так и есть! Она просит прикурить. Он изогнул руку, уперся локтем в столик и в сторону, вбок протянул папиросу. Папироса дергалась. Наташа крепко взяла его за руку и спокойно прикурила.

— Вы больны,— сказала она.— У вас психастения. Вам надо серьезно лечиться.

Инженер щурился на дым, щелки его глаз смеялись.

— Она медичка,— он показал папиросой на Наташу.— Вылечит, будьте спокойны. Ну, так где же мы встретимся?

— Можно у нас,— робко предложил Берг.— В воскресенье. Там хорошо, снегу уже навалило.

— А лыжи у вас есть? — спросила Наташа.

— Есть. У Нелидова.. то есть у Батурина, есть две пары.

— Ну вот, прекрасно.— Симбирцев встал.— В воскресенье с одиннадцатичасовым я приеду с Наташей, поговорим, потом пошляемся по лесу. Заметано. А сейчас я пошел.

Берг тоже встал, начал застегивать пальто. «Удеру,— подумал он.— Как глупо все вышло!»

— Вы куда?

Он сделал отчаянную попытку догадаться, куда пойдет Наташа, чтобы назвать как раз противоположный район.

— Значит, нам вместе. Мне к Арбатским воротам. Идемте!

Берг пошел как на казнь. «О чем бы заговорить?» — думал он и мычал.

— Да... что я хотел сказать... да... вот это самое...

— Вы уедете, и у вас все пройдет.— Наташа тронула его за локоть.— Вам надо переменить обстановку.

Берг рассердился.

— Ничего у меня нет. То есть я совершенно здоров. Попросту холод собачий, я никак не могу согреться. В поезде зябнешь, в Москве зябнешь,— кому нужен этот холод, не понимаю. Самое нелепое время — зима!

— А я люблю зиму. Вы южанин, вам, конечно, трудно.

— Я еврей!

Наташа засмеялась. На глазах ее даже появились слезинки. Смеялась она легко, будто что-то бегучее и звонкое лилось из горла. Она взяла Берга за рукав.

— Ну так что ж, что еврей? Вы сказали это так, будто выругали меня. Ужасно смешно и... мило. Ну, а теперь расскажите мне про вашего страшного капитана. Капитана я боюсь,— она искоса взглянула на Берга.— Говорят, он ненавидит женщин и одной рукой двигает комод. Он не будет рычать на меня?

— Пусть попробует,— пробормотал Берг хвастливо, тотчас же подумал: «Как пóшло, боже, как пóшло! — и ущипнул себя через карман пальто за ногу.— Идиот!»

Наташа шла быстро. Берг глядел украдкой в ее зеленоватые глаза, и зависть к инженеру засосала под ложечкой. Зависть к инженеру и ко всем хорошо выбритым, уверенным мужчинам, которые так весело и непринужденно обращаются с насмешливыми женщинами.

«Шаркуны!» — подумал он о них словами капитана.

На Арбатской площади они расстались. Берг вздохнул,

размял плечи и закурил «Червонец». Он чувствовал себя как грузчик, сбросивший пятипудовый мешок, сдвинул кепку и, насвистывая, пошел по Пречистенскому бульвару к храму Христа.

Снег казался ему душистым и даже теплым. В домах шла уютная зимняя жизнь: кипятили кофе, смеялись дети, жаром тянуло от батарей отопления, и сухой янтарь солнца брызгал в глаза женщин. Ущипленное место на ноге сильно болело.

До воскресенья Берг прожил в снежном дыму, в глубокой созерцательности. Он починил старый пиджак, достал утюг и разгладил брюки выстирал рубашку. Капитан помогал ему советами.

На дачу Берг возвращался раньше всех, еще засветло. До приезда капитана он лежал у него на продавленном диване. Миссури спала рядом, от шкурки ее тянуло теплом. За окнами морской водой зеленели глухие закаты. С верхушек сосен сыпался снег. Воздух похрустывал, как лед, и дым уходил столбами к небу.

«Антициклон,— думал Берг.— Тишина!»

Потом в синем окне очень далеко и низко, над самой рамой, зажигали звезду, и Берг засыпал.

Отъезд задерживался из-за денег. По словам капитана, «гадили главбухи» — народ неромантичный и сомневающийся.

Раздраженные приказы ускорить выдачу денег главбухи принимали как каприз ребенка и, поправляя очки, шли к начальству объясняться и разводить руками. Но чающим денег они внушали, что, пока не сведен баланс, денег дать нельзя и настаивать на выдаче просто глупо.

Капитан и Симбирцев злились. Берг и Батурин ждали терпеливо — они предпочитали выехать позже, к весне.

Берга будил капитан.

— Опять не дали, сволочи, денег! — гремел он, стаскивая пальто.— Всем главбухам — камень на шею и в реку. Сидят на подушечках от геморроя и кудахчут, как квочки.

Геморрой был высшей степенью падения в глазах капитана. О людях, не заслуживающих внимания, он говорил: «У него же геморрой, разве вы не видите!»

Воскресенье пришло в тишине и оранжевом солнце. Берг умывался и пел,— вода пахла сосной и снегом.

Прочь, тоска, уймись, кручинушка,
Аль тебя и водкой не зальешь! —

пел Берг плескался и фыркал. Батурин в своем обычном виде — с засунутой в угол рта папиросой и прищуренным глазом — возился с лыжами, мазал их дегтем и натирал тряпкой до сверхъестественного блеска.

Капитан прибирал комнату, половицы стонали под его ботинками. Он бранился с Миссури по-английски. С ней он говорил всегда по-английски, чтобы не забывала языка. Миссури, растопырив пятерню, яростно вылизывала лапу, вывернув ее и держа перед собой, как зеркало, и искоса поглядывала на капитана.

— Я тебе посмотрю,— бормотал капитан.— Продажная тварь! Где сосиски?

Миссури зевнула. Капитан крикнул через стену Батурину:

— Слопала сосиски! Черт ее знает, чем теперь лирика угощать. Сбегайте в кооператив, притащите какой-нибудь штуковины.

Батурин пошел. День прозрачно дымился. Шапки снега на заборах казались страшно знакомыми,— где-то он читал об этом, в старом романе — не то Измайлова, не то Боборыкина.

Когда он вернулся, солнце вкось ударило в глаза через золотистые волосы. У окна сидела Наташа в свитере. Инженер ходил по комнате, насвистывая фокстрот, Берг накрывал на стол, а капитан, улыбаясь, показывая единственный передний зуб, возился с кофейником. Запах кофе был удивительно крепок: казалось, зима и дощатые стены пахнут кофе. Окна запотели, и солнечный свет стал апельсиновым.

За кофе капитан строго и по заранее намеченному плану допросил Наташу: куда уехала Нелидова, как она одевается, каков ее муж (фамилия его оказалась Пиррисон), были ли у них знакомые на юге, а если были, то где, и в конце потребовал точных примет Пиррисона.

Куда уехала Нелидова — Наташа не знала. Вернее всего, на Кавказское побережье — в Новороссийск, Туапсе, Батум. Но, может быть, она в Ростове-на-Дону. Уехала она с Курского вокзала, ее никто не провожал, билет у нее был до Ростова.

Пиррисон — бывший киноартист. Он больше насвистывал, чем говорил (Наташа с упреком взглянула на Симбирцева), был как-то неприятно весел, жил давно заведенными рефлексами.

— Не человек, а сплошная привычка. Румяный, в круглых очках. Весил шесть пудов.

— Субчик неважный,— определил капитан.

Знакомые на юге были, кажется, у Пиррисона, в Тифлисе. Приметы Нелидовой Наташа не стала перечислять, а вынула из сумочки фотографию и передала капитану.

Капитан разглядывал долго, глаза его нахмурились, как в штормовую погоду. Разглядыванье карточки он закончил словами:

— Да... с ней будет много возни...

Он передал карточку Батурину. Батурин взглянул, медленно поднял голову и растерянно улыбнулся.

— Что за черт! Эту женщину я сегодня видел во сне. Сны я запоминаю редко.

— Начинается чертовщина!

Капитан ни разу в жизни не видел ни одного сна и был уверен, что они снятся только женоподобным мужчинам и старухам.

— Удивляюсь, почему вы до сих пор не купили себе Мартына Задеку?

Берг, к которому вернулось самообладание, сделал скучающее лицо. «Молчаливый этот Батурин, а между тем полон сантиментов».

Но Батурин сон не рассказал. Враждебность к этому сну напугала его, он покраснел и перевел разговор на другую тему.

В сны он, конечно, не верил. Но власть их над ним была поразительна. Бывало так: много раз он встречался с человеком и не видел в нем ничего любопытного, не приглядывался. Потом во сне этот человек сталкивался с ним в средневековом городе или в голубом, вымытом дождями парке, и Батурин как бы очищал его от скорлупы обыденной жизни.

Невольно, почти не сознавая этого, Батурин начал и в жизни стремиться к тому, что он видел во сне. Это занятие приобрело характер азартной игры. Сны толкали его на неожиданные поступки: в действиях Батурина не было даже намека на план, на связность.

Все это быстро старило. В конце концов даже азартная эта игра с действительностью потеряла острый свой вкус. Много времени спустя Батурин понял — почему. Сны были отзвуками всего виденного,— они не давали и не могли

дать новых ощущений. Батурин вращался в беспорядочном и узком кругу прошлого, преломленного сквозь стекляшки этих снов. Прошлое тяготило его. Дни обрастали серым мхом, беззвучностью, бесплодностью.

Батурин дошел до абсурдов. Однажды ему приснилось, что он ночью заблудился в лесу. Вечером этого дня Батурин ушел в лес и провел в нем ночь, забравшись в глухую чащу. Был сентябрь; в лесу, черном от осени, сладко пахла и чавкала под ногами мшистая земля. Казалось, что десятки гигантских кошек крадутся сзади. Батурин боялся курить. Утром синий и тягучий рассвет никак не мог разогнать туман, и земля показалась Батурину очень неприглядной.

Сны определяли все его привязанности, влюбленность, самую жизнь, несколько смутную, пеструю, когда грани отдельных событий переплетаются так прочно, вживаются друг в друга так крепко, что ядро события отыскивается с трудом.

Он переменил несколько профессий. В каждой была своя острота, разбавленная в конце концов скукой. Сейчас Батурин случайно был журналистом. Раньше он был вожатым трамвая, матросом на грязном грузовом пароходе на Днепре, прапорщиком во время германской войны, дрался с Петлюрой и Махно, заготовлял табак в Абхазии.

Жизнь шла скачками, в постоянной торопливости, в сознании, что главное еще не пришло. Всегда Батурин чувствовал себя так, будто готовился к лучшему. Одиночество приучило к молчаливости. Все перегорало внутри. Никому он о себе не рассказывал.

Батурин пробовал писать, но ничего не вышло — не было ни сюжета, ни четкой фразы. Больше двух страниц он написать не мог,— казалось слащаво, сентиментально. Писать он бросил.

Ему было уже за тридцать лет. Он был одинок, как Берг и капитан,— это их сблизило. Встретились они в Москве в редакции. Капитан и Берг жили у приятелей и каждую ночь ночевали на новом месте. Батурин притащил их к себе в Пушкино.

Больше всего тяготило Батурина то, что он чувствовал себя вне общей жизни. Ни одно из ее миллионных колесиков не зацепляло его. Он жил в отчуждении, разговоры с людьми были случайны. Берг это заметил.

— Вы случайный человек,— сказал он ему как-то.— С таким же успехом вы могли бы жить в средние века или в ледниковый период.

— Или совсем не родиться,— добавил Батурин.

— Пожалуй... Что вам от того, что вы живете в двадцатом веке, да еще в Советской России? Ничего. Ни радости, ни печали. Генеральша, которую разорили большевики, и та живее и современнее вас: она хоть ненавидит. А вы что? Вы — старик!

Разговор этот больно задел Батурина,— он понимал, что Берг прав.

— Что же делать? — спросил он и натянуто улыбнулся.

Берг пожал плечами и ничего не ответил.

В этом пожатии плеч Батурин прочел большое продуманное осуждение таких людей, как он,— оторванных от своего века, выхолощенных, бесстрастных.

«Не то, не то»,— мучительно думал он. Тоска его по самой простой, доступной всем жизнерадостности стала невыносимой. Он приходил к капитану, доставал водку, пил, и это успокаивало.

Поиски, на которые он согласился, пугали; он предчувствовал обилие скучной возни, но вместе с тем чудились в них прекрасные неожиданности, встречи.

«А вдруг найдется выход? — думал он, усмехаясь.— Чем черт не шутит».

Размышления его прервал возглас Наташи:

— Ну что ж, пойдем мы на лыжах? Я свои привезла.

Пошли втроем: Наташа, Берг и Батурин. Капитан остался с Симбирцевым,— они заспорили о лирике. Спор принял затяжной и бурный характер. Им было не до прогулки.

В лесу на снег ложился розовый свет. Батурин ударил палкой по сосне — она зазвенела. С верхушки сорвалась и тяжело полетела черная птица.

— Расскажите подробнее о Нелидовой.

— А вы расскажете сон?

— Расскажу.

— Ну ладно. Я расскажу, как Нелидова встретилась с Пиррисоном. Они встретились в Савойских Альпах зимой двадцать первого года.

— Где? — спросил Берг. Он плохо управлялся с лыжами и отставал.

— В Са-вой-ских Аль-пах в двадцать первом году: Нелидова была ки-ноартисткой во Фран-ции, слышите? — прокричала Наташа.— Их труппу отправили в горы; снимали фильм «Белая смерть». В труппе работал Пиррисон,— он играл охотников, апашей и полицейских. Снимали пирушку с танцами в горном кабачке. В съемке участвовали тамошние жители, дровосеки, а главным был угольщик, дедушка Павел. За веселый нрав его назначили чем-то вроде режиссера при дровосеках. В кабачке затопили камин, зажгли юпитера, хотя дровосеки были против этого,— по их мнению, можно было снимать при свете ламп, да и от снега было совсем светло.

Налезло много народу, выпили для храбрости подогретого вина. Молодой сын кабатчика засвистел на окарине, дровосеки начали хлопать в ладоши, пошла пляска, и операторы пустились накручивать ленту. К стене были прислонены охотничьи ружья. Нелидова рассказывала, что до сих пор помнит запах в кабачке,— пахло смолой от стен, винным паром и духами.

Артисты опьянели от причудливой этой экскурсии в горы и танцевали почище матерых дровосеков. Дровосеки были добродушные, тяжелые люди. Они страшно хлопали друг друга по спине и на пари били одной дробинкой белку.

В разгар пляски дедушка Павел поднял руки и закричал:

— Стой, я потерял свою трубку!

Танцы прекратились. Артисты бросились искать трубку. Операторы перестали накручивать ленту.

— Крутите, идиоты! — заорал режиссер и схватился за голову.— Прозевали чудесный момент! Крутите, ослы!

Во время поисков рука Нелидовой встретилась под дощатым столом с рукой Пиррисона. Пиррисон пожал ее пальцы. Юпитер зашипел и ударил им в глаза.

— Целуйтесь! — закричал режиссер, набрасывая на одно плечо упавшую подтяжку.— Целуйтесь, вам говорят! Так, прекрасно. Нашли трубку? Продолжайте танцы. Больше шуму, больше шуму, тогда будет веселей!

Он любил подбирать фразы как бы из детских песенок. Метался и кричал он по дурной привычке — шуму и веселья было и так достаточно.

Нелидова поняла, что Пиррисон поцеловал ее не для фильма. Снег, горы, гостиница, где камины топили еловы-

ми щепками,— все это вскружило ей голову. Дальше все пошло, как обычно. В двадцать третьем году они с Пиррисоном приехали в Россию.

Вышли к Серебрянке. На берегу шатрами стояли ели, чувствовался север. К вечеру зазеленело небо. Остановились, достали папиросы. У Наташи на бровях таяли снежинки, она смахнула их перчаткой. Прикуривая у Берга (рука его теперь почти не дрожала), она подняла глаза. Берг отшатнулся. Тьма зрачков, ресницы, мокрые от снега, как от слез, глядели на него «крупным планом».

— Да, правда, вы совсем здоровы,— сказала медленно Наташа.

— Вот психастеник.— Берг показал на Батурина.

Батурин промолчал, оттолкнулся палками и быстро скатился с горы. Наташа скатилась за ним и упала. Когда Батурин помогал ей подняться, она спросила:

— Расскажете сон? Расскажете? Я страшно любопытная.

— Эх, пропадаем, отец! — Берг восторженно ринулся с горы. Он свалился, потерял лыжи. Лыжи умчались вперед, подпрыгивая и обгоняя друг друга, явно издеваясь над ним. «Сволочи»,— подумал Берг и побежал, проваливаясь и падая, вдогонку.

Обратно шли медленно. В синем, как бы фарфоровом небе перебегали снежные звезды, скрипели лыжи.

— Ну, как ваш сон?

— Глупый сон, но раз вы настаиваете, я расскажу.

Снилось ему вот что: сотни железнодорожных путей, отполированных поездами, кажется в Москве, но Москва — исполинская, дымная и сложная, как Лондон. Вагон электрической железной дороги — узкая, стремительная торпеда, отделанная красным деревом и серой замшей. Качающий ход вагона, почти полет, гром в туннелях, перестрелка в ущельях пакгаузов, нарастающий, как катастрофа, вопль колес. Разрыв снаряда — встречный поезд, и снова глухое гуденье полотна.

Рядом сидела женщина — теперь он знает, это она, Нелидова; его поразила печальная матовость ее лица. Когда вагон проносился на скрещениях в каком-нибудь сантиметре от перерезавших его путь таких же вихревых, стеклянных, поездов, она взглядывала на Батурина и смеялась. Около бетонной стены она высунула руку и коснулась ногтем струящегося в окне бетона, потом показала

Батурину ноготь,— он был отполирован и из-под него сочилась кровь.

Поля ударили солнечным ветром. Зеленый свет каскадом пролетал по потолку вагона. Женщина подняла глаза на Батурина; зелень лесов, их тьма чернели и кружились в ее зрачках. Тогда он услышал ее голос,— она положила руку ему на плечо и спросила:

— Зачем вы поехали этим поездом?

Трудно сказать, что он услышал голос. Гром бандажей, скреплений и рельсов достиг космической силы. Скорее, он догадался по движению ее губ, сухих и очень ярких.

— Я жду крушенья.

— Почему?

— От скуки.

Мост прокричал сплошной звенящей нотой,—вода блеснула, свистнула, ушла, и с шумом ливня помчался лес.

— Когда вам захочется, чтобы вас простили,— сказала она, не глядя на Батурина,— найдите меня. Я прощу вам даже то, чему нет прощенья.

— Что?

— Скуку. Погоню за смертью. Даже вот этот палец ваш,— она взяла Батурина за мизинец,— не заслуживает смерти.

В конце вагона была небольшая эстрада. За ней — узкая дверь. Из двери вышел китаец в европейском костюме. Кожа сухая, не кожа — лайковая перчатка, и глаза под цвет спитого чая. Он присел на корточки, вынул из ящичка змею и запел песню, похожую на визг щенка.

Он похлопывал змею и пел, не подымая глаз. Морщины тысячелетней горечи лежали около его тонкого рта. Он открыл рот, и змея заползла ему в горло. Он пел, слюна текла на подбородок, и глаза вылезали из орбит. Он пел все тише, это был уже плач — он звал змею. Когда она высунула голову, желтое лицо его посинело. Он схватил змеиную голову и изо всех сил начал тащить наружу.

— Довольно! — крикнул Батурин.

Китаец выплюнул змею, она спряталась в ящичек. Китаец сидел и плакал.

Пришла немыслимая раньше человеческая жалость, внезапная, как ужас. Батурин бросился к китайцу, поднял его голову. Слезы текли по морщинам, зубы стучали. Тысячелетнее, нет, гораздо более древнее горе тяжко душило

сердце. Нищета, смерть детей, войны, этот страшный своей ненужностью оплеванный труд.

Батурин поднял китайца, усадил. Китаец гладил руками его рукава, прятал голову, на серых его брюках чернели пятна слез.

Подошла женщина и, не глядя на Батурина, повторила:

— Когда вам нужно будет, чтобы вас простили,— найдите меня.

Батурин взглянул на нее,— он ждал печальных глаз, стиснутых губ,— и вздрогнул. Она смеялась, подняла к глазам ладони, быстро провела ими, и на щеку Батурина брызнула теплая влага.

— Это роса, уже вечер! — крикнула она и бросилась к окну.

Ветер рвал ее платье, ее слезы, ее смех. Поезд гудел, замедляя ход на гигантской насыпи по мощному и плавному закруглению,— впереди была великая безмолвная река. Батурин соскочил. Под ногой хрустели ракушки, солнце, как красный шмель, летело на вечерние сырые травы. Батурин хотел нарвать их, но поезд тронулся. Он вскочил на подножку, сорвался, красный фонарь последнего вагона пронесся у его головы. Прогремела квадратная труба моста. Батурин бросился бежать. У него было сознанье последней, непоправимой катастрофы. Он добежал до моста.

— Куда пошел этот поезд? — крикнул он красноармейцу на мосту.

— К чертовой матери,— ответил красноармеец.— Ты кто такой? Пойдем в комендатуру.

Батурин понял, что пропал, и проснулся. Уснул он в вагоне. Поезд стоял в Мытищах, и кондуктора волокли к коменданту пьяного пассажира с гармошкой. Гармонист кричал: «К чертовой матери! Не можете доказать!»

Он прижимал гармошку к груди, и она издавала звук, похожий на визг щенка.

...Наташа заглянула в лицо Батурину.

— Она похожа на Нелидову, эта женщина.

А Берг сказал:

— Было бы хорошо для вас, если бы вы почаще видели такие сны.

Батурин вспыхнул, резко спросил:

— Берг, зачем это?

— Затем, что по существу вы хороший парень. Вот зачем.

Он медленно пошел вперед, прокладывая по снегу свежий след. Шуршали лыжи, и воздух резал легкие тончайшими осколками стекла.

СОЛОВЕЙЧИК И ЗИНКА

Деньги выдали только в марте. Капитан тотчас же уехал на Кавказское побережье. За ним следом уехал в Одессу Берг. Батурин уехал позже всех в Ростов. Перед отъездом он отвез Миссури вместе со всем имуществом капитана к Наташе.

Последние вечера на даче были угрюмы. С крыш текло, стук капель не давал уснуть. Цезарь с тоски по капитану и Бергу выл по ночам и гремел цепью.

Приехал хозяин дачи, бывший офицер, заика. Днем он стрелял галок, а ночью страшно ворочался на кровати и говорил басом: «Покорнейше благодарю». Во сне он заикался сильнее, чем днем, и это бесило Батурина.

Перед отъездом Батурин пошел с Наташей в Камерный театр на «Адриенну Лекуврёр». Играла Коонен. После дачной тьмы и воя псов театр сверкал, как драгоценная коробка. Бледная кожа на лице впитывала яркий свет.

Батурин чувствовал легкость, оторванность от постоянного места,— связь с Москвой была нарушена. Мысль о поисках поглощала все.

«Неужели так много зависит от личной судьбы?» — думал он удивленно. Это опровергало его теорию о подчиненности человека эпохе. До тех пор он был убежден, что усталость его — отголосок настроений многих, переживших войны, эпидемии, революции. Но вот, в сущности, такой пустяк — поездка на юг, поиски «пропавшей грамоты», мысли о женщине, совершенно неизвестной, о том, что найденный дневник войдет в историю человеческой культуры,— все это вызывало совсем новое ощущение причудливости переживаемой эпохи, ее неповторимости, ее скрытых возможностей. Ощущение это было смутно, но, главное, Батурин поверил в него и внутренне окреп. Появилась способность действовать (до тех пор всякая деятельность казалась ему утомительной беготней). Батурин понял, что самые действия вызывают особый строй мыс-

лей, наталкивают на великое множество новых настроений и образов.

«Кажется,— думал он пока еще робко,— этот закал необходим для писателя».

Батурин открыл, как это часто бывает с одиночками, что глубоко выношенные мысли, казалось целиком принадлежавшие только ему, были широко распространенными, почти общепринятыми. Первое время это его обижало. Потом он понял, что замкнутость сыграла с ним скверную шутку, и начал с интересом приглядываться к людям.

Перемена эта произошла с ним за последнюю зиму. Однажды на вопрос Наташи, доволен ли он своей ролью искателя «пропавшей грамоты», он ответил:

— Как вам объяснить? Эта история меня отогревает. Я сделал много горьких открытий, направленных против самого себя.

Батурин часто бывал у Наташи в Гагаринском переулке, на седьмом этаже. Было тихо в высоте над Москвой, и казалось странным, что сюда доходят электричество, вода, тепло в чугунные батареи.

Зима мягко и сыро лежала на крышах. С высоты Москва была зрелищем почерневших крестов, галок и кривых антенн. Над всем этим простиралось небо, невидное снизу,— очень простое и неширокое.

Батурин застрял в Москве из-за капитана. Капитан заехал по пути в Ростов и должен был оттуда прислать инструкции. Наконец они пришли.

Капитан писал:

«Выезжайте в Ростов. Думаю, след вы здесь найдете. Советую связаться со спекулянтами и скупщиками контрабанды. Уверен, что Пиррисон занялся контрабандой, соответствующей достоинству Соединенных Штатов, то есть спекуляцией золотом и драгоценностями. Держите постоянную связь. На Берга надежды мало,— он неизбежно собьется с пути в погоне за материалом для новой повести. Пусть его!».

В апреле Батурин уехал. Провожала его одна Наташа,— инженер плевал кровью (весна была жидкая, навозная).

До Воронежа земля туманилась от моросящего дождя. Он плескал по лужам на пустых станциях. Батурин пер-

вый раз проезжал по этой части России. Ее неизмеримое уныние даже понравилось ему. Вот куда бы уйти отдыхать, бродяжить по-настоящему, а не по театральным крымским шоссе.

Под Ростовом была сырая, но теплая весна. Станицы зеленели в степи, закаты вполнеба горели на лакированных стенках вагонов. Батурин висел в окне вместе с четырехлетним мальчиком Юрой. Они сдружились и разговаривали, сталкиваясь головами.

— Река пошла спать? — спрашивал мальчик.

— Пошла.

— Как же она спит без одеяла,— ей холодно?

Батурин говорил, что река укрывается туманом: под ним очень тепло. Юра долго и печально смотрел на реку, длинные его ресницы были неподвижны,— он думал.

— И птичка спит,— говорил он чуть слышно.

Батурин ощущал теплый запах его соломенных, подстриженных в кружок волос.

— Чем ты пахнешь? — спросил Батурин.

Юра долго думал, потом ответил:

— Воробышком.

В Ростове шел дождь. Он мягко, по-южному, шумел по горбатым мостовым, просеивал многочисленные и тусклые огни. На западе догорал сизый закат.

«Как донская вода»,— подумал о нем Батурин.

На бестолковом ростовском вокзале Батурин слегка растерялся. Куда идти? Теперь одиночество уже явно тяготило его. Он сел в зале первого класса и заказал чай. Около него долго вертелся, приглядывался пожилой еврей в промокшем пальто.

Когда еврей останавливался, вода капала с пальто па пол, он затирал лужицы калошей и с опаской поглядывал на официантов. Он боялся останавливаться и бродил между столиков. Его походка и жалобный вид, выработанный годами как средство самозащиты, намекали на профессию, не пользующуюся уважением у вокзальных властей.

Батурин следил за ним. Наконец еврей подошел.

— Молодой человек,— сказал он тоном хитрого прозорливца,— вы не имеете, где остановиться?

Батурин кивнул головой.

— Какие пустяки. Я вам покажу приличную комнату. С вас возьмут рубль в сутки. Вы будете иметь удобства и хорошее обращепие, а мне вы дадите полтинник.

— Лучше в гостинице.

Еврей попятился, замахал руками.

— Вам? — спросил он с ужасом.— Вам в гостиницу? Боже мой! Такой приличный молодой человек. Вас там оберут до последнего и выбросят на улицу. Вы же не знаете, что такое Ростов! Я — Соловейчик, спросите про меня каждого извозчика. Разве я посоветую вам плохо?

Батурин боялся гостиниц с их застарелым запахом писсуаров, уборщицами, свирепо швыряющими ведра, матрасами, засаленными от трипперных мазей, и рукомойниками с желтой водой. Каждый постоялец оставлял свои запахи, пороки и неряшливость,— это было невыносимо до тошноты. Предшественник по номеру почему-то представлялся Батурину приказчиком с гнилыми зубами, в розовых кальсонах, рыгающим со сна селедкой и липкой запеканкой,— человеком назойливым, бранчливым, приводящим в номер проституток.

Батурин согласился, нанял извозчика. Соловейчик почтительно сел рядом, боясь замочить Батурина своим пальто. Из-под поднятого верха пролетки ничего не было видно, кроме струй дождя в белом кругу фонарей и черного булыжника. Лошадь лениво цокала подковами. Соловейчик вздохнул и прошептал:

— О-хо-хо, все мы пропадаем!

Привез он Батурина в переулок около Таганрогского проспекта, провел по лестнице на деревянную террасу, где две женщины мыли, охая, пол. В лужах на дворе отражался свет ламп и пламя бушующих примусов. Из дверей сочился сладкий чад лука и постного масла; кашлял и заходился ребенок.

«Подходящее место»,— подумал Батурин.

— Добэ,— робко сказал Соловейчик одной из женщин.— Вот я привел вам постояльца. Молодой человек из Москвы, прямо жених.

Добэ поднялась, вытерла руки о ситцевую нижнюю юбку и в упор посмотрела на Батурина. Сизое лицо ее выражало обидное равнодушие и к Батурину, и к Соловейчику, и к комнате, которую от нее требовали.

— От вечная мне морока,— сказала она басом.— За рубль я не имею ни минуты покоя,— как вам нравится такая жизнь! Теперь я решила сдавать не меньше как за полтора рубля.— Соловейчик попятился, замахал руками, и в ту же минуту Добэ пронзительно закричала:

— Что вы махаете? Что? У меня дочка невеста, кто пойдет за нищую? Вы ей дадите приданое, несчастный еврей? Вы с вашими рублевыми постояльцами, за которыми надо прибирать на три рубля. Полтора рубля, или уезжайте в другое место.

— Вы не в духе, мадам Мовес,— Соловейчик сокрушенно покачал головой.— Нельзя кричать на человека, будто вас обокрали. Что это за мода! Вы рискуете не заработать и рубль. Кому нужна такая хозяйка, я вас спрашиваю? Кому? Мне? Да нехай она сказится. Или вот этому хорошему человеку?

— Ради приданого я дам полтора,— согласился Батурин.

— Рива! — крикнула Добэ.— Покажи месье комнату.

В комнате, похожей на шкаф, высокой и узкой, стучали ходики и ворочали поломанные стрелки. Было сыро и пахло керосином.

Ночью стонала во сне за стеной Добэ, ветер перетряхивал на крыше листы жести, и лишь к утру — розоватому и серому, как пепел,— вызвездило и ветер утих. Батурин почти всю ночь не спал. Яд поисков, только что начатых, уже отравил его. Он изощрялся в догадках, сотни смелых, но одинаково беспомощных планов спутывались в голове и уничтожали друг друга.

К утру он задремал. Разбудил его унылый бас, бубнивший под окнами:

— Уголля надо?! Вот уголля надо?!

Батурин долго не мог догадаться, что́ продавал этот унылый бас; потом понял и обрадовался — уголь.

Пришло серенькое ремесленное утро. Женщины шлепали детей, мужчины мылись во дворе под краном. Синий угар самоваров струился под крышу, дух квашеной капусты выползал из комнат. Гудели яростные примусы, трещали и брызгали салом раскаленные сковороды, и шум — суетливый, однообразный шум жизни — возвестил о начале еще одного безрадостного и длинного дня. Дом кричал, плакал, ссорился, смеялся и шипел, как чудовищный ноев ковчег. Кошки мылись на подоконниках, и запах помоек, крыс и зелени расплывался извилистыми течениями, навещая то одну, то другую комнату. Над всем этим шумом стоял пронзительный, короткий, как лозунг, крик мамаш:

— Вот погоди, я тебе задам!

Утром пришел Соловейчик — узнать, не надо ли чего

Батурину. Батурин рассказал ему вымышленную историю о пропавшей сестре. У него, мол, месячный отпуск, и он приехал искать пропавшую свою сестру. Она должна быть в Ростове. Она сбежала с американцем Пиррисоном, ее надо найти и вернуть домой, американец — прохвост: надругается над девушкой и бросит.

Соловейчик слушал недоверчиво. Он сложил руки на животе и вертел большими пальцами, вздыхал, сдвигал на затылок рваную фетровую шляпу. Галстук торчал сзади кисточкой над бумажным его воротничком.

— А она не ваша невеста? — подозрительно спросил он.— Теперь, знаете, такое время, что мать сына искать не будет, не то что брат сестру. Разве теперь имеются такие братья!

Батурин деланно смутился, помял хлеб на столе.

— Да, верно. Она моя невеста.

— А может, она ваша жена?

— Нет.

— Какая разница между женой и невестой! — заметил вскользь Соловейчик.

Он допрашивал Батурина вежливо и долго, щипал бородку и наконец улыбнулся с неожиданной добротой.

— Ой, молодой человек, Соловейчика вы не обманете! Вы ищете жену,— так и говорите. Сколько лет маклерую в Ростове, а такого дела, скажу откровенно, не было. Деликатное дело! Надо посидеть и подумать.

Он действительно долго думал, бормотал, отрицательно качал головой.

— Вот что. Надо начинать с американцев. Их тут в Ростове несколько,— они продают для виду американские жатки и молотилки, морочат людей и помалу занимаются контрабандой. Я вам узнаю фамилии этих американцев, может, среди них есть и ваш приятель. Это раз. Теперь два,— он бессомненно мог уже уехать. Вы слушайте, тут есть две девочки, они все время с американцами путались, надо их увидеть. В случае ваш был здесь, они знают. Девочки, сами знаете, с асфальта, но хорошие женщины. Вы им дадите на две пары чулок и еще так... мелочи.

Соловейчик засмеялся, довольный своим планом.

— За вас я не опасаюсь, что вы мне заплатите за работу. Чего только не приходится выдумывать из-за куска хлеба! Ну, ваше дело — чистое дело. Откровенно сказать, я приношу человеку счастье и получаю десять рублей за

работу. А то другой говорит: «Соловейчик, найди мне девочку, чтобы была такая и такая,— и выглядела прилично, и не обокрала бы, и умела себя в театре держать». Разве легко? У меня было свое заведение, лавочка в порту, я торговал табаком и думал, что бог даст мне спокойную смерть. Но что бог! Ему есть важнее дела, чем эти евреи,— бог волнуется за большевиков, что ему подрывают авторитет, что ему делают конкуренцию. Бог умер для таких, как мы. Мы живем, извините, прямо в нужнике, жена ослепла, и плачет и плачет,— у нас деникинцы убили мальчика. Он был один, он был первенец. Нельзя сказать, что просто убили — они раздели его на Садовой и били шомполами. Потом он три дня лежал на кровати, ничего не говорил и умер. Доктор говорит: «Он задавился кровью, кровь набралась в легкие, они ему отбили легкие шомполами».

Мальчик умер. За что, я спрашиваю всех! Одна забота, чтобы жила жена,— она мне родила этого мальчика. Она мучилась со мною всю эту проклятую жизнь. Куда ей пойти, если я не заработаю рубль в день?

Тогда я пошел к офицерам и говорил: «Господа офицеры, у вас есть свой бог и своя совесть,— за что вы убили моего мальчика?» — «Вышла небольшая ошибка»,— сказал один, он был в лайковых перчатках. «Какая ошибка?» — спрашиваю я. «А ошибка та, что он еще не был большевиком, но очень свободно мог им быть. Иди, говорит, жалуйся Нахамкесу. Мы мертвых не воскрешаем. Чего ты пришел?»

Соловейчик прижал к глазам рукав рыжего пальто.

«Иди, говорит. Чего ты пришел? Чего ты пришел?» — «Господин офицер,— сказал я ему.— Счастливая ваша мать, что имеет такого замечательного сына». А сын, мальчик мой, разве это собака? Я спрашиваю всех. Разве на смерть мы его растили? Когда он кашлял коклюшем, я потел от страха, думал — он задавится мокротой, я считал каждый волос на его голове, мальчик мой...

Соловейчик заплакал. Вошла Добэ.

— Не плачьте, старик,— сказала она басом.— Может, ему теперь лучше, чем здесь на земле. Просите у бога смерти. Чем так мучиться, лучше скоропостижно умереть. Как жить, когда у человека вынули сердце!

— Что бог, бог! — закричал Соловейчик.— Что вы пристаете ко мне со своим богом! Где он был, когда били шомполами мальчика и Афанасий прибежал на двор и крик-

нул: «Соловейчик, Витю вашего убивают!» Зачем он, ваш замечательный бог, позволил ему в тот день выйти на улицу? У бога одна забота,— он спит и думает о вашем счастье, евреи. Только и вы, Добэ, все живете, я вижу, на помойке и счастье увидите, как свою задницу, извините меня. Кому бог продал ваше счастье и за какую цену? Чего он не сжег огнем тех негодяев? А они, эти добрые женщины, бегают по дворам и рассказывают о боге. Тьфу!

Соловейчик плюнул.

— Уймись, старик! — закричала Добэ и отшатнулась.— Что ты зовешь несчастье на свою голову и на мой дом! Замолчи, старик!

— Я уже молчу, Добэ. Простите меня, вы хорошая женщина. Но как я могу спокойно разговаривать с людьми?

Добэ подняла с пола его шляпу, надела ему на голову, похлопала по спине.

— Ну, как-нибудь мы доживем.

— Доживем,— скорбно согласился Соловейчик.— А теперь я пойду.

Он назначил Батурину встречу в пивной «Мамаша», куда он должен был привести двух девиц, и ушел, вытирая глаза коричневым клетчатым платком.

Батурин пошел бродить по городу, вышел к реке. Скрежетал разводной мост, и желтая вода мыла красные днища пароходов. Насупленный день враждебно смотрел на город из-за Дона, откуда дул ветер. Во взгляде этого дня была холодная скука.

Хотелось вечера, когда изгнанные краски — черная и золотая — ночь и огни — вернутся на землю. И вечер пришел. Он вяло протащился по улицам и переулкам, зажигая скупые огни. С первыми фонарями на Дону, прокашлявшись, прогудел морской пароход. По гудку, по его радостной дрожи можно было догадаться, что пароход отходит в Ялту, Севастополь, к городам, созданным для веселья, солнца, запахов моря, для прекрасных женщин.

Когда совсем стемнело, Батурин пошел в «Мамашу». В пивной уже сидел Соловейчик. Он был совсем некстати здесь, в своем длиннополом пальто, худой и жалкий, как Вечный жид на плохой гравюре.

В слоистом дыму пылали лампы, сияли рожи грузчиков с щетинистыми рыжими усами. Густой мат с размаху хлопал входивших по груди. Пиво пахло кисло и слабо,— тоже, казалось, некстати здесь, где обстановка требовала

крепчайшей водки, горячих пирогов и чугунных табуреток. Батурин заказал Соловейчику яичницу и чай, себе взял пива.

Соловейчик вытащил из кармана замусоленную бумажку и шепотом прочел фамилии всех американцев, живущих в Ростове. Пиррисона среди них не было.

— Было еще двое, так те утекли,— сказал он с сожалением.— Одна у нас с вами надежда — на этих девиц. Они сейчас прибегут.

Пивная была с эстрадой. На эстраду вышел конферансье в визитке, в зеленом вязаном жилете и широких брюках. Он поддернул брюки, равнодушно посмотрел на публику, поковырял в зубах, сплюнул и вдруг закричал надсаженным голосом:

— Удивительно приятная публика сегодня собралась! Что? Здрасте, здрасте. Гражданин в картузе за крайним столиком, что вас давно не видать? А?—Конферансье приложил ладонь к уху.— А? Что? В тюрьме сидели? Очень рад, очень рад. Следующий номер-р-р программы — цыганский хор Югова!

Цыганки вышли, виляя бедрами.

Пивная приветственно загудела. Хор грянул:

Эх, пьет-гуляет
Наш табор кочевой.
Никто любви не знает
Цыганки молодой!

Приплясывая в такт, к столику подошла полная блондинка с круглыми, равно наивными и порочными глазами. Она толкнула Соловейчика и показала глазами на Батурина:

— Папа, этот, что ли?

— Садись, Маня. Этот.

Маня протянула Батурину пухлую руку, сняла шляпу, поправила челку.

— Ну, угощайте, красавец,— сказала она хрипловато.

— А где Зина?

— Зинка вон она идет.

Батурин оглянулся. За спиной стояла высокая девушка в очень коротком платье. Карминные губы ее дрожали. Свет ламп был чудесен в ее капризных зрачках. Она оперлась локтями о спинку стула Батурина,— он видел рядом ее черные блестящие волосы, высокую чистую бровь и матовый лоб. Зинка потрясла стул и сказала властно:

— Подвиньтесь!

— Нанюхалась марафету, дура,— сказала Маня.— Опять попадешь в район.

— Не попаду-у,— протяжно ответила Зина и села рядом с Батуриным.— Это вы тот чудак, про которого говорил папаша?

Батурин кивнул головой.

— Да он гордый! Закажите пиво и рассказывайте.

Хор снова грянул:

Эх, пьет-гуляет
Наш табор кочевой.
Никто любви не знает
Цыганки молодой!

Зина захохотала, схватила Батурина за руку и пьяно зашептала:

— Дайте мне посмотреть на вас. Ну, не сердитесь, ну, посмотрите на меня,— разве я такая уродка? Ну, посмотрите же,— она дернула Батурина за руку.— Я не пьяная, я марафету нанюхалась,— лицо у меня холодное, потрогайте, а в глазах ракеты, ракеты... Ну, посмотрите же вы, несчастный жених!

Батурин поднял глаза. Он приготовился увидеть смеющееся пьяное лицо и отшатнулся. В упор смотрели темные глаза, полные, как слезами, тревогой, упреком. Дикой тоской ударил этот взгляд в сердце. На секунду все вокруг поплыло. Батурин качнулся.

— Вот вы какой! — сказала девушка медленно, со страшным изумлением, тем неясным, почти угрожающим тоном, когда трудно понять, что последует за этими словами — удар по лицу или поцелуй.

— Интересно ты себя ведешь, Зинка,— сказала значительно Маня.— Оч-чень интересно ты себя ведешь. Что ты,— сказилась? Человек зовет тебя по делу, а ты играешь театр. Сиди и слушай.

— Отвяжись,—зло крикнула Зина и дернула плечом.— Ну, вот, сейчас буду слушать. Подумаешь — невидаль какая! Видали мы хахалей и почище!

— Зинка,— Соловейчик прижал руки к груди,— Зинка, ты не знаешь, какой это человек, до чего он хороший. Сердце у него золотое. Не бесись, Зинка. Чего ты хочешь, сумасшедшая женщина?

— Обидела мальчика.— Зинка закурила.— Он молчит,

а вы загавкали, адвокаты. Что он вам,— золото дарил, обедом кормил? Чем он купил тебя, Соловейчик? Почему он молчит, не обижается? Противно мне с вами.

Она затянулась, швырнула папиросу на соседний столик. Оттуда сказали предостерегающе:

— Барышня, не нервничайте. Одного не можете поделить или со стариком спать не сладко?

— Отцепись, зараза!

Соловейчик заерзал. Из-за обиженного столика поднялся громоздкий человек в расстегнутой шинели. Глаза его запали; он подошел к Батурину.

— Уйми эту стерву,— крикнул он, качаясь, и махнул рукой в сторону Зинки.— Ишь расселись, господа. Сразу двух забрал, одной ему мало. А старый жид маклерует, гадюка!

Он смотрел на Соловейчика, глаза его округлились, он набрал в легкие воздуху и истерично крикнул:

— Вон, сукин кот, пока цел!

Соловейчик втянул голову в плечи. Батурин медленно вставал, руки у него заледенели, он не знал, что будет через минуту. В груди будто запрудили реку, бешенство водой подымалось к горлу. Не глядя на стол, он нащупал там пустую бутылку.

«Убью»,— подумал он, и будто свежий ветер ударил в голову,— позади, впереди, кругом была пустота. Батурин нашел глазами висок.

— Степка, убьет! — закричал за соседним столиком отчаянный, визгливый голос.— Степка, уйди,— убьет. Видишь, человек не в себе.

Степка отступил, открыл рот, замычал, коротко замахал руками. Тухлые судачьи глаза его смотрели не отрываясь в одну точку — в лицо Батурина.

Батурин трудно и тихо сказал:

— Уйди... иначе...— и задрожал всем телом.

Человек, что-то бормоча, отскочил, бросился к двери. Он толкал столики, опрокинул бутылку, ее звон прервал тишину, посетители облегченно засмеялись. Конферансье закричал надсаженным голосом:

— Граждане, инцидент исчерпан к общему удовольствию! Прошу соблюдать абсолютную тишину. У работников эстрады глотки тоже не казенные, не забывайте, граждане!

Батурин сел. Сразу захотелось спать, в теле гудело изнеможенье. С трудом он поднес к губам стакан пива и отпил несколько глотков.

— Вот вы какой! — повторила Зина и улыбнулась.— Теперь я буду вас слушать, а раньше не хотела, я знаю уже все от папаши.

— Вам в Ростове будет уваженье,— сказала Маня.— Вы отшили Степку-музыканта, его все боятся, как холеры.

— Какого Степку?

— Ой,— Соловейчик вытер шляпой потный лоб.— Лучше не спрашивайте. Не дай вам бог еще раз в жизни увидеть этого Степку. Он бандит с Темерника. Как он тут под боком сидел,— я и не заметил. Знаменитый парень. ГПУ по нем давно плачет.

Батурин снова рассказал вымышленную историю о пропавшей невесте. Проститутки слушали сначала так же недоверчиво, как и Соловейчик, потом, очевидно, поверили. Маня даже растрогалась.

— Нет, такой здесь не было. А Пиррисон был. Да вот Зинка расскажет, она с ним жила.

Зинка подняла к глазам стакан пива и долго не опускала. Батурин вздрогнул,— четкие следы обозначились во всей этой путанице.

— Ну что же ты, рассказывай.

— Сволочь ваш Пиррисон,— тяжело проговорила Зина, поставила стакан и в упор посмотрела на Батурина.— Собака ваш Пиррисон. Невеста твоя с ним сбежала.— Зина грубо перешла на «ты».— Чистенькая барышня, артистка, пальчики-маникюрчики. Когда ее пайдешь, расскажи, как Пиррисон нас по две на ночь брал.

— Замолчи, Зинка! — прикрикнула Маня и испуганно посмотрела на Батурина,— что он, первый такой, Пиррисон, чего распалилась!

— Отвяжись,— пронзительно крикнула Зина.— Дай досказать. Видишь — человек дерьмом интересуется, а на дерьмо охотников мало.

Батурин решил терпеть до конца. Он понимал, что малейшее слово может вызвать истерику, дикий скандал, и тогда все потеряно.

— Слушай, ты,— Зина дернула Батурина за рукав.— Зачем ты мне о невесте своей рассказал! Зачем после Степки. Эх ты, несчастный жених! Невеста, невеста... Да теперь все невесты порченые. Для дураков только и есть невесты,

а для порядочных — женщины. Порядочная девушка! — Зинка захохотала.— Ух ты, порядочный! Знал куда пойти, чтобы невесту отыскать. Все вы чистехи, ручки дамам целуете, разговор у вас такой интеллигентный, а дойдет до дела — наплюете в самое сердце. Не желаю,— дико крикнула она и вскочила,— не желаю я видеть его! Маня, идем! А тебе, папаша, грех. Я из-за Пиррисона травилась, его убить надо, а ты мне приводишь хахаля, он с Пиррисоном из-за невесты дерется. Да пропади они пропадом!

Она дернула Маню за руку и выбежала из пивной.

— Отщелкала.— Пьяный за соседним столиком восхищенно покрутил головой.— Ай да девка! Вот это да, девка!

Соловейчик был подавлен.

— Нанюхалась. Взбесилась девочка. Что же теперь делать? От нее теперь ничего не добьешься. Ой, упрямая девочка — ужас!

— Пойдем,— Батурин встал.— Я подумаю, что с ней делать. Зайдите ко мне завтра утром.

Он дал Соловейчику пять рублей, и они расстались. На прощанье Соловейчик долго тряс Батурину руку сухими и слабыми лапками.

Батурин побродил по улицам. Свежо и печально дул ветер: степь и море дышали на город полной грудью. В черной листве ослепительно струились гудящие огни автомобилей.

«Что же делать? — думал Батурин.— Надо найти ее и рассказать правду. Она должна понять. Зря, совсем зря и глупо я начал врать».

Он вернулся домой, написал письмо капитану в Сухум — всего три фразы: «Пиррисон был в Ростове. След, кажется, найден. Ждите писем»,— и лег. Уснул он тяжело и крепко.

Утром он лежал и ждал Соловейчика. Ходики хрипели, минутная стрелка ползла на глазах по засиженному мухами циферблату. Батурин смотрел на стрелку в оцепенении,— казалось, время остановилось, а между тем прошло уже три часа, и ходики показывали полдень. В час Соловейчика не было. Батурин встал и умылся во дворе под краном. Курчавые дети сбились вокруг него плотным кольцом и восхищались.

— Смотри, как он моется, не то что ты, Мотя.

Детей разогнали крикливые и гневные мамаши. В три часа прибежал наконец Соловейчик.

Он принес важную новость,— он видел Зину, и она сказала, что хочет поговорить с Батуриным.

— Ой,— Соловейчик подмигнул.— Если бы вы знали, как это было!

Он испытующе взглянул на Батурина, закатился от смеха и помахал шляпой.

— Ну? Вы не знаете, как это было? Она сама пришла до меня! — выкрикнул он наконец самое главное.— Она пришла и сказала: «Папаша, я вчера наскандалила. Правда, некрасиво, папаша?» Я говорю: «Да, не очень красиво, ты обидела хорошего человека».— «Соловейчик,— говорит она,— скажи мне, где он живет, мне надо с ним говорить». Но я тоже хитрый. «Что с того,— ответил я,— что я знал его адрес, когда он вчера вечером уехал». Она побелела вся.. «Ты врешь, говорит, старый пачкун. Говори адрес». Я даже испугался. «Он живет секретно,— сказал я,— я не могу никому, боже меня избави, сказать его адрес, но я могу позвать его, он придет куда-нибудь, ну в сад, в пивную, куда надо, если он захочет прийти и поговорить с тобой». Она смотрела на меня, как кошка. «Что-то ты крутишь, старик, вместе с ним»,— так она сказала. Потом она дала мне два рубля и говорит: «Соловейчик, милый, найди его и скажи, что я буду ждать его сегодня вечером в шесть часов в городском саду на музыке». Теперь вы имеете случай узнать все, что хотите. Девушке стало совестно. Я вам говорил — они обе хорошие, а что делать, если жизнь вышла так, что пришлось идти на асфальт.

Соловейчик получил мзду и ушел возбужденный,— это дело ему нравилось. Чутьем пожившего человека он догадывался, что Батурин что-то скрывает, что дело гораздо важнее, чем кажется. Свои мысли он закончил восклицанием:

— Молодое дело. Ой, горячие люди, горячие люди!

Батурин долго брился, часто откладывал бритву и задумывался, глядя в зеркало; наконец поймал себя на мысли, что надо переодеться, надеть синий тонкий костюм: в нем он молодел, синева хорошо оттеняла бледность лица с морщинками около губ.

«Это нужно для дела»,— подумал он, стараясь увильнуть, но тотчас же уличил себя и сказал громко:

— Вот сволочь!

Ругательство это относилось к самому себе. Он вспомнил глаза Зинки, как бы искусственно удлиненные, ше-

пот — «вот вы какой», и у него заколотилось сердце. «Сколько ей лет?» — подумал он и решил, что года двадцать три — двадцать четыре.

Костюм он надел синий, вышел на улицу без кепки, теплый ветер пригладил его волосы. Он взглянул на себя в зеркальное стекло магазина и внезапно ощутил, что стал гибче, свежее, что полон мальчишеского задора.

Насмешливая и явно искусственная мысль об омоложении, проскочившая в мозгу, была данью застарелой привычке. Чувство молодости, ветра, то чувство, что, не задумываясь, можно определить как начало подлинного счастья, билось в теле, как сердце.

В саду, в горах листвы сверкали белые небольшие лампочки,— было похоже на иллюминацию. Запах духов и политых дорожек был совершенно южный, немыслимый на севере. Полосы зеленого света, черные кущи деревьев и звенящее, все нарастающее пенье скрипки вызывали ощущение печального и свежего отдыха.

На скамейке у фонаря, светившего с высоты шипящей звездой, сидела Зина. Батурин остановился и смотрел на нее, пораженный.

Она была бледна от света фонаря. В небрежной ее позе, в том, как она устало откинулась на спинку скамейки и глядела в темноту кустов, задумавшись о чем-то, было нечто необычное, заставившее Батурина простоять в тени несколько минут.

Он растерялся. Если бы его спросили, что он ощущал, глядя тогда на нее, он, очевидно, ответил бы несвязно и глухо о цветении, полном терпкости и порыва.

Она раздраженно похлопывала перчаткой по открытому колену. Короткий шуршащий английский плащ не скрывал ее легких ног в шелковых серых чулках. Поля маленькой шляпы затеняли глаза, но Батурин знал, как ярко блестят они нетерпением и смутной бушующей болью. Были видны на щеке косо и четко подрезанные блестящие волосы.

«Неужели она проститутка?»

То, что он видел,— эта молодая и печальная женщина, Зинка с асфальта,— было невозможно, таило в себе начало почти чудесной перемены.

Батурин медленно подошел. Она встала.

— Наконец вы пришли,— сказала она с легким упре-

ком, и Батурин не узнал ее голос — так он был чист.— А я боялась, что не увижу вас...

Батурин смотрел на ее губы,— тонко очерченные, чуть вздернутые, они дрожали. Он не мог поверить, что вчера в пивной эти же губы кричали «зараза, дерьмо».

— Неужели это вы? — спросил Батурин и в темноте покраснел — вопрос был действительно глуп.

Она резко повернулась к нему, усмешка обнажила ее ровные сверкающие зубы.

— Да, я, я, я... Я, проститутка Зинка. Я — дорогая проститутка,— за красоту платят больше. Вы ошиблись, если приняли меня за рублевую. И Соловейчик врет, когда болтает вам об асфальте. Вчера я была пьяна, говорила все, что мне хотелось. Вы очепь обиделись?

— Нисколько.

— Идемте,— она тронула его за руку.— Пойдем в тень, здесь светло, трудно говорить.

Переходы от робости к вызову, от печальных слов к дерзости, звенящей в голосе разбитым стеклом, заставали Батурина врасплох.

— Прежде всего не зовите меня Зипой. Зовут меня Валя. Я кое-что хотела спросить...

— Спрашивайте. Потом буду спрашивать я.

— Вот вы засмеялись: говорите, что я нисколько не обидела вас. Это правда?

— Правда.

— Почему?

— Потому, что вчерашний рассказ — чепуха. Нет у меня никакой невесты.

Валя остановилась. В темпоте Батурин не разглядел ее лица. Он ждал дерзости, но, как всегда, ошибся.

— Боже, какая я дура!.. Теперь расскажите мне все, но только чистую, чистую правду.

Батурин рассказал ей историю с дневником, с Нелидовой и Пиррисоном. Когда он кончил, она повторила так же загадочно вчерашнюю фразу:

— Вот вы какой! А теперь я расскажу вам об этом Пиррисоне. Он негодяй. Где он сейчас, не знаю. Два месяца назад был в Ростове, потом уехал в Таганрог, оттуда в Бердянск. Я готова была убить его. Вы это никогда не поймете, потому что вы — мужчина, а знаем мужчин до конца только мы. Я прожила с ним две педели, я боялась его, теряла голос, он бил меня. Я однажды нанюхалась кокаину

и отравилась. Но меня спасли. Я думала тогда, что напрасно.

Она помолчала.

— Вот и все. А что вы хотели спросить?

— Почему вы позвали меня?

Валя в ответ засмеялась.

— Часто смеешься вместо того, чтобы плакать. Отвечать я не стану. Пойдемте.

По Садовой она почти бежала, не глядя по сторонам. Так же быстро спросила:

— Что вы будете делать дальше?

— Поеду в Таганрог.

— Когда?

— Завтра же. Тянуть незачем.

— Я кое-что узнаю сегодня вечером о Пиррисоне. Как вам это передать?

— Назначьте место.

— Утром, но рано, часов в восемь, вы сможете прийти в порт, в кофейню Спиро, знаете? А теперь прощайте.

— Прощайте,— Батурин крепко пожал ее горячую руку.— Я страшно вам благодарен.

На ладони остался запах духов, и Батурин вечером, ложась спать, не мыл рук,— было жаль смывать этот запах.

Утром в кофейне Спиро — розовой и грязной — он уже застал Валю. Она была бледна.

— Что с вами?

— Так... не спала ночь. А с вами? Вы тоже очень бледный.

— Тоже не спал,— ответил Батурин и улыбнулся.

Она испуганно опустила глаза. Батурин заказал кофе, но Валя даже не притронулась к чашке.

— Я не могу сейчас пить,— сказала она, будто извиняясь.— О Пиррисоне ничего больше не узнала. Тоска у меня, а тут встретился такой человек непонятный. Да, вы, вы — непонятный. Еще хуже стало. Я вас обидела, а вы меня защитили от Степки. Вы убили бы его, правда?

— Возможно.

— Как вы поедете в Таганрог,— пароходом?

— Да. В два часа. Идет «Феодосия».

Валя деланно засмеялась, густо покраснела.

— Слушайте... вот что... возьмите меня с собой. Я, может быть, вам помогу. Мешать я не буду. Можете совсем

меня не замечать. Мне бы только вырваться из Ростова, я себе здесь опротивела. Проживу в Таганроге день-два, а там видно будет.

— Ну что же, едем.

Валя смотрела на Батурина пристально, слегка открыв рот.

— Скажите еще раз.

— Едем. Вы что ж, не верите мне?

— Вот теперь хорошо, без «ну что же». В Таганроге меня никто не знает, вы можете даже ходить со мной. А вчера я бежала. И не потому, что боялась—вдруг привяжется мужчина, а потому, что могли подумать, что вы... вы со мной...

«Странно все это»,— подумал Батурин. У него было явственное ощущение, что жизнь пошла пестрыми зигзагами, он жил эти дни в дыму, как пьяный. Кто она? Таких проституток не бывает. Он путался в догадках. Валя будто поняла.

— Только не спрашивайте меня никогда, как я... Ну, вы сами понимаете. Со зла все это. Злость во мне страшная. Конечно, глупо, может быть, прорвет меня, тогда расскажу.

Они расстались. На пристань пришел Соловейчик. Валя приехала после второго гудка. Когда она взбегала по сходням, капитан переглянулся с толстым помощником и подмигнул. Она вспыхнула, быстро прошла на корму к Батурину. На глазах ее были слезы.

Соловейчик отвел Батурина в сторону и зашептал:

— Может, вы мне скажете по чистой совести, в чем дело? Ой, товарищ Батурин, товарищ Батурин, Соловейчика вы не обманете...

Палуба вздрогнула от третьего гудка, Соловейчик засуетился...

— Ну, как-нибудь в другой раз. Дай бог вам удачи!

Пароход отчалил, застилая реку жирным нефтяным дымом. Соловейчик помахал старой фетровой шляпой и, сгорбившись, побрел домой,— молодое дело кончилось.

В дороге Валя изредка взглядывала на Батурина яркими радостными глазами. Один раз спросила:

— Вам не стыдно со мной?

Они стояли у борта. Пароход шел морем. В иссиня-древнем тумане темнели берега, и в этой густой синеве зарождался вечер. Над Таганрогом была гроза,— розовые зарни-

цы слепыми вспышками освещали воду. Батурин ничего не ответил, только положил руку на пальцы Вали.

В Таганрог приехали после теплого обильного ливня. Представление о Таганроге было связано у Батурина с Чеховым. Он думал о сереньком городе, пустырях, поваленных заборах, провинции. И, как всегда, ошибся. Так ошибался он постоянно. Еще не было случая, чтобы представление его о чем-нибудь не разбивалось бы вдребезги при столкновении с действительностью. Эта его черта была источником постоянных насмешек для Берга.

Единственный извозчик повез их в город через игрушечный, заросший травою порт. Одуванчики цвели среди гранитных плит, раздавленная колесами полынь наполняла воздух горечью.

Таганрог был затоплен тишиной, почти звенящей, был пуст, уютен, изумительно чист. Фонари искрились в воздухе (после ливня в нем был блеск предельной прозрачности). Над морем загорались звезды; свет их был усталый, они мерцали. Батурин подумал, что звезды теряют много пламени, отражаясь в морях, реках, в каждом людском зрачке.

Из садов сочились запахи цветов, не имеющих имени, никому не знакомых. России не было. Таганрог был перенесен сюда с Эгейских островов, был необычайным смешением Греции, Италии и запорожских степей.

Музейное безмолвие стояло окрест, и даже море не шумело. Воздух был тонок и радовал, как воздух новой страны.

Остановились в гостинице Кумбарули с коричневыми комнатами. На стенах темнели облупленные фрески. Все состояло из красок,— ночь нависла кущами черной сирени, мигали белые зарницы, ртутные капли дождя падали с листьев, лампы зажглись в глубине окон, и комнаты казались сделанными из воска.

Глаза Вали — зеленоватые и яркие — потемнели от возбуждения. Что-то сдержанное, как непрошеные слезы,— восторг, легкий крик — готово было сорваться с ее губ.

Батурин открыл окно и остановился, пораженный безмолвием, чистым, как родниковая вода. Валя тихо подошла сзади. Он слышал ее дыханье, потом обернулся на какой-то странный звук и увидел слезы. Неудержимые, захлестывающие сердце невыносимым счастьем слезы текли

по ее щекам из-под прикрытых ресниц. Она схватила его руку, хотела что-то сказать, но не дали слезы. Она только посмотрела на него искоса из-под ладоней — и этот взгляд Батурин так и унес с собою на всю жизнь,— в нем было то, для чего нет слов на человеческом языке.

— Как все внезапно,— промолвил он тихо.

Валя засмеялась и сказала (снова переход, заставший Батурина врасплох), что она очень хочет есть. Она ушла за ширму, переоделась, вышла оттуда бледной, возбужденной, как в Ростове, в саду, легко сбежала по лестнице, распахнула дверь на улицу. Ветер прошумел в акации, рванул ее платье. Тело у нее было совсем девичье — очень тонкое; под платьем обозначались круглые маленькие груди.

В столовой пламенели под потолком начищенные лампы. Греки и шкипера в морских каскетках смотрели на Валю и дружелюбно улыбались. Зубы их блестели, как у негров на этикетках от рома. Один шкипер с серебряной щетиной на худом лице спустился по ступенькам в сад, сорвал вьющиеся белые цветы и положил на стол около Вали.

— Это вашей жене,— сказал он Батурину, улыбнулся и протянул руку.— Нам весело на вас смотреть. Будем знакомы,— моя фамилия Метакса.

Он подсел к столику и рассказал о Таганроге много любопытнейших вещей. После его рассказов Таганрог потерял для Батурина последние черты реальности. Он казался сказочным городом, освещенным синим пламенем пунша, каким-то выдуманным гриновским Зурбаганом. Он казался солнечным цветником, где старики, поливая грядки, вспоминают стопушечные линейные корабли,— бьет колокол, и все бегут на плоский берег встречать оранжевый гигантский пароход.

Все перепуталось в голове у Батурина. Он выпил вина. Таганрог казался затерянным на острове среди эпох, революций, войн. Патриархальная жизнь цвела медлительно и беззаботно, и совершенно зря в портовых конторах тикали громадные маятники, начищенные до блеска, как медные тазы.

Валя сжала руку Батурина сильными пальцами в тугой перчатке.

— Не смейте мне ничего говорить. Я всех, всех, всех люблю сейчас.

Вечер мягким золотом ламп горел на ее руке. Дым трубок пахнул медом, столетьями скитаний.

Весь вечер они провели в порту со шкипером Метаксой. На молу репейник цеплял за короткое платье Вали, она отрывала его и бросала в море. Черными кругами расцветала вода. Около старой наваринской пушки невнятно шумело море, по словам Метаксы — одно из интереснейших морей.

Оно крепко, по-рыбачьи пахло солью. У мола поскрипывали заспанные шхуны. Бледные фонари на мачтах освещали пустые палубы. Казалось, трюмы этих шхун полны грудами сиреневой бьющейся рыбы.

Весь этот пустынный порт, качавший в гаванях маслянистую воду, был закутан в звездное небо.

Валя часто смеялась, потом подолгу молчала, будто прислушиваясь к отдаленным звукам. Она шла рядом с Батуриным, наклоняла голову и всматривалась в его лицо.

Метакса был сдержан, хрипловатый его голос звучал со старинной вежливостью. Рассказы его можно было назвать новеллами,— они были кратки, забавны и легки.

Ночь, шхуны, аллеи черной листвы, присутствие старого шкипера, горячая рука Вали внезапно вызвали у Батурина острое ощущение иных эпох, эпох романтизма. Все рассеялось в теплой тьме — и осень в Пушкине, и Берг, и капитан, и дневник Нелидова. Паруса шумели над выскобленными песком палубами. Когда это было? Вчера. Корабли отходили в Колхиду. Жизнь пестрела, как сад. Отвага и смех плескали из души, и цвело, не отцветая, бесконечное лето. Брызги дождя падали на мягкие волосы поэтов.

— Валя,— тихо сказал Батурин.— Я схожу с ума.

— Вот и чудесно!

Батурин испытывал то же, что испытывали некогда измученные странствиями бродячие рыцари, поверившие в девственность Марии. Они целовали, скрежеща ржавыми латами, истлевшие ее покровы, и смешные слезы стекали по их щекам. Слезы о завоеванных странах, где тяжелые готические розы распускаются под небом Египта и Венера, отдаваясь, так же чиста, как Мария.

Вернулись поздно. В гостинице Валя легла на кровати, Батурин — на продавленном узком диване. Он долго не спал.

«Чудесная девушка»,— думал он, глядя на острую звезду. Она переливалась то белым, то синим светом. Тишина стояла за открытым окном и вместе с Батуриным прислушивалась к дыханию Вали.

БЕРГ

Берг зашел в украинскую молочную на Ланжероновской. На белых столиках лежали синие отсветы; небо играло на стенах светлой водой. Берг закурил и задумался.

Ветром, зеленью и морем шумело лето. Загар приобрел синеватый тусклый блеск. Зной пылал в окнах греческих домов, и тенора разносчиков оглашали душные дворы:

— Ай грушэ, ай грушэ, ай сладкая абрикоса!

Весь день солнце сжигало берега от Лузановки до Сухого лимана. Стеклянная зыбь ходила холмами, в ней плавали крабы и водоросли. Сельтерская вода со льдом казалась хрустальными прекрасными мирами, освежающими сердце.

Белым и синим горела земля. Белые автобусы, дороги, пески и ресницы сметал световой вихрь синего зноя, волн и синеющих от баклажанов фруктовых лавок.

Каждое утро, выходя на балкон, Берг вдыхал воздух, насыщенный за ночь озоном, и говорил:

— Пахнет жизнью!

Он обдумывал хитрый план. Уже месяц он жил в Одессе, получил два ругательных письма от капитана, но дело не двигалось. Деньги иссякли,— половину их Берг проиграл в «пти шво» на Гаванной; каждый вечер он ел изумительное мороженое у Печесского в «Пале-Рояле». Он наслаждался тишиной этого кафе, разбитого в глухом закоулке, путаницей света и теней, листвой винограда, свисавшей над столиками, воркотней старых официантов.

Жил он у приятеля — вузовца Обручева — маленького и неторопливого человечка. У Обручева были твердые и приятные привычки,— круглые сутки окна в его комнате стояли настежь, завтракал и ужинал он в ларьке около Александровского парка кефиром и плюшками, обедал в морской столовой в порту, а все свободное от этих занятий время валялся на пляжах, играл в домино и изучал Марселя Пруста. Но он не был лодырем,— не надо забывать, что стремительно надвигалось одесское лето — сверкание,

зной, чудесный загар и теплый свет, в который город был погружен, как в золотую воду.

Берг обдумывал свой план. По привычке людей пишущих, он не мог думать, не изображая графически некоторых этапов своей мысли. На мраморном столике, казавшемся выточенным из сахара, он набросал карандашом план одесской бухты, отметил крестиками самые людные пляжи и пересчитал их: Лузановка, Австрийский пляж, Ланжерон (Берг подумал и вычеркнул его,— плохое дно, пляж для мальчишек, там вряд ли что-нибудь найдешь), Аркадия, дача Ковалевского, Люстдорф. Получилось пять пляжей. Берг помножил пять на пять, приписал сбоку «25 дней», вытащил измятую открытку и написал капитану:

«Через 25 дней я сообщу окончательный ответ,— есть ли здесь Пиррисон и Нелидова, а если нет, то были ли, когда и куда уехали. Вы будете вознаграждены за месячное ваше бешенство. Почему вы так пристали ко мне,— гораздо больше шансов, что найдет их Батурин, а не мы с вами (Берг написал это в пику капитану). Сейчас я провожу в жизнь гениальный план. Думаю, он даст результаты».

Берг посвистел немного (это было признаком высшего удовольствия,— он тихо посвистывал даже в кино и на докладах, если фильм или слова докладчика ему нравились) и пошел к Обручеву. Застал оп его, как всегда, за чтением Марселя Пруста.

— Обручев,— сказал Берг веско,— бросьте Пруста, есть интересное дело.

Он рассказал о цели своего пребывания в Одессе, но это не произвело на Обручева большого впечатления. План Берга был прост, но не гениален. Он как бы вращался по окружности около цели, не давая никакой уверенности, что сделано все возможное. Но он был приятен, и Обручев с ним согласился.

План был таков: если Пиррисон и Нелидова в Одессе, то совершенно ясно (это была основная неправильность плана), что они бывают на море, потому что, кроме стариков и старух, вся Одесса бывает на море. У каждого есть свой излюбленный пляж. Главных пляжей пять. На каждом из них надо провести по пять дней и изучить публику. По мелким пляжам достаточно пройти в разгар купаний,— во время «первого» (до обеда) и «второго» (после обеда) солнца. Вот и все.

— Начнем с востока,— предложил Обручев,— с Лузановки. Завтра едем туда на катере.

Берг потом очень скупо рассказывал о своих одесских поисках, но на основании его записей в тоненькой синей тетради можно восстановить примерно следующую последовательность событий.

Лузановка. Белая Аравия, песок, оазисы колючей травы. За два часа испекаешься, как рак. Не хватает борного вазелина, чтобы смазывать кожу. Берега желтые, море подымается в глазах, будто его вздувает изнутри упрямый ветер. Вдали — белый, вскипающий город. Волны шумят, как у Пушкина,— призывно и долго. Ни клочка тени. Временами кажется, что волосы от этого синего огня пахнут паленым.

Когда Берг с Обручевым доигрывали в домино пятую партию на бутылку солодового квасу, Берг увидел высокого человека, надувавшего ртом автомобильную покрышку. Он был сизый и страшный,— покрышка медленно расползалась, полнела, обращалась в твердый круг. Человек быстро отчял рот, шина свистнула, он зажал отверстие пальцем и яростно его завинтил.

— Ловко, Виталий! — крикнул ему Обручев.

— Кто это?

— Помреж с кинофабрики. Знакомый.

— Будет дело.— Берг смешал костяшки домино.— Идем!

Они подошли к помрежу. Он лежал в изнеможении, ребра его вздымались, создавая неприятное впечатление близости под этой тонкой кожицей громадного скелета. Помреж показал на шину.

— Пользуйтесь. Выдерживает шесть пудов.

Берг завел с ним разговор о киноартистах.

— Мелкие людишки, вечно грызутся,— сказал помреж.

— У тебя нет там на кинофабрике артистки Нелидовой? — спросил Обручев.

Помреж поморщился, подумал.

— Черт ее знает! Мабуть була,— он изредка вставлял украинские слова.—Была такая, кажется, Нелидова, а может, и не было... не ручаюсь. Да ты пойди к Павлу Ивановичу, она у него сидит в сумасшедшем доме на Слободке-Романовке. Помешалась.

— А на какой почве?

— Про почву я не знаю. Во время съемки бросилась

на оператора, кричит: «Я не хочу быть пророчицей». Она ведьму играла. «Пророчицы, кричит, все безобразные, страшные, а я молодая!» Схватила его за горло, насилу оторвали.

— Слушай, Виталий,— попросил Обручев.— Познакомь вот его со своими артистами. Он, понимаешь, писатель, ему это нужно.

— А-а, писатель,— помреж повернулся и оглядел Берга.— Ну что ж, приходите завтра на Австрийский пляж ко второму солнцу, они все там толкутся. Приду, познакомлю. Только вряд ли от них чего-нибудь услышите,— народ без всякой квалификации, случайный.

Помреж пошел в воду, волоча за собой шину. Он далеко швырнул ее; отлогая волна длинным пламенем отразила солнце. В пламени этом звенели восторженные вопли детей,— волна щекотала им пятки. Солнце обрушивалось на пляж тяжким водопадом жары и веселья.

— Пока хватит,— сказал Берг, когда они с Обручевым вышли из воды и обсыхали на солнце,— а вечером двипем в Слободку-Романовку.

Вечером с юга стеной поднялась туча. В акациях прошумел ветер, и пушечным ударом прокатился над морем гром. Он прошел от горизонта до горизонта, тяжелый и низкий, пригибая головы к земле. В море было черно, желтели огни парохода, входившего в порт, пыль порошила глаза.

«Страшно на море»,— подумал Берг и поежился. Он ехал с Обручевым в трамвае на Слободку. Страшно было не только на море, но и в городе. На него, дымясь, медленно опускалось разъяренное небо. Желтый свет, густо смешанный с сумерками и шумом листвы, отражался в поспешно захлопнутых окнах.

В Слободку успели попасть до дождя.

В больничном саду шли, натыкаясь в темноте на скамейки, к одинокому дому с закрытыми ставнями. Казалось, что уже глухая ночь, и Берг заколебался:

— Не двинуть ли обратно?

— Что вы. Да он не спит до трех часов ночи.

Доктор был плотен, высок, в его пенсне отражались маленькие электрические лампочки, розовый абажур, вытянутое лицо Берга.

К рассказу Берга о Нелидовой он отнесся иронически. Берга он знал по его двум книгам, сам написал брошюру

о психоанализе творческого процесса, поэтому настойчивые расспросы Берга о больной киноартистке его не удивили. Он даже предложил пройти к больной,— было еще рано, семь часов,— больные не спали.

— Только одно условие,— предупредил доктор,— не задавайте ей никаких вопросов.

Берг кивнул.

Снова шли через сад, слепая молния ударяла в пыльную путаницу оград и черепичных крыш, и Берг был не рад, что затеял эту историю. Ему казалось, что доктор втайне сердится на непрошеное вторжение и только из уважения к литературе (о нем он упомянул в разговоре несколько раз) ведет его к больной.

Больная встретила доктора шипением, потом зловеще прокричала, как птица:

— Кви-кви! Кви-кви!

Берг смотрел на нее и тщетно старался отгадать знакомые по фотографии черты. Было что-то до очевидности похожее в общем пятне лица, но каждая отдельная черта была суха и говорила о преждевременной дряхлости. Вблизи это была старуха.

— Сколько ей лет? — тихо спросил Берг.

— Кви-кви! Кви-кви! — жалобно крикнула больная.

За стеклами торопливо и нестройно забарабанили капли дождя. Ставни были закрыты. Это вызывало впечатление тяжелой духоты.

— Двадцать пять.

— Как ее фамилия?

— Левшина.

Но Берг не слышал ответа врача,— он чувствовал легкое головокружение. Из путаницы настойчивых мыслей наконец родилась одна — здесь есть какие-то нити!

— Не-ли-дова! — раздельно позвал он, глядя в пустые глаза больной.

— Что вы делаете!

Берг отмахнулся,— тише!

— Верните! — закричала больная и упала на колени около кровати. Голова ее жалко колотилась о матрас. Она закусила одеяло и рвала его, как рвут щенки, играя, грязную тряпку.

— Я не хочу играть пророчиц! Верните мне девочку!

Она хрипло зарыдала.

Доктор стиснул Берга за локоть и вывел в коридор.

— Идите сейчас же ко мне!

Берг, спотыкаясь, вышел в сад. Обручев взял его за руку и повел в темноте,— Берг был близорук. Накрапывал редкий дождь.

— Ну, что ж вы молчите? — спросил Обручев.

— Несомненно,— пробормотал Берг,— здесь что-то есть. Если не для поисков, то для рассказа. Тема, понимаете. Надо использовать тему.

— Вы — вивисектор!

Ударила молния. В глазах Обручева она сверкнула гневной вспышкой.

В квартире доктора стоял розовый свет, сухой лоск паркета.

Берг закурил. Он, казалось, оглох; глаза его рассеянно бегали по стенам.

— Да..— бормотал он.— Конечно... Да, конечно... Это так... Занятно, очень занятно...

Пришел доктор.

— Ну, милый мой,— сказал он,— слава богу, ее успокоили. Никогда не делайте таких вещей. Вы не понимаете, как серьезно.

— Да, да... простите. Но почему на нее так действует эта фамилия?

Доктор помял в руке папиросу.

— Конечно, тут совпадение. Прежде всего она не настоящая киноартистка. Она недавно приехала в Одессу к брату, поступила на кинофабрику ради заработка. У нее очень фотогеничное лицо, ее взяли. Но дело не в этом. Она разошлась в Москве с мужем,— его фамилия Нелидов. Девичья же ее фамилия Левшина. Здесь был ее муж, он студент-химик. Человек крайне необщительный, молчаливый. Многого, конечно, нельзя выяснить. В конце концов я дознаюсь, в чем дело. Ходит к ней еще ее брат, он плавает третьим помощником на «Перекопе». С ним мне надо будет потолковать. А вы, я вижу,— доктор посмотрел на Берга,— порядочный путаник.

Когда вышли от доктора, дождь прошел, и земля шуршала, впитывая воду. Окраинная ночь была безветренна, с огородов пахло зеленью. Подошел прямо из степи пустой вагон трамвая.

На следующий день на Австрийском пляже Берг вел себя странно,— помреж даже обиделся. Он не обратил никакого внимания на киноартистов, лишь мельком пробе-

жал по ним взглядом и углубился в домино. Он путал, проигрывал и часто ходил к ларьку покупать «за проигрыш» пшенку, квас и папиросы. У стойки была толчея. Берг вздрагивал, когда холодное тело соседа или соседки в мокром купальном костюме прикасалось к нему, и с легкой досадой уступал место. Только к вечеру он нарушил молчание и спросил Обручева:

— Как вы сказали вчера,— вивисектор?

— Вот именно.

— Ага,— пробормотал удовлетворенно Берг.

Два следующих дня шел дождь, было тепло и пасмурно, и в плане поисков произошла заминка: на пляжах не было ни души. Берг пропадал в городе, узнавал, обдумывал, был донельзя рассеян. Ночью он плохо спал,— мешал Обручев, читавший до рассвета Марселя Пруста.

На вторую ночь Берг окликнул Обручева:

— Здесь очевидное недоразумение. Мы пошли по ложному следу. Но это дело я доведу до конца.

— Какое дело?

— С больной. Я был у доктора. Он говорит, что болезнь излечима. Это не сумасшествие, а нервное расстройство. Надо устранить причину.

— А вы ее знаете?

— Кое-что знаю.

— Зачем вы путаетесь в эту историю?

— Много свободного времени.

— Хорошее основание, чтобы лезть в чужие дела.— Обручев сердито зашелестел страницами.

Берг рассказал Обручеву, что разыскал младшего помощника Левшина и успел даже сдружиться с ним. Левшин был коренастый и черный человек, ругатель и не дурак выпить. Угрюмостью он прикрывал застенчивость. Знакомство с Левшиным было выполнено просто,— Берг пришел на «Перекоп» в качестве сотрудника морской московской газеты «Вахта», показал удостоверение, взял беседу о последнем рейсе в Александрию, с парохода пошел с Левшиным в бар, выпили пива, потом зашли в рулетку и сыграли в «пти шво».

— Завтра, если хотите, пойдем в «Уголок моряка», там у меня назначена встреча с Левшиным,— предложил Берг.

— Ну ладно,— неохотно согласился Обручев.

В «Уголке моряка» курили, но воздух был чистый, морской. Дым медленно выползал в окна,— с улицы могло по-

казаться, что в «Уголке» начался тихий табачный пожар. Левшин сидел за столиком с седоусым сердитым человечком в потертом кителе. Берг поморщился,— дело затягивалось.

— Капитан Кузнецов,— представил старика Левшин.

Старичок сунул каждому крепкую лапку. Несмотря на сердитость свою, он был словоохотлив.

— Вы не комсомолец? — спросил он Берга.

— Нет, вышел из этого возраста.

— Боюсь комсомольцев.

Левшин захохотал, поперхнулся кофе.

— Один комсомолец меня до того довел,— видеть их не могу. И фамилия у него, знаете, такая противная — Бузенко. Он юнгой у меня плавал на «Виктории». Изволили, должно быть, видеть — паровая шаланда. Мачты в гнездах качаются, на ходу играет, течет,— одно счастье, что машины работают. Я на «Виктории» пять лет плавал, теперь вот в отставке.

В двадцатом году мы в Евпатории грузили казенную соль. Днем грузили для государства, ночью — для себя. Полный форпик солью набили. То время, знаете, какое было, идешь в рейс, а тебе дают в паек дюжину пуговиц и коробку синьки — вот и вертись! Погрузили, пошли. В Севастополе, вижу, Бузенко мой подался скоренько в город. Ну, думаю, наведет фараонов, гадюка. Что сделаешь, соль в воду не выкинешь. Смотрю,— идет, холера, а за ним особисты со шпайерами. Привел.

«Вот, говорит, они (это я, значит) совместно с командой воруют народную соль. В форпик пудов пятьдесят наклали».

«Веди, говорят, показывай». Веду, а у самого ноги дрожат. Открываю форпик — и что же вы думаете,— пусто!

Кузнецов вытаращил табачные глазки, захохотал и развел руками.

— Пусто! По полу только соленая жижица плавает. А в борту у пола дыра в фут диаметром. Она, знаете, «Виктория» моя, проржавела, якорь сбоку висел, в дороге прихватила свежая погода,— якорь мотался, мотался и пробил эту самую дыру. Соль всю начисто смыло. И жалко, и рад.

«Вот, говорю, какой ты, Бузенко, подлюга, на товарищей и на своего командира ложно донес!»

Ушли особисты, а Бузенко говорит: «Вы разоряйтесь

не очень сильно, потому я комсомолец». Но, однако, притих.

Решил я его сплавить. Только как? Ядовитый народ и опасный. Идем мы в Мариуполь. Штормуем. Смотрим — в проливе треплется дубок, на полмачты поднят стул,— это у них, пацанов, вместо флага, обозначает сигнал бедствия. Подходим. Они, дураки, наклали полную палубу мешков с ячменем,— их, естественно, заливает. А у меня команда — бандиты. Мои ребята кричат: «Даешь половину ячки, тогда будем спасать!» Те кричат: «Даешь, растудыть вас в три господа!»

Взяли их на буксир, поволокли. Погода к вечеру стихла,— в море половину мешков и перегрузили. А Бузенко я послал на дубок: иди, говорю, будь там вместо шкипера, следи за порядком.

Под Мариуполем дубок отпустили,— уж очень они взмолились,— им в Ахтары было надо. Перед тем составили акт, заставили шкипера подписать. В акте указано, что особое геройство при спасении гибнущего дубка выказал юнга Бузенко. В Мариуполе я акт — в управление порта, копию — в союз, при акте бумагу. В ней пишу: «Ввиду особого геройства Бузенко и выдающихся заслуг ходатайствую о назначении его матросом на пассажирский пароход Крымско-Кавказской линии».

Повеселели все. Ясно — уберут Бузенко. У нас героев любят. Проходит три дня,— на четвертый бежит ко мне Бузенко, рожа как самовар. «Отличили, говорит, Петр Егорыч». Я даже перекрестился. «Куда ж тебя теперь?» А он, понимаете, вынимает часы и кидает на стол. А на часах выгравировано: «Юнге Бузенко от Мариупольского районного комитета водников за спасение погибающих».

Тьфу! Будь ты проклят. Остался.

Но я жду случая. Идем в Одессу, прошли уже Большой маяк, вдруг слышу — Бузенко ревет на палубе: «Мина с правого борта». Я даже вспотел, выскочил на мостик. Стали удирать. Действительно, близко плывет какая-то штуковина. Посмотрел в бинокль — бревно! Но я молчу,— пусть их думают, что мина. Пришли в Одессу. Я моментально рапорт начальнику порта и копию в союз. «Доношу, мол, что лишь благодаря исключительной бдительности матроса Бузенко (он у меня матросом уже заделался) было избегнуто столкновение с миной и гибель судна. Ходатайствую о переводе Бузенко, ввиду выдающихся заслуг,

матросом первой статьи на пассажирский пароход Крымско-Кавказской линии».

Ждем. Теперь уже уберут, никто не сомневается.

Проходит так дня четыре, вижу — бежит Бузенко, рожа как самовар, кричит: «Везет мне, Петр Егорыч!» Вытаскивает из кармана бумагу — назначение — и дает мне. Читаю... и что бы вы думали (Кузнецов всплеснул руками), в бумаге написано: «Ввиду заслуг и, одним словом, прочей хреновины, матрос Бузенко назначается профуполномоченным Черноморского союза водников на судне «Виктория». Я даже плюнул, «Ну, говорю, и зануда же ты, Бузенко, везет тебе, как сукиному сыну!»

И вот, представьте, потом до конца с ним плавал — и пичего. Ругались только помаленьку.

Кузнецов пытался начать новую историю, но Левшин прервал его:

— Погоди, Петр Егорыч, оставь до следующего раза. Всего не перескажешь.

Кузнецов занялся Обручевым. Рассказал, что жить на пенсию трудно, приходится подрабатывать — делать модели пароходов, яхт, крейсеров и сдавать на комиссию в игрушечный магазин. Левшин говорил тихо Бергу:

— Вы уверены, что это излечимо? Она мне сестра только по матери. История, знаете, тяжелая. В девятнадцатом году у нее родилась дочка. Время было корявое — ни молока, ни хлеба, а ребенок первый. Отец бился как рыба об лед, он корректором служил в типографии в Москве, но толку было мало. У сестры не хватает молока, девочка вот-вот умрет. Была у сестры знакомая, бывшая генеральша. На Смоленском торговала простынями, бельем,— вообще барахольщица. Сестра пошла к ней, просит,— найдите мне хоть какой-нибудь заработок, я готова на улицу идти. Старуха нашла,— правда, предупредила, что работа рискованная: скупать золото и ценности для заграницы. Познакомила ее с каким-то бывшим адвокатом. Адвокат этот был вроде поверенного у американской шайки.

Берг придвинулся.

— Ну вот. От мужа она скрыла. Говорила, что торгует на базаре, берет на комиссию вещи. Девочка выжила. Время пошло другое, стало легче. Так вот и тянулось до прошлой зимы. А зимой адвокат попался на темном деле, его потянули, а за пим и всех. И сестру притянули. Муж узнал. Он человек неприятный, крутой. Очень принципи-

альный человек. Даже дочку в суд водил. Еще до суда подал в загс заявление о разводе, девочку оставил себе. Я с ним говорил. «Ну что ж,— это его слова мне,— Нинка должна забыть свою мать». Сестру он уже не любил. Знаете,— химик, химическая душа. Сестру, конечно, оправдали, приговорили к общественному порицанию. В предварительном заключении она просидела два месяца. Что было у них — не знаю. Он ее в дом не пустил. Потом вот приехал в Одессу, женился на другой, получил место на заводе. Сестра приехала следом за ним, жила у меня, убивалась из-за девочки, даже хотела ее украсть. Насчет кино вы знаете?

— Да, знаю. Когда вы уходите в рейс?

— Недельки через три.

— А как девочка, помнит ее?

Вопросы Берга были бессвязны. Левшин бубнил, глядя под стол, разговор его, видимо, мучил.

— Девочке шесть лет. Конечно, помнит. Очень грустная девочка. Жалко ее, знаете...

Левшин поморгал глазами, отвернулся.

— Не сердитесь на меня,— сказал Берг.— Я лезу не в свое дело, но понимаете... нехорошо все это. Неужели так все и останется?

Левшин молчал, сгорбившись.

— Я бы взял,— сказал он тихо,— да ведь я плаваю. Не на кого ее оставить.

— А он отдаст?

— По суду отдаст.

— Тогда будем судиться.

Обручев оглянулся.

— Тогда будем судиться,— повторил Берг.— Сегодня я поеду к доктору. Надо узнать все точно и действовать.

Вечером Берг поехал к доктору. Он узнал, что больной лучше. Спокойно, даже небрежно он передал доктору свой разговор с Левшиным.

— Она сейчас почти нормальна,— сказал доктор, раздумывая,— может быть... знаете, сильное средство, но оно может оказаться спасением. Вы беретесь привезти девочку?

— Я берусь вернуть ее совершенно.

Доктор был смущен. Он ходил по комнате, мычал. Казалось, он не верил. Потом согласился:

— Ну ладно, действуйте. Благословляю. Страшновато, но хуже не будет.

На следующий день Берг поехал с Обручевым для очистки совести на Аркадийский пляж. Лежа на горячем песке, Обручев сказал:

— Вы закрутили сложную махинацию. В чем дело?

— Маленькая вивисекция. Тема,— глаза Берга потемнели от гнева,— тема для сентиментального рассказа, господин Марсель Пруст.

— Что с вами?

— Ничего. Как вы думаете, вивисекция существует для блага человечества?

— Пожалуй.

— А ваша аккуратная гуманность?

Обручев пожал плечами.

— Не будем ссориться.

Но Берг не унимался.

— Гуманист,— сказал он насмешливо.— Вы не замечаете человеческих страданий потому, что это, видите ли, неделикатно. В какой-то глупой книжке я прочел рассуждение о высшей деликатности. Примерно там сказано так. В комнату, где сидят несколько человек входит женщина. Глаза ее заплаканы. Деликатные люди делают вид, что не замечают этого. Но человек деликатный в высшей степени должен уступить ей место спиной к свету, чтобы ее заплаканные глаза не были даже заметны. А грубиян и вивисектор постарается узнать и устранить причину ее слез.

Обручев поморщился.

— Вы раздражены, перегрелись на солнце. Пойдем лучше в воду.

Раздражение Берга быстро прошло. Обратно они шли по Французскому бульвару. Берег вдали обрывался; над ним дрожала синеватым угаром жара.

— Я могу быть добрым только назло,— говорил Берг, к великой радости Обручева.

Мысли его о Берге блестяще подтверждались. Берг хитро улыбался. Его не оставляла увереность, что все удастся как нельзя лучше. Эта увереность много раз выручала его из запутанных положений и вызывала необычайное раздражение у людей, настроенных пессимистически.

Суд состоялся через неделю. В засаленной комнате было уныло, и все краски, казалось, погасли. Здесь, в суде, особенно болезненно ощущались яркость и шум жизнерадостных улиц.

Нелидов — высокий, белокурый и злой — сидел на скамье и читал газету. Его голова в кудряшках, тонкие губы, ноги в коричневых крагах были не нужны здесь, на юге, в кружащемся потоке белых одежд, ярких губ, веселого гомона.

Судьи вышли торопливо. Один из них был с костылем. Председатель пробормотал, заикаясь и как бы засыпая в конце каждой фразы, заявление Левшина. Он подозвал единственного свидетеля, доктора Павла Ивановича, и, глядя поверх его головы, произнес скороговоркой:

— Свидетель, вы предупреждаетесь, в случае ложных показаний — будете отвечать закону. Выйдите из зала.

Начало не сулило ничего хорошего. Девочку судья называл «гражданка Нина Нелидова», листал дело с нескрываемой досадой. Очевидно, всех в мире он считал сутягами и не мог понять, во имя чего капитан требует отдать ему девочку, зачем ему это нужно и зачем в это дело запутался известный общественник врач.

В мозгу судьи, по догадкам Берга, не существовали такие слова, как «любовь», «материнство», «страдание»; вместо них бродили серые, как крысы, слова: «иждивение», «вменяемость», «половое влечение», «расторжение брака» и «уплата алиментов».

Есть слова, высосанные протоколистами вместе с никотином из обмякших папирос. Они способны вызвать рвоту. Голос закона (в детстве Берг представлял закон в виде белесого мужчины с пустыми глазами, коротким ежиком и сухими и холодными пальцами) скрежетал в этих словах потрясающим пренебрежением к живой душе человеческой.

Судья опросил Левшина, хмуро посмотрел на его белый китель. Хромой заседатель спросил дребезжащим голосом, не плавал ли Левшин на «Констанции», и на ответ, что плавал, ядовито улыбнулся и сказал значительно: «Я не имею больше вопросов». Левшин вспотел, с медного и открытого его лица стекал пот.

Нелидов отвечал сухо и брезгливо, сказал, что если «суд уверен в излечении больной путем возвращения ей дочери Нины и вправе решать этот чисто медицинский вопрос, то он приговору подчинится».

«Глупо»,— подумал Берг, а судья резко сказал:

— Говорите короче, а прав суда прошу не касаться.

Нелидов пожал плечами и сел. Вызвали Павла Ивано-

вича. Он говорил уверенно, назвал судью «товарищ Орешкин»,— ему часто приходилось выступать экспертом. Судья слушал недоверчиво. После того как Павел Иванович кончил свою речь утверждением, что больная может выздороветь, если будет устранена причина болезни, то есть если ей вернут ребенка, судья, рисовавший на папке, поднял глаза и раздраженно спросил:

— Суд вас спрашивает, выздоровеет ли больная в случае возврата ей ребенка или нет? Отвечайте точно.

Павел Иванович развел руками и мягко повторил:

— Да, я думаю, что она выздоровеет.

Суд удалился на совещание. Левшин вытер пот и сказал Бергу:

— Черт их поймет. По-моему, они не разобрались, в чем дело.

Вышли курить на лестницу. На лестнице чистенькая старушка-пенсионерка говорила милиционеру:

— Сколько я страданий приняла — и японскую, и германскую, и немецкую войну, и убийства, и с голоду дохла — так ты вправе меня выселять? А еще интеллигентный молодой человек. Из-за такого, как ты, моя дочка погибла. Старалась для вас, заразилась от солдата венерической болезнью, а меня выселять...— Старушка собралась плакать.

Милиционер угрюмо молчал.

Суд совещался минут десять. Наконец суд появился. Председатель, глотая от спешки слова, прочел приговор:

— «Принимая во внимание такие-то, такие-то и такие-то обстоятельства, суд постановил изъять гражданку Нину Нелидову, шести лет, ввиду согласия отца, и передать на воспитание матери, гражданке Елене Сергеевне Левшиной, обусловливая эту передачу ее предварительным и полным выздоровлением, впредь до чего опекуном и воспитателем назначить дядю упомянутой Нины Нелидовой — гражданина Левшина Петра Сергеевича, тридцати восьми лет, третьего помощника на пароходе «Перекоп», каковой гражданин Левшин обязуется дать гражданке Нине Нелидовой трудовое воспитание и отказывается от получения алиментов, с чем, однако, суд согласиться не может, а потому постановляет взыскивать с гражданина Нелидова на содержание дочери по сорок рублей в месяц до наступления совершеннолетия вышеупомянутой».

— Все,— сказал председатель.— Стороны, подпишитесь. Копию приговора получите в канцелярии.

Левшин отошел с Нелидовым в сторону. Левшин был красен и взволнован. Нелидов глядел через его плечо, потом холодно посмотрел в рот Левшина и громко сказал:

— Когда хотите. Чем раньше, тем лучше. Моя жена не имеет времени с ней возиться.

Он повернулся и вышел.

— Ну, гусь,— сказал, прощаясь, доктор.— Я жду вас завтра. Она почти здорова.

Берг и Левшин были озабочены смешной для взрослых мужчин и сложной задачей,— устроить Нинку у Левшина. Левшин купил провизии, молока, фруктов, куклу (он так краснел, когда ее выбирал, что, казалось, кровь брызнет из пор; он чувствовал себя, как молодой отец).

Жил он в Лермонтовском переулке, в Отраде. У соседа Левшин занял походную кровать для Берга,— было решено, что Берг у него переночует.

К вечеру Левшин поехал за Ниной. В темной передней Нина бросилась к нему, крепко обхватила за ноги и спрятала голову в коленях. Ей уже сказали, что она два месяца погостит у дяди Пети и даже поедет с ним на пароходе на Кавказ. Левшин впервые в жизни заплакал, стыдясь своих слез. Он неловко гладил головку девочки и отворачивался, сопя и задыхаясь, потом незаметно вытер слезы рукавом кителя.

— Ну, Нинок, поедем.

Нелидов принес корзинку с вещами Нины, потрепал ее по щеке и сказал сурово:

— Ты смотри, приходи иногда с дядей.

Нина отвернулась. Левшин, не глядя, сунул Нелидову руку и вышел на лестницу. По дороге на извозчике девочка болтала, крепко держась за его рукав. Левшин курил и был опять спокойным любимым дядей с обветренным крепким лицом.

«Все будет прекрасно. Все будет хорошо, ты, крошечная»,— мысленно говорил он Нине.

С Бергом девочка подняла возню, потом пошли на берег смотреть, как рыбаки вытаскивают сети. Берг ловил ей крабов,— рыбаки считают их нечистыми и выбрасывают из сетей. Пыльный закат желтел над глинистыми берегами, и Нинке и Бергу одинаково казалось, что они знают друг друга давным-давно.

Дома девочка быстро уснула. Капитан неумело умыл ее, уже сонную, уложил, даже что-то пошептал над ней.

Потом он долго сидел с Бергом у открытого окна. Звезды пламенели в просветах тяжелой листвы. Соленый воздух лился рекой. Пересыпь висела в ночи роем огненных, взлетевших и остановившихся пчел. Тепло и нежно пробасил в море пароход.

Утром Левшин сказал Нинке, что приехала мама. Девочка долго возилась с куклой, потом заплакала. Берг и Левшин растерялись — Берг отчетливо понял, чтó он затеял.

«Вдруг все провалится,— подумал он, холодея.— Тогда хоть пулю в лоб».

Мелькнула мысль о бегстве, но Берг прогнал ее. «Крепись»,— шептал он себе, глядя на улицу, потом задумал: если трамвай обгонит извозчика до столба, то все пропало, если нет — он спасен. Берг волновался, как на бегах. Трамвай не догнал извозчика, и Берг облегченно вздохнул.

— Нинок,— сказал он спокойно,— поедем сейчас к маме, а по дороге зайдем к одному дедушке-старичку: он делает кораблики. Мы тебе купим кораблик.

Девочка стихла, искоса посмотрела на Берга. Пришел Обручев, мобилизованный на всякий случай. Пошли к Кузнецову,— он жил на Черноморской, в темной комнате с окнами на море. Под притолокой висела клетка с сумрачным инвалидом щеглом. Море в окнах было зеленое и дымное от ветра. Буйная зелень Черноморской шумела и качалась, гоняя по земле тысячи маленьких солнц.

Остовы игрушечных шхун лежали вверх килями на подоконнике и сохли на ветру. Кузнецов в очках, похожий на дряхлого и любимого дедушку, пилил лобзиком фанеру.

— Клипер вот затеял.— Он кивнул на кораблик, стоявший на игрушечных стапелях.— Теперь это, знаете, история,— клиперов уже нет. Последний переделали под плавучий маяк в Таганроге. А в мое время красавцы были клипера,— чай возили вокруг всей Африки в Европу. О Суэцком канале в те времена еще никто не мечтал.

Нинке Кузнецов подарил яхту с громадным парусом. Ореховый лак ее бледно сверкал на солнце.

Нина застенчиво приняла подарок, потом спряталась за Левшина.

На Слободку ехали страшно долго,— так, по крайней мере, показалось Бергу. Доктор потрепал девочку по щеке, отвел Берга в сторону.

— Я ее подготовил. С девочкой пойду я и Левшин. Вы останетесь здесь. Думаю, что сегодня вы увидите маленькое чудо.

Он улыбнулся, но вместо улыбки лицо его сморщилось в нервную гримасу.

Они ушли. Обручев ходил по комнате, вынул из ящика яхту и долго вертел ее в руках. В голове скакали клочки несуразных мыслей: «Сколько она стоит? Да, да, да... значит, так. Полтора рубля и дом на Черноморской номер пятнадцать».

Он повертел яхту, спрятал ее в ящик. Руки его тряслись, он засунул их в карманы. Говорить он не мог: губы дергала судорога. Берг сидел спиной к окну и прислушивался. Обручев обернулся. Берг вздрогнул, уронил папиросу.

— Тише вы,— сказал он с ненавистью.— Не скрипите ботинками!

Берг улыбался так же, как доктор,— криво, болезненно. Улыбка его была похожа на гримасу невыносимой боли.

— Скорей бы.— Обручев почти плакал.— Что они умерли, что ли!

Берг медленно встал, повернулся к окну, отскочил в глубь комнаты и пробормотал:

— Уже... уже...

В саду раздался крик. Много позже при воспоминании о нем Берг всегда мучительно краснел. Это был крик животной радости. Так кричат раненые, когда у них вынули пулю. За криком последовал чистый мягкий смех, бубнил капитан и тихо, вполголоса, говорил что-то доктор.

Потом женский голос, незнакомый и внятный, сказал в саду, как на сцене:

— Покажите же мне его. Сейчас, непременно.

— Берг,— Обручев задохся,— она выздоровела, видите, Берг.

— Тише,— приглушенно крикнул Берг.— Надо бежать!

Он толкнул Обручева к двери на черный ход. Они выскочили на крыльцо и промчались через сад. Берг перепрыгнул через низкую ограду, поранил руку о колючую проволоку. Они долго бежали по огороду, ломая помидоры, и чей-то голос яростно вопил, казалось, над самой головой:

— Стой, байстрюки, сволочь несчастная! Стой!

Они перелезли через вторую ограду, пробежали пыльным переулком и остановились. Было знойно и пусто. С руки Берга капала черная кровь. Берг туго затянул руку носовым платком.

— Теперь драла! — сказал он, все еще вздрагивая.— Двинем пешком, на трамвае опасно,— мы можем их встретить.

В город шли долго, у всех ларьков пили, отдуваясь, ледяную воду из граненых стаканчиков. Около рыжего, пахнущего керосином, дома на Молдаванке Берг присел на скамейку.

— Отдохнем. Хорошо, что Левшин не знает вашего адреса.

Не заходя домой, они прошли на Австрийский пляж купаться. Когда Обручев вылез из воды, Берг, не глядя на него, пробормотал:

— Я вам покажу вивисекцию. Сопливый гуманист.

Обручев похлопал его по загорелой спине. Из-за рейдового мола, неся перед носом снеговую пену, выходил в море высокий пароход. Ветер косо сносил дым из трубы. Пароход медленно поворачивался и, казалось, зорко вглядывался в шумящие стеклянные дали, куда лежал его путь.

— Завтра двинем на пляж Ковалевского,— сказал Берг.— Все остальные мы уже осмотрели. А потом — в Крым.

Обручев раскрыл Марселя Пруста. Он читал, и строчки сливались в серые полосы. Все, что случилось, было просто, вполне понятно и вместе с тем почти чудесно. Обручев никак не мог примирить этих двух начал. Он поглядывал на Берга и думал, что в его жизни будет много занятных историй. Берг крепко уснул. Наступило «второе» солнце, и сон был безопасен.

На пляж Ковалевского за Большефонтанским маяком поехали через неделю,— Берг сжегся и шесть дней не выходил на солнце, мазался вазелином и стонал. На пляже было желто от глинистых обрывов. Цвел терновник.

По дороге к пляжу в степи росла полынь. На пляже Берг снял белые туфли,— подошвы стали серебристо-зеленого цвета. Он понюхал их:

— Полынь... Бессмертная полынь...

Берг облизал губы, поморщился.

— Даже на губах горечь.

Обручев взялся за неизменного Пруста. Берг достал томик стихов Мариа Эредиа. Стихи он читал редко, только после завершения крупного дела.

Раскрывая томик Эредиа, он сказал:

— Теперь можно побаловаться.

Он лег на спину, читал, перечитывал и вслух повторял каждую строчку. Вдруг остановился, вгляделся в страницу и пробормотал:

— Что за черт!

Он нашел суровые и грустные стихи, начинающиеся словами:

Разрушен древний храм на мысе над обрывом...
Перемешала смерть в рудой земле пустынь
Героев бронзовых и мраморных богинь,
Покоя славу их в кустарнике дремливом.

Он увидел строчку: «Земля, как мать, нежна к забытым божествам» — и вспомнил дневник Нелидова, сияние капитанского примуса и свое купанье в Серебрянке.

Широкий ветер дул на горячие пески и переворачивал твердые страницы.

«Эх, жить бы так целую вечность»,— подумал Берг и вздрогнул от окрика Обручева:

— Ложитесь!

Берг поднял голову.

— Ложитесь, говорю вам. Спрячьте голову! Это она!

Берг перевернулся спиной вверх, положил голову на руки и из-под пальцев посмотрел вдоль берега. Навстречу шла Левшина. Ветер рвал ее платье, она по-детски придерживала его у колен. Ветер обнажал ее ноги, показывал черту черных, туго обхватывающих бедра, трусиков. Ее улыбка, блеск глаз и зубов производили впечатление необычайной молодости. Она казалась подростком. Нинка бежала по краю прибоя. Левшина прошла в двух шагах от Берга и Обручева. Они лежали как мертвые. Левшина сказала:

— Нинок, ты смотри получше. Не пропусти дядю.

Берг затаил дыхание,— в рот ему попал песок. Левшина остановилась шагах в ста и сбросила платье.

— Берг,— сказал Обручев,— не похоже, что это ее дочка. У нее тело девушки. Она повторяет, мне кажется, ваш гениальный план. Она ищет вас.

— Ну и пусть.— Берг сел спиной к Левшиной и начал поспешно одеваться.— Ну и пусть. Что вы, не понимаете,— надо смываться.

«Смылись» они очень быстро.

Берг отправил «рапорт» капитану о том, что ни Пиррисона, ни Нелидовой в Одессе не обнаружено и что он выезжает в Севастополь.

Уехал он через два дня. Шел «Ильич». На просторных палубах было свежо и чисто, в проходах дул сквозной приятный ветер, а на молу лежал чудовищный зной и пахло серой. Обручев не выдержал и сбежал.

Берг насвистывал и бродил по пароходу среди чемоданов, детей, собак, возбужденных женщин, крика, грома лебедок. Берег ушел гигантской стаей машущих крыльями чаек,— провожающие махали шляпами и платками.

Прошли ржавые от зноя берега Фонтана, пляж Ковалевского, и пароход, тяжело чертя по горизонту бугшпритом, повернул в открытое море.

У Берга защемило сердце, и он подумал, что уезжать сейчас из Одессы, пожалуй, не стоило.

— Бегу от судьбы,— пробормотал он и пошел в кают-компанию с видом человека, проплававшего по морям всю жизнь.

Берега Одессы опускались в густое море, в древнюю мглу. Шум волн, казалось, старался загладить в памяти одесские дни.

— Да, много было солнца,— сказал вслух Берг и вздохнул.

Официант покосился и поставил перед ним стакан крепчайшего красного чая с кружком бледно-золотого лимона.

КИТАЕЦ-ПРАЧКА

В Таганроге Батурин прожил неделю. Никаких следов Пиррисона и Нелидовой он не нашел и решил ехать в Бердянск. Решение это стоило двух бессонных ночей,— он думал о Вале, и опять пришла к нему пронзительная жалость. Он не находил себе места.

Валя была молчалива. Она догадывалась, что Батурин решил уехать, но ничего не спрашивала, только плакала по ночам.

Все это было тем тяжелее для Батурина, что она ни слова не сказала ему о любви,— всю неделю Батурин прожил с ней, как с давно потерянным другом.

Вечером накануне отъезда Валя ушла, ничего не сказав, и вернулась около полуночи. Электричество в номере не горело. Батурин сидел при свече и писал письмо капитану.

Валя остановилась в темных дверях. Батурин слышал ее отрывистое дыханье и внезапно, еще не видя ее, понял, что несчастье вошло вместе с ней в пустую и черную комнату. Это ощущение непоправимой беды было так остро, что Батурин боялся оглянуться.

— Валя! — позвал он тихо.

Она молчала.

— Валя, вы?

Она молчала. Электрическая лампочка медленно палилась мертвым светом. Батурин оглянулся и встал.

Так они стояли несколько минут. Валя была бледна, яркие пятна на ее щеках казались трупными, глаза были полузакрыты.

— Я,— хрипло сказала она.— Не разговаривайте со мной, иначе я буду кричать.

Она, шатаясь, подошла к кровати, упала на нее ничком и затихла.

Батурин потушил свет, сел на подоконник и просидел несколько часов. Ему было холодно. Неуютно и сурово гудело море. Стараясь не шуметь, он закурил,— спичка осветила пустую комнату, раскрытый чемодан на полу, вздрагивающую спину Вали. Валя села на кровати, поправила волосы.

— Ну вот,— она вздохнула с деланным облегчением,— все и прошло. Завтра провожу вас и поеду в Ростов.

— Поезжайте со мной.

— Нет уж, спасибо.— Она помолчала и тихо добавила: — Зачем?

Батурин ничего не ответил.

— Зачем? — повторила громче Валя.— Да вы не бойтесь, я опять кокаину занюхалась. Уже все прошло.

— Я вижу,— сказал Батурин. Ему хотелось сказать ей, что впереди — горькая, но прекрасная и переменчивая жизнь, моря, встречи, снежные зимы, тепло человеческих душ, но он сдержал свой порыв и вслух оценил свои мысли:

— Все это — сантименты!

Он не видел, как Валя сжалась, будто ее ударили по щеке, и покраснела до слез.

— Да,— ответила она глухо.— Конечно, не стоит... А теперь ложитесь,— светает.

Батурин лег. Он долго не мог согреться. Шум утра раздражал его и прерывал короткие сны.

На следующий вечер он уезжал. Ветер обрушился на город. Он дул неизвестно откуда,— казалось, со всех сторон,— хлопал ставнями, пылил, свинцовыми полосами гулял по морю. К вечеру он усилился. Фонари мигали, но не светили. У мола скрипел на тросах блещущий черной краской пароход «Феодосия».

Город, степи, вся жизнь тонули в этом рвущем дыханье ветряном водопаде.

На пристани Валя, прощаясь, поцеловала Батурина. В этом первом ее поцелуе были горечь и слезы, Батурин ощутил на губах соленый привкус. Он сжал ее руки, но Валя быстро сказала:

— Идите!

С палубы он смотрел на нее, мертвая улыбка кривила его губы. Валя подошла к краю пристани. Ветер трепал черными порывами ее платье. Рядом с Батуриным стоял китаец, щуря впадины дряхлых тысячелетних глаз. Он смотрел то на Валю, то на Батурина, почесывая поясницу.

Когда пароход отвалил, яростно свистя паром, Валя подняла руку и что-то крикнула. Батурин не расслышал. Огонь фонаря пробежал по ее лицу,— глаза ее были полны слез. Она быстро подошла к корме парохода и опять что-то крикнула, но Батурин снова не расслышал. В ответ он только махнул рукой.

Черная пристань с двумя желтыми фонарями, шумя, отодвинулась назад. Сбоку, со стороны моря, ударил ветер, понес сипение пара, крики, шум волн, бивших о мол.

«Кончено!» — подумал Батурин и сел на корме за рубкой.

Рядом на скамейке сидел китаец. На его лайковое лицо светила тусклая лампочка со спардека. Скрипели рулевые цепи, и гулко дышала машина. Звезды пересыпались белыми зернами. Волны с тихим шумом шли с запада и уходили прочь, к Таганрогу, будто спешили на штурм отдаленной крепости.

Китаец перекинулся с Батуриным несколькими словами. Он держал в Бердянске прачечную; звали его Ли Ван; родом он был из Фучжоу.

В Мариуполь пришли ранним утром. На море лег дымный синеватый штиль. Ослепительно хохотали рыбачки,— они тащили в корзинах колючую рыбу. Батурин во время стоянки парохода сходил на базар, заваленный помидорами. Море накатывалось на сухую, розовую поутру степь. Серые волы стояли на берегу; их глаза были синие и влажные, как море.

В Мариуполе Батурин не останавливался. Следы Пиррисона, по словам Вали, могли быть только в Бердянске и Керчи.

Он сошел в Бердянске вместе с Ли Ваном. На пароходе Ли Ван был немногословен. Он спал или ел копченую кефаль, облизывая детские коричневые пальцы. Иногда он смотрел за борт и пел унылые песни.

Бердянск был крепко высушен солнцем. На набережной хрустел сухой чертополох. Листва акаций уже желтела (хотя был только июнь). Рыжие кошки спали на тротуарах. Пустынность и сухость этих мест пришлись по душе Батурину.

«Тут я застряну»,— решил он, забыв о гневных капитанских письмах. Надо было собраться с мыслями. Он чувствовал себя, как человек, ошибившийся поездом, едущий совсем не туда, куда надо. Он решил подольше остановиться в Бердянске, на рубеже Азовского моря. Он цеплялся за этот город, как будто дальше была пропасть.

По совету Ли Вана он снял комнату у вдовы-матроски Игнатовны, ходившей на поденщину к грекам. Ли Ван принял Батурина за коммивояжера, то же думала и старуха Игнатовна.

Несколько дней Батурин провалялся на маленьком каменистом пляже. Он загорал, курил, не хотел ни читать, ни думать. Мягкое оцепенение сковывало тело. Было такое состояние, как после сыпного тифа,— хотелось пустынности, дней бесшумных, как солнце, свежего сна и простой какой-нибудь песенки.

Батурину нравилось, что в столовой, где он обедал, было темно от зелени и пустынно. Когда хозяин звякал тарелками, Батурин вздрагивал и оглядывался,— за окном было видно море, на углу под акацией спал сидя чистильщик сапог, морщинистый и бессловесный айсор.

Лишь изредка по чистым скатертям дул ветер, и дым папиросы улетал к хозяину, за черную таинственную стойку. Там блестели бутылки, и розовый, золоченый и синий строй чайников напоминал лубочную персидскую сказку.

Батурин рассказал Игнатовне, что ищет сестру. Она в свое время бежала с добровольцами из Киева и якобы жила в Бердянске. Игнатовна поохала, вытерла глаза уголком платка и пошла на поденщину — мыть полы к грекам. А через сутки историю Батурина знали все старухи и простоволосые женщины, стиравшие по дворам белье. Они провожали его ласковыми взглядами и ставили в пример мужьям.

— Вот, смотри, как человек за сестру заботится,— не то что ты, ирод! Тебе и жена — не человек, не говоря за сестру. Тьфу!

Однажды в столовой к Батурину подсел и представился какой-то черный человек. Фамилия его была Лойба. Коммивояжер по профессии, он, ввиду плохих дел и отсутствия солидных фирм (Лойба вздохнул в пышные мопассановские усы), имел вид жалкий и занимался низким ремеслом — работал шпагоглотателем в местном цирке.

Лойба говорил с польским прононсом, был величав и благороден в нищете, называл Батурина «коллега» и проявил большие познания по части подтяжек, дамских подвязок и прочей галантереи. Он сказал Батурину:

— Я специально позволил себе побеспокоить вас, коллега, зная о вашем семейном затруднении. Мы — люди ума, интеллигенты. Я служил в австрийском посольстве в Петрограде. Мы понимаем друг друга. Извиняюсь, но я вспомнил. Я уже третий год вынужден жить тут, в этой паскудной дыре, и я многих знаю. Перед эвакуацией одна молодая женщина вышла замуж за английского офицера, и они уехали на миноносце в Турцию. Извиняюсь, если ошибся.

Батурин из вежливости расспросил. Молодая женщина была толста, «глаза имела как слезы ребенка», закручивала косы вокруг головы и звали ее Эсфирь Львовна. Нет, эта не подходит.

— А вы случайно не встречали здесь американца Пиррисона?

Лойба покосился.

— Нет, знаете, со всякими проходимцами я не имел дела.

— Почему проходимцами?

— Достаточно, что у нас в цирке есть американец. Он делает всякие штуки на трапециях. Так он, знаете, не имеет ни малейшего почтения к людям. Он достиг такой наглости, что заявил на меня, будто я ворую из столовой серебряные кольца для салфеток и прочие вещи. Я имел через него большие неприятности.

Батурин пристально посмотрел на Лойбу и решил от него отвязаться, но это оказалось делом трудным. Лойба попадался всюду и тотчас же, подняв косматые брови, начинал врать об австрийском посольстве и жаловаться на дикость туземцев.

Батурину наконец стало казаться, что никакого Пиррисона нет, как нет и Нелидовой, что вся эта история выдумана. Он пал духом, изощрялся в придумывании невероятных планов, как найти Пиррисона, но при осуществлении их упирался в единственный выход — расспросы. Это было скучно и походило на лотерею,— человек, который смог бы сказать, где Пиррисон и Нелидова, представлялся недосягаемым, как выигрыш в сто тысяч. Искать такого человека было бессмысленно. Поэтому Батурин избрал легчайший путь — ждать счастливой случайности.

Бердянск тускло поблескивал черепичными крышами и морем. Временами дул горячий ветер с юга. Батурин любил такие дни, потому что был уверен, что ветер дует из Африки.

Цвет дня был мутный, и безоблачное небо становилось сизым, как в грозу. Неизмеримая жара повисла в воздухе, опаленном ветром.

В один из таких дней Батурин, сидя в столовой, набросал на меню несколько фраз,— он хотел передать настроение этих ветровых дней. Перечитывая написанное, он сказал себе — «постой, постой!» — и улыбнулся. Фразы были крепкие, звучали сжато, беспощадно, как дни, о которых он писал.

— Есть! — сказал Батурин.— Мозги проветрены. Теперь пора.

С этого дня он, пока только для себя, стал писателем. Не имея представления о сложности сюжетов, архитектуре повестей, умолчаниях, торможениях повествования, он чувствовал тяжесть от обилия образов. Они были еще далеки от нужной четкости, мутны, как цвет ветреных дней. Но они пенились и подымались, разбрызгивая тончайшие капли влаги.

Он ждал. Это ожидание было похоже на горные хребты в тумане. То там, то тут просвечивает розовый лед, и с дрожью, предчувствуя необычайное зрелище, ждешь, когда туман растает и блеск снежной весны над глетчерами откроется в своем блистающем молчании.

— Как хорошо! — повторил Батурин.

Казалось, мир залит жгучим светом, и вещи раскрыли свою вторую сущность — более глубокую, сложную, чем та, среди которой он жил до тех пор.

Это состояние напоминало бред, влюбленность. В каждой будничной вещи были скрыты волнующиеся, как море, легенды.

Батурин стал понимать, как коротка жизнь. Он казался себе мальчишкой, который хочет остановить руками водопад,— исполинский поток света, влаги, спектральных лучей,— и плачет от бессилья. Едва Батурин пытался закрепить один образ, как новый, еще более томительный, ускользающий, рождался в мозгу. Были тончайшие вещи, что никак не укладывались на бумагу.

Скорей, скорей! — вот единственное чувство, которое в те дни испытывал Батурин. Письма капитана лежали нераспечатанными.

Батурин казался себе похожим на рыбу-глистовку. Ее он часто видел в порту. Она выскакивала из воды, будто хотела лететь, падала на бок, быстро кружилась, опять выскакивала, кружилась и издыхала. Это была болезнь. Попытки рыбы летать напоминали Батурину его бессилие, когда он сталкивался с немощью родного языка.

Лойбу он как-то прогнал в столовой, сказав ему: «Уйдите, вы мне мешаете»,— и не заметил, как тот подошел к хозяину, покрутил пальцем около лба и злобно прошептал:

— Психопат! У него, знаете, полное смешение мыслей.

Для того чтобы писать, Батурину чего-то не хватало. Он думал, искал. Ему казалось порой, что нужна музыка — ее благородный пафос и необъятный разлив развязанных звуков, но потом решил: нет, не то. Подъем сменяла тяжелая усталость. Невольно в голову лезли мысли, что он разбудил черта, непонятную болезнь, и выздоровления от нее не будет.

«Пропал»,— думал Батурин и холодел от возбуждения.

В таком состоянии он вернулся однажды в сумерки домой. Игнатовна подала ему записку.

— Ну, дал бог счастья,— затараторила она.— Сестра ваша нашлась, сегодня приходила, час назад. Вот эту записку вам оставила. Вы ее шукаете, а она вас. «Приехала, говорит, за ним вдогонку, узнала, что он в Бердянске».

Батурин прошел к себе, стал у окна и развернул записку. Она была от Вали.

«Не пугайтесь,— писала она,— приехала в Бердянск на несколько дней, боялась, что вас не застану. Через час приду».

Батурин бросился на улицу искать ее. Он пошел к порту. В каменном, пустом переулке он увидел Валю,— она быстро шла впереди. В прорезе между домами виднелось темное вечернее море и огни парохода.

Батурин остановился. Мысль о широкой, волнующейся, как море, легенде вспыхнула детским восторгом.

— Валя! — крикнул он и прислонился к решетке сухого сада.

Она обернулась, рванулась к нему, протянула руки. Батурин сжал их, посмотрел в ее глаза и понял, что не хватало ему вот этого страшного и чистого начала, этой женской, еще не разгаданной сущности, что была в ее темных и сверкающих зрачках.

— Не сердитесь? — спросила она, всматриваясь в его лицо, будто стараясь запомнить его навсегда.— Видите, какая я прилипчивая, не даю вам покоя.

Батурин закрыл ее ладонями свои глаза, как делают маленькие дети, и ничего не ответил. Валя спросила чуть слышно, одними губами:

— Ну что, что, что, мальчик мой милый?

Волнение его могло окончиться освежающими слезами, но резким напряжением он сдержал себя. В его волнении вдруг появилась неясная мысль,— что-то было связано с этими словами «мальчик мой милый». Во сне ли, в памяти ли детских лет, когда была жива его мать, но где-то он слышал эти слова.

Они прошли на набережную, серую от ночного света. Это был отблеск воды, звезд; возможно, горячий ветер тоже излучал неясный свет.

Валя села на чугунный, ржавый причал. Батурин опустился на теплые камни у ее ног. Она говорила, наклоняясь к нему, не отпуская его руку. Терпко пахла колючая трава; ржавый подъемный кран, казалось, слушал го-

лос Вали. У каменной лестницы качались, кланяясь морю, старые шлюпки.

— Теперь все, все долой,— говорила Валя.— У меня нет ничего позади — ни отца, ни ребенка, ни асфальта. Я новая. Вы слышите меня? Вы должны знать, как это случилось. Я два раза была больна, два раза травилась,— всё спасали. Я думала — зря спасают, все равно свое сделаю, а теперь я готова ноги целовать тем, кто меня спас. Доктор такой рыжий, мрачный и такой милый; из «Скорой помощи», он мне сказал: «Если не себе, так другим пригодитесь»,— а я его выругала за это так скверно...

Валя замолчала. Батурин осторожно тронул ее холодные ногти.

— Ну, говорите же!

— Я...— Валя вздрогнула.— Я... дочь врача, я училась в гимназии. Отец бежал от голода на юг, в Ростов, взял меня. У меня тогда уже был, у девчонки, ребенок. Мальчик... ему было полтора года, он еще не умел говорить. В Ростове мы прожили долго. Было плохо, трудно. Но я не хотела дальше никуда ехать, а потом отец заболел сыпняком. Через неделю мальчик заболел скарлатиной, и положили их обоих в один госпиталь на Таганрогском проспекте. Там лежали солдаты, детей почти не было. Я жила в палате, где был мальчик. Спала на полу, вся во вшах. Если бы вы слышали, как он плакал, по ночам, маленький, у вас бы разорвалось сердце. А кругом матерщина, канонада,— красные подходили к городу,— кому он нужен был, мальчишка, кроме меня. Даже врачи его не смотрели.

Валя взяла Батурина за подбородок, подняла его голову. Он снизу смотрел в ее лицо. Она плакала не скрываясь, не сдерживаясь; слезы капали на его волосы.

— Ну скажите, зачем это? — тихо спросила она.— Зачем пропал маленький? Вы один поймете, как мне было горько.

Потом началась эвакуация, больных стали вывозить. Некоторые шли сами, падали с лестниц, разбивались. Я бросилась в город, упросила хозяйку пустить мальчика: тогда скарлатины и сыпняка боялись хуже чумы. Не знаю почему, но она согласилась,— уж очень, должно быть, я была страшная. Я побежала в госпиталь, сказала отцу, что возьму мальчика, а потом его. Отец щелкал зубами, молил: «Валя, скорей! Валя, скорей! Врачи уже бежали, нас здесь перебьют. Военный ведь лазарет». Тогда думали, что в ла-

заретах всех рубят шашками. В палатах совсем пусто, лежат только одинокие, у кого никого нет, зовут. Некоторые ползли к дверям. Один, помню радовался, что за час прополз через две палаты. А куда ползут — неизвестно.

Я разыскала санитара. Василий, был такой санитар. Прошу перенести отца, а сама не знаю куда,— мысли путаются. Он согласился. «Пойдем, говорит, тут через два квартала я живу, у меня носилки, захватим. Вы мне поможете его вытащить, а на улице кто-нибудь найдется». Я пошла. Уже снаряды рвались; я даже не слышала, только видела,— казалось, не ярче, чем вспыхивает спичка. Он привел меня в комнату, не помню даже куда. Стоят носилки. Я схватила их, а он остановил меня и спрашивает: «А плата?»

Я взглянула на него, похолодела, молчу. Вдруг вспомнила. Ведь в госпитале я видела носилки. Он позвал какого-то парня, показал на меня, говорит: «Денег у ней нет. Придется нам взять с нее плату натурой».

Лучше я не буду вспоминать... Ведь там у меня лежал мальчик, ждал. Вырвалась я от них через час, бросилась к госпиталю, а он...

Валя задохлась.

— Сгорел он,— сказала она, пересиливая удушье.— Всё было в огне. Я рванулась к двери, меня ударили в грудь, я упала. Меня затоптали. Подожгли, отступая. Говорят, боялись, что захватят списки больных — тех, что остались в Ростове. И мальчик мой там сгорел, опоздала... Один, без меня... и отец...

Она опустилась на землю рядом с Батуриным, крепко взяла его за руки.

— Я осталась одна, совсем одна. Даже трудно представить, как это было страшно. Маня подобрала, дала кокаину. Надо было забыть все, иначе нельзя было жить. А дальше не стоит рассказывать. Так я и осталась с Маней. Переменилась, будто вытряхнули из меня старую душу. И вот теперь...

Она смотрела на море и забывчиво гладила руку Батурина. От волос ее шел легкий печальный запах.

Больше они ни о чем не говорили. Около дома Игнатовны встретился Ли Ван; он шел крадучись, согнувшись, как на лыжах.

— У этого китайца я оставила в прачечной вещи, здесь, рядом с вами,— сказала Валя.— Завтра возьму. Кажется,

я в Ростове его встречала. Он ходит за мной, как кошка за мышью.

В комнате Батурин открыл окно: за ним тихо шумела кромешная тьма. Не зажигая огня, они легли. Батурин лег на полу. Сквозь сон он слышал, как Валя тихо встала, закрыла ставни.

Проснулся он от ощущения, какое было в Таганроге перед отъездом. Ему приснилось, что в комнату вошло несчастье. Он даже видел его,— это был человек из серого ситца, грязный, как тряпичная кукла. Розовые его глаза зло и долго смотрели на Батурина. Батурин ударил его по голове, раздался крысиный писк, клубами взвилась шершавая пыль. Тряпичный человек упал мягко и тупо, и Батурин проснулся.

Валя сидела на кровати, закутавшись в одеяло, глаза ее были широко открыты.

— Под окном кто-то стоит вот уже почти час,— прошептала она и виновато взглянула на Батурина.

Батурин вскочил.

В щели ставень неуютно сочился белесый рассвет. В самую широкую щель смотрели немигающие дряхлые глаза Ли Вана. Ли Ван быстро присел и побежал вдоль стены, сгибая ноги, будто тащил тяжелый груз. Батурин вздрогнул,— у китайца была узкая и страшная спина. На нем была ватная безрукавка; он напомнил Батурину приснившегося тряпичного человека.

— Никого нет,— не оглядываясь, сказал Батурин.— Вам почудилось.

Валя легла, укуталась и пролежала, не двигаясь, до утра.

Утром пошли на берег купаться, а потом пить чай в столовую. На берегу Батурин смотрел издали на Валю, на ее стройные и сильные ноги, на маленькие трогательные груди. Крупные капли стекали по ее плечам; солнце било в глаза; она жмурилась, как девочка, и торопилась одеться. Прикосновение к ней казалось Батурину кощунством. Он подумал, что надо убивать всех мужчин, глядящих на женщину со слюнявым вожделением. Внезапно эта мысль сузилась, и он сказал, улыбаясь:

— Я убью Пиррисона. Лучше его не встречать.

На рейде плавал в тумане серый пароход. Валя подошла к нему,— море вспыхивало в глубине ее глаз синими зеркалами. Зайчики от воды перебегали по смуглому телу.

Какой-то рыжий песик бежал за ней, лаял на волны и откатывался от них мохнатым шаром.

В столовой со свежих букетов падали на скатерть капли воды. Родниковый ветер продувал комнату. Полчаса назад он пролетал над Севастополем, над морем; в нем даже слышался запах водорослей, соли, женских ладоней. Море переливалось, блестя и перекликаясь. Над террасой хлопали полосатые полотнища, а чистильщик сапог сидел на корточках под акацией и ел маслины с хлебом.

Валя взглянула на Батурина, покраснела и поняла, что теперь все решено.

Из столовой она пошла к Ли Вану взять вещи — маленький чемодан. Батурин ждал ее в столовой. Прошло полчаса, час. Рыжий песик приплелся в столовую, сел около Батурина и сокрушенно вздохнул. Батурин дал ему корочку: песик деликатно взял ее зубами и отошел в угол. Глухая тревога, как тошнота, подкатила к горлу. Почему Вали нет?

Батурин решил идти к Ли Вану. В дверях он столкнулся с Лойбой. Лойба вбежал, морщась и улыбаясь. Мопассановские его усы были растрепаны.

— Здравствуйте, коллега! — крикнул он.— Вы здесь? Вы сидите, как философ, и ничего не знаете.

Мимо столовой тяжело пробежал, придерживая кобуру, милиционер в пыльных коричневых сапогах. За ним быстро прошло несколько греков в крахмальных рубахах без воротничков.

«Должно быть, парикмахеры»,— подумал Батурин и спросил грубо:

— В чем дело?

— Курву одну убили, вот тут за углом, в прачечном заведении.

— Кого?

— Ну, знаете, девку гулящую.

Батурин стремительно ударил Лойбу кулаком в переносицу. Лойба схватился за стену, издал крысиный писк и упал на стул мягко и тупо.

— Паршивая сволочь! — крикнул он в спину Батурину, размазывая по усам липкую кровь.— Я покажу тебе, как драться, психопат!

Батурин плохо помнил, как попал в прачечную. Он покачнулся, упал, разбил в кровь колено. Запах жавеля и пара протрезвил его. Отчаянье, от которого мутнеет в гла-

зах и можно убить каждого, кто подвернется по дороге, дало ему последнюю нечеловеческую силу. Он только стиснул зубы, когда увидел на полу Валино тело, опухший черный висок и прекрасные, но уже мертвые глаза.

Юбка была разорвана, была видна нога в тугом высоком чулке, рядом валялся чугунный утюг с большой деревянной ручкой.

Милиционер в коричневых сапогах прикрыл труп простыней. Батурин отшатнулся,— в углу простыни были вышиты латинские буквы «G. P.»

Батурин прислонился к стене; голова его стучала об стенку; он стиснул себе подбородок, чтобы унять дрожь.

Милицейский с портфелем допрашивал беременную бабу, жену Ли Вана. Ли Ван скрылся.

— Вы знаете убитую?

— Не, не знаю. Муж говорил, что гулящая.

— Как произошло убийство?

Баба молчала.

— Говори!..— сказал милицейский ледяным и сдавленным голосом.— Говори!

Он сжал портфель.

— Не, я не бачила.

— Кто убил?

— Известно, муж...

— Почему он убил?

— Да очень же просто. Я тяжелая, мне завтра родить. Не могу я с им жить как с мужем. Вы сами знаете, товарищ начальник. Он же без бабы ни одного дня. А тут эта приехала, из Ростова. Где-то ночевала с мужчиной, сегодня пришла за чемоданом за своим. Что промеж них было,— не знаю. Только он, должно, хотел насильство над ей сделать. Она его ножницами ударила в лицо, губу разорвала. А он ее утюгом.

— Значит, вы видели, как произошло убийство?

— Как начался крик, я выбегла в соседнюю комнату, вижу — он весь в крови, хватает утюг. Я схоронилась за печкой, да там и простояла, пока не набежали люди.

— Ну что ж, посидишь. Где вещи убитой?

Баба принесла небольшой фибровый чемодан. Милицейский открыл его. Там было белое платье, чулки, белье, перчатки и несколько листков бумаги, густо исписанных и измятых.

Батурин подошел к милицейскому и сказал:

— Убитая провела последнюю ночь у меня. Я хочу дать показания.

Милицейский отодвинул в сторону чемодан.

— Вас допросить, или вы напишете сами?

— Я напишу.

Милицейский дал Батурину лист бумаги. Батурин сел к столу. Он писал, что убитая вовсе не проститутка, а артистка, и он ее знает с детства.

Милицейский вышел — надо было убрать труп. Батурин незаметно взял из чемодана записки Вали и быстро спрятал их в боковой карман. Потом он окончил показания, оставил адрес и ушел.

Невыносимый полдень горел над степью. Тугие удары крови отзывались в мозгу колющей болью.

«Куда же мне теперь? — растерянно подумал Батурин.— Кому я нужен?»

Сознанье детского, непоправимого одиночества сменилось отчаяньем. Батурин прошел через порт, вышел в степь и побрел берегом. Было знойно и невыразимо пусто.

Он вспоминал потрясающую красоту этой девушки, думал о легких началах и страшных концах любви. Он звал ее и сдерживал слезы,— лишь одна-две изредка сползали по его щекам.

День стремительно проносился над ним; первый день в жизни ненужный, пустой. Он был страшнее небытия, паралича — этот будничный день, насыщенный желтым угаром. Впервые Батурин почувствовал всем существом, как страшно жить и легче, неизмеримо легче умереть, отказаться от этого потрясающего последнего одиночества.

Сердце запеклось, глаза высохли, во всем теле разгорался тихий жар. Он все шел, спотыкаясь, на восток. Упали сумерки.

Ночь неслышно кралась за ним, потом заглянула в лицо,— за день Батурин постарел на десять лет. Казалось, ночь отшатнулась: стало светлее.

Батурин шел по песчаной косе и остановился,— коса обрывалась у моря. Дальше идти было некуда,— надо было возвращаться обратно.

Он сел на песок и тяжело, судорожно заплакал. Он царапал пальцами песок. Он знал, что в этот час тело Вали уже лежит в земле, сел и вскрикнул. Только ночь и море видели его отчаянье. Простая и безжалостная человеческая

жизнь шла далеко,— на хуторах, в море, где слабо мерцали огни пароходов, и Батурин знал, что ее не сдвинуть с места. Вечный закон обращенья был глубоко ненавистен Батурину. Сам он в своих глазах потерял всякую цену. Он умер вместе с Валей.

Только к утру пришла бледная мысль, что некому даже рассказать о Вале,— и стало еще горше. На рассвете он побрел обратно в Бердянск,— у него родился мутный и сумасшедший план: ехать дальше, во что бы то ни стало найти и убить Пиррисона и потом покончить с собой. Он вспомнил простыню с вышитыми буквами «G. P.» и наморщил лоб,— связь между Пиррисоном и Ли Ваном была для него очевидна.

В Бердянск он вернулся к вечеру — черный, с изменившимся лицом. Темные глаза его казались светлыми, белки глаз пожелтели. Руки дрожали так, что он не мог выпить воды в ларьке, а когда покупал папиросы, рассыпал деньги и, не собрав их, пошел домой. Игнатовны не было. Батурин сложил вещи, запер комнату и ушел на пристань.

У мола стоял, сипя и погромыхивая лебедкой, «Феликс Дзержинский». Батурин пробрался на корму, лег на свернутых канатах, укрылся пальто и начал курить,— он курил, зажигая одну папиросу о другую; все дрожало у него в глазах, сердце тошнотно замирало.

В черной воде сжимались и разжимались полосы огней,— далеко у маяка всходила луна и волновалось море. «Резиновое море»,— подумал Батурин и внезапно уснул. Сон его был похож на обморок: он двое суток ничего не ел.

Проснулся он ночью. Пароход был темен, безлюден и, казалось, покинут в море командой. Стояло безветрие, но пароход высоко качало,— шла мертвая зыбь. Звезды то возносились, то падали в ночь, и совсем зимняя тьма висела кольцом по горизонту.

На корме, над лагом, светила пятисвечовая лампочка, забранная проволочной сеткой. Безмолвно подошел матрос, посмотрел на лаг и прошел, как тень, обратно.

При свете лампочки Батурин прочел листки, взятые в чемодане у Вали. Это был черновик ненаписанного письма.

«Милый, далекий мой,— писала она.— Скажите, что мне с собой делать. Всю ночь в Таганроге проплакала, не могу никого видеть. Уехала в Ростов. На вокзале чуть-чуть

удержалась, чтобы не сорвать скатерть со стола в буфете. Такая тоска!

Тянусь я за вами, люблю, мучаюсь.

Должно быть, пришло настоящее. Раз я любила, но не так, совсем не так, больше дурачилась. Я спасла ему жизнь, после этого он сказал мне, что ненавидит меня, и ушел. Я до сих пор не могу понять, как это можно, как он смел мне сказать такие страшные слова. Я его ненавижу. Я знаю, что теперь любить меня не надо, а вот все жду, жду, как ребенок, хоть одного вашего ласкового слова.

Как может быть солнце, синее небо, как можно радоваться, когда нет вас?»

Все остальное было зачеркнуто.

Утром над пепельным морем поднялись лысые берега. Пароход загудел, медленно поворачиваясь ржавой тушей. На скупых горах белой кучей лачуг была навалена Керчь. Зеленый мыльный пролив качался и гремел у берегов,— было видно, что берега упрямые и каменистые. Дым из трубы швыряло из стороны в сторону. Солоно пахло рыбой. Ветер мчался под мокрым и ярким небом, хлопая задымленными флагами.

«Как может быть солнце, синее небо, как можно радоваться, когда нет вас?» — снова прочел Батурин последние строчки письма.

Позади, за ночным морем, за сутолокой бухт, поисками ненужных людей, за суетой выдуманных радостей и горестей, сверкали, как солнце в лагуне, дни в Таганроге, детская красота Вали, дрожь ее губ, теплота ладоней, жестокий конец неначатой любви.

На берег Батурин сошел с отвращеньем. Несло отхожим местом, торговки продавали раскисшие от дождя пироги, и на волнах подскакивали бутылки и ломаные коробки от папирос.

Батурин сел на чемодан, закурил и задумался,— ему некуда было идти. Он понял, что заболевает.

ЧЕРТОВА СТРАНА

Капитан долго, краснея от негодования, читал объявление в коридоре гостиницы «Сан-Ремо». Это был обычнейший инвентарный список, но одно слово приводило капи-

тана в состояние тихого бешенства. Когда он доходил до него, то бормотал: «Вот чертова страна!» — и, нахлобучив помятую кепку с золотым якорем, спускался на жаркую улицу.

Объявление, начинавшееся с перечисления буфетов, столов и умывальников, кончалось так: «40 табурети, 138 здули». Эти «здули» не давали капитану покоя; спросить же прислугу он не решался — пожалуй, засмеют.

Во время одного из размышлений около инвентарного списка за спиной у капитана прошел, насвистывая, тяжелый человек. Капитан оглянулся и увидел широкую спину, легко свисавший чесучовый пиджак, лаковые туфли и носки лимонного цвета. Незнакомец курил трубку, и капитан тотчас же узнал настоящую медоносную «вирджинию» — трубочный табак Соединенных Штатов. Незнакомец показался капитану подозрительным, и он решил о нем разузнать.

В один из вечеров после этой встречи капитан был настроен радостно: загадочное слово было внезапно расшифровано. Капитана осенило, когда он брился у парикмахера Лазариди.

«Да ведь это стулья,— подумал он и захохотал.— Сто тридцать восемь стульев, черт их дери!»

Хохотал он долго, откашливаясь и сплевывая в пепельницу. Лазариди отставил бритву и сердито ждал. Он презирал капитана за снисходительный отзыв о крейсере «Аверов» — гордости каждого грека. «Аверов» с развевающимися бело-синими флагами, могучий, жутко дымящий «Аверов» был грозой Эгейских морей. Только невежда и грубиян, каким был этот шумный и своенравный человек, мог высказать предположение, что на «Аверове» деревянные якоря. Лазариди обиделся.

Капитан отхохотался, взглянул в зеркало, и Лазариди, поднявший было бритву, опустил ее снова,— капитан побледнел и рассматривал в зеркале человека, сидевшего за столиком. Человек листал затрепанный «Прожектор». Из угла его рта торчала трубка, один глаз был прищурен от дыма. Лицо казалось обваренным кипятком от недавнего загара. Это был незнакомец, прошедший на днях у капитана за спиной.

Капитан откинулся на спинку кресла, махнул Лазариди рукой, и бритье было закончено в угнетающем молчании Только незнакомец тихо насвистывал фокстрот и рассеян-

но поглядывал на улицу. Там сверкал розовый вечер, и желтая пыль сыпалась с мимоз на волосы женщин.

Капитан встал, медленно расплатился, долго считал и пересчитывал сдачу, чего до тех пор никогда не делал. Лазариди взглянул на него с презрением и обеими руками указал незнакомцу на стул.

— Побрить,— сказал тот и сел, высоко задрав ногу. Из-под полотняных брюк виднелись клетчатые лимонного цвета носки.

«Ну да, он,— подумал капитан при взгляде на носки.— Американские носки!»

Капитан вспотел,— три месяца не пропали даром. Он перешел улицу и сел в духане напротив, не спуская глаз с парикмахерской. Хозяин духана Антон Харчилава, не спрашивая, поставил на стол бутылку качича и тарелку с горячей требухой. На вывеске духана было написано: «Свежая требушка», и этим блюдом Харчилава гордился по справедливости. Округлив глаза, он таинственно шепнул капитану:

— Есть маджарка, сейчас брат привез из Гудаут. Пробуй, пожалуйста.

— Тащи.— Капитан не отрывался от окна парикмахерской.— Вот, получи вперед.

— Ради бога, завтра заплатишь,— рассердился Харчилава.— Что ты, сегодня бежишь в Америку? Ай, какой человек, какой человек!

Харчилава поцокал и укоризненно помотал головой.

— Слушай, Антон. Вон у Лазариди, видишь, что это за гусь бреется? Рожа, понимаешь, знакомая, а вспомнить никак не могу.

— Этот? — Харчилава, щелкая на счетах, взглянул на парикмахерскую.— Этот — американец, он табак покупает. Знаешь Камхи? Самый богатый купец в Константинополе. Это его человек.

«Ну да, он»,— подумал капитан, допил вино и, как бы потеряв всякий интерес к американцу, пошел в портовую контору разузнать о погрузке табака.

На бульвар, на море и город жарким ветром налетала сухумская ночь. Темнота, лиловая и мягкая, как драгоценный мех, освежала сожженные лица. Белый пламень фонарей, отраженный меловыми стенами, заливал фруктовые лавки. Они были пряные до тошноты и пестрые, как натюрморты. Апельсины скромно пылали на черной листве.

Запах жареных каштанов и треск их сопровождали капитана до портовой конторы. Черное море колебалось пыльным светом звезд. Птичье щелканье абхазской речи было очень кстати в тени эвкалиптов. За столиками люди в белом сжимали в черных лапах хрупкие стаканчики с мороженым. Весь Сухум представлялся капитану декорацией экзотической пьесы.

В портовой конторе капитан узнал, что табак грузят на греческий пароход «Кефалония». Через неделю пароход уходит в Константинополь. Грузит поверенный фирмы Камхи Виттоль. Кстати капитану передали письмо от Батурина из Керчи (капитан приказал писать ему в портовые конторы: сухопутным учреждениям он не доверял).

— Знаем мы, какой ты Виттоль,— пробормотал капитан и распечатал письмо. Оно было кратко и поразило капитана своим тоном.

«Пиррисон негодяй,— писал Батурин.— Если найдете его, то, даже отобрав дневник (если он у него), заклинаю вас, не выпускайте Пиррисона из рук. Пиррисон — птица опасная и большого полета. Если найдете — телеграфируйте немедленно. Я приеду. У меня с Пиррисоном, помимо всего, есть личные счеты. Я болен. Двигаться не могу. Ничего опасного. Вы были правы. Пиррисон спекулирует ценностями. Очевидно, база у него в Батуме. Вам надо, по-моему, выехать поскорее туда».

— На черта мне сдался Батум! — сказал капитан, пряча письмо.— Мы этого типа и здесь прищелкнем.

Но все же письмо вызвало у капитана множество сомнений. Какие личные счеты: уж не нашел ли Батурин Нелидову и не влюбился ли в нее? Сомнения окончились тем, что капитан пошел на телеграф и послал Батурину телеграмму:

«Объясните галиматью относительно личных счетов. Не собираетесь ли жениться на Нелидовой? На болезнь наплюйте».

С телеграфа капитан вернулся на бульвар, где вечером можно было встретить любого нужного человека. В низеньких кофейнях щелкали костяшки домино. После света кофеен море казалось кромешной бездной. Шум волн переливался с юга на север вдоль каменного парапета и возвращался обратно. Монотонность этого шума усыпляла.

Капитан сидел на парапете, дремал и думал, что, пожалуй, ему одному не под силу будет взять Пиррисона. Как всегда, почти достигнутая цель разочаровала его. Она далась случайно. А все случайное капитан считал непрочным, вроде карточного выигрыша. Для него имело цену лишь то, что давалось путем борьбы и напряженья.

Капитан подремал, потом встал, зевнул и пошел в «Сан-Ремо». На бульваре он встретил американца в лимонных носках, подошел к нему, поднял руку к козырьку и сказал мрачно:

— Позвольте прикурить!

— Пожалуйста,— ответил американец на чистейшем русском языке и протянул трубку.

Капитан достал папиросу, размял ее, разглядел американца и спросил по-английски:

— Ну, как дела с табаком?

— Ничего,— американец не выразил ни малейшего удивления.

— У меня есть кой-какие ценности,— капитан понизил голос и оглянулся.— Держать их опасно. Я хотел бы их сбыть.

— Что вы имеете в виду?

— Разная мелочь: бриллианты, золото, есть редкая художественная вещь — икона, вырезанная из перламутра. Этой иконой благословили на царство первого Романова.

— Откуда вы ее взяли?

— Из музея.— Капитан замялся и решил врать до конца.— Спас от большевиков. Вы знаете,— царь и все прочее... Они бы ее уничтожили. В икону вделаны жемчуга.

— Любопытно,— протянул американец, отвернулся и ответил по-русски: — Нет, благодарю вас. Я спекуляцией не занимаюсь. И вам не советую.

— Ну, погоди,— сказал ему в спину капитан.— Ты у меня доходишься!

Американец обернулся и минуту в упор смотрел на капитана. Он как бы примеривался. Капитан мрачно изучал его лицо. Оба поняли, что они враги, и враги опасные. Капитан знал почему. Американец не знал, но догадывался, что капитан за ним шпионит. Толстая губа его презрительно вздернулась, показались широкие крепкие зубы. Он сказал будто вскользь: «Будьте осторожны»,— и быстро повернул в боковую улицу.

Капитан вернулся к себе, звонил полчаса коридорному,

тот не пришел. Капитан в сердцах обозвал всех туземцев «здулями» и лег, изнывая от духоты и мучаясь мыслью, что выдал себя с головой.

— Вот чертова страна! — сказал он и, огорченный, уснул.

Утром он понял с необычайной ясностью, что дело проиграно. Вместо ловкого шахматного хода он пошел на нелепое уличное столкновение. Батурин и Берг так не сделали бы. Они были хитрее и тоньше.

Капитан ругал себя последними словами. Бревно! Ведь надо же было разыграть грубого и неуклюжего шпика. «Позвольте прикурить», потом чушь с иконой Романовых и, наконец, угроза: «Ты у меня доходишься».

Он решил разузнать об американце все, что возможно, вызвать Батурина и тогда уже действовать. Два дня он посвятил осторожным расспросам и узнал, что американец бывает в Сухуме очень часто. Жены у него нет. Живет он в Тифлисе. Примерно раз в месяц приезжает в Сухум для погрузки табака. Значит, время терпит.

Тогда у капитана созрел сравнительно ясный план. Сначала надо найти Нелидову, если же дневник не у нее, а у американца (в чем капитан был уверен), то выудить дневник при помощи Нелидовой, поручив это дело Батурину. За Виттолем же неотступно следить. Этот план казался простым и приемлемым,— капитан гнал от себя мысль, что Нелидову, может быть, найти не удастся.

— Мои парнишки найдут,— говорил он, улыбаясь, будто похлопывал невидимых парнишек по плечу.

На капитана действовало, как и на всех, блистательное и густое сухумское лето. Зной дрожал дымчатой влагой, все вокруг — и море, и горы, и город — сливалось в хрустальную чашу, полную искр, блеска, теней и ветра.

Цвели мандаринники. Их запах изнурял капитана, железные нервы ослабли. По собственным его словам, он дал «слабину». Потом зацвели магнолии и принесли белую и сумрачную бессонницу.

Капитан слушал по ночам голос моря и с досадой думал о наступлении утра. Оно кричало сотнями красок, было похоже на фруктовый базар, полно жестикуляции, шипения шашлычного сала и клекочущих звуков. Он сравнивал и думал, что в тропиках лучше: там краски шире, громаднее, там тишина... девственный воздух наполнен исполинским медлительным солнцем, подчеркивающим эту ти-

шину. Там солнце не мешало думать, а в Сухуме оно казалось таким же суетливым, как весь этот гомозящийся, дико вращающий белками народ.

«Театральщина,— думал капитан.— Вертят буркалами, а никому не страшно!»

Капитан пристрастился к духану Харчилавы. На жестяной подставке были разложены помидоры. Внизу горкой лежали раскаленные угли. Помидоры лопались и выпускали ароматный сок. От углей тянуло синеватым угаром. Качич попахивал бурдюком, но изумительно прояснял голову. И помидоры, и угли, и качич были пурпурного цвета, как и лицо Харчилавы. Красный бараний жир плавал островами во всех кушаниях — в харчо, в лоби, в гоми,— есть их, не запивая вином, было немыслимо.

Капитан успокоился, особенно когда узнал совершенно точно, что Виттоль-Пиррисон уехал в Гудауты и вернется через неделю. Он написал об этом Батурину в Керчь и Бергу в Севастополь и решил ждать. Дни напролет он просиживал у Харчилавы, китель его пропах вином. Капитан предавался воспоминаниям. Завсегдатаи слушали его с большой охотой и каждого нового посетителя встречали шиканьем.

Капитан курил крученые папиросы из красного, дерущего горло самсуна и рассказывал о запахе табачного дыма. Даже Харчилава переставал щелкать на счетах и неохотно выходил в заднюю комнату за вином.

— Мы, европейцы, потеряли нюх,— говорил капитан и с торжеством осматривал немногочисленную свою аудиторию.— Почему? Во-первых, насморки; во-вторых, сложнейшее смешение паршивых запахов. Вот, например, я курю. Как вы думаете, на какое расстояние распространяется дым табака? На две сажени? А я вам говорю — на десять верст. Я вам докажу! Я жил в Австралии, в Брисбене. А на севере Австралии, где еще не вымерли дикари, жил русский врач, старик. Мы, австралийцы, прозвали его Львом Толстым. Он был нашим советчиком. У него был в лесу участок земли, он с сыновьями обрабатывал его и жил фермерством. Кругом леса: не леса, а стены — не продерешься. От моря к усадьбе была прорублена дорога, так в сажень, не шире, чтобы проехать повозке. На берегу, у начала дороги, стоял шест и трепался флаг, потерявший всяческий цвет. Погодите,— это как раз история о табачном дыме, слушайте дальше.

Да, так вот... Я поехал к этому врачу, были дела от русской колонии. Меня высадил на берег почтовый пароход, и я пошел по дороге через лес. Я шел и, заметьте, курил трубку. Табак был черный, он называется «би-би». Курят его матросы, у сухопутных от него моментально начинается астма. И вот в версте от фермы меня встречает врач: он вышел ко мне навстречу. Я смотрю на него, как бык в зеркало: я ничего ему не писал, по дороге меня никто не видел. Там на десятки верст, кроме птиц, никого не встретите. Оказывается, к врачу прибежал туземец и сказал ему: « К тебе идет белый, моряк, он высадился с парохода и прошел уже половину дороги».

— Я никого не видел,— сказал я врачу.

— Дело в том, что и туземец вас не видел; он живет в трех километрах к западу от дороги. Когда вы шли, был ветер?

— Да, сильный восточный ветер.

— Ну, вот...— Доктор засмеялся.— Туземец узнал о вас по запаху табака. Он прибежал и говорит: «В лесу пахнет табаком, такой сильный табак курят только моряки, запах идет от Кенгуровой Ямы на полдороге, должно быть, к тебе приехал белый человек».

Вот и все. Просто? Вот это нюх! По запаху трубки тебя вынюхают издалека и кокнут за милую душу.

Капитан вспомнил, что запах «вирджинии» помог ему найти Пиррисона, и удовлетворенно ухмыльнулся.

Среди слушателей капитана был некий Плотников, комсомолец, тихий курносый юноша, родом из Корчевы, Тверской губернии. Работал он в кооперативе. В Сухуме, среди магнолий, пальм и ультрамаринового неба, он был как-то не к месту. Звали его Аполлинарий Фролович, был он веснушчат, говорил, спотыкаясь на каждом слове, и жил с мамашей Настасьей Кирияковной на горе Чернявского, в маленьком деревянном домишке.

О том, как он попал в Сухум, Плотников рассказывал, сокрушенно вздыхая и очень невнятно: выходило так, что, собственно, он не приехал, а его привезли, и не совсем привезли, а подбили товарищи. Ехали, мол, из Царицына, не то от голода, не то по поручению райкома — понять было трудно, а потом он с великим трудом выписал в Сухум свою мамашу.

Он уступил капитану крошечную комнату. Сквозь дырявый ее пол в изобилии лезли в комнату жуки, скорпи-

оны, стоножки и прочая пакость и производили ночью такой шум, будто в комнате работал мотор.

Капитан погрузился в неторопливое благодушие. Утром тихо шумели сады. Их обдувал теплый черноморский ветер. Листва, покрытая слоем воска, блестела, как после обильного дождя, и пахла камфарой. В бамбуковой заросли мяукал котенок, заблудившийся в необъятных этих джунглях. Медвежонок Плотникова — Степа — лазил по войлочным пальмовым стволам. Капитан умывался во дворе водой из цистерны, поглядывал на море и пел. Пел он старинные украинские песни о хлопцах-запорожцах и сивой зозуле.

Потом вместе с Плотниковыми он пил чай из кривенького самовара. Стол ставили под громадный банановый лист. Настасья Кирияковна покрывала его грубой скатертью.

На эту идиллию сердито поглядывала из окошка хозяйка дачи, швейцарская гражданка Викторина Герман, глубоко ущемленная революцией и вздорная старушонка. Наколка ее тряслась от негодования, когда «свиньи-русские» сосали чай с блюдечка со звуком, похожим на хрюканье, и крошили зубами сахар. И еще медвежонок — подлый и хитрый зверь! Он утробно ревел, качался на пальмах и спал на крышке цистерны. Когда он спал, старушка оставалась без воды,— медвежонка она боялась и думала, что Плотников завел его нарочно, чтобы отравить ей существование.

По ночам вокруг дома выли шакалы, и медвежонок глядел из комнаты в темноту зелеными хитрыми глазами, поахивал и скреб затылок, точно говорил: «Эх, только дайте мне их, я им покажу».

Ночью с гор свежей водой лился ветер. Капитан иногда просыпался, швырял через окно в шакалов припасенными днем камнями, и странные мысли приходили ему в голову. Например, он думал, что в этом старинном домике, тонувшем в зарослях лавровишни, может быть, жили во времена покорения Кавказа Лермонтов или Бестужев-Марлинский. В путеводителе он вычитал, что Лермонтов и Марлинский были в Сухуме и мучились здесь малярией.

На базаре капитан встречал белокурых горцев с прозрачными лицами и очень светлыми глазами. Ему рассказали, что это — чистые потомки крестоносцев, флорентийцы, отступавшие из Палестины через Колхиду и застрявшие на тысячи лет на этих благословенных берегах.

Своеобразие страны затягивало капитана медленно и крепко. Он ходил с Плотниковым на Новый Афон в горы и нашел там остатки гранитных римских маяков и мраморные плиты с непонятными надписями. Впервые при виде этих сероватых, как бы восковых плит капитан почувствовал волнение,— неведомая ему история говорила тысячелетним каменным языком.

Пахло нагретым лесом, под плитами шуршали ящерицы. В сумрачных маяках густо разрастались горы маленьких лиловых цветов. Капитан говорил шепотом. Ему чудилось, что он в древней Колхиде, небо сверкало над головой, с моря в лес проникали синие, радостные ветры.

По берегам ледяных и шумливых рек песок блестел крупинками золота. Плотников говорил, что это серный колчедан, но капитану нравилось думать, что это чистое золото. Он намыл горсть золотых крупинок, но через день они почернели, и капитан с сожалением их выбросил.

Сидя с Плотниковым в густых зарослях терновника, капитан курил, смотрел, как в лиловый дым табака влетали, гудя, шмели, и слушал рассказ Плотникова. Плотников, спотыкаясь, говорил:

— Вы знаете, я читал... вот в этих, значит, местах... через Колхиду проходила великая дорога в Индию... это ее остатки... Она шла через Нахарский перевал на Дербент, потом через Персию... Здесь богатые города были... Золото добывали. Сюда ссылали лучших римских людей... Вот под этим камнем, понимаете, может быть, лежит Спартак какой-нибудь или полководец, изменивший Цезарю... чувствуете... сюда Одиссей приезжал за золотом... золотое руно называется... Я читал,— это, знаете, они так делали... брали баранью шкуру, клали ее вот в такую речонку, например Келасуру, вода в шерсть наносила золотой песок... Отсюда и название — золотое руно.

— Слушай, Плотников,— сказал капитан.— Вот перейдем к настоящему мирному строительству, тогда двинем, брат, с тобой по этому римскому пути,— обследуем. Академии наук рапорт напишем. Как думаешь, не стыдно будет таким делом заняться?

— Чего ж стыдно, товарищ Кравченко? Дело научное, чистое.

— Так смотри, значит, двинем?

— Двинем!

Капитан подумал, что сейчас не хватает Батурина или

Берга: они рассказали бы об этом римском пути так, что мурашки забегали бы по коже. Он вспомнил слова Берга: «Что бы вы ни делали, делайте с пафосом, иначе у вас ни черта не получится».

«Что ж, верно,— подумал капитан.— Славные ребята!»

Дома после экскурсии в горы капитан застал письмо Батурина,— запоздалый ответ на телеграмму.

«Я пережил жестокое потрясение,— писал Батурин,— говорить о нем не буду, издали вы не поймете. На Нелидовой жениться не собираюсь, бросьте ваши шуточки. Я, прежде всего, ее не нашел. Берг бездействует. Уже июль, а мы ни черта не сделали. Нажимайте, иначе мы сядем».

— На черта мне сдалось нажимать! — пробормотал капитан.— Погоди, получишь второе письмо, тогда запоешь иначе.

Но все же он решил посвятить Плотникова в тайну поисков. Плотников подумал, поплевал на папироску и ответил:

— Ну, что ж. Помогу. Дело, по-моему, почти государственное.

Он действительно помог. Через несколько дней он рассказал капитану, что Виттоль опять в Сухуме и сейчас уехал в Очемчиры за табаком.

— Надо ехать вслед,— забеспокоился капитан.— Черт его знает, что у него там в Очемчирах.

Плотников отпросился с работы на два дня, и они уехали. В Очемчирах Виттоля не застали,— час назад он выехал на лошадях обратно в Сухум. Капитан побагровел и стукнул кулаком по столу. Они сидели в духане.

— Сукин кот! — Он хмуро посмотрел по сторонам.— Опять я зеванул. Надо сейчас же жарить в Сухум.

Духанщик посоветовал сговориться со шкипером Абакяном. Шкипер собирался вечером отойти в Сухум.

Нашли Абакяна. Он сидел на палубе паршивенькой моторной фелюги со странным названием «Ошибка революции» и ел кефаль. Абакян был суетлив, предупредителен, видимо, побаивался капитана.

— Что за название такое — «Ошибка революции», а? — грозно спросил капитан.— Что это значит!

— Ницего не знацит. Цестное слово, ницего,— залопотал Абакян и объяснил, что фелюгу построили после ре-

волюции, фелюга вышла дрянная, вот и назвали ее «Ошибкой».

— Вот здули! Что за народ, ей-богу, черт его знает!

Абакян виновато заморгал глазками и подтянул широченные коричневые штаны. Из-под синей его каскетки стекал пот. Пассажиры были страшные,— как бы чего не вышло (у Абакяна в трюме был запрятан безакцизный табак). Он пошел к духанщику и долго с ним совещался. Духанщик подумал, высморкался в полу бешмета и таинственно поднес Абакяну ошеломляющую новость.

— Чекисты! Тебя доведут до Сухума, и там ты пропал. Сделай так, чтобы не попасть в Сухум. Понимаешь?

Абакян поплевал, поцокал и пошел на берег.

— Ай, ошибка, ай, ошибка слуцилась! — бормотал он, вытирая рукавом пот. Руки его дрожали от скорби. Конечно, он пропал. Уныние плоских и грязных Очемчир усугубляло тоскливое настроение. Он решил удрать раньше срока, но на палубе «Ошибки» заметил страшных пассажиров.

— Сидят, собаки,— прошептал он,— сидят, шакалы, чертовы дети, холера на их головы!

Приходилось подчиниться судьбе.

Вечером в редком тумане снялись с якоря и пошли. Ветра не было. Работал мотор; он сопел и брызгал нефтью Стук его быстро усыпил капитана и Плотникова. Абакян сидел на руле. Скупые огни Очемчир отодвигались, меняли места, гасли на пустой малярийной равнине. Горы ушли в глубь страны.

Капитан повертелся на палубе, пробормотал, что «у пиндосов и в море блохи», и уснул. Волны шуршали о борта, как разрезанный шелк: «Ошибка революции» шла полным ходом.

На рассвете капитан проснулся и растолкал Плотникова. Подходили к Сухуму; в рассветной мути, полной снов, горели редкие огни.

Капитан потянулся, посмотрел на Абакяна. Абакян спал, обняв штурвальное колесо. Голова его ездила по ободу, каскетка свалилась.

— Ну и дрянной шкиперишка! — Капитан тряхнул Абакяна за плечо.— Что же ты спишь, зараза, на штурвале! Суда не нюхал, арестант?

Абакян помотал головой, замычал и свалился на палубу. Капитан отодвинул его ногой, стал к штурвалу и сказал вниз мотористу:

— Ты хоть не спи, черт вас знает! Вот скажу начальнику порта, какие вы моряки.

Из трюма раздалось недовольное бормотанье: моторист не спал.

Капитан взглянул на берег, прищурился и потряс головой, будто сбрасывал сон. Потом снова взглянул на берег.

— Что за лавочка? — пробормотал он и вдруг крикнул Плотникову: — Гляди на берег, видишь?

Впереди были огни, унылый и плоский берег, горы отступили в глубь страны, и капитан узнал вчерашний духан, где ему посоветовали сговориться с прохвостом Абакяном.

— Очемчиры! — проревел он и толкнул Абакяна. Тот вскочил.— Очемчиры, бей тебя гробовой доской! Что у тебя, руль заклинило, паскуда?

— Заснул немнозко,— залопотал Абакян.— Руль взял на борт, ай, какая ошибка вышла, ай, ошибка!

Пока капитан и Плотников спали, «Ошибка революции» сделала гигантский круг по морю и снова подходила к Очемчирам. Капитан, зная себя, сдержал бешенство, подступившее к горлу.

— Ну, погоди,— сказал он глухо Абакяну.— Недолго ты проплаваешь на своей «Ошибке», барахольщик. Я заявлю начальнику порта.

— Цто я могу делать,— ответил Абакян.— Я тоже целовек.

Он перехитрил капитана. Капитан и Плотников нашли извозчика и уехали. Абакян сидел в духане и повизгивал от хохота. Безакцизный табак мирно лежал за обшивкой.

В Сухуме капитан узнал, что Виттоль уехал в Батум вечерним пароходом. Он выругался, замолк, а через день уехал вслед за Виттолем на «Рылееве». Море было свежее. Шла серая пенистая волна, и это успокоило капитана. Но все же, прощаясь с Плотниковым, он сказал:

— Ну и чертова страна! Ты плюнь, уезжай отсюда.

В жарком камбузе он достал чашку крепкого кофе, вдохнул запах машинного масла, угля и просмоленной палубы, поглядел, как волна моет черные грязные борта, и почувствовал себя дома.

СЛУЧАЙ В МЕБЛИРОВАННЫХ КОМНАТАХ «ЗАНТЭ»

Жизнь черноморского грека слагается из несложных вещей: четок, фаршированного перца, торговли рыбой и лимонами, тучной жены и гамливых детей.

Сиригос, содержатель меблированных комнат «Зантэ», керченский грек, ел фаршированный перец, торговал рыбой и с хвастливостью парфянина называл свою гостиницу не «Зантэ», а «Гран-Отел» (без мягкого знака).

Сиригос был легкомыслен и кипуч. По вечерам он ходил в кино со знакомыми работницами с табачной фабрики, бывшей Месаксуди. Батурину, жившему в «Зантэ», это было хорошо известно, так как мадам Сиригос — еврейка из Геническа — неоднократно кричала внизу, в кухмистерской, служанкам:

— Слушайте, девушки! Разве же можно честной женщине жить с пиндосом? Это не люди, а вылитые жулики. Вот мой, несмотря что имеет четырех детей, гуляет с барышнями, как последний. Тьфу!

Она плевала под стол, колыхая на могучем животе засаленный капот. Она вспоминала шелковые чулки, подаренные Сиригосом какой-то Глаше, и говорила злорадно:

— Ну ничего. Когда-нибудь таманские хлопцы налупят ему морду и отучат от этих паскудств!

Пыльные сумерки Керчи, тот час, когда в номере Батурина сама по себе зажигалась электрическая лампочка, были наполнены грохотом этих речей. Во дворе худые татарские лошади с хрупом жевали овес. Батурин, обливаясь теплой водой из крана, думал, что лучшее время в Керчи — ранний вечер.

Есть города, похожие на сон. Такова была Керчь. Тысячелетняя пыль лежала на ее мостовых. Дули ветры, шелуша сухие акации на бульваре. Ночи были так же пустынны и печальны, как дни.

Батурин быстро слабел. Часами он лежал на скрипучей кровати, глядя на лысую, как могила, гору Митридат, и думал о Вале. Сизый степной вечер опускался на город тяжело и тихо.

По ночам Батурин просыпался и плакал. Казалось, нет в мире ничего тяжелее и удушливее этих слез. Он чувствовал, что у него ржавеет сердце. Мысли его были сплошным безмолвным воплем о нелепости смерти.

Город — простой и маленький — представлялся ему сложнейшим узлом кривых переулков, лестниц и дворов. Часто он не находил дорогу к Сиригосу, путался по базару и по нескольку раз проходил через один и тот же перекресток, вызывая недоумение у чистильщика сапог.

Старость тяготела над Керчью, стоявшей на скифских могилах. Портовые склады, сожженные деникинцами, глядели на пролив гигантскими черепами. В них жили бродячие псы и беспризорные, а по ночам уныло подвывал норд-ост.

Батурин выходил по ночам и шел к складам. Против них о выщербленную набережную билось море. Он сидел до утра на камнях; мысли дрожали в голове, как вода, и Батурин с горечью думал, что это — начало психической болезни.

Черный пролив монотонно гудел; город помаргивал в ночь желтыми огнями. Изредка с юга доносился неясный, простой запах соли и свежей ночи.

Батурин дрожащими пальцами закуривал папирсу за папиросой. Беспризорные быстро привыкли к нему, выползали из складов и выпрашивали «бычки». Ночью они были суровы и печальны, днем же, на базаре, Батурин их не узнавал. Ночью они молчали, поеживаясь; иногда сидели рядом с Батуриным серой кучей тряпья и шептались. Он улавливал в этом шепоте неясные мечты о Крыме, о солнце, водке и женщинах. Его они не трогали,— казалось, понимали, что с ним происходит.

Только один раз беспризорный, по прозвищу Червонец, сказал ему:

— Вы, дядя, бросьте убиваться. Хотите, я вам марафету достану?

Батурин отказался и дал ему три рубля. С тех пор Червонец каждую ночь выходил и сидел рядом с Батуриным. Днем на улицах он прятался от Батурина и издали виновато улыбался. Волосы его торчали ежом, и улыбка казалась ослепительной на сером от грязи, сморщенном лице.

В одну из ночей у склада Батурин вспомнил о Пиррисоне. Он давно бросил поиски. Они казались нелепыми после того, что случилось. В эту ночь к нему пришла та же мысль, что в Бердянске.

— Я убью Пиррисона,— сказал он и вздрогнул.— Я найду его во что бы то ни стало. Их надо уничтожать.

Под словом «их» он понимал практичных, насвистывающих мужчин, самомнительных и наглых маклаков, делающих деньги, толкающихся на улицах, берущих на почь женщин и комкающих их, как дрянную бумажонку. С этой ночи Батурин заледенел, мысли стали четкими, твердыми. Утром он написал письмо капитану и начал действовать.

Он был уверен, что Нелидова в Керчи. Часто у него бывало такое чувство, что вот только что она прошла по улице, и, не опоздай он на секунду, он бы встретил ее.

Были дни шторма. Казалось, над городом прошел серный ливень: так он был сожжен и печален. Глаза воспалялись от известковой пыли. С плеском пакатывался мутный исполинский пролив; ржавые флюгера визжали и согласно показывали на норд-ост. По утрам на игрушечном базаре Батурин пил молоко и смотрел на генеральских вдов. Они продавали простые и душистые букеты. Батурин ни разу не видел, чтобы эти букеты кто-нибудь покупал. Старухи страдали, очевидно, тихим безумием. Опи сидели молча, покачивая под слюдяным небом пыльный стеклярус старомодных шляп, и кропили букеты — астры, левкои и желтые розы — теплой водицей из граненых стаканов.

Батурин изучил весь город, особенно улицы около порта. Тучные голуби, переваливаясь, как старые гречанки, клевали на мостовой ячмень. Он исходил окраины, залитые помоями,— вентиляторы ситцевого тряпья и матросских роб.

В минуты отчаянья он уходил к горам, где солнце бельмом томилось над землей и звенел от ветра сухой чертополох.

Он завел дружбу с рестораторами, с торговками, поившими его молоком, с папиросниками. Это были люди, с которыми должен был встретиться каждый, кто живет в Керчи. Он выдумал новую трогательную историю о пропавшей жене. Он передавал им приметы Нелидовой, говорил о легкой походке, темных глазах, низком голосе, серебряном браслете на руке и всячески подстегивал их память, медлительную, как грузные барки.

Батурин боялся, что Нелидова совсем не такая, какой он ее представлял. При разговорах о ней он часто ловил себя на мысли, что образ Нелидовой совсем не тот, каким был раньше, что Нелидова в его воображении все больше становится похожей на Валю. Это его пугало. Возможность найти Нелидову отодвигалась.

По вечерам мадам Сиригос кричала своему блудному мужу:

— Вот посмотри на жильца из пятого номера. Это настоящий человек, не то что ты, бабник! Он два года ищет свою женщину. Таким людям я всегда делаю уважение.— И она присылала Батурину фаршированные кислые помидоры.

Шторм прошел. Дни влеклись жаркой и донельзя тоскливой чередой. Не успевал уйти один, как в окна вползал вместе с запахом кухонного чада другой,— такой же бесплодный и белесый.

В один из таких дней Батурина осенило: он выбежал на улицу, прыгая через пять ступеней, пошел в редакцию «Красной Керчи» и сдал объявление:

«Всех знающих о судьбе американского киноартиста Гаррисона (сначала Батурин написал Пиррисона, потом зачеркнул и написал «Гаррисона»), приехавшего в Россию в 1923 г., прошу сообщить по адресу: меблированные комнаты «Зантэ», комната 5, от 7 до 8 час. вечера».

Принимал у него объявление маленький человечек с серыми веселыми глазами.

Ночью Батурин пошел в подозрительное «заведение Мурабова», пил коньяк, пахнувший клопами, и ждал рассвета. Тоска его достигла небывалой остроты. Он ощущал ее, как физическую боль, как астму — ему трудно было дышать. Пьяная и некрасивая девушка поцеловала его в щеку, испачкав губной помадой. Батурин не вытер щеку.

Глаза его сузились, стук бутылок и ветер за окнами вызывали ощущение быстроты, приближения чуда,— он оглянулся. Он ждал, что откроется дверь, войдет Валя, как в пивной в Ростове, и скажет грозно и нежно: «Вот вы какой».

Батурин быстро встал и вышел. Одна из девушек, цыганка, вышла за ним и, прижимаясь к нему, дыша чесноком и наигранной страстью, шептала:

— Почему ты никого не взял? Такой красивый, иди со мной, жалеть не будешь.

— Уйди...— тихо сказал Батурин и остановился.— Уйди — убью...

Цыганка отскочила и скверно выругалась.

Из домов сочился затхлый запах сна. Воздух облипал лицо жидким клеем. Батурин прошел по выветренной лестнице на гору Митридат и лег на камнях.

Над Таманью синели туман и заря. Казалось, там шел ливень. Звезды горели, как фонари, погруженные в воду,— вода текла, и свет звезд колебался в этой небесной реке. В диких горах облаками нагромождался предрассветный дым.

Батурин привстал: холодная медь первых лучей ударила наискось в глаза, на портал храма, на желтые керченские камни.

Внезапно он ощутил тоску, которую был не в силах даже осознать,— скорбь о бронзовых героях и мраморных богинях, о городах, высеченных из розового камня, о радости, простой, как крик птицы, как утренняя вода из колодца. Батурин, качаясь, пошел вниз.

Догорали маяки. Он представил себе, как мимо них проходят ржавые пароходы, скрывая в трюмах ром и красный табак, копру и апельсины, канадскую пшеницу и какао. Идут из морей в моря, от вязких тропиков к белым стекляшкам северных звезд, от болотистых вод Азова в ночь Африки — блестящую черным лаком, непроглядную ночь, замкнутую в кольцо жары. Идут, шумя винтами, и исчезают в дикой зелени вод, в странах, иссушающих русые волосы и сгущающих северную лимонадную кровь.

«Она должна была видеть все,— подумал он и вспомнил Соловейчика и Маню.— Если не найду Пиррисона, вернусь к ним... там будет видно...»

Днем он уснул; во сне болела голова. В сумерки его разбудили вопли мадам Сиригос. Глаша пришла в кухмистерскую пить пиво с матросами, и мадам Сиригос сводила старые счеты.

— Бросьте, мамаша,— успокоительно гудел матросский голос,— не заводитесь с девочкой, она вас все одно переплюет.

— Вон, мерзавка! — гремела мадам Сиригос.— Вон с заведенья, паскуда!

— Уймитесь вы! — кричал второй матрос и колотил бутылкой по столу.— Уймитесь, бо я не знаю, што я с вами, с двумя, сделаю!

На улице свистели, и, судя по крику мальчишек и гулу толпы, неумолимый милиционер Коста приближался к кухмистерской.

Батурип встал, облился водой, долго рассматривал свои крепкие руки и усмехнулся:

— Кому они нужны?

Он сел на подоконник и смотрел на город. Как всегда, сама по себе зажглась электрическая лампочка. На рейде сиял огнями пассажирский пароход из Батума. Рыболовы зажгли па пристанях тусклые фонари. Подходила очередная ночь. Батурин разорвал на мелкие клочки полученную утром телеграмму капитана о «женитьбе на Нелидовой».

— Старая дворняга,— обозвал он капитана, прислонился лбом к косяку и задумался. Задумчивость эта была, скорей, оцепенением,— он не услышал стука в дверь. Стук повторился.

Батурин нехотя открыл. Тонкий силуэт женщины обрисовался на исписанной похабщиной стене. Она подняла глаза на Батурина, и он отступил. В темных этих глазах была брезгливая враждебность.

— Простите,— Батурин узнал ее низкий голос,— это вы ищете артиста Гаррисона?

— Да.

Она снова взглянула на Батурина, и на этот раз он заметил в ее глазах легкое смятение, потом вопрос. Батурин закурил и стал спиной к свету.

— В газете напутали. Я ищу не Гаррисона, а Пиррисона.

Того, что случилось, Батурин не ожидал. Он услышал крик, бросился к женщине и поддержал за спину. Мертво и страшно она свалилась на край кровати, руки ее свисали вниз, на одной из них Батурин увидел примету — серебряный браслет. Он поднял ее лицо и одну секунду пристально разглядывал: оно было холодное и белое, как у мраморных богинь, о которых он думал утром. Он налил в стакан желтоватой воды из графина. Из него перед этим, видимо, пили водку: вода пахла спиртом. Зубы женщины стучали. Батурин заставил ее выпить несколько глотков.

— Прекратите бузу, граждане! — кричал внизу милиционер Коста.— Я тебе покажу хватать, идем в район!

— Как душно.— Нелидова открыла глаза, в них стояли слезы.— Даже голова закружилась. Если вам все равно, пойдемте к морю.

Они вышли. В кухмистерской было уже пусто, во дворе гармоника запутывала сложные лады. Шли молча. Мол-

чанье было шумное от множества мыслей. Старухи протягивали букеты оживших к вечеру цветов и шептали:

— Возьмите для красавицы, молодой человек.

— Прежде всего скажите, кто вы и почему вы ищете Пиррисона?

Этот вопрос прозвучал как приказ. Батурин молчал.

— Ну, что же?

— В древней Греции я был бы героем,— ответил он с плохо сдерживаемой злобой,— а здесь я никто. У меня нет профессии. Я даже не знаю, сколько разрядов в тарифной сетке. Сейчас я — самоубийца. Вам этого достаточно?

Батурин услышал сдержанный смех.

— Бросьте дурить. Вы не похожи на самоубийцу. Почему вы ищете Пиррисона?

— Это занятие мне по душе. Я думал так, когда согласился его искать. Теперь я думаю иначе. Я ищу Пиррисона по поручению инженера Симбирцева.

— Кроме Пиррисона, он никого не поручал вам искать?

Батурин молчал. Он решил, что не надо скрываться, иначе провалится весь его план.

— Вы слышите? — Она тронула его за рукав.— Что же, вы не хотите отвечать?

— Я ищу Пиррисона и вас.

— Это подло! — сказала она резко.

Они остановились на пристани. Спазмы душили ее, она не могла говорить. Батурин насмешливо посмотрел на нее и заметил длинные ресницы.

«Как у Вали»,— подумал он и пристально вгляделся в ее лицо. Оно было измучено, неуемная боль стояла в глазах. Батурин подумал, что вот эта женщина — жена Пиррисона, и вздрогнул от отвращения, от жалости, от мысли, что ее ждет, может быть, судьба Вали.

Старики с фонарями безмолвно удили бычков и сиреневую розмаринку. Чугунный маяк позванивал от вертевшегося фонаря, и то вырывался, то падал во тьму кузов турецкой барки.

— Это подло! — повторила она и отвернулась.— Это сыск! Как он смеет врываться в чужую жизнь! Как смеете вы...

«Ростислав» и «Алмаз» за республику,
Наш девиз боевой — резать публику,—

орали на пристани мальчишки.

— Давайте договоримся,— сказал Батурин резко.— Ни Пиррисон, ни вы мне не нужны. Ни мне, ни Симбирцеву, ни двум моим товарищам, которые ищут вместе со мной,— один на Кавказе, другой в Севастополе. В вашу жизнь никто не врывается. Мы ищем дневник вашего брата. Вы сами понимаете, что такая вещь не может быть частной собственностью. Вот и все. Я не сыщик.

Батурин закурил; при свете спички она мельком взглянула на него.

— Я не сыщик,— повторил он и поморщился.— Вы зря хотите обидеть меня. Эти поиски стоили мне дорого, они переломили мою жизнь (Батурин покраснел). Раньше я был пуст и скучен. Я был болен вялостью и отсутствием дерзости. Теперь не то. После того, что я испытал, никакими словами вам не удастся унизить меня.

— Что же случилось? — почти испуганно спросила она.— Я не понимаю. Договаривайте до конца.

— То, что случилось, к делу не относится. Дневник у вас?

— Нет.

— Где же он?

— У Пиррисона.

Батурин быстро повернулся к ней.

— Да, у него,— повторила Нелидова тихо.

— Где сейчас Пиррисон?

— Я не знаю.

— Не знаете? Хорошо. Так или иначе, мы его найдем. След в наших руках.

От моря тянуло неуловимым запахом ночи.

— Я сказал вам все. А что вы можете сказать мне? Я шпион, я действую подло — ладно! Пиррисона вы, кажется, ищете так же, как и я. У нас разные цели, но задача одна. Мне посчастливилось, и я нашел вас. Что же дальше? Вы согласны помочь нам или нет? Вы многое знаете о Пиррисоне,— если вы поможете, он будет найден быстро и все окончится, как в добродетельных американских фильмах: мы отберем у него дневник, а вы...

— А я?

— Вам вернут мужа.

Батурин был груб. В первый раз он так резко и не скрываясь говорил с женщиной. Он ждал дерзости и, как всегда, ошибся.

Нелидова молчала.

— Я жду. Если вместе — будем действовать; если нет — мы будем искать сами, как искали до сих пор. Конечно, когда Пиррисон будет найден, мы вас известим.

— А если я не соглашусь, что вы будете делать?

— Первым пароходом я уеду.

— Бросим играть в прятки.— Нелидова встала, глаза ее блестели в темноте.— Слова о сыске не относились к вам. Вы грубы, это естественно. Вы говорите, что поиски переломили вашу жизнь. Переломы даются трудно, но согласитесь, что я здесь ни при чем.

— Вы многого не знаете,— вырвалось у Батурина.

— Возможно. Не будем спорить. Сейчас я ничего вам не отвечу. Лучше завтра. Я даже плохо понимаю, что вы говорите. Ведь у меня же был обморок; неужели так трудно понять, как я разбита!

Батурин покраснел: он ждал дерзости и услышал почти мольбу.

— Ну, не сердитесь,— она взяла Батурина за руку.— Отложим до завтра. Проводите меня, я покажу вам, где я живу.

Жила она на горе, далеко от порта. По дороге Нелидова украдкой разглядывала Батурина. Он нервно курил, свет папиросы освещал его лицо, и оно казалось то молодым и печальным, то резким и суровым.

На рейде прогудел пароход. Из садов пахло политой землей. Около базара к Батурину подошел Червонец, попросил папироску и прошел немного рядом, перекидываясь с Батуриным короткими фразами.

— Что ж давно не приходишь? — спросил Червонец с упреком.— Ты, гляди, нас не бросай.

— Ладно, приду.

Нелидова остановилась у маленького сада. Она просунула руку сквозь решетку калитки, чтобы отодвинуть засов, и у нее расстегнулся и упал браслет. Серебряный, короткий звон напомнил Батурину те дни, когда он искал женскую руку с этим браслетом, жаркие месяцы среди пыли, моря, степей и кофеен.

Он нагнулся, чтобы поднять браслет, и в темноте их пальцы встретились. Ее рука дрожала.

— Вы устали,— Батурин открыл калитку.— Правда, странно — кабачок в Альпах и пыльная Керчь?

Несколько мгновений она молчала.

— Вы придете завтра вечером,— твердо сказала она.— Я хотела сказать вам... мы будем искать вместе. Я согласна.

Голос у нее дрогнул от невидной в темноте улыбки.

— Завтра вы расскажете то, что недоговорили сегодня!

— Вряд ли.

Батурин шел к Сиригосу. Сознанье было затоплено прозрачной темнотой. Он думал, стыдясь своей мысли, что расскажет Нелидовой все, и ему станет легче. Впервые он понял, как горько жить без друзей.

«Так вот шатаешься один и наскочишь на смерть».

Ему снились дикие керченские камни. По ним бежала прозрачная вода, она пахла простыми цветами, и старухи протягивали ему граненые стаканы с этой водой и шептали:

— Купите на счастье, молодой человек!

БЕЗЗАБОТНЫЙ ПОПУТЧИК

С утра дул белый (так казалось Батурину) и сырой ветер. Перепадали тихие дожди. Батурин шел на пристань: пришла телеграмма от Берга, что он приедет с первым пароходом.

На пристани горами было навалено прессованное сено, пахло лугами, под настилом урчала мыльная вода. Керчь под дождем понравилась Батурину,— в чистых лужах плавали листья, неизмеримая морская свежесть залила город.

На рейде дымил грязный пароход, давая нетерпеливые гудки. Батурин вскочил на катер. Катер, выплевывая грязную воду и высоко поднимая нос, пошел к пароходу. Сразу ушла теснота. Рейд открылся исполинским озером, направо за мысом зеленело Черное море. На катере к Батурину подсел маленький человек с серыми веселыми глазами,— тот самый, что принимал объявление в «Красной Керчи».

— Уезжаете? — спросил он Батурина, как старого приятеля, придерживая от ветра зеленую фетровую шляпу.

— Нет, товарища встречаю.

— А я за новостями для газеты. Я и репортер, и корректор, и фельетонист, и все что хотите. Капитаны у меня знакомые. Иной даже иностранную газету даст — и то хлеб. Ну как, нашли вы киноартиста?

— Да, почти...

Человечек взгляпул па Батурина и расхохотался.

— Чудак-покойник! Что за охота разыскивать американцев.

Катер проскочил около высокой кормы парохода,— это был «Пестель». Волна мыла красный ржавый руль. Берг висел на планшире и махал кепкой.

Он спустился по трапу в катер, расцеловался с Батуриным и, пока катер мотало у борта, успел рассказать свою одесскую историю. В Севастополе он ничего не нашел, поиздержался. Одно время питался сельтерской водой и вафлями. Потом начал писать очерки для «Маяка Коммуны» и даже привез с собой шесть червонцев.

— А я,— сказал Батурин,— нашел здесь Нелидову. У нее нет дневника. Он у Пиррисона. Где Пиррисон — неизвестно. Я еще толком с ней не говорил.

Берг обрадовался.

— Вы говорите так, будто нашли трамвайный билет. Чудак. Теперь вчетвером мы отыщем его в два счета.

Берг расспросил о Нелидовой, внимательно посмотрел на Батурина.

— Болели?

— Да, болею...— неохотно ответил Батурин.— Малярия...

Человечек с серыми глазами снова подсел к Батурину, назвал себя. Фамилия его была громкая — Глан.

На обратном пути он слушал Берга и Батурина и изредка вставлял слова,— всегда кстати. На берегу, когда Берг с Батуриным сели на извозчика, он сел с ними, и это показалось естественным. Берг, очевидно, считал его знакомым Батурина и не скрываясь говорил о поисках, новых «гениальных» планах и неудачах. У Батурина же было ощущение, что Глан — свой человек.

Около «Зантэ» Глан попрощался с ними, обещал зайти перед вечером и убежал, развевая полы дырявого пальто.

В номере Берг сказал Батурину:

— Чудесный город. Пустынный, весь в море, в греках, в камнях. Тут материалу бездна!

Батурин улыбнулся и поймал себя на мысли, что со вчерашнего дня, а особенно сегодня, когда приехал Берг, город потерял свою былую больничную мертвенность.

Берг внес веселую суету. Он рассказал несколько нелепых историй, через полчаса познакомился с мадам Сиригос и вызвал у нее большую симпатию познаниями по ча-

сти еврейской кухни. С сизого ее лица не сползала лоснящаяся улыбка.

К вечеру пришел Глан и предложил пойти выпить пива. Батурин отказался. Он сказал Бергу, что сегодня пойдет к Нелидовой один, а его познакомит завтра,— так удобнее.

— Да ведь она сегодня играет в «Потопе»,— сказал Глан.— Куда же вы к ней пойдете?

Батурин вспомнил, что Нелидова звала его к десяти часам, но все же отказался остаться. Он решил пойти в театр.

— Ну, черт с вами,— сказал Берг.— Идите. А я пойду с Гланом по пивным. Вот где должна быть бездна материала!

В пивной «Босфор» они сели под портретом лейтенанта Шмидта. В мокрых сумерках зажгли огни,— они казались особенно прозрачными и желтыми, как первые свечи на рождественской елке.

Глан был бродяга. Сумрак пивной и тишина сырого вечера располагали к разговорам. Он рассказал Бергу свою жизнь.

Родился он в Западном крае в русско-еврейской семье. Во время войны его сослали на поселение в Нерчинск за студенческие беспорядки. После революции он жил на Дальнем Востоке, работал кочегаром на паровозе, дрался с японцами и бежал от них на Сахалин. Оттуда он пробрался в Шанхай, там голодал и грузил рис на вонючие пароходы. В Шанхае он случайно отравился опиумом, пролежал два месяца в скучном французском лазарете, влюбился в сиделку-француженку. Ей об этом он не сказал и вот так, без всяких причин, назло себе уехал из Шанхая в Харбин. Потом долго скитался по России.

— Больше трех месяцев я нигде не жил,— сказал Глан,— не могу. Сосет под ложечкой.

Обезьянье его лицо с добрыми морщинками около глаз чем-то напоминало Бергу Пушкина.

Глан был пугливо-деликатен и загорался и гас с необычайной быстротой. Он знал наизусть многие стихи Блока, увлекался Гюго и с редкой быстротой перескакивал в своих рассказах от Арзамаса, где чудесно мочат яблоки с клюквой, к Самарканду, голубому от мечетей и рыжему от засухи.

Разговор с ним вызывал впечатление, какое получается при разглядывании вещей через граненый хрустальный со-

суд при ярком солнце. Линии смещаются, контуры очерчены спектральными полосами, земля горит оранжевым пламенем, а люди приобретают отчетливые и смуглые краски, как на картинах старых мастеров.

Берг с изумлением узнал, что Глан только сегодня познакомился с Батуриным и понятия не имеет об истории поисков. Историю эту Глан выслушал настороженно.

— Возьмите меня с собой. У меня есть полтораста рублей. Как вы думаете, месяца на два хватит?

Берг усмехнулся.

— Хватит, конечно. Надо будет написать капитану.

Пока между Бергом и Гланом шла беседа в пивной, Батурин сидел в театре. Театр был душный и тесный, почти пустой. Батурин сидел задумавшись и не глядел на сцену. Нелидовой еще не было. Она играла проститутку Лизи.

Когда Лизи вошла в бар, Батурин сжался, прикрыл лицо рукой,— ему не хотелось, чтобы она увидела его. Тягучая топорность провинциального спектакля приобрела с ее появлением печальную остроту. Нелидова играла просто, как бы устало. Батурин отнял руку от лица, откинулся и следил за каждым ее движением. Кровь ударила ему в голову, он скрипнул зубами и прошептал:

— Черт...

Это было похоже на странную насмешку. Лизи была Валей. В ней, как и в Вале, для рядовой проститутки было слишком много теплоты и боли. Та же легкая походка, так же косо и четко срезаны волосы на щеке. Так же робко, как Валя — Батурина, она взяла за руку маклака Бира, румяного негодяя со скрипучим портфелем. Бир был Пиррисоном.

В антракте Батурин вышел на улицу и курил, прислонившись к фонарному столбу. Он хотел уйти, но после звонка вернулся в зал.

До конца спектакля он сидел с каменным побледневшим лицом. Однажды Нелидова посмотрела в его сторону и, казалось, узнала: она уронила горящую папиросу и прижала ее каблуком лаковой туфли.

После спектакля Батурин пошел к морю и выкупался с пристани. Ему хотелось еще большей свежести, почти холода. Казалось, что из него выветривается длительная болезнь, очищается застоявшаяся тяжелая кровь.

Из порта он пошел к Нелидовой. Несколько раз он про себя позвал Валю, и прежняя черная тяжесть сменилась легкими слезами. Батурин сдержал их, глотнул воздух. Он не мог понять, что с ним происходит. Боль очищалась от мути. Широкая печаль залила сердце, и он подумал, как много в мире обиды, невысказанной тоски и гнева. Валя была с ним, казалось, он держал ее узкую ладонь. Она говорила ему, что все пройдет и стоит жить, чтобы щуриться от ослепительного солнца.

Он открыл чугунную калитку. В окне был слабый свет, ветер надувал занавески. Батурин хотел окликнуть Нелидову, но вспомнил, что не знает ее имени. Он постучал о раму окна. Нелидова отдернула занавеску, наклонилась и несколько секунд смотрела на него.

— Я жду давно,— сказала она, и Батурин заметил ее сухие и яркие губы.— Входите.

В комнате было тесно и странно; она напоминала кладовую антиквара. Свет лампы падал желтыми полосами на яркие старые шали, на мятый шелк и разбросанные всюду книги.

Нелидова села в тени на диване. Батурин — на подоконнике. Он отодвинул стакан с осыпавшимися цветами. Они пахли тлением, желтой, застоявшейся водой.

— Как душно,— медленно сказал Батурин, разглядывая свои темные от загара руки.— Я только что купался в море. Жаль, что люди не могут менять кожу, как змеи... У меня желание содрать с себя кожу и вымыть легкие, сердце, мозги холодной водой. Понимаете, такой нарастающий внутренний жар. Его очень трудно терпеть...

Он говорил как бы для себя, забыв, что он не один. Голос его звучал глухо, он часто останавливался и задумывался. Нелидова сидела неподвижно.

— Но дело не в этом,— продолжал Батурин.— Рано еще подводить итог. Его подведем не мы, а помните, как у Киплинга,— смерть, когда вычеркнет нас красным карандашом из списка живых. Киплинг писал прекрасные баллады — я помню одну: о человеке, попавшем в ад. Там сказано так:

И Тамплинсон взглянул вперед
И увидал в ночи
Звезды, замученной в аду,
Кровавые лучи.

И Тамплинсон взглянул назад
И увидал сквозь бред
Звезды, замученной в аду,
Молочно-белый свет...

— Да... вот.— Батурин не отрывал глаз от своих рук.— Читаешь сотни книг — и вдруг будто горячий ветер ударит в голову. Так и теперь. Я ничего не читал страшнее этих строчек. Я повторяю их часто и вспоминаю о ней... «Звезды, замученной в аду, молочно-белый свет...» В этих словах есть большая горечь. Они человечны, эти слова, они разрывают сердце. Нельзя говорить о сентиментальности, как думает Берг. Я — не немецкая бонна. Я пережил все это. И Киплинг был совсем не сентиментальный британец,— он был крепкий, черствый, он воспевал войну и диких зверей. Но не в этом дело. Случилось так, что в полчаса с земли, с людей, со всего сдуло налет романтики.

Батурин не думал, поймет ли Нелидова его спутанную речь. Он постучал пальцами по стакану с цветами. На подоконник упало несколько желтых лепестков. Батурин собрал их, положил на ладонь и долго рассматривал.

— Случилось это в Бердянске. Какой-то китаец ударил в висок утюгом — па виске у нее билась тонкая вена, и все... Во время войн я не понимал и не оправдывал убийств. Теперь я думаю иначе. Есть среди людей прослойки, которые должны быть уничтожены. Прежде всего те, кто плюет на культуру, на труд, на материнство, на женщин. Человек с рефлексом вместо души, человек плотоядный, зараженный эгоцентризмом, должен быть уничтожен. Посмотрим, кто пересилит. Мы сильны своим гневом и непримиримостью, они — жадностью и волосатым кулаком.

Батурин сдунул лепестки.

— Для меня многое неясно. Я не знаю, как это выйдет и смогу ли я убить. Думаю, что да. Возможно, что после этого я убью себя,— он виновато улыбнулся,— я очень слаб, во мне нет жестокости...

Батурин взглянул на Нелидову, будто проснулся.

— Вот вы...— сказал он тихо.— Вот вы. Жена Пиррисона. Вы знаете, что все, о чем я говорил, относится к нему?

Нелидова молчала.

— Не хотите отвечать? Это понятно. Может быть, я говорил неясно. Вы вправе сейчас же заставить меня уйти

или наговорить мне кучу злых слов,— дело, конечно, не в этом. Три месяца назад я бы этого не сказал — так я был спокоен и противен себе. Казалось, все вытекло из души, как вода из дырявого бака. Оказалось — не так. Я начал поиски. Были разные встречи. В Ростове я встретил проститутку Валю, о ней я не могу ничего рассказать, не стоит и пробовать, ничего не выйдет... Ее убил в Бердянске китаец,— Батурин встал и оперся на подоконник,— китаец-прачка родом из Фучжоу. Труп ее лежал в прачечной и был покрыт простыней...

Батурин сделал шаг к Нелидовой.

— Простыней,— быстро повторил он, задыхаясь,— и на простыне были вышиты слова «Георг Пиррисон».

Нелидова вскочила. Мучительная морщина легла у нее па лбу.

— Что вы говорите, вы — сумасшедший,— прошептала она.

— Она была прекрасна,— сказал Батурин и тяжело сел на подоконник.— Китайца звали Ли Ван.

— Замолчите, не может быть! — крикнула Нелидова.— Я думала, вы бредите, пока вы не назвали Ли Вана. Это наш бывший слуга, он жил у нас полгода в Москве, потом уехал. Ли Ван убил! Я не могу понять этого. Ласковый, тихий Ли Ван.

— К черту Ли Вана! — Батурин поморщился.— Я должен окончить. Ли Ван, слуга Пиррисона, убил ее. Перед этим она два раза травилась из-за Пиррисона. Не смейте кричать. У меня больше права кричать. Я буду кричать, если на то пошло,— Батурин повысил голос.— Она два раза травилась из-за Пиррисона, когда он был в Ростове. Почему? Да потому, что он ее замучил, он привык все, за что платит, использовать до конца. Я распутаю этот узел, даже если бы это стоило мне жизни. Я не болтаю пустые слова, вы сами видите.

— Что вы хотите сделать?

— Я убью Пиррисона.

— Нет,— крикнула Нелидова,— не трогайте его! Вы его не знаете. Он убьет вас прежде, чем вы пошевелитесь.

Батурин засмеялся:

— Он уже убил меня, не волнуйтесь. Таких людей необходимо уничтожать.

Нелидова сказала шепотом, от которого Батурин вздрогнул:

— Зачем вы говорите так? А если он убьет вас? Даже этот палец ваш не заслуживает смерти.

Батурин пристально поглядел в ее лицо.

— Вы бредите,— сказал он,— где вы слышали эти пустые слова? Моя игра сделана плохо. Я сорвался. Вы можете донести на меня, меня арестуют, но в конце концов выпустят, и своего я добьюсь.

Нелидова молча опустилась на пол. Батурин наклонился к ней. У нее опять был обморок. Он перенес ее на диван и подумал, что два обморока за два дня — это много. Он положил ей на голову мокрое полотенце, снова сел на окно и погрузился в пустое и гулкое оцепенение.

Она пришла в себя через несколько мипут, показавшихся Батурину часами, села на диван, легко вздохнула и сказала внятно:

— Я вам могу простить многое... Уходите. Но не уезжайте, не предупредив меня... Вы должны забыть все эти мысли, с такими мыслями нельзя жить. Вот еще... я не успела сказать... Вы уверены, что Пиррисон меня бросил. Это неверно. Я прогнала его еще в Москве и уехала па юг совсем не за ним...

— А зачем же?

— Так...— Нелидова отвернулась и тихо заплакала.— А теперь идите.

Батурин вышел. Синий рассвет был протянут полосой над Таманью. В темных ветвях возились птицы.

Утром принесли телеграмму от капитана. «Пиррисоп в Батуме,— сообщал капитан.— Выезжайте немедлепно, справьтесь в Батуме во второй типографии метранпажа Зарембы».

Берг недовольно выслушал рассказ Батурина о том, что с Нелидовой он так и не договорился.

— Не волыньте,— сказал Берг.— Завтра надо ехать и обязательно взять ее с собой. Попытайтесь поговорить еще раз.

Батурин согласился. Он пошел к ней, но не застал дома,— она была в театре. Батурин пошел в театр. Там было темно и пахло пылью. Он вызвал Нелидову в сумрачное фойе.

— Елена Владимировна,— сказал Батурин (он вспомнил наконец ее имя).— Я пришел за ответом. Завтра я уезжаю. Приехал еще один из искателей, мой друг, писатель Берг. Сегодня утром мы получили от третьего иска-

теля, капитана Кравченко, телеграмму из Батума. Он требует, чтобы мы немедленно выезжали. Очевидно, он напал на след Пиррисона. Мы его найдем, никто нам в этом помешать не сможет. Вы едете с нами?

Нелидова похудела за ночь, глаза ее ввалились.

— Да, еду,— сухо сказала она, стоя против Батурина.— Я уже сообщила директору театра, что разрываю контракт. Когда надо быть готовой?

— Завтра к двенадцати часам.

— Хорошо. Я приеду на пристань.

— Я заеду за вами.

— Не надо, я не убегу.

Она повернулась и пошла по темному коридору. Черное короткое платье переливалось серым, будто было покрыто полосами светящейся пыли. Батурин закурил, посмотрел на дородных женщин и поджарых амуров, нарисованных на стенах, и сказал тихо: «Ну ладно, раз так, тем лучше»,— и вышел из театра. В номере он сказал Бергу:

— Она едет с нами, но не забывайте, что она — враг. Держитесь осторожней. Пиррисона она прогнала, но мне кажется, она до сих пор его любит. Похоже, что она едет больше за тем, чтобы оградить его от неприятностей.

— Не подгадим,— ответил Берг.— Да... Вот еще один искатель навязался — Глан. Просится, чтобы взять его с собой. Вы как думаете?

— Пусть едет. Нам же легче.

Берг помолчал.

— Вы думаете, что с Пиррисоном могут быть неприятности?

— Да. Это опасный человек. Я кое-что узнал о нем.

— Расскажете?

— Да, потом...

Утром Берг побежал в агентство и взял билеты,— всем палубные, а Нелидовой койку в каюте. На пристань пошли пешком. Глан связал ремнем чемоданы и взвалил на плечи. Утро было свежее, по горизонту лежала мгла.

— Заштормуем,— сказал Берг возбужденно.— Покачаемся, Глан. Смотрите: кажется, норд идет.

На пристани их ждала Нелидова. Она стояла около двух блестящих желтых чемоданов. Ветер дул ей в лицо. Она спокойно посмотрела на Батурина. Сухие и яркие ее губы были плотно сжаты. Батурину она протянула узкую руку в перчатке, Бергу и Глану только кивнула.

Снова Батурин, стоя с ней рядом в ожидании катера и перекидываясь пустыми словами, вспомнил о холодных и мраморных лицах древних богинь.

— Будет шторм,— сказал Батурин.— Видите: мгла по горизонту.

— Ну что ж, тем лучше.

Глаза Нелидовой блеснули.

— Кто это? — Она показала глазами на Берга и Глана.

— Это Берг. А это так... попутчик.

— Однако вас много...

Батурин промолчал. Он помог ей спуститься в катер. У него было такое чувство, что он везет арестованную. «Какая чушь»,— подумал он.

Берг с Гланом перетащили ее чемоданы. На пароходе она ушла в каюту и не выходила до вечера.

Сидя на корме, вытянув ноги и поглядывая на потемневшее море, Берг сказал:

— Похоже, что вы, Батурин, вроде комиссара при знатной иностранке, а мы носильщики. Ну что ж, потерпим. Она красива и не верит нам ни на грош. Какого дьявола она согласилась ехать с нами?

— Она хочет видеть Пиррисона,— ответил Глан.— Представился удобный случай. Нас она ненавидит. С Батуриным она разговаривает, как Николай говорил с Керенским.

Море свежело. На западе горел кровавый свет. Мрачный дым лежал на востоке.

— Ветер идет,— предупредил матрос, свертывая брезент над деком.

Неуютность вечера, задувавшего изредка в лицо холодными и крепкими порывами, слепые огни парохода в буром мраке, шум волн, скрип снастей и пустынная палуба вызывали беспокойство. На пароходе почти не было пассажиров. В Керчи многие сошли, испугавшись близкого шторма. С Кавказского побережья пришли телеграммы, что бушует шторм в девять баллов и около Туапсе погибло парусное судно.

Спрятавшись за люком на корме, Батурин, Берг и Глан закусили консервами с белым хлебом. Глан принес из камбуза кипяток. Чай казался изумительно вкусным и крепким, ветер и ночь — молодыми. Радовало сознание, что до самого Батума не надо ничего делать, некуда торопиться,— только курить, смотреть на волны, рассказывать раз-

ные истории и спать на палубе, укутавшись с головой в пальто.

Пароход уже качало. Он тягуче скрипел, дрожал от вращенья винтов и хлопал черной кормой, как гигантской ладонью, по серой волне. Соленые брызги попадали в лицо, и Берг с наслаждением облизывал губы.

Батурин долго стоял, спрятавшись за рубкой, и курил, потом лег рядом с Бергом и спросил тихо:

— Берг, у вас не было сына?

Берг поднялся на локтях, посмотрел на Батурина и ответил:

— У меня есть ребенок,— сын или дочь, я не знаю. Почему вы спрашиваете?

— Так, подумал о детях. Где это было?

— В Ленинграде...— неохотно ответил Берг.— Вы помните: я вам рассказывал о дочери профессора... она ждала ребенка от меня. Я тогда не дорассказал...

— И вы ее бросили?

— Да,— ответил, поперхнувшись, Берг, сел и закурил. Спички гасли одна за другой.

Пароход вскинуло, он косо пополз вниз. На мостике засвистели.

— Начинается,— пробормотал Берг.— Попали в шторм, поздравляю. Бросим говорить о прошлом. Это невесело.

— Невесело? — переспросил Батурин и затих.

Уснул он не скоро. Было холодно. Они качались, тесно прижимаясь друг к другу, и поминутно просыпались. Хотелось курить, но ветер гасил спички и выдувал табак из папирос. Только у самой палубы, спрятав голову за люк, можно было лежать и собирать по частицам драгоценное человеческое тепло, приносившее непрочный сон. Ветер налетал из темноты с угрюмым гулом. Острые звезды белели в кромешном небе.

Батурин забылся; казалось, прошла минута, не больше, но ему приснилось множество снов. Кто-то тряс его за плечо. Он поднял голову и разглядел в темноте Нелидову. Пароход шел без огней. Батурин сел и вздрогнул,— с ревом катились мимо ветер и море. Корма взлетала, застилая звезды, и падала, окунаясь в чернильную воду. Труба яростно хрипела. Ветер рвал в клочья жирный дым. Лицо дрожало под его ударами и леденело. Тонкое и короткое пальто Нелидовой ветер трепал и бил им по лицу Батурина. Он услышал легкий и свежий запах ее платья.

Нелидова наклонилась и крикнула:

— Вы с ума сошли, вас снесет! Идите в кают-компанию, там никого нет. Смотрите, что творится!

— Полный шторм! — крикнул в ответ Батурин.— Чудесно! Как вы думаете, дойдем до Новороссийска?

— Не знаю... Не все ли равно? Подвиньтесь, я сяду. В каюте мне страшно.

Берг и Глан проснулись. Нелидова села между Бергом и Батуриным, и они закрыли ее полами пальто. Она сильно вздрагивала. Пробежал матрос с мокрым плащом, наклонился и крикнул:

— Эй, пассажиры, сматывайтесь в каюту,— зальет!

Берг пошевелился.

— Не надо,— сказала Нелидова.— Посидим еще. Спать все равно не будем.

Шторм гремел и надвигался с востока стеной, закрывая звезды.

— Не смотрите на восток,— посоветовал Берг Нелидовой,— страшно. Смотрите на палубу, на нас, на свои руки, вообще на простые и знакомые вещи,— будет легче. Глотайте воздух, иначе укачаетесь.

Так они сидели тесно и тихо, изредка перекидываясь словами, потом сразу вздрогнули: сквозь рев шторма доносились странные оборванные звуки. Глан пел незнакомую песню:

Уходят в море корабли,—
Пылают крылья,
В огне заката крылья-паруса...
А на берег блистающею пылью
Ложится-падает вечерняя роса.

— Вот сумасшедший,— прошептал Берг, но сразу стало спокойнее; человек поет: значит, шторм не так страшен, как кажется. Глан пел тонким печальным тенором.

Ветер засвистел в снастях с нарастающей яростью, испуганные звезды скачками понеслись к горизонту. Голос Глана сорвало, унесло в ночь, и пушечным ударом на пароход обрушилась водяная гора. Шторм крепчал.

— Пойдем, смоет.— Батурин встал, качнулся и схватил Нелидову за плечо.

Ветер обрывал пуговицы на пальто, по ногам несло брызги.

В кают-компании мутно светила лампочка. Пароход валился с борта на борт, трещал и хрипел. Чемоданы с

шорохом ездили, цепляясь за привинченные стулья, в умывальниках, за стенами кают, плескалась вода. Шторм трубил за наглухо завинченными иллюминаторами с космической силой.

— Ну, попали,— пробормотал Берг.— Разобьет, пожалуй, эту коробку.

— Вы боитесь моря? — спросила вскользь Нелидова. Она сидела с ногами на красном бархатном диване. Лицо ее было измучено. Серое пальто потемнело от брызг.

— Нет,— резко ответил Берг.— Я бывал и не в таких переделках. Хоть я и еврей, но ни моря, ни воды не боюсь.

Нелидова усмехнулась. Глан дремал, сдувая со щеки назойливую муху, вздрагивал и осоловело поглядывал на тусклые лампочки.

Батурин сидел около Нелидовой. Для устойчивости он оперся локтями о колени, положил голову на ладони и, казалось, глубоко задумался. Он прислушивался к шуму шторма и думал о Вале. Он нащупал в кармане ее записку, вынул и, качаясь, теряя строчки, прочел:

«Раз я любила, но не так, совсем не так, больше дурачилась... Я спасла ему жизнь, после этого он сказал мне, что ненавидит меня, и ушел».

«Может быть, мы погибнем,— думал Батурин, и его пугала не смерть, а лишь то, что перед смертью мокрое платье прилипнет к телу и свяжет движения.— Стоит ли спрашивать,— пожалуй, бесполезно».

Но все же он спросил Берга, глядя на пол каюты:

— Берг, отец той женщины, о которой мы недавно говорили, был профессор?

— Да.

— Что он читал?

— Он был профессор-клиницист, врач.

В каюту вошел капитан. Вода капала с его плаща на пол. Он отогнул рукав, посмотрел на часы, хмуро взглянул на Нелидову, закурил и сел к столу. Все молчали.

— Четыре часа,— сказал хрипло капитан и закашлялся.— Штормяга крепчает, и барометр падает,— получается паршивая комбинация!

— Выдержим? — спросил Берг.

Капитан не ответил, бросил папиросу в полоскательницу и вышел.

— Берг,— позвал Батурин,— садитесь здесь.

Он показал на диван рядом с собой. Берг сел, привалился на бок. Слова капитана ему не понравились, начиналась тоска.

— Он ничего вам не ответил?

— На такие вопросы моряки не отвечают.— Глан открыл глаза.— Зря вы спросили. Откуда он может знать: слышите, как крушит?

— Берг,— продолжал Батурин, будто пропустил мимо ушей весь этот разговор,— может быть, утром мы будем в Новороссийске. Так? А может быть, к утру нас вообще не будет. Поэтому я и спрашиваю вас,— хотите вы знать, что случилось с той женщиной и с вашим сыном?

Берг подозрительно взглянул на Батурина и хрипло ответил:

— Что вы знаете? Если вы хотите шутить, то это гадость. Я лучше думал о вас, Батурин.

— Какие тут шутки.— Батурин поднял голову и поглядел на Берга спокойно и ласково.— Скажите сами, способны вы шутить на этом разваливающемся корабле?

Берг закурил, руки его тряслись. Он не мог ничего ответить и только помотал головой.

— Не печальтесь, Берг,— сказал Батурин,— ваш сын, ему было два года, сгорел в Ростове во время пожара в госпитале. Женщину зовут Валя. Я могу подробно вам ее описать, но это не нужно. Она была проституткой. Месяц тому назад ее убил в Бердянске китаец.

Берг отвернулся от Батурина, плечи его опустились. Он слабо махнул рукой, будто отмахиваясь от кошмара.

— Берг! — сказал Батурин жестко.— Она любила вас, Берг, до последней минуты.

У Берга вырвался странный писк. Он прислонился к спинке дивана, и было видно, с каким напряжением он сдерживает спазмы.

Батурин хотел сказать, что Валя спасла его тогда, на Неве, когда он сказал ей о ненависти, но Нелидова впилась ногтями в его руку, нагнулась вплотную к лицу и прошептала:

— Не смейте, иначе я буду кричать! Я не знаю, в чем дело, но я брошусь на вас. Что вы делаете? Вы одержимый.

— Нет,— ответил Батурин,— теперь ему будет не страшно умереть. А если мы выживем, он переболеет и выкинет к черту свое оскорбленное еврейство. Я хочу че-

ловечности! — почти крикнул он и повернулся всем корпусом к Нелидовой.— Чего вы боитесь! Раны заливают йодом, а не фруктовой водой.

Нелидова вскочила. Ночь, мутные лампочки, бледное и пьяное лицо Батурина, показавшееся ей прекрасным, плеск воды в коридоре, черный ураган, летевший с востока плотной воздушной стеной,— все это могло быть только сном. Захотелось проснуться, впустить в иллюминаторы жаркое неторопливое солнце.

Она вскрикнула, бросилась к Бергу, стала на колени перед диваном, судорожно гладила его спутанные волосы и что-то шептала, как шепчут обиженным детям. Батурин снова сел, опустил голову па ладони и тихо сказал:

— Берг, милый, не плачьте. Она простила все, она любила вас до последней минуты.

Глан сидел, уставившись в лужицу воды на полу. Она все росла и росла. Глан проследил, откуда идет вода, и вздохнул,— текли иллюминаторы. Ему было жаль Берга, но в словах Батурина он чувствовал большую выстраданпую правду.

— Я не сержусь,— вдруг тихо сказал Берг.— За что я могу сердиться на вас, Батурин?

Через несколько минут Берг затих и, казалось, уснул. Нелидова уснула, стоя около него на коленях. Голова ее упала на красный вытертый бархат дивана. Глан дремал, просыпался, думал о том, что спать нельзя,— можно незаметно проспать смерть,— но не мог пересилить изнеможенья.

Батурин просидел до утра. На рассвете он вскочил: сквозь седую муть урагана, в темноте, слабо разбавленной водянистым светом, мрачно ревел пароходный гудок. Батурип оглянулся,— все спали. Он потушил лампочку и, хватаясь за поручни, поднялся наверх в рубку.

Горизонт ходил над головами, над ним лежали тяжелые грузные тучи. Батурин вгляделся,— это были горы,— их заносило ежеминутно пеной и дождем.

— Что это? — спросил он помятого официанта в расстегнутой рубахе.

— Новороссийск.— Официант безразлично посмотрел на Батурина.— Вон, глядите, порт видать.

Горы ныряли в волнах, и шторм гремел, не стихая; но Батурин знал, что через несколько часов будет милая теплая земля, и улыбнулся.

НОРД-ОСТ

Штормы проветривают сердце. Батурин явственно ощутил это. Он проснулся в холодной каюте. Яркий день леденел за иллюминаторами. Пароход скрежетал на стальных тросах и якорях, наглухо пришвартованный к пристани.

Они отстаивались в Новороссийске. Почти все пассажиры сошли и уехали дальше по железной дороге. Осталось их четверо, старик — пароходный агент из Батума, норвежец из миссии Нансена — доброжелательный и громоздкий — и несколько почерневших, как уголь, замученных морской болезнью грузин.

Батурин увидел знакомую картину — в густом небе сверкало льдистое солнце. Ветер обрушивался с гор исполинским водопадом,— Батурин как бы видел тугие потоки воздуха. Свет этого дня был подернут сизым налетом. Солнце казалось восковым, тени резкими, как зимой. Воздух был изумительно чист: норд выдул все, унес в море всю пыль; он мощно полировал и вентилировал вымерший блещущий город.

Через молы широкими взмахами перекатывал и гудел прибой. Пароходы стояли на якорях, работая машинами. Дым так стремительно отрывало ветром от труб, что пароходы казались погасшими, бездымными. Краски приобрели особую яркость, даже ржавые днища шаланд горели киноварью и лаком.

В каюте пахло ветром и человеческим уютным теплом. Глан лежал на верхней койке и читал. Берг спал, подрагивая. Ему было холодно.

Батурин долго смотрел в иллюминатор, потом сказал Глану:

— Хорошо бы отстаиваться еще недельки две.

Глан рассеянно согласился, не отрываясь от книги.

Батурин чувствовал необычайную легкость. Платье как бы потеряло вес. На щеках появился сухой румянец.

«Осень!» — думал он, и у него замирало сердце.

По утрам перед чаем Батурин выпивал стакан холодной чистой воды, потом это стали делать норвежец и Нелидова. У воды был вкус осени. Она слегка горчила, как черенки опавших листьев, и освежала мозги глотком водки.

Берг много курил, играл в шахматы с норвежцем, временами беспомощно улыбался, и тогда Батурин думал, что

он еще совсем мальчик и некому о нем позаботиться. У Берга снова болело сердце, особенно на ветру,— он бледнел, и глаза его мучительно выцветали.

По вечерам Глан танцевал в кают-компании чечетку. На танцы собиралась команда. Глан выходил, вскрикивал: «Эх, Самара!» — и начинал выбивать такую бешеную дробь, изредка приседая и хлопая ладонью по полу, что у матросов захватывало дух. С Гланом состязался боцман Бондарь, тяжелый и черноусый,— большой любитель пляски и пения. Норвежца танцы приводили в детское восхищенье. Он хлопал в ладоши и покрикивал в такт:

— Го-го-го, га-га-га...

Нелидова стала проще. В свитере она казалась девочкой. Плаванье ей нравилось. Просыпаясь, она тихо стучала в стенку каюты над головою Глана и спрашивала:

— Неужели вы еще спите?

Глан прикидывался спящим и начинал страшно храпеть, сотрясая каюту.

Вставать никто не хотел. Долго еще лежали, переговариваясь через стенку, потом Глан прыгал, как медведь вниз на все четыре лапы, и шел мыться — мохнатый и маленький.

Умываясь около камбуза, он рассказывал кокам китайские анекдоты и показывал несложные фокусы,— жал кулак, и из него натекало полстакана воды. Коки крутили головой и удивлялись: ловкий какой человек! Глана сразу и крепко полюбили на пароходе. Матросы величали его по имени-отчеству: Наум Львович — и вели разговоры о многочисленных видах чечетки: ростовской, одесской, самарской, орловской и других, показывая иногда замысловатые колена.

Батурин начал писать. Пока получалось что-то неясное о морях, о великой легкости исцеления, когда земная тяжесть перестает давить на плечи и смерть кажется такой же нестрашной, как песня, осень, как сама жизнь.

Берг замечал, что Батурин пишет, но ничего не спрашивал. Самый процесс писания он считал вещью более интимной, чем любовь, чем самые сокровенные тайны, в которых не всегда признаются даже себе. Можно говорить только о готовых вещах, когда они отомрут и отпадут от писателя. Пока не перерезана пуповина, о вещи нельзя ни спрашивать, ни рассказывать,— эту идею Берг изредка

развивал, сравнивая процесс писания с беременностью. Вещи, прочитанные в неоконченном виде, он называл «выкидышами» и сулил им судьбу мертворожденных. Батурин соглашался с ним,— для него процесс писания был мучителен и прекрасен.

Каждое утро Батурин вставал со страхом — не стих ли шторм, но, взглянув за окно, успокаивался: море бесновалось, вскидывая высокие гребни пены. Значит, можно писать. Шторм длился девять дней.

О Пиррисоне и капитане не говорили. Чувство оторванности от мира, владевшее всеми, было чудесным облегчением. Мир был отрезан ветром, штормовым морем и тесными переборками парохода. Не могло быть ни телеграмм, ни писем, ни встреч.

— Эх, вот так бы жить и жить,— вздыхал Глан и погружался в чтение. Читал он Гюго «Труженики моря», некоторые фразы заучивал даже наизусть.

— Кто вы, собственно, такой? — спросил его однажды Батурин.— Вечно вы ездите, но куда? Есть же у вас цель, какой-нибудь конечный пункт.

— Ни черта вы не понимаете,— рассердился Глан,— моя профессия — попутчик. Вы, очевидно, думаете, что земля не шарообразная, а плоская и Коперник дурак. Мы живем на шаре. Какой, к черту, конечный пункт, когда у шара вообще нет концов. Я всегда двигаюсь вперед. Поняли? Знаете совет Джека Лондона: «Что бы ни случилось, держите на запад». Что бы ни случилось, я всегда покрываю пространства.

В ночь на седьмой день шторма Батурин проснулся от торопливого стука в стену. Стучала Нелидова.

— Это вы? Что случилось?

Нелидова ответила, но он не расслышал: сотрясая палубу, гневно заревел гудок, ему ответили гудки с других пароходов. Ночь стонала от их тревожного и протяжного крика. Батурин повернул выключатель,— электричество не горело. Он быстро оделся, накинул пальто и поднялся в верхнюю рубку. За ним поднялась Нелидова. В темной и холодной рубке курил у окна, отогнув занавеску, старик агент.

— Что случилось?

— «Рылеева» сорвало с якорей,— ответил агент спокойно,— несет на скалы. Конечно, он не выгребет: у него машины дрянные. Сядет. Спасти его невозможно.

— Почему же гудят?

— Так, больше чтобы тем, рылеевцам, было легче. Может быть, и спасутся...

Нелидова стала на колени на диван и прижалась к окну. В черном гуле и реве, в выкриках пароходов надвигалась неизбежная гибель. Нелидова вскрикнула.

— Смотрите — огонь!

Во тьме был виден бьющийся под ветром столб тусклого пламени.

— Это из трубы,— сказал агент.— «Рылеев» работает машинами при последнем издыхании.

Долетел спокойный мужественный гудок,— океанский, в три тона. Он гудел с короткими перерывами, потом стих. Как по команде, стихли все пароходы. Глухая ночь и гром прибоя вошли в каюту и создали неожиданное впечатление глубокой тишины.

— Слава богу, спасся,— сказал агент.— Пароходы, вы знаете, гудками разговаривают. Это «Трансбалт» прогудел, что все благополучно.

Наутро узнали, что «Рылеева» проносило под самым бортом «Трансбалта». С «Трансбалта» успели подать буксиры. «Рылеев» принял их, ошвартовался у борта «Трансбалта» и, неистово работая машинами, спокойно отстаивается. В бинокль было видно, как он жался к «Трансбалту», будто детеныш к матерому киту. Оба согласно качались и густо дымили.

Нелидова отвернулась от окна и спросила Батурина:

— Скажите правду, вы и сейчас думаете так, как там... в Керчи?

Батурин молчал.

— Что ж вы молчите? Не бойтесь, я не испугаюсь.

Батурин закурил. Она взглянула на него при свете спички. Он застенчиво улыбался.

— Я так и знала,— сказала она шепотом, чтобы не услышал старик агент.— Вы не могли решить иначе. Вы шли к смерти, как одержимый. Было страшно на вас смотреть. А теперь, правда, все прошло.

— Шторм проветривает голову. Убивать я не буду. Но обезвредить его надо.

— Я говорю не о нем,— значительно и медленно ответила Нелидова.— Я говорю о вас. Пиррисон для меня не существует. Слышите!

Агент чиркнул спичкой. Нелидова быстро отвернулась, встала и пошла в каюту. Батурин долго еще сидел вместе с агентом, курил и молчал. У агента была старческая бессонница. Часов в пять утра из темноты каюты Батурин услышал пение. Пел Глан.

Уходят в море корабли,—

пел он вполголоса,—

Пылают крылья,
В огне заката крылья-паруса.

— Беззаботный человек,— вздохнул агент.— Вот кому легко жить.

Вечером, сидя в темной кают-компании, Глан завел странный разговор.

— У меня дурацкая память. Я помню преимущественно ночи. Дни, свет — это быстро забывается, а вот ночи я помню прекрасно. Поэтому жизнь кажется мне полной огней. Ночь всегда празднична. Ночью люди говорят то, чего никогда не скажут днем (Нелидова быстро взглянула на Батурина). Вы заметили, что ночью голоса у людей, особенно у женщин, меняются? Утром после ночных разговоров люди стыдятся смотреть друг другу в глаза. Люди вообще стыдятся хороших вещей, например человечности, любви, своих слез, тоски, всего, что не носит серого цвета.

— По ночам легко писать,— подтвердил Берг.

— Принято думать,— продолжал Глан,— что ночь черная. Это чепуха! Ночь имеет больше красок, чем день. Например, ленинградские ночи. Сам Гейне бродит там по улицам со шляпой в руке, честное слово. Листва сереет. Весь город залит не светом, а тусклой водой. Солнце поднимается такое холодное, что даже гранит кажется теплым. Эх, ничего вы не знаете!

Нелидова слушала, затаив дыханье: таких странных людей она встречала впервые.

«Только в России могут быть такие люди»,— думала она, всматриваясь в неясный профиль Глана.

Папироса освещала его обезьянье лицо. Берг лежал на диване и изредка вставлял насмешливые слова.

«Чудесная страна и поразительное время»,— думала Нелидова. Вот этот Глан — романтик, поклонник Гюго и чечетки, бездомный и любящий свою бездомность чело-

век — когда-то дрался с японцами на Дальнем Востоке. Он был ранен, вылечил рану какими-то сухими ноздреватыми грибами и три недели питался в тайге сырым беличьим мясом. Батурин был в плену у Махно, спина у него рассечена шомполом, он был вожатым трамвая в Москве, может быть, возил ее, Нелидову, и она даже не взглянула на него. Он знал труд; труд сделал его суровым и проницательным,— так казалось Нелидовой.

Берг воспитался у поэта Бялика, два года прожил в Палестине (был сионистом), арабы убили его брата. Потом Берг возненавидел сионизм и говорил, что всем — жизнью своей, резко переломившейся и сделавшей из него писателя, тем, что он понял цену себе, всем лучшим он обязан Ленину.

— А Ленин этого даже не знал,— смеялся Батурин.

— Никто не задумывался над тем,— отвечал Берг,— как громадно было влияние этого человека на личную жизнь каждого из нас. А об этом стоит подумать.

Больше всего поражало Нелидову то, что невозможно было точно определить профессию этих людей. Да вряд ли и сами они могли ее определить.

Глан говорил: «Я — попутчик». Батурин называл себя «ничем». Один Берг был писателем, но писал он мало, и в писательство его вклинивались целые полосы совсем иных занятий. В плохие времена он даже играл на рынке в шашки и зарабатывал этим до рубля в день.

Главное, что притягивало Нелидову к ним,— это неисчерпаемый запас жизненных сил. Они спорили о множестве вещей, ненавидели, любили, дурачились. Около них она ощущала тугой бег жизни, застрахованной от старости и апатии вечным их беспокойством, светлыми головами.

«А сколько бродит по земле мертвецов»,— думала она, перебирая прошлое, чопорный свой дом, мать, говорившую с детьми по-французски, матовый холод паркета, страх перед тем, чтобы не выйти из рамок общепринятых норм.

Утром Нелидова проснулась от непривычного чувства тишины и засмеялась: синий и глубокий штиль качался над морем. Она открыла иллюминатор. Теплый воздух обдул каюту солью и миндалем. Гремели лебедки. Жарко сверкало солнце, блестели радугами стаканы, блестели горы, город. Моряки в белом перекликались на палубе. Пароход готовился к отплытию. Забытый шум жизни взбадривал и веселил.

Она поднялась на спардек и зажмурилась от света. Капитан откозырял ей и оскалил зубы; Батурин сидел на планшире и, глядя на воду, пел какую-то немудрую песенку.

«БЕДНЫЙ МИША»

Типографские машины предсмертно выли, выбрасывая грязные и сырые листы газеты. Костлявый армянин в элегантном сером костюме стоял около них. Одной рукой он перебирал янтарные четки, другой держал капитана за пуговицу кителя и нараспев читал стихи:

Как леопарды в клетке, от тоски
Поэта тень бледна у вод Гафиза.
О звездная разодранная риза!
О алоэ и смуглые пески!

Капитан отводил глаза и сердился. Чтение стихов вслух он считал делом стыдным. Ему казалось, что Терьян публично оголяется. Но Терьян не смущался.

Пылит авто, пугая обезьян,
Постой, шофер: идет навстречу Майя,—
Горит ее подошва золотая.
Как сладок ты, божественный Коран!

Терьян передохнул.

И катера над озером дымят,
В пятнадцать сил... Тропические шлемы...
Александрийские прекрасные триремы.
И Энзели холодный виноград.

Метранпаж Заремба — русый и громадный, с выбитыми передними зубами, подмигнул капитану и почесал шилом за ухом.

— Ну как? — спросил Терьян.

— Собачий лай,— ответил капитан.— Что это за божественный Коран! Что это вообще за хреновина! Неужели Мочульский напечатает эти стихи?

— Люблю с вами разговаривать,— Терьян шаркнул лаковой туфлей и поклонился.— Мочульский напечатает, будьте спокойны, и я получу за это турецкую лиру. На лиру я куплю доллары, на доллары лиры, на лиры доллары: я спекулянт, я перещеголяю Камхи. Потом в мой адрес будут приходить пароходы с пудрой, вязаными галстуками и сахарином.

— Идите к свиньям! Не паясничайте!

— Пойдем лучше к «Бедному Мише»,— предложил Терьян.— Заремба, мой лапы,— номер в машине.

Заремба подобрал с пола несколько свинцовых болванок — бабашек — и пошел к крану мыть руки. В раковине сидела крыса. Заремба прицелился в нее бабашкой, попал, крыса запищала и спряталась в отлив. Заремба развернул кран до отказа и злорадно сказал:

— Ну, погоди, стерва, я тебя утоплю!

Вода хлестала и трубила. Заремба вымыл жирные, свинцовые руки и натянул кепку. Крыс он решил истребить: каждый день они залезали к нему в кассу с заголовочными шрифтами, перерывали шрифт, гадили, грызли переборки. Потом оказалось, что тискальщик Сережка клал после ухода Зарембы в кассу кусочки хлеба и приманивал крыс. Когда Заремба узнал об этом, он показал Сережке волосатый кулак и сказал спокойно:

— Гляди, как кокну,— мокро станет!

С тех пор Сережка бросил баловаться.

Заремба работал в прежнее время цирковым борцом. Поддубный порвал ему какую-то жилу, и тогда Заремба вернулся к своему основному занятию,— с детства он был наборщиком. За спокойствие и отвращение к ссорам его сделали метранпажем.

Капитан в Батуме Пиррисона не застал. В конторе Камхи ему сообщили, что Виттоль (Пиррисон) уехал куда-то на Чорох и вернется оттуда не раньше недели. Капитан со скуки написал статью о механизации Батумского порта и отнес в редакцию «Трудового Батума». Редактор Мочульский принял ее и заказал еще несколько статей.

В редакции капитан познакомился с выпускающим Терьяном и стал навещать типографию. Воздух типографии ему понравился,— пахло трудом. Через три дня он был там своим человеком.

Пошли к «Бедному Мише». Духан стоял на Турецком базаре, на берегу моря; одна его дверь выходила на море, другая — на узкую улицу, запруженную арбами и ишаками. На окне духана густыми персидскими красками — оранжевой, зеленой и синей — был нарисован бледный и унылый турок. Трубка беспомощно вываливалась из его рук. Под турком была надпись «Бедный Миша». На другом окне краснел помидором толстяк со щеками, надутыми, как у игрока на валторне. Он держал в руке вилку, с вилки свисал длинный шашлык, а с шашлыка оранжевыми кап-

лями стекало сало. Сало расплывалось в затейливую надпись: «Миша, когда покушал в этом духане».

Толстяк смеялся, поджав круглые ноги, и умилял капитана. Около него черной пеной струилось из бочки вино.

В духане было душно. Вечер золотым дымом лег на море. Пароходы на рейде застыли в тусклом стекле. Их синие трубы с белыми звездами напоминали капитану Средиземное море. Он вытер платком обильный пот и сказал, отдуваясь:

— Ну и живоперня! Ну и климат, пес его знает. Сыро и жарко, как на Таити. Ночью плесень, днем жара, вечером лихорадка, тьфу! Дожди лупят неделями без единой пересадки. Черт его знает что! Недаром французские моряки зовут Батум: Le pissoir de mer Noire.

Терьян поперхнулся вином и засмеялся, отчего нос его, сухой и тонкий, даже побелел.

Турки в фесках и потертых до блеска пиджаках играли в кости. Из-под брюк белели их толстые носки. Желтые мягкие туфли они держали в руках и похлопывали ими по пяткам. На стене висел портрет Кемаль-паши: он скакал в дыму по зеленой земле, обильно орошенной вишневой греческой кровью.

Кофейня для турок была отделена от общей залы стеклянной перегородкой в знак того, что турки не пьют спиртного и не едят поганой свинины, подававшейся в «Бедном Мише».

Капитан морщился от вина. Оно пахло бурдюком и переворачивало внутренности, но действие его он считал целебным. Вино было почти черное. Капитан посмотрел через стакан на свет и увидел в фиолетовом квадрате двери пышную от множества юбок нищенку-курдянку.

Нищенка подошла, переливаясь желтыми юбками, красным корсажем, синим платком, бренькая десятками медных персидских монет, пылая смуглым и нежным лицом. Она остановилась около капитана и скороговоркой начала осточертевший всему Батуму рассказ, как у нее украли в поезде вещи, умер ребенок, персы убили мужа и она ночует на берегу в старом пароходном котле.

Капитан дал ей двугривенный; нищенка тотчас подошла к Терьяну и начала рассказ снова.

— Дорогая,— сказал ей Терьян по-турецки,— хочешь заработать — иди вечером на бульвар, пройди около меня, я буду играть в лото.

— Пошел, собака,— ответила равнодушно курдянка и, махнув множеством юбок, подошла к Зарембе.

По духану прошел теплый ветер.

— Не нужна мне твоя красота.— Терьян начал сердито вращать белками.

Курдянка издала гортанный клекочущий звук. Густой румянец подчеркивал гневной блеск ее глаз.

— Что ты к ней пристаешь? — сказал Заремба примирительно.— Оставь женщину в покое.

Терьян заговорил возбужденно, с сильным акцентом.

— Человеку хочу помочь,— понимаешь? — Он показал на капитана.— Женщина ходит всюду, все смотрит, всех видит. Дашь ей рубль, она тебе про Виттоля все расскажет. У дома его будет лежать, как собака.

План Терьяна был отвергнут. Он был действительно глуп,— впутать в дело дикую нищенку, в дело, требовавшее исключительной ловкости и осторожности. Капитан обжегся на Сухуме и теперь и по Батуму ходил с опаской,— как бы не столкнуться лицом к лицу с Виттолем. Первый раз в жизни ему даже приснился сон,— будто он встретил Виттоля в тесной улице, и они никак не могут разойтись, вежливо приподнимая кепки и скалясь, как шакалы.

Нищенка ушла. Терьян посидел немного и пошел на бульвар к «девочкам». Капитан сказал Зарембе:

— Я дурака свалял. Не надо было рассказывать ему о своем деле. Боюсь, нагадит. Дурак ведь!

— Он и нагадить не способен. Вот что, товарищ Кравченко, есть у нас репортер Фигатнер. Вот кого бы пощупать. Он живет рядом со мной на Барцхане. Пойдем, поставим вина, позовем его. Может быть, чего разузнаем.

Капитан согласился. На Барцхану шли через порт,— у пристаней толпились синие облупленные фелюги. Трюмы их были завалены незрелыми трапезундскими апельсинами. Турки сидели на горах апельсинов и молились на юг, в сторону Мекки. На юге в сизой мгле всходила исполинская луна. Волны лениво перекатывали багровый лунный шар.

Стояла уже лиловая южная осень. Листья платанов не желтели, а лиловели, лиловый дым курился над морем и горами. В лавочках продавали черно-лиловый виноград «изабелла».

Заремба жил в дощатом домике на сваях. Вокруг тянулись кукурузные поля, в кукурузе рыдали шакалы. За са-

дом шумела мелкая горная речка. Заремба сбегал в соседний духан, принес вина и сыра и пошел за Фигатнером.

Фигатнер был стар и плохо выбрит. Лицом он напоминал провинциального трагика. Желтые глаза его посматривали хмуро. Он сказал капитану, протягивая руку с бурыми от табака и крепкими ногтями:

— Очень, очень рад. Приятно встретиться в этом гнусном городе с культурным человеком. Двадцать пять лет я честно работаю репортером, как каторжник, как последняя собака, и вот — докатился до Батума и дрожу здесь перед каждым мальчишкой. А в свое время я был корреспондентом «Русского слова». Дорошевич сулил мне блестящее будущее.

Фигатнер вдруг подозрительно посмотрел на капитана и спросил:

— Как ваша фамилия?

— Кравченко.

— Вы хохол?

— Да, украинец.

— Вы зачем в Батуме?

— Приехал по делу к Камхи. Жду их агента Виттоля. Он сейчас на Чорохе, скоро вернется.

— Поздравляю,— промычал Фигатнер.— Другого такого прохвоста нет на земном шаре. Низкая личность. Бабник, спекулянт. Как только советская земля его носит!

— Откуда вы его знаете?

— Я обслуживаю для газеты фирму Камхи. Сегодня я его видел, вашего Виттоля.

— Как? — Капитан повернулся к Фигатнеру.— Да разве он здесь?

— Конечно, здесь. Он вчера еще был здесь, приехал на фелюге с Чороха.

Капитан посидел минут десять, потом подмигнул Зарембе с таким видом, будто хотел сказать: все сделано, спасибо — и вышел.

Фигатнер был сварливый, но совершенно безвредный человек.

Впоследствии, вспоминая все, что случилось в Батуме, капитан рассказывал, что уже около дома Зарембы он ощутил тревогу. Он оглянулся. Было пусто, темно от высоких чинар. Недалеко бормотала река. Капитан замедлил шаги, что-то темное метнулось под ногами,— капитан вздрогнул и выругался.

— Чертова кошка! Обабился я с этой американской волынкой! Пора на море.

Он остановился и прислушался. Стояла звонкая ночная тишина. Море дышало едва слышно, как спящий человек. Вдали виднелись огни Батума.

«Далеко еще»,— подумал с сожалением капитан и зашагал вдоль железнодорожного полотна, потом быстро оглянулся: ему показалось, что кто-то идет сзади. В тени чинар остановилась неясная тень.

— Чего боишься, кацо? — сказала тень гортанно и возбужденно.— Иди своей дорогой, не трогай меня, пожалуйста!

— Я тебе покажу — боюсь! Иди вперед!

Тень юркнула за живую изгородь и пропала. Капитан постоял, подождал. Со стороны Махинджаур нарастал гул,— шел поезд из Тифлиса. Далеко загорелись два белых его глаза. Это успокоило капитана, и он двинулся вперед. У него было ощущение, что лучше всего слушать спиной: малейший шорох передавался ей легкой дрожью.

«Истеричная баба,— обругал себя капитан.— Сопляк!»

Он шел быстро, несколько раз оглянулся,— никого не было. Шоссе светилось мелом и лунным светом. Поезд догонял его, мерно погромыхивая.

Когда поезд поравнялся с капитаном, в грохот его ворвался резкий щелчок. Капитан спрыгнул в канаву и огляделся,— из-за живой изгороди блеснул тусклый огонь, хлопнул второй выстрел, кепка капитана слетела. Капитан начал вытаскивать из кармана браунинг,— револьвер запутался, он вывернул его вместе с карманом, высвободил и выстрелил три раза подряд в кусты. Там зашумело, гортанный голос что-то крикнул, но за шумом поезда капитан не расслышал слов.

Он схватил кепку, нахлобучил, побежал, спотыкаясь, рядом с поездом, изловчился и вскочил на площадку. На ней было пусто, под ногами валялось сено. Капитан сел, вынул из обоймы оставшиеся пули и выбросил их.

Поезд шел по стрелкам, у самого лица проплыл зеленый фонарь. Капитан снял кепку, пригладил волосы: в кепке на месте якоря была широкая дыра. Он засунул кепку в карман и пробормотал:

— Его работа. Ну, погоди ж ты, гадюка. Я тебя достукаю!

Непривычный страх прошел. Капитан краснел в темноте,— он три раза погибал на море, дрался с Юденичем, сидел в тюрьмах, ожидая смертного приговора, но никогда не испытывал ничего подобного.

«Слабость,— думал он.— От жары от этой, от сырости распустил нюни».

Он решил обдумать все спокойно. Выстрелы не были случайными,— за ним следили от дома Зарембы. Он это почувствовал тогда же. Кто стрелял? Голос в кустах был как будто знакомый, но чей — капитан никак не мог вспомнить. Ясно, что работа Пиррисона. Если он решил убить капитана, значит, дело гораздо серьезнее, чем казалось вначале. Нужно захватить его сейчас же, по горячим следам.

«Портачи»,— подумал капитан о Берге и Батурине. Неделю назад он послал им телеграмму, но до сих пор их не было. Придется работать одному.

Он соскочил с площадки, когда поезд медленно шел через город. Была полночь. Темнота казалась осязаемой,— хотелось поднять руку и потрогать шерстяной полог, висевший над головой. Редкие фонари вызывали смутное опасение: капитан их обходил. В переулке он задел ногой крысу, она взвизгнула и, жирно переваливаясь, побежала перед ним. Капитан остановился, прислушался и сказал:

— Вот паршиво! Скорей бы конец!

Около общежития для моряков, где он остановился (общежитие носило громкое имя «Бордингауз»), капитан заметил у дверей сидящего человека. Он полез в карман, нащупал револьвер, но вспомнил, что выбросил пули, и, решившись, быстро подошел.

Море тихо сопело. Вода, булькая, вливалась в щели между камнями и выливалась с сосущим звуком. На ступеньках сидела нищенка-курдянка.

Она подняла на капитана смуглое и нежное лицо и улыбнулась. На глазах ее были слезы.

— Пусти ночевать. Я красивая, жалеть, дорогой, не будешь.

— Ты чего плачешь?

— Маленький мальчик такой...— курдянка показала рукой на пол-аршина от ступеньки.— Измет, мальчик, зачем умер! Доктор не мог лечить, никто не мог лечить. Теперь хожу, прошу деньги. Каждый человек хватает меня, ночуй с ним.

Она скорбно закачала головой.

— Ай-я-я, ай-я-я! Я тебе зла не желаю, пусти меня ночевать. Ты смотри.

Курдянка распахнула платок,— груди ее были обнажены и подхвачены снизу черной широкой тесьмой. Капитан смотрел на нее, засунув руки в карманы. Смутное подозрение бродило у него в голове.

«Хороша»,— подумал он.

Смуглые и маленькие ее груди казались девичьими.

«Наверное, врет, что был ребенок».

Такие лица капитан где-то уже видел: с густыми бровями, с полуоткрытым влажным ртом, с тяжелыми ресницами.

— Слушай, девочка,— он неожиданно погладил курдянку по блестящим волосам.— Ты мне не нужна. Вот, возьми,— он дал ей рубль,— а переночуешь здесь, в коридоре, никто тебя не тронет.

Ощущение теплых женских волос было потрясающим. Капитан знал женщин,— независимых и рыжих портовых женщин, ценивших силу, жадность и деньги. Об этих женщинах он не любил вспоминать. После встреч с ними он долго вполголоса ругался. Сейчас он испытывал смятенье. Ему казалось, что он должен сказать что-то очень хорошее этой женщине — дикой, непонятной, плачущей у его ног. Он поколебался, шагнул к двери, но курдянка схватила его за локоть.

— Слушай,— сказала она тихо и быстро.— Слушай, дорогой. Ходи осторожно, с тобой в духане злой человек сидел. Он давал мне деньги, говорил — смотри за ним, каждый день приходи, рассказывай, спи, как собака, у его дверей.

Капитан обернулся, потряс ее за плечи:

— Какой человек?

— Молодой, по-турецки который говорит.

«Терьян»,— капитан невольно оглянулся. Он чувствовал себя как затравленный зверь. Ну, попал в переплет.

Он не вернулся к себе в гостиницу. Впервые в жизни он испытал тяжелое предчувствие, противную тревогу и пожалел о том, что нет Батурина и Берга.

«Азия,— думал он,— будь она трижды проклята!»

Он пошел с курдянкой к маяку в пустой корабельный котел. Котел лежал у самой воды. Он врос в песок, был ржавый, но чистый внутри. Капитан зажег спичку: в котле

были навалены листья, было тепло и глухо. Отверстие было завешено рогожей.

Он лег и быстро уснул. Курдянка взяла его голову, положила на колени, прислонилась к стенке котла и задремала. Ей казалось, что вернулся муж, спокойный и бесстрашный человек, что он подле нее и она скоро уедет с ним в Курдистан, где женщины полощут в горных реках нежные шкуры ягнят.

Когда капитан проснулся, из-под рогожи дул прохладный ветер. Над самым своим лицом он увидел смеющиеся губы, ровный ряд зубов, опушенные ресницы. Он сел, похлопал курдянку по смуглой ладони и сказал:

— Ничего, мы свое возьмем. Жаль мне тебя, девочка. Дика ты очень,— зря красота пропадает!

Он выполз из котла и пошел в типографию к Заремба, выбирая улицы попустыннее. Он думал,— как хорошо, если бы у него была такая дочка, и как глупо, что ее нет. А жить осталось немного.

На душе был горький хмель, какой бывает после попойки. Он отогнал назойливую мысль, что курдянка очень уж дика, а то бы он женился на ней.

«Ну и дурак»,— подумал он.

По пути он зашел в кофейню, долго пил кофе, глядел на яркое утро. Ему не хотелось двигаться. Сидеть бы так часами на легком ветру и солнце, вспоминать тяжелые ресницы, смотреть на веселую, зеленую волну, гулявшую по порту, выбросить из головы Пиррисона к чертовой матери!

В типографии капитан застал волнение. Фигатнер сидел за столом и крупным детским почерком писал заметку. Около него толпились наборщики и стоял Заремба, почесывая шилом за ухом.

— Вот какое дело,— сказал он смущенно капитану.— Терьяна подстрелили.

Капитан подошел к столу и через плечо стал читать заметку. Фигатнер сердито сказал:

— Не висите над душой, товарищ!

«Вчера на шоссе в Барцхану,— читал капитан,— был найден с огнестрельной раной в области голени правой ноги сотрудник «Трудового Батума» С. К. Терьян. Терьян возвращался пешком в город из Махинджаур, причем на него было произведено нападение со стороны необнаружен-

ных преступников. Терьян, уже раненный, не потерял присутствия духа и начал отстреливаться, заползши за живую колючую изгородь, где и был обнаружен поселянином Аметом Халил Нафтула, 52 лет, несшим на рынок виноград. Пострадавший отправлен в городскую больницу. К розыску бандитов приняты меры.

Неоднократно мы указывали на небезопасность батумских окраин. О чем думает милиция! Гром не грянет — мужик не перекрестится,— так говорит мудрость широких рабоче-крестьянских масс. Долго ли будем терпеть эти хищничества на больших дорогах и не пора ли прокурору Аджаристана крикнуть свое резкое и громкое «нет»! На седьмом году революции жители рабочих окраин тоже имеют право спать спокойно.

К ответу бесхозяйственников и склочников из милиции. К ответу административный отдел Совета, который не считается с жилищной нуждой граждан и не только обрекает их на спанье на улицах под угрозой бандитов, но дает им проходные, нежилые комнаты, беря плату как за жилые. Долой кумовство!»

Фигатнер подумал и приписал:

«Покойный С. К. Терьян объяснял нападение целью грабежа. Бумажник его чудом остался невредим. Редакция «Трудового Батума» выражает ему свое соболезнование, возмущенная по поводу неслыханного преступления, и пожелание скорейшего восстановления нарушенного здоровья».

Фигатнер поставил наконец точку. Капитан растерянно поглядел на Зарембу:

— Ну, что ты об этом думаешь?

Заремба снова почесал шилом за ухом.

— Пожалуй, его дело,— ответил он с сомнением,— Виттоля дело, надо полагать.

Капитан отвел Зарембу в сторону и рассказал ему вчерашнюю историю. Заремба сощурил глаза, поковырял шилом стол и наконец ответил:

— Ну, и сукиного же сына... Жаль, что ты его не кокнул. То-то он около нас вился глистом. Раньше все «товарищ метранпаж», а потом «Евсей Григорьевич». Теперь слушай. Я сегодня заболею лихорадкой денька на три, и за эти три дня мы должны его взять — этого сволочугу Виттоля — голыми руками.

Во время этого разговора в типографию прибежал редактор Мочульский. Он правил заметку Фигатнера, фыркал, как кот, и возмущался.

— При чем тут «причем»? — фыркал он и черкал снизу вверх карандашом.— Что это «заползши за живую изгородь»! Зачем эта «рабоче-крестьянская мудрость и проходные комнаты»? Когда вы научитесь грамотно писать?!

Фигатнер стоял у стола и бубнил:

— Двадцать пять лет работаю, как арестант, и в результате — неграмотный. Стыдно вам, товарищ Мочульский. Если вы, конечно, боитесь, так вообще выкиньте эту заметку в корзину. Выкиньте к черту, всю, чтобы ничего не было, пожалуйста, выкидывайте, будьте настолько добры!

— Отстаньте,— махнул Мочульский рукой,— не зудите над ухом.

Капитан спустился с Зарембой вниз в машинное отделение. Они сели на подоконник и задумались: надо было выработать план действий решительных и быстрых.

— Вот что,— придумал наконец Заремба.— Я схожу в больницу к Терьяну, прикинусь дурачком. Может быть, совпадение, черт его знает. Может, тот самый, что стрелял в тебя, и в него ахнул. Как думаешь?

Капитан с сомнением покачал головой. Он думал было рассказать о курдянке, но спохватился,— этой темы он касаться не хотел. Он понимал, что есть вещи, о которых говорить нельзя,— иначе тебя сочтут или лгуном, или помешанным.

— Ну что ж,— согласился он.— Валяй.

— Иди ко мне.— Заремба дал капитану здоровенный ключ.— У меня оно как-то безопасней. Я приду часа через два.

Капитан пошел на Барцхану. На шоссе его обогнал пароконный извозчик. В фаэтоне сидели турчанки в черных, глухих чадрах. Извозчик оборачивался с козел и ссорился с ними, показывая кнутом в сторону гор.

Обогнав капитана, он остановился, повернул и помчался обратно в Батум. Турчанки колотили его по спине, визжали и дергали за плечи. Капитан с любопытством наблюдал эту сцену.

Извозчик снова повернул и промчался мимо капитана к Барцхане. Турчанки сидели спокойно. Потом шагах в ста от капитана экипаж остановился. Капитан подумал:

уж не охотятся ли за ним, и замедлил шаги, разглядывая турчанок. С воплями и слезами они вылезли из экипажа. На земле они были неуклюжи и тучны, как откормленные куры. Капитан осторожно подошел, турчанки повернулись к нему спиной. Извозчик зло выговаривал им, скручивая папиросу.

— В чем дело? — спросил капитан.

— Торгуются! — закричал извозчик.— Сговорились в Орта-Батум за два рубля, в дороге старуха начала торговаться. Дает полтинник. Я их повез обратно, опять согласились, я повез в Орта-Батум, опять торгуются, я опять в город — плачут, дадим два рубля. Что такое! Высадил их. Иншаллах! Пусть сидят здесь до вечера.

Подошел крестьянин, похожий на галку,— черный и страшный. Он сказал капитану:

— Что делать? Турецкая женщина не может пешком ходить: муж убьет. Нельзя пешком ходить, ва-ва-ва, чего теперь делать!

— Что ж ты, сукин сын,— сказал капитан извозчику,— смеешься? Вези сейчас, а то номер спишу.

Извозчик что-то гневно заговорил по-турецки. Старуха повернулась к капитану и завыла скрипучим голосом.

— Тебя ругает, кацо,— перевел крестьянин.— Зачем ты, гяур, трогаешь турецкую женщину. Увидят турки — худо будет.

Капитан плюнул и пошел дальше, сказав напоследок извозчику:

— Ты чего там наплел, обезьянщик. Номер твой я запомнил. Вот Азия, будь она четырежды проклята!

Около дома Зарембы извозчик с турчанками догнал его, остановился и сказал:

— Видишь, везу. Ты в милицию не ходи, ничего с ними не будет.

— Ну, валяй, валяй, пес с тобой.

Одна из турчанок подняла чадру и взглянула в лицо капитану. Чернота чадры оттеняла ее жаркий румянец. Удлиненные глаза ее смеялись.

«Вот чертовка!» — капитан снял кепку и помахал ею в воздухе. Экипаж пылил, качаясь и дребезжа среди чинар, турчанка кивала ему головой.

Капитану стало весело. Сидя в комнате Зарембы, он думал, что нелепая эта и пестрая, как цветные нитки, Азия начинает ему нравиться.

Он вышел во двор и долго без нужды, но с большой охотой мылся у крана, потом подставил лицо теплому ветру и неожиданно сделал открытие, что молодеет.

Ему захотелось что-нибудь выкинуть: переплыть на пари Батумскую бухту, жениться на курдянке, устроить пирушку и зажечь головокружительный фейерверк. Захотелось созвать старых друзей — коричневых и беззаботных моряков, слоняющихся по портам Тихого океана, опять увидеть их крепкие руки, светлые смеющиеся глаза, пощупать новые паруса, побродить по раскаленному Брисбену.

Там во время стачки товарищи приковали его цепью к фонарному столбу, чтобы полицейские не помешали ему сказать зажигательную и веселую речь. Пока полицейские сбивали цепь, он успел накричать столько, что премьер-министр выслал его из Австралии, а газеты напечатали его портрет с подписью: «Бандит Кравченко, призывавший разрушать железные дороги и умерщвлять грудных детей».

Прошлое вспыхнуло в памяти капитана. Оно было окрашено в три цвета: синий, белый и коричневый. Это был океан, паруса и белые корабли, коричневые люди и плоды. Он посмотрел на синий свой китель, с которым не расставался уже восемь лет,— это был единственный свидетель всего, о чем капитан сейчас вспоминал.

Тоска по запаху тропических плодов приобрела почти физическую силу. Освежающий и яркий их сок, казалось, опять просветлял его голову, толкал к поискам все новых и новых встреч, новой борьбы и кипению воли.

Смутные размышления капитана прервал Заремба. Он быстро шел по шоссе, поднимая пыль, махал руками, лицо его было покрыто красными пятнами. Он говорил сам с собой, спотыкался и кепку нес в руке, вытирая ею потное лицо.

— Слушай! — крикнул он капитану, сидевшему на крыльце его свайной хижины.— Слушай, Кравченко, ты какими пулями в него стрелял?

Капитан сделал страшное лицо и зашикал. Заремба спохватился, покраснел, вошел в комнату и повторил свой вопрос шепотом.

— Никелированными, из браунинга. Такие пули теперь нигде не достанешь.

— Вот, значит, верно. Его это дело, Терьяна. Сиделка рассказала, что из него вытащили пулю с никелевой обо-

лочкой. К нему меня не пустили. Да теперь и не нужно. Дело ясное.

Заремба посопел, потом решительно встал.

— Нет, брат,— это не спекулянты. Они или контрабандисты, или еще почище — шпионы. Спекулянт на мокрое дело не пойдет. Понял?

— Понял.

— То-то и вот! Раз Виттоль здесь, надо его брать. Пошли в город!

Когда шли в город, капитан думал, что Заремба слишком просто решает вопросы. «Надо его брать, надо его брать,— передразнивал он Зарембу.— А как его возьмешь? Пойдет он за тобой как теленок!»

В городе зашли к «Бедному Мише» обдумать дальнейшие планы. Капитан оглядел посетителей, но ничего подозрительного не заметил. Сидя за кофе, он неожиданно рассказал Зарембе о курдянке. Заремба хмыкнул. Капитан побагровел, отвернулся и полез в карман за портсигаром. Мельком он взглянул за окно и обмер,— на пристани среди турок-фелюжников стоял Пиррисон. Серый его плащ тусклой чешуей блестел под солнцем. Он был без шляпы, русые волосы бледно отсвечивали. Стоял он спиной, и капитан узнал его тяжелый затылок.

Капитан стиснул руку Зарембы, показал на фелюжников глазами и сказал хрипло и невнятно:

— Гляди,— он!

Виттоль говорил с турками. Турки слушали хмуро, качали головами. Очевидно, шел неудачный торг.

— Заремба! — Заремба по тону капитана понял, что тот решил действовать стремительно.— Если он увидит меня — крышка. Стрельбу на улице не подымешь! Следи за ним. Надо выследить его до гостиницы. Как только он войдет в номер,— стоп, тут будет другой разговор. Ты войдешь первым, скажешь: пришел, мол, от Терьяна, принес письмо. Я войду следом. Чуть что, хватай его за руки, кричать не будет.

— Понял.— Заремба вспотел, медленно встал и перешел за столик, стоявший на улице недалеко от турок. Виттоль-Пиррисон повернулся и быстро пошел к «Бедному Мише». Капитан сжался, достал деньги, положил на столик и встал,— надо было выскочить в дверь на узкую улицу, запруженную ишаками. Пиррисон уже входил в кофейню.

Капитан рванулся к двери, зацепил мраморный столик. Столик упал с невероятным грохотом и разлетелся на сотни кусков. С улицы повалила толпа, жадная до скандалов и зрелищ.

— Рамбавия! — закричал хозяин духана, жирный грузин.— Ради бога, что ты делаешь, дорогой!

Капитан обернулся, полез за бумажником, чтобы заплатить за столик, и столкнулся лицом к лицу с Пиррисоном.

— Вот чертова лавочка! — сказал капитан, красный и злой.

Пиррисон вежливо приподнял шляпу и прошел мимо. Заремба прошел следом и тихо сказал:

— Эх, ну уж сидите здесь, дожидайтесь!

Капитан заплатил за разбитый столик (хозяин содрал с него полторы лиры), снова заказал кофе и сел за деревянным столиком на улице. Злоба душила его. Налитыми кровью глазами он смотрел на веселых посетителей и бормотал проклятья.

«Неужели я стал «иовом»,—подумал он и с отвращеньем выплюнул на тротуар кофейную гущу.

У австралийских моряков было поверье, что есть люди, приносящие несчастье. Звали их «иовами». Один такой «иов» плавал с капитаном, и капитан отлично помнил два случая. Первый,— когда «иов» зашел к нему в каюту, и со стены без всякого повода сорвался тяжелый барометр и разбил любимую капитанскую трубку; и другой,— когда «иов» подымался по трапу в Перте, с лебедки сорвалось в воду десять мешков сахару. Матросы потом купались у борта, набирали полный рот воды и глупо гоготали,— вода была сладкая. После этого случая «иов» списался с парохода и занялся разведением кроликов, но кролики у него подохли и заразили кроличьей чумой весь округ.

В последний раз капитан видел его в Сиднее. «Иов» стоял под дождем и продавал воздушные детские шары. Дрянная краска стекала от дождя с шаров и капала красными и синими слезами на его морщинистое лицо. Прохожие останавливались и насмешливо разглядывали его. В глазах «иова» капитан увидел старческое горе.

«Неужели я «иов»,— подумал капитан и с горечью вспомнил цепь неудач: прикуренную папиросу в Сухуме, дрянного шкиперишку, привезшего его из Очемчир в Очемчиры, предателя Терьяна, выстрел, испуг свой перед курдянкой и, наконец, разбитый столик.

Капитан закурил и с угрозой сказал смотревшему на него с радостным изумлением восточному человеку, сидевшему рядом:

— Ты чего скалишься, здуля!

Человек испугался, встал и ушел.

«Рассказать Бергу и Батурину — засмеют. Не дело гонять за американцами. Пора на море».

Быстро подошел Заремба, подсел, сказал задыхаясь:

— Плохо дело, Кравченко. Он договорился у биржи с извозчиком, подрядил его на вокзал к тифлисскому поезду. Надо спешить.

— Когда поезд?

— Через час.

Капитан вскочил, ринулся на улицу, на ходу крикнул Зарембе:

— Прощай. Тут наши приедут, расскажи все как было.

— Куда ты?

— В Тифлис.

Хозяин «Бедного Миши» неодобрительно покачал головой: «Какой неспокойный человек этот моряк, ай какой неспокойный!»

Заремба вышел на улицу. Выраженне недоуменья и горечи не сходило с его лица. Капитан бросился в «Бордингауз», схватил чемодан, выскочил, остановил извозчика, сел и крикнул:

— Гопп!

— Куда тебя везти? — спросил извозчик и испуганно задергал вожжами.

— На Зеленый Мыс. Чтобы через полчаса быть там. Пошел. Даю две лиры.

Извозчик понял, что дело серьезное, и поджарые лошади понеслись, пыля и раскатывая легкий экипаж. На шоссе капитан обогнал Зарембу, махнул ему рукой; потом увидел испуганно отскочившего в сторону крестьянина, похожего на галку. На Зеленом Мысу он купил билет, вышел на платформу, когда тифлисский поезд уже трогался, и вскочил в задний вагон.

Поезд прогремел через туннель, и по другую сторону его открылась иная страна,— тропики свешивали к окнам вагонов влажные и зеленые стены листвы. Кудряво бежали по взгорьям чайные плантации. Сырой блеск равнин был пышен и праздничен.

Капитан расстегнул китель, купил десяток мандаринов и сразу же съел их. Он чувствовал необычайное облегченье,— до Тифлиса можно было спать спокойно.

ЗОЛОТОЕ РУНО

Турки, отступая из Батума в 1918 году, оставили в складах множество ящиков с боевыми ракетами. Ракеты лежали, сохли, в них происходили таинственные химические процессы, грозившие самовозгоранием и взрывом. Поэтому ракеты было решено уничтожить. Этим и объяснялась пышность фейерверков, в которых внезапно стал утопать город осенью того года, когда в Батум приехала Нелидова и ее спутники.

Первый вечер был особенно пышен. Трескучая заря занялась над плоским и темным городом. Переплетение огней и шипящих ракетных хвостов создавало впечатление сложного и сверкающего кружева.

Взрывы белого пламени выхватывали из темноты и снова бросали в нее живые груды листвы, широкие окна кофеен (их желтый свет трусливо гас при наглых вспышках бенгальского огня), фелюги, дрожавшие в воде, пронизанной до дна светом и серебром.

Иногда наступал желтоватый, пахнущий порохом антракт, и отхлынувшая было ночь накатывалась исполинской стеной кромешной тьмы. Но через минуту пламя со щелканьем и свистом опять раздирало ее, бросая мутные отблески на маяк и набережные.

Пустынный, казалось, порт при каждой вспышке оживал. Была видна давка фелюг, цепи, крутые бока пароходов, высокие, как бы театральные мостики, разноцветные трубы, палубы, с которых стремительный свет не всегда успевал согнать темноту.

Казалось, что пароходы фотографировались с редким терпением. Один из них — оранжевый английский грузовик — даже улыбался: по сторонам его носа торчали из клюзов клыками бульдога лапы гигантских якорей. Это создавало впечатление вежливой, но деланной улыбки. Некоторые пароходы улавливали быстрое пламя стеклами иллюминаторов.

Нелидова с Глапом и Батуриным шла на Барцхану к Зарембе. Берг остался в гостинице. Ему нездоровилось:

опять болело сердце. Со сладкой горечью он думал, что ему, быть может, суждено умереть в этих серебряных потоках огня, в пограничном городе, и теплая женская рука потреплет перед смертью его волосы.

О смерти сына и Вали он думал редко. Каждый раз при этой мысли пустота в груди наполнялась гулким сердечным боем и кончалась обморочной, вязкой тошнотой.

Берг сидел на балконе на полу, чтобы с улицы его не было видно (это была любимая его поза), и украдкой, прячась от самого себя, курил короткими затяжками и прислушивался к растрепанной работе сердца. Оно то мчалось вперед, дребезжа, как разбитый трамвай, то внезапно тормозило. От этого торможенья кровь приливала к вискам.

На Барцхане ночь, бежавшая из Батума, была гуще и чернее. У берега, выполняя наскучившую повинность, шумели волны. С гор дул бриз. В свежести его был холод виноградников, хранивших в своих кистях обильный сок. Глан ел виноград и уверял, что ночью он делается сочнее и слаще. Звезды плавали в море. Волны разбивали их о берег, как хрустальные детские шары.

С Зарембой Батурин познакомился днем в типографии. Сейчас шли к нему просто так,— поболтать, выпить вина и еще раз ощутить ночное своеобразие этих мест. В окне у Зарембы пылала лампа. Свет ее, пробиваясь через черные лапы листвы, делал ночь высокой и как бы осязаемой.

— Таитянская ночь,— прошептал таинственно Глан, мелькая в пятнах света и тьмы.— У здешних ночей есть заметный оттенок густой зелени. Вы не находите?

— Я не кошка,— ответил Батурин.— В темноте я краски не различаю.

Нелидова, когда попадала в полосу света, старалась миновать ее возможно скорей. Каждый раз при этом Батурин замечал ее бледное лицо. От тьмы и белых гейзеров пламени, бивших над Батумом, от теплого прикосновения листвы и безмолвия он ощущал легкую тревогу, похожую на нарастающее возбуждение.

Батурин сказал:

— Принято думать, что в жизни все переплетено и нет поэтому нигде резких границ. Чепуха все это. Еще недавно жизнь была совсем другой.

— А теперь? — спросила из темноты Нелидова.

— Теперь мне кажется, что я стою под душем из ветра и мельчайших брызг. Вы не смейтесь. Это серьезно.

— Н-да...— протянул рассеянно Глан.— «Растите, милые, и здоровейте телом» — это чье? Забыли? Вот черт, тоже не помню.

Заремба встретил их на крыльце. Рот его с выбитыми во время французской борьбы зубами был черен и ласков, как у старого пса.

— А мы, знаете,— он сконфузился,— дожидаясь вас, уже выпили. Приятель у меня сидит, куплетист. Знакомьтесь.

Куплетист — желтый и жирный, с лицом скопца,— был одет в синюю матросскую робу. Он сломал через окно ветку мандарина с маленьким зеленым плодом и положил перед Нелидовой.

Нелидова перебирала темные листья мандарина, мяла их пальцами,— от рук шел пряный запах. Изредка она подымала глаза и смотрела на Батурина и Зарембу,— они тихо беседовали.

Заремба расстегнул жилет, откидывал со лба мокрую прядь. Его большие серые глаза смотрели весело, хотя он и был явно смущен. Смущение его нарастало скачками. Он все порывался что-то рассказать Батурину, но останавливался на полуслове. Наконец рассказал.

Лицо Батурина осветилось легкой улыбкой.

— Послушайте,— Батурин обращался, казалось, к одной Нелидовой.— Вот любопытная история. Жаль, что с нами нет Берга. Заремба подобрал на улице нищенку-курдянку. Он говорит, что эта курдянка спасла капитана (Батурин запнулся,— обо всем, что случилось с капитаном в Батуме, Нелидовой он не рассказал, рассказал лишь, что Пиррисона капитан разыскал в Тифлисе и в Тифлис нужно выехать возможно скорее). Одним словом, курдянка живет здесь. Заремба хочет отдать ее в школу и сделать из нее человека.

— Молодая? — спросил Глан.

— Вроде как бы моя дочка,— ответил, смущаясь, Заремба.— Лет двадцать, а мне уже сорок два.

Он мучительно покраснел,— ему казалось, что никто не поверит, что вот он, крепкий мужчина, взял в дом молодую женщину и не живет с ней, а, наоборот, возится как с дочкой.

— Наглупил на старости,— пробормотал Заремба.— Скучно так жить без живого человека. Жаль мне ее. Теперь взял, лечу...

Заремба окончательно сбился и замолчал.

— А что с ней? — спросил Глан.

— Ну, знаете, обыкновенная болезнь, не страшная. Слава богу, что хоть так отделалась от чертовой матросни.

— Где же она? Почему вы ее прячете?

Голос Нелидовой прозвучал спокойно, без тени волнения. Заремба вышел и вернулся с курдянкой. Она кивнула всем головой, смутилась, села рядом с Нелидовой; погладила шелк ее платья на высоком колене, опустила глаза и почти не подымала их до ухода гостей.

Глан отгонял рукой дым папиросы и смотрел на курдянку. Ему казалось, что он осязает красоту, как до тех пор явственно осязал прикосновение к своему лицу теплого ветра, черной листвы, всей этой оглушившей его новизной и необычайностью ночи.

Куплетист решил разогнать общее смущение и тонким мальчишеским тенором спел свою новую песенку. Песенки эти он писал для эстрадных артистов. Артисты всегда его надували,— платили в рассрочку и недоплачивали.

На столе моем тетрадка
В сто один листок.
В той тетрадке есть закладка —
Беленький цветок.
Этот беленький цветочек
Мне всего милей:
Шепчет каждый лепесточек
О любви моей.

«Чем не Беранже?» — подумал Глан и оживился. Он носил в своей голове тысячи песенок — бандитских, колыбельных, бульварных, песенок проституток и матросов, страдательные рязанские частушки и хасидские напевы. Он коллекционировал их в своем мозгу. Иногда, всегда к случаю, он очень удачно извлекал то одну, то другую, поражая слушателей то глупостью, то подлинной их наивной болью.

Вина пили мало, но оно быстро ударило в голову. Батурину казалось, что это черное вино действует на него совсем не так, как другие вина. Неуловимые его настроения оно вдруг закрепило,— они ожили, крепко вошли в сознанье. От них в душе рождалась вот-вот готовая прорваться детская радость.

Курдянка гадала Нелидовой по руке. Нелидова наклоняла голову и смеялась. Вино сверкало в ее зрачках чер-

ным блеском,— она верила гаданью и стыдилась этого. Она медленно обрывала с ветки мандарина черные листья. На лице куплетиста Батурин заметил страданье. Он подошел и незаметно отнял у нее ветку. Она изумленно подняла глаза, улыбнулась, и в прозрачной глубине ее глаз Батурин увидел все то же — эту ночь, взявшую их в плен стенами живой высокой листвы. Через окна проникал ровный и усталый ветер.

— Напомните мне, когда будете идти в город,— я расскажу вам одну историю,— сказал Батурин.

Нелидова кивнула головой.

Глан, Заремба и куплетист расплывались в табачном дыму воспоминаний. Долетали слова о Шанхае, шушинских коврах, ротационных машинах, табаке.

В город шли с куплетистом. Заремба и курдянка провожали их до порта. Шли длинной цепью, взявшись под руки. Опять море разбивало о песок сотни звездных шаров. Иллюминация догорала. Ветер приносил театральный запах пороха и потухших бенгальских огней.

— Я напоминаю вам,— сказала Нелидова.— Что вы хотели рассказать?

— Маленький сон,— ответил Батурин и рассказал ей о поезде и китайце со змеей. Нелидова слушала молча, потом легко пожала его руку и спросила тихо:

— Вы не болтаете? Может быть, вы выпили больше, чем следует.

Батурин решил было обидеться, но раздумал. Ему неудержимо хотелось рассказывать причудливые истории, смысл которых так же радостен, как пожатие женской руки.

Было в Батурине нечто, что заставляло Нелидову настораживаться: его странные рассказы, неожиданные поступки, суровые глаза, ощущенье, что этот человек все время думает свое и никому об этом не говорит.

Он часто бывал рассеян и отвечал невпопад. Когда Батурин, сидя за столом, низко наклонял голову и разглядывал скатерть, Нелидова знала, что у него опять подымается тоска по Вале. Тогда судорожная тревога заставляла ее беспрерывно болтать, не слыша даже своих слов, всячески стараться отвлечь его мысли от прошлого. Спустя часа два Батурин успокаивался, в глазах его блестели быстрым огнем самые смехотворные истории. Он говорил о при-

вычных вещах, как о чем-то необычайно интересном. Нелидова сознавала, что он прав. В каждом дне, уличной встрече, во всем опа начала замечать новое, не замеченное раньше.

Это давало жизни ощущение полноты. Мир был очищен, как старинпая картина от вековых наслоений почерневшего лака, и заиграл наивными и пышными красками.

Нелидовой нравилось, что Батурин любил ветер, свежесть, штормы, простых людей — все, к чему невольно тянется человек после бессонницы и духоты, как пьяница после попойки к стакану крепкой содовой воды.

— Во время шторма в Новороссийске,— сказал Батурин,— я видел второй сон. Его стоит рассказать. Хотите?

— Конечно.

Рассказать этот сон было очень трудно. Как и во всяком сне, в нем было главное, оставившее глубокий след в памяти, но главное это нельзя было передать никакими словами.

Батурипу приснился дощатый бар в ночном порту. Сквозь щели в стенах были видпы красные огни пароходов. Когда пароходы давали гудки, бар вздрагивал и со стропил слетала пыль. Была ночь. В баре сидели пассажиры, дожидаясь посадки. Среди наваленных горами чемоданов почти не видно было деревянных столиков с букетами простых цветов — ромашки и резеды. Казалось, родная старая земля провожала запахом этих пемудрых цветов всех уезжавших за океан.

Океан шумел в косматой портовой темноте. Над пим, очень далеко, там, куда пойдут корабли, дпи и ночи сменялись страницами однообразной книги. Зелень вод, туманы, неуют великих мировых дорог приводили к странам, чуждым, суетливым, ненужным живой душе человеческой. Уезжавшие казались безумцами, обреченными на преждевремепную старость, на вечную тоску по оставленной милой земле, куда вернуться им будет нельзя.

Батурин узнал, что из этого порта уезжает Нелидова. Он мчался туда в экспрессе, спешил застать ее. Ночи гремели мостами и обжигали лицо снопами искр. Дни проносились светлой пылью. В портовый город он приехал за полчаса до отхода корабля.

Он бросился в бар, нашел Нелидову. Он помнил, что она должна простить ему перед отъездом какую-то смертельную обиду. Они говорили о безразличных вещах, по-

том Нелидова взглянула на него, в глубипе ее глаз он увидел прозрачные и синие слезы и оглянулся,— за раскрытой дверью бара стоял холодный и голубой рассвет.

Нелидова попросила его купить на дорогу папирос. Оп вышел. С деревьев капал туман, капли стучали по древним тротуарам, кое-где уже гасили огни. Он долго искал ларек. Во время поисков он услышал, как мощно прокричал пароход, может быть, тот, на котором должна была уехать Нелидова. Он заторопился, но у него было такое чувство, что без папирос он вернуться не смеет.

Когда он пришел в бар с коробкой папирос «Осман» — синей и вычурной, как турецкий киоск,— Нелидовой пе было. Бар был пуст. Пароход отошел и был виден в море тучей рыжего дыма.

Батурин остался жить в портовом городе, где старина вторгалась в каждый шаг, где океанские корабли приобретали вид фрегатов и камни зарастали мхом, заглушавшим шаги. Он знал, что Нелидова его простила, но горечь ее отъезда, горечь того, что он не услышал слов прощенья от нее самой, была невыносима. Вот и все.

— Я бы предпочла,— сказала Нелидова,— чтобы вы видели во сне не меня, а кого-нибудь другого.

— Почему?

— Такие сны обязывают. После этого я буду казаться вам скучной.

В город пришли ночью. Было решено на следующий же день выехать в Тифлис.

На рассвете Глан проснулся от ровного шума. Шел дождь. За черными окнами он казался седым. Глан закурил и выругался,— о батумских дождях он кое-что слышал.

Потом он разделся догола и осторожно вылез на плоскую крышу под окном. Ливень хлестал его. Глан жмурился и вертелся,— небесный душ был прекрасен. После Глана на крышу слазил Батурин, потом Берг.

К полудню дождь стих. Город блестел под солнцем, вода пахла снегом.

Пошли в турецкую чайную. В чайной ливень настиг их снова. Он бил в потные стекла; улицы и порт за ними приобрели фантастический вид: они струились и расплывались. На рейде серые волны мылили борта пароходов.

Всех радовала пустяковая мысль, что они заперты в чайной, может быть, до самого вечера, что весь город вымер и только ливень гремит и скачет по крышам.

— А как же Тифлис? — спохватился Глан.— Надо узнать точно, когда поезд.

Он спросил хозяина-турка. Турок вежливо ответил, глядя на Глана, как на беспомощного иностранца, что поезд вряд ли сегодня отойдет в Тифлис: такие ливни всегда размывают полотно. Хозяин провел Глана в заднюю комнату к телефону. Глан позвонил на вокзал,— ему ответили, что путь за Кобулетами размыт и движенье прекращено.

— Везет, как утопленникам, — пробормотал Глан, но втайне подумал, что против ливня он ничего не имеет. Пусть его лупит,— в Тифлис всегда успеем.

В чайной зажгли свет. С запада вместе с густыми и медленными тучами шла тьма. День приобрел сизый цвет пороха.

Вошел человек в клеенчатом плаще, принес с собой лужи, хриплый кашель. Он откинул капюшон, оглянулся и радостно крикнул:

— Ага, Берг, вот я где вас застукал!

Это был Левшин.

— Скотина вы, Берг,— сказал он, присаживаясь к столику. Запах дождя, исходивший от него, смешался с дымом крымских папирос.— Куда вы удрали? Сестра искала вас целый месяц, вся извелась.

— Зачем я ей? — буркнул Берг.

— Как зачем! Да хотя бы поглядеть на вас, какой вы есть человек. Я ушел в рейс, она мне наказала,— ищи, найди и привези в Одессу. Для пущей крепости даже письмо вам написала. Вот!

Левшин вытащил мятый конверт. Пока Берг читал, он рассказал Нелидовой, Батурину и Глану одесскую историю. Берг краснел и ерзал, папироса его ежесекундно тухла.

«Я вас не знаю,— писала Левшина.— Я смутно помню, как вы позвали меня в больнице. Письмо я пишу наугад, без адреса, без города,— в пространство. Я даже не знаю вашего имени. Приезжайте. Вы боитесь, что разыграется обычная история,— благодарности, слезы, растерянность. Ничего не будет. Я не буду ни благодарить вас, ни плакать, ни вообще разыгрывать мелодраму».

Берг скомкал письмо и засунул в карман.

— Ну что? — спросил Левшин.

— Ладно. Я приеду, но не сейчас. Из Москвы.

— Когда хотите.

В чайной просидели до вечра. Хозяин принес им обед — горячий, полный перца и пара. Вечером турки достали всем плащи, Нелидову закутали в бурку и кое-как, прячась под дырявыми навесами, добрались до гостиницы. На перекрестках Левшин (он был в высоких сапогах) переносил всех на руках через улицы, шумевшие, как горные реки. В Батуме прожили два лишних дня. На третий день ливень прошел. К вечеру в стекла ударил влажный солнечный свет. Улицы зашумели. Глан предложил пойти к Левшину.

На пароходе в каюте у Левшина пили кофе, в никелированном кофейнике умирал в пламени закат. Сусальным золотом были залеплены стекла. Пальмы на Приморском бульваре напоминали Африку,— они казались черными и неживыми на кумаче грубого заката. Белая толпа шумела в сырой зелени. Вымытые ливнем огни ходили столбами в воде, разламываясь и выпрямляясь в длинные дороги.

На следующий день уезжали. Заремба взял отпуск. Он напросился ехать вместе со всеми в Тифлис. Свайную свою хижину он оставил на попечение курдянки. На вокзале провожал Левшин, а после первого звонка пришел Фигатнер и сказал Зарембе мрачно:

— Смотри, они тебя обворуют,— подозрительные типы.

— Брось трепаться!

— Прошу со мной в таком тоне не разговаривать.— Фигатнер зло уставился на Зарембу.— Я двадцать пять лет честно работаю, как последний сукин сын, и ты передо мной щенок. Связался с какими-то типами и институткой.

— Кто это? — спросила Нелидова Зерембу.

— Репортер один, ненормальный. В каждом городе, знаете, есть свои чудаки, так это наш, батумский чудак. Черт его принес.

Фигатнер возвращался с вокзала на Барцхану, подозрительно поглядывая на встречных детей и собак, и бормотал:

— Скотина. С нищенкой связался. А еще партиец! «Сделаю из нее человека». Тьфу! — Фигатнер плюнул и оглянулся.— Обворует она тебя, как последнего идиота, туда тебе и дорога. Метранпаж, а тоже лезет в партию.

Фигатнер окончательно расстроился, зашел в духан и заказал стакан вина. Поданный стакан он злобно повер-

тел, позвал хозяина и сказал, что все это — лавочка и сплошное безобразие: в прошлый раз давали большие стаканы, а сейчас черт его знает что — в микроскоп такой стакан и то не увидишь.

Вскоре Фигатнер вышел, пообещав завтра же написать заметку о сволочуге-духанщике,— пусть знает, как обманывать посетителей.

— Азиат,— бормотал он.— Я тебе покажу швили-швили, ты у меня поплачешь.

В это время поезд уже прошел Чакву. Глан завалил купе мандаринами. Ему все здесь нравилось — и контролеры, кричавшие на пассажиров страшными голосами: «А ну, покажи билет»,— и черные поджарые свиньи, бегавшие по вагонам в Кобулетах, визжа и выпрашивая подачку, и бродячие музыканты, жарившие под говор горбоносых пассажиров всё одну и ту же песенку:

Обидно, эх, досадно,
Да черт с тобой, да ладно!
Что в жизни так нескладно
Мы встретились с тобой.

Музыканты ехали без билетов на свадьбу в Натанеби. Контролер накричал на них и позвал двух смущенных парней с винтовками. Пассажиры сразу вскочили, закричали. Глан слышал только одно слово:

— Натанеби, Натанеби...

Музыканты махали смычками, яростно выворачивали рваные карманы, парни с винтовками скалили зубы. Потом музыканты сели и, закатив глаза, вытянули из скрипок жалостную и берущую за душу «Молитву Шамиля». Мелодия крепла, через минуту она достигла чудовищной быстроты, и парень с винтовкой, отдав ее беззубому испуганному старцу, пустился в пляс.

— Ах-ах, ах-ах,— кричал весь вагон, похлопывая в ладоши.

За Кобулетами поезд шел через обширные, затопленные ливнем лагуны. В воде сверкало солнце. Праздничная страна открылась за окнами вагона.

Нелидова стояла у окна, Берг высунулся в соседнее окно и крикнул ей, показывая на слюдяной широкий огонь за зарослями тростника:

— Прощайтесь с морем!

Нелидова вдохнула ветер: с гор дуло счастьем.

ГОЛУБЯТНЯ В СОЛОЛАКАХ

По Верийскому спуску муши несли рояль, поскользнулись, и рояль рухнул на землю, наполнив воздух громом и звоном. Собралась толпа. Худые и рьяные милиционеры непрерывно свистели, не зная, что делать дальше. Муши стояли, отирая пот. Рояль упал на трамвайные рельсы и остановил движение.

Капитан, будучи любопытным, влез в гущу толпы и ввязался в спор,— должны или нет муши отвечать за рояль. Черноусые люди в широких штанах притопывали на тротуарах и жалостно чмокали жирными губами: «Ай, хороший рояль, богатый рояль». Извозчики остановились, слезли с козел и пошли расследовать дело.

Толпа росла пчелиным роем, качалась и гудела Хозяин рояля, сизый и страшный, рвался из рук милиционеров к старшему муше и хрипел, потрясая кулаками:

— Отдай деньги, отдай семьсот рублей, кинтошка! Ты живой ходить не будешь, собака!

Муши невозмутимо слушали вопли и сплевывали. Сочувствие толпы было на их стороне. Крышка рояля отлетела, обнажив стальные порванные нервы. Сухость дерева, из которого был сделан рояль вызывала представление о погибшей звучности, гуле педалей и приглушенном звоне бемолей.

Капитан оглянулся,— ему почудилось, что его окликнул знакомый голос. Из пролетки ему кто-то махал. Капитан вгляделся, прикрывшись рукой от солнца,— это был Берг.

Капитан рванулся, создавая в толпе ущелья и водовороты. Около извозчика стоял Батурин, худой и загорелый, и Заремба щерил беззубый рот.

— Здорово, свистуны! — гаркнул капитан, расцеловался со всеми и потряс Батурина за плечи.— Здорово, Мартын Задека!

— Погодите.— Батурин взял капитана за локоть и повернул к извозчику.— Идемте, я вас познакомлю.

— С кем?

— С Нелидовой.

Капитан сдвинул кепку на затылок и уставился на Батурина.

— Что ж вы ни черта не написали!

Но ругаться было некогда. Батурин тянул его за рукав, и капитан подошел к извозчику. Первое, что он увидел,— маленького человечка, похожего на обезьяну. Он сидел, поглядывая на толпу, и посмеивался. Рядом с ним капитан заметил молодую женщину и остановился. Чем-то она напомнила ему батумскую курдянку — легким ли своим телом, нежным загаром или темными и прозрачными глазами. Капитан представлял себе артисток пышными и капризными дамами, с лицами, ярко раскрашенными и обсыпанными пудрой, с множеством колец на пухлых пальцах. А эта была совсем девочка.

— Здравствуйте, капитан,— сказала она молодым голосом. В нем капитан услышал горькую ноту, говорившую о не изжитом еще и утомившем страдании. То, что она назвала его капитаном, ему понравилось,— в этом было признание его дальних плаваний, штурманских познаний, штормов — всей маячившей за его спиной, большой и пестрой жизни.

Капитан улыбнулся, снял кепку (это он делал в самых исключительных случаях) и крепко потряс руку Нелидовой. Он забыл, что она была женой Пиррисона — настолько это казалось неправдоподобным. С Гланом он поздоровался сухо и корректно. Около извозчика произошел короткий разговор.

— Сейчас о деле говорить не будем.— Батурин предостерегающе взглянул на капитана. Капитан кивнул головой.— Прежде всего надо устроиться.

— Да едем ко мне. У меня чудесно!

Капитан жил у приятеля Зарембы, наборщика Шевчука в Сололаках. Шевчук снимал две комнаты,— одна осталась от жены, недавно его бросившей. Дом был похож на голубятню,— с пристройками, лестничками, узкими дверьми, куда с трудом протискивался человек, балконами над обрывом и каменным тесным двором. Как голубятню, этот дом на горе свободно обдувал ветер; небо казалось совсем близким.

Капитан ходил по дому с опаской: ему казалось, что он залез внутрь хрупкой игрушки. Все трещало, прогибалось и жалобно стонало от каждого его движенья.

«Как жук в часовом механизме»,— думал о себе капитан.

Под капитаном провалились две ржавые железные ступеньки на лестнице и слетела с петли дверь,— капитан ее легонько толкнул. Во время ветра дом качался, как старый корабль. Лопались газеты, заменявшие во многих окнах стекла, хлопали двери, с пола подымалась пыль, по крыше ветер гонял тяжелые кегельные шары. Голубятня посвистывала и трещала, и у жильцов весело замирало сердце.

В день приезда был ветер. Синее небо блестело полосами, будто ветер проносил над городом сверкающие ткани. Голубятня пела и позванивала щеколдами дверей. На висячей террасе капитан варил кофе. Батурин сидел рядом с ним на корточках, и они тихо беседовали.

— Пиррисон здесь,— говорил капитан, опасливо поглядывая на окно, за которым была Нелидова.— Это не человек, а дьявол. Крутится, как бешеный кот, унюхал слежку. Я свалял дурака. Вместо того чтобы влезть ему в нутро, я ощетинился. Но иначе нельзя,— если бы вы видели эту лошадиную морду! Втроем мы его пристукнем. Я думаю, он — спекулянт, если не хуже. Вы говорите, что дневник он увез еще из Москвы. После этого все ясно. Ведь там чертежи. Ну, а как она?

— Хорошая женщина... Она его бросила.

— Зачем же она болталась по югу?

Батурин пожал плечами.

— Не знаю. Это человек со странной настройкой. Она наша, но...— Батурин поглядел на лысую гору Давида, потрогал пальцем чайник,— она надломлена. Вы представляете,— три года прожить с отъявленным негодяем, это чего-нибудь да стоит. Она, мне кажется, с усилием отбивается от апатии, старается вернуть себя прежнюю... Конечно, это трудно...

— Так... Как думаете, она нам поможет?

— Безусловно.

Капитан закурил, сплюнул, прищурился хитро на Батурина.

— Что и говорить,— девочка славная. И этот обезьянщик,— он говорил о Глане,— наш в доску. Ну, а как проделать махинацию с Пиррисоном?

Думали они долго. Кофе сбежал, и капитан не сразу это заметил.

— Сделаем так. Он живет в гостинице «Ной», на Плехановской, номер сорок девять, на четвертом этаже, окна в

переулок. В номере он бывает только вечером. Я думаю, к нему должна пойти она и отобрать дневник. Соседний номер свободен,— я сегодня утром узнавал. Вы могли бы там поселиться на всякий случай. Будет вернее. А?

— Ну, дальше.

— Дальше ничего. Я уверен, что выйдет и так... В крайнем случае, придется вмешаться. Я буду караулить в переулке. В случае чего, вы дадите знак в окно,— позовете, что ли. Возьмем Зарембу и Глана. Берг будет сидеть напротив «Ноя» — там есть духанчик. Если Пиррисону удастся удрать, он двинет за ним, чтобы не подымать шума в гостинице. С Нелидовой поговорите вы. Действовать будем завтра. Сейчас я их сплавлю, а вы берите чемодан и дуйте к «Ною». Она не должна знать, что вы будете рядом в номере.

— Почему?

— Когда человек ждет поддержки, он всегда наделает кучу ошибок. Понятно?

— Пожалуй.

После кофе Заремба пошел к Шевчуку в типографию предупредить о нашествии. Нелидова, Глан и Берг пошли в знаменитые серные бани. Берга радовало, что в банях этих бывал еще Пушкин. Батурин сослался на головную боль и остался. Через полчаса он вышел с капитаном, взял извозчика и поехал к «Ною». Капитан был прав,— соседний с пиррисоновским номер был свободен.

В номере капитан и Батурин оставались недолго. Они тщательно осмотрели его: в комнату Пиррисона вела дверь, она не была заколочена, около двери стоял комод.

— В случае чего, комод можно отодвинуть,— прикинул капитан.— Я буду сидеть в садике напротив. Когда понадоблюсь, зажгите в своей комнате свет.

На обратном пути зашли в духанчик, где должен был сидеть Берг, и выпили белого вина. Батурин наклонился к рваной клеенке, пристально ее рассматривал. Капитан сказал тихо:

— Бросьте волноваться, все обойдется.

— Я не о том. Вы дадите мне револьвер?

— Зачем?

— Пиррисон — человек опасный. Мало ли что может случиться...

— Стрелять все равно нельзя.

— Мне револьвер нужен,— трудно запинаясь, сказал

Батурин,— для самообороны. Вы подумали, что, может быть, он из шпионской шайки?

Капитан постучал пальцами по столу, зорко взглянул на Батурина.

— Вы точно знаете?

— Я предполагаю.

— Завтра узнаем. Если это так, то, конечно, разговор будет особый. Ладно, я дам револьвер. После истории с Терьяном я предполагаю то же, что и вы.

— Какой истории?

Капитан рассказал о выстреле, показал заштопанную кепку. Батурин слушал безразлично.

— Напрасно вы уверены, что все обойдется. Может, обойдется, а может быть, завтра он хлопнет кого-нибудь из нас. Я к этому готов.

Весь день Батурин пролежал в сололакском доме,— у него всерьез разболелась голова. Он закрывал глаза и старался вызвать представление о громадном озере, сливающемся с небом. Это давало отдых и ослабляло боль. Лежал он на походной кровати, предназначенной для Нелидовой,— койка была узкая, теплая. В комнате стоял запах тонких тканей, запах молодой женщины.

Батурин протянул руку, поднял с полу оброненную перчатку, сохранявшую еще форму узкой кисти, и закрыл перчаткой глаза. Стало легче. Морщась, он подумал, что они зря втягивают Нелидову в это дело. Как было бы хорошо, если бы дневник нашелся где-нибудь на улице или его удалось бы украсть у Пиррисона без сложнейших и неверных комбинаций, без суеты, подслушивания, без необходимости собирать в комок свою волю и щурить для зоркости глаза.

Боль медленно проходила. Он вспомнил керченские ночи, когда решил убить Пиррисона.

«Это бесполезно,— подумал он теперь.— Таких людей надо уничтожать организованным порядком, а не поодиночке».

Разговор с Нелидовой был поручен Батурину. Батурин предложил вместо себя Берга, но капитан был неумолим.

— Вы не винтите,— в этом деле нужна тонкость... Кому ж, как не вам.

Как ей сказать? До сих пор Батурин не знал толком, как она относится к Пиррисону,— женщина может прогнать и любить. Слезы ее в Керчи, детский ее ответ, что

она плачет «просто так», были загадочны. Он вспомнил слова Нелидовой — «он убьет вас прежде, чем вы успеете пошевелиться» — и подумал, что револьвер берет не зря.

В соседней комнате ужинали. Пришел Шевчук,— русые усы его были мокрые от вина. Он зашел для храбрости в духан и был поэтому излишне предупредителен. Заремба рассказал капитану о курдянке. Капитан кусал папиросу и слушал молча, краска залила его шею, поползла к ушам.

— Береги девочку,— сказал он с угрозой.— Из нее можно сделать такую женщину...— Капитан спохватился.— Коллонтай сделать курдянскую. Понял, дурья твоя башка! Только полировка нужна. Смотри, не свихнись.

Заремба почесал за ухом. Слова капитана его взволновали и обидели.

— Свихиваться мне не с руки. Пусть подучится в Батуме, потом отправлю в Москву, в Университет трудящихся Востока, а дальше дорога открытая. Верно, товарищ Кравченко?

— Ну, пес с тобой. В Москве мы тебе поможем.

Нелидова примолкла. Из-под опущенных ресниц она осторожно разглядывала капитана. Этот шутить не любит. Крутой, определенный, как жирная черта, проведенная по линейке: две точки и прямая. Две точки — рождение и смерть, прямая — жизнь. Но капитан улыбнулся, и сразу показалось, что за столом сидит мальчишка, дожидающийся, чтобы кто-нибудь сказал глупость, после чего можно прыснуть со смеху. Кепка, сдвинутая на ухо, говорила о смелости, отпетой голове. В капитанском возрасте это было странно. Поражало Нелидову и любопытство капитана. Казалось, нет в мире вещей, которые он считал бы не заслуживающими внимания. Вот и теперь он был в восторге от Тифлиса, от здешнего богатства. К этому богатству он причислял все — и фрукты, и ковры, и кукурузу, и руды, и горные реки, и даже Сионский собор и могилу Грибоедова. Его занимала мысль об устройстве в Москве большой закавказской выставки. От этой выставки, по его мнению, глаза у всех полезут на лоб и в истории Союза будет открыта новая страница.

Берг ходил по комнате в светлом возбуждении. Тифлис он называл пушкинским городом. Судьба Пушкина была, по его словам, особенно приметна здесь, в Тифлисе. Он мечтал, что завтра же достанет «Путешествие в Эрзрум» и будет медленно, фраза за фразой, его перечитывать. Глан

был спокоен,— перемена мест еще усиливала общий пестрый тон его жизни, но не казалась событием.

На следующий день утром Батурин пошел с Нелидовой в Ботанический сад.

— Надо поговорить,— сказал он ей коротко.

Нелидова посмотрела на него с укором. До сада шли молча. Лицо ее опять стало холодным и бледным, как в Керчи.

В саду остановились на висячем мосту над водопадом. На турецком кладбище рыдали женщины. Из-за гор ползли тугие облака.

— Ну, говорите,— промолвила Нелидова, комкая в руке перчатку.— Что, время уже пришло?

— Да. Пиррисон в Тифлисе. Я думаю, что ему не вырваться. Нам нужно добыть дневник. Если бы он взял его из Москвы случайно, это была бы пустяковая задача, но он взял его сознательно. Он украл его. Это осложняет дело. Без борьбы он его не отдаст.

Нелидова уронила перчатку,— серный ручей затянул ее под камни. Батурин посмотрел вниз и спросил:

— Вы согласитесь пойти к нему и отобрать дневник?

Она отрицательно покачала головой. Батурин сказал тихо:

— Требовать мы не можем. Раз вы не согласны, будем действовать сами. Это гораздо рискованнее. Кто-нибудь да поплатится головой.

— Почему?

— Вы знаете, кто Пиррисон?

Нелидова натянуто улыбнулась.

— Спекулянт. Это его профессия.

— Мало. Кроме того, еще и шпион.

Они встретились глазами. Взгляд ее был темен и полон вызова.

— Я не пойду к нему,— сказала она глухо и твердо.— Я любила этого человека. Он первый видел мои слезы, мой стыд. Я хочу одного — поскорей отсюда уехать. Я думала, что у меня хватит сил, согласилась ехать с вами. Теперь мне противно. Поймите,— вы, пятеро смелых, находчивых, сильных мужчин, подсылаете женщину, бывшую жену. Вы хотите сыграть на том, что, может быть, он еще любит меня и отдаст дневник, из-за которого вы подняли столько шуму. Я не ждала этого. Вы называете его шпионом,— где доказательства? Вы понимаете, что говорите! Вы рыщете

по всей стране, у вас развился прекрасный нюх, вы ловко его выследили и хотите поймать в западню на лакомую приманку — на меня. Ради чего это делается, я не могу понять. Вы входите с черного хода там, где есть пути прямые и верные.

— Например?

— Пойдите к нему, скажите, кто вы, и потребуйте дневник. Кажется, просто.

Батурин улыбнулся.

— Зря улыбаетесь. Это совсем не глупо. Вы вбили себе в голову, что охотитесь за опаспым преступником, шпионом. Может быть, вы даже носите револьвер в кармане. Конечпо,— это очень романтично. У пионеров от этих историй разгорелись бы глаза,— но вы-то, вы ведь не пионер. Пиррисон — опаспый преступпик! — Она засмеялась.— Пиррисон — пичтожество из пичтожеств. Разве такие бывают шпионы! Вы наивные мальчики вместе со своим капитаном. Вы забываете, что я человек, а не манок для птицы.

Нелидова замолчала.

— Это все?

— Все.

— Хорошо. Мы действуем глупо, мы фантазеры и мальчишки. Но почему же вы согласились искать его вместе с нами?

— Вы этого не знаете? — Нелидова метнулась к Батурину, подошла почти вплотпую.

— Нет.

— Тогда мне вам нечего и говорить.

Она отвернулась и пошла в глубь сада. Батурин поколебался и пошел за ней. В густой аллее она села на скамейку и, пе глядя на него, сказала резко:

— Ну, договаривайте. Давайте кончать.

— Давайте. Конечно, нельзя бы втягивать вас в это дело. Это план капитана. Капитан спросил меня, согласитесь ли вы сегодня вечером пойти к Пиррисону, взять дневник и передать его нам. Я ответил — да, безусловно согласится. Во всем виноват только я,— ни капитан, ни Берг, ни Глан — никто не давал за вас никаких обещаний. Я неправильно понял вас в Керчи. Я вообще не понимаю половинчатого отношения к людям. Если я считаю человека заслуживающим уничтожения, то не буду охранять его от опасностей. Это — азбука. Я приписал свои свойства вам,— конечно, это глупо. Но я плохо соображаю послед-

нее время,— вы должны меня понять. Помимо дневника, у меня есть свои счеты с Пиррисоном. Я сведу их сегодня же.

Батурин замолчал.

— Ну, дальше.

— Дальше ничего.

— Вы опять говорите об убийстве?

Батурин пожал плечами.

— Я считаю, что наш разговор бесцелен.

— Ну, идите,— сказала Нелидова вяло, не подымая глаз.— Вы — неистовый человек. Вы неистово ненавидите и неистово любите. Его смерть — ваша смерть. Мне все равно. Делайте как знаете. Пусть не ждут меня там, в Сололаках. Вечером я приду за вещами.

Батурин медленно вышел из сада. Снова, как в Москве, в голову лезли дурацкие мысли.

— Жарок день тифлисский, жарок день тифлисский,— повторял он, спускаясь по каменным лестницам в город.

День, бледный и серый — с гор нагнало густые облака,— был неуютен и вызывал апатию.

Дома Батурин сказал капитану:

— Я ошибся. Она отказалась. Я беру все на себя. Сигнал только будет другой,— если вы понадобитесь, я погашу свет не у себя, а в комнате Пиррисона.

— А что с ней?

— Не выдержала. Уезжает.

Он ждал сердитых вопросов и ругани, но капитан был спокоен:

— Куда ей,— совсем девчонка. Конечно, страшно.

Берга история с Пиррисоном, видимо, мало интересовала. Глан погрыз ногти и пробормотал:

— Да, жаль, жаль... Ну, что ж, в конце концов это не наше дело.

К вечеру Батурин пришел в гостиницу. В номере стояла духота, сдобренная запахом застоявшегося табачного дыма. Батурин открыл окно и выглянул: в садике уже сидели, покуривая, капитан и Заремба.

Батурин осторожно отодвинул комод, прислушался,— Пиррисона еще не было.

Он лег на кровать, закурил. В садах рыдали певцы — ашуги. Над Курой загорались звезды,— их пламя было как бы новым, ослепительным. Кура несла обрывки этого пламени в мутной воде. Батурин лежал и думал, что вот

через час-два случится неизбежное; отступать теперь поздно.

— Слава богу, конец,— прошептал он. Жизнь в Пушкине, Миссури, желтое солнце на снегу казались замысловатым детством.

«Если бы он убил меня»,— подумал Батурин.

Душно, противно дуло из окон. Валя умерла, прошлые дни шумели штормом, давили тоской по всему, что, конечно, никогда не вернется.

Сегодняшний разговор с Нелидовой показал Батурину, как плохо он вдумывался в жизнь, как мертвы его мысли. Как плоско он отвечал ей,— совсем не то, что нужно. Он понял, что, как и все, он боится говорить о главном. Невысказанность мучила его. В ней, в этой невысказанности, в трусливости перед самим собой — главное песчастье его жизни.

— Пустой болтун,— сказал он громко и покраснел.— Ну, все равно. Сегодня все решится.

От волнения, от множества тугих и запутанных мыслей он задремал. Проснулся оп внезапно, как от яркого света, и похолодел: за окном густо синела ночь. Он поднес к глазам часы,— было половина одиннадцатого. Он проспал больше двух часов.

За дверью были слышны голоса. Батурин сел на кровати и прислушался. Судорога дергала его лицо. Сердце стучало гулко, на всю гостиницу,— казалось, бой его несся по пустым коридорам.

За степой была Нелидова и «он». Пиррисона Батурин в мыслях теперь называл «он».

Батурин осторожно встал с кровати, подошел к двери, нащупал в кармане револьвер,— сталь была теплая. Он прислушался.

— Редкая случайность,— говорил мужской голос с легким смешком. Голос был ровный, без интонаций,— так говорят люди, глубоко уверенные в себе.— Я очень рад, что это случайность.

Нелидова отвечала тихо. Батурин придвинулся к самой двери. Говорила она запинаясь, казалось, что она ждет, прислушивается.

— Об этом нечего говорить. Совершенно неожиданно я узнала, что вы здесь, в Тифлисе. Я не искала вас... Я знаю вас слишком хорошо, чтобы делать такие глупости. Я еще не сошла с ума...

— Вот как! Но зачем же вы все-таки пришли сюда? От кого вы узнали, что я живу здесь?

Нелидова молчала. Послышались шаги, потом в двери щелкнул замок.

— Говорите, не бойтесь. Это меня интересует больше всего.

Голос Нелидовой прозвучал глухо и страстно:

— Это не важно. Я нашла вас. Я пришла задать вам несколько вопросов.

— Пожалуйста.

Мужчина остановился и насвистывал. Очевидно, он засунул руки в карманы брюк и насмешливо глядел на Нелидову.

— Вы жили в Ростове с проституткой? Ее имя Валя.

Свист за дверью стал громче.

— Ну и что же? Что с ней?

— Она умерла.

В комнате что-то упало.

— Сядьте,— сказал приглушенно мужской голос,— сядьте и слушайте. Вы — моя жена. До сих пор мы формально не развелись. Вы, я вижу, знаете многое. Я сопоставляю два факта,— вы знаете о смерти этой уличной девки и о том, что я в Тифлисе. Вы разыскали меня здесь. Говорите дальше,— что вы еще хотите?

— При чем тут жена?

— Сначала спрашивайте, я отвечу сразу на все вопросы.

— У вас тетради моего брата?

В комнате было тихо.

— Где Ли Ван?

Батурин услышал как бы новый мужской голос,— он хрипло сказал:

— Достаточно! Тетради вашего брата здесь, в портфеле. Это интереснейший документ. Насколько я помню, вы его не читали. Теперь, оказывается, вы им сильно заинтересованы. Ваше любопытство подозрительно. Слушайте. Но... спокойно. Да, я жил с проституткой, и ее убил Ли Ван. Ли Ван здесь. Надеюсь, что для вас этого довольно. Повторяю, вы все еще — моя жена. За каждый мой шаг вы ответите вместе со мной. Я играю ва-банк. Ваше появление говорит, что игра моя может сорваться. Я не знаю, кто вас подослал, но я догадываюсь. Вы пришли как враг. Было бы глупо выпустить вас, не получив никаких гаран-

тий, что вы будете молчать. Какие же вы можете дать мне гарантии? Я жду.

— Отдайте мне тетради и выпустите меня. Я не сделаю вам зла.

Мужчина засмеялся и опять начал насвистывать. Батурин вынул револьвер и перевел кнопку на «огонь».

— Я жду...

После минутного молчания Батурин услышал звенящую и ясную фразу:

— Вы — подлец, Пиррисон! Вы убили эту девушку!

— Не кричите. Всегда убирают тех, кто слишком догадлив. Бросьте глупости. Девушка много знала.

Пиррисон говорил теперь горячо и неосторожно.

— Боюсь, что вы тоже слишком догадливы. Я — солдат, я каждый день рискую головой. Это чудовищное сплетение обстоятельств, не больше, что вам удалось узнать так много. Я согласен отдать вам часть тетради. Вам нужна память о вашем брате,— он был храбрый и умный человек. Вот, берите (на стол что-то упало). Уходите сейчас же. Завтра вас не должно быть в Тифлисе. Каждый ваш шаг я прослежу и в случае...— Пиррисон остановился,— но вы понимаете сами. Я сказал, что Ли Ван здесь. Даже больше, я ждал вас к себе в ближайшие дни,— дом в Сололаках вот-вот развалится. Здесь вы могли бы устроиться с бо́льшим комфортом. Можете передать этому дураку в морской фуражке, что он кончит плохо. За это я ручаюсь. А теперь — вон!

Пиррисон, видимо, волновался. Темная кровь ударила Батурину в голову,— на секунду ему показалось, что он ослеп.

— Так вот что...— Нелидова говорила громко.— Ну, ладно же...

Батурин услышал легкий крик, возню. Пиррисон быстро прошептал:

— Тише, ты, дрянь!

Упал стул. Батурин услышал тяжелый стон и сильно ударил плечом в дверь. Она распахнулась легко и бесшумно. Полутьма комнаты ослепила его. Пиррисон стоял спиной к нему, навалившись на стол и зажимая Нелидовой рот,— с пальцев его текла кровь. Нелидова полулежала на столе, упираясь в его грудь руками, глаза ее были закрыты.

Первое, что ясно заметил Батурин,— шнур от настольной лампы. Он наклонился и рванул его,— лампа с грохотом упала и погасла.

— Кто там? — крикнул Пиррисон, и голос его сорвался.

— Стоп! — Батурин до боли сжал в руке рукоятку револьвера.— Тихо... или я буду стрелять.

Пиррисон повернулся и медленно отступал к окну. Круглые и взбешенные глаза его перебегали с раскрытой двери на Батурина,— из комнаты Батурина падал желтый свет.

Батурин поднял револьвер. Первый раз в жизни он так близко целился в человека. Не спуская с Пиррисона глаз, он осторожно шел к столу. На столе лежал желтый, тугой портфель.

Нелидова сидела на столе, глаза ее были широко открыты, она что-то беззвучно шептала, глядя на Батурина, губы ее были в крови.

В зеркало Батурин заметил, что Пиррисон тянет руку к заднему карману брюк.

— Ну, где же Ли Ван? — Батурин не узнал своего голоса.— Вернул он вам вашу простыню?

Пиррисон молчал,— было слышно его хриплое и прерывистое дыханье. Батурин потянул к себе портфель и в ту же минуту в дверь громко и требовательно застучали. Пиррисон присел. Батурин выстрелил,— в руке Пиррисона он заметил крошечный черный револьвер, похожий издали на дамский портсигар.

«Стой, не уйдешь!» — подумал Батурин. Кто-то сильно толкнул его в плечо. Глухо хлопнул дамский браунинг, в четырехугольнике открытой в соседний номер двери метнулась квадратная спина Пиррисона.

Батурин увидел вдруг исполинские звезды, ему показалось, что на плече у него переломили толстую бамбуковую палку. Он споткнулся и упал вниз лицом. Последнее, что он помнил,— сильный ветер и женский крик.

Потом его долго и мутно качало, и лампочки, множество лампочек слепило глаза.

— Все кончилось,— прошептал он и вздохнул.— Нет, ничего, все кончилось... Не сердитесь...

Очнулся он через сутки в больнице на Цхнетской улице. В белой палате стоял синеватый вечерний свет,— еще не зажигали ламп.

Батурин хотел повернуться к стене,— слезы подступили к горлу: левое плечо хрустнуло и горячо заныло. Он искоса взглянул на него,— оно было забинтовано, и рука накрепко прибинтована к туловищу полотняными бинтами. Пахло йодом, больничной чистотой.

Тишина была прекрасна. Батурин прислушался и не услышал ничего — ни мягкого шарканья туфель, ни хлопанья дверей, ни отдаленных голосов. Казалось, что он покинут в этой белизне и пустынности, что капитан, Берг и Глан ушли в небытие, их нет... Нет беспорядочной жизни, не надо думать о чужих и загромождающих душу вещах.

Правой рукой он осторожно провел по лбу,— испарина выступила на нем. Невесомая пустая усталость лежала в теле; хотелось горячего крепкого вина.

«Лежать бы месяц-два,— подумал Батурин.— Лежать, засыпать, просыпаться и думать о Вале, о старинном портовом городе, откуда уехала Нелидова, может быть, так и умереть в этом белом молчании».

— Никого не хочу,— прошептал Батурин.— Не хочу никого, даже ее, Нелидову. Девочка запуталась в жизни. Она любит этого негодяя. Ну и пусть. Пусть он душит ее, бьет, пусть она дрожит перед ним, как собачонка.

Он мстил за Валю, за мучительные мысли о счастье, о чистоте человеческих помыслов. Новую свою веру в человека, в вечную его молодость он как бы закрепил своей кровью.

Он догадывался, что Пиррисон ускользнул, но думал, что дни его можно пересчитать по пальцам.

«Жаль, что ушел,— подумал он о Пиррисоне.— Как это я промахнулся!»

Он вспомнил о Ли Ване, забеспокоился, дотянулся до кнопки на столике и позвонил. Звонка не было слышно,— он потонул в глубине вечернего безмолвия. Пришла молоденькая грузинка-сестра и сказала ласково:

— А... вы очнулись. Хотите горячего?

— Да...— Батурин задыхался от слабости.— Да... Мне нужно срочно видеть капитана Кравченко. Запишите адрес и вызовите его ко мне.

До конца приемного времени оставалось больше часа. Батурин тревожился, смотрел на дверь. Ему казалось, что сестра забыла послать за капитаном.

Вместо капитана пришел Берг. Он боялся громко говорить, поглядывал на Батурина и мял в руках кепку.

— Ну, слава богу,— сказал он шепотом.— Наконец вы очнулись. У вас прострелено плечо, рана несерьезная. Обморок у вас был из-за нервного потрясения. Лежите, не двигайтесь. Я сам расскажу вам все по порядку.

— Погодите...— Батурин поднял голову и поглядел в глубь блестящего линолеумом коридора.— Погодите... Сейчас очень опасно... С ним в Тифлисе его слуга, китаец, ну... тот самый, о котором я говорил на пароходе... помните, конечно... Они из одной шайки. Ли Ван убил Валю за то, что она слишком много знала. Понимаете, Берг, она слишком много знала.

Берг положил холодную руку на его локоть и попросил:

— Потом расскажете, лежите тихо.

— Нет... постойте... Ли Ван здесь... Он страшнее Пиррисона. Вы не знаете сами, под какой опасностью ходите. Бросьте дом в Сололаках, уезжайте... Скажите капитану,— нужна крайняя осторожность, особенно на улицах...

— Успокойтесь, Батурин. Сегодня ночью арестовали и Пиррисона и этого самого китайца. Их захватили в Мцхете. Все в порядке.

Батурин закрыл глаза, лоб его покрылся испариной.

— Как?!

— Очень просто. Капитан сообщил властям. Они уже сидят, и, конечно, не вырвутся. Разговор с ними будет короткий. Вчера было паршиво. Мы ждали с семи до одиннадцати часов, пока потух свет. Первыми бросились в гостиницу капитан и Заремба. В коридоре они столкнулись с Пиррисоном,— он выскочил из соседнего, вашего номера. Он был без пиджака, с дамским браунингом в руке. Капитан понял, что случилось неладное. Он дал ему подножку — совершенно детский прием — выбил револьвер, но Пиррисону удалось бежать. Он вскочил в трамвай на ходу, трамвай шел к Муштаиду. Я пришел в номер, когда там была уже милиция. Первое, что я увидел,— это вас. Вы лежали ничком, в крови; у вас с трудом разжали руку и вынули револьвер.

Нелидова была там. Это было так неожиданно, что капитан до сих пор ходит как чумной. Как, почему она там оказалась! Она сейчас в Сололаках, но ее страшно расспрашивать. Она всю ночь проплакала,— мы не спали, ходили кругом нее, а чем помочь — не знаем.

Даже капитан с ней нежен. Вы представляете капитанскую нежность,— нужны железные нервы, чтобы выдержать его заботу. Она сказала капитану только одно: «Я пришла к Пиррисону, чтобы помочь вам,— довольно вам этого?» Капитан ответил: «Еще бы...» — и спасовал. Кажется, это первая женщина, с которой он считается всерьез. Дневник у нас. Я кое-что прочел, есть поразительные вещи. Насчет моторов, конечно, я ни черта не понял. Дело сделано. Вы поправитесь, и тогда мы двинем в Москву. Вот только за нее страшновато. Уж очень она ходит чудная.

Берг помолчал.

— Да... вот... Нелидова просила узнать,— ничего, если она придет сюда завтра вечером?

Батурин молчал. От слабости у него кружилась голова. Берг добавил, глядя в пол:

— Когда Пиррисон выхватил револьвер, она толкнула вас в плечо, иначе кончилось бы хуже: он целил вам в голову. Вы должны повидаться с ней.

— Берг,— голос Батурина звучал глухо и печально,— Берг, я не скажу ей, что ненавижу ее. И вы теперь не сказали бы этого Вале, если бы можно было вернуть прошлое. Правда?

Берг наклонил голову.

— Мы друзья,— сказал он тихо.— Жизнь переплела мою судьбу с вашей. Я думаю, что мне осталось жить совсем не долго: сердце свистит, как дрянной паровоз. Сейчас не будем говорить об этом, но потом, когда вы поправитесь, вы расскажете мне все о Вале. Она не могла простить меня. Такие вещи не прощают. Она любила вас,— скрыть этого вы не можете. Ну, что ж. Одним дано, чтобы их много любили, другим... Но не в этом дело. Жизнь раздвигается. Никогда я так не тянулся к жизни, как вот теперь. Мне нужно все, понимаете, все. Из этой жизни я создам хорошую повесть, и в этом будете виноваты вы.

Берг слегка потрепал руку Батурина.

— Ну, что же ей сказать?

— Можете сказать все, что придет вам в голову. Она должна прийти,— поняли? И капитан, и Глан, и Заремба — все!

Берг ушел, насвистывая. Сестра сделала ему замечание,— в больнице не свистят. Берг покраснел и извинился. На Головинском он купил жареных каштанов. По

улицам бродил ветер и перебирал сухими пальцами дрожащие яркие огни.

Ночь, стиснутая горами, казалась гуще и непроглядн响ей, чем была на самом деле. Батурин смотрел за окно, считая звезды, насчитал тридцать и бросил. Мысли его разбегались. Тонкий свет ложился квадратом на пол у самой кровати,—в коридоре горела слабая матовая лампочка. Батурин дремал, множество снов сменялось ежеминутно. Тело тупо ныло, хотелось повернуться на бок, но мешала забинтованная рука.

Утром ему делали перевязку. Он стиснул зубы, побледнел, но промолчал.

Утро пришло пасмурное. Сестра сказала, что на улице холодно. Около кровати потрескивало отопление. Батурин уснул, его будили два раза — давали чай и мерили температуру. Батурин покорно позволял делать с собой все,— сестра даже пригладила его волосы, он только устало улыбнулся.

Врач, перевязывая его, удивлялся его сложению, говорил ассистенту: «Смотрите, какое хорошее тело!» Батурин краснел. Ему казалось, что тело его налито жаром и болезнью, каждый нерв дрожал и отзывался на прикосновенье прохладных рук врача.

В сумерки он задремал и не заметил, как вошла Нелидова. Он дышал неслышно. Нелидова наклонилась к его лицу,— ей показалось, что он не дышит совсем, у нее замерло сердце. Потом она ощутила на своей щеке горячее его дыханье, села на белый маленький табурет и долго смотрела за окно. Ветер качал деревья. Сумерки казались уютными от освещенных окон.

Батурин открыл глаза, туманные от множества снов, увидел Нелидову и спросил тихо:

— Что ж вы не разбудили меня?

Нелидова резко повернулась, тревожные ее глаза остановились на его лице. Она молчала, потом с ресниц ее сползла тяжелая слеза.

— Не надо плакать.— Батурин говорил очень тихо, задыхаясь.— Я причинил вам много горя. Если бы я мог, я давал бы таким людям, как вы, только радость... много радости, столько радости, что ее хватило бы на весь мир.

— Нет, нет,— Нелидова схватила его здоровую руку, щеки ее залил румянец.— Вы должны простить меня за Керчь, за разговор в Ботаническом саду.

— Я знаю все, что было там... в сорок девятом номере.

Он улыбнулся. Казалось, эта улыбка решила все,— годы тревоги, тоски, одиночества были позади. Она улыбнулась в ответ.

— Зачем вы пришли к Пиррисону?

Нелидова помолчала, потом нервно рассмеялась:

— Затем, чтобы оберечь вас от смерти.

Батурин закрыл глаза,— голова опять сильно кружилась.

— Вот вы спрашивали, почему я уехала на юг. Бежала. Бежала от кинорежиссеров, от сотрудников киножурналов, от операторов, от всех этих кинолюдей. Они носят толстые чулки, черепаховые очки, «работают» под американцев, в большинстве — они наглы и самомнительны. В провинции люди проще и человечнее. В провинции можно читать и гораздо острее чувствуешь. Даже заботы приятны: принести из колодца воды, пойти на рынок ранним утром, когда море слепит глаза. Я хотела отдыха,— не санаторного, а действительного отдыха: тишины, книг, любимой работы, неторопливости. Надо было разобраться в прошлом. И в Керчи я вас встретила враждебно, потому что вы принесли это прошлое.

Выздоровление свое Батурин ощущал как безмолвие, как осторожные шаги друзей — капитана, Берга, Зарембы, Глана, приносившего в кармане плоскую флягу с коньяком. Нелидова никогда не приходила одна — всегда с Бергом или Гланом. Движенья ее были порывисты, она боялась молчанья.

Вся жизнь теперь сосредоточивалась вокруг больницы: Берг приходил и читал отрывки из своего нового романа. Капитан, успокоенный и иронический, снова обрел свой стержень и вращался вокруг него, как огненное колесо, разбрызгивая острые словечки и смехотворные истории. Глан бродил среди всех, как добрый дух сололакского дома.

Батурин выписался через две недели. За ним приехали Нелидова и Берг. Похудевший, он вышел на крыльцо, опираясь на плечо Нелидовой. Осень проносилась в прозрачном небе. Крепкий ее воздух обжигал губы.

— Обопритесь на меня крепче,— сказала Нелидова,— у вас кружится голова.

Она заглянула Батурину в глаза, и он подумал: «Как много в этом городе солнца».

РОДНИКОВЫЙ ВОЗДУХ

На станции Казбек испортился руль. Седой шофер натянул синюю замасленную куртку и полез под машину. Серый и низкий «фиат» был еще тепел от стремительного бега над пропастями, шиферная пыль покрывала его лакированные крылья.

Внизу переливался через камни мутно-зеленый Терек. Казбек был в тумане.

Стояла осень. На днях должны были закрыть Военно-Грузинскую дорогу. В долинах Арагвы глаз отдыхал на багряных виноградниках.

Перевалы напоминали о море в синий зимний день,— так же чист был воздух, и снега ослепляли зернистой белизной.

В это время года дорога пустынна. Встречались только скрипучие арбы, нагруженные камнями, и молчаливые всадники в потертых бурках. Они косились на машину и сдерживали поджарых коней.

Машина гулко неслась, стреляя щебнем в парапеты, и незатихающее ее движение создавало впечатление неподвижности: седой и стареющий к зиме Кавказ вращался вокруг громадами хребтов, багрянцем долин, тишиной и невесомым небом.

Север приближался с каждым километром: впереди были степи, оттуда задувал временами ледяной ветер, и шофер натянул после перевала меховую рыжую куртку.

Нелидова зябла, от холода лицо ее побледнело. В Пасанаури к машине подошел грузин-пастушонок, крошечный и печальный. Ему было не больше семи лет; он держал за ремень и тянул по земле старинное кремневое ружье. Козы блеяли на скалах. От земли шел запах высохшей травы.

Нелидова вышла из машины. От глубокого безмолвия, от тесноты гор и ясного ощущения осени у нее сжалось сердце. Она подняла пастушонка на руки и поцеловала в тугую, смуглую щеку. Пастушонок вырвался, подобрал ружье, отошел в сторону и долго смотрел на машину и на странных людей, пивших на террасе духана вино и горячий чай. Люди эти были веселы и старались заманить его поближе, особенно один — высокий, с золотой бляхой на кепке. Он протягивал пастушонку шоколад в серебряной бумаге и говорил хриплым и страшным голосом:

— Ну, иди, иди, чего ж ты боишься!

Пастушонок не выдержал, подошел, схватил шоколад и побежал к своим козам. Ружье скакало и гремело по камням.

В Казбеке задержались. Починка была сложная, и шофер чинил не спеша: близился вечер, а ночью ехать было все равно нельзя. Пришлось заночевать в пустой и холодной гостинице,— двери в ней не закрывались.

Хозяин — лодырь и, видимо, неудачник — пил вино с аробщиками и не обращал внимания на посетителей. Пусть устраиваются, где хотят, все комнаты свободны,— пожалуйста, выбирай что нравится. Глан походил по гостинице, поднялся по скрипучей лесенке наверх и выбрал самую холодную комнату, окнами на Терек и Казбек.

Густел вечер, горы стали мрачными. Казалось, из ущелья нет выхода, и всю жизнь будет этот сизый сумрак, пустынность, холодное небо, где плыли красные предветренные облака.

Когда все легли на кошме, укрывшись плащами и бурками, Батурин достал дневник Нелидова, сел к столу, открыл наугад и начал читать.

«На большой высоте хорошо бы остановить мотор, добиться, чтобы аппарат парил над землей, и дышать. Люди давно потеряли ощущение дыханья. Ни одно чувство не может сравниться с ним. Во время полета из Тифлиса в Москву я сел в горах: началась течь в бензиновом баке. Я чуть не свернул себе шею. Вдали были горные пастбища. У самых колес аппарата шумела по камням вода, я опустил в нее руку,— рука заледенела. Было раннее утро, незнакомая страна дымилась в долинах. Над ее дымом стоял этот воздух, пахнущий снегом и молодостью. Я дышал медленно, с наслаждением, и мне казалось, что я глотаю синий лед. Голова свежела с каждой минутой. Я разделся, облился водой, закурил и лег у колес аппарата, укрывшись пледом. Я спал очень долго и, проснувшись, понял, что лучшее, что есть в мире,— родниковый воздух и горная тишина...»

Батурин перевернул несколько страниц.

«Косматый осенний рассвет над Парижем. Внизу только мутный блеск аспидных кровель. В дожде — запах вянущих и пышных парков — всех этих Версалей, Сен-Клу,

Монсо. Дождь мелко и тепло бьет в лицо,— я лечу в бесконечном душе. Справа как будто угадывается дымящаяся туманом Англия.

Аэродром скользкий, пустой. Дождь шуршит в боскетах. Люди под зонтиками спешат к аппарату. Я жму мокрой рукой их теплые земные руки,— в них еще сохранилось тепло постелей и комнат, наполненных кофейным паром.

Сонный, зябкий, я еду на машине в полпредство, рядом со мной сидит сотрудница его, московская девушка, платье не закрывает ее круглые маленькие колени. Она смотрит на меня смущенно из-под мокрых ресниц и не знает, о чем говорить. Париж блестит, тонет в черном асфальте, в росе этого чудесного дождя, и я дремлю, сползаю на кожаные подушки сиденья, вижу, как вверху проносятся голые ветки платанов и окна мансард, освещенные изнутри,— раннее утро похоже на сумерки. Девушка трогает меня за рукав и говорит: «Потерпите еще немного, милый, уже скоро». Так говорят сестры или любимые женщины. Я с изумлением смотрю на нее. Я ничего не понимаю,— мне кажется, что только сон разрешит эти странности жизни, без которых жить все же немыслимо.

Так я провел в Париже два дня в легком волнении. Впервые мне не хотелось летать. Я почувствовал привязанность к земле, к мокрым дорожкам в садах, к вкусу жареных каштанов, к круглым девичьим коленям и к веселым глазам парижских шоферов. В этих днях было смешение диккенсовского уюта с новейшими моторами «ситроена». Мне нестерпимо хотелось поехать в Бретань, в эту страну, похожую на детские переводные картинки. Там клейко и старо пахнет зеленью и морем. В такие дни жизнь казалась мне сделанной игрушечным мастером,— от нее шел запах свежих опилок, краски и снега...»

Батурин закрыл тетрадь, задул свечу и подошел к окну. Над горами полыхали звезды. Монотонно гудел Терек, да слышался пьяный храп неудачника-хозяина.

Батурин осторожно лег рядом с Бергом. От холода у него ныло плечо, он не мог заснуть. Берг к утру проснулся, поглядел за окно. Сизый, как бы налитый мутной водой рассвет неуютно вползал в комнату. Берг согрелся, и ему хотелось, чтобы ночь тянулась бесконечно. Он тихо спросил Батурина:

— Скажите мне правду,— она простила меня?

— Да.

— Как вы думаете,— спросил еще тише Берг,— лет через сто люди найдут способ вылечивать раны, которые теперь считаются смертельными?

— Конечно.

— Мы рано с вами родились, Батурин.

Капитан повернулся на другой бок и проворчал:

— Бросьте разводить философию. Вот невозможные типы!

Берг затих.

Утром машина вынесла их из ущелья,— горы остались позади дымной стеной. Они прямо подымались из серой по осени степи. Над равниной висело реденькое, русское небо, дул теплый ветерок, пахло дымом соломы.

На западе глыбой ломаного льда синел Эльбрус. Кавказ отодвигался в туманы, в нескончаемые дали.

ЭХ, РОССИЯ, РОССИЯ!..

Пароход из Москвы опаздывал. Паромщики разожгли на мокром берегу костер,— в осеннем дне зашумел огонь. Над Окой потянуло легким дымком. Приокские луга стояли в росе дождя, съеденные пепастьем. Бурые листья падали со старой ветлы у пристани.

Глан предложил пойти дожидаться в чайную. Нелидова и Батурин согласились. Они пошли через рыжие пески в Верхний Белоомут. С черных веток ветер стряхивал отстоявшиеся капли. За чистыми окошками краснела герань; казалось, воздух был пропитан назойливым сладким запахом ее листьев.

В трех верстах от Белоомута в сельце Ивпяги жила нянька Нелидовой — бабка Анисья. Муж ее — огородник — все время пропадал по ярмаркам. Новый дом со светлой горницей весь год стоял пустой,— старуха жила на черной половине. Теперь в горнице поселились Нелидова, Батурин и Глан. Глан бывал в горнице только днем, ночевал он на сеновале. Батурин спал в клетушке около горницы, из окна была видна Ока, а по ночам — редкие береговые огни. Приехали они сюда на неделю, но жили уже две — ждали Берга.

В чайной на втором этаже, на закоптелых стенах были

наклеены портреты вождей — Ленина, Калинина. За узкими окнами стучали о стену худые березы. Накрапывал дождь. Среди площади чернели дощатые ларьки — место густо унавоженных и сытых базаров.

— Эх, Россия, Россия! — промолвил Глан и задумался, глядя, как по верхушкам берез дует мокрый ветер.

Поздняя осень здесь, в Рязанской губернии, была холодна. Бодрили рассветы, съедавшие листву крепкой росой.

Глан любил ходить за покупками из Ивнягов в Беломут через березовый лес. Идти и слушать, как шелестит дождь, насвистывать, смотреть на туман над Окой. Вода в реке была железного цвета.

Отогревшись в чайной, среди пара и белых фарфоровых чайников, Глан возвращался всегда в сумерки. Дни стояли короткие, похожие на серые и медленные проблески. Волчья тишина залегала в полях. С востока ползла густая и дикая ночь — ночь смутного времени, веков Ивана Грозного — косматая, ветреная, сдувавшая набок рыжие бороды паромщиков.

На пароме пахло прелой лошадиной шерстью и рыбой. Фонарь на шесте был беспомощен. При взгляде на него казалось, что никакой Москвы нет,— нет ни электричества, ни железных дорог, ни книг, ни театров, а есть только этот хриплый собачий лай, храп лошаденок, осклизлые телеги, хлюпанье воды в сапогах, да вот эти прибитые к земле, придавленные ночью Ивняги, Белоомуты, Ловцы и Борки. Жестяные лампочки за потными окнами вызывали мысль о тепле, заброшенности и желание спать,— спать до рассвета, когда моргающий денек прогонит ночную, непролазную тоску.

— Чудно́! чудно́! — пробормотал Глан и закурил.

Батурин спросил:

— Вам здесь не нравится?

— В том-то и дело, что нравится. Неожиданно все очень. Вчера на Оке встретил шлюпку,— идет под парусами к Москве. На шлюпке матросы-каспийцы. Шлюпка пристала у парома, матросы вышли,— всё молодежь, комсомольцы. Оказывается,— это переход из Баку в Москву. Я с ними чай пил, познакомился. Один из них рулевой Мартынов, он плавал на «Воровском» из Архангельска во Владивосток, видел Сунь Ят-Сена, много о нем рассказывал. Вспомнили с ним Шанхай. Чудно. Пастушонок Федь-

ка влез в наш разговор: «У меня, говорит, дядька был командующим Красной Армией на Дальнем Востоке. Во! Рабочий, говорит, с Коломенского завода. Видал! Вот в энтом, говорит, месте он прошлый год рыбу удил, приезжал па побывку». А старик Семеп мне все уши прожужжал про Малявина. «Вот которые, говорит, обижаются на мужичков,— дикий, мол, народ, бессознательпый, матерщинники. Неверно! Брехня! Ты слушай, тут вот недалече усадьба художпика пашего Малявипа,— что с ей было. Как дали свободу, все усадьбы палили, а в его усадьбе даже наоборот, мужички охранение поставили. Я сам в ем стоял. Для охраны картип. Чтоб ни-ни... Мы тоже не лыком смётаны, кое-чего и мы понимаем. Ты не гляди, что я серый. Серость-то моя не больно простая». На днях встретил огородпика Гришипа. Болтали о сем, о том — больше насчет ярмарок: где лучше — в Егорьевске, в Коломне или Зарайске, а потом оказалось, что у этого огородника племянница — скульпторша Голубкипа, ученица Родена. Вот и разберись. Матерщина. Женщины, прекраснее которых я не встречал, болота, и среди болот в дрянной церковке — икона, может быть, Рублева, не знаю,— таких красок и мастерства пет и на Западе. Черт знает что. Паромщик Сидор молчал, молчал, а вчера проговорился: он в тысяча девятьсот пятом году был комиссаром Голутвипской республики, Гершуни зпал, историю его расскажет лучше, чем мы с вами. Идет вот такой мужичонка, порты подтягивает,— смотришь па него и дрожишь, может быть, в душе-то оп Толстой или Горький. Прекрасная страна, а сила в ней — рыжая, тугая, налита она ей, как вот зимние яблоки, румяпец в щеки так и прет.

С Оки глухо затрубил пароход. Пошли не спеша на пристань. Пароход трубил за разрушенными шлюзами, верстах в пяти. У пристапи сбились телеги. Лошаденки, засунув морды по уши в полотняные торбы, жевали овес. Подводчики похаживали около, вздыхали, ругались о каких-то «кровяных сазанах». Вода на реке морщилась от дождя.

Пароход с непонятным названием «Саратовский Рупвод» долго и бестолково шлепал колесами, навалился на пристань, пахнул теплом и паром. Берг махал с палубы кепкой. Сгорбленный, с поднятым воротником, он показался Нелидовой родным и печальным.

— Как чудесно,— сказал Берг возбужденно, здорова-

ясь со всеми.— Как хорошо на реке. Я отдохнул на два года вперед.

В Ивняги пошли пешком.

От голых кустов с красной глянцевитой корой пахло терпко и славно. Над лесом небо прояснилось,— бледное солнце пролилось на серые колокольни Белоомута. Рыхлый песок был напитан влагой. Берг шел и оттискивал глубокие следы; они наливались водой, такой чистой, что ее хотелось выпить. Встретились подводы — огородники везли в Зарайск яблоки. После подвод остался крепкий запах яблок и махорки.

— Как хорошо, что вы приехали сюда отдыхать.— Берг улыбнулся.— Вот где все можно продумать. Теперь слушайте новости. Дневник капитан уже сдал,— инженер потрясен, он даже заболел от этого. Наташа ждет вас. Капитан нашел комнату в Петровском парке и перевез туда Миссури и все свое барахло. На днях он получает пароход, где — не знаю, еще неизвестно.

Берг помолчал.

— Вы читаете газеты?

— Редко.— Глан заинтересовался: — А что?

— Да...— Берг замялся. Зачастил дождь, и они пошли быстрее. Нелидова шла легко, перепрыгивая через лужи.— Да... Есть крупная новость... Дело в том, что Пиррисон...

Нелидова шла, не подымая голову,— казалось, она тщательно рассматривает дорогу.

— Пиррисона расстреляли,— сказал быстро Берг, остановился и закурил. Они стояли на берегу Оки у красного перевального столба. Река мыла глинистый берег.

— Он оказался шпионом,— добавил Берг и посмотрел на Нелидову. В напряженных глазах ее был холод, брезгливая морщинка легла около губ. Глан и Батурин молчали.

— Расстрелян также и тот, китаец.— Берг поднял с земли бурый стебель щавеля и внимательно его рассматривал.

— Где? — спросил Глан.

— В Тифлисе.

— Пойдемте, вы промокнете.— Нелидова пошла вперед по береговой тропе.

В горнице бабка Анисья собрала чай. Нелидова наки-

пула легкий серый плащ,— ей было холодно. Она изредка проводила рукой по волосам, потом взглянула на Берга и сказала, болезненно улыбаясь:

— Милый, милый Берг, вы боялись, что мне будет трудно узнать об этом. Все это прошлое, такое же скверное, как и у вас. Я совсем не та, что была в Керчи и в Москве. Эти места меня успокоили. Здесь все как нарочно устроено, чтобы оставить человека наедине с собой.

Батурин заметил совсем новые ее глаза. Один лишь раз они были такими: в Батуме, когда курдянка гадала у Зарембы и куплетист спел песенку о тетрадке в сто один листок.

Вечером Берг читал свой новый роман. Движение сюжета произвело на Батурина впечатленье медленного вихря. В простом повествовании Батурин улавливал контуры истории, прекрасной, как все пережитое ими недавно, и вместе с тем далекой, как голоса во сне. Он понял, что ночь, рязанская осень, дожди — все это хорошо, нужно, что жизнь переливается в новые формы.

На следующий день Берг подбил Батурина пойти купаться. Батурин взглянул за окно и поежился: от Оки шел пар.

Купались они около разрушенного шлюза. В голых кустах пищали и прыгали озябшие, крошечные птицы. Небо почернело,— того и гляди, пойдет снег. Батурин стремительно разделся и прыгнул в воду: у него перехватило дыхание, показалось, что он прыгнул в талый снег. Он поплыл к берегу, вскрикнул и выскочил. Растираясь мохнатым полотенцем, он понюхал свои руки — от них шел запах опавших листьев, ноябрьского дня. Он оделся, поднял воротник пальто; кепку он оставил дома. Волосы были холодные, и по ним было приятно проводить рукой.

Берг одевался не спеша,— купанье в этот хмурый ледяной день доставляло ему глубокое наслажденье. Он поглядел на Батурина и удовлетворенно ухмыльнулся.

— Вы помолодели на десять лет,— сказал он, танцуя на одной ноге и безуспешно стараясь попасть другой в штанину.— У вас даже появился румянец. Вы — ленивы и нелюбопытны, до сих пор не могли раскачаться. Купайтесь каждый день и пишите,— два лучших занятия в мире.

— Я пишу.

— Прочтете?

— Да, вот только кончу.

— Благодарите Пиррисона. Если бы не эти поиски, вы бы закисли в своем скептицизме. Очень стало жить широко, молодо. Вот кончу роман, поеду в Одессу, там у меня есть одно дело. Зимой в Одессе норд выдувает из головы все лишнее и оставляет только самое необходимое,— отсюда свежесть. Пойду пешком в Люстдорф мимо заколоченных дач: пустыня, ветер, море ревет — красота. Едемте. Есть такие старички-философы, мудрые старички,— с ними поговоришь: все просто, все хорошо. Так и одесская зима. Ходишь по пустым улицам и беседуешь с Анатолем Франсом.

— В Одессу я не поеду,— ответил Батурин.— У меня есть дело почище.

— Какое?

— Пойду в люди.

Обратно шли по тропе через заросли голых кустов. Ветер нес последние листья. Вышли в луга и увидели Нелидову,— она быстро шла к ним навстречу. Ветер обтягивал ее серый плащ, румяное от холода лицо было очень тонко, темные глаза смеялись. Она взяла Батурина под руку и сказала протяжно:

— Разве можно кидаться в ледяную воду? Эти берговские выдумки не доведут до добра.

Берг подставил ей щеку.

— Потрогайте,— горячая.

Нелидова неожиданно притянула Берга и поцеловала.

— Берг, какой вы смешной!

Берг покраснел. Шли домой долго, пошли кружным путем в обход озера. К щеке Нелидовой, около косо срезанных блестящих волос, прилип сырой лимонный лист вербы. Желтизна его была припудрена серебряной мельчайшей росой.

Около озера Берг остановился закурить и отстал.

Маленькие волны плескались о низкий берег.

Нелидова крепко сжала руку Батурина, заглянула в лицо — в глазах ее был глубокий нестерпимый блеск — и быстро сказала:

— Теперь-то вы поняли, почему я не могу бросить вас? Это началось у меня еще там, в Керчи, когда я потеряла браслет.

Батурин осторожно снял с ее щеки тонкий лист вербы.

— Мне надо было сказать вам это первому. Я, как всегда, опоздал.

Берг нарочно шел сзади и хрипло пел:

Прочь, тоска, уймись, кручинушка,
Аль тебя и водкой не зальешь!

В воздухе лениво кружился первый сухой снег. Пока они дошли до дому, земля побелела и над снегом загорелся румяный рязанский закат.

ГОРЯЩИЙ СПИРТ

Поздней осенью 1925 года норвежский грузовой пароход «Верхавен» сел на камни в горле Белого моря. Команда и капитан, не сообщив по радио об аварии и не приняв никаких мер к спасению парохода, съехали на берег. По международному морскому праву пароход, брошенный в таких условиях командой, поступает в собственность той страны, в водах которой он потерпел аварию.

«Верхавен» перешел в собственность Советского Союза, и капитан Кравченко получил предписание принять его, отремонтировать и вступить в командование.

Капитан сиял: помогли «пачкуны-голландцы», подкинули пароход. Глана капитан брал с собой заведовать пароходной канцелярией. Первым рейсом «Верхавен» должен был идти в Роттердам.

Жил капитан в Петровском парке в двух комнатах вместе с Гланом, Батуриным и Бергом.

Был январь. Над Москвой дымили морозы, закаты тонули в их косматом дыму.

В дощатые капитанские комнаты, как и в Пушкине, светили по ночам снега. Растолстевшая Миссури спала на столе, и многочисленные часы тикали в тишине, заполняя комнаты торопливым звоном. Уезжая по делам, капитан оставлял комнаты, Миссури, книги и часы Батурину и Бергу.

Звон часов вызывал у Берга и Батурина впечатление, что звенит зима. Снега, короткие дни и синие, какие-то елочные ночи были полны этого мелодичного звона. Он помогал писать, вызывал стеклянные сны — чистые и тонкие, разбивавшиеся при пробуждении на тысячи осколков, как бьется хрустальный стакан.

Год отшумел и созревал в Батурине, Берге, в Нелидовой, даже в капитане новыми бодрыми мыслями. Батурин застал однажды капитана за чтением Есенина. Капитан покраснел и пробормотал:

— Здорово пишет, стервец! Вот смотрите.— Он ткнул пальцем в раскрытую книгу:

Молочный дым качает ветром села,
Но ветра нет, есть только легкий звон.

Батурин улыбнулся.

Дожидаясь назначения, капитан вообще пристрастился к книгам. Он зачитывался Алексеем Толстым и подолгу хохотал, лежа на диване, потом говорил в пространство:

— Дурак я, дурак. Всю жизнь проворонил; ни черта не читал.

Батурин замечал вскользь:

— Ведь это — лирика.

— Идите к свиньям, может быть, я сам лирик. Откуда вы знаете.

Когда назначение было получено, капитан устроил банкет. Февраль завалил Петровский парк высокими снегами. Голубые закаты медленно тлели над Ходынкой. Казалось, что весь день стоял над Москвой закат — так пасмурно и косо были освещены ее розовые и низкие дома.

Капитан накупил вина, фруктов, достал чистого спирта — варить пунш. К вечеру приехала Нелидова с Наташей, потом Симбирцев. Он постарел за этот год, в волосах прибавилось седины.

Когда сели за стол, капитан зажег пунш и потушил лампу. Синий пламень тускло перебегал по окнам, за ними мохнато стояла зима. Звенели часы. Капитан встал. Лицо его при свете горящего спирта казалось бледным и взволнованным. Он оглядел всех, остановился на Глане и сказал:

— Друзья! Я ненавижу всякие сентиментальности. Запомните это. Я смеялся над лирикой, над выдумками писателей,— все это вранье не давало никакой пищи моей коробке,— он показал на свою голову.— После всего, что произошло с нами, я несколько изменил свои мысли. Наша страна стремится к величайшей справедливости, в конечном счете к тому, чтобы жизнь для людей стала сплошным расцветом. Вы понимаете, конечно, расцвет всех его физических и духовных сил, расцвет культуры, вот этой самой поэзии, техники.

Я думаю, что придет время, когда вместо вшивых железных гитар, теперешних пароходов, по морям будут плавать пароходы из стекла,— представьте, как это будет выглядеть в солнечный день: сам черт пустится в пляс.

Но не в этом дело. Время пачкупов и лодырей пройдет. Земля будет прокалена на хорошем огне,— тогда, вот в эту эпоху расцвета, придет ваше время, друзья. Вы думаете, что я хрипуп, бурбоп и ни хрена не понимаю. Это неверно! Я — капитан дальнего плавания, поэтому я не могу быть таким дураком, как это некоторым кажется. Я тоже любил женщин, я часами простаивал на палубе, боясь шелохнуться во время тропических закатов. Я знаю, что жизнь без книг, творчества, блестящих идей, любви — это вино без запаха, морская вода без соли. Вот! Вы поняли, к чему я гну?

Я гну к тому, что нечего лаяться, если в большой давке вам наступили на ногу. Я не умею, конечно, так, как Батурин или Берг, излагать свои мысли. Я хочу сказать, что вот я, старик, требую, чтобы вы жили так, будто на земле уже наступила эпоха расцвета. Поняли?

Вы думаете, что я не читал и не знаю стихов. Черта с два! Беранже написал в свое время:

...Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Не повторяйте этих плаксивых слов,— они недостойны современника Великой французской революции, они недостойны и нас, свидетелей величайших мировых потрясений. Я утверждаю, что мы нашли эту дорогу, и нечего насвистывать нам золотые сны.

Капитан медленно сел. Глан смотрел на него прищурившись,— этот человек впервые вышел из своих грубых и резко очерченных берегов.

— Да,— капитан снова встал.— Я забыл. Я предлагаю выпить за летчика Нелидова, которого я считаю человеком будущего, за всех, кто встретился на нашем пути — Зарембу, курдянку, Шевчука, даже за Фигатнера, за Абхазию и Батум с его проклятыми дождями. Сейчас мне, признаться, недостает этих дождей. Я предлагаю выпить и за тех людей, которых вы не знаете, за славных парней, моих товарищей, за моряков всех наций. Прежде всего за капитана Фрея, моего друга. Он один проводил пароходы в десять тысяч тонн через коралловый барьер. И за матроса Го Ю-ли, китайца, любившего больше всего на свете маленьких детей.

Я нарушил древние морские традиции. Если на корабле есть женщина, то первый тост за нее. Я пью за Нелидову, за девочку, посадившую всех нас в калошу своей смелостью, за женщину, которую не стыдно взять в самый гробовой рейс.

Капитан выпил и разбил свой стакан. Пунш горел все ярче. Внезапность этой речи поразила Батурина,— за словами капитана он почувствовал их невысказанный радостный смысл. Странная эта речь беспорядочно пенилась и шумела, как море.

Батурин встал. Пунш погас от резкого его движенья. Капитан зажег лампу. Миссури сидела на стуле, положив лапы на стол, и плотоядно смотрела на ветчину. Глаза ее горели, как автомобильные фонари.

— Я пью за ветер,— сказал, краснея, Батурин,— проветривший наши мозги. Капитан понял цену тем настроениям, от которых полгода назад он был так же далек, как мы сейчас далеки от этого легендарного и милого чудака, что может провести любой пароход через коралловый барьер.

Мой скептицизм растворился в жизни, как кусок сахара в чае. Мне трудно говорить о прошлом. Нельзя жить в спичечных коробках. Прикрепленность к месту убивает, узость ежедневных мыслей, привычек и воркотни превращает нас в манекенов. Лучшее, что я испытывал в прошлом,— это ярость зверя, захлопнутого западней. Есть люди, всю жизнь топчущиеся в кольце Садовых. Разве можно дать человеку тридцать квадратных верст и не считать его приговоренным к пожизненному заключению?

Все должно принадлежать нам! Я требую права освежать свою жизнь, быть человеком, я требую права мыслить, создавать, наконец, права бороться!

— От кого вы думаете это требовать? — спросил капитан.

— От самого себя, от окружающих, от жизни. Я пью за то, чтобы свежесть не выветрилась из нас до самой смерти.

Берг перебил его:

— Довольно тостов! Мое слово — последнее. Поэзия отныне признана в этом доме, и потому я смело предлагаю выпить за близкую весну. Когда из головы выброшен весь мусор, невольно ждешь небывалых весен. Жизнь представляется пароходной конторой, где можно купить билет в Каир или Лондон, Нью-Йорк или Шанхай. Нет невоз-

можного, надо только уметь желать. Выпьем же за это уменье!

К утру пошли провожать Нелидову и Наташу. Уже светало. От снега, от города в редких и острых огнях шел запах гавани, рассола. Около Триумфальных ворот их застало солнце. Оранжевый свет косо упал на нагроможденье домов, купола, трубы. Берг поежился, закурил и пробормотал:

— Да, много было солнца.

Синее и высокое солнце Одессы, полное спектрального блеска, висело здесь густым и ржавым шаром. Тяжелой позолотой горело оно в глазах Нелидовой, потемневших от бессонной ночи и вина.

Над Москвой занимался один из сотен и тысяч обыденных зимних дней. Батурин дрожал от волненья и холода,— ему вспомнились слова капитана, сказанные хриплым голосом: «Я требую, чтобы вы жили так, будто на земле наступила уже эпоха расцвета».

Над угрюмыми дымами блистали облака. Они казались праздничными среди этого косматого утра. Их блеск проливался на город воспоминанием о жаркой, неизмеримо далекой стране. Синева этой страны, затопленной выше гор белым солнцем, шумела морскими ветрами и веселыми голосами людей. Искристый ее воздух пропитывал легкие устойчивыми запахами, не имевшими имени. Стальные пути на сотни километров стремились среди зеленых водопадов листвы и тени. Горизонты ошеломляли сухим свечением. Древняя мудрость земли была видна здесь на каждом шагу,— в клейком запахе каждого листка и блеске песчинки, в радостных зрачках женщин и гудках кораблей, в звоне воздушных моторов, легко несущих свою серебряную и тусклую сталь над гулом океанского берега. Щедрость, богатство сочились из земли, кофейная ее сила, потрясающий запах.

Батурин знал, что вот к этому — к плодоносной земле, к шумным праздникам, к радостным зрачкам людей, к мудрости, скрытой в каждой, самой незначительной вещи,— он будет идти, звать, мучить людей, пока они не поймут, что без этого нельзя жить, бороться, тащить на себе скрипучие дни, задушенные полярным мраком и стужей.

1928



ПОВЕСТЬ

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЛЕЙТЕНАНТА ЖЕРЕБЦОВА

На Каспийском море нет прибрежий, столь решительно и во всех отношениях негодных.

Путешественник Карелин

«Спешу уведомить вас, что просьбу вашу я уважил и везу вам из плавания двух редкостных птиц, убитых мною в заливе Кара-Бугазском. Корабельный наш провизионер решился оных птиц обделать в чучела, каковые и стоят теперь в моей каюте. Птицы эти египетские, носят имя фламинго и покрыты розовым, тончайшей красоты оперением. Пребывание их па восточных прибрежьях Каспийского моря я почитаю загадочным, ибо до сего времени птицы эти водились в одной Африке. Обстоятельства, связанные с охотой на сих птиц, весьма замечательны и заслуживают пространного описания.

Как известно вам, весной нынешнего, 1847 года я получил приказ произвести тщательнейшим образом описание и промер берегов Каспийского моря, для чего в мое распоряжение был передан паровой корвет «Волга».

Мы вышли из Баку в Астрахань и проследовали до Гурьева, откуда начали двигаться к югу вдоль берегов неведомых и угрюмых. Описание их я опускаю, дабы не утруждать вас излишним чтением. Отмечу лишь удивительную картину берегов у полуострова Мангышлака, где Азия подымается отвесным черным порогом из-за уральских пустынь. Порог отходит от моря и ровной стеной удаляется на восток, где из-за марева ничего не видно, кроме глины и солнца. Порог неприступен, и, по рассказам кочевников,

подняться на него можно токмо в одном месте — по руслу высохшего потока. В море порог опускается обрубистой стеной, имеющей местами черный, местами бурый цвет. За многие годы скитаний не видел я берегов столь мрачных и как бы угрожающих мореплавателям.

До бухты Киндерли мы плыли, преодолевая южный ветер — моряну,— несущий из пустыни пыль и запах серы, ибо в пустыне, как говорят, лежат серные горы. Ветер этот рождает стесненное дыхание и, надо полагать, вреден для всего живого.

Я сам испытывал тошнотворную сладость во рту, а матросы до того плевались, что боцманы пришли в подлинное отчаяние: вся палуба была заплевана, и ее приходилось скатывать три раза в день. Поясню, что это происходило в силу старых морских привычек, запрещающих плевать в море, каковое может оскорбиться этим и задать кораблю жестокую трепку.

После захода в бухту Киндерли, где за два месяца плавания наши глаза впервые увидели зеленую сочную траву, имевшую в этих засоленных землях вид чуда, мы отплыли к заливу Кара-Бугазскому при сильном норде. Сей последний ветер тоже имеет необыкновенные свойства. Он приносит холод, ясность и некую пустоту всего тела, как бы опорожняя его от крови и костей. Легкость эта ничуть не приятна, а, наоборот, весьма болезненна и приводит к звону в ушах и головокружению.

В бухте Киндерли мы взяли в старинных колодцах относительно пресную воду, но к ночи она превратилась в горько-соленую. Я долго думал над этим явлением и произвел с помощником своим несколько проб. Было обнаружено, что вода засоляется, будучи оставлена в сосуде, плохо прикрытом, а то и вовсе неприкрытом. Отсюда я заключаю, что воздух в здешних местах наполнен тончайшей соляной пылью, каковая и засоляет воду, попадая в небрежно закрытые бочонки или в открытые ведра. Тем же явлением я толкую и замечательный цвет неба, подернутого сединой. Мощные пласты атмосферы наполнены солью, и солнце приобретает тусклый, несколько серебрящийся цвет, хотя и палит нещадно.

В заливе Киндерли видели мы остатки укреплений, воздвигнутых при Петре Первом генералом Бековичем в начале безрассудного его похода на Индию. Здесь, говорят, он зимовал со своей пудреной армией и отсюда уехал

в Хорезм, где хивинцы вероломно отрубили ему голову, а кожей его обтянули боевые барабаны.

Около укреплений, густо заросших полынью, нашли мы три тутовых дерева, настолько древних, что сердцевина их походила на старое серебро.

Хочу сказать вам, что один средневековый путешественник, ежели он не врет, сообщает, что не то у залива Киндерлийского, не то у Кара-Бугазского видел он величайший город с мечетями и караван-сараями, обнесенный стенами, полный зелени и с избытком омываемый пресными ключами. Полагаю, что он был прав, ибо вблизи Киндерлийского залива видели мы основания мощных зданий, треснувшие и рассыпающиеся прахом от долголетия и жары.

От Киндерли мы пошли к Кара-Бугазу в состоянии тревожном и недовольном. Тому было много причин. Нам предстояло проникнуть в залив, куда до нас никто не входил. О нем наслушались мы еще в Баку множество страхов. Капитан корвета «Зодиак» рассказал мне, что в 1825 году корвет его был предоставлен в распоряжение академика Эйхвальда. Академик требовал от капитана стать на якорь перед входом в Кара-Бугазский залив, дабы обследовать оный. Но капитан, не желая рисковать кораблем, решительно отказался. Опасения его были вызваны тем, что вода Каспийского моря устремляется в залив со скоростью и силой неслыханной, как бы падая в пучину. Этим и вызвано название залива: Кара-Бугаз по-туркменски означает «черная пасть». Наподобие пасти залив беспрерывно сосет воды моря. Последнее обстоятельство дало повод полагать, что на восточном берегу залива вода уходит могучей подземной рекой не то в Аральское море, не то в Ледовитый океан.

Известный и отважнейший наш путешественник Карелин дал мне о Кара-Бугазе весьма нелестную письменную аттестацию и предостерегал от углубления в залив. По его словам, выйти против течения из залива почти невозможно. К тому же залив обладает смертоносной водой, разъедающей в короткое время даже стальные предметы.

Сведения эти были известны не токмо нам, начальникам, но и матросам, которые, натурально, были взволнованы и ругали залив жестоко.

Мне было приказано во что бы то ни стало сомкнуть на морской карте берега залива, изображенные в виде

двух разорванных кривых линий. Берега я сомкнул и сделал морскую опись залива при обстоятельствах чрезвычайных.

Подходя к Кара-Бугазу, мы увидели над песками купол багровой мглы, как бы дым тихого пожара, горящего над пустыней. Лоцман-туркмен изъяснил, что это «дымит Кара-Бугаз». Открытие это, никем еще не отмеченное, повергло нас в тревожное недоумение. Мы шли с чрезвычайной бдительностью, поминутно меряя глубину, пока не достигли едва заметного с моря входа в пролив.

Течение в нем было стремительное, и весь пролив был подобен Волге во время полой воды.

Раздумывать было нечего, да и прямой долг обязывал нас войти в это устрашающее горнило Азии. Тихим ходом мы двинулись в пролив, увлекаемые течением, и отдали якорь не ранее, чем синяя морская вода сменилась мертвой и серой водой залива.

Величайшее безмолвие царило окрест. Сдавалось, что всяческое звучание глохнет в густой воде и тяжком воздухе пустыни, окрашенной в багрянец заходящего солнца.

Ночь провели под парами. Котлы за исчерпанием пресной воды питали забортной водой из залива. К утру обнаружилось, что на стенках котлов нарос слой соли толщиной почти в дюйм, хотя котлы продувались каждые четверть часа. Из сего обстоятельства вы можете судить, какова соленость этого залива, подобного Мертвому морю в Палестине.

Придурковатый наш кок отпросился искупаться, по залив его не принял. Он высоко выкидывал его ноги, и при всем тщании кок погрузиться в воду не смог. Это повеселило команду и улучшило несколько ее дурное расположение. Кок к вечеру покрылся язвами и утверждал, что вода залива являет собой разбавленную царскую водку, иначе — серную кислоту.

Утром серое зеркало залива предстало перед нами во всей монотонности. Вода была малопрозрачна. В ней плавали мертвые рыбы, занесенные из моря. На берегу мы нашли великое множество этих мертвых соленых рыб. По словам матросов, их пробовавших, они вполне годились в пищу.

Безжизненные сии воды поразили меня обилием птиц и довели до оптического обмана.

На вторые сутки, продвигаясь вдоль северного берега,

мы достигли косы Кара-Сукут, где обнаружили на воде обширные красноватые полосы пены. Ночью бушевал шторм, и полосы пены соответствовали движению волн.

Удивленный неестественным цветом пены, я приказал спустить шлюпку и отправился к ближайшей пенной полосе. Зачерпнув пену, я увидел в ней красную, очень дробную рачью икру и подивился тому, что икра может существовать в столь едкой воде.

Засим я направился ко второй пенной полосе, несколько более пышной и розовой. Здесь произошел казус. Пенная полоса, гулко гогоча, поднялась в небо и с неуклюжей тяжестью пронеслась над нашей шлюпкой и обомлевшими гребцами. То была стая фламинго, сидевших на пене и питавшихся рачьей икрой.

В Кара-Сукуте наблюдали мы несметное количество диких гусей и злых пеликанов, называемых по-здешнему «бабами». Я мысленно сожалел, что вы отсутствуете на борту корвета. В последующем письме сообщу вам не лишенные интереса сведения о природе Кара-Бугаза.

Преданный вам лейтенант *Жеребцов*».

Второе письмо адресатом по небрежности было утеряно, и о природе залива мы узнаем лишь из краткого донесения лейтенанта Жеребцова в Гидрографическое управление. Донесение это составлено в стиле ясном и отрывистом, что в полной мере соответствует самому составителю донесения — человеку пытливому и отважному.

Долговременное изучение морских лоций, равно как и описание природы писателями различных эпох, убедило меня, что ощущения от явлений природы в разные эпохи бывают весьма неодинаковыми. На описаниях сказывается как профессия автора, так и принадлежность его к тому или иному слою общества.

Доверяя словам средневековых авторов, я представляю себе пейзаж тех времен более грубым и ясным, чем нынешний, и как бы вырезанным на твердом дереве.

Это отступление я счел необходимым сделать, чтобы было понятно, что Кара-Бугаз во впечатлении современника, хотя бы в моем, представляет собой нечто значительно более простое и менее таинственное, чем в глазах лейтенанта Жеребцова.

В донесении Жеребцова Гидрографическому управлению говорится следующее:

«Залив Кара-Бугазский, называемый туркменами «Горькое море» (Аржи-Дарья) и «Слуга моря» (Кули-Дарья), являет собой обширную водную площадь, превышающую Ладогу и почти отрезанную от моря двумя бесплодными косами. Хотя залив и лежит па широте Неаполя, по климатом обладает жарким и пустыпным.

Я обошел все берега залива и нанес пх па карту. Северный берег крут и обрывист и состоит из засоленной глины и белого гипса. Ни травы, ни деревьев нет. Вдоль восточного берега возвышаются унылые горы, а южный берег низок и покрыт мпожеством соляпых озер.

Все берега пустынпы и не имеют пресной воды. Мною не было обнаружено ни единого ручья, каковой впадал бы в это поистине мертвое море.

Удобных бухт для стоянки судов пет, но сие обстоятельство отнюдь не препятствует плаванию, ибо глубипы залива ничтожны и всюду одинаковы. Суда могут становиться па якорь, буде к тому встретится надобность, в любом месте залива.

Имеющиеся бухты настолько мелки, что шлюпки останавливаются в кабельтове от берега и люди идут на сушу по косточку в воде полчаса, а то и больше. Ни подводпых камней, ни рифов, нп островов на путп корвета не встречалось.

На основании изложепного полагаю, что плаванпе по заливу безопасно. Беспокойство представляют лишь жестокие ветры, дующие с востока с завидным упорством и разводящие крутую, невысокую волну.

Вода в заливе имеет чрезвычайную соленость и плотность, почему удары волп гораздо сокрушительнее, чем в море. Но штормовой ветер, в отличие от моря, разводит волну в заливе как бы с большой натугой. Это приводит к весьма забавпому зрелищу: один и тот же ветер успевает подпять в море шторм, а в заливе, за узкой песчаной косой, господствует еще затишье. После бури волпы залпва успокаиваются медленно, и берега в течение долгих часов сотрясает мертвая зыбь.

Наблюденпе высоты небесных светил и определение широты и долготы в заливе ненадежпо, ибо скрытые на его берегах, за узкими пересыпями, исполинские соляные озера производят мощное блистание и неправильное преломление световых лучей, называемое рефракцией. Около юж-

ной косы я наблюдал весьма значительную рефракцию. Берега предстали предо мной в виде изломанных и острых гор, тогда как они были плоскими, подобно бумаге.

Дождей, по рассказам туркмен, в заливе не бывает. Дожди от чрезмерной жары высыхают, не успевая достигнуть земли.

При подходе к заливу оный рисуется в виде купола из красноватой мглы, пугающей с давних времен мореплавателей. Полагаю, что явление это объясняется сильным испарением воды Кара-Бугаза.

Надлежит помнить, что залив окружен раскаленной пустыней и является, если будет уместно это сравнение, большим котлом, где выкипает каспийская вода.

Грунт залива весьма примечателен: соль, а под ней известковая глина.

Соль, полагаю, особенная, не того состава, что обыкновенная, употребляемая в пищу и для засола.

Непонятным для меня представляется быстрейшее течение из моря в залив, что с несомненностью указывает на различие уровней воды в заливе и в море.

На основании всего сказанного я позволю себе заключить, что побережья залива Кара-Бугазского, как и самый залив, лишены какого бы то ни было интереса государственного.

Пребывание, даже кратковременное, в водах залива порождает чувство великого одиночества и тоску по местам цветущим и населенным. На всех берегах залива на протяжении сотен верст мною не было встречено ни одного человека, и, кроме горчайшей полыни и сухого бурьяна, я не сорвал ни одной травинки.

Токмо соль, пески и все убивающая жара властвуют над этими негостеприимными берегами и водами».

Киргизы перегоняли стада через Урал с зимних пастбищ на летние. Путь лежал через Гурьев, где находился единственный в низовьях Урала наплавной мост.

За прогон скота через мост взимали плату. Рыластые и спившиеся чиновники войскового управления, выгоревшие до рыжины, как и форменные нашивки на их пыльных мундирах, стояли по сторонам моста и пересчитывали скот. Мост трещал и гнулся. Чиновники лупили овец по головам длинными шестами и на минуту заставляли стада

задерживать бег. Потом шесты поднимались, как шлагбаумы, и овцы вновь устремлялись на город рыжим потоком. Так, задерживая овец каждую минуту, чиновники на глаз прикидывали число скота.

Киргизы, дабы сбить чиновников со счета, отжимали их к ветхим перилам моста крупами злых лошаденок.

Пыль неслась над Уралом подобно пожару. Рев и топот стад сотрясали саманные дома. Перегон скота гурьевские жители считали столь же неустранимым несчастьем, как наводнение или пожар. Сотни верблюдов, пугаясь моста, громоздили на подходах к нему тяжелые заторы и водоворотом вращались вокруг упрямых вожаков. Жадные старухи ползали под брюхами верблюдов, собирая трясущимися руками верблюжий помет. То были торговки кизяком.

Библейского вида старцы, повязав ситцем головы, возвышались на верблюдах в куче разноцветного тряпья и моргали кровавыми глазами,— тысячи верст кочевий выжгли их зрачки, а лица превратили в мешки из перегоревшей кожи.

Пустыня переливалась через город с бухарского берега на европейский, неся с собою глинистую пыль, рыжий цвет опаленной шерсти и жажду. Стада долго сосали грязную уральскую воду желтыми от полыни губами.

— Ветхозаветное зрелище! — усмехнулся лейтенант Жеребцов, выйдя из шлюпки на берег.

Он окончил опись берегов Каспийского моря и на обратном пути зашел в Гурьев, дабы повидать поселившегося там почтенного и сурового путешественника Карелина. До Карелина у Жеребцова было важное дело. Корвет стал на якорь около устья Урала, где ему преграждала путь песчаная отмель.

Шлюпку окружили угрюмые туземцы. Жеребцов поднял воротник морской тужурки, стараясь предохранить от пыли снежной белизны рубаху, и спросил ближайшего туземца:

— Знаешь Карелина?

— Никак нет,— ответил туземец.

— Григория Силыча Карелина, путешественника?

— Да как же! — обрадовался туземец.— Какой наскрозь прошел киргизскую сторону? Как не знать!

— Сведи к нему.

Жеребцов шел, осматриваясь по сторонам.

Дома из серого кирпича и глины лежали кособоко, как умирающие старухи. Пахло ржавой рыбой и куриным пометом, ветер порошил глаза всяческим сором, в каком было изрядное количество куриного пуха. Старухи сидели на порогах и вычесывали ленивых молодух.

«Ну и выбрал старик местечко для обитания!» Жеребцов пожал плечами: пристрастие Карелина к здешним унылым пустошам казалось неестественным. Жеребцов вспомнил о Кара-Бугазе: «Какая дрянь здесь и какая торжественная, подлинно девственная пустыня лежит почти рядом!»

Туземец привел Жеребцова на окраину города, к Уралу. В поливных садах, где под деревьями не было травы, а одна утоптанная ногами глина, лязгали погнутыми ведрами чигири [1], выпрастывая в арыки желтую жижу. Сонные волы с завязанными глазами вращали их с терпением рабов.

Туземец остановился около дощатого серого дома, окруженного осокорями, и, попросив предварительно набить трубку, сказал:

— Тут!

Жеребцов постучал. Он шел к Карелину, зная, что человек этот строптив и чудаковат, и вместе с почтительностью перед исследователем, отважившимся пересечь смертоносные области Азии, испытывал некоторое стеснение.

Слуга-киргиз ввел его в кабинет, где прочно устоялся прелый запах табака и кожаных фолиантов. Жеребцов сел, разглядывая чучела степных зверей, и внезапно почувствовал все легкомыслие того дела, по какому он пришел к Карелину.

Карелин вышел с несвойственной его тучной фигуре поспешностью и протянул Жеребцову старческую пухлую руку. Серые его глаза быстро взглянули из-под дымчатых очков. Серая борода разлетелась веером по серой плотной куртке.

— Рад,— сказал он глухо,— благополучному возвращению вашему из трудного плавания.

Жеребцов поклонился.

---

[1] Чигирь — приспособление в виде большого колеса с черпаками для подъема воды из рек в оросительные каналы. *(Примеч. автора.)*

— Слышал, что на корвете своем вы обошли побережья Кара-Бугаза. Весьма интересуюсь подробностями.

Рассказ свой Жеребцов окончил в сумерки, когда сквозь табачный угар, застилавший комнату, запылали за окнами несметные костры по берегам Урала: то кочевники отдыхали после пустыни, окружив город пыльными становьями.

— Насчет залива Кара-Бугазского,— отважился наконец вымолвить Жеребцов,— я имею предложить правительству дерзкий проект.

Карелин ничего не спросил, только скрипнул креслом и поправил очки.

— Поскольку,— продолжал Жеребцов,— Кара-Бугаз вредоносен, надлежит прекратить его существование как обособленного залива и превратить в озеро, перегородив узкий пролив дамбой. Сооружение сие обойдется казне недорого, благо киргизу платят за работу гроши.

— А какие,— протяжно спросил Карелин,— а какие, милейший мой лейтенант, имеете вы основания, чтобы полагать залив Кара-Бугазский столь вредоносным? Какие?

Последнее слово он выкрикнул, после чего сердито заерзал на кресле.

Жеребцов опешил. Не тот ли самый Карелин писал, что Кара-Бугаз является местом таким же бесплодным, как, к примеру, луна? К чему же этот сердитый вопрос и гневный блеск глаз за жестяными очками?

— Сейчас сообщу,— промолвил Жеребцов и загнул один палец.— Залив поглощает множество воды из моря, исчезающей в нем, как в прорве. Сие обстоятельство вам хорошо известно. Известно вам также, что уровень моря медленно падает, грозя прекратить в некоторых местах судоходство. Причиной этого бедствия служит залив Кара-Бугазский.

— Раз.— Карелин вслед за Жеребцовым загнул большой пухлый палец.

— Два,— ответил Жеребцов и загнул второй палец,— рыбные богатства нашего моря из года в год скудеют. В Кара-Бугазе видел я несметное множество мертвой рыбы. Полагаю, что прекращение природного истребления рыбы и мальков в случае закупорки залива сулит значительные выгоды государству.

— Все? — спросил нетерпеливо Карелин.— Много ли вы видели мертвой рыбы?

Жеребцов покраснел: он не привык, чтобы ему не верили.

— В иных местах люди мои насчитывали до полутораста рыб на каждые десять саженей берега. Мертвая рыба скопляется в таком изобилии, что чайки выклевывают у нее только глаза, пренебрегая мясом, и со всем тем нигде еще не видывал я чаек таких ленивых и объевшихся. Разрешите закончить: отделение залива создаст новое соляное озеро чрезвычайной величины. Вот и все.

— Вы желали бы, как я полагаю, получить мою апробацию для этой достаточно странной мысли? — спросил Карелин свистящим шепотом и внезапно прокричал, как будто покатил тяжелый кегельный шар: — Че-пу-ха!

Он встал. За его широкой спиной дымились в окнах багровые костры. Казалось, Тамерлановы полчища остановились у скрипучего кресла кряжистого и мудреного старца. Он высился за столом подобно грубой статуе, вытесанной степными кочевниками из серого крупнозернистого камня.

Жеребцов, надеясь смягчить непонятный гнев Карелина, пробормотал, смешавшись:

— Вместо дамбы можно удовольствоваться устройством частой проволочной сетки. Она препятствовала бы каспийской рыбе проникать в залив.

Но Карелин уже остыл. Он снял очки и насмешливо уставился на Жеребцова, как бы нечто прикидывая. Затем тихим голосом определил:

— Молоды и потому опрометчивы.

— Думаю, что и вам не так уж много лет.

— Пустыня! — крикнул опять Карелин. — Пустыня съела молодость! От нее и седина, и дряблость кожи, и прочие предвестия старости. Некий газетчик, побыв неделю в каракумских песках, писал о благодетельном действии пустыни на кожу и особливо на кости. Кожа якобы молодеет, а зубы приобретают крепость и блестящую белизну. — Карелин усмехнулся и оттянул книзу дряблую кожу на щеках: — Вот доказательство. Солнце в пустыне является бедствием. Весь род человеческий благословляет его лучи, здесь же их заслуженно проклинают: они отнимают у человека последние возможности к существованию. Но слова мои не имеют касательства к нашему спору. Я осведомлен, что вами отправлена в Гидрографическое управление докладная записка, где вы упоминаете о весь-

ма замечательном грунте залива Кара-Бугазского. Если не изменяет мне память,— старик прищурился на окно,— вы изволили писать: «Грунт весьма примечателен: соль, а под ней известковая глина. Соль, полагаю, особенная,— тут Карелин приостановился и рассеянно поглядел на оторопевшего лейтенанта,— не того состава, что обыкновенная». Это-то верно?

— Совершенно точно.

— Любопытно узнать, чем же эта соль так замечательна?

Жеребцов улыбнулся:

— Определение необыкновенности получилось на корвете забавное. Найденную при пробе грунта соль мы сложили на палубе, дабы подсушить, а корабельный кок, человек скудный умом, посолил ею борщ для команды. Через два часа весь экипаж заболел жесточайшей слабостью желудка. Соль оказалась равной по действию касторовому маслу.

Карелин беззвучно затрясся. Казалось, вместе с ним смеялись и его кресло, и самый воздух кабинета, где заметно начала приплясывать слоеная гуща крепчайшего табачного дыма.

— Сударь мой,— сказал Карелин, отсмеявшись,— я ошибался, подобно вам. Я почитал Кара-Бугаз бесплодным и как бы созданным природой назло людям. Но с недавнего времени, изучая дневники свои и думая о смертоносных водах залива, я пришел в сомнение, ибо в натуре, нас окружающей, почти нет такого зла, коего нельзя было бы употребить на потребу и выгоду человека. Едкая карабугазская соль является солью необычайной, и, думается мне, не глауберова ли это соль, иначе называемая щелочной? Действие ее на вашу команду весьма примечательно. Буде же в заливе осаждается глауберова соль, то уничтожение залива — преступление. Соль сия обладает многими редчайшими свойствами. Одно из них, почти главнейшее, я хочу вам сообщить.— Карелин выдвинул ящик стола и достал желтоватую рукопись. Он погладил ее и обровнял края плотных листов.— Известно ли вам, что в России жил великий химик по имени Кирилл Лаксман?

— К стыду своему, Григорий Силыч, такого имени я не слыхал.

— Не к вашему стыду, милостивый государь, а к стыду всей страны нашей, где одаренные люди в той же цене,

что и гурьевские будочники! — с прежней сердитостью прокричал Карелин.— Жизнь сего замечательного человека являет собой пример постоянных мучений. Его послали на службу в глушь сибирскую, в Барнаул. Лаксман тяготился служебными обязанностями и предпочитал странствовать по Сибири, когда и сделал много открытий, касающихся растительности и подземных богатств края. Одновременно он занимался химией. За заслуги научные его избрали академиком, но он, не желая сидеть в Петербурге, предпочел остаться в Сибири, заняв место горного советника. За пустую оплошность его с должности сняли и назначили исправником в Нерчинск. Вот-с, милейший мой лейтенант, какую подходящую должность подготовило российское правительство талантливому ученому и члену Академии наук... Так вот, указанный Кирилл Лаксман открыл возможность изготовлять из глауберовой соли великолепное стекло. Рукопись сия — его доклад об этом открытии. Глауберову соль Лаксман именует горькой. Глядите, что он пишет.— Карелин медленно прочел: — «Между многими новыми свойствами сея горькой соли, именуемой монгольскими народами «гуджар», наибольшего внимания достойна сила, ее в стекло претворяющая». При опытах своих Лаксман получил стекло белое и стекло черное, подобное китайскому лаку... Вот...— Карелин отодвинул рукопись.— Дальнейшие изъяснения излишни. Закупорка залива вызовет перемену свойств воды и прекратит образование глауберовой соли. Утверждение ваше, что залив вызывает обмеление Каспийского моря, равно как и сожаление о погибающей рыбе, преувеличено. Без особой натуги я могу вас тут же разбить по всем пунктам. Но, пожалуй, лучше пойдем попить чайку, благо прислали мне из Уральска клюквенный сок.

Пропуская Жеребцова в столовую, Карелин сделал страшные глаза и прошептал:

— А вы уж и проект приготовили! В Петербурге сидят дураки. Они размышлять не любят, а прямо брякнут — закрыть залив на веки вечные и удивить Европу. Ежели бы вы упомянули слово «открыть», то государственные мужи, может быть, призадумались бы, а раз закрыть — так закрыть. Закрывать — это для них святое дело...

К шлюпке Жеребцов возвратился поздним вечером, а к корвету шлюпка подошла глухою ночью. В камышах,

сухо шумевших по берегам Урала, крякали спросонок дикие утки. Над морем в стороне дагестанских берегов синими взрывами разверзались зарницы. С палубы слышался гул моря у песчаных отмелей.

Жеребцов долго ходил по юту, взволнованный своей ошибкой. Каспийское море, изученное им до топкости, показалось зловещим и неведомым. В стороне пустыни, там, где лежала Эмба, возник купол огня. Жеребцов вздрогнул: уж не залив ли Кара-Бугазский опять дымит в этой встревожившей его кромешной темноте? Но то была луна, подымавшаяся над равнинами Усть-Урта.

Жеребцов набил трубку и досадливо вздохнул: впервые за два года плавания по этому морю он ощутил от него усталость. За бортом корвета сопели в воде спящие тюлени.

Вахтенный офицер шутливо сказал Жеребцову:

— Вы бы спать шли, Игнатий Александрович. В это время спит даже рыба в море.

Жеребцов спустился в каюту и открыл иллюминатор. От зарниц долетало глухое громыханье. Мучаясь духотой, Жеребцов вынул из стола переписанный свой проект, изорвал его и выбросил через иллюминатор в море.

МАЛЬЧИК С СЕРЕБРЯНЫМ ГОРЛОМ

Я сожалею, что документы, касающиеся жизни Жеребцова, утеряны, а то, что дошло до нашего времени, очень отрывочно и скудно.

К счастью, перед самой смертью Жеребцов, будучи уже в отставке, познакомился с писателем Евсеенко. Писатель этот добросовестно поставлял многочисленные рассказы и повести для журналов «Нива» и «Родина». Немудрые эти вещи были рассчитаны на читателя, располагающего множеством свободного времени, преимущественно на дачника, и ни в какой мере не блистали талантом.

Евсеенко не был лишен дара изобразительности, но, как и многие его современники (дело относится к 90-м годам прошлого столетия), был заражен страстью улавливать настроения. Он описывал настроение природы, людей, животных, свое собственное и даже настроение целых городов и подмосковных дачных местностей.

В одной из этих местностей он и познакомился с Жеребцовым, тотчас же опытным глазом определил, что дряхлый и добродушный моряк неизбежно должен хранить в себе некий литературный сюжет, и взялся за выуживание этого сюжета. Сюжета не выудив, Евсеенко все же рассказ написал, но напечатать не успел, так как у него открылась тяжелая стадия чахотки и он был послан в Ялту, где вскоре и умер. Рукопись его рассказа, интересующую меня лишь в меру заключенных в ней сведений о последних днях Жеребцова — первого исследователя Кара-Бугазского залива, я и привожу здесь, сделав необходимые сокращения. Называется рассказ «Роковая ошибка».

«Если вы, читатель, бывали на художественных выставках, то должны помнить картины, где изображены заросшие просвирником провинциальные дворики. Ветхий, но теплый дом со множеством пристроек и крылечек, липы под окнами (в них гнездятся галки), трава, густо растущая среди щепок, черный щенок, привязанный на веревке, и забор с выломанными досками. За забором зеркальная гладь живописной реки и пышное золото осеннего леса. Теплый солнечный день в сентябре.

Дачные поезда, проносящиеся вблизи старого дома, придают пейзажу еще большую прелесть, заволакивая желтизну лесов облаками паровозного пара.

Если вы, читатель, любите осень, то знаете, что осенью вода в реках приобретает от холода яркий синий цвет. В этот день вода была особенно синей, и по ней плыли желтые листья ив, пахнущие сладкой сыростью.

Мокрые листья берез налипают на ваши ботинки, на подножки вагонов, на большие дощатые щиты, где московские купцы расхваливают свой товар перед выглядывающими из вагонов провинциалами.

Вот об этих-то щитах, особенно об одном, призывавшем всех курить гильзы Катыка, я и хочу поговорить с вами, читатель.

В сентябрьский день, о котором мы только что упомянули, я встретил вблизи такого вот потрепанного дождями и солнцем щита с рекламами старика в поношенной морской шинели. Лицо старика поражало густым загаром, особенно заметным в обрамлении седины и в обстановке

северной бледной осени. Казалось, солнце жарких морей так пропитало старческую кожу, что даже ненастье средней России не могло уничтожить его следов.

Старик стоял, опираясь на палку, и вполголоса насмешливо читал призыв Катыка курить только его гильзы.

— Жулик! — сердито выкрикнул старик и угрожающе взмахнул палкой.— Пройдоха, но башковитый субъект!

— Вы это о ком?

— О Катыке, милостивый государь, о фабриканте Катыке,— ответил старик доброжелательно: видимо, он был не прочь вступить в беседу.

Я спросил, почему Катык — пройдоха и жулик.

— История эта очень длинная. Пойдемте, пожалуй, ко мне — я живу поблизости,— выпьем чайку. Я вам, кстати, о Катыке расскажу.

Старик провел меня в тот дворик, о каком говорилось выше, и ввел в комнату, блиставшую чистотой. На полках стояли чучела высоких птиц с розовым оперением. По стенам висело много морских карт, исчерченных красными карандашами, и акварелей, изображавших пустынные берега зеленого и бурного моря. На столе в строгом порядке лежали старые книги. Я взглянул на названия — то были труды по гидрографии различных морей и путешествия по Средней Азии и Каспийскому морю. Пока девочка, дочь хозяина, ставила нам самовар, старик откупорил коробку желтого феодосийского табака и скрутил толстую папиросу.

— Вот что, батенька мой,— сказал он, окутываясь дымом,— позвольте прежде всего представиться. Зовут меня Игнатий Александрович Жеребцов. Я отставной моряк, гидрограф, составитель карт Каспийского моря. Мне, изволите ли видеть, стукнул уже восьмой десяток. Вы интересовались Катыком. Так вот, могу сообщить, что Катык весьма неудачно исправляет ошибку, сделанную мною в молодые годы, когда я только что окончил плавание по Каспийскому морю. Ошибка моя состояла в том, что имеющийся на этом море залив Кара-Бугазский,— не знаю, слыхали ли вы о нем или нет,— я первый обследовал и признал совершенно бесполезным для государства, как не обладающий никакими природными богатствами. Но, между прочим, мною было обнаружено, что дно залива состоит из соли, как потом оказалось — глауберовой. Кара-Бугаз — место необычайное по сухости воздуха, по едкой и густой

воде, по глубокой пустынности, и, наконец, по обширности своей. Он окружен песками. После плавания в его водах я заболел удушьем. Только здесь, на севере, болезнь меня оставила, а то, батенька, я каждую ночь задыхался и форменно умирал.

По глупости своей я хотел предложить правительству перегородить узкий вход в залив дамбой, дабы отрезать его от моря.

Зачем, спрашиваете? А затем, что я был убежден в глубокой вредности его вод, отравляющих несметные стаи каспийской рыбы. К тому же загадочное в те годы обмеление моря я толковал тем, что залив ненасытно поглощает каспийскую воду. Забыл вам сказать, что вода в залив идет сильным потоком. Я высчитал, что ежели залив загородить, то уровень моря начнет подыматься каждый год почти на вершок. Я предполагал сделать в плотине шлюзы и таким путем поддерживать в море тот уровень, какой необходим для судоходства. Но покойный Григорий Силыч Карелин, спасибо ему, отговорил меня от безумного этого проекта.

Я поинтересовался, почему этот проект, правда необыкновенный, старик называет безумным.

— Видите ли, батенька мой, я уже говорил, что дно залива состоит из глауберовой соли. Ученые предполагают, что каждый год в водах залива оседают миллионы пудов этой соли. Величайшее, можно сказать, месторождение этой соли во всем мире, исключительное богатство — и вдруг все это было бы уничтожено единым ударом.

Вторая моя ошибка произошла по вине вот этих северных мест. Сам я калужец, а пятнадцать лет провел на Каспийском море. Там — ежели вы бывали, то должны знать — унылость, пыль, ветры, пустыни и ни травки, ни деревца, ни чистой текучей воды.

Мне бы надлежало, как только зародилось у меня подозрение в величайших богатствах кара-бугазских, заняться этим делом, разворошить ученых мужей, а я махнул на все рукой и помышлял лишь о том, как бы мне поскорей воротиться к себе, в жиздринские леса. Не нужен мне был Кара-Бугаз с его солью. Калужские свои перелески я не променял бы на десяток Кара-Бугазов. Хотелось мне, знаете ли, как бывало в младенчестве, подышать грибным воздухом да послушать, как шумят дожди по листве.

Понятно, слабости наши бывают сильнее велений ума. Отказался я от славы, совершил, можно сказать, преступление перед родом человеческим, уехал к себе под Жиздру — и был счастлив. А между тем слух, что лейтенант Жеребцов нашел в заливе дно из необыкновенной соли, дошел до ученых. В залив послали туркмен. Они привезли воду в бутылках. Сделали ей анализ, и обнаружилось, что это чистейшая глауберова соль, без коей немыслимо ни стеклоделие, ни другие многие производства.

Тут-то и вынырнул пройдоха Катык. Мало ему гильз да беговых лошадей — он решил добывать соль в заливе, благо зимой волны выкидывают ее на берег прямо горами. Учредил для этого акционерное общество, всех обкрутил; соль не вывозит, а Кара-Бугаз получил от правительства почти в полное свое обладание. Вот потому-то я и говорю, что Катык этот ваш — изрядная шельма».

Дальше в своем рассказе Евсеенко подробно описывает забавные разговоры Жеребцова с дочкой хозяина и дружбу его с окрестными мальчишками. Для них Жеребцов был непререкаемым авторитетом в делах рыболовства и дрессировки голубей. Мальчишек он звал «пузыри» и «клопы».

По праздникам к нему приезжал из Москвы сын его умершего школьного товарища (письмо этому товарищу было приведено нами в начале первой главы) — мальчик с серебряной трубкой в горле. Вместе они мастерили ловушки для птиц и удочки или занимались химическими опытами.

Иногда Жеребцов оставлял мальчика у себя ночевать. Тогда в его комнате до позднего вечера не стихали разговоры. Жеребцов рассказывал о своих плаваниях, и, надо сказать, никогда у него не было столь внимательного собеседника. Мальчик слушал и долго не мог заснуть, глядя на звезды за окнами. Зато и спали они потом крепко, по-детски. Даже хриплые вопли петухов, приветствовавших новый серенький день, не могли прогнать сладкий их сон.

Однажды таким вот утром Жеребцов не проснулся.

Похоронили его на пустынном кладбище на опушке леса. На похороны пришли хозяин дачи — владелец сапожного заведения из Марьиной рощи, мальчик с сереб-

рябым горлом, несколько мальчишек-голубятников и Евсеенко.

Через неделю могилу занесло мокрой рыжей хвоей. Начались долгие дождливые ночи и короткие холодные дни, и о Жеребцове забыли все, кроме мальчика с серебряным горлом. Изредка он приезжал из Москвы на могилу. Придет, постоит несколько минут и уйдет по длинной просеке к станции, где подымаются к небу столбы пышного паровозного пара.

Все попытки разыскать могилу Жеребцова, предпринятые сейчас, оказались тщетными.

ЧЕРНЫЙ ОСТРОВ

Окропленные вашею кровью
пустыни
Красным знаменем реют,
над нами шумя.

Маяковский

Кончался январь 1920 года. Шторм бил брызгами в окна низких портовых зданий. Тяжелый дождь шумел по улицам Петровска. Горы дымились. К северу от Петровска до Астрахани море лежало подо льдом.

Старый пароход «Николай», захваченный белогвардейцами, разводил пары. В неприбранных каютах висели прошлогодние календари и засиженные мухами портреты Колчака. К палубе прилипли окурки и пожелтевшие газеты. В штурманской рубке синий от холода вахтенный, пахохлившись, ждал капитана. Капитан пропадал в городе.

Вонючий дым над трубой камбуза возвестил, что кок варит ячневую кашу с мышиным пометом. Но даже это событие не разогнало уныния, разъедавшего корабль подобно ржавчине. Матросы валялись в кубрике. В кают-компании спал на красном плюшевом диване желтый и злой официант.

Воспользовавшись сумрачным днем, из всех щелей ползли тощие пароходные клопы. В трюме сипло пропел украденный накануне петух.

«Пора нашей гитаре на кладбище»,— подумал вахтенный и посмотрел на штурвал, где можно было заметить медную дощечку, сообщавшую, что пароход «Николай» построен в 1877 году.

Вахтенный посмотрел кстати на желтую, видавшую виды трубу. Из нее валил рыжий дым.

— Что они, мусором топят, что ли? — сказал вахтенный и вздрогнул: в сыром дыму на горах громыхнул пушечный выстрел.

Из кубрика вылез матрос в калошах на босу ногу. Он вяло протащил по палубе занемевшие ноги, поднялся на мостик и прислушался: глухие удары учащались.

— Похоже, бьют кадет красные,— сказал он вахтенному.— Красные,— зашептал он, и глаза его сузились,— наступают от Хасан-Юрта, ночью будут в Петровске. С капитаном надо поговорить насчет этого. Команда полагает, что надо тикать от эвакуации. Снимемся вечером и сунемся в море — тихо, благородно, без кадет, без оружия...

Матрос махнул рукой на восток, где море кипело, как котел с мыльной и грязной пеной.

Вахтенный взглянул на корму — там хлопал мокрый трехцветный флаг — и вздохнул. Эх, если бы все вышло так, как задумано! Удрать от деникинцев, от эвакуации!

— Капитан пропал, засыплемся мы из-за него,— тоскливо пробормотал он и вышел на палубу.

Он вгляделся в дождь, наискось бивший по гнилым пристаням, и сплюнул. Толпа людей в зеленых английских шинелях шла к пароходу. Они волочили на веревке пулемет и шли прямо по лужам, разбивая их набухшими бутсами. Сбоку вахтенный заметил знакомую фигуру капитана в дождевом плаще. Капли быстро стекали с его усов, и казалось, что капитан безмолвно плачет.

Отряд деникинцев влез на палубу по скользкому трапу. Офицер с выпуклыми серыми глазами прошел в кают-компанию, потянул за ногу спавшего официанта и хрипло сказал:

— Пошел на свое место, ворюга!

Официант вытащил из кармана салфетку, вытер лицо и вышел.

Закрыв дверь каюты, он посмотрел на нее так, что, если бы дверь была живым существом, она бы содрогнулась от страха.

Солдаты с трехцветными нашивками на рукавах — «батальон смерти» — рвали двери кают, не дожидаясь, пока принесут ключи, и грозили кому-то, стиснув зубы. У трапа поставили часового.

Капитан вошел в штурманскую рубку и дрожащими руками долго расстегивал набрякший плащ. Вахтенный уныло смотрел на него и ждал.

Наконец капитан достал медный погнутый портсигар и закурил.

— Ну, попали! Назначили нас под эвакуацию. Я в штабе ругался. У меня судно в порту на якоре и то разваливается. Куда же его гнать в море в такую штормягу? Смеются: «Мы, говорят, дадим такой груз, что не жалко».— «Какой такой груз?» — «Большевиков из тюрьмы, вот кого. Слыхали?» — «Куда же их девать?» — «Да, говорят, есть для них подходящее место. Куда прикажем, туда и повезете. А если не хотите выходить в море, то поговорим в подвале. Тогда захотите».

Капитан сел и потянул к себе судовой журнал. В горах опять тяжело прогремело. За дождем блеснул желтый огонь. В журнале стояли кривые строчки: «Ветер норд-ост силой в 10 баллов. Волнение — 9 баллов. Воды в трюмах — 30 сантиметров».

— Воды в трюмах тридцать сантиметров! — Капитан отшвырнул журнал и криво улыбнулся.— Людей будем сажать в трюмы.— Лицо его налилось сизой кровью.— В воду, в трюмы! Доплавались под николаевским флагом, дошли до ручки. Живой груз повезем, как быков на убой. Эх, вы...

Он хотел еще что-то прибавить, но осекся: в дверях стоял офицер с выпуклыми глазами.

— Голубчик капитан,— он галантно переступил через высокий порог рубки,— распорядитесь открыть трюмы. Сейчас приведут заключенных.

Трюмы были открыты, но заключенных привели только в полночь, когда от нефтяных складов уже горохом сыпалась ружейная перестрелка.

Красные рвались к городу. Переход на сторону деникинцев турецкого офицера Казым-бея, командовавшего красными частями, не спас города. Казым-бей — черное его имя гремело тогда по Дагестану — был агентом мусаватистов. Он проник в расположение красных частей, завоевал их доверие, участвовал в боях и ждал удобной минуты, чтобы предать. Измена Казым-бея удесятерила ярость красных. Они перешли в наступление по всему фронту, и их передовые отряды уже дрались на подступах к Петровску.

«Николай» сипел мятым паром и качался у пристани черной нелепой тушей,— огней приказано было не зажигать. Море, порт, город, горы — все превратилось в глухую, порывистую от ветра тьму. Белела только пена, переливаясь через изуродованный бурями мол.

Заключенных привели очень тихо. Вахтенный считал их, стоя на мостике.

— Больше ста человек,— сказал он капитану, когда последняя черная тень, подгоняемая прикладами, медленно полезла в трюм. Из трюма несло холодом и запахом гнилой кожи.

Отошли ночью.

«Николай» обогнул мол, затрещал, вскрикнул и высоко вздернул нос. Ледяные горы воды подкатывали под его ветхое днище. В кают-компании посыпались со столов стаканы.

Деникинцы сбились у поручней. Они смотрели на берег, где тускло и часто вспыхивали огни рвущихся снарядов. Официант смотрел вместе с ними. Ветер поднимал его редкие волосы. В борт чугунными билами молотила каспийская волна.

Перед отвалом на пароход вошел старый офицер с седой подстриженной бородкой. Тонкие его ноги были в шелковых черных обмотках, редкие волосы разделены тщательным пробором. Он потребовал в кают-компанию чаю, велел позвать капитана, медленно развернул на столе карту и положил на нее маленькие руки.

Капитан вошел, красный от ветра, и угрюмо остановился у двери.

— Подойдите поближе.— Офицер сухо улыбнулся.

Улыбка эта испугала капитана: так обычно улыбаются в присутствии обреченных людей.

— Слушаю.— Капитан подошел к карте.

Офицер вынул красный карандаш, не торопясь очинил его лезвием безопасной бритвы, закурил, прищурился и, выискав что-то на карте, поставил жирный крест. Потом, примерившись, провел через все море ровную линию от Петровска до отмеченного места.

— Держитесь вот этого курса,— сказал он.

Капитан взглянул на карту.

— Курс на Кара-Бугаз? — спросил он испуганно.

— Примерно так. Но только примерно. Держите немного севернее, вот к этому острову. Как он называется?

Позвольте...— Офицер взглянул на карту.— К острову Кара-Ада.

— Нельзя,— глухо сказал капитан.

— То есть как это нельзя?

— Около острова нет якорных стоянок. При этом курсе шторм бьет в борт, а мы идем без груза. Считаю такое направление опасным.

— Но ведь шторм как будто стихает,— вкрадчиво проговорил офицер.

— Вообще плавание у берегов Кара-Бугаза зимой невозможно. Там нет огней, множество рифов. Я не вправе подвергать риску ни людей, ни судно. Море в тех местах пустынное.

— Ах так! — нараспев сказал офицер.— Вот и отлично. Нам как раз и нужно пустынное море. Да, нужно! — неожиданно крикнул он визгливым фальцетом.— Потрудитесь выполнять распоряжения, иначе я засажу вас в трюм к этим скотам. Команде сообщить, что мы идем в Красноводск. Не шляться по палубе без дела. Все. Ступайте!

Капитан вышел. В штурвальной рубке он заметил часового. Часовой стоял рядом с матросом и смотрел на картушку компаса, сверяя что-то по бумажке.

«Попали в капкан, не открутимся!» — подумал капитан. У себя в каюте он достал лоцию Каспийского моря, нашел описание острова Кара-Ада и прочел его.

В лоции было сказано, что этот совершенно пустынный и безводный остров, представляющий собою осколок скалы, лежит в одной миле от восточного берега моря, против мыса Бек-Таш, к северу от Кара-Бугазского залива. Остров изобилует змеями. Место для высадки со шлюпок только одно. Подходы к острову опасны из-за множества рифов. Якорных стоянок нет. Грунт — голая каменная плита — совершенно не держит якорей.

— Крышка! — Капитан бросил лоцию на стол.

Море валило горами. Жалкие мачтовые огни освещали высокий нос, дергавшийся из стороны в сторону. Сам по себе звонил колокол — это значило, что размахи доходят до сорока градусов. Офицер с выпуклыми глазами испуганно полез на спардек и лег грудью на борт — его рвало. Он блевал в черную воду, стонал и ругался. Январская ночь летела с востока со свистом и гулом, предвещая неизбежную гибель.

В трюме было темно, и от борта к борту переливалась вода. Заключенные сидели и лежали на мокрых досках. Их швыряло из угла в угол. Они хватались за ребра ржавых шпангоутов, разбивали в кровь лица, глохли от пушечных ударов волн и стонали от жестоких приступов морской болезни. Немногие из них сознавали, что это гибель, что дрянной пароход идет порожняком, что его кренит на сорок градусов, что он может каждую минуту лечь на борт и не встать, но все прекрасно знали, что впереди, на той неизвестной суше, куда их высадят, их ждет смерть.

Прекрасно знал это и геолог Шацкий, попавший в число заключенных случайно. Он не был большевиком. Он пытался пробраться из Петровска в Астрахань. Его заподозрили в шпионаже, арестовали и три раза водили в Петровске на расстрел, но не расстреляли. Водили ночью. Забирали из камер по пятидесяти заключенных и выводили на свалку, где жили разжиревшие от мертвечины псы.

Смертников выстраивали и пересчитывали. Первый раз расстреливали каждого десятого; Шацкий в эту ночь оказался восьмым. Второй раз расстреливали каждого пятого, но Шацкий оказался четвертым. В третий раз расстреливали каждого четвертого, но Шацкому опять повезло — он был первым. После третьего раза он поседел. Его и других уцелевших белые заставляли стаскивать трупы расстрелянных в старые известковые ямы.

Командовал расстрелами офицер с выпуклыми серыми глазами. Каждый раз он напивался для храбрости, ругал заключенных «падалью» и заставлял их, построившись в шеренгу, по нескольку раз менять места перед расчетом. На языке конвоиров — болезненного вида юношей с пьяными, мутными глазами — это называлось «венской кадрилью».

В Петровск Шацкий попал с полуострова Мангышлак. После разведки каменного угля и фосфоритов в горах Кара-Тау он хотел пройти к Кара-Бугазу, но киргизы-проводники наотрез отказались вести его. Был разгар лета, и по пути к Кара-Бугазу, в песках Карын-Ярык, не стало ни капли воды. Пришлось вернуться через дикое плоскогорье Удюк обратно в форт Александровский. В форте Шацкий прожил три месяца. Ему даже понравилось уныние этого серого городка, где не было тогда никакой власти. В форте он написал отчет об экспедиции и интересную

работу о запасах воды на сухом, как проклятие, Мангышлаке.

Во время экспедиции он заметил, что жалкие ручьи в горах Кара-Тау текут всегда из-под каменных россыпей. Шацкий принадлежал к людям, привыкшим давать объяснения всему. Он жил в мире точных законов и достоверных гипотез.

Несколько дней он думал над происхождением этих ручьев, потом нанял двух мальчишек, и они натаскали ему в пустой цементный бассейн на дворе кучу голышей с морского берега. Хозяин-рыбак решил, что Шацкий свихнулся от тоски по России и от «науки».

Шацкий с мальчишками завалил весь бассейн голышами, а на третье утро вынул часть камней. Нижние камни оказались мокрыми: на дно бассейна натекла лужица чистой воды.

Вопрос был решен: на Мангышлаке, как и всюду в пустыне, летние дни отличаются жестокой жарой, а летние ночи холодны, как мартовские ночи в Москве. Каменные россыпи являются природными конденсаторами паров из воздуха, быстро остывающих ночью. Эти россыпи вбирают влагу, пропускают ее вниз и хранят под своими слоями.

Больше всех был в восторге от открытия Шацкого его хозяин. Он мечтал выстроить большой бассейн, засыпать его галькой и каждое утро собирать десять ведер вкусной пресной воды вместо тухлой воды из колодца.

Смотреть на бассейн приходил бывший неограниченный владетель Мангышлака — купец Захарий Дубский. Шацкий с неприязнью отвечал на назойливые расспросы позеленевшего старикашки в вытертом люстриновом пиджаке.

До революции Дубский был миллионером. Он взял на откуп у царского правительства весь Мангышлак. Ему одному были разрешены торговля и рыбная ловля без соблюдения законов «об охране рыбных богатств». Богомольный и ласковый старик платил киргизам-рабочим за всю путину по два рубля, торговал водкой и посылал гостинцы своему «благодетелю», великому князю Николаю Михайловичу, жившему в Ташкенте. Этот седобородый князь славился на весь Закаспийский край тем, что нагишом гулял в сильную жару по своему саду и дому. В таком виде он принимал просителей и выслушивал доклады.

Дубский подивился на бассейн Шацкого, засунул руку на дно, поскреб там желтым ногтем, недоверчиво пососал мокрый палец и пригласил Шацкого к себе на дачу. Дача стояла на берегу моря, около маяка Тюб-Караган, и была знаменита несколькими чахлыми деревцами. Шацкий невзлюбил этот нелепый дом, где старовер-купец изнывал от чаепитий, поглядывая на дымную мглу, курившуюся над пустыней.

Пустыня вплотную подступала к форту. Она стерегла его у городских застав. Ее тощая глина и серая полынь нагоняли тоску. К тоске этой примешивалась легкая гордость: угрюмость пустыни была величава, беспощадна, и немногим, думал Шацкий, посчастливилось пережить захватывающие ощущения бесплодных и неисследованных пространств.

Кроме Дубского, в форте Александровском жил на покое отставной генерал-дурак, изобретавший ловушки для сусликов. Некогда он командовал местным захолустным гарнизоном. Рыбаки рассказывали, как этот генерал, только что прибыв в форт, вылетел на парад на разъяренном гнедом жеребце. Он подскакал к киргизам и, желая приветствовать их на родном языке, громовым голосом гаркнул:

— Здорово, саксаулы!

Киргизы испугались. Весь город потом несколько дней помирал от хохота.

Самыми интересными обитателями форта были рыбаки-зверобои, специалисты по добыче тюленей. Тюлений бой считался опасным и жестоким делом. Зимой зверобои большими обозами выезжали по льду в море. Всю осень перед этим откармливали и ярили лошадей. Лошадь на тюленьем бое решала все: если лед трескался с пушечным гулом и начинал медленно уползать в море, зверобои бешено гнали лошадей к берегу, и дикие эти лошади перескакивали с санями через трещины.

Били только детенышей тюленей — белков, еще не умевших плавать. Били палками на льду и привозили в форт золотистые дорогие шкурки.

Каждую зиму гибло несколько зверобойных артелей — кошей. Их относило на льдинах в море, в сторону Персии. Спасали редко: в форте не было телеграфа, чтобы дать знать в Россию о несчастье.

Шацкий узнал, что в форте Александровском томился в ссылке Тарас Шевченко, забритый в солдаты и отправленный в каторжный мангышлакский гарнизон за «распространение вредных идей».

Только в ноябре Шацкому удалось на рыбачьей шхуне — реюшке — перебраться из форта в Петровск.

Сейчас Шацкий лежал в трюме рядом с матросом-большевиком — эстонцем Миллером. С ним он просидел три месяца в тюрьме. Их вместе два раза водили на расстрел, и если Шацкий не сошел с ума, то только благодаря Миллеру.

Молчаливый этот юноша в морской каскетке скупо рассказывал о родной Эстонии, о дюнах и старинном Ревеле. Шацкий никак не мог отделаться от впечатления, что сейчас в Ревеле пасмурная зима, пахнущая зеленоватым балтийским льдом, нарядная от тихих огней и пустынная, ибо тысячи Миллеров ушли из дому и дрались в красных частях под Самарой и Шенкурском, сидели в вонючих тюрьмах, голодали, жили в дырявых, обледенелых теплушках.

Миллер попал в плен во время разведки. Деникинцы неизбежно должны были, как он говорил, «укоцать» его, но он думал о чем-то далеком от смерти, должно быть, о бегстве.

Когда в ночи расстрелов Шацкого била дрожь, Миллер похлопывал его по спине и напоминал:

— Бросьте! Раз родились — все равно помрем.

Шацкого поражала выдержка Миллера, штурвального Балтийского флота, ставшего большевиком в жаркие дни июля семнадцатого года. Миллер был моложе Шацкого на десять лет, не знал и сотой доли того, что было известно Шацкому, но геолог чувствовал себя перед ним мальчишкой.

Миллер был непримирим и хорошо усвоил то, о чем геолог не имел понятия,— законы борьбы и победы. Он смотрел на людей спокойно и понимающе, всегда насвистывал, а на допросах отвечал очень вежливо, но неясно, улыбался и со скукой, как на давно знакомый трюк, смотрел на бесившихся, бледных офицеров.

Он прославился тем что довел до истерики начальника контрразведки и после этого спокойно налил и подал

ему стакан воды. Начальник смахнул стакан со стола, ударил стеком по бумагам и пообещал Миллеру повесить его в тот же вечер, но не повесил.

Контрразведка считала Миллера «опасным субъектом» и комиссаром и надеялась вымотать из него важные сведения. Его ни разу не били шомполами. Конвоиры поглядывали на Миллера с некоторым почтением: «Твердый, гад, видать, боевой».

Сейчас в трюме одессит Школьник — бывший шорник и партизан — пробрался к Миллеру, единственному моряку среди заключенных, попросил закурить и сказал:

— Ты моряк, ты знаешь устройство парохода.

— Ага,— ответил Миллер.

— Я решил такь (Школьник произнес это слово очень мягко). Надо потопить пароход вместе с той сволочью.— Школьник ткнул горящей папиросой вверх.— Открой кран, как он у вас зовется — кингстон или как иначе. Все одно нас убьют. Если пропадать, так кончим и их вместе. Такь.

— Кингстон не здесь,— равнодушно ответил Миллер.— К чему глупости? Их пластинка кончается, а из нас если десяток останется в живых, и то неплохо. Не устраивай массового самоубийства, Школьник, не делай паники.

— Такь! Такь! — с горечью пробормотал Школьник и отполз от Миллера.

Капитан всю ночь просидел у себя, не снимая пальто. Рассвет пришел поздно, только к восьми часам. В промерзлых каютах качался серый туман. За потными иллюминаторами все так же ревело море. На востоке, над необъятными пустынями Азии, желтела ледяная заря.

Капитан вышел на палубу. В кают-компании лежали на полу зеленые солдаты. Громадное и неуютное морское утро сочилось на их изжеванные шинели с трехцветными нашивками, на сваленные винтовки, на опухшие лица. Пахло блевотиной и спиртом. В грязном зеркале отражался вазон с высохшей фуксией.

Официант неизвестно зачем перетирал пожелтевшие чашки и накрывал столы хрустящими крахмальными скатертями. Застарелая привычка брала свое.

Он взглянул исподлобья на капитана и вздохнул. Да,

кончились прекрасные плаванья из Астрахани в Баку, когда даже он, официант, страдавший профессиональной мизантропией, шутил с пассажирами и трепал по головкам детей.

— Дожили, Константин Петрович! — Официант открыл дверцу пустого шкафа.— Может, водочки выпьете? Небось вся душа отсырела. Семкин вчерась в кубрике верно выразился: «плавучая виселица» мы, а не пароход «Николай».

Официант отвернулся и вытер грязной салфеткой глаза. Тощая его шея густо покраснела.

Капитан крякнул и пошел на мостик. Там стоял с биноклем на ремешке вчерашний старый офицер на тонких ножках. Он смотрел на восток и морщился.

Офицер подошел к капитану, ласково заглянул в глаза и спросил, почесывая бородку:

— Когда же будет наконец Кара-Ада, капитан?

— Когда придем, тогда и будет.

— Так, так, так, понимаю.— Офицер вынул золотой портсигар и закурил, не предложив капитану.— Так, так, так.— Он положил капитану руку на плечо. Рука показалась чугунной.— Когда будем в пяти милях от острова, сообщите мне. Кстати, артачиться нет ни малейшего смысла.— Он стиснул капитанское плечо.— Рейс секретный. Предупредите людей, что за болтовню они ответят головой.

Капитан кивнул и осторожно высвободил плечо. Офицер, покачиваясь на паучьих ножках, забалансировал к трапу.

Через два часа вахтенный матрос доложил, что открылся берег. Шторм стихал. Ледяная вода медленно лизала борта «Николая». В ясности зимнего дня наплывали черные низкие обрывы, грубо вытесанные на синем блестящем небе. «Николай» шел тихим ходом к одинокому острову, окруженному пеной бурунов.

К этому времени в трюме умерло десять сыпнотифозных. Трупы их плескались в воде. Грузин Гогоберидзе дико кричал и лил себе в уши пригоршнями ледяную воду. У него начиналась заушница. Он бредил. Ему казалось, что контрразведчики прижигают голову раскаленным железом, и он звал товарищей.

— Сандро, спасай! Сандро, не давай умирать!

В полдень трюм открыли.

Гнилой воздух вырвался оттуда вместе с исступленным криком грузина:

— Сандро, бей негодяев!

Шацкий поднял голову. Высоко по обочинам железного колодца качались зеленые шинели, и над ними, еще выше, мчалось обрывками туч холодное небо. Хотелось пить. Свет затопил трюм. Заключенные моргали, стряхивая с ресниц мутные слезы.

Тогда впервые Шацкий увидел ржавое брюхо трюма и рыжую воду под ногами. Синие, заостренные лица мертвецов плавали в ней, тихо покачиваясь. Три аварца лежали грудой, туго укутав головы мокрыми бурками. Один из них был жив. Он поднял голову, проговорил что-то длинное и жалобное на незнакомом языке и свалился в воду.

Миллер подошел к железному трапу и медленно полез вверх. Оттуда кричали, но Шацкий ничего не слышал — он упорно лез вслед за Миллером, стараясь не сорваться.

Из трюма вышло восемьдесят человек. Всех, кто не мог подняться сам, оставили в трюме и снова закрыли его широкими тяжелыми досками.

Заключенных согнали на корму — толпу желтых от качки, голода и жажды людей. Свежий воздух рвал обескровленные легкие.

Пароход покачивался у горбатого острова, черным камнем торчавшего из воды.

Седой офицер поднялся на мостик. Он оглядел толпу заключенных и усмехнулся.

— Поздравляю, товарищи, с благополучным прибытием! — Он показал театральным жестом в сторону острова.— Вот ваше убежище. Здесь вы можете провозгласить Советскую власть... Поручик, разбить всех на двадцатки!

Долго спускали шлюпки. Шацкий равнодушно ждал. Матрос тайком сунул ему в руку пачку махорки. Шацкий тупо посмотрел на махорку и отдал ее Миллеру. Он не курил.

Высадка заключенных на остров Кара-Ада продолжалась несколько часов. Шлюпки не могли подойти к берегу из-за сильного прибоя. Заключенных заставляли прыгать по пояс в воду и добираться до берега пешком. Школьник не устоял на ногах. Его сшибло волной и унесло в море.

На берегу Шацкий лег на камни и смотрел на пароход. Грязный и угрюмый, выкрашенный в черный и желтый

цвета, он мотался на волнах, распуская хвост зловонного дыма.

Шацкий не понимал, что случилось. Он как-то не заметил, что их высадили без всего: не дали ни воды, ни пищи, ни даже черствого хлеба. Один Миллер знал, что это значит. Между островом и берегом бушевал широкий пролив.

Шацкий видел, как последняя шлюпка вернулась к пароходу и матросы долго, мешая друг другу, подтягивали ее на талях. Потом из трюма вытащили трупы и бросили в воду; за кормой всплеснула вода. «Николай» дал гудок и, застилая остров дымом, пошел на юг, в сторону Баку.

— Что делать, Миллер? — пробормотал Шацкий и сел на камнях.

Миллер потряс его за плечо:

— Встать и собрать все топливо, какое найдется в этом проклятом месте. Имейте мужество. Здесь нет ни капли пресной воды. Без воды мы, здоровые, проживем только три дня. На берегу, за проливом, может быть, кочуют туркмены. Надо дать дымовой сигнал.

Весь вечер Шацкий сосал холодные мелкие голыши, чтобы обмануть жажду. Спотыкаясь, он бродил по острову, разыскивая сухие ветки и обломки досок, выброшенные на берег. Море было пустынно. Шацкий знал, что в это время года здесь не встретишь ни одного судна, ни одной туркменской лодки. Кто пойдет к этим мертвым и черным берегам, где нет ничего, кроме песков и горькой соли!

К ночи развели два костра и положили около них тифозных. К утру в живых осталось шестьдесят человек.

Трое студентов из Темир-Хан-Шуры решили плыть к берегу. Миллер их не удерживал. Он завалил костры сухой полынью и всяким сором, чтобы вызвать густой и белый дым. Студенты разделись. Двое поплыли, а третий лег на берег лицом к земле и заплакал; он не мог даже войти в воду, его шатало и мутило. Пловцы утонули вблизи берега. В проливе снова свирепствовал шторм. Течение несло на камни потоки черной воды. К вечеру заключенные подползли к кострам и лежали неподвижно. Миллер жевал конец своего матросского ремня и смотрел на берег, надеясь увидеть огни ответных костров. Но их не было. Тяжелая ночь неслась из пустыни туманом и сажей. Она сгоняла к острову всю стужу холодных сыпучих песков.

— Миллер,— прошептал среди ночи Шацкий,— Миллер, я вспомнил: киргизы зимой гонят скот к Кара-Бугазу, там в оврагах лежит снег.

— Если бы пошел снег, было бы нам счастье,— пробормотал Миллер.

За ночь умерло еще пятнадцать человек. Шацкий к утру лежал почти без сознания. С востока паносило не то низкие черные тучи, не то холодный дым исполинского пожара. Шацкий открывал красные глаза и тупо смотрел на тучи, ожидая, что вот-вот из них упадет хотя бы капля дождя.

Тучи неслись, толкаясь и опускаясь все ниже. Море стихло. Ветер менялся, и море готовилось обрушиться на остров с севера, откуда, может быть, уже шел спасительный снежный буран.

Шацкий вспомнил, что в трюме их сидело больше ста человек. Где же остальные? Неужели всех расстреляли?

Язык распух. Шацкий с трудом поворачивал голову, и каждое слово причиняло острую боль воспаленному нёбу. Тучи опускались все ниже и ниже. До них уже явственно долетали стоны людей, умиравших на обломке черной скалы. Вместе с тучами спускался на остров сырой и жестокий вечер.

Миллер на коленях подполз к костру и ногами подтолкнул в огонь последние гнилые доски. Сладковатый трупный смрад несло на костер из-за ближайших камней. Миллер упал на живот и затих.

Последняя ночь пришла в густом гудении норда. В полночь Шацкий ощутил на лице прикосновение чего-то мокрого и холодного. С неба падал редкий колючий снег. Шацкий хотел крикнуть, разбудить Миллера, но не мог. Он только открыл рот и ловил редкие снежинки, залетавшие с ветром и морскими брызгами на лопнувшие черные губы.

Но все же надо было разбудить Миллера, если он не умер. Шацкий уперся руками в острые камни и сел. Ноги горели: должно быть, он обморозил их ночью. Ветер качал его, как тряпичное чучело на огороде, бил в спину и холодил воспаленную кожу.

Шацкий заставил себя открыть глаза, хотя ему было совершенно ясно, что открыть их — значит умереть, что он больше не вынесет зрелища этой дикой, завывающей ночи. Он осторожно разлепил склеившиеся веки и посмотрел

вперед, как лунатик: за снежной пургой в кромешной темноте пылало три огня. Был ли это бред, или действительно на берегу пылали огни?

Шацкий нащупал рядом с собой куртку Миллера и изо всей силы дернул ее за ворот. Миллер застонал.

— Миллер! — прошептал Шацкий, хотя ему казалось, что он кричит.— Миллер, голубчик, встаньте. На берегу огни! Много огней!

Миллер зашевелился и с трудом перевернулся на спину. Цепляясь за руки и плечи Шацкого, он медленно сел, обдав его горячим дыханием.

— Братишки...— сказал он тихо, и голос его сорвался.— Братишки, скорее! Смерть наша кругом, братишки!

Он встал, шатаясь.

— Чего? — крикнул он Шацкому.— Лежи, не двигайся! Дотяни до утра! Должно быть, заметили.

Заключенные не шевелились. Один только красногвардеец поднял голову и тотчас ее уронил.

Утро застало в живых только двадцать два человека. А к полудню с юга, из-за мыса Бек-Таш, исполинским серым крылом вынесло ныряющий парус. Он взлетал и тонул в черных волнах, борясь с жестоким нордом.

Парус видел один только Миллер. Шацкий лежал в бреду. Ему казалось, что камень обнял его тяжелыми руками и хочет вдавить в землю.

Миллер бросил в догоравший костер валявшуюся рядом шинель. От костра повалил удушливый желтый дым.

Последнее, что видел Миллер,— скуластое лицо в малахае; потом ему ожгло рот приятной жидкостью, потом чей-то свистящий голос сказал по-русски: «Бери вот этих пятнадцать, остальные все мертвые». Больше Миллер ничего не помнил.

Никому не удалось узнать имени киргиза, который заметил с берега дым костров на Кара-Ада. Может быть, этот киргиз еще жив. Может быть, он гоняет отары «Овцевода» в Адаевских степях, около Гурьева, или работает на соляных промыслах в Кара-Бугазе,— никто этого не знает, имя его поглотила пустыня. У кочевников не было паспортов; они уходили в степь, и найти их было невозможно.

Никто не знает имен тех киргизов, которые разожгли на берегу у Бек-Таша ответные костры. Они жгли кост-

ры и говорили о несчастье, о том, что на проклятом острове, где нет ничего, кроме змей, оказались люди. Человек, попавший на Кара-Ада, может только бедствовать.

Надо было подать лодку, но лодок у киргизов не было. Лодки были далеко, в Кара-Бугазском заливе, где русские выстроили дощатый дом и поселили в нем человека с густой черной бородой и разрезанным горлом.

По всем кочевьям гулял слух, что у этого человека в горло вставлена серебряная трубка. Старики удивлялись, как это басмачи до сих пор не польстились на драгоценную трубку и не убили странного русского. Рассказывали, что русский записывает в толстую книгу движение ветров, облаков, цвет воды и другие приметы. Занятия русского попахивали чертовщиной. По всему было видно, что это настоящий, хотя и добрый, колдун. Он лечил кочевников от трахомы и нарывов и всегда перевозил их через пролив на своей лодке.

Человека с серебряным горлом звали Николаем Ремизовым. Он был первым метеорологом, согласившимся зазимовать на временной метеорологической станции в Кара-Бугазе вместе со стариком сторожем Арьянцем.

По мнению товарищей, Ремизов остался в Кара-Бугазе на верную смерть. Но прошло уже полгода, а его никто не тронул. Вести из России не приходили совсем. Ремизов только догадывался, что там бушует море гражданской войны.

Он жил с Арьянцем подобно Робинзону. Они били диких гусей, ловили в проливе рыбу. Им оставили на год муки, сахару, керосину и чаю. Весь ноябрь они заготовляли саксаул, и в тесном их доме было тепло и пахло хлебом, который выпекал Арьянц.

«Местность вокруг на сотни километров необитаема»,— записал в своем дневнике Ремизов в первый же день переселения с туркменских объемистых лодок в дощатый дом.

Ремизов не считал метеорологию точной наукой, называл ее искусством и занимался не столько метеорологическими наблюдениями, сколько изучением Кара-Бугазского залива и пустыни.

Он утверждал, что изречение «все течет, все изменяется» родилось впервые в мозгу жителя пустыни.

«В пустыне нет ничего постоянного.— записал он в своем дневнике.— Здесь все находится в непрерывном дви-

жении, хотя на первый взгляд вы и погружаетесь в царство неподвижности.

Движутся пески, стираются старые дороги, появляются и исчезают кибитки, каждый час меняются ветры, кочуют люди. Песчаные пустыни — единственные движущиеся пространства суши. Это материки, взлетающие во время ураганов на воздух и создающие необыкновенные цветовые эффекты, носящие имя закатов».

В описываемый январский вечер Ремизов сидел над дневником и торопливо записывал свои выводы о характере оседания глауберовой соли в Кара-Бугазском заливе. Выводы эти в ту минуту казались ему гениальными. Сейчас они стали азбучной истиной.

Он точно выяснил, что глауберова соль — мирабилит — осаждается кристаллами на дне залива и плавает во взвешенном состоянии в его водах только зимой, когда температура воды падает до пяти градусов тепла. Кара-Бугаз, этот завод мирабилита, работает только зимой — примерно с ноября до марта. Зимние штормы выбрасывают мирабилит на берега громадными горами, сотнями тысяч тонн.

В марте, как только вода потеплеет, мирабилит растворяется в ней без остатка. Летом в водах залива твердого мирабилита нет.

Летняя жара действует на залив как топка. Она доводит воду до такой густоты, что при пяти градусах тепла в воде уже начинается кристаллизация мирабилита. И лето и зима в заливе одинаково благоприятны для непрерывного, но периодического роста запасов мирабилита. Это явление казалось Ремизову похожим на круговорот растительной жизни в природе. Каждую весну цветут деревья и каждую осень дают новые плоды. Залив каждую зиму давал новые и новые миллионы тонн мирабилита, давал в течение тысячелетий и будет давать тысячелетиями, сколько бы миллионов тонн мирабилита ни вычерпывали, ни вывозили и ни перерабатывали.

— Вот где богатство! — сказал Ремизов, перечитывая свежую запись.

Говорил он странным голосом, с металлическим звоном. Если в трубку попадала слюна, голос свистел и из фальцета переходил в густой бас.

Ремизов отложил дневник и начал фантазировать. Он уверял Арьянца, что через несколько лет на бесплодных

берегах Кара-Бугаза поставят бронзовый памятник Жеребцову — первому исследователю залива и крестному отцу Ремизова. Жеребцов будет стоять в мятой морской фуражке. У ног его развернется медная карта залива. На памятнике вычеканят надпись: «Отважному исследователю Кара-Бугаза — Советская Россия».

Арьянц сидел на корточках перед очагом и кипятил чай из солоноватой воды. Приближался девятый час вечера. Снаружи, за проливом, глухо ударил выстрел, потом второй, третий.

Ремизов встал.

— Один не ходи, пойдем вместе,— сказал Арьянц.

Они вышли в ветреную ночь. За узким проливом кто-то гортанно кричал, потом снова выстрелил в воздух.

Ремизов отвязал лодку, выстрелил в ответ и налег на весла. Арьянц понуро сидел на корме. Выстрелы с северного берега означали просьбу подать лодку. Таких случаев было уже несколько, но ни разу еще киргизы не подходили к заливу ночью, и это тревожило Арьянца.

На берегу вертелись на злых лошаденках два молодых киргиза. Они молча подали Ремизову и Арьянцу плоские широкие ладони и заговорили оба сразу. Ремизов понял только одно: на острове Кара-Ада погибают люди. Вот уже второй день они жгут костры и просят помощи. Нужно гнать парусную туркменскую лодку. Какие люди и как они туда попали, никто не знает. Ремизов похолодел. Такой холод, предвещавший безрассудные поступки и похожий на припадок восторга, он переживал только в детстве, когда плакал по ночам над книгами.

Ремизов взял одного из киргизов и вернулся обратно. У метеорологической станции стояла на приколе парусная лодка. Около часа они яростно работали, прикрепляя парус, взяли с собой два бочонка с водой, бутылку водки, немного жареной рыбы и пошли в море.

Арьянц стоял на берегу. Ремизов крикнул ему напоследок:

— В случае чего держи направление на Красноводск!

Арьянц махнул рукой: какой смысл разговаривать с сумасшедшим!

Вышли из залива поздней ночью. Начало качать. Ремизов вспомнил, что на сотни миль вокруг нет ни одного судна, ни одной живой человеческой души, только свинцовое и смертельно холодное море, ночь и их двое на скри-

пучей туркменской лодке. Невольная дрожь прошла по спине.

Теплый дощатый дом, окруженный сухим бурьяном, длинные дни, гром редких выстрелов по диким уткам, пять ящиков с книгами (из них был прочитан только один) — все это осталось позади, скрытое черной водой.

Киргиз говорил, чтобы держать подальше в море: у берегов есть подводные камни, целые горы камней, и лодку разобьет о них, как стекло о железо.

Так в шторме они шли всю ночь. Только один раз Ремизову удалось покурить.

На рассвете они заметили черный зубец Кара-Ада. Ремизов спросил киргиза, есть ли около Бек-Таша удобное место для высадки. Киргиз с сомнением покачал головой. Дело осложнялось. Ремизов закусил губу и повел взлетавшую лодку к острову, где костер вдруг задымил ядовитым желтым дымом.

— Живы! — засмеялся киргиз и потряс головой.— Ай, живы те люди!

Его мокрое от брызг лицо блестело жиром.

На острове Ремизов застал множество трупов и пятнадцать живых людей, лежавших без памяти. Ремизов влил живым в рот немного воды с водкой и вместе с киргизом перетащил их в лодку. Пришел в себя только Миллер. Остальные стонали и бредили.

— Кто вы? — спросил Ремизов Миллера, когда лодка, черпая воду, пошла по ветру к Бек-Ташу, где стояла киргизская зимовка.— Что это за женщина с вами? Как вы попали на остров?

— Пять дней не пили,— ответил Миллер и лег на дно лодки.— Пять дней. Тифозные все поумирали. Что сделали, гады,— хуже расстрела!

— Кто же вы? — снова спросил Ремизов.

— Заключенные из Петровска. Есть партийцы, есть красногвардейцы, есть случайные. Деникинцы бежали из Петровска, нас погрузили на пароход, в трюм, выкинули на остров без воды, без пищи.

Ремизов ничего не ответил. Вот оно подошло и к пустыне, то, чего он втайне боялся,— гражданская война, сыпняк, все, что мешало ему доводить до конца свои открытия, от чего он спрятался здесь, в заливе, где раз в год

проходило два десятка кибиток и не было ни одного русского.

— Женщина неизвестная,— сказал Миллер,— случайная женщина. И вот этот ученый — тоже случайный. Три раза белогвардейцы его ставили к стенке.

— Какой ученый? — спросил Ремизов и повернул руль, огибая прибрежные скалы.

Ответить Миллер не успел: лодка вошла в буруны.

Киргизы подхватили ее и дружно вытащили на берег.

Молча переносили в кибитки бредящих людей. К ночи умерло пять человек. Утром умер шестой — старик крестьянин, бредивший станицей на «ридной Кубани».

Из всех заключенных выжило только девять человек. Шестеро пошли с киргизами к Красноводску, надеясь добраться до железной дороги, а троих — Миллера, Шацкого и женщину — Ремизов взял к себе.

Шацкий все время хитро улыбался. Женщина — армянка, учительница из Ростова — беспрерывно плакала.

Ремизов до тех пор не представлял себе, что можно плакать несколько дней подряд. Он сдал армянку на попечение Арьянцу. Старик часами бормотал немудрые утешения и, слушая рассказы учительницы, сурово качал головой:

— Собаки, бешеные собаки! Травить надо таких людей!

Один Миллер был спокоен. Но и он не спал по ночам и много курил.

На третью ночь Шацкий разбудил Ремизова и сказал ему, волнуясь:

— Все, что я сейчас расскажу, держите в величайшем секрете. Я сделал гениальное открытие, но его нельзя огласить, иначе все человечество будет уничтожено величайшей мировой катастрофой. Я геолог. Я пришел к выводу, что в геологических пластах сконцентрирована не только чудовищная энергия, носящая материальный характер, но и психическая энергия тех диких эпох, когда создавались эти пласты. Понимаете?

Ремизов сел на койке:

— В чем дело?

— Слушайте внимательно. Мы нашли способы развязывать материальную энергию — нефть, уголь, сланцы, руду. Все это очень просто. Но у нас не было способа раз-

вязать психическую энергию, сжатую в этих пластах. Этот способ открыт американцами. Они ненавидят нас, они хотят стереть с лица земли Советское государство. Они готовятся выпустить психическую энергию пластов, лежащих под нами. Больше всего ее в известняках и фосфоритах. Фосфориты — это спрессованная злая воля, это сумеречный первобытный мозг, это звериная злоба. Чтобы спастись, надо применить дегазацию. Против известняков мы выпустим молодую мощную энергию аллювиальных напластований. Необходимо немедленно ехать в Москву и предупредить Совнарком. Необходимо оцепить кордоном все местности, где есть выходы известняков и фосфоритов. Иначе мы погибнем всюду, даже в таких укромных углах, как Кара-Бугаз.

Ремизов зажег лампу и внимательно поглядел на Шацкого. Перед ним сидел старик. Лицо Шацкого стало похоже на львиную маску.

— Сколько вам лет?

— Тридцать два,— ответил Шацкий.

Ремизов посмотрел на зрачки Шацкого, они были неподвижны, как у филина, пойманного днем.

«Еще один кончен»,— подумал Ремизов. Восточный ветер гудел над жалкой хибаркой, охранявшей сон бредивших людей.

Ремизов сел к столу, открыл тетрадь и записал:

«Третьего февраля 1920 года. Сегодня вечером говорил с Миллером. Он предлагает пробираться в Астрахань, где Советская власть обосновалась прочно. Я колебался недолго. Здесь оставлю Арьянца с Шацким и учительницей. Геолог сошел с ума. Нет права и человеческих сил заниматься изучением залива и метеорологией после того, что случилось. Пришли сроки, когда все «непреложные истины» об аполитичности науки летят в пропасть. Сырая весна шумит над Россией, и эту весну мне нельзя прозевать».

Остальные заключенные из Петровской тюрьмы — около трехсот человек — были высажены деникинцами на восточный берег моря, вблизи Кара-Бугаза. Эта партия заключенных пошла через пустыню в Красноводск. До Красноводска было четыреста километров. Незадолго перед этим белые были выбиты из Красноводска красными

частями, наступавшими со стороны Ашхабада. Город был взят после жестокого боя в Гипсовом ущелье.

Заключенные шли в не затихавшем ни на один день песчаном урагане. Дул норд. Каждый час в конце страшного шествия, растянувшегося на несколько километров, падали выбившиеся из сил. Они кричали и звали передних, но остановиться надолго было равносильно смерти.

Первыми погибли женщины с детьми и матрос-инвалид, ковылявший по пескам на костылях. Передние уходили далеко, задние теряли их след, шли наугад в песчаную муть пустыни, шли до вечера, падали и лежали, зная, что помощи не будет ниоткуда.

По редким туркменским зимовьям прошел слух, что из пустыни к Красноводску движется «шествие проклятых аллахом». Туркмены складывали кибитки и бежали в глубь степей.

Заключенные питались сырыми ящерицами и черепахами. Изредка они находили колодцы с тухлой водой. Вел их туркмен, хорошо знавший пустыню, и только это спасло небольшую часть людей из «шествия мертвых».

Среди заключенных был учитель, грузин Халадзе, участник революционных восстаний в Персии. Был знаменитый штурман Бархударов, доставлявший из Астрахани оружие повстанцам под самым носом деникинских дозорных судов. Деникинцы так и не поймали бархударовский груз. Дозорное судно погналось за пароходом Бархударова, но Бархударов потопил пароход. В Петровской тюрьме ему дали сто шомполов и назначили к расстрелу, но вместо расстрела выбросили с остальными заключенными на мертвые берега Кара-Бугаза. Был офицер англо-индусских войск Муртузалли, перешедший на сторону красных и дравшийся против деникинцев в партизанских отрядах в горах Дагестана. Был ученый, старик Мухин, автор проекта «О социализации недр земли».

В восьмидесяти километрах от города стало ясно, что все оставшиеся в живых до Красноводска не дойдут. Тогда Мухин, принявший начальство над «шествием мертвых», приказал им не двигаться и ждать помощи. Он отобрал сорок наиболее крепких человек и пошел с ними к городу, оставляя через каждые три-четыре километра одного человека как живую веху, чтобы можно было найти оставленных людей.

До Красноводска дошли трое. Они упали на улице, но успели рассказать попавшимся навстречу красногвардейцам о том, что случилось в пустыне. Через полчаса из Красноводска выслали верблюдов и помчались всадники отыскивать по живым вехам брошенных людей. Большую часть удалось спасти.

ДЕЛО ВДОВЫ НАЧАР

Седые дрозды сидели в поломанных клетках, одурев от кухонного чада. Синий жар дымился из-за дощатой перегородки, заклеенной розовыми обоями. Хозяин столовой Тигран, похожий на седого ежа, сердито нашвыривал на тарелки жирный гуляш. Квас в бутылках из-под кислоты пенился от солнца. Ртуть в термометрах вытягивалась готовыми разорваться столбиками и закрывала пятидесятое деление. Было девять часов утра.

Поданный мне и геологу Прокофьеву гуляш напоминал раскаленный кокс. Одно его присутствие на хромоногом столике обжигало лицо крепче палящего красноводского солнца.

Прокофьев со страхом посмотрел на тарелку и отодвинул ее кончиком вилки. Есть такое блюдо, по его словам, «не представлялось возможным». Мы выпили по бутылке горячего квасу и пошли в купальню. Всю дорогу нас преследовал запах солода. Он явно исходил от нас. Прокофьев вежливо бранился: впервые от него, научного работника Нефтяного института, пахло не лабораторией и нефтью, а пивным суслом.

Что может быть освежительнее купанья в такое беспощадное утро! На белых лодках переливались отблески волн. Их зеленое сияние было нежно, как цвет лунного камня. Серебряные булавки мальков стягивались веерами к плавашей на воде корке. Виднелось дно, голубоватое песчаное дно, где бродили, выпучив глаза, сердитые бычки. Даже ржавые банки от консервов, валявшиеся на дне, казались сделанными из благородных металлов.

Море почти не шумело. От скал Уфра дул на город горячий ветер и падал, изнемогая, у берегов.

Утро купанья перевернуло все мои планы. Я ехал в Кара-Бугаз, где намечалась постройка большого химического комбината — форпоста индустрии в пустынях Кара-

Кума. Десять дней я задыхался в вагонной пыли и слеп от светоносной жары, добираясь до Красноводска через Ташкент.

В Красноводске я встретился с большевиком-геологом Прокофьевым. Я застал его вечером в общежитии треста «Карабугазсульфат» в самом бедственном положении.

В соседнем кино мужественно носился по клавишам неистовый пианист. Прокофьев сидел на койке в носках, скучал, страдал от жары и не мог выйти: по мягкости характера он уступил свои желтые ботинки соседу по койке, шоферу Мише. Миша пошел в кино. Желая блеснуть перед Красноводском, он выпросил у Прокофьева ботинки, оставив взамен рваные парусиновые сапоги, пропитанные смазочным маслом. Прокофьев подозревал, что Миша увлекся одной из красноводских гражданок.

Я сбегал за водой к соседке. Мы разожгли досадливо фыркавший примус и разлеглись на койках в ожидании чая. Прокофьев знал нрав примуса и категорически заявил, что раньше как через час чайник не вскипит.

Узнав, что я еду в Кара-Бугаз, Прокофьев оживился, встал и заходил по комнате из угла в угол.

— Прежде всего,— сказал он,— вам надо хорошенько обдумать маршрут. Давайте сообразим.

— То есть какой маршрут? До Кара-Бугаза отсюда двести километров морем.

Прокофьев снисходительно засмеялся:

— Если вы едете в Кара-Бугаз как работник треста, то двести километров. Но вы же едете совсем за другим: вы хотите, насколько я понял, изучить всю проблему Кара-Бугаза. Так? Тогда маршрут сильно осложнится. Я сам давно мечтаю о такой поездке. Она у меня разработана во всех мелочах. Но у меня нет денег, а у вас деньги есть, поэтому я уступлю вам свой маршрут бесплатно.

Положительно это был новый тип ученого-филантропа: Мише он отдал ботинки, мне уступал тщательно разработанный маршрут.

Каждый шаг Прокофьева по темной комнате вызывал угрожающее жужжанье. Тысячи мух носились вокруг него, не находя покоя от порывистых движений этого высокого человека.

Пианист в кино ударил по клавишам кулаками: рояль дико вскрикнул, как человек, испуганный из-за угла.

— Слыхали? — спросил Прокофьев.— Варварство!

Он снова зашагал по комнате.

— В Кара-Бугаз вам придется ехать по спирали,— продолжал Прокофьев.— Что такое Кара-Бугаз? Величайший в мире и неисчерпаемый источник глауберовой соли. Но суть дела не в этом. Суть дела в том, как использовать эти богатства. В Кара-Бугазе есть соль, но нет угля, нефти, воды, газов, нет основы для переработки этой соли в ценнейшие химические вещества, и потому как будто нет места для комбината. Но уголь, нефть, вода и газы лежат по широкой кривой вокруг залива. Прежде чем изучать залив, вам нужно изучить подступы к нему. На этом и основан мой маршрут.

Чайник вскипел. В это время пришли инженер Хоробрых и топограф Бархин. Они сбежали из кино, не выдержав жестокой музыки и мучимые жаждой.

Хоробрых тотчас же вырвал инициативу разговора из мягких рук Прокофьева. Это был высокий человек с лицом Шаляпина и военной выправкой. Он заведовал изысканиями грунтовой дороги из Красноводска в Кара-Бугаз.

Несколько дней я наблюдал его. Он работал, как полководец на фронте, хотя армия его состояла лишь из завхоза Корчагина, нескольких комсомольцев-топографов, пятерых туркмен-рабочих и четырех верблюдов. Но эта маленькая армия действовала быстро и четко. Распоряжения Хоробрых отличались краткостью и напоминали знаменитую наполеоновскую речь: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас с высоты пирамид!»

В приказах Хоробрых, к сожалению нигде не записанных, были суровость и величие пустыни. Он говорил громовым голосом: «Топографы! Вы должны выйти на горькие родники Кош-Аджи и держаться тех колодцев, где, по надписям времен Тамерлана, высеченным в скале, можно напоить сто верблюдов. От этих колодцев ведите трассу на северо-запад, но помните, что измерения в тех местах очень часто искажаются отблесками соляных озер».

Хоробрых всю жизнь провел в Средней Азии. Он участвовал в гражданской войне. Легкий налет времен военного коммунизма остался на нем до последних дней — налет стремительных решений, смелых поступков и внешней грубоватости.

Зимой он ездил верхом в Кара-Бугаз через пустыню, а осенью ходил на туркменских лодках из Кара-Бугаза в Баку.

Никто из инженеров не отваживался на это. Плавание походило на игру со смертью.

Хоробрых написал статью о мореходных качествах этих лодок и напечатал ее в краеведческом журнале в Ашхабаде. По статье выходило так, что туркменские лодки как будто прочнее пароходов и быстроходнее моторных катеров. Хоробрых больше всего ценил в этих лодках то, что они делались без конопатки — отдельные доски пригонялись друг к другу «под нож» с исключительной точностью. Лишь одно обстоятельство смущало Хоробрых: попадая в воды Кара-Бугаза, туркменские лодки часто давали жестокую течь и даже тонули.

Хоробрых занялся изучением этого явления — не из любопытства, а потому, что до последнего времени на этих лодках с отдаленных промыслов в пролив перевозилась глауберова соль (мирабилит). Причина течи заключалась в кара-бугазской воде и в том, что каждое дерево, даже самое сухое, содержит в себе некоторую долю пресной влаги. Кара-бугазская вода, объяснял Хоробрых, является насыщенным раствором соли. Когда лодка попадает в Кара-Бугаз, то его едкая вода моментально всасывает в себя всю влагу из лодочных дощатых бортов, пазы между досками расходятся, и лодка, естественно, тонет. За эту теорию Хоробрых держался твердо.

Остаток вечера прошел в спорах о причинах течи туркменских лодок и в рассказах Хоробрых об истории исследований Кара-Бугазского залива. Хоробрых в первый раз был в Кара-Бугазе в 1914 году и с полным правом считал себя кара-бугазским старожилом.

Вечером Прокофьев не успел передать мне маршрут, и разговор наш был закончен наутро в купальне.

— Маршрут наш должен быть следующий,— сказал Прокофьев, сидя в тени на ступеньках купальни.— Сначала Красноводск, где вы сейчас и находитесь, потом Дагестан — Берикей и Махачкала, потом Эмба, наконец полуостров Мангышлак, и только после этого вы имеете право попасть в Кара-Бугаз. Всего три тысячи километров по Каспийскому морю и несколько сот километров по суше. Район Красноводска богат нефтью и газами, Дагестан — газами, Эмба — нефтью и известняком, а Мангышлак — каменным углем, фосфоритами и нефтью. Все это необходимо для переработки кара-бугазского мирабилита в цен-

ные химические продукты. Без этого нет никакого смысла строить кара-бугазский комбинат. Ну что, согласны?

— Согласен.

Прокофьев прыгнул в воду. Своим телом он вогнал почти до самого дна много воздуха: вода вокруг него сделалась снежной от мелких пузырьков газа.

Из соседней кабинки с грохотом свалился в воду Хоробрых.

— Здоро́во, орлы! — прокричал он, нырнул и пошел саженками к скалам Уфра.

Он плыл, погружаясь в блеск воды. Он тонул в нем, как в необыкновенном световом океане. Прямо на Хоробрых шел наливной пароход с желтой, канареечной трубой. На мостике его чернела громадная надпись: «Лафарг».

Зной ложился розовым дымом на мертвые горы и песчаные косы, сверкавшие вдали подобно неведомым обширным материкам.

Вечером я встретил Прокофьева в Новом городе, за вокзалом. Улицы здесь упирались в рыжие и угрюмые скалы.

Прокофьев сообщил мне последнюю новость: в столовую горпо привезли ключевую джебельскую воду. Мы поспешили к столовой. Вода из опреснителей казалась нам хуже касторки. Это была густая и мутная жидкость, попахивавшая керосином и рыжая от каких-то хлопьев, неохотно оседавших на дно. Пить ее было бесполезно: жажду она почти не утоляла. Для одного Хоробрых нужно было два ведра в день, выдавали же на человека только по ведру, так как один из опреснителей поставили на ремонт.

О водяном кризисе свидетельствовали мертвые очереди из пустых ведер, закручивавшиеся спиралью вокруг водоразборных будок. Надменные верблюды шагали прямо по ведрам, оставленным хозяйками на попечение старого философа-туркмена. Гром катился по улицам, туркмен лупил верблюдов по сизым бокам, хозяйки, красные, как кочегары, бежали вперевалку к ведрам, призывая проклятия на верблюдов.

По пути мы догнали Хоробрых. В ответ на сообщение о джебельской воде он сделал безразличное лицо, хотя тут же довольно охотно согласился идти с нами в столовую. Как истый инженер и среднеазиатец, он доказывал нам, что вода из опреснителей ничуть не хуже родниковой.

В столовой чай заказывали оптом — по пять, восемь, даже десять стаканов. Бархин и Корчагин сидели окруженные душистым паром и уничтожали коробку экспедиционной пастилы. Из кино долетала музыка. Дневная пыль сейчас спокойно лежала на мостовых, а не взлетала среди улиц шумными смерчами.

Воздух был чист. В зеленоватом небе висели, касаясь крыш, переспелые звезды. Даже на Востоке бывают вечера, напоминающие восточные пейзажи наших художников и восточные стихи. Бархин посмотрел на небо и промолвил:

— Шехерезада.

— Что «Шехерезада»? — строго спросил Хоробрых.

— Небо.

— Почему «Шехерезада»?

— Арабское слово «Шехерезада» похоже на наше слово «путаница»,— мягко вмешался Прокофьев.— Бархин, у вас возникла интересная ассоциация: Шехерезада — путаница. Посмотрите на небо: какая чудовищная путаница звезд всех величин!

— Посадить среди этой путаницы соловья, и пусть поет,— сказал Хоробрых.— Ах, ах, ширазские соловьи и розы Хорасана! Ах, Зюлейка, лилия иранских долин!

Хоробрых издевался над шаблонной восточной экзотикой. Он любил на Востоке иное: рыжие пески, цветение хлопка, почтовых верблюдов (нарров), заросли тау-сагыза, Гиндукушскую плотину и опреснители. К мечетям Самарканда он относился почтительно, но только как к архитектурным сооружениям. Поэзия Саади была для него выкрутасами старого хитреца перса, морочившего голову наивным шахам. Из изречений Саади он ценил только одно и часто повторял его топографам:

«Если ты идешь с хромым, то поджимай ногу, чтобы его хромота не была так заметна».

Этот предел восточной вежливости веселил Хоробрых.

— Пейте лучше чай,— предложил он Прокофьеву,— и расскажите, кстати, о ваших работах в Чикишляре. Это гораздо интереснее.

Лицо Прокофьева в запыленных роговых очках казалось совершенно черным от вечера и загара.

— Что Чикишляр! — ответил Прокофьев.— Там каждая пядь — нефть. Нефтью залиты целые гектары. Баку

мерı пет перед Чикишляром. Из всех трещин в земле бьют благороднейшие газы.

— Ну-ну,— примирительно пробормотал Хоробрых,— лучше вашего Чикишляра нет уже и места на свете.

— Давайте поговорим серьезно. Вот уже два года на всех совещаниях я кричу о Чикишляре, Нефте Даге, Челекене и Бая-Даге. Но больше всего, конечно, о Чикишляре. Вам известно, что я потратил на Чикишляр три года тщательных исследований и имею право говорить о Чикишляре с полной достоверностью.

Рассердившись, Прокофьев рассказал нам интересную историю о Чикишляре.

У меня есть одна слабость: мне хочется возможно большее число людей приохотить к писательству. Часто встречаются люди, пережившие много интереснейших вещей. Багаж прожитой жизни они таскают с собой повсюду и тратят попусту, рассказывая случайным попутчикам или что гораздо хуже, не рассказывая никому.

Сожаление о зря погибающем великолепном материале преследует меня непрерывно. К таким людям я обыкновенно пристаю с просьбой описать пережитое, но почти всегда наталкиваюсь на неверие в собственные силы, на испуг и, наконец, на ироническую усмешку. Плоская мысль, что писательство — легкое занятие, до сих пор колом стоит в мозгах многих людей. Большинство ссылается на свое исключительное пристрастие к правдивости, полагая, что писательство — это вранье. Они не подозревают, что факт, поданный литературно, с опусканием ненужных деталей и со сгущением некоторых характерных черт, факт, освещенный слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол.

Выслушав Прокофьева, я предложил ему написать обо всем, что он рассказал. Вопреки моим опасениям, Прокофьев охотно согласился.

Он сидел в Красноводске, дожидаясь парохода на Кара-Бугаз. Пароход застрял в Гасан-Кули, и даже капитан порта не мог сказать точно, когда он придет,— во всяком случае, не раньше чем через неделю.

Для записей Прокофьев взял себе два дня. В общежитии он писать не мог. Топографы сильно заинтересовались его писательскими опытами и начали изощряться в остроумии насчет «святого вдохновения» и «лавров Шолохова,

не дающих Прокофьеву спать». Поэтому Прокофьев уходил с утра в Новый город, к своему приятелю, и писал в его прохладной комнате. В общежитие он возвращался только вечером, и мы тотчас же шли на окраину города купаться.

Ночь, как бы разведенная на саже, опускалась на море и берег глубокой тишиной. Мы не видели воды, мы лишь чувствовали ее прохладный уровень на разгоряченном теле. Постепенно глаза привыкали к темноте, и светоносная крупа звезд начинала осыпаться вокруг нас, падала в воду; вода слабо светилась, и, стоя в ней по пояс, мы ясно представляли вокруг себя открытое и мелкое тропическое море.

Портовые фонари лежали на воде неподвижно, как голубые глаза глубоководных рыб, поднявшихся в полночь поглазеть на звезды. Море пахло остро, как пахнут огороды, обильно политые на рассвете. В запахе его были крепкие соки соли и устриц.

Прокофьев, одеваясь на ощупь в кромешной темноте, говорил, что писательство — самое тяжелое и заманчивое занятие в мире и что если бы он не был геологом то наверняка сделался бы писателем. Двух дней, чтобы записать свой рассказ, ему уже не хватало. Он просил отсрочки еще на два дня. Из за этого я пропускал очередной пароход на Баку (по маршруту Прокофьева я должен был ехать в Дагестан). Мы долго спорили, но в конце концов мне пришлось согласиться.

Рассказ свой Прокофьев отдал мне за день до моего отъезда. Ему очень не хотелось, чтобы я читал его при нем. Ложный стыд еще не выветрился из него окончательно. Назывался рассказ «Черные реки».

Вот этот рассказ.

«Года три назад я заинтересовался странным явлением, происходившим на острове Челекен. Явление это заключалось в том, что с острова вот уже тридцать лет добывают нефть, тогда как, по всем геологическим данным, запасы нефти на Челекене очень невелики и должны были быть исчерпаны за первые десять — пятнадцать лет добычи.

Одно из научных учреждений командировало меня на Челекен для выяснения этого обстоятельства.

Я впервые попал в Среднюю Азию. Меня удивила ну-

стынность тех мест, где мне пришлось бывать. В научной литературе эти места упоминаются довольно часто, и, казалось, они должны быть более населенными.

Кратковременное пребывание на Челекене убедило меня, что корни неиссякаемости челекенской нефти можно выяснить только на материке, примерно в районе Чикишляра, Гасан-Кули и Атрека.

Я выехал туда. В Гасан-Кули на рейде пассажиров пересадили на плоскодонные фелюги, а в километре от суши — с фелюг на арбы и по мелкой воде вывезли, наконец, на плоский песчаный берег.

Я ощутил необычайную духоту, жажду и тревогу. Я задыхался от запаха гнилой рыбы и пережил состояние, знакомое всем впервые попадающим на Восток. Его можно назвать «тоской по привычному». Прохладные лаборатории института и густая листва ленинградских садов, создававшая в комнатах зеленый сумрак, показались мне потерянным раем. Я спрашивал себя, действительно ли существуют березовые леса и реки, заросшие кувшинками, моросящие дожди и трава. Особенно неправдоподобным казалось существование травы — настолько голой и кремнистой была здешняя пересохшая земля.

Я бывал в Баку, жил в Грозном, на Эмбе и, как геолог, прекрасно знал, что нефтяные залежи лежат на высохшем дне бывших морских заливов, в местах, обычно бесплодных и малопривлекательных. Самая тоскливость этих мест, куда я попал, показалась мне довольно верным доказательством, что нефть здесь должна быть в большом количестве.

Я поселился в ауле Кульджар, у туземного врача — табиба. Это был коричневый, напыщенный старик туркмен, считавший меня тоже знахарем по части нефти и других ископаемых богатств и потому как бы товарищем по профессии. Табиб вынужден был скрывать от непосвященных свои занятия.

Когда я приехал в Кульджар, аул стоял на месте уже год и был окружен поясом зловонных отбросов и грязи. Я тогда еще не знал, что аулы могут стоять на месте лишь полтора-два года. После этого они так загрязняют всю землю вокруг, что их приходится переносить на свежее место.

Я ушел с головой в свою работу. Возможно, многие не знают теории о первичной и вторичной нефти. Сущ-

ность этой теории в том, что нефть, возникая в одном месте, совершает далекие странствования под землей, обычно из глубоких пластов поближе к поверхности, передвигаясь по пустотам и пористым породам в сторону наименьшего сопротивления. Большую роль при этом играет давление нефтеносных газов.

По моим наблюдениям, в случае с Челекеном мы имеем классический пример передвижения нефти. Забыл упомянуть, что нефть, найденная в том месте, где она образовалась, называется первичной, а нефть, найденная далеко от места образования, или такая вот бродячая нефть, называется вторичной. На Челекене — нефть вторичная, беспрерывно наплывающая в тамошние нефтеносные пласты откуда-то со стороны. Этим и объясняется неисчерпаемость челекенских залежей. Но где сама родина нефти? Этот вопрос занимал меня чрезвычайно.

Мне было очень трудно найти рабочих. Все туркмены моего аула были из рода Игдыр. Род этот, испокон веков владевший неисчислимыми стадами, знаменит предрассудками. Только молодежь после революции начала работать, старики же до сих пор считают работу унизительной и проводят время в праздности, курении и игре в кости. Работают женщины.

В качестве рабочих табиб любезно приводил мне тэриакешей — курильщиков дрянного грязного опиума, людей ненадежных и оцепенелых. Временами их невозможно было сдвинуть с места. Лишь через месяц у меня появился бойкий и толковый, но чрезмерно любопытный помощник — юноша Гузар. Он интересовался буквально всем, и мне пришлось объяснять ему даже теорию первичной и вторичной нефти. В его глазах я был великий ученый-большевик, знающий происхождение чудес и значительно более почтенный, чем доживающие свой век в ауле эвляды — потомки пророка.

Табиб изводил меня медленно, но верно. Он втайне ненавидел большевиков и, упоминая о революции, со вздохом провозглашал старинное изречение: «Когда караван поворачивает, то хромой верблюд оказывается впереди». Под хромым верблюдом он, очевидно, подразумевал бедняков, ставших у власти.

Он бесил меня своими варварскими способами лечения. Он настаивал красный перец на верблюжьем молоке и растирал этой ядовитой гадостью веки у трахоматозных.

Больным сифилисом он давал курить смешанную с табаком и растертую в мельчайший порошок высушенную голову ящерицы — варана. Нарывы он лечил прикладыванием теплого мяса только что убитых ящериц или щенков. Но самым чудовищным было лечение дизентерии. От нее летом погибало много детей. Табиб изо всеи силы закручивал больному пупок, не обращая внимания на отчаянные крики. Этот способ лечения обычно кончался грыжей.

Табиб знал только четыре болезни — трахому, дизентерию, сифилис и туберкулез желез. Все остальные недуги он называл сердечными и лечил их прижиганием. Способ прижигания напоминал изощренную пытку. Больному туго привязывали к боку тлеющую кошму. Когда ожог, по мнению табиба, достигал нужных размеров, кошму снимали и на обожженное место клали компресс из мочи.

Я терпел все это две недели, потом послал с оказией записку в Чикишляр, требуя чтобы табибу запретили калечить людей.

Вскоре после этого я уехал в горы. Здесь мне удалось сделать ценное открытие, заставившее меня забыть о табибе.

Перед отъездом я переселился от табиба в кибитку вдовы Начар. Она сама перешла в шалаш, стоявший в нескольких шагах от кибитки. Кибитка Начар мне понравилась. Она была очень чистая и стояла далеко от аула, за чертой зловония и дохлых щенков, в полосе крепких ветров, дувших с отдаленных гор.

У подножия гор я нашел выходы газов и путем ряда наблюдений окончательно убедился, что место моего исследования было центром богатых залежей первичной нефти, откуда она распространялась медленными подземными потоками, имевшими, по моим предположениям, два направления — к Челекену и Нефте-Дагу.

Тогда уже в научных кругах была во всей широте поставлена проблема Кара-Бугаза, иначе говоря — проблема добычи и переработки величайших на земном шаре залежей мирабилита. Меня интересовал главным образом вопрос о переработке мирабилита. Уже тогда носилась в воздухе идея создания в Кара-Бугазе мощного химического комбината. Существование комбината немыслимо без основных слагаемых — сырья, топлива и воды.

В Кара-Бугазе было только сырье — мирабилит; топлива же и воды не было. Я открыл величайшие газоносные земли — затрудняюсь даже приблизительно определить запасы газов в Чикишлярском районе — и был уверен, что этим разрешаю в значительной степени вопрос о топливе для комбината, так как передача горючих газов на расстояние — вопрос, давным-давно решенный техникой.

Кроме выходов газа, я открыл богатейшие источники йода и брома.

Одна часть топливной задачи была решена, но оставалась еще вторая часть — нефть.

В этом деле никаких сомнений и долгих раздумываний не было. Весь район был насыщен нефтью, как губка. Но эта нефть, равно как и челекенская, была слишком далека от Кара-Бугаза и лежала глубоко под землей. Нефте-Даг был ближе. Выгоднее всего было бы перебрасывать в Кара-Бугаз именно нефте-дагскую нефть.

Помню, как-то ранним утром я сидел около палатки и думал об этом. Гузар подошел ко мне и очень взволнованно сказал, что двое тэриакешей нашли за холмом брошенную мечеть и что туда следовало бы переселиться.

Гузар звал меня немедленно пойти осмотреть новое наше жилище.

Я пошел к мечети раздосадованный. Гузар оторвал меня от стройного порядка размышлений. Мне необходимо было, зная более или менее точно направление открытых мною нефтяных течений, определить, где следует искать нефть вблизи Кара-Бугаза. Мне нужно было наметить точки, где было больше всего вероятности встретить нефть, то есть, иными словами, найти кратчайшее расстояние от Кара-Бугаза до нефтяной полосы, идущей на север и, как я предполагал, сливающейся с нефтеносными землями Мангышлака и Эмбы.

Мы поднялись на холм. Я думал увидеть разрушенную мечеть с осыпавшимися синими, как купорос, изразцами, но перед нами чернело глинобитное приземистое здание, угрюмое и непривлекательное. Оба тэриакеша сидели у входа, посмеиваясь. Они сердито взглянули на меня и Гузара, когда мы проходили мимо них внутрь мечети. Я заранее решил в мечеть ни в коем случае не переселяться. Затея Гузара была совершенно нелепа.

Войдя в мечеть, я оторопел. У стены под разрушенной кровлей, пропускавшей плотные солнечные лучи, напоминавшие по цвету солому, сидела бедно одетая женщина в платке, закрывавшем рот, и тихо стонала. Рядом с ней спал на земле маленький мальчик.

— Начар пришла к нам, чтобы ей помогли,— пробормотал смущенный Гузар.

Я понял его детскую хитрость с переселением в мечеть, выдуманную, чтобы заманить меня сюда, и сказал, невольно улыбаясь:

— Переводи.

Начар откинула платок и быстро заговорила, протягивая к нам лиловые высохшие руки. Из глаз ее катились редкие слезы. Она говорила долго и страстно, сорвала ожерелье из медных монет и бросила его к моим ногам. Гузар часто переспрашивал ее и спорил с ней. Они оба волновались, и голоса их переходили в клекот.

Я рассматривал Начар. Я был поражен измученностью и красотой ее лица. Я привык думать, что туркменки скуласты, широколицы и изуродованы воловьей работой.

Наконец Начар умолкла, снова надвинула платок на рот и села, прислонившись к стене.

Гузар переводил с большим трудом. Начар не туркменка, она — афганка. Двадцать лет назад, когда ей было три года, ее украли у родителей и продали в аул Кульджар, бедняку Мураду.

Когда ей пошел пятнадцатый год, Мурад женился на ней. Весь аул ненавидел ее как чужеземку. Мурад бил ее, потому что первый год у нее не было детей. Потом родился мальчик, и жить стало легче: рождение первенца-сына считается в туркменских семьях счастливым предзнаменованием. Потом родилась девочка, но Мурад вскоре после этого умер. По закону шариата [1], у Начар отобрали всех овец — их было только пятьдесят голов. Месяц назад у нее украли и неизвестно куда продали дочь. Мальчишки забрасывали ее верблюжьим пометом.

Она обошла все кибитки, плача и умоляя сказать ей, куда продали дочь, но в каждой кибитке мужчины встречали ее побоями. Она ушла ночью тайком в Красноводск, взяв с собой мальчика. Начар хотела жаловаться боль-

---

[1] Шариат — бытовые законы у мусульман. *(Примеч. автора.)*

шевикам-судьям и русским женщинам, которые защищают туркменских женщин от мужей, но старики догнали ее недалеко от аула, избили и вернули обратно. Вчера к ней пришли трое эвлядов[1] и табиб, называли ее блудливой козой, грозили убить и ушли, содрав кошму с кибитки русского.

— Они убьют ее,— сказал Гузар и задрожал всем телом.— Иолдаш[2] Прокофий, нам нельзя возвращаться в аул. Они убьют нас троих и мальчика с нами.

Я промолчал. Все научные дела вылетели из моей головы. Я был охвачен единственным чувством — бешенством. Я вышел из мечети и сказал ухмылявшимся тэриакешам:

— Накормите эту женщину, а потом свертывайте палатки — мы переходим на новое место.

— Пусть подыхает, афганская ведьма! — ответил старый тэриакеш и сверкнул на меня желтыми, лошадиными зубами.

И я, геолог, работник одного из крупных научных институтов, схватил его за халат, рванул изо всей силы, так что у него с бритой головы свалилась папаха, и крикнул голосом, испугавшим меня самого:

— Слышишь, собака, что тебе говорят?!

Тэриакеш присел и закрыл глаза — казалось, он ждал выстрела.

Через три часа мы снялись и, захватив с собой Начар и ее мальчика, двинулись в сторону Гасан-Кули.

Так печально окончилась моя первая экспедиция в район Атрека. Я был доволен, что все случившееся совпало с окончанием главных работ. Остались мелочи, не имевшие значения.

В дороге один тэриакеш сбежал. Ночевали мы в пустыне. Я всю ночь не спал и прислушивался, но, кроме шороха ящериц, ничего не слышал.

На второй день мы добрались до Гасан-Кули. На руках у меня остались необработанные материалы экспедиции и трое людей, отдавших свою судьбу в мое распоряжение: Гузар, вдова и ее четырхлетний мальчик. Было от чего потерять голову. Я решил везти всех в Красноводск, а там видно будет.

---

[1] Эвляд — старший в роде *(туркм.)*.
[2] Иолдаш — товарищ *(туркм.)*.

В Красноводске я устроил Гузара в школу для туркмен, а с Начар пошел в райком партии. Заведующая женотделом Бариль — бывшая швея, маленькая, вспыльчивая и упрямая женщина, постоянно ронявшая пенсне,— выслушала меня, и лицо ее покрылось красными пятнами.

— Вы, товарищ, молодец,— сказала она, и глаза ее заблестели.— Оставьте эту женщину здесь. Мы всё устроим.

Она протянула мне крепкую руку. Я вышел с чувством облегчения.

Через неделю я получил повестку от председателя суда и узнал из нее, что назначаюсь общественным обвинителем по делу «о пережитках варварского быта, выразившихся в истязании и преследовании гражданки Начар».

От председателя суда я узнал, что табиб и шесть стариков эвлядов арестованы, доставлены в Красноводск, следствие заканчивается и через несколько дней будет суд.

Днями, оставшимися до суда, я воспользовался не для того, чтобы готовиться к обвинительной речи, а для составления доклада об использовании природных нефтяных газов Чикишляра.

Поскольку этот вопрос сравнительно нов, я позволю себе остановиться на моем докладе подробнее.

При разработке вопросов о газах я исходил из нужд кара-бугазского комбината. Ни уголь, ни нефть не могут соперничать как топливо с газом. Весь вопрос лишь в том, как перебросить газ за четыреста километров, из Чикишляра в Кара-Бугаз. Пять лет назад постройка газопровода в сто — сто пятьдесят километров считалась величайшим техническим достижением, а сейчас уже работают газопроводы длиной в семьсот пятьдесят километров. Поэтому прокладка газопровода в четыреста сорок километров не составит большого труда.

Горы Большие Балханы, пересекающие путь газопроводу, нисколько ему не помешают. В настоящее время газопроводы успешно пересекают местность с любым рельефом.

Я изложил свой проект инженерам. Они возразили что прокладка газовой линии потребует постройки больших газохранилищ.

Должен сказать, что ни разу я не встречал специалиста, который не нашел бы возражения против даже само-

го совершенного проекта. Это профессиональная привычка. У старых специалистов это не только привычка, но и неприязнь к масштабам. Они со вздохом вспоминают старые уютные заводы, где дворы зарастали одуванчиками и в конторах всегда стояла солнечная тишина. Некуда было торопиться, и некого было перегонять.

Возражения инженеров заставили меня сделать некоторые вычисления. Инженер Хоробрых поддержал меня со свойственным ему напором. Он подтвердил мои вычисления громовой речью, направленной против трусливых «трепачей-инженеров». Оказалось, что никаких газохранилищ не нужно, так как сам по себе газопровод является исполинским хранилищем. Действительно, газопровод длиной в четыреста километров вмещает два с половиной миллиона кубических метров газа. Ни одно газохранилище в мире не может вместить такого количества газа.

Применение газов очень многообразно. Они идут на топливо, на бытовые нужды, употребляются в нефтяной промышленности для освежения старых скважин, из них делают сажу, необходимую для резиновой промышленности, твердую угольную кислоту, так называемый «сухой лед», и множество химических веществ: древесный спирт, ацетон, водород, ацетилен для автогенной сварки, бутадиен для получения искусственного каучука, эфир, бензол, хлороформ, охлаждающие вещества.

В своем докладе я настаивал на необходимости продолжать исследования в Чикишлярском районе в значительно большем размере, чем велись мои работы. Необходимо глубокое бурение на тысячу и больше метров. Закладка газовых скважин должна вестись с большой осторожностью и только тогда, когда есть возможность использовать газ. Иначе можно совершенно зря выпустить на воздух миллионы кубических метров газа. Закрыть газовую скважину очень трудно. Газ почти всегда пробьет себе ход и хлынет по сторонам обсадных труб.

В будущем году я опять вернусь в Чикишлярский район, чтобы вычислить количество газа. Для этого есть два весьма простых и интересных способа. Первый способ состоит в том, что вычисляется объем пор и пустот в газоносной породе, который и будет равен объему газа, ибо газ эти пустоты заполняет. Однако этот способ дает

приблизительные, грубые цифры. Второй способ — так называемый «метод спуска давления» — состоит в том, чтобы определить уменьшение давления газа, выходящего из скважины. Зная дебит скважины (иначе говоря — количество газа, которое она дает), вычисляют подземный запас газа. Делают это следующим образом. Предположим, скважина дала сто тысяч кубических метров газа и давление после этого упало на одну десятую. В этом случае подземный запас газа в скважине составляет девять десятых дебита, то есть будет равен девятистам тысячам кубических метров.

Вот в основных чертах главные точки моего доклада. А затем начался суд.

Здание суда в Красноводске — единственное место, где в палисаднике цветут жесткие и пыльные цветы охряного цвета с серой шершавой листвой.

Я не помню, что я говорил. Я, кажется, говорил, что половина туркменских женщин страдает бесплодием в результате каторжного труда, что только Октябрьская революция сорвала платки, которыми молодые туркменки завязывали рот в знак того, что женщина должна всю жизнь молчать. Я требовал запрещения носить национальный женский головной убор, весящий около трех кило и вызывающий туберкулез шейных позвонков.

Подсудимые мрачно смотрели на кончики своих бород. Табиб отказался от последнего слова, снабдив свой отказ напыщенным изречением. «Сын пророка,— сказал он,— не поленится драться, но поленится говорить».

Приговор был суровый: пять лет каждому, с высылкой после отбытия наказания из пределов Туркменской республики.

В зале суда я увидел Начар. Она была уже без платка, в европейском платье.

— Товарищ дорогой,— сказала мне Бариль,— посмотрите на нее! Какая поразительная красавица! Мое платье никогда не сидело на мне так, как на ней. Я отправлю ее в Баку на швейную фабрику. Но надо, чтобы раньше она перестала пугаться мужчин и автомобилей.

Здесь, собственно говоря, можно поставить точку. Должен лишь добавить, что вмешательство мое в жизнь доставило мне столько же тревоги и радости, сколько и исследовательские мои работы по нефти на Челекене и в Чикишляре».

— Будет ли продолжение у этого рассказа? — спросил я Прокофьева.

— Боюсь, что в продолжении придется принять участие и вам,— ответил он.— Вы уезжаете завтра, а Бариль отправляет Начар в Баку с завтрашним пароходом. К вам просьба: поглядывайте за ней в дороге и доставьте ее в Баку по адресу.

— Прокофьев,— воскликнул я,— вы каждый день все дальше отодвигаете меня от Кара-Бугаза!

Он засмеялся:

— Совершенно ложный взгляд. Здесь все незримо связано с этим заливом. Бариль едет на днях в Кара-Бугаз для работы среди туркмен и казахов. В Кара-Бугазе вы ее встретите, и она вам расскажет и покажет кучу интересных вещей.

На следующий день над горами носились тучи серого праха. Слюдяное солнце выливало на землю океаны белой жары. Шелудивые псы с желтыми мудрыми глазами обнюхивали на пристани пыльные груды узлов и чемоданов, рыча друг на друга предостерегающе и нежно.

Пароход «Чичерин» вынес свой неестественно высокий нос в волнующуюся равнину моря. Прокофьев долго махал с пристани выгоревшей до седины шляпой и кричал, чтобы в Махачкале я обязательно навестил геолога Шацкого.

Бариль крикнула мне, показывая на Начар:

— Смотрите, чтобы она не утопла!

Хоробрых дымил обгрызенной трубкой и помахал мне рукой с видом милостивого начальника, зорко следящего за точным выполнением своих приказаний. В эту минуту я почувствовал себя подчиненным ему и понял, что топографы были правы, когда говорили, что за этим человеком можно работать, «как за бетонной стеной».

В последнюю минуту прибежал запыхавшийся Корчагин. Он нигде не мог найти верблюжьих седел для нужд изыскательской партии и притащил свое разочарование на пристань, где оно разбилось о непреклонную волю Хоробрых.

— Надо найти — и найдешь. Идем вместе,— сказал Хоробрых.

И я видел, как они прошли в решетчатые пристанские ворота и поднялись на пригорок. Там в увядших желтых цветах белело низкое здание горсовета.

Вздымая смерчи пыли, по набережной промчался на грузовике Миша. Он изрыгал проклятия охрипшей от жажды сиреной. Белая надпись на бортах его грузовика — «Карабугазтрест» — была видна очень далеко.

Потом город и ломаные, черствые горы быстро покатились влево. Волны бестолково заплясали около красных плавучих бочек. Ударил ветер. «Чичерин» медленно и торжественно опустил нос и, раздувая дым из трубы, раздувая флаг, раздувая брезент над палубой и парусиновые ветрогонки, с шумом и дрожью поднялся на широкую волну, катившуюся с моря.

К вечеру волна улеглась, и на западе разгорелся закат. Ниже заката, над самым морем, проносились из края в край голубыми снарядами зарницы. Тишина обволокла пароход.

Я принес пугливой Начар кипятку. Мы сели на палубу, напоминая со стороны семью бродяг, занятых чаепитием. Начар была в старом шелковом платье Бариль, в светлых чулках и белом шарфе. Рядом с ней бренчал на потертой гитаре певзрачный моряк.

Начар уже знала по-русски несколько слов, но произносила их шепотом и при этом краснела. После чая она закрыла шарфом нижнюю часть лица и сидела неподвижно, глядя на море. Мне кажется, так она просидела всю ночь: утром, когда мы приближались к плакатно-желтым берегам Апшерона, я застал ее в этой же позе.

К полудню над тусклой водой началось далекое нагромождение Баку — серых гор, серого неба, серых домов, покрытых заплатами яркого, но тоже серого солнечного цвета. Прошли остров Нарген, мыс Зых, и весь этот тускло сияющий город, притягивающий жадные взгляды «Стандард Ойлей» и «Ройял Датчей», город революции, 26 комиссаров, нефти, громоздился все выше и выше над радужной плоскостью залива, пока «Чичерин» не подошел к нему вплотную, покрикивая басовым гудком.

Я отвез Начар по адресу, записанному со слов Бариль, и передал с рук на руки молодой приветливой работнице, женоргу швейной фабрики.

Вечером пыльный горячий поезд унес меня к северу, в Дагестан, где должна была развернуться одна из страниц будущей истории Кара-Бугаза.

УЧИТЕСЬ У ВОДОРОСЛЕЙ

Солнце, в течение тысячелетий бывшее проклятием пустыни, сделается ее благословением.

Академик Иоффе

Три тысячи километров остались позади. Я живу в фанерном доме на берегу Кара-Бугазского залива. С утра до вечера работает безжалостное солнце, выпаривая и сгущая кара-бугазскую воду. Оно мешает мне сосредоточиться, чтобы вспомнить самые яркие точки на этом длинном пути вокруг Каспийского моря.

Целый мир отшумел за спиной и остался лишь в памяти да на исписанных бледным карандашом листках.

После Баку на рассвете поезд ворвался в пахучие заросли Берикея. На западе, в стороне Хунзаха и Ведено, в стороне аулов, закутанных в дым романтических преданий, тяжелой медью горели горы. К их подножиям прижался завод «Дагестанские огни» — первый завод в Союзе, работающий на газах, бьющих из-под земли. Этими газами завод отапливает свои стеклоплавильные печи. Сырье для стекла — мирабилит — завод привозит из Кара-Бугаза.

В Баку я узнал, что до постройки химического комбината в Кара-Бугазе мирабилит предполагают перерабатывать в Дагестане. Но где? Здесь, в Берикее, где земля газит, как неприработанный газовый завод, или на севере, в Чир-Юрте?

Общее мнение слагалось в пользу Чир-Юрта, где запроектирована постройка мощного химического комбината.

Голубое сверкающее сердце дагестанских гор — Сулакская электростанция будет перебрасывать сюда ток. Рядом дымится Грозный с его мазутом и нефтеносными газами. Здесь порт Махачкала, куда морем можно доставлять мирабилит из Кара-Бугаза, здесь рельсовые пути в Ростов, Новороссийск, выход в центр страны и к Черному морю.

Махачкала кажется городом, построенным из окаменелой морской пены.

Зернистый камень набережных и зданий блестит крупинками слюды, напоминающими большие брызги.

Море подкатывает к подножию города зеленую и глубокую воду.

Черные бугшприты парусных шхун качаются над низкой оградой вокзала, почти касаясь семафоров. Вагоны скорых поездов Тбилиси — Москва на десять минут превращаются в каюты кораблей. В их окнах перепутываются реи, снасти, желтые трубы. В купе врывается крепкий каспийский ветер. Мальчишки машут перед обмякшими от южной синевы пассажирами связками только что пойманных бычков, пахнущих холодом и йодом.

В Махачкале я нашел себе спутника. Ищите себе спутника в каждом городе, иначе новые места произведут на вас впечатление утомительного музея. Спутник должен быть из местных жителей. Он окунет вас с головой в незнакомую жизнь. Он будет невольно хвастаться своим городом, хотя иногда и ругнет его грязной дырой. Но таково свойство старожилов. В присутствии новичков очертевшие места открывают перед старожилом свою подлинную сущность, играют новыми красками. Мир любопытнейших вещей неожиданно раскрывается перед изумленными глазами, и пыльная Махачкала предстает как город, омытый озоном, дождями, забрызганный по самые крыши прибоем, как город великих возможностей и свершившихся достижений.

Дымные горы Дагестана подойдут вплотную к его беленым домишкам. Недавняя история газавата[1], боев с мусаватистами, история Октябрьской революции, скатившейся с гор на равнины,— и город уже шумит над вами, как шумят приморские ветры. Вы чувствуете цветение молодой республики, терпкой и каменистой, цветение, похожее на расцвет черешневых садов Буйнакска, которым нет равных во всем Союзе.

Моим спутником был сотрудник местной газеты Красногорский — седеющий маленький человек в черепаховых очках. Он был родом из Минска, но считал Дагестан своим отечеством. Он говорил о нем как о стране неслыханных богатств и вздыхал так тяжело, будто все эти богатства ему, Красногорскому, приходилось тащить на своих немощных плечах.

С Красногорским я ездил на Туралинские соляные озера под городом и был у геолога Шацкого.

Туралинские озера — Большое и Малое — называют

---

[1] Газават — священная война у мусульман. *(Примеч. автора.)*

«искусственным Кара-Бугазом». Академия наук испробовала на этих озерах новый способ, ускоряющий осаждение мирабилита из воды.

В Кара-Бугазе мирабилит кристаллизуется и выпадает на дно в естественных условиях. «Садка» мирабилита происходит зимой, когда температура воды падает до пяти градусов тепла. Мирабилит ложится неравномерными слоями и занимает громадное пространство в восемнадцать тысяч квадратных километров.

Зимние штормы выбрасывают мирабилит на берега. До 1929 года добыча сводилась к тому, что выбросы оттаскивали подальше от полосы прибоя, чтобы их не смыло обратно, давали мирабилиту просохнуть и вывозили на верблюдах к морю. Так было до 1929 года, пока не начал работать Кара-Бугазский трест.

Трест не мог, подобно старым промышленникам, ставить добычу мирабилита в зависимость от капризов залива: что шторм накидает, то и ладно. Трест не мог примириться с тем, что залив выбрасывает мирабилит на неудобные берега, на пространстве в сто пятьдесят километров, смешивает его с глиной, закидывает водорослями и гнилой рыбой, а весной слизывает обратно и растворяет в своей потеплевшей воде.

Нужны были новые способы добычи, которые давали бы мирабилит чистый и в тех местах, где его удобно добывать и сушить. Такими новыми способами были добыча мирабилита со дна залива при помощи экскаваторов и сосов и метод бассейнизации. Последний состоит в том, что воду из залива перекачивают в бассейны, там она испаряется, концентрируется и дает зимой очень чистый мирабилит.

Этот метод и проверялся на Туралинских соляных озерах. Слой воды в два метра шестьдесят пять сантиметров в бассейне дал слой мирабилита в пятьдесят пять сантиметров.

Опыты блестяще удались: количество полученного мирабилита точно отвечало предварительным расчетам.

Я помнил просьбу Прокофьева навестить геолога Шацкого. Он жил на окраине города, на улице, широкой рекой сливавшейся с гор. По ней шли горцы, шлепая в теплой пыли рваными чувяками и постукивая желтыми

ногтями по рукояткам черных кинжалов. Ослы тащили бидоны с молоком, уравновешенные по другую сторону седла толстыми младенцами, засунутыми в ковровые мешки.

Красногорский сопровождал меня. Он знал о существовании Шацкого, но не знал причин его недавней болезни и истории об острове Кара-Ада.

Нас встретил приветливый бритый старик со смеющимися глазами. Это и был Шацкий. Жена его, учительница-армянка, принадлежала к той категории женщин, какие всю жизнь вкладывают в служение близким.

Прокофьев предупреждал меня, что Шацкий совершенно выздоровел, но до сих пор врачи не разрешают ему участвовать в геологических экспедициях. Сильная усталость или возбуждение вызывают у него возврат прежних бредовых мыслей. Поэтому Шацкий занят разработкой теоретических вопросов. В этой области он уже создал несколько интересных работ.

Я сказал Шацкому, что меня интересует вопрос о Кара-Бугазе.

— Наше время такое,— ответил он,— что мы должны уметь ставить далекие задачи. Кара-Бугаз меня тоже очень интересует, но не так, как вас. Меня он интересует как место, где удобнее всего провести опыты по завоеванию новых форм энергии. Вы же знаете, что Прокофьев не столько ученый, сколько поэт. Мы должны держать фантазию на тугой узде. В Кара-Бугазе надо построить химический комбинат. Без мощного источника энергии его не построить. Прокофьев ищет газы, другие ищут по соседству с Кара-Бугазом уголь и нефть. Все это прекрасно, но забыли о главном: забыли, что Кара-Бугаз сам по себе является неисчерпаемым и неистощимым источником новой энергии.

— Какой?

— Солнечной. Я знаю, что такое солнце. К делу завоевания солнца надо применить способ гомеопатии. Гомеопаты лечат сильнейшими ядами, но в микроскопических дозах. Солнце тоже действует благотворно лишь в малых дозах. По существу оно смертоносно. Там, где его больше, чем следует, оно производит величайшие опустошения. Оно убивает громадные пространства земли. Классический пример этого — закаспийские пустыни.

Красногорский возразил, что дело не в солнце, а в но-

достатке в тех местах воды. Шацкий выслушал его внимательно.

— Воды достаточно,— ответил он, усмехаясь.— Беда в том, что вода испаряется быстрее, чем накапливается. Мы со всех сторон окружены усыхающими землями. Баланс получается не в пользу человека.— Он посмотрел на меня прищурившись.— Все мы ходим по краю пропасти и не подозреваем об этом. Вы знаете, что за последние десять лет сожжено каменного угля столько же, сколько его было израсходовано за весь исторический период существования человечества. Через сто — полтораста лет запасы угля иссякнут. Белый уголь может покрыть только шестьдесят процентов потребности мирового хозяйства в энергии. Шаги катастрофы можно услышать без особого напряжения. Для этого даже не нужно абсолютного слуха. Мировые запасы нефти будут уничтожены. Истощение энергетических запасов неминуемо должно вызвать войну между капиталистическими странами...

— Шура! — строго сказала жена.— Никакой войны не будет!

— Война между капиталистическими странами неизбежна,— упрямо повторил Шацкий.— Когда последние запасы угля и нефти подойдут к концу, начнется война.

— Шура,— еще строже сказала жена,— ты же сам прекрасно знаешь, что никакой войны не будет!

— Капиталистический мир неумело и слишком неповоротливо ищет новые источники энергии. Бензин заменяют спиртом. «Сухой закон» в Америке выдумали не для того, чтобы отучить страну от пьянства, а для того, чтобы весь спирт пустить на горючее. Там автомобили заправляют вместо бензина ромовым спиртом с Ямайки.

— Неужели вы как ученый не видите выхода? — спросил я.

— А солнце? — спросил меня, в свою очередь, Шацкий.— Солнце! Каждый сантиметр земли получает от солнца ежегодно сто тысяч калорий. Растения берут только семь десятых процента этого количества солнечной энергии. Думают, что их можно заставить брать больше и получать фантастические урожаи, но я полагаю, что это немыслимо. Избыток полученной энергии убьет растения. Не забывайте нашего гомеопатического метода. Но, во всяком случае, вы видите, какие чудовищные запасы

энергии изливаются на землю непрерывно и будут изливаться еще миллионы лет. Человечество пошло по линии наименьшего сопротивления. Оно кинулось на те виды энергии, запасы которых ничтожны, забыв об источниках энергии непрерывных, каких хватит на всю историю человеческого рода.

— Интересно! — шепнул мне Красногорский.

В глазах его я уловил блеск законной гордости. Он, казалось, хотел сказать: «Смотрите, какие замечательные люди живут у нас в Дагестане!»

— Вернемся к Кара-Бугазу,— продолжал Шацкий.— Мы остановились на том, что нам необходимо использовать энергию солнца. В этом смысле Кара-Бугаз — лучшее место в Союзе. Там великолепное солнечное сияние. Если бы Кара-Бугазский залив превратился в озеро, то оно бы высохло в шесть лет. Вообще вы не можете представить себе, как быстро сохнет весь этот край.

Шацкий задумчиво уставился за окно. Моря не было видно, но взамен моря был виден сизый морской воздух, похожий на толщу пара.

— Я задумал небольшой научный труд под заглавием «Испаряющаяся земля». Мы преступно относимся к солнцу. Годовые запасы его энергии на земном шаре определяются в сто биллионов киловатт-часов. Это дает по одному киловатт-часу на каждый квадратный метр.

— Но как будто солнечные машины — гелиоскопы — не дали хороших результатов,— промолвил Красногорский.

— И не дадут,— ответил Шацкий.— Нужны другие пути. У нас есть в руках химия. Перед ее возможностями оптический принцип улавливания солнечной энергии отходит на задний план. Надо ловить, концентрировать, сгущать солнечную энергию химическим путем. Надо учиться у красных морских водорослей. Они используют двадцать четыре процента того количества солнечной энергии, какое проникает в морские глубины, тогда как наши земные растения, тонущие в солнечных потоках, используют, как я сказал, только ничтожные доли процента. Нужда всему научит.

Шацкий прошелся по комнате.

— Духота, духота! — пробормотал он.— Здешние вечера вызывают астму. Горы накаляются за день и всю ночь излучают тепло. Я предлагаю пройтись к морю.

Жена охотно согласилась отпустить его с нами. Мы вышли к морю. Звезды спали на волнах, то широко открывая, то щуря белые огни. По краю берега, у пенной полосы прибоя, промчался тбилисский экспресс. Его радостный гудок прокатился громом над морем,— поезд торопился вырваться из плоских степей в путаницу гор, заливов, рек, виноградников, в успокоительный калейдоскоп Кавказа.

— Вот...— Шацкий торжественно показал на море.— Вот громадные водные плоскости. Их можно заставить собирать солнечную энергию. К этому делу будут приспособлены и пустыни. Химическое улавливание солнца состоит в том, чтобы использовать свойство солнечной энергии вызывать химические реакции. Эти реакции, в свою очередь, создают электрическую энергию. В лабораториях уже существуют приборы — фотоэлементы, превращающие энергию солнца путем химических процессов в электричество. Удалось добиться, что фотоэлемент под влиянием солнца дает ток, вращающий небольшой электромотор. Кара-Бугаз нужно сделать всесоюзной лабораторией по ловле солнца и в первую очередь приложить взятую в плен солнечную энергию к переработке его баснословных богатств.

Когда мы вернулись, жена Шацкого тихо спросила меня, не болтал ли он чепухи.

— При нем нельзя упоминать о Кара-Ада,— сказала она, когда мы прощались.— Он как будто забыл об этом, но самое имя Кара-Ада приводит его в неспокойное состояние. Я ведь с ним тоже была там,— добавила она и смутилась.

ПОЛКОВОДЕЦ

Ночью я уехал из Махачкалы на Эмбу, в Гурьев. Путь лежал через Астрахань.

Утром я не узнал Каспийского моря. Жидкая серая глина простиралась до горизонта обширным озером. На краю его торчали прямо из воды угрюмые черные маяки и колокольни без крестов — то были рыбачьи села на плоских островах волжской дельты.

Мы подходили к двенадцатифутовому рейду, где среди моря гремел и качался на якорях плавучий город — больница, почта, пассажирские пристани, лихтера и «грязнухи», похожие на старинные мониторы.

Я видел Астрахань, облепленную сотнями парусов, пропахшую сухой селедкой и пыльную, как глинобитные города Азии.

На плотах у рыбных промыслов день и ночь загорелые люди, все в чешуе, как в стальной кольчуге, подхватывали баграми из рыбачьих лодок пятнистые туши севрюг и швыряли их с тяжелым шлепаньем на доски. Девушки в синих штанах нескончаемыми вереницами несли в холодильники золотых сазанов, держа их под коралловые мокрые жабры.

Из Астрахани мы трое суток плелись на колесном пароходе в Гурьев, не видя ничего, кроме неба, сожженного суховеями, желтого моря и расставленных на якорях рыбачьих шаланд.

Между Астраханью и Гурьевом нет ни одного порта, ни одного убежища. В шестидесяти километрах от берега можно легко достать шестом песчаное дно. Далеко от берегов в море протянулись заросли камыша с черными тугими головками. Поэтому берега зовут «чернями». Издали они напоминают узкую кайму, проведенную тушью по бледному горизонту.

И путь этот и пароход хорошо изучены постоянными пассажирами. Путь монотонен, как азиатское выцветшее небо. Сначала рыжая вода из Волги, потом, за Белинским Банком, вода медленно начинает зеленеть, потом Забурунье, где во всякую погоду качает. На пароходе всегда один и тот же толстенький капитан, одни и те же бородатые штурвальные, обозревающие море в медный старинный бинокль, тот же повар — горький вдовец, готовящий безвкусные щи и пересоленную рыбу.

Наконец, появляются бакланы и тюлени, спящие на воде брюхом вверх, и по всему пароходу проходит вздох облегчения: значит, скоро Гурьевский рейд. За ним уже угадывается пустыня, заросшая астрагалом и покрытая корками соли.

И вот рейд. Пароход подползает к нему среди белых, как мел, островов. С непривычки можно спутать с островами отраженные в тихой воде облака, похожие на материки. Они неподвижно стоят над пустыней, чуть розовея. Кажется, что их поставили здесь нарочно, чтобы показать на них все разнообразие вечерних красок и величавость ночи, синей, как кобальт.

Пароход с углем вплывает в узкий проток между вы-

сокими камышами — Урал, и лишь к полночи сквозь пыль, висящую в воздухе, загораются светофоры в городке «Эмба-нефти». Против него, на правом берегу Урала, сонно моргает окнами Гурьев.

Пахнет рыбой и горелой травой. Пароход будит город плачущим визгом гудка и наваливается на пустынную пристань.

Утром я увидел за Уралом весь городок «Эмба-нефти». Казалось, что на азиатском берегу — его здесь зовут Бухарской стороной — села несметная стая белых птиц. Все дома были как бы слеплены из снега. Весь городок построен из прессованного камыша, даже трехэтажное здание треста. Сверху камыш оштукатурен и закрашен мелом.

Камыш — лучший строительный материал для пустынных побережий Каспийского моря, где леса нет, но заросли камыша тянутся на сотни километров. Будущий Кара-Бугаз легче всего построить из камыша. Саманные дома рядом с камышовыми напоминают крепости пещерных людей. Саман — глина, смешанная с навозом. Строить дома из самана в безводной пустыне не легче, чем из леса,— приготовление самана требует много воды.

Во время своей поездки я встретил только одного человека — инженера Купера,— жалевшего, что саманные лачуги умирают. Я познакомился с Купером на наплавном мосту через Урал. Он с завистью смотрел на мальчишек, удивших сазанов. Когда мальчишка, трясясь от волнения, вытащил из грязной воды запыхавшегося сазана, Купер обернулся ко мне и сказал:

— Счастливцы! Как бы я хотел быть мальчишкой и сидеть на солнцепеке с леской! Замечательное занятие!

Куперу я должен быть благодарен: он познакомил меня с знатоком всего Эмбинского района, старожилом пустыни — инженером Давыдовым.

Он ввел меня в кабинет этого инженера, как вводят непосвященного в комнату чудес. Из-за стола поднялся сухой и высокий человек в белом, похожий на капитана дальнего плавания.

Он строго посмотрел на меня и широким жестом предложил сесть. Седая его голова казалась отлитой из металла. Купер почтительно сел в стороне, испросив разрешение присутствовать при нашей беседе.

Давыдов заговорил. У него был голос густой и внятный. Разглядывая его, я вспомнил о Пржевальском, о старин-

ных исследователях Гоби и Сахары, о генералах, потерявших в песках многотысячные армии, обо всей детской романтике, какой была насыщена пустыня в мои школьные годы,— дромадерах, кожаных ведрах, самумах, лошадиных скелетах около одиноких колодцев.

Давыдов говорил короткими фразами и как бы задыхался, ставя точки.

— Что может дать нам Кара-Бугаз и что может дать Кара-Бугазу Эмба? Прекрасно! Мы можем дать нефть, хотя наша нефть слишком хороша, чтобы пускать ее на топливо. Самые южные наши выходы нефти — Кара-Чунгул, Каратон и другие — лежат сравнительно близко от Кара-Бугаза и Мангышлака.

Я полагаю, что весь восточный берег моря — Эмба, Мангышлак, Кара-Бугаз, вплоть до Чикишляра — должен превратиться в мощный индустриальный пояс на границе пустыни. Мы даем нефть, Мангышлак — уголь и фосфориты, Кара-Бугаз — мирабилит, серу, серную кислоту, соду и другие химические продукты, Чикишляр — газы, Челекен — нефть и озокерит[1]. Баку должен работать на запад, мы — на восток.

Что мы еще можем дать Кара-Бугазу? Здесь, на Эмбе, возникла идея постройки железной дороги из Александрова-Гая в Хиву. Я прошел весь этот путь с караванами и произвел изыскания. Это будет первая линия, которая прорежет самое сердце пустыни. Она оживит ряд богатств, доныне лежащих мертвым грузом: кушумские луговые массивы, индерскую соль и калий, гурьевскую рыбу, эмбинские нефтеносные земли, Аральское море и Хивинский оазис.

Новая дорога сыграет громадную роль в освоении бесплодных пространств Усть-Урта. Тем самым она должна влиять весьма благотворно на развитие Кара-Бугаза. В пустыне, которую пересечет дорога, воды нет. Дорога будет работать тепловозами.

Наконец, третье. Кара-Бугаз будет вырабатывать соду. Для производства соды мы будем снабжать его прекрасным известняком из Ракуши. Ракуша — пристань эмбинских промыслов на море. Мы сделаем из Ракуши порт.

[1] Озокерит (иначе: горный воск) — минерал. Хорошо сгорает, дает сильное пламя. *(Примеч. автора.)*

Мы будем строить нефтеперегонные заводы. Для перегонки нефти нужна серная кислота. Кара-Бугаз даст нам ее, и мы будем квиты. Как видите, создание кара-бугазского комбината затрагивает хозяйственные нервы всего побережья, от Эмбы до Атрека. Пустыня получит свое индустриальное сердце...

Давыдов помолчал.

— Давнишние мечты осуществились,— промолвил он и отвернулся к окну.

Я посмотрел на его профиль. Он напомнил мне бронзовые лица полководцев на полустертых римских монетах.

Как-то во время одного из бесчисленных споров с Прокофьевым мы говорили о профессиях, укрепляющих волю. Прокофьев утверждал, что самой сильной волей обладают исследователи. Давыдов был прирожденным исследователем. Общение с пустыней сказывалось в зоркости глаза и спокойной силе голоса. Все начатое Давыдов доводил до конца. В соляных пустошах Доссора он решил разбить парк. Мысль эта казалась совершенно дикой даже ботаникам. Но насмешки Давыдов встречал с глубоким безразличием.

Два года он возился с умиравшими в едкой земле кустами. Он опреснил землю умелой поливкой и дренажем, и сейчас в Доссоре рабочие ходят по вечерам в «собственный парк». Там можно потрогать рукой давно забытые шершавые ветки и уловить запах листвы.

После утверждения в Москве изысканий железной дороги из Александрова-Гая в Хиву Давыдов подал заявление о приеме в партию.

«Я убедился,— писал он,— что только политика партии может оживить пустыню, над завоеванием которой я работал всю жизнь».

Молчание длилось долго. Давыдов перевел глаза на меня и сказал глухо:

— Не я один отдал всю жизнь пустыне. Но на мою долю выпало быть свидетелем и участником завоевания этих мертвых пространств. Недавно еще Кара-Бугаз наводил суеверный ужас на кочевников и моряков. Даже исследователи не решались обойти его берега. Чем он был в представлении людей из культурных оазисов? Заливом смерти и ядовитой воды, адом. Веками пустыня лежала

нетронутая. Веками она копила богатства. Теперь мы их отнимаем. Мы находим способы превращать самые страшные свойства пустыни в источники жизни. Я говорю о солнце. Его энергией пустыня будет орошена. Есть великий физический закон. Он говорит, что энергия рождается лишь при условии разности температур. Резкие скачки температуры в пустыне в течение одних и тех же суток порождают жестокие ветры. Кара-Бугаз известен как самое бурное место на Каспийском море. Там, собственно говоря, свирепствует непрерывный шторм. Наш промысел Доссор многие называют полюсом ветров. Ураганы Доссора бесплодно расточают миллионы лошадиных сил только на то, чтобы подымать чудовищную пыль. Ветер — это громадная энергия, но до сих пор мы используем ее в жалких размерах. Вот, полюбуйтесь.

За окном скрипучие ветряные насосы с утробным воем качали в арыки уральскую теплую жижу.

— Ветер — его мы называем голубым углем — лучшая энергия для пустыни. Здесь существуют условия для непрерывных и ровных ветров. В безветренные годы пустыня дает все же семьдесят процентов ветровой энергии по сравнению со средним ветреным годом. Вам неизвестна годовая мощность ветров в Казахстане? Ну что ж, очень любопытная цифра. Двести тридцать миллионов лошадиных сил. В энергетических запасах Казахстана ветер занимает девяносто шесть процентов.

Купер заерзал на стуле.

— Не сочтите меня фантазером,— Давыдов встал,— но ветры пустыни необходимо использовать и для целей транспорта. Я не нашел еще точного воплощения этой мысли, но я представляю себе парусное сообщение в песках, где нет ни растительности, ни поселений, ни гор и ничто поэтому не сможет помешать движению. Солнце, ветер и резкие смены температуры создали пустыню, они же ее и уничтожат. Это не подлежит никакому сомнению. Завтра товарищ Купер едет на наш отдаленный промысел — Макат. Поезжайте с ним, и, я надеюсь, вы увидите много интересных вещей.

Вечером я встретил Купера на теннисном корте. Он принимал мячи, гортанно подсчитывая количество очков. Вокруг корта сидели, поджав ноги, казахи в широких ситцевых штанах розового цвета и одобрительно покрикивали при каждом ловком ударе.

За Уралом Гурьев густо чадил кизяком. Здесь же, на Бухарской стороне, зажглись молочные огни и над пустыней подымалась медленная луна. Чем выше она подымалась, тем делалась светлее, будто с нее сходила пыль коричневых суглинков.

Купер, увидев меня, бросил игру и подошел. Пока мы беседовали, с нами поравнялся верблюд. Он остановился, надменно разглядывая нас и пожевывая лиловыми губами. Купер взял меня за локоть и отвел в сторону,— оказывается, мы стояли среди дороги.

Верблюд презрительно икнул и торжественно двинулся дальше. Он тащил маленькую телегу. В ней спала казашка с грудным ребенком и громыхала жестяная граммофонная труба.

Мы долго смотрели вслед, пораженные этим зрелищем. Верблюд свернул с дороги и поволок тележку прямо в пустыню.

— Пошел пастись в степь,— объяснил Купер и вздохнул.

Я привык, что многие инженеры, работающие в глухих местах, жалуются на свою судьбу. Как бы ни был жизнерадостен инженер и как бы ни нравилась ему работа, он не упустит случая изобразить себя мучеником, страдающим от отсутствия новых книг, от того, что газеты из Москвы идут две недели и в кооперативе нет боржома и лезвий для безопасных бритв.

Отбыв эту повинность, он снова придет в хорошее настроение и с жаром начнет рассказывать о своем предприятии.

При этом оно всегда или «лучшее в мире», или «могло бы быть лучшим в мире», если бы Москва не резала кредиты.

Я приготовился выслушать жалобы Купера, и не ошибся.

Директор треста звал Купера «дачником» и «красавчиком». В минуту раздражения он стучал кулаком по столу и кричал, что Эмба в дачниках не нуждается. Угрозам директора никто не придавал значения. Все знали, что в случаях серьезных директор никогда не кричал.

— До моего приезда,— жаловался Купер,— все было тихо. Как только я приехал, так и пошло. Разведка на сто километров в пустыню! В Каратоне промысел затопило во время урагана! Начальника моего укусила фаланга, он

скоропостижно скончался, и вместо него назначили меня. Прислали из Баку директора-выдвиженца — страшно вспыльчивый мужчина, черт бы его побрал! — и, наконец, извольте радоваться, хотят создать здесь мощный индустриальный пояс. Уже не центр, а целый пояс!

С этим любителем тишины я ездил в Макат. Сто сорок километров машина прошла в два часа. Тянулись волны едва заметных подъемов и спусков, потом их сменила ровная, как исполинское озеро, степь. Воздух был мутен и напоминал жидкий клей. Коричневые смерчи с тяжелым шумом проносились через дорогу. Суслики горохом сыпались из-под колес. Сухая горечь сводила рот невыносимой жаждой.

Иногда шофер гнал машину прямо по суглинкам и высохшим соляным озерам.

Купер рассказывал, что весной во время редких дождей вся пустыня превращается не в грязь, а в слизь. Машина может работать на полном газу и не двигаться с места.

Я вынужден был слушать болтовню Купера.

— Необходимо издать декрет,— говорил он,— запрещающий уничтожать своеобразные постройки и бытовые черты, если они не противоречат советскому строю. Разнообразие впечатлений делает жизнь полнее, а полнота жизни создает настроение бодрости и подъема. Поэтому надо сохранить кубические восточные постройки, их цвет, их планировку, сохранить арыки на улицах и открыть завод для выделки восточных изразцов.

Купер договорился до того, что нужно один из старых русских городов, вроде Углича, сделать показательным по старине: засеять его улицы ромашкой и болиголовом, заселить бывшими просвирнями, владеющими, по свидетельству Пушкина, чистейшим московским языком.

Болтовня прекратилась только в Макате. Ураган поднимался белыми языками. Пробивая пелену пыли, шагал караван верблюдов с водой из Доссора. Доставка воды в Макат обходится каждый год в пятьсот тысяч рублей.

Над мелким озером торчал низкорослый лес черных вышек. Серый зной прожигал до костей. Глубокие насосы толчками выбрасывали из скважин пенистую нефть. Здесь кончалась нефтяная река или нефтяное море, истоки которого открыл Прокофьев.

Из Маката мы проехали в Доссор, а оттуда вернулись в Гурьев в моторном вагоне по узкоколейке.

Розоватый дым курился над пустыней. На разъездах вокруг вагона стояла тишина. Изредка слышалось слабое посвистывание сусликов.

Ночь упала внезапно и накрыла пустыню громадной звездной шапкой.

Впереди вагона лилась река дымного электрического огня. Запахом полыни и свежестью ночи сквозило в широкие окна. Я сказал Куперу:

— Вы говорили о своеобразии Востока. Что может быть своеобразнее этого моторного вагона в ночной пустыне!

— Я вас понимаю,— многозначительно ответил Купер.— У вас начинается то же заболевание, что и у Давыдова. Оно называется «пустынной болезнью».

В этот момент я окончательно убедился, что Купер — типичный «дачник» в нашей эпохе.

— Когда построена эта дорога?

— В тысяча девятьсот двадцать седьмом году. И строил ее Давыдов.

Уезжая из Гурьева, я унес в своей памяти образ седого полководца пустынь — Давыдова, бросающего в солончаки первые светоносные точки социалистической индустрии, и образ «дачника» Купера.

ГОРЫ ИЗ РОЗОВОГО МЕЛА

Поездка на Мангышлак стояла в маршруте Прокофьева на последнем месте. Она завершала движение по спирали вокруг залива, заканчивала изучение районов, неразрывно связанных с Кара-Бугазом.

Только после нее я, по словам Прокофьева, имел право попасть в Кара-Бугаз.

Поездку на Мангышлак можно было бы назвать путешествием в страну звезд.

Я познакомился в форте Урицком (бывшем форте Александровском) с партийцем Васильевым. Как и Давыдов, он готовился развенчать жестокие легенды о пустыне и превратить ее в помощницу социалистической индустрии. Он изучил материалы экспедиций (Андрусова, Нацкого и Баярунаса) и составлял краткие и точные планы первоначального использования открытых этими геологами богатств. Он думал о новых дорогах в горы Кара-Тау, где раскаленный воздух окружает залежи антрацита,

нефти, фосфоритов, меди и марганца широким защитным поясом.

В свободное время он любил читать журнал «Мироведение». Там из месяца в месяц отмечалась огромная, но не замечаемая нами жизнь неба: появление новых звезд, падение метеоритов, гипотезы о новых солнечных системах и ход работ по изучению космических лучей.

Я думаю, что на это занятие Васильева натолкнуло мангышлакское небо. Нигде я не видел таких величественных звездных ливней и такого ослепительного сверкания планет. Оно было настолько ярким, что по ночам казалось, будто планеты летят к нам из космоса, летят в одну точку земного шара — на мертвый полуостров Мангышлак.

Планеты, понятно, были по-старому далеки, но впечатление стремительно падающего неба осталось у меня от Мангышлака до сих пор.

Поездка по полуострову была непродолжительна. Она заняла всего шесть дней. Я ездил вместе с Васильевым. Мы видели песчаные моря, замкнутые на горизонте в берега отвесных розовых и белых гор. Горы подымались одним порогом. Вершины их были такими же плоскими, как и пустыня у их подножий.

Мы видели пласты каменного угля, лежавшего прямо на земле. До 1914 года этот уголь добывало пароходное общество «Кавказ и Меркурий», но потом бросило: перевозка угля обходилась слишком дорого. Вся область угольных залежей богата родниками пресной воды. В урочище Тюбеджик мы видели пески, спекшиеся от окаменевшей нефти. Пески пахли гудроном, как пахнет усовершенствованная московская мостовая.

Я изложил Васильеву теорию Прокофьева. Нефть на Мангышлаке, по-моему,— ее блестящее подтверждение.

Васильев ничего не ответил.

Волгарь из Черного Яра, человек молчаливый и очень точный, он избегал скороспелых выводов и преждевременных обобщений.

— Возможно,— промолвил он.— Но сейчас меня больше занимают фосфориты.

Залежи фосфоритов находились у подножия гор из розового мела. Горы эти, изрытые глубокими оврагами, напоминали издали обнаженный человеческий мозг. Я слышал от одного из исследователей Мангышлака, что если бы рас-

прямить эти складки, то площадь гор увеличилась бы в двести раз.

Горы подымались розовыми куполами и казались очень легкими, будто состояли из пористых исполинских губок. У их подножия на песке валялись каменные желваки, шары и лепешки. Васильев толкнул одну такую лепешку ногой:

— Вот фосфорит.

Некоторые шары были больше метра в диаметре, и мы прятались в их тени от солнца.

Шел третий час дня, самый тяжелый, когда зной сгущается до состояния сиропа. Мы решили спастись от жары в продольной долине. Там, по словам Васильева, находился оазис.

Я усмехнулся, представив себе жалкий колодец с двумя ведрами воды и кустами колючек вокруг. Какой мог быть оазис под этим испепеляющим небом!

Мы ехали по сплошным россыпям фосфоритов, прошли ущелье в горах, поднялись на гребень, и глубоко под нами открылась долина, заросшая квадратами тяжелого проса. По обочинам маленьких полей свежо зеленели чинары, и прозрачные струи воды переливались на дне ущелья. В тени чинар белел саманный кубический дом.

Васильев искоса посмотрел на меня. Лошади, чуя водопой, ржали, сердясь на неторопливых всадников. Я оглянулся назад. Пустыня подстерегала этот клочок тучной и зеленеющей земли. Пустыня казалась отсюда гигантской шкурой павшего верблюда. Кусты чия торчали клочьями не успевшей вылинять шерсти. Воздух над землей блестел, как глицерин.

На спуске мы снова попали в обширные поля фосфоритов.

— Вот вам и сырье для Кара-Бугаза.— Васильев остановился около одного из шаров, расколовшегося на две совершенно одинаковые части. Внутри были видны кристаллы. Они тянулись узкими лучами от центра шара к его поверхности.— Кара-бугазский комбинат будет изготовлять серную кислоту. Если обработать этой кислотой фосфорит, то получится великолепный суперфосфат. Мы проведем дорогу к морю, начнем вывозить фосфорит и отправлять его в Кара-Бугаз. У нас в Средней Азии для удобрения хлопка идет смесь суперфосфата и хлопковых жмыхов. Она называется пахтапури.

От Васильева я узнал о горах Таур-Кыр и о весенних мощных потоках воды в оврагах Карын-Ярык. Горы Таур-Кыр лежат вблизи восточного берега Кара-Бугаза, южнее мыса Кулан-Гурлап. В этих горах побывал один только человек — геолог Лупов. Здесь он нашел залежи каменного угля на площади в тысячу шестьсот квадратных километров, россыпи фосфоритов и много небольших пресных источников.

Геолог Баярунас пытался пройти к Таур-Кыру с севера, из Мангышлака, но рабочие отказались идти с ним в эти неведомые горы.

Залежи угля в Таур-Кыре — самые близкие к карабугазским мирабилитовым промыслам, но до сих пор они толком не исследованы.

Карын-Ярык — исполинская впадина, тянущаяся от гор Кара-Тау к Кара-Бугазу. По ней должны стекать в залив все весенние воды с гор Кара-Тау, но часть вод застаивается и образует непроходимые соляные болота, а часть стекает в многочисленные воронки в почве.

Потоки весенних вод достигают исключительной мощности. Судя по их следам, они бывают в сто пятьдесят метров шириной и в два метра глубиной. Земля, полная пустот, всасывает эти водопады, засоляет их или придает воде слабительные свойства и выбрасывает кое-где эту воду на поверхность в виде небольших родников.

Мы подъехали к саманной мазанке и поздоровались с женой молодого казаха — стремительной и сухой женщиной, носившей поверх сапог кожаные, вышитые серебром туфли,— и с ее отцом. Старик носил редкую бороду, торчавшую по сторонам подбородка.

— Хабар бар? [1] — спросил старик.

Мы напились холодной вкусной воды, выполнили обязанность гостей — рассказали городские новости — и заночевали у казаха.

Всю ночь пустыня не давала мне спать. Звезды осколками льда таяли на черном небе. Талая вода сыпалась туманом на землю и превращалась в смутный свет. Великие реки Млечного Пути вливались в ночные пески Карын-Ярыка, простиравшиеся на юг до самого Кара-Бугаза.

Вода сонно шепталась в арыке. Васильев, мучаясь от блох, рассказывал мне, что расстояние от нашего Солнца

---

[1] Хабар бар? — Что нового? *(каз.)*

до солнца ближайшей к нам солнечной системы — звезды Альфа Центавра — в двести пятьдесят тысяч раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца.

Я удивлялся и дремал. Изредка я вздрагивал и просыпался. Мне снилось, что звенит не вода в арыке, а свет звезд, несущийся к Земле триллионы лет. Мне снился Млечный Путь, упавший с неба на Каспийское море. По этому пути шел пароход «Чичерин», и сквозь его прозрачное днище были видны тысячи рыб и медуз, падавших дождем на морское дно. Прокофьев рассказывал мне, что рыбы ложатся на дно тугими слоями и через тысячи лет превращаются в нефть.

Окончательно я проснулся к рассвету. Голубизна лилась с востока. Звезды пожелтели и казались мелкими плодами, ссыхающимися от приближения солнца. Я вышел и глотал на пороге воздух залпом, как пьют холодную воду.

Лошади смотрели на меня и тихо ржали. Должно быть, они здоровались со мной и просили не торопиться с отъездом.

Ослепительное меловое плоскогорье Удюк развернулось перед нами на обратном пути, как белое твердое море. Мы медленно въехали в мел и вытащили черные автомобильные очки. В этих местах солнце было жестоким испытанием для глаз.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАЛИВА

Лейтенант Жеребцов обошел берега Кара-Бугазского залива в 1847 году.

Старая Россия не проявляла интереса к своим богатствам. Только в 1897 году министерство торговли и промышленности раскачалось и отправило в Кара-Бугаз экспедицию во главе с гидрологом Шпиндлером. Экспедиция выяснила, что залив является величайшим в мире источником глауберовой соли.

С тех пор началась пестрая история залива. Она нигде не записана. Ее приходится восстанавливать по статьям геологов, по рассказам моряков и туркмен-фелюжников, по докладам начальников экспедиций, по забытым проектам, судовым журналам кораблей и другим немногочисленным и противоречивым источникам.

Вокруг Кара-Бугаза закипала золотая лихорадка.

В конце XIX века в Петербурге был созван всемирный геологический конгресс. На нем впервые геологи узнали о богатствах Кара-Бугаза.

Вся Европа и Америка жили тогда, как живут и сейчас, искусственным сульфатом (так называется мирабилит, освобожденный от воды). Для изготовления сульфата были построены тысячи заводов. Поэтому сведения о Кара-Бугазе ударили в гущу сульфатных промышленников, как тяжелый бризантный снаряд. Тотчас же был составлен проект мирового химического комбината на острове Челекен. Комбинат должен был работать на кара-бугазском сульфате. Во главе комбината стали французские, английские и бельгийские капиталисты.

Но царское правительство отказалось сдать Кара-Бугаз и Челекен в концессию.

Три года шел торг, но кончился ничем.

В 1909 году купчиха Князева послала в Кара-Бугаз собственную экспедицию. Богатства Захария Дубского, неограниченного владетеля Мангышлака, не давали покоя этой завистливой женщине.

Естественно, нашлись «ласковые» инженеры, согласившиеся за приличную плату «присоединить» Кара-Бугаз к владениям Князевой и взять от ее имени заявку на все западные и юго-западные берега залива.

Но Князева опоздала. Гильзовый фабрикант Катык и акционерное общество «Айваз» уже захватывали лучшие куски берега, куда прибой выбрасывал больше всего мирабилита. Они взяли в банках солидные куши на переработку природных богатств залива. Деньги эти пошли на биржевые махинации. Добытые для отвода глаз жалкие тысячи пудов мирабилита лежали и каменели на берегах.

От экспедиции купчихи Князевой на берегах Кара-Бугаза остались засыпанные песком и съеденные солью зеленые лодки.

Для плавания в заливе начальник этой экспедиции искал в Баку мелкосидящие пароходы. Таких пароходов было только два. Один принадлежал подозрительной пароходной компании «Маньчжурия», другой — не менее темным дельцам братьям Ашуровым. «Маньчжурия» и Ашуровы решили обобрать Князеву как липку и заломили за аренду пароходов фантастические цены. Пришлось идти в залив на туркменских лодках, взяв в качестве лоцмана бывалого человека — казанского татарина.

Сотрудники экспедиции Князевой — студенты — пересекли залив на лодках по нескольким направлениям. Они задыхались на берегах, отравленных сероводородом, переходили вброд мелководные заливы, где воды было почти по косточку, но мирабилита не нашли: стояло жаркое лето, и весь мирабилит растаял в теплой воде.

Но все же экспедиции, предпринятой на деньги Князевой, удалось выяснить, что мирабилит обильно осаждается зимой, когда каждый предмет, погруженный в воду залива, покрывается кристаллами мирабилита. Экспедиция предложила самый совершенный, как ей казалось, способ добычи мирабилита со дна залива — вычерпывать его простыми мешками, поставила заявочные столбы, огородив владения Князевой, и уехала.

В журналах этой экспедиции впервые было сказано, что в пятидесяти километрах от восточного берега залива, у подошвы гор Таур-Кыр, есть залежи каменного угля. Сотрудники экспедиции хотели обследовать их, но летом ни один туземец не захотел сопровождать их в горы.

Вскоре началась первая мировая война, и Кара-Бугаз был забыт. Только редкие кочевники появлялись зимой у его свинцовых штормовых пространств. Но и они не задерживались на угрюмых берегах и уходили дальше, к Красноводску.

Залив бушевал в одиночестве. По туркменским зимовкам говорили, что русские отшатнулись от его проклятой воды и не могли извлечь из нее ничего полезного.

В 1920 году Владимир Ильич Ленин поставил вопрос об использовании богатств Кара-Бугаза. Было отпущено сорок тысяч рублей золотом на снаряжение экспедиции. Она должна была выяснить способы добычи мирабилита и после этого немедленно начать добычу.

Во главе экспедиции стал геолог Подкопаев. Научные результаты этой экспедиции были огромны, практических же результатов она почти не дала. Неопытный инженер набрал в Астрахани многосемейных рабочих и привез их в пустыни Кара-Бугаза. Запасов продовольствия было мало. Их съели раньше, чем успели наладить добычу.

Рабочие разбежались.

Научная часть экспедиции Подкопаева работала в заливе три года. Она прибыла в залив на пароходе «Нижний Новгород» в сопровождении двух военных баркасов: «Шаумяна» и «Перебойны».

Подкопаев определил, что ежегодно в заливе оседает очень много мирабилита. Залежи были признаны величайшими в мире.

Мирабилит в заливе начинает кристаллизоваться в половине ноября, а к половине марта кристаллизация прекращается и начинается обратный процесс — растворение мирабилита в воде. В связи с этим мирабилит был назван «периодическим минералом».

В Кара-Бугазе, кроме мирабилита, было найдено много хлористого магния и хлористого натрия (обыкновенной поваренной соли).

Проникнуть в Кара-Бугаз Подкопаеву было очень трудно. Мешал капризный бар, перегораживавший залив во всю ширину. Во время штормов на баре вздымались буруны, во время штилей был ясно виден стремительный перепад воды с песчаных мелей в глубины залива. На баре цвет воды резко менялся: морская синева соприкасалась со свинцом.

Баркас «Перебойна» со своей отчаянной командой ухитрился на боку перелезть через бар и обежал северные берега залива.

Экспедицию застал нэп. Пошли слухи, что в Баку сотнями тонн скупают соду. В заливе неожиданно появилось плоское, как клоп, и черное от копоти судно. Оно скрежетало расшатанной машиной и выпускало на воздух половину пара из котлов.

Буйная команда неведомого судна навалила полные трюмы сульфата и после частой стрельбы пачками по диким гусям смылась из залива в Баку. Там сульфат был продан под видом соды. Предприимчивых моряков судили, и рейс неведомого судна был для него первым и последним.

В 1923 году у мыса Кургузулл, что значит по-казахски «Кривая девушка», появилась партия рабочих под начальством студента в рваной тужурке.

Партия была прислана стекольным заводом «Дагестанские огни». Завод останавливался из-за недостатка сульфата, тогда как величайшие его залежи лежали рядом, в Кара-Бугазе.

У мыса Бек-Таш завод построил пристань и каменный дом. Из Кургузулла сульфат подвозили к пристани на верблюдах и туркменских лодках и перегружали на пароходы.

Тысяча девятьсот двадцать третий год можно считать первым годом эксплуатации кара-бугазских богатств. Сту-

дент в рваной тужурке поселился в новом доме в Бек-Таше и так и остался в Кара-Бугазе до теперешних дней.

Сульфат — это сухая глауберова соль, настолько белая, что летом, при сильном солнечном свете, на нее нельзя смотреть, не рискуя повредить глаза. Мирабилит — это та же самая глауберова соль, но насыщенная водой. В мирабилите девять частей воды и одна часть глауберовой соли. Промышленности нужен сульфат. Нет никакого смысла возить мирабилит. Это значило бы возить воду.

Поэтому мирабилит сушат, или, как говорят химики, обезвоживают. Жаркий климат Кара-Бугаза и сухие постоянные ветры очень помогают этой сушке.

Мирабилит раскладывают низкими плоскими кучами, и через два дня на нем образуется слой тончайшего сухого сульфата. Сульфат смело сгребают, не боясь перемешать с мирабилитом, так как между сульфатом и мирабилитом образуется твердая корка. Потом корку разрыхляют, и мирабилит снова сохнет, выделяя новый пласт сульфата.

Такая сушка тянется долго и всецело зависит от кара-бугазских капризов. Стоит подуть ветру, и облака сульфата уносятся в пустыню, застилая все вокруг сверкающей горькой пудрой.

Пока студент вывозил сульфат в Дербент, в Кара-Бугазе появился новый хозяин — «Киркуулисоль». Эта организация занялась заготовкой поваренной соли в громадном соляном озере Куули, лежащем между Кара-Бугазом и морем, и попутно добычей кара-бугазского сульфата.

Сотрудники «Киркуулисоли», набранные неведомо где, славились по всему побережью как люди предприимчивые и не очень чистые на руку. Они заготовляли экспортную соль для Персии. Дальнозоркие кочевники-туркмены начали замечать персидские фелюги, грузившие соль по ночам, подозрительных людей, внезапно появлявшихся на промыслах и так же быстро исчезавших, дым парохода на горизонте, никогда не приближавшегося к берегу, и много других странных вещей. По этим признакам туркмены — жители пограничных мест — тотчас же заключили, что соль несомненно воруют.

Вскоре был пойман пароход «Армения», перегружавший ночью в открытом море соль из своих трюмов в персидские фелюги. Сотрудники «Киркуулисоли» занимались контрабандой в фантастических размерах. Контрабандисты были пойманы.

На этом бесславная история «Киркуулисоли» окончилась. Ее сменила «Карабусоль» во главе с отважным моряком Болонкиным. Так же как и «Киркуулисоль», эта новая «соль» предпочла заняться добычей поваренной соли из озера Ала-Тепе, не желая возиться с сульфатом.

Наконец, осенью 1926 года в залив приехала правительственная комиссия и положила предел кара-бугазскому хаосу. Комиссия обнаружила на берегах залива свыше ста пятидесяти тысяч тонн сульфата, заготовленного всеми феерическими хозяевами залива, столь стремительно канувшими в небытие.

Новой организации — «Туркменсоли» — было поручено немедленно начать планомерную добычу сульфата на южном берегу залива, около мыса Умчалл. Добыча началась и шла в небольших размерах до 1929 года, когда был создан трест для эксплуатации богатств залива — «Карабугазсульфат». Первый период в жизни залива отошел в прошлое.

Трест «Карабугазсульфат» пришел как полновластный хозяин. Он включил Кара-Бугаз в общий план индустриализации восточных окраин, в смелый план завоевания пустынь.

СТАРЫЙ ВРУН БЕКМЕТ

Ты увядал, но сейчас расцветаешь,
Хорезм!

Современная туркменская песня

Бариль пришла в отчаяние. Ни о какой работе с землекопами-туркменами нельзя было думать, пока на северных промыслах «Карабугазсульфата» обретался старикашка Бекмет. Сегодня он опять сорвал ей антирелигиозную беседу.

Вечером покрытые кислой пылью туркмены собрались около кибиток. Горели костры. Ветер дул на залив. Белый дым полыни, сгоравшей на огне, стлался над водой слоистым облаком.

Сквозь дым сверкали молочные, неясные звезды. Тяжелый прибой, устав выбрасывать липкую пену, стихал у песчаного берега.

Единственный пес на промыслах — Хаким — бегал по берегу и долго, до хрипоты лаял на юг. Там глухим и мрач-

ным огнем горело зарево восходившей луны. Хаким ненавидел две вещи — луну и паровой катер, который часто приходил к ним на северные промыслы из залива, где обосновался трест. Хаким ложился на пристани и рычал на катер, когда тот дергался на волне и сотрясал деревянный настил.

В этот день собрались все, даже Мурад, бывший почтальон из Гасан-Кули.

Мурад болел ревматизмом — очень редкой болезнью в пустыне. Он прославился этим и был окружен сиянием своей исключительности, как всегда бывает с людьми, носящими в себе загадочную болезнь. Ревматизм для туркмена был так же необычен, как для европейца пендинка или решта.

Я помню, как в пыльной базарной щели в Красноводске я битый час смотрел, как вытаскивали из ноги великана туркмена длинного червя — решту, тонкого, как конский волос. Корчагин стоял рядом со мной и поражался. У себя в Костроме он не подозревал о таких болезнях.

Червя осторожно наматывали на спичку. Когда червь начал идти туго, спичку вместе с червем прибинтовали к ноге, оператор хлопнул больного по рыжей пыльной спине и отпустил на денек погулять. Все лечение состояло в том, что, зацепив головку червя спичкой, его очень осторожно в течение недели выматывали из-под кожи до конца. Если червь обрывался, то все лечение шло насмарку.

Примерно такое же впечатление производила на туркмен болезнь Мурада. Они садились вокруг него на корточки и заставляли сгибать и разгибать колено. Под коленной чашечкой слышался громкий треск, и передние зрители отползали, валясь на задних, и испуганно чмокали. Бекмет посоветовал Мураду выпустить из-под языка полную пиалу крови, и, если бы не гневное вмешательство Бариль, Бекмет пустил бы кровь бывшему почтарю своей щербатой бритвой.

История болезни Мурада так заинтересовала Бариль, что она даже написала об этом заметку в «Туркменскую искру». Она требовала немедленно принять меры, чтобы впредь такие случаи не повторялись.

Хоробрых, назначенный после постройки дороги из Красноводска в Кара-Бугаз заведующим северными промыслами треста, прочитав заметку, сказал Бариль:

— Чтобы избавить гасан-кулийских почтарей от ревма-

тизма, надо включить в план будущего года землечерпальные работы в Гасан-Кули на полтора миллиона рублей. Вот что может получиться из маленькой газетной заметки!

— Ой, эти мне инженеры! — воскликнула Бариль.— Эти мне инженеры, что считают всех круглыми дураками, кроме себя!

История Мурада была чрезвычайно проста. Он служил в Гасан-Кули почтальоном. Пароход останавливался около Гасан-Кули в двенадцати километрах от берега. Ближе подойти было нельзя из-за мелководья. Чтобы добраться до парохода, приходилось полтора километра проехать по морю на арбе, после этого пересесть на плоскодонную лодку — кулаз — и плыть к пароходу.

Мурад выезжал к пароходу четыре раза в месяц. Никто не знал, да и не мог знать, когда пароход придет и на сколько он опоздает. Мурад становился на якорь на рейде, вынимал скудную еду и закусывал.

Наступал вечер, наступала ночь, а парохода все не было. Тогда Мурад ложился спать на дно кулаза, пока его — обычно поздней ночью — не будил пронзительный пароходный гудок.

Мурад получал почту, греб к берегу, но лентяй арбакеш всегда уезжал, не дождавшись парохода. Мурад, навалив на плечи кожаные мешки с почтой, брел по колени в воде полтора километра до берега.

Мурад бродил с почтой по ночному морю двадцать лет и летом и зимой, когда ледяная вода сводила ноги до судорог.

Один раз он уронил мешок в воду, и часть писем подмокла.

В тот вечер на антирелигиозную беседу пришли и молодой Гузар — бывший спутник Прокофьева, и старый червовод из Фирюзы, имени которого никто не знал. Червовод разводил в былое время шелковичных червей. Но однажды у него не хватило тутовых листьев — главного сырья для его кропотливого производства,— умерла старуха жена, и червовод пошел бродить по Туркмении, разнося повсюду свою мудрость бедняка.

В первых рядах, конечно, сидел Бекмет. Он радостно кивал Бариль, тараторил и толкал соседей, устраиваясь поудобнее. На лице его разливалось блаженство. Он с нетерпением ждал, что скажет Бариль. «Старый притворщик»,— подумала Бариль и начала говорить.

Помогал ей Гузар, хорошо знавший русский язык. Нужен был умелый подход. Бариль говорила не о том, что аллаха нет, а просто и коротко объясняла истинное значение всяческих чудес — грома, молнии, автомобиля и парохода. Туркмены слушали, открыв рты.

Бариль подумала, улыбнувшись, что это не собрание рабочих-землекопов, а детский сад. Действительно, сожженные солнцем, отважные мужчины, знавшие в пустыне каждый след и каждый холм, громко смеялись от восхищения и хлопали друг друга по шапкам, поднимая облака удушливой пыли.

Тонкие коричневые руки, умевшие бить из ружья без промаха на полкилометра, они прятали в рукава рваных халатов.

Бариль еще не кончила, но Бекмет перебил ее и торопливо сказал:

— Автомобиль, эту чертову арбу, выдумал человек, хвала ему, но вот чего человек не выдумал, так это веселящего дерева, носящего имя «кассак». Такое дерево могло быть создано только аллахом.

Слушатели обернулись к Бекмету, и глаза их заблестели.

Бекмет начал одну из своих историй.

— Было это в ауле Варун-Кала,— говорил он, не обращая внимания на недовольство Бариль.— Ты тоже слушай. Это случай из жизни, и я сам был его очевидцем. Я остановился в этом ауле по пути в Мекку. Я шел в Мекку потому, что я не хуже дервишей, которые слизали свою святость вместе с пылью с гроба пророка. Тогда по аулам ездили еще царские чиновники, а в Хиве сидел шах Сейид-Асфендиар.

Русские чиновники собирали деньги. Давай каждый год пять рублей, а через двадцать лет тебя за это повезут пароходом в Медину, а оттуда ты можешь с толпой правоверных идти в Мекку. Пароход будет тебя ждать и не уйдет, пока опять не соберет столько людей, сколько овец в тесном загоне. Я давал пять рублей, потому что я хотел быть святым — хаджи — и носить зеленую чалму на своей глупой голове.

И вот я получил бумагу и билет на пароход и по пути в Ашхабад заночевал в ауле Варун-Кала, у человека с рыжей головой, по имени Хушет. Я рассказывал ему весь вечер о Мекке и Йемене, где цветет кофе и в горах трепе-

щут листьями высокие пальмы. Сердце правоверного не может выдержать таких соблазнов. Зависть ко мне грызла Хушета весь вечер. Потом приехал ночевать еще один гость, на хорошей лошади и в новенькой арбе.

Отходя ко сну, Хушет сказал: «Я подумаю. Может быть, я тоже поеду с тобой в Мекку, чтобы увидеть вечернюю звезду прямо над черным камнем пророка».— «Ты сделаешь доброе дело»,— ответил я и уснул.

Я проснулся ночью и услышал, что кто-то ходит около моей постели.

«Кто там?» — спросил я спросонок.

«Спи,— ответил Хушет.— Я ищу огня, чтобы закурить наргиле».

Утром он встретил меня радостный и сказал, что он тоже едет в Мекку, но догонит меня в Красноводске. И действительно, он догнал меня в Красноводске. И мы вместе совершили великий путь, молясь и почти не принимая пищи.

Ай, что мы видели! Мы видели города, где столько людей, сколько песку в бархане, видели Стамбул и плыли по многим морям. В Мекке мы ночевали в караван-сараях с паломниками из Белуджистана, Индии и Триполи. Я все ночи не спал, слушал шум толпы, пение молящихся и рев сотен верблюдов.

Пять раз я удостоился счастья поцеловать черный камень пророка.

На третью ночь в наш караван-сарай пришел человек из Омана и принес в мешке сухие ветки с маленькими сморщенными плодами.

Он кричал, что продает веселящее дерево — кассак,— дабы дух паломников радовался перед лицом аллаха.

Мы купили плоды этого дерева, и каждый проглотил по четыре зерна. Мы почувствовали великую радость, будто напились русской водки. Мы хохотали, плясали и рассказывали друг другу соблазнительные истории. Только к утру мы уснули крепким сном, и какой-то бродяга — да упадет проклятие на весь его черный род! — стащил мои чувяки и мешок с хлебом и маслинами из-под головы Хушета.

Мы вернулись домой. На обратном пути я благословлял Хушета, не пожалевшего отдать свои последние деньги на путешествие к гробу пророка.

Но как только мы вошли в аул Варун-Кала, явились полицейские, арестовали Хушета и повезли в Ашхабад. Я изумлялся, не зная, за что так грубо и недостойно обошлись с человеком, носившим имя хаджи и искупившим былые грехи постом и молитвой.

Что же я узнал в тот же день? Через месяц после нашего отъезда жена Хушета, тихая и скромная женщина, рассказала властям, что Хушет убил ночью того гостя, что приехал на хорошем коне, закопал его труп за аулом, коня и арбу продал в Ашхабаде и на эти деньги и совершил свое паломничество ко гробу пророка. Вот до чего может довести человека благоговение и вера!..

Бекмет кончил, и нельзя было понять, говорит ли он серьезно или смеется. Бариль внимательно посмотрела на него. Старик был не так уж прост, как ей казалось раньше.

Она встала от костра и пошла в дощатый тесный дом, где Хоробрых отвел ей угол за холстинной перегородкой. Гузар шел с ней и смеялся: забавные вещи рассказывает старик!

— Веселый старик, очень веселый старик! — все время повторял он.— Тебе сильно помочь может.

«Хороша помощь! — с горечью подумала Бариль.— Черт бы его унес с его помощью!»

Хоробрых и его помощник Казанский, белобрысый техник, загорелый до того, что пробор на его голове казался кровавым шрамом, предпочитали спать на воздухе. В доме обитали фаланги и скорпионы. На берегу их было меньше: нечисть эта не выносила сульфата.

Хоробрых и Казанский стелили бурки на плоских кучках сульфата и спали спокойно, если их не будил шторм, начинавший глухой орудийный обстрел побережья и вздымавший самумы соли. Верблюды поворачивались задом к ветру и ревели. Хоробрых и Казанский вскакивали, ругались и, плача от едкой пыли, прятались в дом.

Бариль тоже спала на сульфате. Ночью он поблескивал синеватым огнем. Сульфатное ложе сияло подобно хрустальной постели из прочитанной еще в детстве и забытой сказки.

Хоробрых курил и говорил густым голосом:

— Надо заставить Мурада выкупаться раз десять в заливе, и от его ревматизма останется одна слава по кочев-

кам. Товарищ Бариль, вы бы занялись этим, иначе его произведут в туркменского святого, и получится совсем неудобно.

— Мне надоели эти постоянные шуточки,— миролюбиво отозвалась Бариль.— Конечно же, я его вылечу назло вам. Я давно это решила.

Хоробрых долго не спал. Завтра нужно было начать работы по прокладке туннеля. Рабочих было мало, да и те боялись бить ломами мергель.

Старый туркмен, прозванный Хоробрых «царем Менелаем», раздувал слухи, что в мергеле сидит злой дух и будет жестоко мстить каждому, кто дойдет до сердца горы.

Хоробрых решил с раннего утра отправить Гузара верхом к соседним кибиткам с призывом идти на работу. За каждую завербованную кибитку он назначил Гузару плату в десять рублей.

На северных промыслах трест решил, по опыту Махачкалы, начать бассейнизацию добычи сульфата.

Для этого выбрали высохшее озеро и назвали его «Озеро № 6» (у инженеров под всеми широтами одинаковая болезненная страсть нумеровать все и вся).

К озеру надо было прокопать из залива канал, потом пробить через небольшую гору туннель длиной в сто тридцать метров и затем осенью накачать по этому каналу в озеро кара-бугазскую воду до трехметрового уровня. Эта вода должна была дать осадок в пятьдесят сантиметров чистого мирабилита на площади в квадратный километр. Жаркие ветры и солнце ежедневно должны были превращать верхний слой мирабилита на озере в пленку сульфата толщиной в три сантиметра.

Сульфат в озере лежит ровно, поверхность его плоская, как стол, и потому собирать его можно машинами. Трест заказал сборочные машины и начал нажимать на Хоробрых, чтобы поскорее закончить работу.

Канал был готов раньше назначенного срока, хотя первое время Казанский измучился, обучая вчерашних кочевников держать лопату. Они всё пытались держать ее тыльной стороной от себя, и жалко было смотреть, как они мучились, овладевая этой дьявольской машиной. Но потом дело пошло.

Канал уперся в гору. Утром «царь Менелай» явился к Хоробрых и прошамкал, что рабочие, будучи правоверными, отказываются разрушать гору, иначе аллах покроет

всю степь черной корой и духи гор сметут в воду и потопят кибитки с людьми, верблюдами и жалким скарбом.

— Старик,— сказал Хоробрых оглушительным голосом,— собери почетных людей в своей кибитке. Я приду, и мы будем говорить о духах гор. Ты, говорят, знаешь слова от проказы, я знаю заклинание от духов гор. Каждому аллах дает свое: ящерице — хвост, ослу — уши, а умному — слово, спасающее от бедствий.

«Менелай» ушел. Бариль считала, что такие «фокусы» Хоробрых ни к чему не приведут. Казанский предложил обойтись без рабочих и рвать гору динамитом. Хоробрых рассмеялся:

— После первого же взрыва все кибитки снимутся, помчатся в пустыню, и вы их потом не заманите сюда, даже если притащите баржу с нарзаном. Нужен подход. Я среднеазиатец, положитесь на меня.

Прежде всего Хоробрых приказал отнести в кибитку «Менелая» тюбик кокчая. Без этого кислого, пахнущего аптекой напитка не могло обойтись ни одно сложное дело. Чай просветлял мозги и разгонял излишние страхи.

Но днем случилось событие, едва не испортившее все дело. Мурад внял уговорам Бариль и выкупался в заливе. Сейчас он лежал в кибитке, испуская отчаянные крики. Его истерзанное насекомыми тело огнем жгла едкая карабугазская вода.

Туркмены волновались. Бекмет уже приступил к умирающему с зазубренной бритвой, готовясь пустить нечистую кровь, но в этот момент появилась Бариль.

— Прочь! — крикнула она так повелительно, что Бекмет уронил бритву и глаза его забегали от страха.— Прочь, бездельник! Что это за мода резать живых людей!

Она подняла ногу Мурада в ситцевой штанине, где на розовом фоне цвели лиловые пионы, и несколько раз быстро согнула в колене. Туркмены отшатнулись, затаив дыхание. Они ждали оглушительного треска, но не услышали ничего. Тишина была столь глубокой, что было слышно, как жевал верблюд, лежавший в ста шагах от кибитки.

Мурад перестал стонать.

— Ну что? — с торжеством сказала Бариль.— Принесите ему ведро пресной воды и дайте обмыться.

Ужас пробежал по лицам туркмен. Закон пустыни, позволявший мыть только лицо, руки и ноги, был низвергнут этой женщиной, носившей на носу стеклянную машинку.

Никто не двинулся, кроме старухи Мурада. Она принесла ведро воды. Все вышли из кибитки и слушали с трепетом, как Мурад, охая и всуе произнося имя пророка, плескался над чугунным котлом.

Потом он вышел, свежий и побледневший от первого в жизни мытья, торжественно прошел к Бариль и поклонился ей в пояс, прижав руки к груди. Он чувствовал себя, как юноша, впервые укравший невесту.

— Хоробрых,— смеясь, сказала Бариль инженеру, собиравшемуся идти на совет старейшин,— сегодня у нас на промыслах началась Октябрьская революция. Важно сдвинуть кочевников с мертвой точки, а потом пойдет легко.

— Я же вам всегда говорил,— ответил Хоробрых.

Как ни напрягала Бариль память, она не могла припомнить, чтобы инженер говорил что-нибудь подобное.

Совет старейшин длился два часа. Сначала пили чай и говорили о плохих травах в Адаевской степи и о том, что песок совсем занес старые караванные дороги в Кунград.

Хоробрых не участвовал в разговоре, но тревожно прислушивался. Снаружи доносились странные звуки. Казалось, туркмены снимают кибитки.

Потом Хоробрых говорил о туннелях и сравнивал их с самыми невинными колодцами в горах. Он взывал к прославленной храбрости туркмен, долго рассказывал, как из сульфата будут делать великолепный прозрачный камень — стекло — и муку для удобрения хлопковых полей.

Туркмен Тайбазар встал первым:

— Я пойду. Давай железную палку.

Вторым встал казах Ныязов.

— А заклинание? — вскричал Бекмет разочарованно.

Чтобы успокоить его, Хоробрых прочел несколько строк первых пришедших ему на память стихов:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана.

Старики погладили бороды и закивали бараньими шапками.

Хоробрых вышел и длинно выругался. Бариль считала, что Хоробрых перегнул палку и поступает как сумасшедший. Хоробрых пожал плечами.

— Пустое! Почему вы охрапяете старых дураков от невинпых пасмешек?

Этп азиатские методы действий вызывали у Бариль раздражение, но вскоре она перестала пегодовать: у подножия горы глухо застучали ломы.

— Мы раздавим пустыню, как фалангу,— промолвил Хоробрых и пошел к горе.

Начинался август. Он пылал невыпосимым пожаром. Жара низвергалась сверху белыми, как соль, широкимп реками. Пыль залепляла поры па коже. Люди не могли потеть, и от этого ощущение духоты доходило до тяжелых головокружений. Кровь густела, и Хоробрых начал чувствовать ее вес в своем теле. Казалось, что в венах застывает столярный клей.

Туркмены долбили гору. Жара, казалось, ожесточала их. Удары ломов были беспощадны. Никто уже не думал о духах гор. Над «царем Менелаем» посмеивались за глаза и называли его трусом.

Старики приползали к туннелю и сидели в его тени, паблюдая кипение не виданной еще в пустыне работы. Они говорили, что, когда кончат туннель, надо переносить кибитки к Бек-Ташу, потому что «человек с деревяпным паргиле» (так опи называли Хоробрых, не выпускавшего изо рта трубки) хочет строить железную дорогу от северных промыслов на Бек-Таш. Говорили, что русские привозят складпые дома и в них никогда не заводятся блохи, как в кибитках, что Москва приказала обучить всех туркменских детей грамоте и что скоро в пустыне будут строить заводы и город, равный по красоте Хиве.

Бариль оказалась права: кочевники были сдвинуты с мертвой точки.

Пышная их фантазия, свойственная людям пустынь, преображала в легенды все, что начиналось на берегах Кара-Бугаза.

«Царь Менелай» скрипел и жаловался: говорят, через несколько десятилетий пустыня расцветет садами и пресная вода заблестит в хлопковых садах.

Женщина со стеклянной машинкой на носу рассказывала, что люди уже научились делать дождь и над пустыней будут идти обильные дожди. Аллах ошибся и дал ему, «Менелаю», родиться слишком рано. Придется умереть и не увидеть родные края цветущими, как берега счастливого Мешедиссера.

«Менелай» бывал в молодости на персидском берегу в Мешедиссере и всю жизнь рассказывал о померанцевых зарослях и лесах ореха, свисавших над морем, как богатые ковры висят на балконах домов в дни празднеств.

— Мешедиссер! — восклицал он и плакал от слабости, стараясь представить себе свою родину — колодцы Суили,— окруженную рощами чинар и шумливой травой.

С каждым днем жизнь становилась непонятнее и давала богатую пищу для выдумок и размышлений.

В залив пришла странная машина. Она рыла дно. Потом пришла вторая машина, которая должна была сосать со дна залива густую воду и перекачивать ее по каналу в озеро. Хаким лаял на новые машины два дня, после чего взбесился, и Гузар пристрелил его.

Потом была объявлена байга. Блестящая мысль о байге пришла в голову Хоробрых в одну из бессонных ночей.

— Мы начинаем соревнование в песках,— предупредил он утром Бариль, загадочно улыбаясь.

Бариль подозрительно посмотрела на него: опять этот инженер затевает какую-нибудь мистификацию. О каком соревновании можно говорить, когда термометр дошел до шестидесяти пяти градусов!

Бариль в последнее время была особенно занята женщинами. Ей удалось приучить их мыть руки и не совать грудным детям в рот не доеденные собаками черствые корки. Мысль о мытье рук с особой очевидностью пришла однажды вечером, когда туркменка-стряпуха месила лепешки для обитателей дощатого дома.

— Как вы думаете, сколько фунтов грязи она добавила к лепешкам? — спросила Бариль Казанского.

— Все равно съедим,— рассеянно ответил Казанский.

Это был человек, убежденный, что жить в пустыне легко и приятно, так как здесь нет «никакой волынки». Под «волынкой» Казанский подразумевал бумажки, отношения и телефонограммы.

Лепешки были съедены в один присест, но Бариль к ним не прикоснулась. Она занялась туркменками. Почти у всех были запущенные болезни; в тридцать лет туркменки превращались в старух, теряли способность рожать детей и закрывали платками дурно пахнущие рты.

В туннеле работа подходила к концу.

Две партии шли с двух сторон и со дня на день должны

были встретиться. Тогда-то Хоробрых и объявил в туннеле байгу.

Байга — это скачки лучших наездников. Одному из наездников дают на седло барана. Победителем считается тот, кто вырвет на всем скаку барана и домчит его до палатки судей, увернувшись от разъяренных соперников.

Хоробрых решил, что понятие соревнования можно внедрить среди туркмен только путем сравнения. Ударную работу он называл байгой. Лучшим рабочим, землекопом над землекопами, будет считаться тот, кто пробьет насквозь последние пласты мергеля и первым просунет руку встречной партии.

С обеих сторон было поставлено по шесть добровольцев, и байга началась. Старики осторожно пробрались в туннель, ибо их слово было решающим.

Работа шла под свист, крики и хохот. Каждая крупная глыба мергеля, отбитая от стены, вызывала необычайное возбуждение.

Гора гудела и содрогалась.

Бариль отгоняла детей от входа в туннель, где люди кричали так, что, казалось, шла драка не на живот, а на смерть. Бариль смеялась, оттаскивая детей, пот стекал с ее усталого лица, и наконец потоки пота смыли пенсне с ее носа. Пенсне упало и разбилось. Дети бросились врассыпную. В эту же минуту из туннеля долетел такой рев, что Бариль содрогнулась и перестала искать разбитые стекляшки.

Партии встретились. Первым пробил отверстие Гузар. К вечеру туннель был окончен.

Старики возвращались взволнованные. Байга в туннеле напомнила им молодость и скачки на меловых плоскогорьях Мангышлака. Весь вечер по кибиткам шел гомон. Все удивлялись, что первым пробил стену Гузар, а не Ныязов, считавшийся самым сильным из землекопов.

Бариль щурилась и смущенно улыбалась. Весь залив окутался туманом, а в этом тумане блуждали потерянные звезды, костры, красный уголек из трубки Хоробрых, поблескивала вода и голубоватый сульфат. Близорукость превратила знакомые места в декорацию веселой пьесы.

Гузару была выдана первая на промыслах бумажка, где сообщалось, что он лучший ударник и землекоп над землекопами по всему побережью.

Гузар спрятал бумажку на груди и пошел пить кок-чай со стариками — великая честь, которой удостаивали только лучших наездников.

Хоробрых не удержался и написал в тот вечер воззвание к кочевникам. Он хотел разослать его по соседним кибиткам, чтобы привлечь рабочих на постройку узкоколейной железной дороги.

Дорогу длиной в тридцать километров было решено провести от промысла к Каспийскому морю, где в Бек-Таше еще во времена хозяйничания в заливе «Дагестанских огней» построили пристань. Сульфат к морю перевозили на туркменских лодках. Это обходилось очень дорого. Лодки сплошь и рядом сутками отстаивались около бара, дожидаясь затишья. В бурную погоду бар бывал очень опасен,— все берега вблизи залива чернели от обломков разбитых лодок и шхун.

«Кочевники! — писал Хоробрых.— Советская власть постановила превратить вашу страну в цветущие поля и сады. В Кара-Бугазе мы начали добывать удивительную соль; из нее делают стекло и пищу для утучнения виноградников, хлопка и джугары.

Кочевники! Навьючивайте кибитки и идите к озеру Ала-Тепе, где вам будет дана вода и пища. Оставьте скитания по мертвым пустыням и становитесь рабочими, ибо пришли новые времена. Все смертно, и старая жизнь умирает. Не верьте длинным языкам стариков, злых от несчастной жизни».

Наутро Гузар снова помчался по кибиткам, а к вечеру следующего дня первые медлительные верблюды, навьюченные кошмами, гнутыми палками и детьми, торжественно прошли по бесплодным берегам в сторону Ала-Тепе.

По случаю награждения Гузара Бариль устроила собрание рабочих. Впервые на это собрание пришли робкие женщины. Они сидели сзади и боялись даже шептаться.

Бариль долго искала у себя в чемодане запасное пенсне, не нашла, расстроилась и опоздала на собрание. Когда она подходила к кибитке «Менелая», черный круг туркмен не шелохнулся. Старикашка Бекмет что-то рассказывал, и, должно быть, очень увлекательно, так как даже Гузар не отрывал глаз от его шамкающего рта.

Бариль подошла и прислушалась. Она опоздала к началу рассказа и услышала его с середины.

Бариль не любила легенд. Каждый, кто бывал на Востоке, с большой осторожностью относится к пресловутым восточным легендам. Досужие описатели связывают с легендами названия всех озер, городов и рек Средней Азии.

Но легенда Бекмета была особенная. Он рассказывал ее, покачиваясь:

— ...Говорит он Файреддину: «Вот люди хвалятся тучной пшеницей и сладким виноградом, кожами и мягкой шерстью, высокими лесами и жирной рыбой. А чем богат твой край?» Файреддин молчит. Ленин опять говорит: «Вот приехали все на съезд в Москву и рассказывают каждый про свое, а ты один молчишь. Скажи свое слово, друг, не пугайся. Чем живете вы в вашем краю, чего ждете от времени?»

Заплакал Файреддин: «Товарищ, что могу я сказать, старый туркмен из рода Абдалла, перед всеми вами? Чего мы ждем от времени, когда время ворует у нас последнюю воду из колодцев и засыпает песком вчерашние виноградники? Я из страны, что называется Усть-Урт и еще Кара-Кум. Богаты мы нищетой и жаждой, песком и солью. Ты думаешь, иолдаш, о счастье бедняков, а мы думаем о воде. Но нет воды! Аллах иссушил нашу землю на десять локтей в глубину, и даже дождь высыхает, не успевая достигнуть земли. Реки текут под песками, но вода в них горькая, как кожа персидского апельсина. Со времени Тимура вянет наша страна. Что делать, товарищ? Книзу все земли заняты, кверху все земли заняты, и нет нам места на земле. Ты велик, и ты могуществен. Ты большой человек, у тебя чуткое ухо и острый глаз,— но чем ты можешь помочь нам, туркменам? Потому я и молчу на великом съезде».

Тогда Ленин засмеялся и ответил старому Файреддину: «Чего не может аллах и не может Тимур, то могут сделать большевики, Файреддин».

Файреддин покачал головой.

«Если ты идешь с горбатым,— ответил он,— то не вытягивайся во весь рост, чтобы горб его не бросался людям в глаза. Если ты говоришь с человеком из Кара-Кума, то не смейся над ним и не обещай невозможного».

Так ответил Файреддин и ушел раздосадованный.

Но чудо совершилось. К осени дошел до кибитки Файреддина слух, что в Хорезм приехало много инженеров, при-

шли машины, похожие на железных верблюдов, из лодок выгружают цемент и большевики хотят пустить воду в иссохшее от тысячелетий древнее ложе Аму-Дарьи, называемое Узбой.

Узбой уходит в сторону от реки и простирается далеко, на десять дней хода каравана, в самую безводную пустыню.

Файреддин посмеялся над ребячеством большевиков. Они не знали, что в Узбое бывает дно из крепкого песка и бывает дно из такого песка, какой сосет воду, будто тысяча буйволов, не пивших три дня. Можно вылить в Узбой целое море, но песок в один час высосет его и оставит только мертвых рыб и горькую пену. Нельзя победить пустыню, и недаром созданы верблюды и саксаул.

Файреддин смеялся, а большевики копали канал и строили плотину. Дно Узбоя в тех местах, где был сыпучий песок, они заливали цементом.

И вот взошел день великого торжества. Светлая вода из Аму хлынула в Узбой, и песок не украл ни одного ведра ее.

Через ряд лет пески зарастут хлопком и виноградом, карагачами и инжиром. Нищая страна, сухая, как язык пса, издохшего от жажды, будет пить воду, как люди пьют вино.

Файреддин зарезал барана, угощал всех, плакал и подарил маленьким детям на забаву свою зеленую чалму, купленную в Мекке, где Файреддин пролил свою слезу на черный камень пророка. И теперь старый Файреддин служит распределителем воды на новом канале и ходит гордый, как верблюд.

Когда Бекмет кончил, туркмены молча взглянули на Бариль. Они ждали.

— Товарищи! — сказала Бариль, и горло ее стиснула спазма.— Товарищи, лучше Бекмета я ничего вам рассказать не могу.

Тогда Бекмет встал. Он низко поклонился Бариль, с трудом коснувшись сухими пальцами твердой земли, и сказал с достоинством:

— Напрасно ты сердилась на меня, женщина. Умные люди говорят: «Страна при расцвете рождает певцов и героев, а при упадке — пыль и много начальства». Вы родились быть героями, а я — глупый и старый певец.

Бариль вернулась в дом и долго сморкалась за перегородкой. Хоробрых притворно удивлялся и расспрашивал, где она могла схватить насморк. Расспросы окончились тем, что Бариль вылетела из-за занавески разгневанная и крикнула ему:

— Идите к черту! Вы хвастаетесь, что сделали экскаватор из керосиновых баков. Подумаешь, какая гениальность! Нужно было для этого учиться на инженера! Вы все не стоите одного старого вруна Бекмета.

— Товарищ Бариль,— ответил Хоробрых,— вы подрываете мой авторитет. Бекмета я назначил десятником. Кстати, вы знаете, что он был бродячим певцом?

Вечером Бариль ушла далеко вдоль берега. Звезды, казавшиеся раньше сквозь стекла пенсне мелкими зернами, сейчас пылали в воде залива мутными фонарями.

Бариль вспомнила весь сегодняшний день и улыбнулась заливу. Он лежал безмолвно. Нити звездных отражений казались светящимся следом мирабилитовых кристаллов, медленно падавших на дно. Сотни серых бабочек, пахнувших полынью, кружились около Бариль и щекотали лицо.

ГРУБАЯ ОШИБКА ПРИРОДЫ

В лоции Каспийского моря, составленной в 1877 году, сказано: «Родниковой воды нет нигде на всем побережье от Мангышлака до Атрека, за исключением родника Балкуи, находящегося на высокостях в северной части Красноводского залива. Родник этот дает, впрочем, такое ничтожное количество воды, что о нем не стоило бы и упоминать, если бы он не был единственным на всем побережье».

К лоции приложены карты. На них вместо Кара-Бугазского залива сияет белое пятно.

В Большой советской энциклопедии сказано, что вода в пустынях Кара-Бугаза бывает только весной в мелких глинистых лужах. Из этих луж кочевники поят скот. Лужи быстро высыхают, и кочевники торопятся гнать стада на север, где вблизи Темира лежат травянистые степи.

Ученые пишут о воде из колодцев, найденных вблизи Кара-Бугаза, очень вежливо: «вода относительно пресная», «солоноватая», «неприятная на вкус», и, наконец, более решительно: «тухлая» и «негодная для питья».

Старинные путешественники пишут о цветущих оазисах в этих местах. Их рассказы легендарны и неясны, как и вся история восточных стран, но в них должна быть крупица истины.

Наконец, Семенов-Тян-Шанский говорит о закаспийских пустынях как о странах, потерявших воду.

Вода была. Об этом свидетельствуют многочисленные мертвые колодцы, разбросанные в горах по берегам залива. На дне их сейчас нет ничего, кроме потрескавшейся глины.

Инженер Ронкин в 1927 году нашел несколько великолепных высохших колодцев около мыса Умчалл. Стенки их были выложены чисто обтесанными камнями. Около колодцев валялись каменные колоды для водопоя. Часть колодцев на южном берегу залива засыпана была во время войны иомудов с казахами.

Когда трест «Карабугазсульфат» пришел в залив, воды не было. Только на Северной косе нашли колодцы с небольшим количеством хорошей воды. Пресная вода в этих колодцах лежала тонкой пенкой. Воду из таких колодцев приходилось брать с величайшей осторожностью; если ее взбалтывали, она мгновенно засолялась. Такие колодцы около мыса Бек-Таш дают в сутки двадцать пять тысяч ведер воды.

И тресту, добывшему уже в 1931 году пятьсот тысяч тон сульфата, построившему вблизи залива первый маленький поселок (даже с асфальтовым тротуаром), и будущему комбинату нужна вода. Необходимо исправить грубую ошибку природы, отнявшей воду у богатейших в мире залежей «периодического минерала».

Начались поиски воды. Вначале это дело казалось совершенно безнадежным. Даже от карт этих мест тянет сухостью и начинается жажда.

Кочевники знают, что в желтых песках вода есть всегда. Все дело лишь в том, чтобы из-под песков ее вывести наружу. Кочевник, умирающий от жажды, стремится дойти до ближайших желтых песков, где почти всегда вода стоит на небольшой глубине. Но глинистая пустыня смертоносна. В ней воды нет никогда.

На Умчалле лежат большие пространства желтых песков. В них уже на глубине семидесяти метров нашли мокрый пресный песок.

В горах Большие Балханы, в шестидесяти километрах к юго-востоку от залива, нашли источники прекрасной пресной воды, дающие двадцать пять тысяч кубических метров воды в сутки. Комбинату же понадобится восемьдесят пять тысяч кубических метров воды в сутки. Большие Балханы почти не обследованы. Там воды должно быть гораздо больше. В этих горах, кроме того, очень легко задержать путем возведения небольших плотин весенние дождевые воды и этим увеличить запасы воды почти в три раза.

В старинных рукописях, записанных со слов водителей караванов, говорится, что в оврагах Карын-Ярык, в северо-восточном углу залива, находятся родники, где можно напоить сто двадцать верблюдов. Есть все данные, что в этих оврагах будут найдены обильные подземные источники.

Прошлое перекликается с будущим. Водители караванов из Кунграда на Эмбу оставили записи для своих товарищей — караванбашей, простодушно полагая, что караваны будут ходить тысячи лет. Сейчас эти записи расшифровываются, и сотрудники научных институтов, посмеиваясь, выясняют, сколько может выпить верблюд и каков поэтому дебит старинных источников. Наши химики, работая над искусственным обезвоживанием кара-бугазского мирабилита, установили, что в виде отходов можно получить столько хорошей пресной воды, что она значительно смягчит водяной голод как комбината, так и первого города, который вырастет в пустыне. Один квартал этого города уже выстроен и носит название Кара-Бугаз-порт.

Но все же воды мало. Ее хватит для населения будущего Кара-Бугаза, но не хватит для комбината. Поэтому предполагается построить мощные опреснители. Это будет надежнее всего.

Недавно в Ленинграде начаты работы по применению для технических целей слабосоленой морской воды. Опыты идут удачно. Если они закончатся успешно, то надобность в опреснителях отпадет. Тогда для производства пойдет каспийская вода, а питьевой хорошей воды хватит с избытком — ее дадут те источники, о каких говорилось выше. Из-за проблемы воды начался бой между специалистами. Меньшая часть их морщилась при одном упоминании о Кара-Бугазе. По мнению этих специалистов, в Кара-Бугазе должна идти только добыча сульфата, а переработку

надо перенести в Дагестан. Постройку комбината в Кара-Бугазе эти специалисты считают фантазией. Нет воды, нет вблизи топлива, нет зелени, дикая жара — все это кажется им непреодолимыми трудностями. К счастью, теперь таких специалистов мало.

Победило мнение большинства специалистов, считающих, что постройка комбината должна вестись именно в Кара-Бугазе.

Наоборот, говорят отбросившие профессиональное недоверие специалисты, преодоление величайших трудностей, необходимость вырвать у пустыни воду, уголь, нефть и фосфориты говорят в пользу постройки комбината в Кара-Бугазе. Комбинат нанесет пустыне смертельный удар. Добыча воды, нефти, разработка угля создадут вокруг комбината оазисы, откуда начнется планомерный поход на пески. Оазисы будут расти, пески отступать, и край, потерявший воду, отнимет ее у пустыни обратно. А при наличии воды эту землю, залитую солнцем, можно довести до неслыханного расцвета.

Пока гидрографы ищут воду в песках Умчалла, в горах Большие Балханы, в оврагах Карын-Ярык, в урочище Бек-Таш и в древних документах, настоящую воду привозят в трюмах пароходов из Баку.

Трест переделал трюмы двух хороших пароходов Каспийского пароходства под перевозку воды. Но пароходство боится залива, как скорпион огня, и посылает эти пароходы в другие рейсы, а воду возит в пахнущих керосином трюмах «Фрунзе» и «Дзержинского». Каспару ничего не стоит оставить весь Бара-Бугаз без воды. Бывали случаи, когда по вине Каспара водяной паек рабочим треста приходилось срезать с двух ведер в день до четверти ведра.

«Фрунзе» и «Дзержинский» — изумительные пароходы, сами не знающие, куда и когда они ходят.

Я дожидался «Фрунзе» в Красноводске десять дней, чтобы ехать на нем в Кара-Бугаз. Он же бродил в это время около Гасан-Кули, и никто в мире не мог сказать, когда появится в красноводских водах этот летучий голландец.

Капитан порта уныло сочувствовал мне. В конце концов в управлении порта я стал своим человеком.

Я даже подозреваю, что мое отсутствие ощущалось сотрудниками управления примерно так, как отсутствие

сторожа-туркмена, сидевшего на пороге управления уже десять лет. Ко мне привыкли. Меня называли по имени и отчеству. Я был в курсе всех портовых новостей и тщательно изучил доску с грозной вывеской: «Предостережения мореплавателям». Там вывешивались бюллетени о погоде.

Я пришел к твердому выводу, в дальнейшем подтвержденному на опыте, что на Каспийском море бывает всего три штилевых дня в году.

Наконец ночью меня радостно разбудили: «Фрунзе» пришел. Я бросился на пристань, но ленивый вахтенный сказал мне, что еще неизвестно, пойдут ли они в Кара-Бугаз. Может быть, придется идти в Баку чистить котлы. К утру выяснилось, что «Фрунзе» идет именно в Баку.

Снова я ходил в управление порта, но с той лишь разницей, что вместо «Фрунзе» я ждал «Полторацк», затерявшийся у тех же загадочных гасан-кулийских берегов. Капитан порта, вздыхая, предупреждал меня, что «Полторацк» тоже может переменить курс и мне лучше всего поехать в Баку и ждать там, ибо в Баку ждать веселее.

Снова я изучал штормовые предупреждения и говорил за дежурного по телефону, когда тот отлучался. От этого телефона у меня две недели болела рука. Его приходилось вертеть, как шарманку, то правой рукой, то левой, когда правая уставала, и не раньше чем через полчаса сердитая телефонистка кричала в трубку:

— Чего вы звоните, как на пожар? Повесьте трубку.

Так пароходство обслуживало Кара-Бугаз. В 1930 году оно ввело в залив пароход «Ян» — базу для землечерпалки. «Ян» сел на мель, и снять его не удалось. Он простоял на мели семь месяцев, и его разъело водой, как решето. Дыры в бортах заливали цементом, но вода тотчас же проедала их снова. Ржавчина отваливалась от парохода кусками.

Кара-Бугазская вода не разъедает только алюминий. Железные суда могут спастись лишь непрерывным движением. Более или менее длительная стоянка тотчас же приводит к разрушению корпуса.

Пароходство прислало комиссию капитанов осмотреть знаменитый бар — бич Кара-Бугаза. Летом 1931 года бар обмелел настолько, что через него не могли проходить даже моторные лодки. Капитаны предложили бар прорыть, но против этого запротестовали химики. Бар, по их словам,

является естественным регулятором притока каспийской воды в залив. Химики утверждали, что углубление бара неизбежно вызовет изменение притока воды, тем самым будет нарушен режим Кара-Бугаза, а это, в свою очередь, может неблагоприятно отразиться на садке мирабилита. Тогда моряки предложили построить канал и шлюз для прохода судов в Кара-Бугаз, минуя бар.

Для решения вопроса о баре при Академии наук была создана особая комиссия. Она решила, что углубление бара не вызовет перемену свойств кара-бугазской воды, ибо эти свойства вызываются не только притоком воды из моря, но и влиянием грунтовых вод, почвы, окружающей залив, химических процессов, происходящих в этой почве, температуры воздуха и ряда других обстоятельств.

Ранней весной 1931 года в Москве заседала конференция по Кара-Бугазу.

Глухие туманы лежали над городом. Сквозь туманы моросил ледяной дождь. В измороси и серости московского дня на трибуну выходили люди, опаленные кара-кумским солнцем, и говорили о необыкновенном заливе, бушующем и дымящемся в жестоких сарматских ярусах Усть-Урта. Сотни фотографий были разбросаны по столам. Казалось, фотографические аппараты хватил солнечный удар — таким меловым блеском пылали на снимках пески, небо, соль, залив.

Конференция по Кара-Бугазу была строго научной, производственной, но со стороны напоминала заседание штаба, готовившего поход на пустыню, объявившего непримиримую войну грубым и нетерпимым ошибкам природы.

Разрозненные записи этой конференции я возил с собой всюду. Они покрылись коричневой пылью Эмбы, солью Кара-Бугаза, заржавели, стерлись, и теперь в кают-компании старого парохода я старался разобрать их, чтобы переписать наново. Пароход шел рывками, будто кто-то дергал его сзади за красный погнутый руль. Писать было трудно. Официант покосился на меня и сказал вполголоса уборщице:

— Калькулятор!

«Промышленное освоение Кара-Бугаза,— писал я,— создание на востоке Каспия нового мощного индустриального центра в значительной мере повлияет на весь хозяй-

ственный уклад, на всю жизнь Туркмении. Девять десятых ее территории похоронено под песками Кара-Кума. Мы осуществим на деле лозунг партии об индустриализации окраин».

«Кара-Бугазский залив представляет собой море белого золота».

На этом моя работа над записями окончилась. Официант начал в сердцах гасить лампочки и с треском захлопывать тяжелые окна. Мне пришлось собрать свои записи и уйти.

Наш пароход привозил в Кара-Бугаз пресную шолларскую воду [1] и до сих пор был весь пропитан свежим запахом этой воды. Казалось, что пароход плывет не по морю, а по прозрачному пресному озеру и по звездам.

Обычная ослепительная ночь дымилась со всех румбов. Тепличный ветер долетал от берегов Персии, как из открытого на ночь окна цветочного магазина. Он приносил запах растертых пальцами листьев ореха, тяжелой листвы и сырых песков.

За кормой глухо гудел светящийся след от винта и терялся в полночной тьме. Там закатывались в остывающих песках громадные звезды. Свет их был на востоке ярче, чем на западе. Сухость пустыни сообщала ему напряженную резкость. На западе звезды мигали во влажном воздухе, в испарениях, и в них, как в стеклянных сосудах, переливалась сверкающая жидкость.

Со мной ехали Прокофьев, девушка-химичка из Москвы и женщина-инженер, седая и усталая, похожая больше на врача.

Девушка тревожно ходила по палубе. Морской ветер шевелил ее платье и успокоительно похлопывал кормовым флагом.

Нижняя палуба бросала на воду тусклые полосы света. Там звенели чайники, лился кипяток, смеялись дети. Там был крепкий сухопутный мир. Там люди чувствовали себя на пароходе, как в поезде. Они не прислушивались к глубокому молчанию штиля, плавно несшего пароход на запад, к берегам Европы.

---

[1] Ш о л л а р с к а я в о д а.— Баку снабжается водой из Шолларских источников в горах. *(Примеч. автора.)*

Качки не было, но море дышало, то подымая, то чуть-чуть опуская тяжелый пароходный корпус.

— Вот мы и объехали весь этот край,— сказал мне Прокофьев.— Мы видели пески, бесплодную землю, пили соленую воду, узнали, что такое Кара-Бугаз. Все это так. Но достаточно ли у нас воображения, чтобы представить себе будущее этих земель? Интересно проверить. Спросим об этом наших спутниц.

Девушка-химичка ответила не задумываясь:

— Будет жарко, шумно и весело, как в Баку в праздничный день. Мне очень нравятся каспийские пароходы. Они удачно выкрашены в желтый цвет. Масса желтых пароходов будет дымить в двух новых портах, где их будут строить,— ну да, в Бек-Таше и Карши. Хоробрых получит первую премию на будущей сельскохозяйственной выставке за самые душистые и сочные в мире кара-бугазские дыни. Ветряные двигатели начнут высасывать из залива густую воду и наполнять бассейны. Академик Иоффе поставит первые солнечные машины, а мы с вами по вечерам будем ходить в порт и пить под акациями вкусную воду со льдом и апельсинным сиропом. С Казанского вокзала начнут отходить поезда с табличками «Москва — Кара-Бугаз, через Ташкент — Красноводск». В заливе откроют курорт, потому что нет во всем Союзе лучшего купанья, чем там. Хватит с вас и этого.

Женщина-инженер думала о другом.

— Вы знаете,— промолвила она,— я выросла на Востоке. В Кара-Бугаз я приехала, когда в кибитке начальника треста застучала первая пишущая машинка. С тех пор прошло два года, но уже сейчас залив не узнать. И вот я думаю, что такие вещи, как будущий комбинат, ударят по старому Востоку, по исламу, по всей этой окаменелой жизни, как гром. Комбинат научит грамоте, выправит мозги, вскроет и уничтожит весь ужас кочевого состояния. Была у кочевников песня, где говорилось: «Кочевник проходит через жизнь, как пыль. Никто не хочет знать его имени, никто не знает, сколько весит его горе». Вот со всем этим будет покончено.

Прокофьев молчал.

— Вы что ж, не можете ничего придумать? — спросила его химичка.

— Нет,— ответил Прокофьев.— Придумывать не надо, так как действительность превзойдет все мои выдумки и

мне самому станет стыдно. Я не обладаю фантазией. Я думаю вот о чем. Вы знаете, что существует некий страшный закон энтропии. Он говорит, что никакая энергия на земном шаре не исчезает, за исключением тепловой, но всякая энергия превращается в эту тепловую. Земля непрерывно теряет тепловую энергию в результате лучеиспускания в мировое пространство. Английский физик Томсон, открывший этот закон, заканчивает свою книгу о нем очень мрачными словами. Происходит, говорит он, неудержимое рассеяние энергии и спустя некоторое, правда, очень долгое, время на Земле наступит мертвый покой и она обратится в вечное кладбище.

— Так вот, Кара-Бугаз и все эти проклятые людьми пустыни убьют закон энтропии. Земля бесцельно отдает свою тепловую энергию в мировое пространство, вот туда,— Прокофьев махнул рукой на юг, где вселенная дымилась и разгоралась звездным жаром,— а пустыни — Кара-Кум, Кара-Бугаз — мы должны сделать первыми резервуарами, улавливающими энергию солнца, как раз ту энергию, которую мы получаем из мирового пространства. Мы уравновесим потерю. Это дерзкий вызов космическим законам, особенно в глазах непросвещенных людей. Здесь мы будем высасывать солнечную энергию, сгущать ее, превращать в электричество, в тепло, в свет, в какую угодно иную энергию, и этот край расцветет так, как, может быть, никогда не цвели самые пышные сады.

Одолевать пустыню тяжело, особенно когда человек думает, что он одолевает ее ради своего месячного оклада. Необходимо понять, что ваша работа в пустыне — дело славы, дело высокого племени новых людей,— а это ведь и на самом деле так,— и тяжесть с вас слетит, как пот после купанья в море. Отсюда вывод: никогда не упускайте из виду далеких горизонтов. Помните, что скулят только близорукие. Давайте волю своему воображению. Сила его необычайна. Воспитайте в себе чувство времени и чувство будущего. Овладеть этими двумя ценностями — это уже страшно много...

Мы легли спать в каюте, наполненной ветром и свежестью моря.

Видения городов из сверкающего радугами стекла преследовали меня всю ночь. Города эти подымались из морей и отражались в зеркалах заливов нагромождениями хрусталя и теплых неподвижных огней. Летние рассветы

разгорались над ними. Рассветы пахли растертыми в ладонях листьями ореха, густой листвой, шолларскими водами, мангышлакской полынью.

Я проснулся. Прокофьев спорил с женщиной-инженером о свойствах стекла из кара-бугазского сульфата. Я вышел на палубу. Мы огибали Апшеронский маяк. Над Баку лежала свежая тишина ночи, а на востоке, над Кара-Бугазом, сметая звезды, стремительно раскрывала небо высокая морская голубизна,— над пустынями Хорезма подымался один из бесчисленных прекрасных дней.

1932



ПОВЕСТЬ

ДИКАЯ КОШКА

Кто убьет кошку, тот подлежит смерти.

Древний мингрельский закон

Ветер швырнул в окна духана горсть пыли и сухих розовых лепестков. Нервно перебирая зелеными листьями, заволновались пальмы; их шум был похож на скрежет. Дым из труб мчался вдоль плоских улиц Поти, смывая запах отцветающих мандаринов. Лягушки на городской площади перестали кричать.

— Будет дождь,— сказал молодой инженер Габуния.

Он с досадой посмотрел за окно. На стекле проступала замазанная мелом надпись: «Найдешь чем закусить».

Дождь медленно надвигался с моря. Он лежал над водой, как тяжелый дым. В дыму белыми клочьями метались и визжали чайки.

— Двести сорок дней в году здесь лупит непрерывный дождь,— добавил Габуния.

— Пламенная Колхида! — пробормотал Лапшин.— Один ученый высчитал, что на землю ежегодно выпадает девяносто кубических километров дождя. По-моему, все эти дожди выливаются здесь.

Эти слова не произвели на Габунию никакого впечатления.

Хозяин духана, толстый гуриец, задыхался от астмы. Он был равнодушен ко всему на свете — к обедавшим инженерам, к старику с посохом, Артему Коркия, понуро сидевшему за пустым столиком, к бродячему самоучке-художнику Бечо и даже к приближавшемуся ливню. Он томился от духоты и хмурых мыслей, сгонял мух со

стаканов, липких от вина, и изредка пощелкивал на счетах.

Бечо рисовал масляными красками на стене духана необыкновенную картину. Сюжет картины ему подсказал Габуния. Она изображала Колхиду в будущем, когда вместо обширных теплых болот эта земля зацветет садами апельсинов. Золотые плоды, похожие на электрические лампочки, горели в черной листве. Розовые горы дымились, как пожарище. Белые пароходы проплывали среди пышных лотосов и лодок с нарядными женщинами. В садах пировали мингрелы в галифе и войлочных шляпах, и ко всему этому детскому пейзажу простирал руки старик в черкеске, с длинными вьющимися волосами и лицом Леонардо да Винчи.

— Где он взял портрет Леонардо? — спросил Лапшин.

Габуния покраснел:

— Я ему дал. Пусть рисует.

Лапшин пожал плечами.

Тяжелые капли медленно ударяли по тротуару. Духан начал наполняться людьми, спасавшимися от дождя. Они смущенно здоровались с хозяином, так как ничего не могли заказать. Потом каждый внимательно рассматривал работу Бечо.

Гул восхищения перебегал от столика к столику. Люди щелкали языками и удивлялись мастерству этого кроткого человека.

Хозяин, внимая общему восторгу, сердито нашвырял на тарелку кукурузной каши и жареной рыбы, налил стакан терпкого вина и подал Бечо. Это была ежедневная плата ему за работу.

Бечо сполоснул руки вином, съел рыбу, закрыл глаза и вздохнул. Он отдыхал. Он слушал шепот похвал и думал, что хотя духан и кооперативный, но хозяин явно обманывает его и кормит хуже, чем было условлено.

Шум дождя начал заглушать говор посетителей духана. Вода пела в водосточных трубах и с шипением хлестала в закрытые окна. Капли торопливо выстукивали дощатые стены и вывески, будто тысячи маленьких жестянщиков и плотников затеяли веселое соревнование.

Дул юго-западный ветер. Он гнал тучи, как отару серых овец, прижимал их к стене Гурийских гор.

Постепенно к плеску, стуку, шороху, бульканью — ко

всем легкомысленным звукам воды присоединились тяжелый гул людских голосов и гортанные выкрики.

Посетители духана бросились к окнам. Мокрая толпа валила по мостовой. Впереди бежали мальчишки. За ними шел высокий мрачный человек с ружьем, закинутым за плечо. Глаза его дико сверкали. Он гордо нес за хвост черного мохнатого зверя. С морды зверя падали капли дождя и крови.

Из соседней парикмахерской выскочил маленький старик с намыленным лицом. Мыло стекало на его серую черкеску. Он пощупал зверя и отшатнулся.

— Рамбавия! — крикнул он.— Ты застрелил дикого кота, кацо!

Толпа зашумела. Охотник вошел в духан. Он швырнул мокрого, скользкого зверя хозяину. Звякнули стаканы. Гул от удара тяжелой туши о прилавок потряс воздух.

В духане стало тесно. Люди кричали с таким азартом, будто дело шло о жизни и смерти.

Владелец зверя вытер ладонью мокрое лицо и предложил хозяину глухим и грозным голосом:

— Купи шкуру, заведующий.

Толпа стихла. Нельзя было пропустить ни одного слова из этого необыкновенного торга. Дело шло о шкуре дикого кота, быть может последнего дикого кота, застреленного в болотистых лесах Колхиды.

Хозяин духана смотрел на зверя желтыми глазами и молчал. Девушка с курицей под мышкой и букетом роз в руке влезла на стул и заглядывала на прилавок. Курица перестала выклевывать лепестки роз, закудахтала и всплеснула крыльями. Тогда старик Артем Коркия закричал, потрясая над головой посохом:

— Проклятие на твою голову, кацо! Ты убил кошку. В старые времена за это наказывали смертью.

— Я извиняюсь,— владелец зверя хмуро посмотрел на Коркию,— я извиняюсь перед старым человеком, но это не кошка.

Толпа ахнула. Только сейчас она увидела, что это вправду не дикий кот. На прилавке лежал мохнатый зверь, похожий на громадную крысу.

— Так что же это такое, если не кошка? — растерянно спросил Коркия.

— Не горячись, ради бога! — крикнул владелец зверя с глухой яростью.— Смотри глазами!

Габуния и Лапшин протискались к прилавку. Зверь был странный. На его сильных лапах желтели плавательные перепонки. Длинный голый хвост свисал почти до земли.

Толпа недоумевала. Все смотрели на хозяина духана и ждали. Но хозяин задыхался и сердито молчал.

В это время появился аспирант Института пушнины Вано Ахметели. Он легко шел через толпу, как через пустую площадь, отстраняя зевак. За ним спешил маленький милиционер Гриша с роговым свистком в руке.

Вано подошел к прилавку и поднял зверя за хвост. Гриша засвистел, расставил руки и начал пятиться, оттесняя толпу. Он кричал на упрямых и издевался над человеческим любопытством:

— Ай, умрешь, когда не увидишь? Какой любопытный! Смех душит смотреть на таких глупых людей!

— Где убил? — спросил Вано охотника и сжал густые брови.

— На Турецком канале.

— Как тебя зовут?

— Гулия.

— Ну что ж, Гулия,— тихо сказал Вано,— ты убил запрещенного зверя. Две недели посидишь.

Гулия сердито высморкался. Потом он страшно посмотрел на Вано и пробормотал:

— Крысиный сторож! Убью лягушку, ты тоже меня арестуешь?

— Не волнуйся, кацо. На суде тебе дадут слово... Гриша, сходи с ним в милицию.

Толпа повалила за Гришей и Гулией. Охотник был взбешен. Он снова нес зверя за хвост, но уже без прежней гордости. Зверь стучал головой о мокрые плиты тротуара.

Дождь затихал. Он сыпался мелкой пылью.

В духане остались Габуния, Вано и Лапшин.

— Что это за животное? — спросил Лапшин.

Вано притворно удивился:

— Неужели не знаете? Аргентинский зверь нутрия с реки Рио-Негро.

— Простите мое невежество,— ответил язвительно Лапшин,— но я не зоолог, а ботаник.

— Вы специалист по влажным субтропикам. Должны бы, кажется, знать.

Габуния постарался замять разговор, готовый перейти в ссору. Каждая встреча Вано с Лапшиным кончалась колкостями. Вано не любил молодого ботаника за его американские костюмы из мохнатой розовой шерсти и изысканные манеры. Вано казалось, что ботаник смотрит на советские дела свысока, как знатный иностранец.

Габуния краснел от всяких резких выходок. Он был застенчив, высок. Малярия покрыла желтым налетом белки его всегда улыбающихся глаз.

— Нутрия,— сказал он, смешавшись,— самый драчливый зверь в мире.

Эта новость была встречена равнодушно. Вано с горечью посмотрел на Габунию:

— Когда ты высушишь болота и сделаешь из Колхиды вот эти замечательные сады, что рисует Бечо, нутрия погибнет. Ты главный убийца нутрий. Им нужны джунгли, а не лимонные сады. Конечно, жаль...

Все посмотрели на картину Бечо. Дождь стих. Солнечный свет прошел через листву магнолий и превратился в зеленоватый сумрак. В этом мягком освещении картина Бечо показалась Габунии совсем новой. Хотелось потрогать пальцем тяжелые апельсины.

— Чего жаль? — спросил рассеянно Габуния.

— Работы,— ответил Вано.— Два года я ухлопал на этих проклятых зверей. Я заведующий их размножением. Мне жалко напрасной работы и джунглей,— повторил Вано.— Твои экскаваторы разогнали диких кабанов. Даже шакалы удирают в горы.

— Ну и черт с ними!

Лапшин ушел. Ему хотелось расспросить Вано, как попала нутрия из Аргентины в эти места, но он сдержался.

Весь окружающий мир был ему неприятен. Ему не нравилась эта плоская болотистая страна с пышным названием, не нравились затяжные теплые дожди, мутные реки, мчавшиеся в море со скоростью курьерских поездов, деревянные дома на сваях, наконец, духаны, где подавали теплое вино с привкусом касторки.

Снова начал накрапывать дождь. Солнце исчезло. И, как всегда во время дождя, город наполняли запахи настолько резкие, что их можно было воспринимать на ощупь. То были мягкие запахи эвкалиптов, липнущий к лицу запах роз, стягивающий кончики пальцев запах лимонов. Но все эти запахи существовали только до первого

порыва ветра. Стоило ему прошуметь по садам, перевернуть листья и махнуть пылью по улицам, как все менялось. Вместо сладких испарений, вызывающих лень и головную боль, город продувало едким морским сквозняком.

Габуния любил ветры. Ему казалось, что они выдувают из его тела малярийную слабость.

— Когда будут судить этого человека? — спросил Габуния.

— Дня через два.

Габуния попрощался с Вано и вышел на улицу. Рион ревел, сотрясая мосты, и катил в море жидкую глину. Габуния медленно, походкой малярика, пошел к порту.

Он думал о том, что собственная мягкость ставит его в ложное положение. Он избегал разговоров с Вано. Его не оставляло ничем не оправданное чувство вины перед Вано за то, что он, Габуния, осушает колхидские болота, проводит каналы, выкорчевывает девственные леса и сжигает джунгли, где живет нутрия.

Зверя этого привезли с большим трудом из Аргентины и выпустили размножаться в колхидских болотах. Вано два лета сряду следил за размножением нутрии и рассказывал чудеса о ее драгоценном мехе.

Нутрия плодилась быстро, но никто ее не видел, кроме Вано и редких мингрелов-охотников. Они рассказывали о страшной драчливости этих зверей. Нутрии дерутся сутками, и всегда насмерть. Они очень пугливые и не подпускают человека даже на сто шагов, но во время драки приходят в такую ярость, что к ним можно смело подойти и растащить дерущихся за хвосты. Драка всегда начинается с одного и того же сильного приема: нутрии вцепляются друг другу в пасть и стараются выломать зубы. Нутрия, нырнув, может просидеть под водой минут пять без воздуха.

Габуния не понимал, как только Вано может возиться с этим отвратительным зверем.

Вано, изучая нутрию, целые месяцы проводил в болотах. Постепенно он стал певцом колхидских джунглей — душных лесов, перевитых лианами, гнилых озер, всей этой запущенной, разлагающейся на корню малярийной растительности.

Вано называл леса Колхиды тропическими, хотя, кроме северной ольхи и рододендронов, в них почти не было других деревьев. Здесь было странное смешение севера и

юга. Ольха в Колхиде росла со сказочной быстротой. На свежей порубке в три года вырастал непроходимый лес.

Габуния чувствовал, что Вано втайне враждебен громадным осушительным работам, начатым в Колхиде. Вано откровенно радовался тому, что работы идут медленно из-за малярии, наводнений, дождей и тонущих в болотах экскаваторов.

Габуния знал, что рано или поздно придется дать Вано бой по всему фронту. Но все же иногда ему было жаль Вано: экскаваторы шаг за шагом врезались в легендарные земли Вано, рвали лианы, вычерпывали озера вместе со смуглыми, золотыми сазанами, гнали к морю кабанов и нутрию и оставляли за собой глубокие рвы, горы липкой глины и кучи гнилых пней.

Леса Колхиды стояли по колено в воде. Корни деревьев плохо держались в илистой почве. Несколько рабочих легко валили дерево, обвязав его цепью. Это считалось безопасной работой. Деревья никогда не падали. Они повисали на колючих лианах толщиной в человеческую руку. Леса густо заросли облепихой и ломоносом, ежевикой и папоротником.

Сила растительности была потрясающей. Ломонос вползал на деревья и переламывал их, как траву. Кусты ежевики подымались на глазах. За лето они вырастали на два метра.

Трава в этих лесах не росла. В них было темно, душно и почти не было птиц. Птиц заменяли летучие мыши. Леса стояли непроходимые и мертвые в тумане теплых дождей.

Когда дул ветер, леса внезапно меняли темный цвет и становились точно ртутными. Ветер переворачивал листву ольхи, снизу она была серой.

Дни, месяцы и годы леса шумели и качались волнами тусклого серебра, и Габуния прекрасно понимал досаду Вано. Иногда и ему было жаль этих лесов.

Начальник осушительных работ в Колхиде инженер Кахиани смотрел на вещи гораздо проще. Он не замечал ни лесов, ни озер, заросших кувшинкой, ни бесчисленных рек, пробиравшихся в зеленых туннелях листвы. Все это подлежало уничтожению и ощущалось им как помеха.

Кахиани считал Вано глупым юнцом. В ответ на горячие речи в защиту джунглей и нутрии Кахиани небрежно отмахивался и крякал. Гримаса горечи никогда не сходила

с его лица. Говорили, что эта гримаса появилась у него от злоупотребления хиной: Кахиани не спеша разжевывал хинные таблетки и глотал их, не запивая.

Сожаление о прошлом, о девственных лесах было ему органически чуждо. Он считал, что природа, предоставленная самой себе, неизбежно измельчает и выродится. Со скукой в глазах он доказывал это ссылками на работы видных ученых.

Габунию начальник работ считал способным, но слишком мечтательным инженером. Он называл его «романтиком инженерии» и сердился, когда находил в комнате Габунии книгу стихов Маяковского или Блока.

— Самая классическая литература,— говорил Кахиани,— это математика. Все остальное — тарарам!

Единственным человеком, который сочувствовал Вано, был старый инженер Пахомов, автор грандиозных проектов осушения колхидских болот. Сидя над синими чертежами, он изредка вздыхал:

— Я рад, что не доживу до конца работ. Искренне рад! Все-таки, знаете, жалко уничтожать природу.

И тут же прокладывал на кальке сеть каналов через только что оплаканные девственные леса и стучал карандашом по столу:

— Еще две тысячи гектаров выкроим под цитрусы! Недурно!

Старик был чудаковат. Это он подговорил Бечо пририсовать к пейзажу в духане фигуру Леонардо.

— Как же ты, друг, рисуешь будущую Колхиду и без такого мелиоратора, как Леонардо да Винчи? — упрекнул он Бечо.

Бечо с недоверием посмотрел на Пахомова:

— Так он же был художник!

— Художник — дело десятое. Художник он замечательный, но и мелиоратор не худший.

После этого Бечо выпросил у Габунии портрет гениального итальянца.

С именем Пахомова было связано таинственное слово «кольматаж». О нем, об этом способе осушки болот, говорили, как о полете на Марс или превращении Сахары в море. Он был действительно почти фантастичен. Но о нем речь будет позже.

Габуния, приехавший на два дня в город из чаладидских лесов, где он руководил постройкой главного канала,

бродил по порту в поисках капитана Чопа, смотрителя порта. С ним надо было сговориться о матросах для землечерпалки, работавшей на канале.

Габуния часто приезжал в Поти, но каждый раз город и порт производили на него впечатление необыкновенности. Так было и теперь.

В порту Габунию застал вечер.

Пристани пахли сухими крабами и тиной. Сигнальные огни лежали низко над взволнованной водой. Заунывно и тяжело пел у массивов прибой. Так поют сонные матери, укачивая детей.

В стороне города опять сгрудились тучи, освещенные мрачным отблеском уличных огней. Лягушки надрывались в болотах.

Габуния обошел железный пакгауз, вышел на широкую пристань и остановился. В порт входил теплоход «Абхазия». Он шел из Батума. Синеватые звезды сжимались и разжимались в воде около его бортов и переплетались с отражениями белых пароходных огней. Теплоход походил на хрусталь, освещенный изнутри.

Он дал мягкий и гневный гудок. Гудок ударил в низкое облачное небо и разошелся вдаль, как медленные круги по воде. В чаладидских лесах печально откликнулось эхо, потом вернулось повторное, едва слышное эхо из Гурийских гор.

Теплоход грузно поворачивался черной матовой тушей, заполняя порт криками, шумом льющейся воды, детским смехом и грохотом лебедок.

Старые рыболовы с сердцем сматывали удочки, плевались и кричали, что чертовы теплоходы не дают им жить.

«БЕЛЫЕ ВОЛОСЫ»

Молодая женщина с девочкой лет семи сошла с парохода поздней ночью. Пароход был товаро-пассажирский. За сотню шагов от него несло застарелым запахом кожи и нефти. Он привалился к пристани, погасил огни и затих.

Женщина остановилась около своих чемоданов и, наморщив лоб, оглянулась. Никого не было. Редкие пассажиры — мингрелы — легкой, танцующей походкой ушли в темноту, где, очевидно, находился город.

Со всех сторон плескалась вода и гудело равнодушное море.

— Как попасть в город? — спросила женщина наугад в темноту, но ей никто не ответил.

Девочка сидела на чемодане и испуганно смотрела на мать.

Десятилетний чистильщик сапог Христофор Христофориди шел по темному порту. Он нес бамбуковые удочки и тащил заодно ящик с ваксой.

Христофориди был отчаянным рыболовом. Он выходил на ловлю ночью, чтобы захватить место у мигалки, где лучше всего ловилась ставрида. Он дрожал от сырости, губы сводило от холода — к утру Христофориди терял дар речи,— но все эти страдания он переносил с великолепным мужеством.

Христофориди торопился. К восьми часам утра надо было кончать ловлю и обходить квартиры портовых служащих — капитана Чопа, кассира, лоцмана — и начищать все ботинки. Для ловли оставалось каких-нибудь три часа. После чистки ботинок на дому Христофориди садился в порту у остановки автобуса и начищал за день рубля на два. Место было пустынное и невыгодное. Христофориди выбрал его из непреодолимой склонности к морю и рыбной ловле.

Христофориди спешил, но все же, проходя мимо маленького дома, где жил Чоп, остановился и заглянул в освещенное открытое окно. Дом стоял в начале мола, в самой пустынной части порта. Во время штормов брызги залетали в капитанские комнаты.

Христофориди увидел за окном трех людей. Они густо дымили папиросами и, несмотря на позднее время, собирались пить чай. Христофориди узнал Чопа, инженера Габунию и английского долговязого матроса, по прозвищу «Сема».

Сема отстал от своего парохода и болтался без дела в Поти. На вопрос, кто он, Сема отвечал по-английски «симэн», что значит «моряк». Чоп прозвал его Семеном, а мальчишки перекрестили в Сему.

— Кто там шлендает под окнами? — крикнул Чоп ужасающим голосом.

Христофориди шарахнулся в сторону и, когда отбежал от окна на безопасное расстояние, показал дому кулак. Чопа он не боялся, но все же ожидал неприятностей: Чоп

не любил, когда рыболовы шлялись по ночам в порту. Потом Христофориди услышал детский плач и голос женщины.

— Не плачь, Елочка,— говорил голос,— мы сейчас кого-нибудь найдем.

Христофориди подошел ближе. Как человек шустрый, он сразу сообразил, что женщина нездешняя, что она приехала с ночным пароходом, что автобус в город начнет ходить только через четыре часа, а извозчиков ночью нет.

Христофориди решил заговорить с женщиной. Ему было жалко девочку. Не зная, с чего начать разговор, Христофориди сказал:

— Давай почистим!

— Что ты, мальчик! — засмеялась женщина.— Кто же чистит ночью?

Так завязался разговор. Женщина обрадовалась. Что могло быть лучше, чем встретить ночью в чужом, безлюдном порту чистильщика сапог и к тому же рыболова! Рыбная ловля развивает добродушие и болтливость, а чистка сапог дает мастерам этого ремесла множество практических знаний. В городах, богатых чистильщиками сапог, справочным бюро нечего делать.

Ко всем ценным свойствам рыболова и чистильщика сапог Христофориди присоединял энтузиазм. Безвыходное положение женщины вызвало в его голове поток вдохновенных идей. Как помочь? До города, где есть гостиница «Черное море», три километра. Вещи все равно не дотащишь.

Но раздумье продолжалось недолго: уже накрапывал обычный в Поти предрассветный дождь.

— Подождите здесь, я сейчас! — сказал Христофориди и скрылся, оставив у ног женщины ящик с ваксой и удочки.

Он бегом бросился к дому Чопа. Задыхаясь от сознания необыкновенности всего происходящего, Христофориди рассказал капитану о беспризорной женщине. Чоп пробормотал, что у него не зал ожидания для пассажиров, потом медленно поднялся и грозно посмотрел на Христофориди:

— Пусть посидит у меня до утра. Я все равно ночью дежурю. Веди, Семафор Семафориди.

Христофориди повел капитана и Габунию на пристань.

Всю дорогу Габуния спорил с капитаном. Габуния хотел уйти, но капитан его не пускал.

— Я с чудачками обращаться не учился,— бубнил он и требовал, чтобы Габуния остался у него до утра.

В конце концов Габуния согласился.

Женщина растерялась. Двое мужчин забрали ее чемоданы и повели куда-то к молу, где все громче и настойчивее грохотало море. Христофориди шел сзади и насвистывал от удовольствия. Он решил проследить за событиями до конца. Разговаривали мало: ветер с моря и скрип гравия заглушали голоса.

Женщина шла как во сне. Ей казалось, что она еще на пароходе. Земля покачивалась и волновалась от шума акаций и ветра.

Как во сне, она вошла в маленький белый дом, где медные барометры согласно показывали на «переменно», а под потолком висела модель белого клипера с позолоченным бугшпритом.

Белобрысый матрос в синем просторном костюме встал навстречу и стиснул до хруста в костях руку ей и девочке. Девочка заплакала.

Матрос присел перед ней на корточки, скорчил гримасу и, похлопывая в ладоши, начал напевать диким голосом нелепый английский фокстрот. Он хотел ее успокоить. Девочка ничего не поняла, но рассмеялась.

Смех разрушил общее смущение. Женщина разговаривала с Габунией. Христофориди, чтобы оправдать свое пребывание в доме капитана, нашел на кухне старые капитанские сапоги и яростно их чистил. Чистил до того, что сапоги почти горели — на них было больно смотреть.

Христофориди чистил и подслушивал. Из разговора женщины с Габунией он узнал, что зовут ее Елена Сергеевна Невская, что она ботаник (Христофориди знал, что значит это слово) и приехала работать на субтропической опытной станции в Поти. Потом уложили спать девочку и сели пить чай.

За чаем Христофориди услышал такие вещи, что у него пропала охота удить рыбу и он просидел до утра. Утром капитан нашел его на кухне. Вокруг Христофориди стояло пять пар дырявых ботинок, как бы покрытых японским лаком. Все эти пять пар капитан давно собирался выбросить на помойку. Сейчас они казались произведениями искусства. Христофориди не жалел потраченной ваксы и тру-

да: ночной разговор стоил десяти банок самого нежного сапожного крема.

Когда женщина сняла плащ и шляпу и села к столу, Чоп, глядя на ее утомленное молодое лицо, добродушно сказал:

— Значит, приехали в нашу благословенную Колхиду. Чудесно! Чем же вы здесь намерены заниматься?

— Я специалистка по чаю, а здесь буду работать над всеми культурами, больше всего над эвкалиптами.

— Эвкалипты — чепуха! — сказал капитан.— Вот чай — это верное дело. Я тоже, можно сказать, специалист по чаю. Перевозил его на своем веку сотни тонн. Вот видите! — Капитан показал на модель корабля под потолком.— Рекомендую: чайный клипер «Бегопия». Последний клипер в мире. Я плавал на нем три года.

Сема радостно замычал. Невская посмотрела на клипер. Габуния заметил, что у нее очень спокойные, усталые глаза и тяжелые волосы каштанового, почти красноватого цвета.

Чоп отличался болтливостью. Он считал, что болтовня — лучший вид отдыха. Он часто говорил многочисленным приятелям:

— Пойдем отдохпем — поболтаем.

Габуния знал, что Чоп не удержится и сейчас. И Чоп действительно пе удержался:

— Вы думаете, старик врет и клипера давно сгпили? Верно, сгнили! Не спорю! Но один клипер, вот эта самая «Бегония», ходил с Цейлопа в Англию до самой войны. Это был чайный клипер, красавец. Перед каждым рейсом мы его покрывали лаком, и он всегда блестел, как мокрый.

Капитаны паршивых, грязных угольщиков злились на нас и подымали сигналы: «Душечка, подбери подол, а то мы тебя замараем!» Нас называли «холуямп чайного клуба». Нас ненавидели во всех портах. Почему? Постойте, дойдем и до этого.

Мы возили чай из Коломбо в Лондон, особый сорт чая, самый страшный, по-моему, сорт. Он назывался «белые волосы». Вы специалистка по чайным делам. Вы меня поймете. Лучшим чаем считается тот, который перенес длительную перевозку. В пути чай в цибиках крепнет, набирает аромат, получает тонкий вкус. Говорят, здесь действуют время, воздух и теплота. Разве зря лучшим у нас в России считался в старые времена «караванный»? Его

везли больше года на караванах из Китая к нам. В дороге третьи сорта превращались в первый. Верно? Вот видите, я тоже в этом деле кое-что маракую...

Сема захрапел, положив голову на стол. Чоп надвинул ему кепку на нос и сказал Габунии:

— Возьми ты его за ради бога к себе на работу. От парохода отстал, в Англию не хочет. Парень хороший, только как будто глуповат. Неразговорчивый тип.

— Возьму. Ты про клипер рассказывай!

— Вот тут-то, в этих свойствах чая, и лежит причина существования нашего клипера. Он принадлежал чайной фирме Лесли. Почти весь чай эта фирма возила на железных пароходах, но должен вам заметить, что чай впитывает запахи, как промокашка чернила. На пароходах он терял аромат. К нему прилипал запах железа, угля, кожи, тухлой воды и крыс, вообще всякой трюмной дряни. Этот чай, пароходный, шел на широкий рынок, а для любителей, для гурманов, чтоб они пропали, чай привозили на деревянном клипере.

Мы не пахли крысами — мы пахли пальмовым деревом и жасмином. Честное слово! Почему жасмином? Потому что в чай для аромата подсыпали цветы жасмина, камелии и лавра. Обоняние у нас было развито, как у капризных женщин. Мы оставляли струю запаха за кормой, и на встречных пароходах кричали: «Фу, дайте отдышаться! опять капитан Фрей потащил в Лондон свою плавучую парикмахерскую!»

Но это не все. По приказу фирмы мы шли на парусах из Коломбо в Лондон не через Суэцкий канал, а вокруг Африки. Мы шли медленно. Все это делалось нарочно, чтобы чай дольше находился в пути. Но зато и драли же за этот чай бешеные деньги. Теперь понятно, за что нас презирали во всех портах.

Мы возили высшие сорта чая, в том числе и сорт «белые волосы». Я, как посмотрю на Габунию, всегда вспоминаю об этом чае. Вовсе не потому, что у тебя седина на висках. Это у тебя от задумчивости, тебе ведь всего тридцать два года.

Как я узнал о происхождении названия «белые волосы»? Вы слушайте, это любопытно.

Однажды на Цейлоне я отстал от парохода, так же вот, как Сема.— Капитан надвинул Семе кепку почти до самого рта.— Что было делать? Есть нечего, денег нет! Пока

вернется «Бегония», я поступил надсмотрщиком на чайные плантации Лесли. Все рабочие были туземцы и больше женщины...

Шум сапожных щеток на кухне затих. Очевидно, Христофориди перестал чистить ботинки, увлекшись капитанским рассказом.

Светало. Над морем зеленело небо, громадное, как океан. Чоп посмотрел за окно.

— Штиль,— сказал он.— Чудесно!.. Да, вот там я узнал, что такое колонии, что такое тропики. С тех пор у меня отвращение к тропикам. Меня тошнит от воспоминания о них.

Просыпаешься на рассвете... Воздух такой, что, кажется, тело молодеет на глазах. Шумят ручьи, на деревьях цветут какие-то чертовы цветы величиной в супную миску, обезьяны качаются на хвостах и поплевывают тебе на голову. Тучность, богатство! От одного запаха станешь поэтом.

Вот так просыпаешься и видишь огромное солнце над тропическими зарослями и слышишь хлопанье стеков, и плач женщин, и лающие голоса английских боссов — надсмотрщиков; смотришь на детей, жующих вонючую оболочку кокосовых орехов, и начинаешь накаляться от бешенства, пока смертельно не разболится голова.

Говорят, тропики — это рай. Кто говорит? Не слушайте дураков! Тропики — это ад, это слезы по ночам, вот что такое тропики! Иной туземец стиснет зубы, посереет, вот так бы, кажется, и двинул босса по черепу, а кулак не сжимается. Это особая болезнь. Называется «резиновый кулак». От пара, лихорадки, дьявольской работы люди слабеют, как выжатые. Я двумя пальцами шутя разжимал кулаки у самых сильных туземцев. Вот что такое тропики!

Так вот, я попал на плантацию, где выращивали сорт чая «белые волосы». Кончики листьев у него действительно беловатые.

Однажды я застал на плантации седую женщину. Она лежала на земле и плакала. В чем дело? Оказывается, у нее заболел муж, а уйти к нему она не может: выгонят или изобьют. Я поднял ее и увидел, что она еще молодая, вот вроде вас. Говорю ей: «Иди, я за тебя отвечаю». Она поцеловала мне руку: «Господин, что они делают с нами, эти хозяева! Не только мы, даже чай седеет от наших му-

чений. Даже чай! Поэтому мы и называем его «белые волосы»...»

Чоп замолчал.

— При чем же тут я, кацо? — спросил Габуния.— Чем этот чай связан со мной?

— А при том, что благодаря тебе я потерял отвращение к тропикам. Вот он,— Чоп повернулся к Невской и показал на Габунию,— создает здесь советские тропики. Я понимаю: те же богатства, та же тучность, но свободно, разумно! За это стоит покрутиться.

Недавно я встретил Пахомова. Он мне и говорит: «Слушайте, Чоп, вы ни черта не понимаете. Ну, ладно, мы осушаем болота и вместо них создаем тропический край, сажаем лимоны, апельсины, чай, рами и все прочее, уничтожаем малярию, разбиваем вдоль берега моря курорты. Но это не главное. Главное — то, что мы создаем новую природу для людей свободного труда. Мы доведем тропики до такого расцвета, какой вашим боссам не снился. Мы здесь покажем такую силу нашей эпохи, о какой вы и не подозреваете». Каков старик? Такими стариками не швыряются!..

Габуния поднялся. В полдень ему надо было возвращаться в Чаладиды на канал.

Утро уже шумело за окнами. Покрикивали грузчики, прогудел автобус, загрохотали пароходные лебедки, и мимо окон, хищно взвизгнув, пролетела чайка.

Невская подняла отяжелевшие веки и слабо улыбнулась. Было видно, что она мучительно борется со сном.

— Вот что, ботаник! — сказал Чоп свирепо.— Пока ваш «Лимонстрой» даст вам комнату, оставайтесь здесь. Что за жизнь с ребенком в гостинице! Комнат у меня две. Одну я уступлю. А к девочке мы пока приставим Христофориди. Его мать с детства лупила и заставляла нянчиться с сестренками.

— Неужели вы серьезно? — спросила Невская.— Я, правда, сильно устала, едва сижу.

— Мы уйдем, а вы располагайтесь. Прошу! — сказал Чоп и покраснел.

Габуния и Чоп ушли, захватив Христофориди. Невская вышла в соседнюю комнату, где спала девочка, и без сил свалилась на диван.

Сема проснулся. Он зевнул, сдвинул кепку на затылок и сказал по-английски:

— Продолжаем жить, леди и джентльмены!

Он оглянулся, никого не увидел, но услышал дыхание спящих. Тогда он пошел на цыпочках в кухню, взял щетку и начал подметать пол. Изредка он жонглировал щеткой, бешено вертел ее, как пароходный винт, и тихо покрикивал:

— Продолжаем жить, леди и джентльмены!

ОХОТНИК ГУЛИЯ

Если человек вступал в джунгли, глушь садилась рядом с ним у костра.

Н. Тихонов

Мрачный охотник Гулия сидел у костра и разговаривал с собакой. У собаки начинался приступ малярии. Она лежала, прикусив кончик языка, смотрела на хозяина желтыми глазами и тряслась от озноба.

Вокруг простирались джунгли. Время шло к вечеру, и особая предвечерняя тишина звенела в ушах у собаки. Ей казалось, что налетают тучи москитов, и она нервно встряхивала ушами.

Непроницаемые тугайные заросли висели в воздухе над глухим озером Нарионали. Сквозь ольху кое-где продирались темный граб и курчавые тутовые деревья. Длинные колючки на пожелтевших лианах были похожи на петушиные шпоры. В густом сумраке у подножия деревьев буйно, как крапива, разрастался удушливый папоротник.

— Я извиняюсь,— сказал Гулия собаке,— но я честный охотник, а не какой-нибудь меньшевик.

Собака слабо вильнула хвостом.

— Будь я самый низкий человек, если не сверну голову этому мальчишке! — добавил зловеще Гулия.— Десять рублей штрафу за поганую американскую крысу! Десять рублей за такую тварь! Он сказал на суде: «Ты занимаешься браком. Ты сделал брак из этого зверя». Он обругал меня нехорошим словом «браконьер». Ва, приятель, что значит брак? «Брак — это охота на запрещенных зверей»,— ответил судья. Я сам знаю, что такое брак. Брак бывает, когда люди нарочно портят вещи. Он сказал, этот

Вано, что меня надо оштрафовать на сто рублей и посадить на две недели.— Гулия плюнул.— Две недели из-за вонючего зверя с голым хвостом! Даже я смеялся на суде. Я смеялся так громко, что судья поднял голову и спросил Гришу-милиционера: «Что с ним? Неужели ты привел на суд пьяного человека?» — «Его душит смех,— ответил Гриша.— Ему кажется, что это не суд, а кабаре».

Гулия встал.

— «Красивый смех, когда ты застрелил дорогого зверя,— сказал судья.— Ты знаешь, сколько он стоит? Сто долларов за штуку, или двести рублей золотом. Я говорю тебе истинную правду, как родной матери. Ты темный человек, Гулия».

«Я извиняюсь,— ответил я.— Я, конечно, еще не научился читать, но я лучший охотник от Супсы до Хопи. Кто из вас пройдет ночью на канал Недоард и живым вернется обратно? Никто! Кто из вас, кроме меня, знает, в каких реках течет черная вода, а в каких красная? Кто из вас застрелит кабана в Хорге или поймает дикого кота и не придет с вырванными глазами? Никто! Гулия пройдет там, где проползет уж и проплывет маленькая рыбка. Подумай, что говоришь!»

И тогда влез в разговор Вано и как кинжалом ударил в мое сердце. «Вижу я,— сказал он,— что ты лучший охотник от Супсы до Хопи для своего кармана, а я хочу сделать из тебя лучшего охотника для Советской власти».

Что я мог сказать мальчишке? «Замолчи, низкий человек!» — крикнул я, вскочил и хотел ударить его, но милиционер схватил меня за грудь и сказал, что на суде не разрешается драться. Хочешь драться — иди на базар!

Все очень кричали и хотели посадить меня на месяц в тюрьму.

Тогда вошел молодой, красивый инженер Габуния, сын старого паровозного машиниста Габунии из Самтреди, и сказал им такую речь...

Гулия замолчал и долго думал, стараясь вспомнить блестящую речь Габунии. Речь эта вилась вокруг его памяти, как назойливый комар, но Гулия никак не мог поймать ее. Он вздохнул и взял ружье:

— Что сказал, то сказал! «Надо иметь сознание,— вот как он сказал...— Я сушу болота, скоро этой крысе негде будет жить, и она подохнет. Так почему же вы судите этого бедного человека, а не меня?» Вот как сказал Габуния,

молодой большевик,— он будет жить до ста лет. «Зачем наказывать,— сказал он,— когда партия говорит, что надо таких исправлять? Дайте мне его. Я из него сделаю пользу». И если бы не Габуния, меня бы судили как вора. Пойдем, кацо!

Собака поднялась и, шатаясь, пошла за Гулией. Гулия вынул из кармана тщательно сложенную бумажку, развернул и посмотрел на свет. Если бы он был грамотный, то прочел бы на ней странные слова:

«Служебная записка. Топографу Абашидзе. Посылаю вам лучшего знатока колхидских болот — охотника Гулию. Он бывал в самых недоступных местах. При составлении карты центрального болотного и лесного массива Гулия может оказать незаменимую помощь. Начальник строительства магистрального канала Габуния».

Гулия спрятал записку за пазуху и пошел в лес. Он шел к развалинам римской крепости. Они были наполовину засосаны болотом и заросли мхом. Около крепости должны были водиться дикие кабаны.

На суде Гулия сказал правду. Никто не знал джунглей так хорошо, как он. Но Гулия не умел рассказывать. Он выслеживал зверя, ночевал у костров, проваливался в трясины и пронзительно свистел на шакалов. Он разучился разговаривать. Самые оживленные беседы он вел только с самим собой и собакой.

Жена Гулии умерла двадцать лет назад. Детей у него не было. При жизни жены, еще до революции, Гулия занимался хозяйством. Как и все, он удобрял землю илом и сажал в болотах кукурузу. Потом, во время разливов, он выезжал на дырявой лодке к своему полю и резал кукурузу, залитую мутной водой, как режут в озерах тростник.

Сухой земли было мало. Из-за клочка земли величиной с небольшую комнату Гулия судился с соседом двенадцать лет.

Жизнь шла медленно и неспокойно. Каждый год ждали новых налогов. Каждый год умирали от лихорадки соседи и издыхали буйволы. Каждый год наводнение заливало глухую деревню холодной водой, мчавшейся с проклятых гор. А к началу революции деревня целиком вымерла от лихорадки. И не она одна. На памяти Гулии вымерло семь деревень.

Двое оставшихся в живых — Гулия и Артем Коркия — привязали к ветхим террасам домов черные тряпки в знак траура и ушли в Поти.

Деревенские собаки разбрелись кто куда. Часть из них одичала в болотах, часть клянчила милостыню на базарах в Поти и Сенаках. Гулия подобрал одну из них, взял напрокат ружье у духанщика и стал охотником.

Он пропадал в болотах, и жизнь проходила мимо него. Люди шли в колхозы, на Рионе строили электрическую станцию, но в болотах было, как всегда, душно, глухо и на десятки километров стояла по рытвинам гнилая вода.

Потом приехали инженеры и рабочие, пришли экскаваторы, и Гулия узнал, что болотам настал конец. На их месте засадят леса лимонов и мандаринов, и новую землю будут называть не Мингрелией, а Колхидой.

Кому не охота посмеяться над невежественным человеком! И Артем Коркия обманул Гулию. «Колхозы,— сказал он,— где работают только женщины и откуда выгоняют мужчин, особенно таких лентяев, как ты, называются колхидами. Здесь будет первая колхида в Советской стране». Гулия поверил и испугался. Как не поверить старику, который в молодости в один присест выпивал бочонок вина!

Когда Гулия узнал, что над ним посмеялись, он хотел пойти к Коркии и обозвать его дураком, но не решился: Коркия был старше Гулии на десять лет.

Гулия брел к крепости и думал: «Куда деваться, когда высушат болота?» Он вспомнил о записке Габунии и решил обязательно застрелить дикого кабана и подарить его молодому инженеру. Обида за обиду и услуга за услугу — к этому сводилась нехитрая философия Гулии.

Второй день он бродил в джунглях. Он видел странные вещи, но не замечал их. Джунгли давно потеряли для него всякую таинственность.

Он видел бешеные мутные реки — Рион, Циву и Хопи. Они неслись к морю по высоким валам, намытым веками. Они текли выше окружающей низины и во время разливов (на одном Рионе их бывало больше ста пятидесяти в год) переливались через берега, затопляли джунгли и превращали страну в тусклое необозримое озеро.

Гулия изредка думал: «Как случилось, что реки текут выше болот, будто по насыпям, сделанным руками человека?» Если бы он и увидел когда-нибудь поперечный профиль страны, вычерченный Габунией, то ничего бы не по-

нял. На этом профиле отчетливо было видно, что главные реки Колхиды протекают по насыпям, а между руслами этих рек, внизу, лежат «тальвеги» — громадные площади земли, куда переливается лишняя вода из Риона и Хопи.

Но разве все реки такие сумасшедшие, как Рион и Хопи? Гулия знал десятки маленьких рек почти без течения, светлых, задумчивых рек, как бы заснувших на месте. Гирлянды зарослей висели над ними. Когда Гулия гнал по этим рекам лодку, то иногда днем бывало темно, как в сумерки: леса смыкались над водой тяжелым шатром. Эти реки собирали воду не с гор, а из джунглей и вяло выносили ее в море.

Инженеры звали эти реки «паразитами» и «маляриками». Паразитами — за то, что они питались чужой водой, переливавшейся в низины из Риона и Хопи, а малярками — потому, что течение этих рек было медлительным, как походка человека, замученного лихорадкой.

Море подпирало теплую воду в болотах. Страна была плоской, как лист бумаги, и не больше, чем лист бумаги, выдавалась над уровнем моря. У тихих рек не хватало силы, чтобы вынести воду в море. Прибой бил им в лицо. Реки медленно поворачивали и долго текли вдоль морского берега, пока находили спокойный залив, где море наконец принимало их воды.

Гулия не любил морских бурь, особенно в дни равноденствия. Тогда море ревело так яростно, что было слышно даже в джунглях. Казалось, оно вот-вот прорвется и покатится серыми валами по ольховым лесам, с треском ломая деревья. Тогда дожди без передышки лились на эту несчастную, промокшую до костей страну.

Бури кончались наводнением. Прибой заносил устья рек горами песка. Тихие реки не могли прорваться в море, останавливались и затопляли страну.

Наводнение продолжалось до тех пор, пока вода не подымалась выше песчаных валов, намытых прибоем, не размывала их и не уходила в море, покрывая его на десятки миль грязью и тиной.

После наводнений страна казалась вымазанной серой мазью. На деревья, лианы и дома налипал слой вязкого ила. Он быстро высыхал и отваливался.

У Гулии были свои мысли о том, как спастись от наводнений. Он знал, что устья рек так густо заросли оль-

хой, что почти останавливалось течение. Надо было вырубить заросли и дать воде свободную дорогу, но об этом никто не догадывался, а Гулия молчал. Его не спрашивали. Его никогда и ни о чем не спрашивали. Глупые люди!

Гулия вздохнул. Только один Габуния в первый раз спросил его на суде, сможет ли он провести через болота партию рабочих. Конечно, сможет! Тогда Габуния написал записку.

Гулия снова вспомнил о суде и покраснел от гнева. Надо свернуть шею этому мальчишке Вано!

Вечер застал Гулию на развалинах римской крепости. Низкие стены, сложенные из громадных камней, ушли глубоко в землю. Они окружали болотце, заросшее ситником и желтыми ирисами.

Гулия развел костер и вытащил из сумки грязный сыр. Летучие мыши пролетали над ним равномерными взмахами, то вперед, то назад. Со стороны казалось, что они качаются на невидимых нитях.

Пес лежал на боку, изредка вскидывал голову и страшно лязгал зубами: он пытался поймать летучих мышей, как назойливых мух.

Начиналась ночь в джунглях — непроглядная ночь, круто засыпанная звездами. Писк комаров затих. В болотах кто-то вздыхал и чавкал. Далеко на востоке небо едва розовело: там догорало последнее солнце на Гурийских горах.

Костер дымил и потрескивал. Пес спал, вздрагивая дряблой кожей. Гулия пел, чтобы веселее проходила ночь. На рассвете надо было идти на кабаний водопой.

Внезапно он перестал петь, медленно взял ружье и толкнул прикладом собаку. Впервые за годы скитаний по джунглям он почувствовал страх. Испарина выступила на его коричневом лице, руки дрожали.

Гулия не спускал глаз с болотца. Там из заросли ириса торчала едва заметная в свете звезд большая человеческая рука.

Пес зарычал. Не соображая, что делает, Гулия приложился и выстрелил. От руки отлетел палец. Пес бросился в болотце. Через минуту он принес палец в зубах и положил его около Гулии. Палец был большой, белый и очень тонкий,— такие пальцы бывают только у женщин. Гулия потрогал палец: он был каменный.

Гулия подошел к руке и долго ее рассматривал. Моло-

дая лиана обвилась вокруг нее, как тугая черная вена. Гулия взял руку и ощутил холод мрамора.

Он присел около руки и начал ковырять ножом землю. Показалось женское лицо с прямым носом и приоткрытым ртом. Гулия зажег спичку. Плесень лежала на тяжелых косах, обвитых вокруг головы каменной женщины.

Гулия намочил в болотце тряпку и долго протирал у статуи голову и плечи.

Стало совсем темно.

Гулия принес головешку из костра и осветил статую. Прекрасное лицо древней богини смотрело на него выпуклыми белыми глазами. Огонь оживлял его. Мраморная женщина улыбалась.

Гулия вскочил и выругался. Он проклинал джунгли, статую, нутрию и Вано Ахметели. Судьба смеялась над ним. Джунгли издевались над старым охотником. Десять рублей штрафу за нутрию, оскорбление на суде от мальчишки, каменная баба вместо кабана!

Черт их знает, что придет в голову этим городским людям! Может быть, они опять будут его судить за отбитый у статуи палец? Скажут, что Гулия снова сделал брак. Что сделал его именно он, Гулия, в этом никто не станет сомневаться. Кроме Гулии, ни один мингрел не решится пройти к развалинам крепости.

Гулия потрогал на руке женщины ясный след от пули и вспотел от злости. Он собрал кучу хвороста и с яростью завалил им статую.

На рассвете пошел дождь. Костер шипел. Едкий дым от сырых веток разъедал глаза.

Гулия встал, плюнул и побрел к Риону. От мокрой войлочной шляпы и шерстяной рубахи пахло псиной. Ноги ломило от сырости.

Кабанов не было. Должно быть, экскаваторы разогнали всех зверей.

Леса молчали. Гулии казалось, что деревья с тревогой оглядываются и смотрят ему в спину. Косой колючий дождь летел, как всегда, со стороны моря. Он бил в лицо и стекал за ворот. Начинался приступ малярии.

Гулия вышел к Риону. Проклятая река продолжала, как и тысячи лет назад, катить в море грязную воду. Гулия напился рионской воды и сплюнул: на зубах трещала земля, вкус у воды был кислый, с оскоминой, и она совсем не утоляла жажду.

Река набухла, неслась в уровень с берегами и как будто волочила за собой маленькие острова. Гулия заметил, что остров, где он ночевал месяц назад, передвинулся вниз по реке шагов на сто.

Гулия стонал от озноба и медленно шел к лодке, спрятанной в кустах.

Он не оглядывался. Только в лодке он обернулся и погрозил джунглям сухим черным кулаком. Он уже не мог ругаться. Синие губы плясали, и вместо слов изо рта вырывались всхлипывания. Тогда Гулия понял, почему деревья оглядывались на него: они с тоской смотрели на последнего охотника, покидавшего джунгли навсегда.

А может быть, деревья вовсе не оглядывались и это был малярийный бред? Не все ли равно! Гулия махнул рукой.

Через два часа топограф Абашидзе наткнулся около своего дома в деревне Чаладидах на охотника, лежавшего в жестоком приступе лихорадки. Тощий пес лизал охотнику щеки. Абашидзе отогнал пса и нагнулся к охотнику. Тот застонал, вытащил из-за пазухи записку и протянул ее Абашидзе.

Абашидзе прочел записку и сказал:

— Ладно, Гулия. Заделаешься топографом. А теперь встань, отлежишься у меня в доме.

Гулия сделал попытку улыбнуться, но вместо улыбки лицо его перекосила гримаса. Он встал и, шатаясь, вошел в дощатый дом, увешанный синими картами.

РИОНСКИЙ ИЛ

Палеостом начинался на окраине города. Это было озеро с зеленой водой, всегда затянутое туманом. Выше тумана — он лежал над самой водой тоненькой пленкой — чернели вершины чинар и весь день кувыркались и плакали чайки.

Невская наняла лодку, чтобы переехать через Палеостом на кольматационный участок.

Лодка шла мимо кольматационного участка, где пахло тиной, бормотала в шлюзах вода и за небольшими валами, заросшими лозой, медленно создавалась новая почва Колхиды.

Невская долго не могла выбрать свободное время, чтобы посмотреть, как это делается. Сегодня она решила во что бы то ни стало разузнать у Пахомова о кольматаже.

Она попросила гребцов пристать к шлюзу и легко выскочила на насыпь. Запах нагретой осоки стоял в парном воздухе.

Издали Невская заметила Пахомова и пошла к нему навстречу. Старик стоял у соседнего шлюза и, нахмурившись, смотрел на воду, струившуюся по деревянному лотку. Седой и маленький, он был похож на колдуна.

— Вы давно обещали рассказать мне о ваших работах,— сказала Невская и засмеялась от смущения.

Пахомов печально посмотрел на нее.

— Опять вода идет прозрачная,— сказал он с досадой.— Чертово занятие!

Невская ничего не понимала. Она видела только громадное мелкое озеро, обнесенное валами и заросшее густым тростником. Вода медленно стекала из этого озера в Палеостом через деревянные шлюзы. Что здесь происходит? Почему эта прозрачная вода огорчает Пахомова?

— Не взыщите со старика, если будет скучно,— пробормотал Пахомов.— Никто толком не знает, что такое Колхида, даже довольно начитанные люди. Иные думают, что Колхида находится в Греции, и бывают очень удивлены, когда узнают, что она принадлежит Советскому Союзу. Безобразие! Я очень люблю Пушкина за то, что он многое знал. Помните его стихи: «От финских хладных скал до пламенной Колхиды»? — Старик махнул рукой.— Ну ладно! Вот эта плоская приморская страна и есть та самая Колхида. Это очень молодая страна, ей только двести пятьдесят тысяч лет. Раньше здесь был залив Сарматского моря. Реки несут с гор массу мути, особенно во время таяния снегов. Рион загрязняет море почти на двести километров от устья. Он выносит каждый год десять миллиардов кубических метров плодородной земли.

Море отходит от города на наших глазах. Каждый год берега нарастают на шесть метров. Вы видели в городском саду старую турецкую крепость? Ее построили в шестнадцатом веке. Тогда она стояла на берегу моря, стены ее были в воде. Сейчас они торчат далеко от берега.

Вся страна представляет собою зеркало болот. Откуда здесь болота? Прежде всего — нет стока для воды. Потом — вечные дожди и переливы рек через берега.

Страна гладкая, как тарелка. У самого подножия Гурийских гор она подымается над морем только на два метра, а здесь, в Поти, не будет и одного метра. Собственно говоря, мы сидим на воде.

Из-за болот здесь страшная бедность растительных видов. Посудите сами: ольха и опять ольха, будь она проклята! Немного граба и бука. Если бы не было на горизонте гор, то ландшафт Колхиды ничем бы не отличался от Пинских болот. Здесь есть болота, где растет росянка. Да, да, та самая росянка, которая осталась в полярной тундре. Вот вам и тропики!

Почему такая растительная бедность? Вы ботаник, вы лучше меня знаете, что для роста деревьев нужно не меньше метра сухой земли. А где его взять, этот метр, когда вся страна заболочена? Вот и растет всякая болотная дичь.

В Колхиде климат Южной Японии и Суматры, обилие тепла, а между тем это малярийная пустыня в полном смысле слова. Нечто вроде тропической каторги. Если бы не болото, то мы перекрыли бы Яву и Цейлон с их пышностью и богатствами. Значит, надо осушать болота.

Прекрасно! Мы это и делаем. Вблизи гор, например, в Чаладидах, там, где работает Габуния, есть небольшой сток, и болота можно осушить простыми каналами. Чтобы реки во время разливов не переливались через берега, их обносят валами. Все это — детская арифметика. Но это возможно во владениях Габунии, а никак не здесь. Здесь сток ничтожный, и каналами ничего не осушишь, разве самый верхний слой почвы, какие-нибудь двадцать никудышных сантиметров. Значит, нужен другой способ осушки. Какой? Да вот этот самый кольматаж...

Пахомов искоса взглянул на Невскую и долго сворачивал папиросу.

Здесь, на берегу Палеостома, Невской очень нравилось. Туман и солнце создавали ландшафт серебристой и прозрачной страны. Ветер дул в лицо, как расшалившийся ребенок, легкими и быстрыми порывами.

— Что такое кольматаж? Это осушение болот путем затопления их водами мутных рек. Такой, знаете ли, технический парадокс. Кольматаж осушает болота и вместе с тем наращивает толстый слой новой, плодородной почвы. Вот вам пример. Это болото мы окружили валами, про-

вели к нему каналы из Риона, поставили шлюзы и выждали, когда в Рионе была самая мутная вода, форменная жидкая глина. Тогда мы открыли шлюзы и затопили болото рионской водой. А с противоположной стороны мы устроили ряд шлюзов, чтобы спускать отстоявшуюся воду в Палеостом. Кажется, просто. Ил оседает, осветленную воду мы сливаем, потом снова наполняем болото мутной водой, и так без конца. Вот и вся музыка. Почва растет да растет, почти без затрат. А без этой новой почвы никакие субтропики здесь невозможны. Под болотной водой лежат молодой торф и сфагнум, а на нем ничто не растет, кроме ольхи. Кольматаж нам дает чудесную почву, великолепный ил. Воткните в него сломанную ветку инжира, и через четыре месяца она даст плоды.

Мути в воде Риона в два раза больше, чем в нильской. Нил до сих пор считается самой мутной рекой в мире. Там полтора кило мути в кубическом метре воды, а у нас — три кило! Если на землях, затопляемых Нилом, могла созреть могучая сельскохозяйственная культура, то здесь мы добьемся такого богатства растительной жизни, которое и не мечталось египтянам. В нашем иле фосфора и азота в два раза больше, чем в египетском.

Вот, собственно, и все. Больше нечего рассказывать. За пять лет мы нарастили слой почвы в полтора метра. Эти земли пойдут под лимоны и апельсины.

— Я не понимаю,— сказала Невская,— почему вы сердитесь на прозрачную воду. Ведь это хорошо. Значит, вся муть осела.

— Как раз это плохо,— возразил Пахомов.— На кольматационном участке должно быть более сильное течение, чтобы оседала только крупная муть, а самая топкая сливалась в Палеостом. Тонкий ил вреден, он дает тяжелую почву.

Пахомов скупо рассказал Невской о кольматаже, и после этого мир показался ей наполненным таким обилием заманчивых и значительных вещей, что хотелось остановить время.

Невская была ботаником и привыкла к дисциплине ума, но обладала склонностью к волнующим обобщениям. Кольматаж она восприняла не как новый способ осушки болот, а как нечто более значительное: как полную власть человека над природой, как создание невиданных ландшафтов.

Она улыбнулась Пахомову. Голос ее, когда она звала гребцов, прозвенел очень внятно, но не спугнул тишины теплых озер. Когда она замолчала, стало слышно жужжанье шмелей.

— Подвезите меня до города,— попросил Пахомов.— Мне тоже пора.

По окраинам города шли очень долго. На улицах, вымощенных морской галькой, бродили косматые свиньи с рогатками на шеях. Рогатки им привязывали, чтобы свиньи не могли пролезать через изгороди в огороды.

Невскую кто-то окликнул. То был Кахиани. Он сидел на террасе деревянного дома над чертежами. В огороде возилась его мать-старушка в черной шапочке с кисеей — отживавшем свой век наряде замужних грузинок.

— Привет, товарищи! — крикнул Кахиани.— Погодите минуточку. Я сегодня слышал замечательную глупость. Меня вез в порт старый извозчик Шалико, и он мне сказал: «Я так думаю, товарищ Кахиани, что лет через десять пароходы будут входить ночью в наш порт не на огонь маяка, а на запах лимонов». Кругом поэзия, некуда спрятаться! Даже извозчики сделались поэтами! Прямо гафизы!.. Заходите!

Невская пошла к старушке на огород и помогла ей вытащить из колодца воды. Старушка мыла связки гигантского лука-порея.

— Какой чудесный лук! — Невская понюхала белые сочные корни.— Должно быть, очень вкусный!

Старушка улыбнулась и не ответила — она плохо говорила по-русски.

От Кахиани Невская прошла на опытную субтропическую станцию и вернулась домой в сумерки, в те потийские сумерки, когда кажется, что огни висят в воздухе, отделяясь от ламп. Второй день не было дождя.

Она шла по улицам, похожим на густые аллеи. В дощатых свайных домах пылали белые лампы. На мостовых валялось множество измятых роз. Буйволы, закинув на спину тяжелые рога, тащили по розам скрипучие арбы.

Голубой вечер поднимался над морем. Он поблескивал в стеклах окон, и сквозь сады, сквозь мглу перекрестков и изгороди из колючих кустарников пронзительно сверкал маяк. Он напоминал планету, пойманную в черные сети садов.

Около дома Невская увидела Христофориди. Он ловил связки лука порея, вылетавшие из окна кухни. Елочка оттаскивала лук в сарай. Чоп швырял лук и ругался.

— Поздравляю! — крикнул Чоп Невской.— Вы теперь обеспечены луком до нового урожая... Стоп! Не входите в дом. Дайте проветрить.

— Что случилось?

— А то случилось, что надо знать обычаи каждой страны. Вы хвалили кому-нибудь лук?

— Хвалила. Мамаше Кахиани.

— Ну вот. Так я и знал!

Чоп рассказал, что два часа назад извозчик Шалико привез десять связок лука и вывалил их на кухне. Дома были только дети. На расспросы Христофориди извозчик ответил:

— Отстань, бичо! Это подарок от старой Кахиани.

Невская смутилась. Забыв о старом обычае, заставляющем мингрела дарить все, что понравилось гостю, она неосторожно похвалила этот прекрасный лук. И вот — расплата!

— Это что,— сказал Чоп, желая ее утешить,— это невинное дело! Бывает хуже. При царской власти Мингрелия принадлежала князьям Дадиани. Лодыри и пьяницы были классные. Пропились и прожились в доску. Не на чем было даже спать. Но когда приезжали гости, пускали пыль в глаза и дарили гостям крестьянских лошадей под видом своих. Своих у них не было. Крестьяне помалкивали и ждали, пока гости уедут. Потом они подкарауливали их на границах дадиановской земли, отнимали лошадей и на всякий случай делали из гостей юшку, чтобы отбить у них охоту ездить к Дадиани.

На ужин пришлось готовить жареную баранину с таким количеством лука, что съесть его, если бы не подвернулся Сема, было невозможно.

Сема приехал на один день из Чаладид. Он уже работал у Габунии экскаваторщиком.

Он виртуозно изображал, как шумит экскаватор: свистел, гремел языком и лязгал воображаемыми цепями. Елочка заглядывала ему в рот и смеялась.

В тот вечер выяснилось, что Сему зовут Джим Бирлинг, что он родом из Шотландии и что однажды он чуть не погиб во время аварии парохода «Клондайк».

В знак доказательства Сема оттянул книзу тельник и

показал на груди три синих пятна, похожих на громадные восклицательные знаки. Что это были за пятна, выяснить не удалось. Сека, по своей привычке, уснул за столом, и его не трогали до утра.

ФЁН

Чоп растер пальцами шершавые светлые листья и быстро отдернул руку. Пальцы горели, будто он прикоснулся к раскаленному железу. Чоп помахал в воздухе рукой и выругался: «Вот чертова китайская крапива!»

Он думал, что боль скоро пройдет, но пальцы ныли все сильнее. Ему казалось, что боль переползает в кости и медленно сжимает их железными клешнями.

Тогда Чоп испугался. Он быстро вышел за ограду плантации, оглянулся и тут только увидел выцветшую табличку: «Не прикасаться к листьям голыми руками во избежание ожогов».

«Дура! — подумал капитан о Невской.— Почему не предупредила?»

Но тотчас он спохватился и покраснел. Как он, старый моряк, мог обругать женщину! Сам навязался ехать в выходной день в Супсу, на плантации этого идиотского дерева,— значит, сам виноват. Никто его не неволил.

Чоп был не только болтлив, но и любопытен. Невская рассказала ему об опытных посадках китайского лакового дерева. Из сока этого дерева делают великолепный лак. Он не тускнеет от времени и воды и не трескается от огня. Чоп вспомнил японские шкатулки. Они были залиты этим лаком, твердым, как прозрачная сталь.

Из дальнейшего разговора с Невской выяснилось, что этот лак незаменим для окраски подводных частей пароходов. Это уже было по капитанской части. Поэтому, когда Невская собралась ехать с Лапшиным в Супсу, на плантации лакового дерева, Чоп напросился с ними, и его взяли.

Боль усиливалась. Чоп засунул руку в карман и вышел на дорогу. Пыльный автомобиль дремал в жидкой тени старых акаций. Ни Невской, ни Лапшина не было.

Капитан сел в машину и стал ждать. Он посмотрел на небо, и оно ему не понравилось. Стояло безветрие, но воздух с каждым часом становился все жарче. Красноватая

муть, похожая на мыльную пену, висела над горами. Четвертый день не было дождя.

«Как бы не задул фён!» — подумал капитан и вздохнул.

Ну и дьявольский климат в этой стране! Весь год дожди и ливни, весь год жарко и мокро, как в китайской прачечной; но изредка задует фён — и кажется: Аравия со всем своим зноем, самумами и безводьем обрушивается на голову.

— Как бы не было фёна! — сказал капитан подошедшему Лапшину.— Пора ехать.

Лапшин ничего не ответил и начал возиться в моторе.

«Спесивый черт!» — подумал капитан. Рука в кармане тяжелела, будто в нее вспрыснули чугун. Чоп спросил:

— Вы знаете, что такое фён?

— Ветер,— ответил Лапшин.— Почему вас, старого морского волка, пугают такие пустяки?

— Попадете в фён, тогда догадаетесь!

Подошла Невская. Она села рядом с капитаном. Лапшин сел у руля. Он опустил на глаза слюдяные очки и дал ход.

Горячий ветер ударил в лицо Невской и растрепал ее волосы. Машина, дрожа от торопливости, неслась к громадным белым облакам на горизонте.

Облака стремительно приближались, росли, подымались к небу, как горы. Внезапно машина ворвалась в них и бесшумно понеслась по сплошному настилу сухих акациевых лепестков.

Облака оказались лесами вековых отцветающих акаций. Лепестки хлестали в переднее стекло машины и высокими вихрями неслись ей вслед.

Леса мчались навстречу, как небывалая снежная гроза. Нечем было дышать от сладкого и густого настоя, заменявшего воздух.

— Здорово! — крикнула Невская.

Лапшин прибавил газ. Лепестки залепляли глаза. Мутное солнце неслось по вершинам белых деревьев и ни на шаг не отставало от машины.

Потом в машине что-то треснуло. Лапшин затормозил и полез ковыряться в моторе. Невская и капитан вышли. Они сели на сухом стволе акации и долго молчали. Солнце мигало в зените и из белого стало багровым.

— Чистая баня! — пробормотал Чоп.— Азиатский климат.

Невская начала спорить. Она утверждала, что в Колхиде изумительный климат. Многие субтропики получают меньше тепла, чем Колхида. Зимы в Колхиде нет. Лето длится шесть месяцев. Рост растений продолжается круглый год. Чего же он хочет? Около Поти, в деревне Кодор, на Рионе, лежит европейский полюс тепла.

Чоп насмешливо удивился:

— Скажите пожалуйста, а я и не знал!

— Здесь очень ровная температура, без резких скачков,— строго сказала Невская.

— За некоторыми исключениями.

— За какими?

— Задует через полчасика фён, тогда узнаете... Интересно, как вы будете спасать от этого ветра ваши субтильные растения?

Субтропические растения капитан упорно называл субтильными.

— Будем сажать ограды из высоких деревьев.

Чоп недоверчиво хмыкнул.

— Если вас так интересует климат, то поговорите с Лапшиным,— предложила Невская.— Он работает над микроклиматом.

— Это еще что такое? — пробурчал капитан.

Сейчас его не интересовали ни обыкновенный, ни микроскопический климат, ни черт, ни дьявол. Рука горела так, будто с нее сдирали кожу.

— Готово! — крикнул Лапшин.

— Это просто,— сказала Невская, садясь с капитаном в машину.— Климат зависит от пустяков. Он меняется на расстоянии ста метров... Вы не хмыкайте, это верно. В этом лесу свой климат, а в болотах, в пяти километрах отсюда, тоже свой, совсем особенный. В рытвине климат совсем не тот, что на поверхности земли, вокруг рытвины. Перемена климата на небольшом расстоянии — это и есть микроклимат. Его важно изучить, особенно для «субтильных» растений.

— Занятно! — промычал Чоп и вынул руку из кармана. Карман давил на кисть, и боль делалась невыносимой.

Невская взглянула на капитанову руку и вскрикнула. Она схватила капитана за локоть:

— Что у вас с рукой?

— Обстрекался об эту крапиву.

— Какую крапиву?

— Да эту, китайскую.

— Как же так? — крикнула Невская.— Там же всюду висят предупреждения и по-грузински и по-русски. Что вы — мальчик? Ведь это опасно!

— Отрежут, что ли? — спросил капитан зло.

Невская нагнулась к Лапшину и крикнула ему:

— Давайте полный ход! Он, оказывается, обжег руку о китайское дерево. Надо скорее в город.

Лапшин оглянулся, блеснув очками, и дал полный газ. Мохнатый пиджак топорщился на его узкой спине.

Машина вырвалась из леса, и в это время им в лицо стеной ударил фён.

Капитан быстро нагнулся, чтобы спрятать голову за переднее сиденье. Невская отвернулась: ветер горячей ватой закупорил ей рот и ноздри.

В ураганах красноватой пыли она увидела и запомнила на всю жизнь первый жестокий удар фёна по акациевым лесам. Фён одним взмахом снял с деревьев, как мыльную пену, море белых цветов и поднял их в слепое небо.

Ветер шел с такой стремительной силой, что, казалось, оставлял в воздухе пустоты,— нечем было дышать. В эти пустоты со свистом и шорохом всасывалась горячая пыль.

Смерчи неслись, перегоняя друг друга. Дороги не было видно. Лапшин сбавил ход, обернулся и крикнул:

— Надо вернуться в лес, там тише.

— Не надо возвращаться! — Невская схватила Лапшина за плечо.— Не смейте поворачивать!

Лапшин пожал плечами и подчинился. Сумасбродная женщина! К чему столько шуму из-за пустячного ожога?

Машина с трудом прорывалась сквозь раскаленный ветер. Чоп вполголоса ругался. Пыль слепила его. Рука набрякла, и казалось, не в груди, а в этой проклятой руке тяжелыми рывками билось сердце.

Чоп не первый раз попадал в фён. Пересиливая боль, он сказал Невской:

— Ничего, пыль сейчас пройдет. Гораздо хуже температура.

Невская не поняла. О какой температуре говорит Чоп? Она взяла его здоровую руку, думая, что у капитана жар, но Чоп помотал головой:

— Нет! У меня все в порядке. Вы разве не чувствуете, как скачет температура?

Тогда Невская заметила, что ветер с каждой минутой становится все жарче и жарче. У нее мелькнула дикая мысль, что если так пойдет дальше, то они сгорят. Ветер сожжет их, как сжигает листья на деревьях.

Во рту пересохло. Хотелось пить. Красная мгла кипела на головокружительной высоте и перехлестывала через солнце. Удары ветра швыряли солнце, как футбольный мяч. Оно то исчезало, то снова проступало кровавым диском за бешено струящейся мглой.

Капитан посмотрел на небо и глухо пробормотал:

— Шестьдесят метров в секунду.

— Что? — крикнула Невская.

— Там, наверху, ветер лупит со скоростью шестидесяти метров в секунду. Хуже тайфуна. За час фён подымает температуру на двадцать пять градусов!

Пыль прошла, и перед глазами Невской неожиданно возникла совершенно новая страна, как бы залитая заревом далекого пожара.

Горизонт лежал в кирпичной мгле. Свет стал желтым. Такие ландшафты Невская видела на выцветших от столетий картинах старых мастеров.

Лопнула задняя камера. Лапшин остановил машину. Он вытер пот, снял пиджак и швырнул его себе в ноги.

— Мы сгорим! — Лапшин со злобой ударил по кузову машины. Краска, треснувшая от жары, посыпалась кусками.— Через минуту лопнут все камеры. Они и так ни к черту не годятся.

— Сколько до города? — спросила Невская.

— Десять километров.

Невская отчетливо вспомнила весь путь. Надо было проехать два километра по берегу моря, у самых волн — иного пути не было,— потом переправиться на пароме через реку Капарчу, а оттуда до города останется семь километров.

— Сворачивайте к морю,— сказала она Лапшину,— поедем по воде. Прибоя нет, ветер дует с берега. Вода спасет камеры.

Лапшин махнул рукой:

— Дайте отдышаться!

Все молчали. Машина стояла около зарослей ольхи. Листья чернели и свертывались. Палящий ветер срывал их и уносил в море. Капитан стонал: если бы хоть каплю воды, чтобы помочить руку!

Невская в оцепенении смотрела на ольху, облетавшую у нее на глазах.

Когда выехали на серый пляж, машина забуксовала. Лопнула вторая камера.

Лапшин скрипел зубами и вполголоса ругался. Он ненавидел сейчас капитана и Невскую. Ненавидел за то, что они ничего не делают, тогда как он дуреет от бензинного перегара и должен возиться с машиной. Он проклинал Колхиду и поймал себя на злорадной мысли, что из субтропиков ничего не выйдет и первый же фён оставит от лимонных лесов грязный пепел.

Лапшин обернулся к Невской и со злобой посмотрел на ее бледное лицо. Она ответила ему таким же взглядом. Глаза ее даже сверкнули синим огнем.

«Как у кошки!» — подумал Лапшин и сказал с недоброй усмешкой:

— Напрасно мы с вами стараемся.

— Вы думаете, не доедем?

— Конечно.

Мгла летела в лиловое горячее море. На горизонте она сгущалась, и цвет ее из красного переходил в черный. Море было пустынно.

В километре от Капарчи лопнула третья камера. Дальше ехать было нельзя. Пришлось бросить машину и идти к парому пешком.

Невская волновалась. Что, если паром стоит на противоположном берегу реки? В такой ветер перевозчики ни за что не решатся перегнать его на этот берег.

Фён превратил землю в камень. По ней ползли звездчатые трещины. Утром, когда они ехали к Супсу, эта земля была влажной и оседала под колесами машины.

Капитан шел рядом с Невской и, пересиливая боль, пытался с ней заговорить. Он хотел успокоить ее и врал, что рука болит меньше.

Внезапно он сделал открытие, что впервые видит эту женщину как следует. До сих пор в его мозгу крепко сидело представление о женщине-ученом как о хилом заучившемся существе, начисто лишенном женских качеств. Может быть, из-за этого предубеждения капитан никогда не только толком не говорил с Невской, но и ни разу не рассмотрел ее как следует.

Сейчас он глядел на нее с изумлением и некоторой долей благодарности. Он видел бледную решительную жен-

щину с легкой, как будто раздраженной походкой, видел темные недовольные глаза и прядь красноватых волос, падавших на пыльную щеку.

Вышли к Капарче. Ветер нес над водой пену и брызги. Невская облегченно вздохнула: паром стоял у этого берега. Но вокруг не было ни души.

Капитан намочил руку в речной воде. Сделалось легче.

— Ну, поедем! — сказала весело Невская и подошла к парому.— Весла на месте.

Лапшин обернулся к ней и в упор посмотрел в глаза.

— Я не думал,— сказал он спокойно,— что от фёна люди так быстро сходят с ума. Обычно только на второй день начинается беспричинное озлобление, а на третий день человек лезет в драку. На четвертый день фён стихает, и душевное равновесие восстанавливается. Так говорят старожилы.

Невская выпрямилась:

— Что это значит?

— Это значит, что переправляться нельзя. В лучшем случае паром унесет в море, в худшем — потопит.

— А что же, по-вашему, делать?

— Ждать.

— Ждать нельзя! — крикнула Невская.— Вы сами знаете, что это может кончиться плохо.

Лапшин пожал плечами.

— Спросите капитана. Он опытнее нас в этих делах.

Чоп посмотрел на реку. Риск, конечно, большой.

Река катила коричневые волны, шумела и вихрилась от брызг. Ветер валил наземь прибрежные кусты и хлестал их ветками по зеленой воде, он как бы сек воду.

Чоп забыл о руке. Старые морские традиции, прекрасные и полузабытые законы кораблекрушений вдруг овладели им с прежней силой. Первыми спасают с тонущих кораблей детей и женщин. Нельзя подвергать риску женщину из-за обожженной руки! Черт с ней, с рукой, ничего ей не сделается! Поэтому он сказал:

— Переезжать рискованно. Лучше подождать. Рука у меня болит гораздо меньше.

— Вы врете, Чоп! — крикнула запальчиво Невская.— Зачем вы врете? Рука у вас посинела. Едем сейчас же.

— Есть! — сказал растерявшийся Чоп.— Едем сейчас же.

— Ну! — Невская обернулась к Лапшину.

Лапшин молчал. Он вытер рукавом рубахи лицо,— рукав стал черным.

— Он грести не может.— Невская показала на капитана.— Я одна вряд ли справлюсь. От вас зависит все.

— Я не поеду,— спокойно ответил Лапшин.

Невская побледнела.

— Трус! — крикнула она, и на глазах ее появились слезы.— Теперь я знаю, что значит ваша «высокая порядочность ученых»!.. Чоп, поедемте!

Лапшин повернулся и медленно пошел к брошенной машине. Он даже насвистывал.

Невская и Чоп сдвинули тяжелый паром. Капитан молчал. Потом он посмотрел вслед Лапшину и пробормотал:

— Ну его к свиньям!

Невская гребла. Чоп греб одной рукой, закусив губу и сдерживая стоны.

Берега закружились перед ним серой каруселью. Ветер свистел в веслах и вырывал их из рук. Он сорвал берет с Невской, и ее красноватые волосы развевались по ветру, как необыкновенный флаг.

Волны с размаху били в низкий дощатый борт. Больной рукой Чоп отливал воду. Невская промокла до нитки. Было видно, как все ее мускулы напряглись в нечеловеческом усилии.

«Откуда у женщины такая сила?» — подумал капитан.

Он не спускал глаз с устья реки. Оно быстро приближалось. Там сшибались грязные буруны и бесновалась вода.

«Как бы не затянуло в море!»

У Невской сильно кружилась голова. Она до крови прикусила губу. Порыв ветра вырвал у нее весло. Паром качнулся. Капитан увидел, как деревья на берегу испуганно пригнулись к земле. Шел жестокий удар ветра.

— Вот теперь амба! — пробормотал капитан.

Брызги ослепили Невскую, но она все же поймала весло и продолжала грести.

Минуты тянулись нескончаемо.

Капитан оглянулся и увидел совсем недалеко от парома берег, шалаш паромщиков и двух рыбаков. Они стояли по колени в воде. У одного в руках был багор.

Когда рыбак зацепил паром, капитан крикнул Невской:

— Теперь спасены!

Он совсем забыл о руке и только на берегу снова почувствовал боль.

Молодой рыбак в трусах насмешливо посмотрел на капитана:

— Что, кацо? Немножко сошел с ума от этого ветра? Видно — моряк, а делаешь глупости. Еще и женщину с собой посадил.

— Брось, дружище! — Капитан здоровой рукой похлопал рыбака по спине.— Приходи ко мне в порт: есть шашлык, есть маджарка. Выпьем за спасение.

Рыбаки засмеялись.

— Как ветер стихнет, перевезите того свистуна,— капитан показал на Лапшина, возившегося около машины.

— Можно!

Пошли в город. Шли берегом вдоль серых дюн — они защищали от ветра.

Невская долго шла молча, потом отвернулась и заплакала. Чоп растерялся. Он ругал фён за то, что этот ветер доводит людей до истерики. Фён дул с прежним тугим напором.

Снова странный ландшафт — сухой и опаленный пожаром — открылся перед ними. Капитан вспомнил, что только перед затмением бывает такой хмурый свет и такое аспидное небо.

Вдали темнели сады Поти. Фён не тронул их. Они были защищены стенами чинар.

— Послушайте,— сказал капитан,— они его перевезут. Ну что за беда, если он денек поголодает!

— Какой вы, Чоп, чудак! Да пусть сидит там хоть три дня!

— Что же вы плачете?

— Потому что мне было страшно.

Этого уж Чоп не мог понять. Он решил проглотить язык и молчал до самой больницы, где вдруг снова начал ругаться и проклинать лаковое дерево.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

На субтропической опытной станции зацветал бамбук. Первые признаки цветения вызвали у Невской тревогу: бамбук цветет раз в жизни и после цветения умирает.

Лапшин оставался спокоен. После случая па Капарче он редко разговаривал с Невской и за глаза отзывался о ней с пренебрежительной усмешкой. Тревога Невской казалась ему наивной: цветения остановить нельзя, бамбук все равно погибнет, и волноваться глупо.

Капитан пришел на станцию посмотреть на цветущий бамбук. Рука у него заживала, но еще была в перевязке. Чоп привел с собой Елочку и Христофориди.

На станции, в деревянном светлом доме, где работала Невская, капитан застал Сему. Сема приехал в город за запасными частями для экскаватора и привез Невской записку от Габунии. Габуния приглашал Невскую и Чопа приехать в Чаладиды посмотреть канал.

Окна стояли настежь. Ослепительное утро и прозрачный ветер переливались в листве деревьев. Вьющиеся белые цветы роняли на подоконник холодные брызги.

Дыхание влажной земли, зарослей и сладкий запах мимоз напомнили Чопу воздух Мадагаскара, где он стоял с эскадрой Рожественского, запах базаров, где от корзин с плодами кружилась голова.

Елочка и Христофориди убежали в заросли. Опытная станция была большим тенистым садом, полным чудес. Христофориди растирал в ладонях молодые листья лимонов и нюхал руки.

Широкий дым струился к небу. В саду жгли прошлогоднюю листву магнолий.

Христофориди придумал игру. Он был тигром, а Елочка — охотницей. Христофориди прятался в зарослях, рычал и жевал от бешенства листья, готовясь к чудовищным прыжкам. Он так увлекся игрой, что совершенно забыл о неизбежных неприятностях. Мать-старуха будет его пилить за плохую выручку. Опять придется выпросить у Чопа полтинник, иначе старуха заест.

— Кала мера! [1] — рычал Христофориди и дурел от горечи во рту. Он только что жевал листья камфарного лавра, и у него сводило скулы.

Солнце лилось в заросли зелеными струями, как льется вода сквозь щели в шлюзах. Из земли сочился лекарственный запах корней. Фарфоровые листья рододендронов валялись в траве, как морские звезды. Бамбук шелестел лентами листьев, и этот шелест был больше похож на стек-

[1] Кала мера — греческое приветствие. *(Примеч. автора.)*

ляпное щебетание маленьких птиц. Рваные листья бананов скрипели от тугого просачивания соков. Хвоя криптомерий пахла так крепко, как могут пахнуть только сто сосновых, покрытых желтой смолой кораблей.

Эвкалипты повернули тяжелые, как бы запотевшие листья ребром к солнцу. Христофориди их обходил. Под эвкалиптами нельзя было спрятаться: они не давали тени. Их листья всегда поворачивались ребром к свету.

На казанлыкских розах Христофориди поймал мохнатого жука. Жук очень сердился и густо гудел в зажатом кулаке. Христофориди показал его Елочке. Потом они, прячась от взрослых, отодрали кусок коры от пробкового дерева — Христофориди на поплавки.

Свет, тени, шорох листьев, капли росы, падавшие на смуглые руки, радостный шум моря и облака, подымавшиеся прямо к зениту, как бриллиантовый пар,— все это наполнило Христофориди восторгом. Он прошелся колесом по аллее с азартными криками: «Чистим-блистим, блистим-чистим!» — и упал в заросли герани.

За поломанную герань могло здорово влететь, и Христофориди притих. Он взял Елочку за руку и повел к дому, из окон которого доносились голоса.

В доме спорили. Христофориди узнал голос Лапшина. Он его не любил. Чистить Лапшину его громадные красные туфли было сплошным мучением. Для них никак нельзя было найти подходящей по цвету мази.

— Колхида — это вовсе не субтропики,— говорил Лапшин.— Здесь годового тепла недостаточно для созревания многих тропических плодов.

— Чепуха! — сказала Невская.— Годовая сумма тепла для субтропиков три тысячи градусов, а в Колхиде она доходит до четырех тысяч пятисот градусов. К чему этот дешевый скептицизм?

— С вами невозможно разговаривать. Вы всем говорите дерзости.

— Я извинилась перед вами за случай на Капарче, хотя я была целиком права. Не будем говорить об этом.

— Я ничего не понимаю в ботанике,— сказал Чоп, чтоб замять неприятный разговор.

Невская улыбнулась:

— В растительной жизни все просто. Чтобы тропические плоды могли созреть, нужна определенная доза солнечного тепла в год. Не меньше трех тысяч градусов.

Колебания температуры не так важны. С ними можно бороться: обкуривать деревья дымом — в дыму всегда теплее,— обогревать нежные сорта грелками, укутывать на зиму рогожами. Главное — годовая сумма тепла. Мне странно, что Лапшин спорит, зная, что у нас тепла больше чем достаточно.

— Я не спорю, я только позволяю себе сомневаться.

— Профессорские штучки! — Невская засмеялась. Ей пришла в голову шутливая мысль.— Давайте проверим. В Южной Англии, с ее туманами и дождями, совсем не холодно. Там годовая сумма тепла около трех тысяч градусов. Как вы думаете, есть в Южной Англии тропические растения?

— Нет и не может быть,— ответил Лапшин.

— Вот этот английский матрос,— Невская показала на Сему,— не будет врать. Он не понимает, о чем мы спорим. Пойдемте с ним в сад. Пусть он покажет, какие деревья из тех, что есть в нашем саду, он видел в Англии.

Капитан перевел. Сема оскалил крепкие желтые зубы. Ну конечно, он был в Южной Англии, на острове Уайт, и постарается исполнить просьбу «миледи». Интересно, на какую сумму «миледи» пошла с Лапшиным на пари!

Вышли в сад. По дороге Чоп строго внушал Семе, что в Советском Союзе неудобно произносить слово «миледи». Сема тотчас же с этим согласился и начал звать Невскую «камрад».

Капитан удивился, что недавний фён совсем не тронул пышную растительность на станции. Невская показала ему на стены эвкалиптов и чинар, спасшие опытный сад от палящего ветра. Эвкалипт не боится фёна.

Сема шел по саду, засунув руки в карманы. Всем своим видом он показывал, что его, матроса, нельзя ничем удивить.

Тропики! На острове Тринидад он бил лимонами стекла в кафе за то, что туда не пустили матроса-негра. Он знал тропики. Он знал все — гнусные перископы подводных лодок, вкус маисового хлеба, кровавые драки с полицией, футбольные матчи не на жизнь, а на смерть, фальшивые морские документы, стачки и, наконец, «большую молитву». «Большой молитвой» называлась плита из песчаника весом в полтонны. Этой плитой на парусных кораблях скребли для чистоты палубу.

Впервые Сема по-настоящему удивился в Колхиде. Ка-

питан порта — ему, по международным морским традициям, надлежало ругать Сему сквозь зубы последними словами — взял его в свой дом и кормил его больше недели. На советских теплоходах в Потийском порту Сема видел кубрики, где не хватало только цветов. Через семь дней его взяли на работу, и молодой инженер Габуния пожимал ему руку и говорил с ним как с равным. Больше всего Сему удивляло, что в этой стране все говорили с ним как с равным, даже ученые женщины.

Сема шел по саду и насвистывал. Он увидел лук-порей и улыбнулся ему, как старому знакомому. Он остановился около зацветшей заросли бамбука, далеко сплюнул и издал странный звук, похожий на щелканье:

— Крэк! Вот это дерево растет у нас на острове Уайт.

— Бред! — рассердился Лапшин.— Вы втравили меня в глупую шутку с этим матросом. Нечего сказать, прекрасное научное доказательство!

— Он прав,— сказала Невская.— На юге Англии есть целые заросли бамбука.

Лапшин вспылил. То Вано, то эта женщина уличают его в невежестве! Тот — с нутрией, эта — с бамбуком.

— Вы напрасно сердитесь, Лапшин,— сказала Невская примирительно.— Хороший специалист может очень многое узнать по своей специальности от людей, которых он считает невеждами. Будьте осторожны.

Лапшин махнул рукой и ушел в лабораторию, где он вел работы по микроклимату. Невская тоже отправилась работать. Сема попрощался, ему надо было спешить на поезд в Чаладиды.

Чоп остался с детьми. По болезни ему дали двухнедельный отпуск, и он почти каждый день приходил на субтропическую станцию.

Чоп стоял у зарослей бамбука и качал головой. Ясно, бамбук погибнет. Он вспомнил Японию и рассказал детям интересный случай в глухом японском порту, где его пароход грузил рис.

На рассвете вахтенный матрос разбудил Чопа и сказал, что в городке что-то случилось: слышны крик и плач женщин. Чоп спустился на берег. Похоже было на пожар. Люди бежали на окраину города. Мужчины ругались, женщины тащили за собой детей. Зарева не было видно.

Чоп пошел следом за всеми к бамбуковому лесу и увидел, что бамбук зацветает. Цветение началось ночью.

Тогда Чоп впервые узнал, что бамбуковые леса связаны корнями в одно целое и гибнут после цветения на громадных пространствах. Для жителей городка и крестьян окрестных деревень бамбук был не только деревом для построек, но и пищей: японцы едят молодые побеги бамбука. Цветение бамбука в Японии — одно из величайших несчастий.

— Вот, ребята,— сказал Чоп,— какое дело! Что ни дерево, то новая сказка.

Капитан забрал детей и пошел в порт. По дороге он зашел проститься с Невской. Она сидела за столом, засыпанным образцами семян.

— Кстати,— сказал капитан,— тот (так он называл Лапшина) работает над микроклиматом, а вы что делаете?

— Я выбираю лучшие сорта растений для Колхиды. Растения разнообразны, как люди. Есть капризные, хилые, выносливые и зябкие. Есть любящие много пить и ненавидящие сырость, северяне и южане, жадные и плодовитые, худые и толстые... Когда вы ходили в дальние плавания, вы, должно быть, очень строго подбирали людей. Так же и здесь. Сорт растений надо подбирать, как людей в экспедицию. Один дурак или слюнтяй может сорвать все дело. Сейчас я выбираю лучшие сорта эвкалиптов.

— Вот это я...— начал капитан, но не успел окончить: отчаянные крики с улицы заставили его насторожиться.

Христофориди выскочил из комнаты. Капитан прислушался. Кричали не то от восторга, не то от ярости, ничего нельзя было разобрать. Капитан торопливо вышел за ограду.

На поле перед субтропической станцией происходил футбольный матч. Играли, по старому потийскому обычаю, две команды — холостые против женатых. Это придавало игре отчаянный азарт. Холостые издевались над женатыми. Женатые мрачно помалкивали, но при каждом удобном случае позволяли себе незаконный удар и били холостяков носком под коленку.

Милиционер Гриша быстро установил порядок. Разбирательство того, что случилось, пошло спокойнее.

Случились сущие пустяки. Сема увлекся зрелищем футбола, ввязался в игру вместо форварда, растянувшего сухожилие, и забил женатым три гола. Тогда женатые под-

пяли крик и потребовали переиграть весь матч. Кто-то кого-то ударил. Кто-то кого-то обозвал бродягой.

Чоп подошел к Семе, сжал его за локоть и вывел из толпы. От Семы несло жаром и пылью. Он дышал, как запаленная лошадь.

—Мистер Бирлинг,— сказал капитан с яростной вежливостью,— а не кажется ли вам, что вы пропустили единственный поезд в Чаладиды и что у нас в Советской России умеют вовремя работать и вовремя играть в футбол? Я за вас поручился перед Габунией, и мне стыдно.

У Семы покраснела шея. Он что-то невнятно пробормотал и свернул в первый переулок. За углом он остановился, закурил, подумал и решил двинуть в Чаладиды пешком; к утру он уже надеялся быть на месте.

Невская увлеклась работой над семенами эвкалипта. У нее на столе лежало все будущее Колхиды: мелкие зернышки, добытые за океанами, хранившие в себе изумительные, почти чудесные свойства — запахи, целебные соки, твердую и вечную древесину, красоту цветений и горечь увяданий.

Невская читала в Поти несколько статей Лапшина по ботанике. Чтение их вызвало у нее головную боль.

Этот человек не понимал главного. Он ковырялся в мелочах с нудной аккуратностью аптекаря. Он не видел будущего и не понимал жизни растений, а их, по мнению Невской, надо было любить и знать, как людей.

Лапшин боялся смелых мыслей и свободного обращения с материалами. Он был точен там, где это было ненужно. У него не было творческого воображения. Вообще это был тип ученого-ремесленника, отживающий тип специалиста-одиночки.

Писал он длинно и скучно. Говорил еще скучнее, со всеми знаками препинания, тем выхолощенным языком, какой среди старых ученых считался признаком высокой культурности. На людей, не обладавших такими же знаниями, как он сам, Лапшин смотрел свысока и при каждом удобном случае подчеркивал их ничтожество.

Когда Невская прочла статьи, Лапшин спросил ее, что она о них думает. Невская вместо ответа принесла на следующий день томик Пушкина и показала Лапшину одну фразу из его писем:

«Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем в поэзии».

Лапшин промолчал.

Работая над семенами эвкалипта, Невская подумала: кто бы мог лучше всего написать об этом прекрасном дереве? Кто бы мог изучить так же, как она, все двести сортов этого «дерева жизни» и раскрыть перед читателем громадный мир его необычайных свойств? Это был труд, о котором Невская мечтала уже давно.

Эвкалипт Невская считала самым ценным из тропических растений. Недаром его прозвали «алмазом лесов».

В Колхиде за два года эвкалипты вырастали в семиметровые, мощные деревья. Рост их шел с фантастической быстротой. Старые эвкалипты достигали головокружительной высоты в сто пятьдесят метров.

Так же мощно, как вверх, эвкалипты росли и в толщину. Недавно Невская измеряла годовые слои на пне эвкалипта. Годовых слоев тоньше трех сантиметров она не нашла.

Это дерево почти пугало странной силой жизни, богатством, размахом разнообразных и ценных качеств. Невская знала, что один пятилетний эвкалипт дает древесины больше, чем наши двухсотлетние ели и пихты! Временами даже Невской это казалось неправдоподобным, но это было совершенно точно.

Древесина эвкалипта считалась неразрушимой. Она не гнила. В ней никогда не заводились насекомые и жуки-точильщики. Сваи из эвкалипта в морской воде через тринадцать лет оказывались такими же свежими, как и в первый день, когда их забивали. Шпалы из эвкалипта держались вдвое и втрое дольше обыкновенных шпал. По крепости эвкалипт превосходил дуб и черный орех.

Невская вспомнила рассказы Чопа о парусниках с эвкалиптовыми мачтами. В страшные штормы сороковых широт — эти штормы называются у моряков «гремящими» — мачты из эвкалипта ни разу не скрипнули ни на одном корабле. Они только звенели и были так же стройны и вытянуты вверх, как и в полный штиль. Должно быть, самый точный измерительный прибор не мог бы обнаружить в этих мачтах прогиба. А мачты из сосны штормы сороковых широт срезали, как бритвой.

«Москва, вымощенная эвкалиптом! Как это было бы чудесно!» — подумала Невская.

Листья эвкалиптов всегда повернуты ребрами к солнцу, и потому в эвкалиптовых лесах нет тени. Эвкалипт — луч-

шее дерево для осушки болот. Его очень тяжелая, веская листва испаряет громадное количество влаги. Эвкалипт не боится фёнов и дождей и растет на любой почве.

Малярийные комары не выносят эфирного запаха эвкалиптовых листьев. Эвкалипт убивает малярию. Может быть, поэтому в тропиках его зовут «деревом жизни».

Стемнело. Невская подняла голову и посмотрела на ходики. Они скромно тикали в тишине маленького дома, взятого в плен морем растений. Было всего пять часов. Почему же так темно? Невская взглянула за окна. Сизая туча подымалась высоко над морем. В тяжелой духоте прогремел медленный гром. От тучи потянуло ветром. Блестящая, почти черная тропическая листва, покрытая тонким слоем воска, зашелестела и заволновалась.

— Будет ливень,— сказал за окном чей-то голос.

В ту же минуту из тучи ударила исполинская ветвистая молния, как будто треснуло и рассыпалось на тысячу осколков золотое стекло. Мгновенные бешеные огни сверкнули в зарослях лимонных деревьев. Невской показалось, что это не блеск огней, а гроздья необыкновенных, ослепивших ее лимонов.

Ветер влетел в окно, вздул занавески и снова умчался. Опять ударила молния, и явственнее и гораздо грознее, чем раньше, прокатился под небом гром.

Невская заторопилась домой. Ливень мог длиться сутки.

Она шла по улицам, где уже хозяйничал ветер, и вспоминала первый удар грозы. Молния как будто показала ей будущую Колхиду во всем великолепии ее золотых цитрусовых плодов.

Дома Чоп сказал, что приближаются ливни. Барометр падал.

Ночь прошла без дождя, а утром Невская решила съездить в Чаладиды. Она думала, что успеет вернуться до ливней.

БРОНЗОВЫЙ БЮСТ

Габуния читал Гиппократа. В свободные часы он писал научную работу о Колхиде и изучал для этого современных и древних географов — Страбона, Гиппократа и Гомера.

Габуния уверял, что в «Илиаде» блестяще разработана карта погоды времен Троянской войны. С торжественной точностью Гомер описывал день за днем движение ветров и облаков. Один из наших ученых, прочитав Гомера, составил сводку атмосферного давления в те баснословные времена и выяснил, что над Архипелагом проходил циклон, разметавший ахейские корабли.

«У народов, живущих на Фазисе (Рионе),— читал Габуния,— страна болотистая, жаркая, лесистая и полная сырости. Во всякое время года там бывают сильные, проливные дожди. Там люди проводят жизнь в болотах. Посреди воды они строят себе жилища из хвороста. Свою землю они объезжают по рекам и каналам, которых там множество, на челноках, выдолбленных из куска дерева. Они употребляют воду теплую, стоячую, гниющую от солнечного жара и набирающуюся от дождей. Там дуют южные ветры, но бывает и восточный — сильный, знойный и неприятный. Его называют «кенхрон».

— «Они употребляют воду стоячую, гниющую от солнечного жара»,— повторил Габуния и выругался. Содовый вкус этой воды он знал прекрасно. Он был уверен, что лихорадку схватил именно из-за этой воды.

Габуния встал и распахнул настежь окно. Было душно. В воздухе запахло ванилью. Этот легкий запах всегда появлялся перед сильными ливнями.

«Где-то накапливается гроза»,— подумал Габуния и перевернул страницу.

Вошел прораб Миха. Он беспокойно ерзал глазами и обдергивал рваную черкеску. Он мягко подошел к барометру и постучал по стеклу желтым ногтем. Глаза Михи сузились и потускнели: барометр шел вниз с упорством часовой гири.

— Будет ливень. Слышишь, как сильно пахнет? — сказал Миха и криво усмехнулся. У него была привычка улыбаться всегда, даже в самые неприятные минуты жизни. За это свое свойство Миха прослыл храбрецом.— Вода пойдет с гор, Шалико, и разнесет все на свете.

Габуния молчал.

— Рыжий англичанин не приехал,— сказал Миха и посмотрел на себя в стекло барометра.— От этой лихорадки я сделался желтый, как канарейка.

Габуния поднял голову. На пятом пикете валы по берегам канала осели на метр. Надо немедленно их подсыпать.

Люди, конечно, не справятся. Единственный экскаватор на пикете стоит без важной запасной части. Сема уехал за ней в город и не вернулся.

— Что сделают люди, когда они малярики? — пробормотал Миха и вытер пот.

Воздух громадной удушливой бани стоял над этой страной. Миха сплюнул на пол.

— Я слышу,— ответил Габуния.

Он соображал. Леса за окнами изнывали в жаре и миазмах. Небо висело глухим свинцовым куполом.

Явственно вздохнул далекий гром.

— Та-ак.— Габуния по старой привычке сделал карандашом быстрый подсчет на книге Гиппократа.— Через два часа начнется ливень. Через три часа вода пойдет с гор. За три часа надо сделать недостающую часть экскаватора в походной мастерской. Но из чего ее сделать, черт ее побери? Из чего? Нужна бронза.

Габуния чувствовал приближение малярии. Кровь ныла в теле, как комариный писк. Хотелось лечь, закутаться с головой и ни о чем не думать.

Первый порыв ветра прошел по лесам, и снова стало мертвенно тихо.

— Всех людей на пятый пикет, кацо! — сказал Габуния хрипло.— Всех до единого, даже женщин! И где хочешь, надо немедленно найти кусок бронзы.

— Хо! — Миха покачал головой.— До Чаладид семь верст, а там на станции есть бронзовый колокол. Прикажи. Я пойду. Так сниму колокол, что никто не заметит.

— Глупости! — махнул рукой Габуния.— Скорее! Всех на пятый пикет. Ну!

Миха выскочил, и тотчас же Габуния услышал торопливый звон и крики. Миха бил железной палкой о буфер, заменявший колокол, и кричал пронзительным голосом:

— Пятый пикет! Пятый пикет!

Через минуту рабочие-мингрелы бежали из бараков к каналу, накинув на головы мешки. Лианы разрывали в клочья их обмотки и бритвами резали сапоги. Лопаты звякали о стволы деревьев.

Габуния высыпал на язык мохнатые кристаллы хины, запил их водой и начал медленно натягивать одеревенелый брезентовый плащ. Лицо его горело.

Он взглянул в окно. Туча, как черная стена, надвигалась с запада и уже закрыла солнце. Край тучи дымился.

Дым был похож на клочья грязной ваты. Леса молчали. Могильное безмолвие гудело в голове у Габунии, как тягучая и липкая кровь. Виски болели.

«От хины, что ли?» — подумал Габуния и потер лоб, чтобы прогнать вялые малярийные мысли.

«Что делать? Люди не справятся и с половипой работы. Помощников, кроме Михи, нет. Абашидзе ушел с рабочими и Гулией исследовать болота по берегам старого канала Недоард. Если их застанет ливень, они пропали».

Осталось двое — он да Миха. Миха — трус. Он прославился тем, что во время войны стрелял из заржавленного «смита-и-вессона» в немецкий крейсер «Гебен». «Гебен» подошел к порту и открыл огонь по городу из тяжелых орудий. На базаре, где Миха торговал табаком, началось смятепие. Тогда Миха выхватил револьвер и выпустил семь пуль в бронироваппый крейсер. Пули даже не долетели до крейсера: он стоял в кабельтове от берега. Миха обезумел от страха. Он думал, что защищается.

Случайно после выстрелов Михи крейсер прекратил огонь и ушел. С тех пор все Поти считает Миху храбрецом, по Габуния знает, что он отчаянный трус. На него положиться нельзя. Оп предложил украсть колокол на станции только затем, чтобы удрать из лесов па возвышепное место: станцию не затопит.

А этот чертов рыжий англичанин, должно быть, запил в городе и не привез запасную часть для экскаватора.

«Что же это я? — Габуния похолодел. Ему показалось, что прошел уже час, хотя па самом деле прошло только две минуты.— Надо идти в мастерскую, надо найти бронзу».

Длинная боль свела кости в ногах и тонкой дрожью прошла по позвоночнику. Шатаясь, Габуния вышел па крыльцо.

Оп взглянул на запад. Непроницаемая мгла клубилась пад лесами. Леса побледнели от испуга. Зелень ольхи стала совсем светлой. Далеко и глухо громыхала и вздрагивала земля. Приближался зловещий гул, как будто на Колхиду шли океаны. Белесая дикая молния хлестнула в болото.

Зубы у Габунии залязгали и голова затряслась. Ледяпой холод медленно заползал под черепную коробку. Озноб! Этого он боялся больше всего.

Начало быстро темнеть, но в окнах бараков не вспыхнуло ни одного огня: все рабочие были па канале.

Габуния пошел к походной мастерской. Его окликнули. Он оглянулся. Сумрак густел. Вверху зарождался ветер и нес пряди серых облаков и сухие листья.

Габуния сжал лоб, чтобы унять дрожь, вгляделся и облегченно вздохнул. Он узнал Невскую. Сапоги ее были исцарапаны лианами, плащ разорван.

— Боялась, что не успею дойти от станции,— сказала она, задыхаясь.— Не могу смотреть туда,— она кивнула головой на тучу,— замирает сердце.

Габуния болезненно улыбнулся.

— Идите ко мне. Вон в тот барак, где антенна.

— А у вас лихорадка,— сказала Невская.— Почему нет кругом ни души?

— Все люди па канале. Как бы не размыло валы. Экскаватор стоит. Идиот Сема застрял в городе с запасными частями. Я сейчас верпусь. Неудачпо приехали.

Габуния заметил, как у Невской вздрогнуло лицо. Он понял, что обидел ее. Как это все не вовремя и как глупо!

— Идите в барак! — почти крикпул оп.— Ждите меня. Я сейчас.

Невская повернулась и пошла к бараку. Брови ее были сжаты, губы дрожали. Неужели этот долговязый юноша думает, что она не способна работать во время опасности так же, как и все остальные? Нелепое рыцарство!

Она остановилась около барака и посмотрела на канал. Он прорезал девственные леса широкой рекой и тянулся па пятьдесят километров. В его воде отражалось тяжелое небо и нагромождались тучи.

Какая-то птица пронеслась пад самой землей с плачущим криком и задела Невскую крылом. Птица летела в горы, спасаясь от грозы.

Невская вошла в барак. В комнате Габунии горела спиртовка. Она распространяла голубое сияние. Невская оглянулась. Книги, барометры, тяжелые болотные сапоги, карты и небольшой бюст Ленина на деревянной неструганой полке.

Хлопнули створки окна. Леса качнулись и глухо заговорили. Ветер шел по вершинам и пригибал их к земле.

Вошел Габуния. Землистое лицо его дергал нервный тик. Глаза сухо блестели.

— Послушайте,— сказал он быстро и невнятно.— Только сто рабочих-мингрелов... да, только сто рабочих, вы и я должны спасти от затопления всю эту часть Колхи-

ды. Кругом на десятки километров, даже больше, нет ни души... Экскаватор стоит... Придется работать голыми руками. Бронзы нет. Матрос не дойдет. Через десять минут ударит ливень. Выдержите?

— Если бы не малярия, вы бы не задали мне этого вопроса,— мягко ответила Невская.— Ничего страшного нет. Все обойдется.

Габуния сердито засмеялся.

— Страшного нет? — переспросил он.— Люблю ваш апломб. Честное слово, люблю!.. Ну что же, идемте!

Сверкнула молния, и в ее стремительной вспышке Габуния увидел бюст Ленина на дощатой полке. Ленин чуть улыбался прищуренным глазом и испытующе смотрел на Габунию.

Габуния крепко держался за стол. Глаза его помутнели.

— Бронза,— сказал он тихо и так хрипло, что Невская услышала только клекот.— Вот она, бронза. Какой я дурак!

Он взял бюст и засмеялся. Невская смотрела на Габунию с тревогой. Ей казалось, что Габуния сошел с ума.

За окнами метались густые сумерки, иссеченные редким дождем. Ливень все еще медлил.

— Расплавить, отлить втулку и обточить — это займет больше трех часов, но другого выхода нет,— медленно сказал Габуния, разглядывая бюст.— На моем месте он сделал бы то же самое.

— Кто «он»? — спросила Невская.

Габуния не ответил. Он быстро вышел, прошел в походную мастерскую и осторожно бросил бронзу в раскаленный горн.

Двое рабочих-мингрелов угрюмо посмотрели на Габунию и отвернулись. Они всё заметили, но промолчали. Огонь освещал их сумрачные лица.

Габуния коротко приказал приготовить втулку и во что бы то ни стало доставить ее на экскаватор.

— Хо! — ответил старый литейщик и кивнул Габунии.— Все сделаем, товарищ... Иди спокойно!

И, как бы дождавшись этих слов, хлынул ливень. Он гудел и ровными водопадами лился с неба. В двадцати шагах ничего не было видно.

Захлебываясь от теплой, тошнотворной воды, Габуния пошел в барак за Невской. Он скользил и ругался. Ему

показалось, что Черное море поднялось к небу и будет изливаться на землю сорок дней и сорок ночей.

Невская ждала Габунию. Ливень гремел по крыше и блестящими чернилами струился по стеклам.

Невская зажгла керосиновую лампу. Зазвонил телефон.

Возбужденный голос прокричал в трубку:

— Говорят из Квалони! Вода валит с гор, Шалико,— страшно смотреть. Есть ли у тебя люди на пятом пикете?

— Есть! — крикнула в ответ Невская.

Голос не ответил.

Она повесила трубку и поняла, что вот с этой минуты Габуния, она и рабочие — ничтожная кучка людей, затерянная в лесах и болотах,— отрезаны от всего мира. Помощи нет и не может быть.

Ливень безумствовал. Он брал все более низкую ноту и заметно усиливался. Изредка облака вспыхивали угрюмым отблеском молний, и, спотыкаясь о горы, неуклюжими рывками гремел гром.

Через полчаса Невская вместе с Габунией добрались до пятого пикета.

В непроглядной тьме ревел ливень и гортанно кричали рабочие. Фонарей не было. Единственный светофор был на экскаваторе, но экскаватор не работал.

Люди копали на ощупь. Они хрипло дышали, сплевывали и швыряли землю так ожесточенно, будто окапывались под ураганным огнем. Казалось, вокруг нет ни земли, ни лесов, ни неба, ни воздуха, а один скользкий первобытный хаос.

Канал гремел. Габуния зажег карманный электрический фонарик и навел его на рейку, воткнутую в дно канала. Вода неслась по каналу, как по трубе, грязным валом. Она тащила коряги и сломанные деревья.

— Миха! — крикнул Габуния.— Как прибывает?

— По два сантиметра в минуту, кацо,— ответил из темноты Миха и блеснул по краю канала тусклым фонариком.

Вода шла в двух метрах от вершины вала.

Габуния прикинул. Еще полтора часа, и на пятом пикете вода пойдет через валы, смоет их, хлынет в леса и затопит грязным озером всю эту часть Колхиды, носившую название Хорга.

Лишь бы ливень не усилился!

Габуния трясся от холода. Вода стекала струями с его

плаща, сапоги чавкали. Он снял и бросил в грязь кепку: она намокла и с чугунной тяжестью давила на голову.

Сколько прошло времени до странного гула и шипения в канале, Невская не заметила. Она швыряла землю лопатой с таким же ожесточением, как и мингрелы. Волосы падали ей на лицо и мешали дышать. Она провела по ним рукой, измазанной жидкой глиной. Волосы слиплись. На минуту стало легче.

Невская слышала вокруг свистящее дыхание людей, звяканье лопат, тяжелое шлепанье мокрой земли, крики Михи и быстрый гортанный голос Габунии. Иногда ливень и ветер ударяли ее с размаху в спину. Она скользила и падала в жидкую грязь.

Валы оплывали, и работа казалась бесполезной.

Внезапно вода в канале зловеще зашипела. Габуния быстро осветил рейку. Около нее вода пенилась и подымалась на глазах.

— Запрудило деревьями! — крикнул Габуния.— Завал!

Он бросился к дощатой лодке. Он стремительно соскользнул в нее по глине, стоя на ногах,— так на севере мальчишки катаются с ледяных гор. За ним сползли Миха и несколько рабочих.

— Топоры! — прокричал Габуния.

Мингрелы не переставали работать. Лодку сорвало. Она закружилась и пропала в темноте.

— Лишь бы успели разобрать завал! Лишь бы успели! — бормотала Невская и швыряла землю.

Канал наливался буграми. Ударила запоздалая молния.

Невская увидела серые океаны воды, отвесно лившейся с неба, людей, облепленных глиной и стоящих по щиколотку в воде, бешеные струи, лизавшие верхушки валов. Ей показалось, что в некоторых местах вода уже переливается через валы.

Протяжный гром прокатился от моря до гор и встряхнул небо. Ливень пошел гуще. Далеко закричали рабочие. Черная тень пробежала по глине, с оглушительным чавканьем отдирая ноги. Мальчишка, стоявший рядом с Невской, бросил лопату и пронзительно заплакал.

— Пропал! Ничего не поможет! — крикнул глухой голос.

Внизу, на канале, часто и быстро стучали топоры: там Габуния и рабочие расчищали завал.

— Что случилось? — крикнула Невская.

— Человек сорвался в воду,— ответил по-русски торопливый голос.— Работай, девка, не разговаривай!

Хрипение людей казалось предсмертным. Земля прилипала к лопатам, как клей. Голова у Невской кружилась.

Она слышала голос вернувшегося Габунии. Он успокаивал рабочих и даже шутил. Завал был разобран, но вода продолжала прибывать.

Габуния поднялся на вал. Вода шла в двадцати сантиметрах от верха. Габуния прислушался. Он хотел определить на слух, не стихает ли ливень. Но ливень гудел с прежним постоянством.

Габуния медленно пошел по валу и споткнулся о рытвину. По ней сочилась вода. Сразу всем существом Габуния понял, что именно в этом месте вал будет прорван.

— Хабарда! — крикнул Габуния.— Миха! Давай сюда рабочих! Скорее!

Миха побежал и выстрелил в воздух — это было условленным сигналом тревоги. Люди бежали к Габунии, отбиваясь лопатами от лиан, как от немых псов.

Габуния повернулся к невидимому морю, откуда шел ливень, стиснул зубы и погрозил в темноту кулаком.

— Ты у меня перестанешь! — сказал он тихо и засмеялся. Малярия путала его мысли и доводила до бреда.

Рабочие быстро закидывали рытвину. Миха снова выстрелил в нескольких шагах от Габунии. Он нашел второй прорыв, где вода сочилась сильнее.

— Бесполезно! — пробормотал Габуния и с натугой вытащил ноги из глины.

Идти он не мог. Он зашатался и сел в жидкую грязь, упираясь руками в землю. Руки расползались. Последним напряжением воли Габуния заставил себя рвануться с земли, но ноги не слушались. Он лег на землю и выругался. Лихорадка била и швыряла его, как вода в канале швыряла гнилые пни.

— Малярики... герои...— прошептал Габуния и закрыл глаза.— Миха не подвел...

Габуния услышал третий выстрел. Кто-то споткнулся об инженера и вскрикнул. Ему показалось, что это была Невская. Он хрипел и выплевывал грязную воду и глину. Кто-то поднял его и посадил. Потом он услышал отчаянные крики и тяжелое чавканье бегущих людей и безразлично подумал, что вот валы прорваны и его сейчас засосет жидкой глиной и затопит водой.

Он открыл глаза и отшатнулся. Пронзительная белая звезда с железным громом ползла на него из леса.

Светофор!

Габуния встал. Он не заметил, как кто-то осторожно поддерживал его за плечи. Он смотрел на звезду и плакал. Ему не было стыдно. Малярия и эта дикая ночь довели его до изнеможения. Да и кто мог увидеть слезы на его залепленном глиной лице!..

Экскаватор наворачивал на гусеницы горы глины, лязгал цепями, грохотал, как тяжелая батарея, и быстро полз к пятому пикету. Вверху, на стреле, он нес ослепительный светофор. Экскаватор свистел паром и гудел от чудовищного напряжения.

Рабочие расступились, и экскаватор стремительно пронес над головами людей исполинский ковш с мокрой глиной, тяжело сбросил ее на перемычку и закупорил прорыв.

Восторженный крик людей, казалось, остановил ливень.

Габуния видел поднятые руки, бледные лица, изорванные плащи. Он видел, как старик мингрел протянул к машине дрожащие руки. Он увидел голого по пояс Сему со стиснутыми зубами. Три темных пятна на его груди пересекал кровавый шрам. Сема с силой переводил рукоятки, и лицо его было неузнаваемо: скулы ходили желваками под бледной кожей и глаза превратились в щелочки.

Габуния улыбнулся и вдруг услышал тишину. Он ощутил ее еще до того, как понял, что случилось.

Ливень внезапно стих. Глубочайшее безмолвие омытых лесов простиралось вокруг.

Габуния зашатался и потерял сознание.

ПОСЛЕДНЕЕ НАВОДНЕНИЕ

В рубке портовой радиостанции горели молочные лампы. Радио стрекотало, как сверчок. Радист, нахмурившись и сердито дергая плечами, передавал телеграмму начальнику порта в Батуми:

«Рион и Капарча вышли из берегов. Воды их соединились и хлынули на город. Только порт находится вне зоны наводнения. Вода поднимается. Улицы залиты почти на метр. Срочно высылайте пароходы и плавучие средства для спасения жителей».

Чоп пожал плечами. За стенами бушевал шторм в одиннадцать баллов. Черные волны перелетали через мол и с размаху били в пароход, мотавшийся в порту на якоре. Ливень гремел пулеметным огнем по портовым складам из гофрированного железа.

Какие пароходы решатся идти из Батуми в Поти и о каких плавучих средствах думает начальник порта! В такую бурю даже океанский пароход не рискнет выйти в море.

Чоп хмурился. Безалаберный день! С утра исчез Христофориди, и Елочка сидела одна. Чоп дал ей книжку сказок, но прекрасно знал, что Елочка ничего не читает, а боится и временами плачет. Вспоминая об этом, капитан ежился. Да и как не бояться, когда за окнами сплошное хулиганство: волны колотят чуть ли не в стены дома.

«Ну, погоди, поганец, попадешься ты мне в лапы!» — подумал капитан о Христофориди и крякнул. Чертов день! По дороге на радиостанцию он два раза натыкался на змей. Спасаясь от наводнения, они лезли в порт и прятались в кучах марганца.

Всяких гадов, особенно змей и жаб, Чоп ненавидел. Он не мог видеть даже маринованных миног. Недоставало, чтобы в порт набежали из болот дикие кабаны!

Радист кончил передавать телеграмму и спросил:

— Ну, как начальник порта? Небось хвост дрожит?

— Ничего,— ответил Чоп,— петушится.

Была у Чопа и третья неприятность. Днем разбило о массив фелюгу с мандаринами. На фелюге был один только старик. Его вытащили. Этот злой и въедливый старик очумел от аварии и требовал, чтобы Чоп отправил шлюпку подбирать мандарины. Они скакали на волнах по всему порту. Турок клялся, что за гибель мандаринов Чоп будет отвечать на суде. Чоп послал его к черту.

Матросы с греческого парохода, похожего на плавучий трактир — так он был грязен и пропах бараниной и кофе,— пытались ловить мандарины ведрами на длинных веревках. Пароход мотало, и он то и дело показывал свою убогую палубу, желтую и затертую сапогами.

Чоп недолюбливал греческие пароходы за грязь и пристрастие греческих моряков к совершенно неподходящей раскраске. На голубой трубе они намалевывали громадную алую розу или целый венок из роз. Вообще трубы греческих пароходов, всегда разрисованные всякими фестон-

чиками и чуть ли не купидонами, бесили Чопа. Тоже моряки! Лимонщики!

Зазвонил телефон. Чоп взял трубку. С марганцевой пристани передавали, что на конце мола, где волны переносились через массив с легкостью разъяренных кошек, погасла мигалка.

Чоп натянул черную форменную шинель и вышел. Еще этого не хватало! Вдруг ночью какой-нибудь чудак пароход вздумает укрыться от шторма в порту; без мигалки он не найдет входа и налетит на камни.

Чинить мигалку почти невозможно: волна не даст подойти к молу — в одну секунду она нальет в шлюпку тонн пять воды.

Чоп дошел до конца пристани. Мигалка горела. Чоп долго смотрел на нее. Мигалка снова погасла и не давала света больше пяти минут. Вспышки должны были следовать одна за другой через десять секунд. Ясно, механизм испортился.

Потом мигалка замерцала совершенно правильно, потом снова потухла. Что за черт!

Чоп поднял к глазам бинокль и увидел человека, прятавшегося на балконе мигалки от волн.

Чоп окончательно обозлился. Полный развал в порту! Как человек мог попасть на мигалку? Объяснение могло быть одно: человек зашел на конец мола, чем-нибудь увлекся («Интересно,— подумал Чоп,— чем можно увлечься на молу во время шторма?») и не заметил усиливающейся волны. Когда он оглянулся, волны уже переливали через мол и путь к земле был отрезан. Чтобы спастись от волн, человек залез на балкончик мигалки; кстати, там был железный трап. До балкончика волны не доставали. Человек был маленький, вроде карлика.

— Интересно знать, что это за стервец? — пробормотал Чоп.— Из-за такого типа пароход может разбиться о массив. Безобразие!

Но как бы то ни было, человека надо было снять с мигалки.

В порту остались две шлюпки, все остальные были посланы в город спасать жителей. Чоп на одной из них пошел к мигалке. Он взял с собою двух матросов. Он ругательски ругал «трехпогибельный Кавказ» с его ливнями и беспокойной службой.

С трудом шлюпка пристала к каменной лестнице, и

Чоп, проклиная все па свете, стащил с мигалки окоченевшего и плачущего Христофориди.

— Ну и паскудник же ты! — сказал капитан Христофориди.— Убить тебя мало! Опять рыбу ловил?

Христофориди дрожал и плакал. Капитан привел его домой, дал переодеться и влил в рот рюмку водки. Потом он приказал Христофориди поставить чай и ушел.

Христофориди всхлипывал. Он просидел на мигалке восемь часов. Воспоминание об этом было одним из самых ужасных в его жизни.

Утром он пошел ловить рыбу. Ставридка клевала как нанятая. На молу со стороны порта было тихо, но за спиной Христофориди гремело море. Потом Христофориди начало заливать брызгами. Он встал и увидел, что в том месте, где мол делает крутой поворот к берегу, через него водопадом перелетают волны. Спасения не было. Христофориди оказался отрезанным от всего мира.

Он струсил. Его пугал грохот волн, их бешеная ярость. Ему казалось, что они смоют мол и сотрут его в порошок.

Христофориди залез на мигалку: фонарь защищал его от брызг. Он оглох от шторма. Он никогда не представлял себе, что море подымает такой оглушительный, неистовый шум.

Чоп отвез Христофориди домой, вернулся в порт и через несколько минут вышел на моторном катере в город.

Вода прибывала. Электростанция остановилась, и город погрузился в темноту. Только порт сверкал зелеными огнями. Они освещали пустые пристани, заросшие травой и залитые солеными лужами.

Катер с трудом проскочил через главный фарватер Риона, где вода шла бугром, как будто под ней во всю длину реки плыла гигантская змея, и ворвался с треском и пыхтеньем в залитые водой улицы.

В городе, несмотря на наводнение, было тихо. Почти все дома стояли на сваях. Только из некоторых домов пришлось перевозить жителей в собор.

Больше всего было возни со скотом. Коров и лошадей приходилось втаскивать на верхние этажи, и это рискованное занятие сопровождалось плачем женщин и руганью матросов.

Ливень стихал. По улицам плавали арбы. Вода стояла без движения, засыпанная множеством лепестков и листьев. Лягушки кричали на подоконниках домов и верхуш-

ках заборов. Они сыпались в воду горохом, когда моторка, разводя волну, влетела с разгону в широкие протоки улиц.

Около духана «Найдешь чем закусить» из воды выскочил жирный сазан. Капитан пожалел, что Христофориди остался в порту: вот где бы ему было раздолье! Можно было удить из окна собственной комнаты.

Город казался совершенно неправдоподобным. Моторка шла, освещая сильными фарами улицы, где переливалась и струилась вода. В воде била рыба, над водой цвели розы, и легкие волны хлестали в стекла окон.

Кахиани окликнул Чопа из окна. Он просил найти Пахомова. Как только началось наводнение, старик бросился па кольматационный участок.

Когда подошли к участку, уже светало. Участок стоял как крепость, окруженная со всех сторон водой. Шлюзы были открыты. Валы выдавались над водой всего на несколько сантиметров, но были целы.

Пахомов стоял с рабочими у первого шлюза. Он смотрел на необозримое мутное озеро, раскипутое до горизонта, на страну, затопленную ливнем, и улыбался. В рассветной мгле лицо Пахомова казалось серым.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил капитан и подумал: «Нашел время улыбаться, чудак!»

— Валы выдержали,— ответил Пахомов.— Участок цел. Но какой ужас, должно быть, у Габунии, в Чаладидах! Там было бешеное течение.

— Да, невесело,— пробормотал капитан и почему-то забеспокоился, вспомнив оставленных дома детей.

Пахомов отказался ехать домой. Он показал Чопу на медленно подымавшееся туманное солнце. Вся страна блеснула под ним белым мгновенным огнем, страна, превращенная в лагуну.

— Жаль! — сказал Пахомов.— Какое зрелище! Через месяц мы пробьем каналом дюны, и наводнения навсегда исчезнут из летописей этой страны. Вы присутствуете при последнем наводнении. Запомните это.

— Ну и слава богу! — пробормотал Чоп.— Отчаливай, ребята!

Елочка долго не спала. Она сидела на постели и читала сказки, оставленные ей Чопом. В кухне расположился Христофориди. Он навалил на себя старое капитанское пальто и одеяло, согрелся и страшно храпел.

Елочка прочла о том, как молодая девушка вошла в

комнату к седому игрушечному мастеру. Комната была такая маленькая, что шлейф прекрасного праздничного платья девушки не мог в ней поместиться.

Игрушечный мастер был слепой. Он сказал девушке:

«Я чувствую, как вы улыбаетесь, и знаю, что вас ожидает счастье. Я жалею, что слеп и не могу порадоваться, глядя в ваши счастливые глаза».

В порту визгливо заревела сирена греческого парохода. Елочка вздрогнула и заплакала. Мама уехала еще вчера. Чопа нет. И, кроме того, ей было очень жалко слепого игрушечного мастера: зачем он ослеп?

Елочка уткнулась в подушку и долго плакала. Наконец она уснула. Ей приснилось, что солнце вошло в ее комнату, но потом оказалось, что это не солнце, а молодая девушка в блестящем платье, и шлейф этого платья никак не мог поместиться в комнате и шумел шелком за открытой дверью. И девушка сказала знакомым голосом мамы:

— Как я благодарна вам, Чоп, что вы возились с Елочкой! Вы необыкновенный человек.

Море шумело за открытой дверью дома и играло то синим, то зеленым шлейфом, похожим на павлинье перо.

ОБИДА ЗА ОБИДУ

Аспиранта Института пушнины Вано Ахметели никто не мог упрекнуть в трусости. Поэтому, когда он узнал, что Абашидзе пошел с рабочими на старый турецкий канал Недоард снимать карты, Вано решил идти туда же.

Вблизи Недоарда, самого опасного и непроходимого места джунглей, лучше всего могла плодиться нутрия. Там стояли сплошные заросли ситника, лесного камыша, кувшинки и ириса — самой любимой пищи нутрий.

Вано ни разу не был на Недоарде и считал это служебным упущением: самый богатый для нутрии район, а он не написал о нем в своих донесениях ни единого слова.

Он решил подойти к каналу со стороны железной дороги. Он был уверен, что пройдет, так как недавний фён высушил землю.

Он вышел из города пешком, с компасом, ружьем и самодельной картой. В рюкзаке Вано тащил запас продовольствия на четыре дня.

За городом Вано догнал рыжий английский матрос

Сема. Они шли несколько километров вместе и объяснялись жестами. Потом матрос свернул в Чаладиды.

Сема показывал Вано какие-то медные части от паровой машины, свистел, трещал языком и пытался изобразить работу экскаватора. Вано понял, что матрос работает экскаваторщиком у Габунии.

«Странный тип! — подумал Вано.— Зачем он прет пешком за тридцать пять километров, когда завтра утром будет поезд?»

Простились они друзьями.

Вано переправился на лодке через Рион и углубился в джунгли.

Духота висела, запутавшись в ветвях. Болота пахли кисло и одуряюще. Земля качалась под ногами. Вано пугался, когда от его шагов вздрагивали до самой верхушки высокие грабы. Казалось, они вот-вот обрушатся на голову.

— Все это ты выкорчуешь и сожжешь,— сказал Вано, беседуя с невидимым Габунией.

Человек, оставшийся один в лесу, обыкновенно или разговаривает сам с собой, или свистит, или поет, или сшибает палкой сухие сучья. Ему кажется, что этим шумом оп создает вокруг себя широкую защитную зону.

Вано нашел среди болот едва заметную тропу. Он шел по ней, изредка проваливаясь в ил. Он строго придерживался правила, внушенного ему старыми охотниками: не отступать от тропы ни на шаг. По сторонам ядовито зеленели трясины.

Изредка лианы крепко хватали Вано за рюкзак. Приходилось снимать его и отрезать у лиан ножом согнутые большие колючки. Отломить их рукой было невозможно.

Перед вечером Вано вышел к берегу канала и радостно засвистел. Идти до того места, где канал расширялся в озеро и где водилась нутрия, осталось километра три.

Вано устроил привал. Духота в лесах настоялась, как чай. Воздух надо было с силой всасывать в легкие.

Вано снял рюкзак и замер: с запада прогремел орудийный удар. Вано посмотрел на небо: облаков не было. Удар повторился с новой силой, и у Вано заколотилось сердце. Он обругал себя трусом и полез на соседнюю ольху.

То, что он увидел с вершины дерева, привело его в смятение. Высокая туча росла со стороны моря. Она была

изрезана тонкими молниями. Так черный мрамор бывает расчерчен серебряными жилками. От тучи пахнуло дождевой свежестью.

Вано слез с дерева. Что делать? Идти обратно бесполезно. До ближайшей деревни все равно не дойдешь. Габуния ему говорил, что на Недоарде есть развалины крепости. В них можно спастись от наводнения.

Наводнение было неизбежно. Стоит только ливню дойти до гор, и на Колхиду ринутся тысячи потоков мутной воды.

Вано решил идти вперед, хотя и пе знал, где находится крепость. Стоять на месте было невозможно. От тревоги сосало под ложечкой.

Вано пошел. Частые молнии освещали тропу. Туча ползла по небу медленно и грозно. Изредка она ворчала глухим и протяжным громом. Тогда казалось, что в джунглях прячутся и рычат исполинские тигры.

Никогда в жизни Вано не испытывал такого чувства беспомощности перед страшными и величественными вещами, творившимися на небе.

Он часто останавливался и смотрел на тучу. Он надеялся, что она пройдет краем, но каждый раз с тревогой убеждался, что туча идет прямо на канал Недоард.

Цвет тучи был глухой и черный. Она роняла космы дыма, пыли и дождя. У горизонта туча сгущалась в непроглядную ночь.

Каждый острый блеск молнии заставлял Вано вздрагивать. Скорее бы хлынул ливень! В зарослях плакали и хохотали шакалы.

Вано увидел белый огненный шар, промчавшийся по вершинам деревьев. Деревья как будто задымились.

Он прижался к стволу ольхи и закричал. Гром расколол небо надвое. Вано услышал свой голос, и это его успокоило. Он решил закричать еще раз.

Он крикнул. Ему ответил глухой человеческий крик. Вано подумал, что это эхо. Он крикнул опять, и опять ему ответил знакомый голос. Вано показалось, что это кричит Абашидзе.

Он быстро пошел по тропе, все время перекрикиваясь с приближавшимся к нему человеком.

Стало совсем темно. Ливень все еще не начинался, только отдельные крупные капли тяжело шуршали в листве. Вано кричал и свистел; страх его прошел окончательно.

Внезапно голос встречного послышался в нескольких шагах впереди. Вано увидел темную человеческую фигуру. Блеснула молния, и он узнал Гулию.

— А-а-а,— сказал Гулия зловеще,— так это ты, крысиный сторож!

Вано молчал.

— Что же ты молчишь, не разговариваешь? На суде у тебя язык скакал, как птичка в клетке.

— Что тебе нужно? — глухо спросил Вано.

Он хотел потянуться за ружьем, но понял, что это движение может его погубить.

— Старые люди говорят: обида за обиду,— сказал Гулия хрипло.— Старые люди учат нас правильно жить. Как ты думаешь, мальчишка?

Снова ударила молния и прогремел гром. Вано увидел худое, острое лицо Гулии. Глаза охотника насмешливо блеснули.

— Гулия...— Вано жалко улыбнулся.— Чего ты от меня хочешь, Гулия? Пришли инженеры, и нам с тобой будет плохо. Леса вырубят. У тебя не будет заработка — ты охотник,— а у меня пропадет работа. Три года я возился с этим чертовым зверем. Нам нельзя друг на друга сердиться, кацо.

Гулия молчал. У Вано тяжело колотилось сердце.

— Зачем умному сердиться на дурака? — сказал Гулия глухо.— Ты дурак. Плевать я хотел на эти гнилые леса. Я теперь не охотник, я рабочий человек. Старые люди нас учат правильно жить. И молодые тоже. Только не такие, как ты. Чего дрожишь, кацо? Ты хотел посадить меня в тюрьму, а Габуния дал мне работу. Ты думал как дурак, а он думал как умный.— Гулия засмеялся.— Чего дрожишь, кацо? Боишься? Я тебя не хочу убивать. Пойдем.

Он повернулся и пошел вперед.

Через несколько минут они подошли к развалинам крепости. Абашидзе шумно их приветствовал.

Больше суток они просидели в палатке, разбитой на развалинах стены. Лил дождь. Вода стояла кругом, как море.

Вано сгорал от стыда. Он не мог смотреть в лицо Гулии. Дикий охотник оказался умнее его. Он сказал: «Плевать я хотел на эти гнилые леса»,— и он оказался прав.

Вано не замечал времени и с полным безразличием ушел вместе со всеми с Недоарда на Рион.

Опи шли весь день, поминутно проваливаясь в воду. Рабочие тащили тяжелые рейки. В лесах было пусто и тихо. Они не слышали ни одного птичьего голоса. Все живое ушло из джунглей. Даже не выли шакалы. Только лягушки скакали из-под ног да в болотах плавали, подняв голову, жирные ужи.

«Проклятое место!» — подумал Вано. И как он мог драться за то, чтобы сохранить весь этот мир миазмов, болот, гниющих лесов, мир лихорадки, наводнений, кукурузы и едкого торфа!

К черту! Один апельсин стоит сотни шелудивых шакалов!

ДОКЛАД КАХИАНИ

Доклады давались Кахиани с трудом, но зато они отличались у пего математической точностью.

«Сильный юго-западный шторм в одиннадцать баллов,— писал Кахиани,— намыл в устье реки Капарчи, находящейся в трех километрах от Поти, громадный вал из песка и запрудил эту реку. Одновременно начался сильный ливень. Он продолжался свыше шести часов.

Реки Рион, Капарча, Цива и Хопи, не считая десятков небольших рек, стремительно вышли из берегов и затопили всю прибрежную часть Колхиды.

На улицах города вода доходила до вторых этажей домов. Звери, испуганные наводнением, бросились в город и на остров, где находится порт. Остров не был затоплен. Особенно много наползло змей.

Наводнение причинило большие убытки нашим осушительным работам, но все же не столь значительные, как можно было предположить по силе ливня.

На магистральном канале в Чаладидах вода грозила смыть валы и свести к нулю трехлетнюю упорную работу. Благодаря героизму рабочих и инженера Габунии катастрофа была предотвращена.

Работы велись ночью, вручную. Единственный экскаватор не работал ввиду отсутствия запасных частей.

Инжепер Габуния руководил работами, несмотря на припадок тропической малярии. Он жестоко простудился и лежит сейчас с воспалением легких в потийской больнице. Во время ночных работ в Чаладидах погиб рабочий Ефрем Чантурия.

Кольматационный участок с честью выдержал испытание. Ни валы, ни шлюзы не пострадали. Инженер Пахомов около суток не покидал участка и руководил работами по охране его от разрушений.

Вышедшая в район канала Недоард топографическая партия во главе с Абашидзе в течение трех дней считалась погибшей. Розыски не дали результатов, так как проникнуть на канал без опытных проводников невозможно. Единственный знаток этих мест Гулия ушел с партией. Вчера партия вернулась в Чаладиды и привела с собой аспиранта Института пушнины Вано Ахметели, спасенного нашими рабочими в лесах.

Плантации, по сообщению главного ботаника Лапшина, почти не пострадали.

Сейчас мною начаты работы по расчистке в устьях рек песчаных пробок, являющихся одной из главных причин наводнения».

Кахиани поставил точку и поморщился. Доклад показался ему слишком поэтическим. Он подумал и вычеркнул слова «реки стремительно вышли из берегов» и «страшный ливень», но других поэтических слов не нашел.

— Черт его знает,— сказал Кахиани,— заразительная штука эта поэзия!

РАЗГОВОР О СТРАХОВЫХ ОБЩЕСТВАХ

Габуния поправлялся медленно. Первые дни он лежал в больнице без сознания. Он смутно помнил колючие усы врача, щекотавшие грудь, холодную руку у себя на лбу, хриплый шепот капитана и вереницы звезд. Они непрерывно летели за окнами в сторону гор.

В бреду Габуния старался сообразить, что происходит. Звезды, очевидно, падали в горах, как ливень, и в Колхиде каждую ночь начиналось невиданное наводнение. Вместо воды страну затопляло белое пламя. Оно подходило к груди, и в этом пламени с невероятной болью сгорало сердце.

— Хабарда! — кричал Габуния.— Всех людей на пятый пикет, кацо!

Врач укоризненно качал головой. Бред ему не нравился.

Потом Габунии казалось, что он идет с Чопом по джунглям навстречу синей полоске зари. Рассветный ветер хо-

лодит его лицо и волосы. Они идут вдвоем и ищут Сему. Его все нет. Тогда Чоп вынимает из кармана лезвие безопасной бритвы, говорит: «В этих местах мы его не найдем, надо переменить ландшафт»,— вставляет бритву в полоску зари между землей и небом, поворачивает бритву, как ключ в замке, небо со щелканьем отлетает назад — и открывается новая земля. Они идут не по джунглям, а по набережной Невы. Белая ночь поблескивает в черной воде. Черемуха дрожит от холода, свешиваясь с чугунных оград.

Чоп снова отщелкивает небо, и они плывут на пароходе по воде, пестрой от множества огней. Вдали на берегах нагроможден город. Он похож на груду старого стекла. Он блестит и переливается, и Чоп шепчет Габунии, что это Венеция и здесь можно купить у контрабандистов семена апельсинов величиною с дыню и подарить их Лапшину.

— К черту Лапшина! — кричал Габуния, приходил в себя и стонал.

Он знал, что этот бред повторится за ночь несколько раз. Бред его измучил. Он пытался бежать, вскакивал с койки, и сиделки с трудом укладывали его обратно.

Хина гудела в голове, как шторм. Габунии казалось, что на море непрерывная буря. Он бессмысленно смотрел на фиолетовое небо за окнами и соображал, какой же может быть шторм, когда солнце светит до боли в глазах.

После кризиса настали трудные дни. Единственное, что ощущал Габуния, была усталость, глубокая, небывалая усталость, когда он утомлялся от собственного шепота и от малейшего движения рукой.

Потом несколько дней он спал, почти не просыпаясь.

Разбудили его тяжелые шаги. Еще не открывая глаз, Габуния догадался, что человек, должно быть, первый раз в жизни идет на цыпочках. Он ставил ногу, половица скрипела, человек замирал, тяжело сопел и осторожно передвигал другую ногу.

Габуния открыл глаза и увидел в дверях широкую спину Семы. Сема уходил. Он балансировал на полу, и затылок у него покраснел от напряжения.

На столике около койки стояла начатая синяя жестянка с трубочным табаком — единственная величайшая ценность, принадлежавшая Семе. Габуния вспомнил, как Сема берег этот табак и курил его только раз в сутки.

Габуния не окликнул Сему. Спазма сжала его горло.

На следующий день перед вечером пришла Невская. Она принесла Габунии новые плоды, выращенные на опытной станции. Назывались они фейхоа. Они были светло-зеленые, матовые и овальные.

Габуния попробовал их. У плодов был вкус ананаса и земляники.

— Пахнет тропиками,— прошептал Габуния.— Замечательно!

Фейхоа пахла тем легким летним воздухом, каким пахнут морское утро и сады после прохладных дождей.

— Это редкий плод,— сказала Невская.— В нем очень много йода. Им можно лечить людей от склероза.

Она рассеянно говорила о растениях и внимательно смотрела на Габунию. Вверху, должно быть в квартире врача, играли на рояле. Невская прислушалась.

Габуния закрыл глаза. Он узнал мотив. Это была ария Лизы из «Пиковой дамы»: «Туча пришла, гром принесла...»

Невская порывисто встала, пригладила Габунии влажные волосы и вышла. В дверях она обернулась и молча кивнула ему головой.

На следующий день в больнице произошло нечто вроде скандала. Пришли Чоп и Сема. У Семы был обиженный вид. Казалось, этот верзила вот-вот заплачет. Он моргал глазами и сопел. Он возмущался.

Габуния плохо знал английский язык, но из лающих фраз Семы понял, что разговор идет о страховом обществе. Вообще Сема нес какую-то чепуху и поносил последними словами Миху.

Чоп перевел. Оказывается, несколько дней после наводнения Сема не мог работать. Когда он прорывался ночью из Чаладид на канал, лианы изорвали ему грудь и руки. Царапины распухли и загноились. Сема пять дней прожил в городе и ходил в амбулаторию на перевязки.

Когда он вернулся на канал, Миха сказал ему, что за эти пять дней он получит деньги из страховой кассы, так как он теперь застрахованный. Сема обругал Миху бандитом, полез с ним в драку, кричал, что здесь не Англия и что каждому, кто будет заводить паршивые английские порядки, он сделает из физиономии бифштекс.

Миха струсил и удрал. Сема кричал, что никто не имеет права застраховать Джима Бирлинга без его на то желания и что всякая страховка — жульничество и втирание очков.

— Парень, должно быть, был под мухой,— добавил Чоп от себя.— Выпил поллитровочки водки.

Сема понял. Он знал по прежней морской жизни, что значит «водка». Он покраснел, крикнул: «Но! Но!» — и отрицательно покачал головой. Потом он оттянул книзу тельник, показал три синих пятна на груди и сказал Чопу:

— Вот что я заработал от ваших страховых обществ. С меня довольно. Я не хочу иметь дела ни с одним страховым обществом в мире.

Сема рассказал историю синих пятен.

До первой мировой войны Сема плавал рулевым на пароходе «Клондайк». Пароход ходил из Ливерпуля на Ньюфаундленд, где, как известно, вечные штормы, туманы и айсберги.

На Ньюфаундленде есть маяк Ляйтвест, похожий издали на парусное судно, идущее навстречу. У этого маяка широкое основание и приземистая белая башня.

— Этот маяк,— рассказывал Сема,— был замечательным местом для аварий. Капитаны шли прямо на него, наскакивали на подводные камни и потом писали в судовых лживых журналах: «Авария произошла вследствие того, что в тумане маяк Ляйтвест был принят вахтенным за идущее навстречу парусное судно».

На самом же деле это был сплошной обман. Все капитаны прекрасно знали свойство маяка Ляйтвест и пользовались им, чтобы устроить аварию и избежать суда. Зачем, вы спрашиваете? А затем, что на Западе принято страховать дрянные пароходы, грузить на них всякий мусор, потом топить и получать за них страховку.

Капитан «Клондайка», по прозвищу «Навозный жук» (так его звали за грязную одежду; он никогда в жизни не чистил брюк и в ответ на дружеские замечания говорил: «Что я, негр, что ли, чтобы чистить себе брюки?»), с треском посадил «Клондайк» на камни у Ляйтвеста и думал, что осуществил аварию, как молодой бог.

Он крикнул радисту дать «SOS», но тут-то и случилась беда. Радио испортилось, и сколько радист ни потел, у него ничего не вышло. «Навозный жук» посерел.

А с океана, как нарочно, шел шторм. На второй день нам двинуло под скулу таким ветром, что завыли не только снасти, а даже кастрюли в камбузе. «Навозный жук» понял, что влип, и почернел.

На третий день па радиста снизошла благодать, он починил радио и дал «SOS». На четвертый день нас начало заливать с головой и ударил мороз.

К вечеру мы превратились в глыбу льда. Шторм крепчал.

На рассвете подошел спасательный пароход. Мы все собрались на палубе и привязали себя канатами кто к чему, чтобы не смыло волной.

Пароход повертелся около нас, увидел, что не справится, и ушел. Тогда «Навозный жук», как человек богобоязненный, признался нам, что посадил пароход нарочно, ругал арматора страшными словами и просил прощения.

У нас же не было сил даже набить ему морду.

Я привязал себя в штурвальной рубке к рулевому колесу, и оттуда меня вытащили на третий день, когда «Клондайк» сидел в воде по палубу. Три рукоятки колеса примерзли к груди. Их оторвали от меня вместе с моей собственной кожей.

Должен вам сказать, что это был первый случай аварии у Ляйтвеста, за которую арматор получил вместо страховки фигу с сиропом. На суде «Навозный жук» подтвердил все, в чем покаялся нам. Деваться ему было некуда.

Теперь он переменил профессию и работает по уничтожению крыс в Лондонском порту. Он ходит с корзинкой и бросает в дыры черствый хлеб с мышьяком.

Вот! И вы думаете, что после этого я кому-нибудь поверю насчет честности страховых обществ? Еще тогда, в больнице, я сказал себе: «Ну, Джим Бирлинг, если ты застрахуешь свою жизнь даже в тысячу фунтов, ты будешь последний дурак во всем Старом и Новом Свете. Хватит!»

Сема хлопнул ладонью по столу. Чоп вытаращил глаза и захохотал. Габуния впервые за время болезни рассмеялся.

Чоп долго объяснял Семе разницу между страховкой в Англии и в Советском Союзе. Сема наконец понял, но сразу не захотел сдаваться. Он проворчал, что нельзя называть разные вещи одними и теми же словами, обязательно случится путаница.

Сема был сконфужен случаем со страхкассой и ушел очень скоро. Чоп остался.

В связи с болезнью Габунии Чоп вел бесконечные разговоры о малярии:

— В царское время гарнизон в Поти начисто вымирал

от лихорадки каждые три года. Недурно? Отсюда и пошла солдатская песня о «погибельном Кавказе». Рыжий говорит («рыжим» капитан называл врача), что здесь встречается особенная лихорадка. Она называется болотным худосочием. Половина ваших рабочих-мингрелов больна этой болезнью. Я помню, Миха все удивлялся: «Жáра, говорит, у людей нет, а они едва тянут ноги». При этой болезни температура стоит ниже нормы. Но у вас не болотная, у вас настоящая потийская лихорадка. Оно и понятно: кругом гниение, вода и тепло, как в Западной Африке.

— А вы там были?

— Случалось,— ответил капитан.— Негры, между прочим, никогда не болеют малярией. Малайцы болеют, все остальные тропические народы болеют, одних негров она не берет. Удивительно! Я спросил у рыжего, в чем дело. Оказывается, этот самый малярийный плазмодий развивается в нашем теле под влиянием ультрафиолетовых лучей. А у негра кожа черная, через нее эти самые лучи не проходят.

— Вы опять выдумываете, Чоп,— сказал Габуния.— Люблю я ваши разговоры!

Чоп хитро посмотрел па Габунию:

— Выдумываю? Спросите рыжего. Снисходя к вашему болезненному состоянию, я не обижаюсь.

— Что же дальше?

— Оказывается, хинин оседает на стенках сосудов тоненькой пленкой и долго не рассасывается. Хинин не пропускает ультрафиолетовых лучей. Он их отрезает наглухо. Лучи не могут попасть в человеческий организм, и малярийный плазмодий погибает. В этом сила хинина. Я ведь тоже болел желтой лихорадкой.

— Где?

— На островах в Тихом океане. И, представьте себе, впечатление у меня от этих островов осталось какое-то хинное. Я ел хинин чайными ложками. Одурел, оглох и шатался, как алкоголик. Ем бананы — горькие, пью воду — горькая. Руки синие. Встать со стула и пройти по каюте до койки — целое событие. И тамошняя жара казалась мне форменным обманом. Умом знаешь, что воздух горячий, а кажется, будто это не воздух, а лед. Миазмы, запахи, пышность... Страшноватые в общем места. Вырождение. Люди тычутся со стеклянными глазами, трясутся, мычат. Чепуха! Очень здорово, что вы начисто уничтожае-

те этот проклятый малярийный край и создаете на его месте новый. Раньше здесь пустяками занимались. На малярийной станции расставят вокруг дома стекла, смазанные клеем, и смотрят, на какое стекло больше налипает комаров. Раз на северное,— значит, комар летит с севера; раз на восточное,— значит, с востока. Потом брали бидоны, шли в те места, откуда прилетал комар, и прыскали болота керосином. Вот и все. Детское занятие... Ну, мне пора,— спохватился капитан.— Разболтался, дурак. Вам нужен покой.

Габуния неохотно отпустил капитана. Во время болезни он мог часами слушать его болтовню и расспрашивать о том, что делается «на воле», за стенами больницы.

БОЛОТНЫЙ ХОЗЯИН

Гулия отпросился у Абашидзе на охоту. Абашидзе подозрительно взглянул на него и побарабанил пальцами по чертежной доске.

— Чикалку[1] все в болота тянет? — спросил он насмешливо.

Гулия смущенно мял в руках войлочную шляпу.

— Последний раз, кацо. Говорю тебе как перед смертью. Последний раз. Есть дело. Очень важное дело, кацо.

— Какое?

— Скоро узнаешь.

— Ступай! — сказал Абашидзе.— Но через два дня возвращайся. Пойдем мерить болота на Хопи.

Гулия зашел в походную мастерскую. Он отдал слесарю починить курок от ружья. Он присел около слесаря на корточки и долго смотрел, как ходит напильник по серебристой стали.

Блестящая металлическая пыль роилась в солнечном луче. Он падал через щель в стене, и сквозь эту щель Гулия видел свежую насыпь канала и леса, усталые от жары. Они склоняли до земли увядшие тонкие ветки.

— Ва, друг! — сказал слесарь.— Что тут было, когда вода пошла с гор! Инженер Габуния принес медный бюст и бросил его в горн и сказал сделать из этой меди втулку.

— Бюст? — спросил с недоумением Гулия.

---

[1] Чикалка — искаж. от «шакал». *(Примеч. автора.)*

— Ленина,— сказал таинственным голосом слесарь.— Говорят, он возил его с собой из Ленинграда в Тбилиси, а оттуда сюда, и ему его очень жалко.

— Что такое бюст? — снова спросил Гулия.

— Такой маленький памятник, это называется бюст.

Гулия покачал головой: ну да, он знает. Он видел бюсты. Гулия вспомнил статую женщины. Он помолчал и спросил:

— Ему было очень жалко?

— Очень, кацо.

Гулия взял ружье, дал слесарю в счет платы пачку сухих табачных листьев и ушел.

Два дня бродил он в болотах. На третий день он пришел в Поти, в духан «Найдешь чем закусить», и долго шептался с хозяином. Он притащил мешок с чем-то тяжелым.

Было солнечное утро, и духан приобрел праздничный вид. Картина Бечо лоснилась свежими красками. Их синие и желтые отсветы блестели в глазах у Гулии и хозяина. От этого их разговор казался очень веселым и хитрым.

Хозяин сопел и волновался. Он долго щупал мешок и качал головой. Потом вместе с Гулией он оттащил мешок в чулан.

К вечеру Гулия пришел в больницу навестить Габунию. Инженер уже ходил по палате, держась за стулья и стены.

Гулия вошел мягко, как кошка. Он остановился в дверях и низко поклонился Габунии. Стриженая его голова серебрилась сухой сединой.

— Гамарджоба, товарищ,— сказал он Габунии и вынул из-за пазухи большой сверток.— Прими от простого человека подарок. Кушай и будь здоров.

Габуния развернул тяжелый сверток. В нем был кабаний окорок, покрытый золотым жиром. Мясо чуть попахивало смолой.

— Спасибо, приятель! — Габуния протянул руку Гулии.— Ты еще не бросил охоту?

Гулия выпрямился:

— Нет, бросил. Это последний кабан. Когда ты спас меня от суда, я сказал себе: «Последнего кабана, какого ты убьешь в болоте, ты подаришь инженеру Габунии, сыну старого машиниста из Самтреди. Он сделал тебя человеком». Это — последний кабан. Смерть пришла болотам, и

жизнь пришла людям. И еще я хотел тебе сказать: ты бросил фигурку, что была у тебя в комнате, в огонь. Тебе ее очень жалко?

— Конечно, кацо.

— Слесарь мне сказал то же самое. Ты не огорчайся. Когда ты сможешь ходить и будешь свободен, мы пойдем с тобой в болота на целый день, и я тебе покажу замечательную вещь. Болото прячет ее от людей. Я один ее видел.

— Какую вещь?

— Не торопись, посмотришь. Она лежит в болоте тысячу лет.— Гулия засмеялся.— Я был начальником над болотами, как когда-то князь Дадиани над Мингрелией. Я был болотный хозяин. Все, что находил в болотах, было мое. И эта вещь тоже моя. Я тебе ее подарю, раз ты так любишь фигурки.

Несмотря на расспросы Габунии, Гулия так и не сказал, что за вещь спрятана в болоте. Он только отрицательно качал головой.

Потом он ушел в духан. Там в этот вечер Артем Коркия, Бечо и несколько приятелей чествовали самого смелого человека в Поти — прораба Миху. Слухи о геройском поведении Михи во время наводнения передавались из уст в уста.

Когда Гулия вошел, Артем Коркия поднял к потолку самшитовый посох и крикнул:

— Что я слышал: ты уже продал свою охотничью собаку, кацо!

— Сегодня я продаю ружье, старый болтун,— сказал Гулия и сел к столику.— Зачем ружье рабочему человеку? Ему нужны умные руки.

БЕГСТВО

Полгода назад Лапшин поспорил с Невской из-за того, где лучше сажать новый сорт чая «белые волосы»: на склонах холмов или в низинах. Лапшин настаивал, чтобы сажали в низинах, где кусты будут защищены от ветра. Невская требовала, чтобы чай был посажен на склонах холмов. Она доказывала, что в низинах чай может пострадать от холода.

Опытные посадки сделали и на склонах холмов и в низинах и стали ревниво следить за ростом кустов. Соревнование чайных кустов началось при общем пристальном внимании.

Но тут произошло столкновение Лапшина с инженером Габунией.

Лапшин решил на землях, осушенных главным каналом, посадить лимоны. Габуния резко восстал против этого. По его мнению, земля вдоль канала больше подходила для рами.

В спор вмешался Кахиани и послал доклад в Москву. Москва ответила, что сажать нужно рами.

После этого Невская заметила, что Лапшину следовало бы поехать на курсы по усовершенствованию ботаников. Лапшин обиделся и перестал с ней разговаривать. Самоуверенность этой женщины начинала его раздражать. Он искал повода, чтобы сказать Невской очередную колкость. Повод нашелся очень скоро.

Из консерватории пришло письмо о провансальском тростнике. Консерватория запрашивала, не растет ли этот тростник в Колхиде в диком состоянии и нельзя ли разбить вблизи Поти первую плантацию этого тростника. Лапшин повертел письмо и пожал плечами: зачем консерватории понадобился тростник? Он написал на уголке мелким почерком:

«Ответить: никакого провансальского тростника в Колхиде нет и не было».

Письмо попало в руки Невской. Она пришла к Лапшину, положила перед ним на стол письмо и круглый сухой стебель тростника и сказала:

— Вы ошиблись. Этот тростник растет здесь в диком состоянии. Вот образец.

— Да, но зачем им этот тростник?

— Как — зачем? Из него делают флейты, фаготы, альпийские рожки.

— У нас есть более серьезные задачи, чем заниматься свистульками.

— А музыка — это не серьезно?

— Много шуму из-за пустяков,— ответил Лапшин.— Вот все, что я могу сказать о музыке.

Невская покраснела. Как может говорить такие дикости человек, причастный к созданию в Колхиде новой

природы, к этому грандиозному явлению, которое могло бы послужить темой для самой могучей симфонии!

Поздним вечером Лапшин пошел в духан «Найдешь чем закусить». Заведение это называлось духаном по старой привычке. Духан давно был превращен в кооперативную столовую.

У Лапшина началась бессонница. Он обвинял в ней банный климат Колхиды и дерзости Невской, вызывавшие у него, как он говорил, «нервную злость». Он зашел в духан выпить вина, надеясь после этого крепко уснуть.

В духане было пусто. Хозяин дремал за стойкой, как седая сова. Тусклые лампочки освещали картину Бечо.

Лапшин всмотрелся в нее. Как здесь все напутано! Разве у рододендронов бывают такие листья? Почему художники всегда перекраивают действительность по-своему и кому это нужно?

За дальним столиком Лапшип заметил Габунию и Невскую. Габупия окликнул Лапшина и пододвинул ему стул. Лапшин пеохотно сел. Его тяготило присутствие Невской.

Чтобы завязать разговор, Лапшин сказал, усмехнувшись:

— Чем больше я смотрю на эту картину, тем больше возмущаюсь. Разве это лимоны? Пивные бутылки!.. А листья! Ведь это же осколки зеленой посуды... И пароходы никогда не входили в Рион, потому что им мелко, п растительные богатства в Колхиде будут совсем пе так разнообразны, как на картине. Я не понимаю, почему художникам разрешают переиначивать все так, как им взбредет в голову.

Габуния усмехнулся. Лапшин похолодел.

— А что же вы понимаете в этом, разрешите спросить? — сказал он голосом, показавшимся противным ему самому.— Что вы находите в этой мазне?

— Будущее,— ответил Габуния.— Кстати, вы Ленина и Писарева читали?

— Кое-что.

— Я вам напомпю.— Габуния говорил медленно и неохотно.— Ленин говорил, что в самой элементарнейшей общей идее есть кусочек фантазии. Он говорил, что пелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке. Не было бы фантазии — не было бы кольматажа, как не было бы и эвкалиптовых лесов в Колхиде.

Ленин ссылался на Писарева. Писарев писал пример-

но так: «Если бы человек не мог забегать вперед и созерцать в своем воображении в законченной картине то творение, которое только что начинает складываться под его руками,— тогда я решительно не могу себе представить, какая причина заставила бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни». Видите, я цитирую почти наизусть, а я боялся, что у меня от малярии пропадет память. Вот вам и ответ на вопрос. На картине Бечо — будущая Колхида. Я смотрю на эту картину, и мне хочется жить в той стране, какую написал Бечо. И я буду в ней жить.

— Прекрасно! — сказал Лапшин, бледнея.— С этим приходится согласиться. Но чем вы оправдаете непохожесть того, что нарисовано здесь, на стене, на подлинную действительность?

Невская подняла глаза на Лапшина.

— Чем? — спросила она.— А тем, что всякое творчество, в том числе и научное, начинается там, где кончается глупое и голое копирование окружающего мира. Природа производит, но не творит. Творит только человек.

Лапшин молчал. Он плохо понял Невскую.

В разгар спора в духан вошли два скрипача из городского сада. Они молча сидели за пустым столиком и осторожно пощипывали струны на скрипках.

Тонкие звуки пересыпались, как будто в скрипках катались хрустальные шарики.

Пораженная молчанием Лапшина и его усталым видом, Невская решила, что они чересчур резко нападают на него, и сказала с мягкой улыбкой:

— Вот вы не очень любите музыку, правда? Сейчас они сыграют вам арию...— Невская повернулась к Лапшину: — Увидите, как вы ошиблись.

Она подошла к музыкантам и попросила их сыграть арию Лизы из «Пиковой дамы»: «Туча пришла, гром принесла...»

Габуния переставил на столик музыкантов бутылку вина.

Музыканты посовещались и согласным движением подняли скрипки к плечу. Тревожная мелодия разбудила хозяина духана. Он протер глаза, зевнул и уставился на скрипачей. На его дряблом лице толстяка, просидевшего всю жизнь за стойкой, появился намек на улыбку.

Скрипки плакали, будто их мучил собственный голос. Потом они сразу стихли. Хозяин духана тяжело вздохнул.

— Ну как? — спросила Невская Лапшина.

— Никак! — Лапшин встал.— Я полагаю, что музыка интересует только влюбленных. А тех, кого интересует музыка, должно, естественно, интересовать и все, что к музыке относится, хотя бы провансальский тростник.

Невская вспыхнула:

— Что вы хотите сказать?

— Только то, что вы сентиментальны.

— Глупо! — сказала Невская и отвернулась.

Наступило неловкое молчание. Лапшин отомстил. Он вышел из духана. Хозяин почесал волосатую грудь и прохрипел, показывая глазами на дверь, куда вышел Лапшин:

— Несимпатичный!

Вскоре Лапшину пришлось торжествовать второй раз. Кусты «белых волос» взошли одинаково и на склонах холмов и в низинах. Некоторые, в том числе Кахиани, считали, что кусты, посаженные в низинах, даже лучше: они несли больше листьев и были крепче. Невская созналась в своей ошибке и извинилась перед Лапшиным.

С обеих посадок собрали самые молодые и еще клейкие листья и отправили на чайную фабрику. Надо было испытать чай на вкус.

Фабрика приготовила оба сорта чая и прислала их обратно. Невская принесла образцы чая домой и снова ушла на опытную станцию.

Чоп немедленно заварил оба сорта чая. Ему вспомнилось то время, когда на клипере матросы воровали этот чай и пили изумительный душистый напиток зеленоватого цвета.

Когда Невская вернулась поздно вечером, она застала Чопа в величайшем возбуждении. Он ходил по комнате и ругал кого-то страшными словами. Невская решила, что Христофориди опять выкинул какую-нибудь глупость, и думала вступиться за мальчика, но капитан, увидев ее, крикнул:

— Вы утерли нос этому сухарю! Поздравляю! Я выпил его чай, и меня тошнит: пареный веник. Пробуйте сами.

Он налил Невской чашку чаю. Чай действительно попахивал окисью меди.

— Этот человек дискредитирует советские субтропи-

ки! — сказал торжественно Чоп.— А теперь пробуйте вот этот чай, ваш.

Невская попробовала. Терпкий вкус этого чая, казалось, принадлежал совсем другому сорту.

— А сорт один! — закричал капитан.— Сорт один! Оба — «белые волосы».

Невская думала: в чем причина такой разницы во вкусе и запахе? Очевидно, в том, что на склонах холмов теплее и суше. В низинах застаивается холодный воздух. Она делала много наблюдений, и всегда в низинах, особенно зимой, воздух был холоднее, чем на холмах. Градусов на пять. Опыт с чаем говорил о необыкновенной тщательности, с какой надо было производить посадку тропических растений в Колхиде, где так резко выражен микроскопический климат.

Через несколько дней из Чаквы пришел анализ обоих сортов чая. Лапшинский чай был признан средним сортом, чай Невской — самым высшим. В этот же день Лапшин подал Кахиани просьбу об отпуске. Он долго спорил с горячившимся Кахиани. Кахиани пожимал плечами и недоумевал.

Люди, по его мнению, окончательно поглупели. Что ему нужно? Отдых? Отдыхать можно и здесь, не бросая исследований. Солнце? Его здесь хватает с избытком. Моря тоже достаточно. Воздух в Колхиде прекрасный. А тишины, особенно на окраине Поти, где живет Лапшин, хоть отбавляй, даже не слышно собак. Не страна, а чистая поэзия. Лапшин настаивал, и Кахиани сдался. Возражал он больше из принципа. Когда Лапшин вышел, Кахиани пробормотал:

— Если бы женщина обставила меня, старого инженера, я бы ей в ноги поклонился. Подумаешь, обидно! Подумаешь, я не понимаю, почему он просится в отпуск! Подумаешь, какая сложная натура! Самолюбие есть у каждого, но надо уметь вовремя его прятать в карман и вовремя его вынимать из кармана, кацо!

РЕЧЬ АРТЕМА КОРКИИ

Христофориди с азартом чистил ботинки маленькому пионеру-мингрелу. Пионера звали Сосо.

Сосо видел в блестящих носках ботинок свое широкое ухмыляющееся лицо и новенький красный галстук.

Артем Коркия, дедушка Сосо, стоял рядом, опираясь на посох. Он следил за чисткой ботинок и ворчал на Христофориди. Ему казалось, что шустрый гречонок кладет мало мази. Христофориди презрительно огрызался: «Чем меньше мази, тем ярче блеск. Чего привязался!»

Никогда еще Артем Коркия не испытывал подобного торжества. Его внук, маленький мальчик, вступил в пионеры. Это звание Коркия считал первой ступенью к тому, чтобы стать таким инженером, как, например, Шалва Габуния.

Но этого мало. Пионерский отряд поручил Сосо приветствовать ученых людей за их труды в Колхиде.

— Где ты будешь говорить речь, золотой мальчик? — спросил Христофориди Сосо.

Сосо хотел обидеться: в этом вопросе ему послышалась насмешка. Но он боялся вспыльчивого чистильщика сапог — знал, что Христофориди носит в кармане рогатку,— и решил промолчать.

Около Сосо начала собираться толпа. Подошел Гулия, одетый в синюю куртку и синие штаны, какие носят матросы, подошла старая прачка с Большого острова, наконец, подошел милиционер Гриша.

Коркия пачал кричать; он не мог говорить тихо.

Он кричал, что ученые люди открывают в Поти выставку, где будут показывать новые плоды и овощи и разные дорогие растения, и на открытии выставки Сосо скажет речь, такую речь, что не прочтешь и в «Правде»!

— Меня душит смех слушать этого старого хвастуна,— сказал Гриша.— Он же неграмотный и никогда не читал «Правды».

Коркия смутился:

— Грех говорить такие слова старому человеку. Я пе умею читать, но этот мальчик читает лучше, чем все милиционеры от Поти до Кутаиси.

Начался спор. Когда крик надоел Христофориди, он отчаяпно застучал щетками по ящику. Спорщики стихли. Христофориди отказался взять деньги за чистку.

— Пионерам бесплатно! — бросил он небрежно, и сердце его наполнилось гордостью за собственный благородный поступок.

Коркия пошел по улице, держа за руку внука. Он ощущал этот день, омытый педавним дождем, как праздник. Он взошел над его потухшей жизнью, будто новое солнце.

Коркия придумывал неясные и пышные слова, какие он мог бы сказать на открытии выставки. Если удастся, то он их, конечно, скажет, как старейший житель Хорги, где на днях откроют главный канал.

Весь вечер и всю ночь перед открытием Невская провела на сельскохозяйственной выставке. Кроме нее и Чопа, в зале никого не было. Чоп пытался болтать, но Невская отвечала нехотя и невпопад. Ей не хотелось говорить. Чоп заметил это и стих.

Невская останавливалась около отдельных растений и плодов и рассматривала их внимательно, будто видела впервые.

Электрические лампы висели среди растений и были похожи на ослепительпых белых жуков. Листва заглушала их свет.

Невская прислушалась. Ей показалось, что она слышит едва уловимый шелест листьев, потрескивание веток, шорох земли, впитывающей воду.

Она знала все эти растения, любила их, привыкла к их капризам и слабостям, ценила их за явные и скрытые богатства. Эти молчаливые существа вырабатывали драгоценные соки где-то в своих корнях, в стволе, в коре, цветах и завязях.

Соки эти были разнообразны и крепки, как старое, душистое вино. Были соки лечебные, ароматические, питательные, предохраняющие от гниения, одуряющие, отрезвляющие, тягучие, как резина, жидкие, жирные и утоляющие жажду.

Сложный и изумительный процесс химического превращения элементов происходил в сосудах растений. Солнце, воздух, пресная вода, рионский ил и темнота — да, темнота, потому что без ночной темноты растения жить пе могут,— все это создавало плоды с головокружительным запахом.

Невская обходила растения, и великолепный мир раскрывался перед ней. Вся история человечества, его материальной культуры, вся география были заложены в спокойных деревьях.

Тут были бамбуки и эвкалипты, розовые бататы, мучнистые и сладкие, и японская редька весом в восемь килограммов.

Большие оранжевые шары грейпфрута напоминали по вкусу апельсин и лимон.

В померанцевых плодах — в лимонах, апельсинах, кинканах и мандаринах — заложен таинственный витамин С. Если его не вводить в пищу, начинается цинга, скорбут — болезнь полярных экспедиций, когда из десен течет гнилая кровь, люди вынимают пальцами изо рта ослабевшие зубы без всякой боли и каждое движение кажется каторжной работой.

Эти растения были верными друзьями детворы. Недаром листья у японских мандаринов «уншиу» походили на детские руки. Невская потрогала их: на листьях были блестящие припухлости, как на ладонях у ребят. Маленькие деревца таких мандаринов приносят каждый год до четырех тысяч плодов. Когда они цветут, то из-за завязи почти не видно листьев.

Невская перебирала апельсины. Вот ризские — самые грубые. Их каждую осень привозят турки на фелюгах из Трапезунда. Фелюги качаются в порту, заваленные пирамидами незрелых апельсинов, и лодочники продают их мешками.

Вот апельсин с резким винным вкусом. Вот маленькие апельсины величиной с орех — кинканы.

Лимоны, холодные, как бы облитые желтым цветом зари, лежали на подстилке из травы. Невская подняла лимон «ляймкват». Он был прозрачный. Сквозь тонкую кожицу просвечивали косточки. Этот лимон может выносить суровые зимы.

Невская была уверена, что все растения субтропиков прекрасно вынесут климат Колхиды и ее редкие снежные зимы. Нужна лишь небольшая защита. Старожилы рассказывали, что нежные растения гибнут не столько от мороза, сколько от снега: под его тяжестью ломаются ветки.

Снег зимою в Поти бывает очень редко. Этот субтропический снег отличается от северного: он очень мохнатый, обильный и тяжелый.

Невская взглянула на часы. Было уже больше полуночи. Она попросила Чопа пе ждать ее и идти домой. Чоп ушел.

Невская очень долго нюхала плоды горьких апельсинов. Их цветы — знаменитый флердоранж, принадлежность старинных свадеб,— шли на одну из самых тонких по запаху эссенций.

К плодам хурмы, карминным, покрытым сизым потом, нельзя было прикасаться: они от этого портились. Это

были громадные плоды, в два килограмма весом. Из них делали сахар и сидр.

Рядом с хурмой лежала скромная мушмула, вылечивающая болезни почек, стояло за проволочной сеткой китайское лаковое дерево и лежали образцы тюльпанового дерева. Вертикальные слои древесины у него были не параллельны друг другу, как у всех нормальных деревьев, а завязаны в замысловатые узлы и узоры. Это придавало ему гибкость и твердость. Тюльпановое дерево разводили для аэропланных пропеллеров.

Невская любила персики всех оттенков, от розового до желтого. Они напоминали пушистые детские щеки. Сок одного такого персика мог наполнить целый стакан.

Невская прошла в отдел волокнистых растений. Там стояла стройная и неказистая с виду крапива — рами.

Большие плантации рами уже были разбиты к северу от главного канала. Рами косили по два раза в год. С каждого гектара эта простушка крапива давала восемьсот килограммов желтоватого волокна, блестящего и крепкого, как шелк.

Тут же торчали острые листья драцены. Их не могли разорвать даже самые сильные портовые грузчики; они только резали себе руки и потели.

И, наконец, здесь рос подарок старого мореплавателя капитана Джемса Кука: новозеландский лен.

Невская вспомнила рассказы Чопа о Куке. Во всех профессиях можно найти власть хороших традиций. Эти традиции вспыхивали в Чопе с особой силой, когда он вспоминал имена суровых и простых капитанов, сочетавших в себе рассудительность с отвагой и скромность с величавыми поступками.

Чоп знал их биографии и мог рассказывать о них часами.

Невская все больше утверждалась в мысли, что этот человек носит в своей памяти россыпи интереснейших знаний.

О Куке Чоп заговорил после фёна. Он вспомнил поведение Лапшина и сказал Невской:

— Лапшин — ученый. Я профан. Капитан Кук всю жизнь считался невеждой. Ученые терпели его как опытного моряка и начальника экспедиции, но в грош не ставили как исследователя. Чего было ждать от человека, который не умел гладко излагать свои мысли! Кук знал

это, и поэтому он, моряк, не боявшийся ни тайфунов, ни льдов, ни бога, ни дьявола, страшно боялся ученых, заикался перед ними и лишь изредка заносил в свой дневник то, что думал. Он даже бумаге боялся поверять свои мысли, настолько они казались ему неуклюжими. Но иногда среди записей о ветрах, облачности, долготах и широтах и обкуривании кораблей серой у Кука попадаются неожиданные строчки. Когда Кук пробивался к Антарктике, пробивался как помешанный сквозь льды и штормы, когда команда не узнавала своего тихого капитана, в дневнике Кука появилась запись: «Красота этих мест наполнила мою душу восхищением и ужасом...»

После волокнистых растений Невская прошла мимо тунговых деревьев, дающих прекрасное масло, к зарослям герани.

Она растерла в руках листья, и острый запах геранневого масла напомнил ей сонную провинцию, летние дни и вазоны с геранью за кисейными занавесками.

В старое время герань презрительно называли цветком мещан и обывателей. На самом же деле это был цветок рабочих окраин, единственный цветок — гость солнечных стран, скрашивавший жестокую жизнь слободской бедноты. Он был дешев и буйно рос в самых угарных подвалах.

Она прикоснулась к напрасно обиженным кустам герани. Они выбрасывали вверх стрелы стеблей с круглыми веерами красных цветов. Криптомерии протягивали над ними мохнатые ветки. На них, как гроздья черники, висели тысячи маленьких спрессованных шишек.

Овощи пахли сырой землей, сухие сигарные табаки — сладкой пылью. Рис и пшеница лежали горами тяжелых зерен.

Невская села на диван около камфарных лавров. От усталости у нее разболелась голова, а запах камфары успокаивал боль. Она потрогала плоды сального дерева, покрытые толстым слоем твердого жира. Из этого жира в Китае делают прекрасные свечи и мыло.

Невская знала, что в Колхиде можно вырастить пятнадцать тысяч видов тропических и субтропических растений. Все богатства, собранные на выставке, показались ей только намеком на будущее этой страны.

Она задремала. Разбудил ее ветер. Он дул в открытое окно, играл листвой и гонял по потолку солнечные зайчики от луж.

Ветер растрепал волосы Невской, защекотал в глазах и сдул на пол опавшие лепестки герани.

Невская вышла на улицу. Сырые мостовые пахли морем. Буйволы тащили арбу с редиской. Они смотрели на Невскую синими печальными глазами. Аробщик спал. С редиски капала вода.

На улицах было пусто. Только милиционер Гриша стоял и курил на перекрестке. Он улыбнулся Невской и поднял руку к козырьку.

Медленно взошло солнце.

Невская прошла в порт и выкупалась с мола. Изредка от края до края мола перекатывался заунывный шум — то спросонок разбивалась о камни волна.

Вода была очень холодная и сразу согнала усталость. Когда Невская одевалась, солнце насквозь залило порт, тихую воду в гаванях и ржавые борта парохода.

Над палубой парохода подымался легкий дымок. Матросы мылись у борта, смеялись, толкали друг друга в спину и лили воду за шиворот.

Стая ставридок осторожно подошла к водорослям, покачалась около них в прозрачной воде и серебряными брызгами бросилась в стороны. Из водорослей выскочил и побежал боком по камням сердитый краб с выпученными глазами.

Невская вернулась домой и разбудила Елочку и Чопа. Надо было собираться на открытие выставки.

Выставка открылась в полдень. Съехалось много колхозников из Хорги, Супсы, Сенак и Анаклии. Приехали Габуния с Михой, пришел Пахомов.

Выставка открылась речью Кахиани.

— Товарищи! — сказал Кахиани и строго посмотрел на собравшихся.— Я имею к вам маленький вопрос. Кто из вас болел малярией? Всех, кто болел малярией, прошу поднять руки... Так! Все болели, только вот тот бичо, маленький мальчик с красным галстуком, не болел этой неприятной болезнью.

Что такое малярия? Это нищета, товарищи! Край наш был нищим из-за малярии, и вы сами знаете, сколько в болотах вымерших и брошенных деревень.

А между тем Колхида — самая богатая советская земля, самая теплая, плодородная и солнечная земля, говоря

языком таких поэтов, как Шота Руставели и Александр Пушкин.

Но эта земля залита болотами. Мы их высушим и создадим здесь тропический район. На этой выставке вы увидите все, что в первую очередь будет расти в Колхиде.

Величайшим преступлением было бы разводить на этих золотых землях — я извиняюсь за это сравнение — такие грубые вещи, как кукуруза и просо. Их вы сеяли всю жизнь, а теперь будете сажать чай, мандарины, рами и лимоны. Берег моря от Анаклии до Кобулет превратится в сплошную полосу курортов.

Но не только в том ценность нашей работы, что мы осушаем болота и создаем новую землю, что мы в корне уничтожаем старую болотную растительность — ольху и ситник,— и насаждаем совершенно новую. Не только в этом смысл нашей работы, товарищи. Он еще и в том, что мы создаем молодое, здоровое поколение.

Вы могли работать не больше четырех часов в день. Малярия выжимала вас, как тряпку. Вы валялись в дощатых домах, стонали и не могли пошевелить ногой. Это длилось веками, товарищи. Но этого больше не будет. Мы убьем болезнь, и наши дети будут такими же румяными, как райские яблоки...

Кахиани опять поймал себя на поэтическом сравнении и покраснел.

— Мы создаем район влажных субтропиков. Мы создаем новую природу, достойную социалистической эпохи. Но помните, товарищи, что природа не может процветать без постоянного и бдительного надзора со стороны разумного человека. Берегите новую природу, иначе она одичает.

История Земли дала нам много примеров измельчания природы в тех случаях, когда человек выпускал ее из своих рук. Предоставьте вот это дерево — инжир, дающий громадные сочные плоды,— предоставьте его себе, и через десять лет оно выродится. Его плоды сделаются величиной с орех и потеряют вкус. Все вы прекрасно знаете разницу между диким и культурным виноградом, между дикими и культурными яблоками. Это азбучная истина, но некоторые...— Кахиани посмотрел на Вано Ахметели,— очень долго не хотели в нее верить...

Музыканты ударили по струнам. Коркия толкнул Сосо в спину.

Мальчик вышел, покраснел, как помидор, и сказал не-

сколько слов по-грузински. Он говорил, что мингрельские дети будут беречь новые леса и деревья и помогать инженерам создавать счастливую страну.

Мальчику много хлопали. Оркестр опять играл туш, и Христофориди, спрятавшись за спинами колхозников, изнывал от зависти.

Потом говорили Пахомов и Невская. Христофориди ничего не понял. Наконец вышел старик Артем Коркия. В толпе произошло движение.

Коркия поклонился Кахиани, открыл рот, подумал и сказал:

— Мадлобели, кацо [1].

Он опять открыл рот, помолчал, крякнул и протянул Кахиани свою самшитовую палку.

Коркия гордился ею. Он ее вырезал, когда ему было двадцать лет. Палка была крепче железной. Пусть Кахиани ходит с ней до конца жизни, и пусть он живет еще сто лет.

Кахиани взял палку и поцеловался со стариком. Оркестр заиграл плавный марш, и все пошли осматривать выставку.

А вечером в духане Артем Коркия рассказывал Бечо и Гулии, какую блестящую речь он произнес утром па открытии выставки.

— Я вышел перед всеми и сказал так: «Всю жизнь я жил в Хорге, и каждый день вода смывала мои поля. Я два раза тонул в болотах и ел только чады [2] и сыр. Лихорадка высушила мое тело и обтянула кожу. Три моих сына умерли от лихорадки». Так я им сказал. «Спасибо вам,— сказал я,— от стариков! Спасибо за внуков и правнуков! Советская власть тратит какие деньги, чтобы нам жилось хорошо. Какие деньги, кацо! Что стоят машины, инженеры, рабочие! А человеческий ум тоже чего-нибудь стоит». Так я им сказал на выставке. «Вот мой внук,— сказал я,— он умнее своего деда. Новое время скачет, как всадник на веселом коне, и мы, старики, хоть и отстаем, а все-таки поспешаем за ним. Потому что всадник скачет по верной дороге, и мы уже не можем заблудиться». Так я говорил, кацо. Все хлопали, и даже музыка играла шум.

---

[1] Спасибо, приятель.

[2] Чады — грузинский хлеб. *(Примеч. автора.)*

— Туш,— сказал Бечо. Он знал, что старик на открытии выставки не вымолвил ни слова, но из деликатности смолчал.

— Ну туш,— согласился Коркия.— Теперь нет уже богатых и меньшевиков, тех, что устроили восстание в Сенаках, и человек должен быть ласковым с другим человеком. Вот что я сказал всем, кацо.

Гулия верил и удивлялся. Он постеснялся пойти на открытие выставки и жалел об этом.

— Через пять дней,— сказал он,— Габуния откроет главный канал, и вода с гор и из лесов пойдет в реку Хопи, а оттуда в море. Габуния приказал мне найти тебя, Бечо, и сказать, чтобы ты приехал на канал.

— Зачем?

— Ты будешь украшать дома и нарисуешь на арке золотые слова.

— Хо! — Бечо улыбнулся.— Мы устроим праздник, какого не видел ни один из князей Дадиани.

— И к тебе есть секрет, старый болтун.— Гулия похлопал по плечу Артема Коркию.— Деликатный секрет. Мы сегодня поедем с тобой на канал, а завтра пойдем в болота, и ты мне поможешь сделать большое дело для Габунии.

— Какое дело, кацо?

— Молчи. Это политика. Тут надо молчать.

Коркия закивал головой. Он хоть и стар, но последний раз, так и быть, пойдет в болота. Ради Габунии, сына машиниста из Самтреди, стоит сходить в болота. И ради политики тоже.

ФАЗИАНСКАЯ ЖЕНЩИНА

Артем Коркия был так подавлен таинственным видом Гулии, что всю дорогу молчал.

День выдался хлопотливый. С утра он с Гулией навьючивал на двух буйволов топоры, лопаты, рогожи и веревки, и они двинулись в джунгли.

Буйволы шли неохотно и все время пытались залечь в болото. Гулия так сильно лупил их по сизым бокам, что в лесах отдавалось эхо и на краю земли начинали плакать и хохотать испуганные шакалы.

К полудню охотники добрались до развалин римской крепости.

Гулия заметил, что леса как будто изменились. Листва печально висела, касаясь земли, серая и мертвая. Над ней катилось раскаленное солнце.

На развалинах крепости сели закусить. Пережевывая сыр, Гулия сказал:

— В старые времена здесь была крепость, Артем, а в крепости стоял памятник. Он остался здесь. Его засосало болото. Он стоит больших денег, кацо!

Коркия отнесся к сообщению Гулии с полным равнодушием.

Потом они срубили два небольших дерева, обтесали их топорами и придали им форму полозьев. Получилось нечто вроде саней. Гулия набросал на них свежих листьев, впряг буйволов и подтащил все это сооружение к болотцу, где горой были навалены засохшие ветки.

— Что будем делать? — спросил Коркия.

— Мы откопаем памятник и привезем его в подарок Габунии. Он очень любит памятники, кацо.

Предприятие понравилось Коркии. Они расшвыряли гору сухих ветвей и увидели тонкую женскую руку из розового мрамора. На руке не хватало пальца.

— Чикалка отгрызла, вот проклятый зверь! — Коркия покачал головой. Недоумение не сходило с его лица.

Начали осторожно откапывать статую. Показалась голова, потом грудь, и через час в глубокой яме, наполовину залитой водой, стояла мраморная женщина с улыбающимся лицом. Ее бедра были обернуты легкой каменной тканью.

Коркия все время копал, плевал на ладони, сопел и ни разу не взглянул на статую, пока работа не была окончена. Тогда он поднял глаза и отшатнулся. Он вылез из ямы, попятился и закричал:

— Ты подлый обманщик! Где же здесь политика? Это каменная голая женщина.

— Я извиняюсь перед старым человеком,— ответил насмешливо Гулия.— Я очень извиняюсь перед тобой, кацо. Ты умный человек, а такой дурак. Этот памятник стоит больших денег. Мы подарим его Габунии... Давай рогожи и веревки!

Коркия с растерянным видом принес рогожи. Гулия достал воды из болота и несколько раз облил статую. Сквозь зеленый ил проступила живая теплота старого мрамора.

Гулия обернул статую рогожами, обложил срубленными ветками и перевязал веревками. Потом с помощью буйволов они вытащили статую.

Обратно шли медленно. Буйволы поминутно останавливались. Гулия спорил с Коркией об очень сложных и малопонятных вещах — культуре и памятниках.

Он никак не мог объяснить старику неясное ощущение, какое руководило им, когда он решил привезти статую. На канале праздник, во всей Колхиде праздник, и Гулия считал, что эта статуя будет одним из украшений праздника, неожиданным подарком, вырванным у болот.

На канал Гулия и Артем вернулись ночью. В комнате Габунии горел свет. Гулия тихо постучал в окно. Габуния вышел.

— Возьми фонарь,— сказал Гулия шепотом.— Пойдем! Я покажу тебе интересную вещь. Я нашел ее в болоте.

Габуния ничего не ответил. Он недоверчиво взглянул на Гулию, захватил фонарь и вышел за бывшим охотником.

В чаще, вблизи последнего барака, сочно жевали и вздыхали буйволы. Около них стоял Коркия. Он был бледен. Он боялся, что Габуния накричит на них или, еще хуже, подымет их на смех, двух старых дураков.

Габуния подошел.

— Свети! — сказал Гулия.

Габуния включил яркий электрический фонарь. В его серебрящемся свете на подстилке из черных листьев лежала мраморная статуя с улыбающимся лицом.

Коркия взглянул на Габунию и замер. Инженер смотрел на статую пристально и даже немного нахмурившись. Лицо его побледнело какой-то особенной, торжественной бледностью. Он долго молчал.

— Где нашли? — спросил он отрывисто.

— На развалинах старой крепости, кацо,— пробормотал Гулия.— Это тебе. Ты любишь памятники.

— Спасибо,— сказал тихо Габуния.— Ты понял то, чего не понимают порой даже очень умные люди. Все, что осталось хорошего от прошлых времен, мы соберем, и наше богатство будет выше всех богатств, какие знали люди... Мы очень счастливые, товарищ... Спасибо, Гулия! Такая прекрасная вещь не может принадлежать одному человеку — она должна принадлежать всем.

Габуния приказал снова обернуть статую в рогожи и внести в его комнату. Вносили втроем. Потом Гулия и Коркия ушли в барак. У них было радостное настроение.

Габуния долго перелистывал старые книги. Он нашел у Арриана одно место и отчеркнул его карандашом. Там говорилось:

«На берегу Фазиса на левой стороне воздвигнута статуя прекраснейшей женщины фазианской».

Очевидно, Гулия нашел эту статую.

Швейцарский археолог Дюбуа де Монпере, один из немногих европейцев, побывавший на развалинах крепости, утверждал, что крепость эта построена за сто лет до нашей эры. Значит, статуе две тысячи лет.

Габуния откинул рогожу и посмотрел в лицо статуи. Две тысячи лет прошли над ее чистым лбом и тонкими бровями, над улыбкой, полной той ласковости к человеку, о которой говорил в духане Коркия. Две тысячи лет покрыли тонкими серыми трещинами розовый мрамор.

На рассвете Габуния открыл окно. По верхушкам деревьев перелетали птицы. Листва волновалась от утреннего ветра. Солнце низко сверкало в лесах, как громадный алмаз. Все это наполняло комнату быстрыми отблесками и тенями. Свет перебегал по лицу статуи, ветер дул на ее улыбающиеся губы, и Габуния понял, что перед ним творение неведомого гениального скульптора.

Красные флаги на высоких мачтах при входе в канал шумели и рвались к горам. Дул западный муссон, и воздух приморской страны наполнял легкие юношеской силой.

Габуния посмотрел на статую и подумал, что забытый мастер за две тысячи лет до нашей эры воплотил в ней прекрасное будущее Колхиды.

ФЕЙЕРВЕРК В ЛЕСАХ

От каких пустяков зависит иногда радостное настроение! От ветра, перевернувшего на столе стакан с листьями. От апельсинной корки, качающейся на морской волне. От шума гравия, от знакомого голоса за окном, наконец, от неба, стоящего синей стеной над затихшим морем.

Так думала Невская в это раннее утро, но Чоп с ней не соглашался.

Апельсинная корка на воде — это беспорядок. Опять нахальные коки с греческих пароходов развинтились и валят за борт всякий кухонный мусор.

Вода из стакана пролилась на газету. Тоже не дело.

Гравий скрипит, как новая кожа, а это плохо действует на нервных людей.

Голос за окном может быть всякий. У рыжего лоцмана, по прозвищу «Антонов огонь», голос знакомый, но услышать его за окном никому не интересно. Лоцман шепелявит и говорит: «Надо шкорей шниматься ш якоря».

— А небо — это дело другое. Небо совсем не пустяк. Небо — это вещь!

Но в это утро Невская не спорила с Чопом. Даже его ворчанье доставляло ей радость. Особенно она обрадовалась, когда около дома прогудела автомобильная сирена. Машина пришла, чтобы отвезти их в Чаладиды на праздник открытия канала.

Чоп вышел весь в белом. Золото сверкало на его форменных нашивках, и щеки, выбритые до синевы, подчеркивали зоркость серых глаз.

Чоп посадил Елочку рядом с шофером. Христофориди стал на подножку. С начала до конца праздника улыбка не сползала с его лица, и на следующее утро он никак не мог сообразить, почему у него болит на щеках кожа.

Невская замешкалась и вышла, когда все уже сидели в машине. Капитан увидел зеленый блеск в чистых лужах, оставшихся от ночного дождя. В них сверкало и переливалось всеми оттенками морской волны шелковое платье Невской.

Она шла к машине вся в ветре и шелесте, и капитан видел, как солнечный луч просветил до дна ее смеющиеся зрачки.

Чоп помог Невской войти в машину, чего никогда не делал раньше. Он почувствовал ее горячую сильную руку и вздохнул. Эх, моряцкая жизнь, будь она проклята!

Палубы, штурвалы, трюмы, бункеровки, аварии — за всем этим проскользнула жизнь, стороной прошли вот эти смеющиеся, прекрасные женщины. И не какие-нибудь буржуазки в полосатых пижамах и с красными от лака ногтями, а родные женщины, что умели драться на фронтах, жертвовать собой, жить для будущего.

Эх, моряцкая жизнь, будь она четырежды проклята!

«Прозевал! — подумал Чоп и нахмурился.— Молодые обскакали тебя, старого черта».

Они заехали на субтропическую станцию и срезали много цветов.

Ветер часто бросал в лицо капитану зеленый шарф Невской. Чоп вздрагивал от его легких ударов, как от прикосновения милой руки.

Невская всю дорогу смеялась. Ее веселило поведение деревенских псов.

Завидев издали машину, они лениво выходили на улицу. На мордах у них было выражение необычайной скуки и равнодушия ко всему на свете. Некоторые даже зевали, садились и вычесывали блох. Но стоило машине поравняться с любым псом, как он внезапно приходил в наигранную ужасающую ярость и мчался около колес с хриплым рычанием и лаем. Проводив машину до границы своей земли, пес тут же успокаивался, сбрасывал с себя маску ярости и, прихрамывая, убегал домой с прежним выражением скуки на морде.

Стремительный бег машины бросал в лицо пригоршни солнечных пятен, скакавших в листве, белую пыль, ветер, лай собак, крики детей и глухой ропот мотора.

...В этот день барометр в комнате Габунии показывал «ясно».

С раннего утра Габуния и Миха волновались. Миха часто посматривал на небо: не видно ли туч. Но их не было. Голубой день подымался над землей в безветрии и глубокой тишине. Был слышен глухой стук топоров: плотники сколачивали в лесу на берегу канала длинный стол и скамейки.

Рабочие-мингрелы брились в бараках. Сема набивал бумажные гильзы таинственным порошком. С утра он свистел и крякал. Это служило у него признаком хорошего настроения.

Гости начали съезжаться к полудню. Первыми приехали Кахиани, Пахомов и Вано Ахметели, потом Чоп и Невская. Гриша прибыл во главе милицейского оркестра.

В воде канала переливались красные флаги. Лианы свешивались с деревьев над столом, накрытым на сто человек.

Старый духанщик из «Найдешь чем закусить» сокрушался, что на стол не хватило скатертей. Чад жареной

баранины подымался к небу из походной кухни и смешивался с запахом лаваша и лилового вина «Изабелла».

Через канал была протянута над самой водой тонкая красная лента.

Кахиани с Габунией и самым старым человеком на канале — Артемом Коркией спустились в моторный катер.

Сема, выбритый и торжественный, стоял у руля и придерживал катер багром. Он стоял навытяжку, как принято стоять у парадных трапов в военном флоте. Сема тоже понимал толк в порядке и вспомнил старую корабельную дисциплину.

Рабочие собрались по берегам.

Кахиани махнул рукой. Сема включил мотор.

Задача состояла в том, чтобы перерезать носом катера красную ленту. Это было нелегко. Сема прищурил глаз, вынул трубку и впился в ленту. Катер несся по воде, гудел и набирал скорость.

Нос его ударил в середину ленты, натянул ее. Лента лопнула, концы ее взвились в воздухе, и моторка рванулась вперед по каналу с частой, оглушительной пальбой.

— Гип, гип, ура! — крикнул Сема и поднял руку.

Ему ответил многоголосый крик на берегах. Оркестр заиграл «Интернационал». Рабочие сняли войлочные шляпы. Сема выключил мотор. Все в катере встали.

Впервые девственные леса слышали музыку и глухой хорал голосов.

Невская взглянула на Чопа. Он держал у козырька загорелую руку, казавшуюся черной от белизны кителя. Во всей его фигуре были сдержанная сила и спокойствие. И Невская подумала, что люди совсем не так часто слышат «Интернационал», эту торжественную музыку, и всякий раз она ощущается ими как итог громадных работ, как музыка победы, как завершение труда. Поэтому, быть может, так заметно бледнеют их лица.

Когда оркестр затих, Кахиани крикнул рабочим:

— Гамарджоба, товарищи! Приветствую с победой!

— Гагимарджос! — ответила толпа.

— Товарищи! — сказал Кахиани.— Канал окончен, и можно позволить себе один вечер отдохнуть и повеселиться... Вы сделали великий труд, товарищи, все, от стариков до молодых инженеров, воспитанных Советской властью. Я благодарю вас от имени партии. Вы победили болота, леса, ливни и лихорадку. Вы не только осушили

страну, но сделали гораздо больше. Позвольте мне рассказать вам два случая. В них нет никакой поэзии, а одна голая правда. Вот этот старик, Артем Коркия, всю жизнь носил на груди пустой орех с высушенным пауком. Этот орех носили еще его дед и отец. Вы знаете, что в прежние, темные времена люди болот считали сухого паука лучшим средством от лихорадки. Старухи шептали над пауком молитвы, и люди верили, что этот паук и этот старушечий шепот спасают их от болезней. И вот Артем Коркия только что снял со своей шеи этот орех и выбросил в воду. «Зачем орех и паук,— сказал он,— когда лучше всяких пауков малярию убьют инженеры!» Вы видите, как ваша работа приобщает человека к культуре. Еще я должен сказать, товарищи, об одной вещи, которая может быть некоторыми неправильно понята. Я скажу о статуе фазианской женщины, найденной в болоте. Я ничего не понимаю в скульптуре. Я мелиоратор, а не Микеланджело или Антокольский. Но тот факт, что вчерашний охотник Гулия и этот самый старик Коркия поняли, хотя бы и не совсем ясно, но все-таки поняли культурную ценность таких вещей,— этот факт меня радует, товарищи, хотя бы я ничего и не понимал в тонкостях этого дела. Мы, товарищи, возьмем себе самое ценное из всех культур, мы расплавим все это в горне нашей социалистической мысли и, несомненно, отольем величайшую культуру, какую когда-либо знало человечество. Да здравствуют советские субтропики! Вы их создаете своими руками. Веселитесь и отдыхайте, товарищи!

После речи Кахиани все двинулись к громадному столу. Вокруг него бегал хозяин духана с сизым и потным лицом. Он ужасался и радовался. Он радовался тому, что впервые в жизни устраивает такой пир под открытым небом — совсем как на картине Бечо, пир на сто человек ,— а ужасался тому, что не хватило скатертей и может не хватить посуды.

Пахомов смотрел на пирующих проницательно и весело.

— Вы — аргонавты,— сказал он Габунии.— Как Язон открыл в Колхиде золотое руно, так вы открыли тропики. Кстати, задумывались ли вы над тем, что в древности называлось «золотым руном»? Обыкновенная баранья шкура. Ее клали на дно золотоносной реки, заваливали по краям камнями, чтобы не снесло течением, и вода наносила в шерсть золотой песок.

— Очень просто,— сказал Кахиани,— и никакой поэзии. Кустарный способ добычи золота. Факт!

— В очень простом обычно очень много поэзии,— мягко возразил Пахомов.— Легенды заключают в себе зерна будущего. Стремление человека к высокому создает легенды. Миф об Икаре — самый простой из мифов. Икаром стал каждый летчик нашего времени. В мифе о Язоне сказано, что на огнедышащих быках он вспахивал поля. Что, собственно, такое огнедышащие быки?

— Тракторы,— засмеялся Габуния.

Пахомов кивнул головой. Чоп захохотал.

— Человек должен верить в свою силу,— продолжал Пахомов,— и тогда он заставит реки поворачивать течение и будет выращивать лимоны в Сибири. Я говорю серьезно. Человек должен верить в силу своего искусства. Когда участник похода аргонавтов поэт Орфей пел и играл на лире, море переставало шуметь. Греки писали об этом совершенно серьезно. Они в это наивно верили. Они верили в силу искусства, а техника — то же искусство, товарищ Кахиани. Будем же верить в нее, как греки верили в лиру Орфея. Вы воплощаете в жизнь миф о завоевании Колхиды, о золотом руне, о смелом походе аргонавтов. Честь вам и слава!

— Я вас очень уважаю,— пробормотал Кахиани и смутился,— поэтому я вам верю. Пусть будет по-вашему, пожалуйста!

Невская прислушивалась к разговорам. Она слышала слова о Язоне, о легендах, о тракторах и летчиках, слышала веселый говор рабочих, пронзительный смех Михи, хриплый голос Гулии, болтовню детей и сдержанные шутки Чопа.

Оркестр играл незнакомую бурную мелодию. Солнце бродило по скатертям, стаканам, бутылкам, по загорелым рукам людей. Солнце заглядывало в стаканы и просвечивало темное вино. Солнце превращало в золотую пленку корку лаваша.

Было шумно и просто, как бывает в большой дружной семье.

Невская молчала. Безошибочное чувство, что сейчас с ней случилось что-то хорошее, в чем она не отдает себе отчета, не покидало ее. Но что же случилось?

«Дружба! — вдруг подумала она.— Пришла настоящая дружба, самое лучшее, что может быть в мире. Только

в работе, в опасностях, столкновениях и победах, поражениях и спорах выковывается это чувство, присущее нашей эпохе, величайшее из человеческих чувств!»

Невская посмотрела на рабочих. Многие из них улыбались ей и подымали за ее здоровье стаканы. Они гордились ею — женщиной-ученым, той женщиной, что плечом к плечу работала с ними всю ночь под ливнем, когда размывало валы. Они гордились Невской, прекрасной женщиной в необыкновенном, сверкающем платье.

Невская посмотрела на Габунию, Кахиани, Пахомова. Все это были друзья. Они продолжали спорить о мифах.

Взгляд ее остановился на Чопе. Христофориди, Елочка и Сосо, открыв рты, смотрели на капитана. Он им что-то рассказывал и делал суровое лицо. Потом он засмеялся, и дети звонко захохотали. Невская сама засмеялась, не зная чему.

Солнце коснулось вершин деревьев. Оно быстро спускалось к закату. Его косые лучи превратили листву в груды бронзы.

Солнце уже тонуло в море, за разливом лесов, когда общий гомон и смех прорезал высокий, почти девичий голос Михи. Все стихли. Миха пел старинную грузинскую песню:

У Ираклия царство и сила,
Одного лишь купить он не мог.
Да, царица его не любила.
Не пускала к себе на порог.

Габуния наклонился к Невской, переводя ей слова песни. Пахомов прикрыл глаза рукой. Кахиани смотрел, прищурившись, на канал, где струилась темная и чистая вода. В ней отражалось вечернее небо.

Царь в сады уходил, одипоко
Там бродил до румяной зари,
И смеялись над нищим жестоко
Пастухи, земледельцы, псари.

Чоп дрожащими пальцами вертел пустой стакан от вина. Он знал грузинский язык и понимал песню. Будь она проклята, моряцкая жизнь! Ему казалось, что поют о нем, старом моряке, никогда не знавшем любви.

У меня за душою шальвары,
А на поясе — только кинжал,
Но с улыбкой царицы Тамары
Я богаче Ираклия стал.

Тяжелый цветок ударил Чопа по руке. Посыпались темные лепестки.

Капитан повертел цветок в руках и засунул в петлицу. Он узнал его: такие черные и уже осыпающиеся розы были только на опытной субтропической станции.

Он взглянул на Невскую. Кончики губ у нее дрогнули. Она сдерживала улыбку, но не смотрела на капитана.

— Халло! — вдруг крикнул Сема и забил ногами о землю быструю дробь.— Халло! Продолжаем жить, леди и джентльмены!

Рабочие вскочили. Оркестр ударил лезгинку, и Габуния, сорвавшись с места, понесся в легкой, стремительной пляске. За ним понесся Миха. Он смахивал руками со стола стаканы с вином и дико вскрикивал.

Барабаны гудели глухо и торопливо. Рабочие теснились около танцующих и хлопали в ладоши:

Аш! Аш! Аш! Аш!

Крики усилились, когда в круг выскочил толстый хозяин духана. Он завертелся волчком, раздувая широкие ситцевые штаны, стянутые у щиколотки. Он ударил над головой в ладоши и быстро прошелся по кругу:

Аш! Аш! Аш! Аш!

Легкая пыль поднялась над лесом.

Но общий восторг достиг предела, когда в круг вышла Невская. Ее блестящее зеленое платье разлеталось и шуршало, обдавая лица теплым ветром.

— Ура! — крикнул Христофориди и пошел ходить колесом вокруг танцующих: «Чистим-блистим, блистим-чистим!»

За ним пошел ходить колесом Сосо.

Артем Коркия потрясал посохом и кашлял. Гулия притопывал на месте.

— Наконец веселье пришло и в наши болота, кацо! — крикнул Коркия.

Чоп поднял Елочку на плечи, чтобы она лучше видела пляску.

Больше всех неистовствовал Вано Ахметели. Пусть пропадает путрия ко всем чертям! Музыка, не отставай!

Вано плясал с яростью и упоением. Пролетая мимо Елочки, он прищелкивал языком, гикал и делал свирепые глаза.

— Ай, меня душит смех смотреть на этих людей! — крикнул Гриша и ворвался в круг.

Все остановились. Гриша плясал с такой стремительностью, что его почти не было видно. Танцующие шарахались от него, как от вертящейся и готовой вот-вот взорваться бомбы.

В это время небо прорезал пронзительный свист, и рядом со звездами лопнула и посыпалась огненным снегом первая ракета.

Ракеты вылетали пачками и оглушительно стреляли. Тогда только все заметили, что уже ночь — синяя, ранняя ночь, пахнущая порохом и вином.

По берегам канала загорелись костры. Вода превратилась в жидкое пламя. В ней метался багровый огонь, распоротый белыми дугами улетающих в небо ракет.

Тысячи светляков неслись сквозь лесные чащи, загораясь и потухая. Казалось, звездное небо опустилось на землю и летит над лесами, и кружится вихрем, и то отлетает, пугаясь бенгальских огней, то снова метет своим шарфом по верхушкам деревьев.

Елочка уснула на руках у капитана. Он отнес ее в комнату Габунии и положил на узкую походную койку. Розовый и белый свет фейерверка перебегал, как теплые молнии, по улыбающемуся лицу фазианской статуи.

— Эх, моряцкая жизнь, будь она четырежды проклята! — повторил капитан.

Он стоял у окна и смотрел на огненные чудеса, творившиеся в небе.

Тихо вошла Невская. Она подошла к Чопу, положила ему на плечо горячую тонкую руку и долго смотрела на трескучий и дымный фейерверк. Чоп боялся шелохнуться. Оба они молчали.

Потом Невская так же тихо вышла. Чоп услышал шелест ее платья, услышал, как хлопнула дверь, и вдруг ночь закружилась у него в глазах каруселью. Чоп схватился за раму окна и провел ладонью по глазам. Ладонь стала влажной.

— Дурак! — пробормотал Чоп.— Сорок семь лет крепился, а теперь сдал!

Ночь гремела музыкой, стреляла огнями, кружилась пением, и Чоп подумал, что только на сорок седьмом году жизни он узнал, что значит полное счастье.

Он быстро повернулся и вышел.

БОСЫЕ ОДИССЕИ

На рассвете Сема подвел к пристани моторный катер. Решили ехать в Поти по каналу, реке Хопи и затем морем. День обещал быть таким же тихим, как и вчерашний.

По берегам канала догорали костры. Роса падала с листьев в горячий пепел и тонко шипела. В зарослях пели осторожные птицы.

Ехали Невская с детьми, Чоп и Габуния.

Когда катер проносился мимо бараков, рабочие махали шляпами и пели песни. Потом зеленым водопадом помчались навстречу леса, и катер вылетел, покачиваясь, в таинственные аллеи извилистой реки Хопи.

Большое белое солнце подымалось за спиной и бросало длинные тени.

Катер долго прорывался сквозь теплые запахи листьев и воды и никак не мог прорваться, пока вдали не показалось море. Тогда в лицо подуло острым ветром водорослей и сырых песков.

Городок Редут-Кале отражался в воде свайными домами, выкрашенными в голубой и розовый цвета. Казалось, что на реке лежит и качается пестрая истлевшая шаль.

Рокот мотора перебегал из одного прибрежного дома в другой, стучал в двери, проносился, затихал и будил людей.

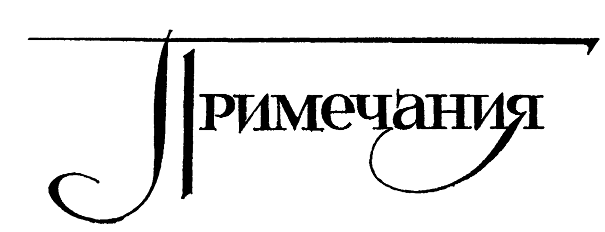
Женщина с грудным ребенком вышла на террасу. Где-то пропел петух и шумно взлетели голуби.

Катер вышел в море и, широко загибая на юг, рассыпая брызги, простучал мимо старого парусника, стоявшего на якоре.

Было слышно, как гудит на пляжах далекий прибой.

На борту парусника сидели, свесив ноги, босые загорелые матросы. Они курили, сплевывали и рассматривали берега Колхиды, как новые Одиссеи.

1934



Примечания

В основу настоящего, третьего [1], Собрания сочинений К. Г. Паустовского в 9-ти томах положен состав предыдущего Собрания сочинений — в 8-ми томах, подготовленный самим автором, при жизни которого вышло лишь пять томов.

Кроме того, в 1972 году был издан дополнительный том, включивший не вошедшие в Собрание сочинений рассказы, очерки, статьи и выступления по вопросам литературы и искусства, публицистику К. Г. Паустовского.

В настоящее издание войдут также материалы, не входившие в предыдущие собрания сочинений, в том числе письма писателя.

Романы и повести, составляющие первый том, охватывают период в восемнадцать лет — с 1916 года, когда двадцатичетырехлетний автор приступил к созданию «Романтиков», по 1934 год, когда увидела свет «Колхида». Произведения расположены по времени написания, а не в той последовательности, в какой они были опубликованы.

Годы, охватывающие работу над романами «Романтики» и «Блистающие облака» и повестями «Кара-Бугаз» и «Колхида», имели решающее значение для становления Паустовского-писателя. Если «Романтики» были первой попыткой создать целостное повествование о том, что довелось передумать и перечувствовать их автору, если писать этот роман он начал тогда, когда его художественный опыт был крайне скуден, то повести, появившиеся в начале 30-х годов, были созданы зрелым мастером.

Тем показательнее, что уже в первом романе Паустовский очертил круг проблем, наметил тип героя и выразил принципы, которые получили развитие в последующем его творчестве.

[1] Первое Собрание сочинений К. Паустовского в 6-ти томах выходило в 1957—1958 гг. в Гослитиздате, второе, в 8-ми томах,— в 1967—1970 гг. там же.

В открывающей «Романтики» главе возникает мотив, который впоследствии варьируется во многих произведениях писателя — мотив судьбы художника, стремящегося преодолеть одиночество и найти дорогу к людям. Эскизно намеченный герой этой главы, старый Оскар — человек, выросший в условиях, враждебных духовному самоутверждению, творчеству и искусству. С юношеских лет из него пытаются сделать расторопного добытчика. Непонятый окружающими, белая ворона в собственной семье, он вынужден зарабатывать хлеб насущный глубоко чуждым ему учительством, но сердцем и душой предан мечте, которую пронес через всю жизнь,— мечте, согревающей его в самых тягостных обстоятельствах. Он написал оперу и преисполнен надежд, что она зазвучит со сцены. Ни один театр не отваживается поставить оперу никому неведомого композитора. Старый Оскар подавлен и разбит, но и на пороге смерти он не отрекается от принципов, которые исповедовал всю жизнь. Размышляя о том, что ему выпало на долю, о часах радости, какую приносила ему работа над оперой, и о невзгодах, постигших его, когда он добивался ее постановки, старый Оскар произносит глубоко выношенные слова: «Я побежденный, но я не сдамся, ибо я победитель».

Оскар умирает, но для молодых его друзей — и прежде всего для центрального героя романа, для начинающего писателя Максимова — жизнь бескомпромиссно преданного искусству композитора служит высоким примером. В греческой кофейне Максимов запальчиво говорит: «Вы, греки, не нашли золотого руна. Я пью за всех тех, кто любит искать, но редко находит...» Он не ратует за поиски ради поисков. В нем, в этом тосте, содержится призыв искать — в том, понятно, случае, когда поиски составляют настоятельную внутреннюю потребность,— даже тогда, когда они не сулят быстрого и безусловного успеха. Поиски — как бы говорит автор — никогда не пропадут втуне, если человек знает, что и во имя чего он ищет.

Максимов в «Романтиках» сильнее всего поглощен проблемой самоосуществления. Он вовсе не равнодушен к тому, что совершается вокруг него, но все его помыслы направлены на то, чтобы реализовать заложенные в нем задатки.

Об этом же думают и герои «Блистающих облаков», хотя они старше Максимова по возрасту и приходят на страницы романа уже сложившимися людьми. В отличие от героя «Романтиков», они болезненно ощущают свою неукорененность в действительности. У каждого из них немало претензий к себе, но эта неудовлетворенность вызвана в них не столько сознанием своего несовершенства, сколько неутоленной потребностью приносить реальную поль-

зу людям, действенно помогать каждому, кто нуждается в поддержке и сочувствии.

По-разному сложились биографии и характеры героев «Блистающих облаков». Решительный и прямодушный капитан Кравченко, побывавший в самых разнообразных местах нашей планеты и никогда не упускающий случая вступить в бой со злом, под какой бы личиной оно ни выступало, не похож на застенчивого, погруженного в свой внутренний мир Батурина, скорее присматривающегося к окружающему, нежели принимающего в нем деятельное участие, или на рефлектирующего писателя Берга, пытающегося изнурительными физическими упражнениями закалить свой дух и освободиться от парализующей энергию и волю неуверенности в себе. Но стоит появиться нешуточному испытанию, как индивидуальные различия меркнут перед общностью усилий и целей, делающих этих людей единомышленниками и товарищами. Ненависть ко всему, что принижает человека и оскорбляет его достоинство, жажда справедливости, чистота намерений, подлинное бескорыстие — вот что сплачивает Кравченко, Батурина, Берга, вот что лежит в основе каждого поступка и линии поведения, вот что побуждает их, не задумываясь, ринуться в далеко не безопасную борьбу с отъявленным негодяем.

«Я требую, чтобы вы жили так, будто на земле наступила уже эпоха расцвета»,— в тоне категорического императива провозглашает капитан Кравченко. Это высказывание представляет собой исповедание веры героев романа, убежденных в том, что нравственное самоусовершенствование, при всей его необходимости и существенности, само по себе не может и не должно служить конечной целью человеческих стремлений. Тот, кто упивается гармонией в обстоятельствах дисгармонических, насыщенных страданиями и бедами, вызывает у Кравченко и его друзей чувство отталкивания и неприятия. Не оправдывать свою инертность и выключенность из мира отсутствием подходящих условий для активных действий, а утверждать каждым своим шагом, каждым своим поступком справедливость как незыблемую норму общежития — в этом, по мнению героев «Блистающих облаков», смысл достойного человеческого существования.

Несмотря на то что в «Романтиках» автор повествует о том, что он испытал или чему был свидетелем, роман этот во многом условен. В пору работы над первым своим крупным произведением Паустовский не умел еще извлечь из автобиографического материала таящиеся в нем глубины. Особенно это заметно при сопоставлении военных сцен «Романтиков» с аналогичными эпизодами «Беспокойной юности» (1954). В «Романтиках» отсутствие художествен-

ного опыта помешало Паустовскому органически спаять воедино факты и вымысел, идущие в его романе как бы параллельными курсами. Риторические монологи героев и обстоятельства, в каких протекает их реальная жизнь, связаны меж собой чисто внешне.

Трудно найти нечто более чуждое художническим склонностям Паустовского, чем многоплановое повествование с детективной фабулой, построенной на стремительном развитии событий, на хитросплетении интригующих подробностей. А ведь именно такая фабула лежит в основе «Блистающих облаков». Взявшись распутывать сюжетные узлы романа, завязывающиеся не как результат взаимоотношений героев, а возникающие как некая математическая задача, которую надо решить, писатель добросовестно, хоть и без большой охоты, платит дань этому противопоказанному его натуре обязательству (оттого-то в повествовании столько искусственных ходов и откровенных натяжек). Писателю явно не нравится углубляться в психологические подоплеки поведения этого противника, с которым, по логике сюжета, не на жизнь, а на смерть сражаются его любимые герои. Стоит ли удивляться, что этот противник предстает перед читателем не как живой, во плоти и крови человек, пусть и отвратительный, а как алгебраическая персонификация зла, если угодно — как сущий дьявол в образе человека.

Эта «проба пера» практически убедила писателя, что как приключенческий жанр, так и строго эпическая форма, не дающая в полной мере раскрываться лирической природе его дарования, находятся вне сферы его литературных интересов.

Не то «Кара-Бугаз» и «Колхида». Между героями романов и героями этих повестей существует важное различие. Если герои романов ищут точку приложения своих сил в обстоятельствах до известной степени случайных и даже искусственных, если их романтические свойства скорее декларируются, чем изображаются, то герои повестей вовлечены всем ходом событий в реальные дела, которые выявляют их характеры. Героические усилия по преодолению небывалых трудностей, благородная задача по избавлению человека от роковой зависимости, от губительных стихийных бедствий, неутихающие конфликты между рутинными ремесленниками и поборниками творческого поиска, между теми, кто замкнулся в жалких рамках бездуховного потребительства, и теми, кто неутомимо ищет истину и прокладывает новые дороги,— эти идеи и проблемы были необыкновенно близки Паустовскому. Прикосновение к реальным делам современников дало толчок его воображению. Он пришел к выводу, что вымысел обретает подлинную убедительность там, где он опирается на факты и вырастает

из них. Вывод этот имел огромное значение для всего последующего творчества писателя.

Тексты вошедших в первый том произведений печатаются по изданию: К. Паустовский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, М., ИХЛ, 1967.

В данных примечаниях указывается первая публикация, цитируются примечания первого Собрания сочинений в 6-ти томах, написанные со слов Константина Георгиевича Паустовского,— неоценимое свидетельство писателя о работе над своими произведениями, а также отзывы критики, появлявшиеся в печати после их публикации.

РОМАНТИКИ

Впервые — в книге «Романтики». Повести и рассказы. М., Гослитиздат, 1935.

В примечаниях к первому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«Романтики» писались семь лет, и потому на них заметны, по мере приближения романа к концу, постепенный отход Паустовского от его первоначальной, несколько приподнятой, нарядной прозы и стремление писателя к большей простоте.

«Романтики» во многом автобиографичны, особенно главы книги, касающиеся событий первой мировой войны.

Прототипом учителя Оскара был преподаватель немецкого языка в I-й Киевской гимназии Оскар Федорович Иогансон — австриец из Вены, пианист и композитор, автор оперы «Дух токайского вина».

Иогансон умер в Киеве перед революцией. Судьба его оперы неизвестна. Очевидно, она нигде не поставлена. История о том, как была потеряна единственная партитура оперы, рассказана Паустовским в повести «Далекие годы».

Под фамилией Сташевский изображен однокашник Паустовского по гимназии поляк Станислав Станишевский. Во время Великой Отечественной войны Станишевский был офицером польской армии. Ему удалось найти вывезенную фашистами в Германию и спрятанную там библиотеку Украинской Академии наук. Станишевский принял меры к ее охране и к отправке в Киев».

Опубликованный уже после того, как имя писателя приобрело широкую известность и «Кара-Бугаз» и «Колхида» были признаны достижениями советской литературы, роман (в издании 1935 г. он

назывался повестью) был встречен холодно, как вещь «далекая для сегодняшнего дня», по выражению Е. Поволоцкой («Литературное обозрепие», 1936, № 1). Вместе с тем она отметила, что «по «Романтикам» видно, какой большой и трудный путь прошел Паустовский, автор «Колхиды» и «Доблести». Уже последняя часть «Романтиков» — «Военные будни» — несравненно лучше первых двух. Даже в чисто стилевом отношении она написана строже и мужественнее».

Стр. 52. *...вагнеровского «Тристана».*— Имеется в виду опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883) «Тристан и Изольда».

Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт, публицист, критик.

Новалис (1772—1801) — немецкий писатель-романтик.

Стр. 56. *...краже Джиоконды...*— Речь идет о портрете Моны Лизы (Джиоконды), написанном в 1503 г. Леонардо да Винчи. В 1911 г. картина была украдена из Лувра итальянцем Винченцо Перуджа, через два года была отыскана и возвращена в музей.

Блерио Луи (1872—1936) — французский инженер, конструктор самолетов, летчик, один из пионеров авиации. В 1909 г. первым перелетел через Ла-Манш.

Стр. 61. *Штундист* — последователь евангелически-баптистской секты, возникшей в прошлом веке в России.

Духобор — член религиозной секты, отвергающей внешнюю обрядность православной церкви.

Стр. 64. *«Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колена...»* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Белинский».

Стр. 65. *«Наша жизнь коротка, все уносит с собой...»* — Из распространенной дореволюционной студенческой песни.

Стр. 70. *Пшибышевский Станислав* (1868—1927) — польский писатель, пользовавшийся большой популярностью в первые два десятилетия XX в.

Артур Рембо — Артюр Рембо (1854—1891), французский поэт, примыкавший к символизму.

Стр. 71. *Франс* Анатоль (1844—1924) — французский прозаик и эссеист.

Стр. 72. *Уистлер* Джеймс Эббот Мак-Нейл (1834—1903) — американский живописец и график.

Стр. 78. *Чимарозо* Доменико (1749—1800) — итальянский композитор, автор знаменитой оперы «Тайный брак».

Ватто Антуан (1684—1721) — французский живописец.

Стр. 78. *Сан-Суси* (в букв. перев.: «без забот») — замок вблизи Потсдама, построенный в 1745—1747 гг. Любимая резиденция короля Фридриха Великого.

Стр. 79. *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт-символист.

Бодлер Шарль (1821—1867) — французский поэт, автор сборника стихотворений «Цветы зла».

Уайльд Оскар (1854—1900) — английский поэт, прозаик, эссеист.

Келлерман Бернгард (1879—1951) — немецкий романист.

Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский драматург и поэт-символист.

Стр. 80. *Верхарн* Эмиль (1855—1916) — бельгийский поэт, драматург и критик.

Стр. 83. *«Мне грустно и легко, печаль моя светла...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...».

Стр. 91. *«Если сам я угрюм, как голландская сажа...»* — Из стихотворения «Больница» («Есть горячее солнце, наивные дети...») русского поэта-сатирика Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга; 1880—1932).

Ренуар Пьер Огюст (1841—1919) — французский художник-импрессионист.

Стр. 91—94. Глава «Скандал в литературном кружке» навеяна, по-видимому, подлинной историей, свидетелем которой был Паустовский.

В письме Е. С. Загорской-Паустовской от 12 февраля 1917 г. он писал: «В среду, 15-го, иду в «Дом Поленова» на Медынке. Там лекция о «русском писателе». Читает Бунин, участвуют Шмелев, Серафимович, Ал. Толстой, Телешов, Сумбатов, и еще, и еще. Одним словом, вся писательская Москва».

К. Паустовский 16 февраля 1917 г. в письме к ней же так описал этот вечер:

«Вчера я был на лекции о «русском писателе» — Анна Ахматова прострелила меня своими египетскими глазами. Сиял лысиной и золотом зубов Серафимович... По-английски строг, изыскан и стар был Бунин, с глухим голосом и легким хохлацким акцентом. Тяжелый Сумбатов, величественный Телешов, пылкий и грассирующий Потемкин. Маленький, неуклюжий старичок с крашеной бородой и блеклыми глазами все потирал руки и говорил голосом Марии Александровны. Это Короленко. И просто одетый, суровый, измученный, с презрительной складкой у губ и умным квадратным лицом — Шмелев — самый молодой, резкий и отчеканенный. Изящный, как юноша, Станиславский и Лилина, Бурджанов, Осоргин и

другие. Шайка репортеров и газетчиков — сварливый, глупый, завистливый народ, щеголяющий дешевым цинизмом. Как сказал Потемкин, в публике было «электрическое» настроение. Много шумели.

Но почему-то все это показалось мне отжившим, старым, не волнующим. Для меня были только двое — Бунин и Шмелев. Бунин — спокойный, тонкий, задушевный — чеканил свои стихи и волновал. У него на редкость тонкие руки. Шмелев бросил публике в ответ на жалобы на оскудение литературы: «Каждое общество заслуживает своих писателей. Гения надо заслужить. Прежде чем говорить о нем, надо спросить себя: достойны ли мы иметь гения? Вы — косная масса под новыми сюртуками, вы — трусость, вы — душевная прострация и та человеческая пыль, от которой тошнит в уме. И если придет в Россию новый гений, то какое отчаянное, потрясающее проклятие швырнет он в лицо России и вам, ее «промотавшимся», оголтелым отцам».

А в публике говорили: «Возмутительно. Написал каких-то жалких два рассказа, изданных Универсальной Библиотекой за 10 коп., и смеет говорить такие вещи». Одна дама, сидевшая впереди меня, сказала, что «такого господина она бы не пустила в свою гостиную». Короленко обомлел. Как! Как можно! И зашамкал о редком единении в России читателей и писателей. Что вы, помилуйте! Разве можно. А Михайловский, Щедрин, Некрасов? Даже этот вечер — пример единения. Хорошо единение. «Я бы его в свою гостиную не пустила».

И Шмелев ответил: о том, как затравили всех русских гениев, затравило общество, обыватель, вся дикая русская жизнь, и крикнул о несмываемом позоре и крови на руках у русской критики, задушившей свободную мысль, убившей из-за угла безвестных гениев, которые были бы неизмеримо выше всех столпов русской литературы. «Это подлость. Будьте прокляты вы, русские интеллигенты, с вашей критикой...» (К. Паустовский. Поэтическое излучение. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 410—412).

Стр. 92. *Скабичевский* Александр Михайлович (1838—1911) — русский либеральный литературный критик и историк литературы.

Стр. 103. *«Как много нежного и милого...»* — Из стихотворения «О Москве» Ильи Эренбурга. В оригинале: «И столько близкого и милого...»

«Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме и о мамином теплом платке...» — Начальные строки из стихотворения (без названия) Ильи Эренбурга. В оригинале: «о мамином черном платке».

Стр. 105. «О вещая душа моя!..» — начальные строки стихотворения Ф. И. Тютчева (без названия).

Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932) — русский советский поэт, эссеист, художник.

Стр. 112. *«Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Труд».

Стр. 117. *«Knut Hamsun. Pan»* («Кнут Гамсун. Пан»).— *Кнут Гамсун* (1859—1952) — норвежский писатель. *«Пан»* — роман Гамсуна.

Стр. 119. *Фаррер* Клод (1876—1957) — французский писатель, автор «колониальных» романов.

Стр. 120. *Я зашел к Филиппову...*— Имеется в виду булочная Филиппова, находившаяся на Тверской улице (ныне улица Горького).

Стр. 125. *Горемыкин* Иван Логгинович (1839—1917) — руководитель правительства царской России в 1906, 1914—1916 гг.

Стр. 126. *Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — русский религиозный философ, писатель, публицист, критик.

Стр. 129. *Элеонора Дузе* (1858—1924) — итальянская драматическая актриса.

Стр. 133. *Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ.

Стр. 139—140. *Это вам не Платонов, не Кареев и не Сеньобос...— Платонов* Сергей Федорович (1860—1933) и *Кареев* Николай Иванович (1850—1931) — русские историки. *Сеньобос* (1854—1942) — французский историк.

Стр. 142. *Моне* Клод Оскар (1840—1926) — французский художник-импрессионист.

Стр. 143. *Беато Анджелико* — Анджелико (Фра Джованни да Фьезоле, прозванный Беато Анджелико, 1400—1455) — итальянский живописец раннего Возрождения, представитель флорентийской школы.

Стр. 148. *Шелли* Перси Биш (1792—1822)— английский поэт.

Стр. 150. *Анри де Ренье...*— Анри Франсуа де Ренье (1864—1936), французский поэт и прозаик.

Стр. 174. *...надписи времен Сигизмунда-Августа и Александра Первого* — то есть времени правления польского короля Сигизмунда II Августа (1548—1572) и русского императора Александра I (1801—1825).

Тагор Рабиндранат (1861—1941) — индийский писатель и общественный деятель, один из руководителей национально-освободительного движения. В 1913 г. за книгу стихов «Гитанджали» («Жертвенные песни») ему присуждена Нобелевская премия. В России в 1914 г. вышло четыре издания этой книги.

Стр. 180. *Макс Линдер* (1883—1925) — французский комедийный киноактер.

Стр. 181. *...корсиканца-императора...*— Имеется в виду Наполеон Бонапарт (1769—1821).

«И встанет к тебе, император...» — Из стихотворения Генриха Гейне «Гренадеры» («Во Францию два гренадера из русского плена брели...») в переводе М. Л. Михайлова. В оригинале: «Тут выйдет к тебе, император...»

Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский философ и писатель.

Тюильри — дворец в Париже, резиденция французских королей.

Адриенна Лекуврер (1692—1730) — французская драматическая актриса, прославившаяся исполнением ролей в трагедиях Расина и Корнеля и в комедиях Мольера.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — деятель Великой французской революции, вождь якобинцев.

Цеппелин (по имени германского конструктора Ф. Цеппелина) — дирижабль, по форме напоминающий сигару, наполненный газом легче воздуха.

Стр. 182. *«Хвала тебе, бог Гименей...»* — Слова из эпиталамы Нерона из оперы А. Г. Рубинштейна «Нерон».

...к памятнику Ришелье...— Ришелье Арман Эммануэль (Эммануил Осипович; 1766—1822), герцог, французский эмигрант. Был губернатором Одессы (1803), потом генерал-губернатором всей Новороссии, много сделал для развития края. После реставрации дважды был премьер-министром Франции при Людовике XVIII. В Одессе Ришелье был поставлен памятник.

Стр. 183. *Галилейский бродяга* — Иисус Христос.

...прекрасная Магдалина.— Мария Магдалина (Мария из галилейского города Магдалы), одна из нескольких галилейских женщин, которые, согласно Евангелию, постоянно сопровождали Иисуса Христа, была первой, уверовавшей в воскресение Христа.

Стр. 188. *Макензен* — Август фон Макензен (1849—1945) — германский генерал-фельдмаршал, в начале первой мировой войны командовал корпусом, армией, группой армий в Польше.

Стр. 190. *Зайцев* Борис Константинович (1881—1972) — русский прозаик. В 1922 г. эмигрировал за границу.

Стр. 193. *Имя Мясоедова шепотом повторялось всюду.*— С. Н. Мясоедов — полковник царской армии. Обвиненный в измене, он в марте 1915 г. был казнен. Современные историки сомневаются в справедливости этого приговора.

Стр. 193. *Аттила* (V в.) — король гуннов, полчища которого совершили опустошительные набеги на Восточную империю, Галлию, Италию.

БЛИСТАЮЩИЕ ОБЛАКА

Впервые — отдельной книгой в издательстве «Пролетарий», Харьков, 1929.

В примечаниях к первому тому шеститомного Собрания сочинений написано: «Блистающие облака» — единственный роман Паустовского с авантюрной окраской.

Во многих своих эпизодах (за исключением детективных) роман этот автобиографичен и связан с поездками Паустовского по Черноморью и Кавказу в 1925—1927 годах.

Роман был написан в очень короткий срок. Паустовский писал его в Пушкине под Москвой в зиму 1928 года. В то время Паустовский работал в газете союза водников «На вахте». В этой газете, помещавшейся во Дворце Союзов рядом с «Гудком», работало много интересных людей и писателей: Новиков-Прибой, Булгаков, Катаев, капитан Оленин-Волгарь, писатели Гехт и Эрлих, поэт Власов-Окский. В соседнем «Гудке» работали Ильф, Петров, Олеша («Зубило»), Шкловский — целое собрание талантливых, острых на язык и шумных людей. Между сотрудниками обеих газет была тесная дружеская связь.

В редакцию «На вахте» часто заходил капитан дальнего плавания Зузенко — прототип капитана Кравченко из «Блистающих облаков».

По словам Паустовского, Зузенко был великолепным и неистощимым рассказчиком. Он много лет плавал по Тихому океану. Его беспокойная жизнь была полна разнообразных событий.

Каждое утро Зузенко ездил из Пушкина в Москву. Тот вагон дачного поезда, куда он садился, тотчас наполнялся пассажирами из соседних вагонов. Они собирались, чтобы послушать Зузенко — его уже знало все Пушкино. Слава о нем облетела и соседние станции — Мамонтовку, Клязьму, Тарасовку и Мытищи.

Вскоре Зузенко получил назначение на грузовой пароход, совершавший рейсы из Ленинграда в порты Англии и Голландии. В Англии Зузенко был занесен в «черный список» за его революционную работу в Австралии, поэтому на берег его не пускали и Зузенко все переговоры с портовыми властями вел с мостика парохода, придерживаясь вежливого, но язвительного тона.

Зузенко пользовался широкой популярностью среди наших моряков за прямоту характера и бесспорный талант рассказчика.

Также взяты из жизни и многие другие персонажи романа: маклер Соловейчик, содержатель меблированных комнат в Керчи Сиригос, метранпаж Заремба (в прошлом — известный цирковой борец) и некоторые другие».

В году шестьдесят первом я как-то набрался дерзости и спросил Константина Георгиевича, как это его, писателя, лишенного вкуса к затейливому сюжетоплетению, занесло в дебри детективного жанра — со шпионом, погоней, разоблачениями, со всеми онёрами подобной литературы, и Паустовский рассказал мне:

«Никогда в жизни не взялся бы за такой роман, если бы не случай. Сейчас уже не помню, как это во всех подробностях было, не обошлось, видимо, без хлопот моих друзей, которые хотели подвигнуть меня на что-то более основательное, чем газетная работа, но в 1928 году харьковское (Харьков тогда был столицей Украинской республики) издательство «Пролетарий», очевидно, по наущению этих друзей, предложило мне договор на сочинение романа с детективной подкладкой. В отличие от издательства, твердо знавшего, что оно хотело получить от меня, я понятия не имел, как такие романы пишутся, но предложение мне показалось настолько соблазнительным, что я, не долго думая, принял его. В голове, как это водится с начинающими писателями, сидели наполеоновские планы, кое-что, с чем я связывал громадные надежды, лежало в столе, но и замыслы и уже написанные страницы — все это я откладывал на будущее. Настоящее же мое было довольно жалким. Газетные корреспонденции, не делающие погоды, две-три тощие, объемом с брошюры книжечки, ни гроша за душой, а тут официальный договор, аванс, перспективы. Как было устоять? Но когда дошло до дела, сразу почувствовал, что писать роман куда труднее, чем подписывать договор на него. Больше всего я намучился с проклятущим Пиррисоном. Легко сказать — шпион. Но что это за птица такая? Попробуй напиши его, когда в глаза не видел ни одного такого фрукта. Спасало меня то, что я отправил своих героев странствовать там, где не раз бывал, в местах, описывать которые одно удовольствие».

«Блистающие облака» вызвали разноречивые оценки критики.

Рекомендуя его читателю, «Женский журнал» (1929, № 5) писал: «Приключенческий роман, действие которого протекает на юге СССР — преимущественно на Кавказе и в Крыму. В противоположность многим приключенческим романам эта вещь написана высокохудожественным языком, образным и выразительным. Роман написан (очевидно, опечатка: следует читать, видимо, «насыщен».— *Л. Л.*) революционной романтикой, пафосом строительства новой жизни».

Отмечая «проблемность» книги Паустовского и то, что она характерна для данного момента русской литературы, критик Г. Гельфандбейн («Красное слово», 1929, № 7) ставит ее в один ряд со «Скандалистом» В. Каверина, «Козлиной песнью» К. Вагинова, «Джиадэ» А. Лугипа и считает «наиболее приемлемыми» романы Каверина и Паустовского, о котором он писал:

«Избежать легковесности автору удалось благодаря тому, что он, в противовес мастерам детективно-приключенческой дешевки, привлек большое количество разнообразнейшего материала. Зачастую этот материал не развернут, но вмонтирован так искусно, что не производит впечатления чего-либо скомканного и загружающего...»

Были и резко отрицательные отзывы о романе (например, Бориса Лихарева в «Резце», 1929, № 46). Основанные на прямолинейных вульгарно-социологических посылках, весьма ходких в ту пору, такие отзывы были далеки от объективного анализа романа, который, несмотря на наивность некоторых его психологических мотивировок и сюжетных ходов, обладал несомненными достоинствами, свидетельствовавшими о том, что К. Паустовский не стоит на месте и совершенствует свое мастерство.

Стр. 210. *Полевицкая* Елена Александровна (1881—1973) — русская драматическая актриса, игравшая в театре В. Ф. Комиссаржевской и в труппе Н. Н. Синельникова.

Бялик Хаим Нахман (1873—1934) — еврейский поэт.

Стр. 215. *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик.

Стр. 217. *...от иудейских голубей Майкова...*— Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — русский поэт. Речь идет, по-видимому, о строках из «Еврейских песен» Майкова: «Белых лилий Идумеи // Снежный венчик цвел кругом, // Белый голубь Иудеи // Реял ласковым крылом».

...до голубей поэта Багрицкого...— Эдуард Георгиевич Багрицкий (1895—1934) — русский советский поэт. Имеются в виду стихотворения Багрицкого «Голуби» и «Птицелов».

Стр. 219. *Мей* Лев Александрович (1822—1862) — русский поэт и драматург.

Стр. 226. *...к храму Христа.*— Речь идет о храме Христа-спасителя, построенном в память о победе над Наполеоном, снесен в начале 30-х годов XX в.

Стр. 227. *Измайлов* Александр Алексеевич (1873—1921) — русский прозаик и критик, автор романа «Ураган».

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — русский прозаик, автор свыше ста романов.

Стр. 235. *«Адриенна Лекуврер»* — историческая драма французских драматургов Э. Легуве и Э. Скриба, поставленная А. Я. Таировым в Камерном театре. Главную роль играла А. Г. Коонен.

Стр. 256. *Марсель Пруст* (1871—1922) — французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени».

Стр. 274. *«Разрушен древний храм на мысе над обрывом...»* — Из стихотворения «Забвение» французского поэта Жозе Мария де Эредиа (1842—1905).

Стр. 316. *«И Тамплинсон взглянул вперед...»* — Из баллады «Томплинсон» английского поэта и прозаика Редьярда Киплинга (1865—1936).

Стр. 335. *Кемаль-паша* — Мустафа Гази Кемаль, известный как Кемаль Ататюрк (1880—1938), во время первой мировой войны командовал турецкими частями, впоследствии основатель и первый президент Турецкой республики.

Стр. 337. *Дорошевич* Влас Михайлович (1864—1922) — русский журналист и театральный критик.

Стр. 381. *Сунь Ят-Сен* (1866—1925) — китайский революционер.

Стр. 382. *Малявин* Филипп Андреевич (1869—1940) — русский живописец.

Голубкина Анна Семеновна (1864—1927) — русский советский скульптор.

Роден Рене Франсуа Огюст (1840—1917) — французский скульптор.

Стр. 387. *«Молочный дым качает ветром села...»* — Из стихотворения Сергея Есенина «Голубень».

Стр. 388. *«...Если к правде святой...»* — Из стихотворения «Безумцы» французского поэта Пьера-Жана Беранже (1780—1857) в переводе В. Курочкина.

КАРА-БУГАЗ

Впервые — отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия», Москва, 1932.

В примечаниях к первому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«В 1930 году Паустовский написал роман «Коллекционер», но отказался от опубликования этого романа, так как считал его неудавшимся из-за сложной композиции.

Одна из частей этого романа была, по существу, первым, очень коротким вариантом будущей книги о Кара-Бугазе. Действие этой

части происходило на восточном побережье Каспийского моря и па берегах Кара-Бугаза, но последний существовал в этом романе только как широкий пейзажный фон. К тому же этот фон был вымышлен, так как Паустовский никогда не был на азиатском берегу Каспия.

Через два года Паустовский на основе этой части романа написал самостоятельную повесть, обогатив ее разнообразным материалом. В связи с работой над «Кара-Бугазом» Паустовский объехал все побережье Каспийского моря, за исключением южного, принадлежащего Ирану.

...«Кара-Бугаз» написан на основе подлинных фактов. Многие герои этой повести — лица совершенно реальные... Книга эта, встретившая единодушное одобрение в печати, органически соединяет в себе элементы художественного очерка, литературы путешествий, драматической новеллы и психологического эскиза».

«Кара-Бугаз» стал заметным событием не только в творческой биографии ее автора, но и всей советской литературы 30-х годов. Книга вызвала множество откликов в печати.

В статье «О темах», опубликованной 17 октября 1933 года в «Правде», А. М. Горький писал:

«Мы должны добиться того, чтобы лучшие писатели и художники дали нам книги и альбомы, посвященные народам мира. О народах СССР лучше всего могут рассказать краеведы и участники многочисленных экспедиций, разбросанных по территории всего Союза. Они покажут нам национальный быт в процессе его изменения и развития, воспитают в детях интернационализм».

Рассматривая повесть Паустовского как книгу, предназначенную в первую очередь для юного читателя, Горький отмечал: «Смелый и удачный опыт нескольких авторов, создавших для детей и юношества книги о перспективах нашего строительства: Ильин — «Рассказ о великом плане», Паустовский — «Кара-Бугаз» и другие убеждают нас в том, что с детьми можно говорить просто и увлекательно, безо всякой дидактики, на самые серьезные темы».

Повесть К. Паустовского привлекла внимание французского писателя Ромена Роллана, который констатировал:

«Романы о труде (заводах или сельском хозяйстве) не всегда удачны. В них обычно не хватает двух вещей (из которых, быть может, одной было бы достаточно, но эта одна необходима): либо напряженность субъективного восприятия, либо объективная любознательность и проникновение во взаимную связь характеров (столкновение характеров). На меня произвел большое впечатление

очерк-панорама «Кара-Бугаз» Паустовского, стержень которого земля — уголок земли,— развивающийся во времени. В этом есть что-то новое, что может развиться в оригинальный эпический жанр. В этой книге попутно затрагивается... вопрос об отношении к революции, к пролетарскому труду интеллигенции (ученых и т. д.), наиболее искренние представители которой неизбежно выходят из своего одиночества, чтобы примкнуть к великой армии трудящихся» («Интернациональная литература», 1933, № 5).

Книга Паустовского вызвала множество критических откликов. Не было ни одного крупного периодического издания, будь то газета или журнал, которые не отозвались бы на нее добрым словом. Обращение к новому жизненному материалу, дотоле почти не тронутому литературой, устремленность в будущее, романтическое воспевание презирающих бытовые невзгоды первопроходцев, увлеченных грандиозными строительными проектами, которые создают «вторую природу»,— вот что прежде всего восхищало современников в «Кара-Бугазе».

Писатель П. Павленко приветствовал появление повести:

«Осознание будущего, ощущение завоеваний в строительстве пустыни так непосредственно и так живо, что, читая, трудно примириться с тем, что книжка сейчас кончится и не расскажет все до самого конца,— каким же будет выглядеть Кара-Бугаз через десять, через пятнадцать лет... И все, что вам рассказано, это только планы, подступы, разведка, догадки. Но рассказано так, что про себя, в мыслях, вы-то уже начали строить Кара-Бугаз и, догадавшись, что автор несколько опередил события, даже обозлены. Чувство строительного азарта самое сильное из всех, которое одолевает читателя по окончании «Кара-Бугаза» («Красная новь», 1932, № 12).

Такую же восторженную оценку повести дал Лев Славин:

«Одно из крупнейших достоинств этой книги — ее общий тон, ее тембр. Мужественный, победоносный, активизирующий тембр, каким должен быть, на мой взгляд, стиль искусства нашей страны в эпоху строительства социализма. Речь идет уже не о теме, о *голосе*, каким эта тема пропета... Героизм боевой и героизм научный сливаются в книге Паустовского в одну замечательную историю советской страны» («Вечерняя Москва», 1933, 13 февраля).

По мнению большинства писавших о «Кара-Бугазе», Паустовский создал произведение новое и по содержанию, и по форме.

Виктор Шкловский считал, что Паустовский создал «тип нового очерка». Он писал:

«В «Кара-Бугазе» основной герой, основная сюжетная связь — пустынный и богатый край. Этим краем пытаются овладеть. Нара-

станис попыток в строительстве и сопротивление им со стороны природы и со стороны чужого нерастущего человека образует нарастающий конфликт произведения. Глауберова соль дана, как у Жюль Верна дан подъем на аэростате, об овладении не рассказывают, а испытывают. Паустовский держит связь с главной темой через людей. И книга оказывается напряженной, хотя в ней не прибегнуто к старым наверняковым приемам» («Литературная газета», 1934, 26 июня).

Несколько иную точку зрения на жанровую природу «Кара-Бугаза» высказал Сергей Третьяков:

«Открыть страну — это значит не только увидеть ее и нанести на карту. Страну открыть и закрепить в сознании масс можно по-настоящему, нанеся ее на карту нашего воображения, своим словом и стихом, которые не забываются... «Кара-Бугаз» Паустовского тоже литературное открытие страны, которая до сих пор была известна нам лишь по начертаниям на картах... «Кара-Бугаз» есть повествование все на ту же увлекательную тему об «укрощении строптивой», где «строптивою» оказывается первобытность и косность, а «укротителем» — пролетарская воля и большевистская организованность. Повесть, захватив внимание читателя, не отпускает его до конца. Остроумный монтаж событий, нарушающий хронологию, поддерживает напряженность интереса, подобно приключенческой новелле... В книге много настоящей науки и настоящего искусства, причем это наука увлекательная, это искусство умное. Книга не впадает в экзотику, в любование причудливостью поступков, непривычностью звучания, неповторимостью событий... Книга Паустовского со всей очевидностью выдвигает проблему нового жанра, которому не найдено имени, который условно можно назвать и очерковой повестью, и повестью краеведческой, где очерк явственно перерастает на какую-то высшую ступень» («Правда», 1933, 6 января).

Верны по-своему каждая из этих двух точек зрения, если между ними и есть противоречие, то оно относится скорее к терминологии, нежели к существу дела.

Стр. 392. *Карелин* Григорий Силыч (1801—1872) — русский естествоиспытатель и путешественник. Бабушка Александра Блока по материнской линии, Елизавета Григорьевна Бекетова, была дочерью Григория Силыча Карелина.

Стр. 393. *...генералом Бековичем в начале безрассудного его похода в Индию...* — Князь Александр Бекович-Черкасский (до крещения — Девлет-Кизиден-Мурза) в 1716 г. отправился во главе военной экспедиции в Среднюю Азию. Петр I поручил ему исследо-

вать течение Амударьи, склонить хивинского хана к подданству, построить крепости по пути следования, установить торговые связи с Индией. Предательски обманутый хивинским ханом, Бекович был убит. Вместе с ним погибли почти все участники его похода.

Стр. 394. *Эйхвальд* Эдуард Иванович (1795—1876) — русский естествоиспытатель, автор обширного труда «Палеонтология России». Совершил путешествие по Кавказу и Каспийскому морю, изучая геологию, флору и фауну этих мест.

Стр. 410. *«Окропленные вашею кровью пустыни...»* — Из стихотворения В. Маяковского «Гулом восстаний, на эхо помноженным...».

Стр. 437. *Саади* (род. между 1203—1210 гг., ум. в 1292 г.) — персидский мыслитель, прозаик и поэт.

Стр. 451. *Иоффе* Абрам Федорович (1880—1960) — советский физик.

Стр. 477. *Мекка* — священный город мусульман, расположенный на Аравийском полуострове, родина Магомета.

Дервиш — мусульманский нищенствующий монах.

Медина — священный город мусульман, расположенный на Аравийском полуострове. В нем находится гроб Магомета.

Стр. 490. *...Семенов-Тян-Шанский* Петр Петрович (1827—1914) — русский путешественник и географ.

КОЛХИДА

Впервые — в альманахе «Год 17-й», 1934.

В примечаниях к первому тому шеститомного Собрания сочинений написано:

«Так же как и «Кара-Бугаз», «Колхида» — книга о недалеком будущем. Работы по созданию субтропиков даны в повести в их завершенном виде, тогда как во время написания книги они были далеко еще не закончены.

Появлению повести предшествовала поездка Паустовского в 1933 году в Мингрелию — в Поти и в заболоченную Колхидскую низменность по берегам Риона. Паустовский жил в маленьких мингрельских городах на краю болот — в Нотанеби, Самтредиа и в самом центре малярийной земли — Чаладидах.

Под именем художника Бечо в «Колхиде» изображен известный грузинский художник-самоучка Нико Пиросманишвили. Этот бездомный и необыкновенно талантливый человек писал картины по заказу посетителей духанов. Кроме картин Пиросманишвили оста-

вил после себя много чрезвычайно живописных и блестяще написанных вывесок для духанов...

Реальными лицами (под другими фамилиями) в «Колхиде» являются инженер Габуния, прораб Миха и чистильщик сапог Христофор Христофориди.

По свидетельству К. Паустовского, Горький прочел повесть в рукописи и сделал в ней несколько пояснений и сносок.

По поводу одного из пояснений у Горького произошел характерный для него разговор с Паустовским. Первоначально в повести, в главе о сельскохозяйственной выставке, у Паустовского было сказано, что герань всегда вызывает представление о сонной провинции и вазонах с этим неизменным цветком за кисейными занавесками мещанских домов.

Горький подчеркнул это место карандашом и сердито сказал, что это совсем не так. Гораздо важнее то обстоятельство, что герань — цветок рабочих окраин, самый любимый цветок ремесленной бедноты. Она буйно разрастается в самых угарных подвалах и освежает воздух даже в паяльных мастерских. Эта поправка, равно как и несколько других, вошла в повесть».

«Колхида» получила единодушное одобрение критики, отметившей своевременность появления повести и профессиональный рост писателя.

О «Колхиде» писали:

«Колхида», несомненно, самое зрелое произведение Паустовского. Он ощущает строительство как свое родное дело. Он ощущает социализм как сегодняшний день. Действительность Страны Советов вылечила его от мечтаний, от эстетствующих настроений, так сильно прозвучавших в ранних произведениях... Он очень ярко, смелыми, сочными мазками рисует природу... Пишет Паустовский ярко и выразительно» (Г. Колесникова, «Октябрь», 1934, № 9—10).

Еще более высокую оценку «Колхиде» дал Георгий Мунблит.

«И задание, которое себе поставил автор, и материал, на котором он это задание осуществил, дают читателю много пищи для размышлений. Тропики, не один раз описанные в неподвижном своем великолепии, взяты Паустовским как материал для противопоставления творческой научной работы — ремесленной... Паустовский увлечен своим материалом... В тропиках писатель видит великолепный плацдарм для социалистического преобразования природы, для борьбы за рациональное начало против стихии (Г. Мунблит, «Известия», 1934, 27 декабря).

«Художник умеет обнаружить белые пятна там, где карта, казалось, давно и густо заполнена всеми географическими данными. Эти белые пятна — новое, то новое, что открывается читателю в

художественной географии Паустовского... Насыщенный большим социальным содержанием, «Кара-Бугаз» вместе с тем был отмечен чертами яркого изобретательства в области организации очеркового материала... Материал «Колхиды» обработан в свободной беллетристической манере. Прикрепление к датам, непосредственное использование документов и указания на реально существующие объекты отсутствуют. Не разрабатывая новый жанр, Паустовский в «Колхиде» все же ставит ряд новых художественных задач, свидетельствующих о том, что автор «Кара-Бугаза» отнюдь не принадлежит к числу писателей, склонных эксплуатировать раз одержанный литературный успех... Природа страны и вторая природа, создаваемая в этой стране волей большевиков,— таковы основные каналы, по которым в сюжетную ткань «Колхиды» вливается большое количество фактов географического, этнографического и особенно ботанического характера. Паустовскому удалось ввести этот материал, не только не задерживая развития фабулы, но, наоборот, двигая ее вперед. Весь комплекс научных и технических проблем, связанных с превращением малярийной и пустопорожней Мингрелии в цветущую Колхиду, неразрывен с развертывающейся фабульной линией. Паустовский умеет вскрывать общее значение подчас весьма специальных научных и технических вопросов, умеет находить в них зерно больших идей и воплотить их в сжатых, эмоционально-насыщенных образах... Особенно заметен рост мастерства в лепке человеческих образов... Утверждая романтические свои образы, Паустовский утверждает действительность» (А. Роскин, «Художественная литература», 1934, № 11).

Стр. 538. *...стоял с эскадрой Рожественского...*— Зиновий Петрович Рожественский (1848—1909) — адмирал русского флота. Назначенный в 1904 г. командующим 2-ой тихоокеанской эскадрой, в течение восьми месяцев вел эскадру вокруг мыса Доброй Надежды для сражения с японским флотом. В результате ошибок, совершенных им во время перехода и самого боя у острова Цусима, эскадра была разгромлена, а сам командующий попал в плен.

Стр. 545. *Гиппократ* (460—377 или 356 гг. до н. э.) — знаменитый греческий врач, один из родоначальников современной научной медицины.

Стр. 548. *...немецкий крейсер «Гебен»...*— Находясь в Средиземном море, немецкий крейсер «Гебен» ускользнул от британской эскадры, вошел в Черное море и в 1914 г. обстрелял Севастополь — базу русского военного флота.

Стр. 581. *Кук* Джеймс (1728—1797) — английский мореплаватель.

Стр. 589. *Арриан* Флавий (род. приблизительно в 96 г.— ум. в 180 г.) — греческий писатель, историк, географ времен Римской империи. Автор отчета о плавании вокруг берегов Понта Эвксинского (Черного моря).

Стр. 593. *Микеланджело* Буонарроти (1475—1564) — итальянский скульптор и художник эпохи Возрождения.

Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902) — русский скульптор.

Язон (Ясон) — герой древнегреческой мифологии, сын иолского царя в Фессалии Эсона и Полимеды. Посланный в царство Ээта за золотым руном, Язон возглавил поход аргонавтов. С помощью полюбившей его дочери Ээта, волшебницы Медеи, Язон захватил золотое руно и отплыл в Грецию.

Л. Левицкий

СОДЕРЖАНИЕ

КАРА-БУГАЗ

Повесть

КОЛХИДА

Повесть

Паустовский К.Г.

П21 Собрание сочинений в 9-ти томах. М.: Худож. лит., 1981.

Т. 1. Романы и повести./Вступ. статья Г. Трефиловой; Примеч. Л. Левицкого. 1981, 623 с.

В том вошли первые крупные произведения писателя—романы «Романтики» и «Блистающие облака», посвященные нравственным исканиям интеллигенции, и повести «Кара-Бугаз» и «Колхида», написанные в 30-е годы и повествующие о преобразовании природы, об освоении богатств прежде безжизненных мест.

П $\frac{70302-323}{028(01)-81}$ подписное 4702010200 Р2

Константин Георгиевич

ПАУСТОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ I

Редактор **Л. Полосина**

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
С. Ефимова

Корректор
Г. Володина

ИБ № 1629

Сдано в набор 15.02.80. Подписано к печати 04.11.80. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 32,76+1 вкл.=32,832 усл. печ. л. 34,534+1 вкл. =34,58 уч.-изд. л. Тираж 125 000 экз. Изд. № Шб-24. Заказ № 1397. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

